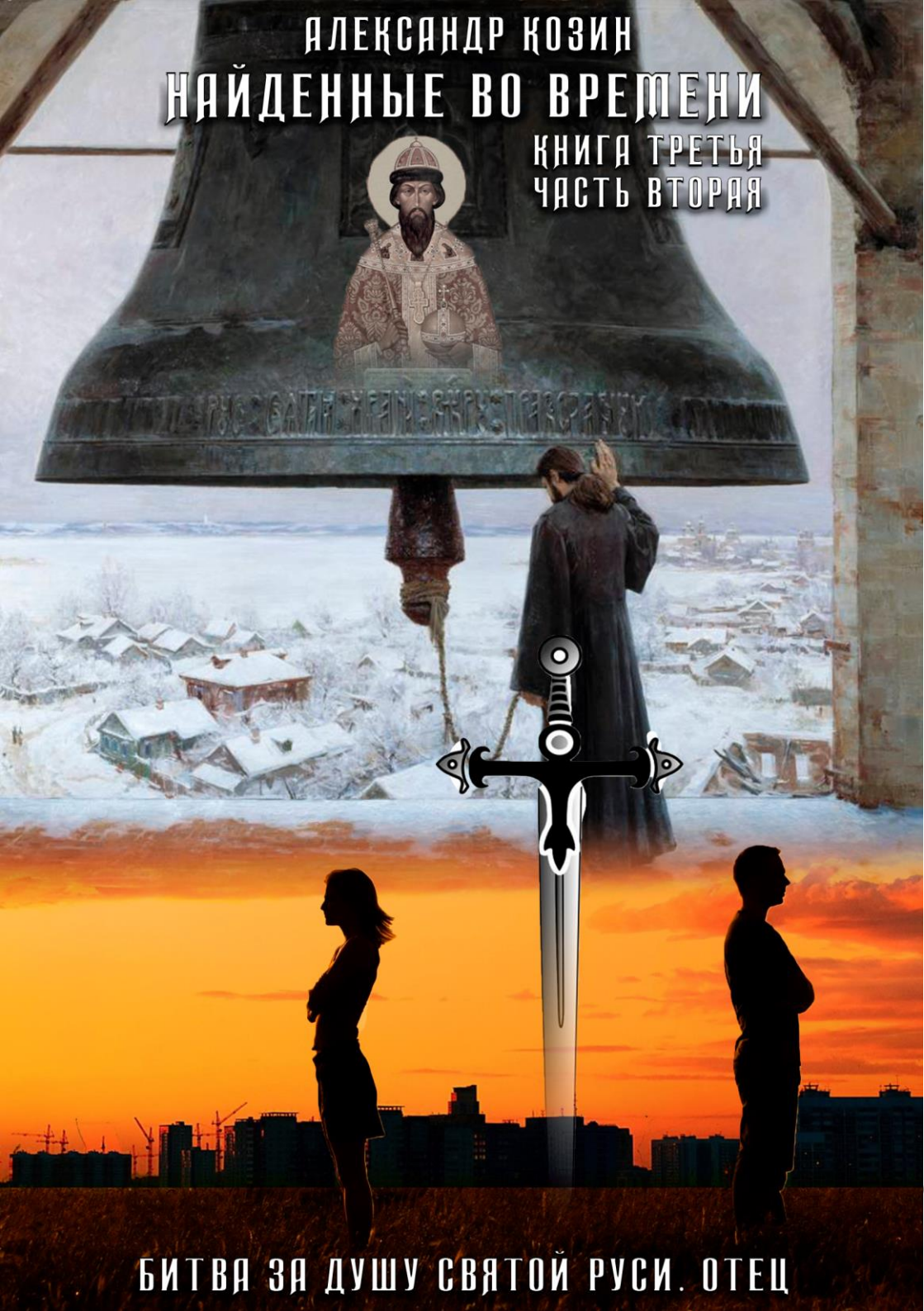
АЛЕКСАНДР КОЗИН

НАЙДЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ

КНИГА ТРЕТЬЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ



БИТВА ЗА ДУШУ СВЯТОЙ РУСИ. ОТЕЦ

Александр Козин

НАЙДЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ

Роман

Книга третья
Часть вторая

Битва за душу Святой Руси. Отец.

Служба затянулась. Так во всяком случае показалось мне. И хотя внутри вспыхивали искорки Пасхальной радости, все мои мысли устремлялись к бывшей холопке, княгине Алле. «Она-то уж, - думал я, - стоит сейчас в храме, что на нашей улице, молится. Ведь так долго ей не давали делать этого! Поди и за меня молилась все время. Может быть поэтому я и преодолел все нападения, искушения».

Вместе с другими я исповедался и причастился Святых Таин.

На постоялом же дворе мы повелели накрыть стол. Разговелись. Даже крепкого медку глотнули. На большее не рискнули: князь Курбский, провожая, повелел по возвращении, не мешкая, явиться к нему и доложить о поездке. Поэтому, поспав немного после трапезы, мы снова отправились в путь. И к вечеру уже въезжали в Кремль. Князя Курбского застали в его хоромах веселым, радостным, слегка захмелевшим. Он сидел посреди терема в одной расшитой рубахе. Смеясь, похристосовался с нами. Но нахмурился, заметив в возках закованных в железа татя и пронского кормленщика. На первого он особого внимания не обратил. На второго кивнул: «Что ж это вы, братия, так с ним?! По виду – родовитый болярин! А вы

его, словно холопа!.. Надо бы почтение к роду поиметь!»

- А он, – вскинулся княжич Емелиан, - он имеет почтение к Помазаннику Божиему? А стало быть, - ко Господу нашему Иисусу Христу! Слышал бы ты, князь, как собачил он Царя, как нас, верных холопов Государевых, щенками и молокососами лаял! Ему, видите ли, Иоанн Васильевич должен был прислать равных, да еще с поклоном и гостинцами. Да принять его службу на его же условиях! Совсем зажрался на кормлении. И притесняет пронских, не глядя на чины и звания! Я ж – сам оттуда родом. И батюшка мой с матушкой – пронские! Про такие злодейства порассказали!

- Ну… Ну! Умири сердце, брат! Праздник-то какой на дворе! Ради Пасхи, ради Светлого Воскресения Христова сам не уподобляйся обидчику! Похвальна твоя ревность! Доложу о ней! Но мы-то – православные христиане, а не басурмане какие! И еще раз скажу: к роду болярскому почтение иметь надобно. Именно по нему, почитай, старший он! Пусть хоть злодей! И судить его будет сам Государь. Потому как - старший для него! Его и татя этого оставляйте у меня. Грех - дела обсуждать в

Светлый праздник! Поди, причастились Святых Тайн-то по дороге нынче ночью?

- А то, – вступил дьяк Кирюшка, - в церковке, на самом подъезде к Москве!

- Добро! По-людски! Сейчас, княжаточки мои, милости прошу к столу! Разговеемся. Да и по домам отправитесь. Порадуйте ближних А в среду – ко мне. Подробно все и доложите! К сто-о-о-о-олу!

…Славно мы разговелись. Даже в голове от выпитого слегка зашумело. Вот уж пожурила бы меня матушка!

В таком веселом расположении духа я в сопровождении мужиков и небольшого обоза подъехал к своей истбе. И… не узнал ее! Ай, молодцы холопчики мои! Обновили! Обустроили! Изукрасили, как могли! Теперь истба выглядела небольшим теремком. И казалась даже выше, чем была. Мужики высыпали на двор встречать меня. С каждым я похристосовался. И каждый с поздравлением *Христос Воскресе* подносил мне крашеное яйцо. Я поднял взгляд в сторону крыльца и увидел Аллу! Она стояла, привалившись плечом, на которое была наброшена душегрейка, к резному столбу, и улыбалась, глядя на меня. А на перилах перед ней стояло блюдо с куличом, пасхой и крашеными яйцами. Мужики, тоже заметив

это, смущенно расступились. Княгиня степенно спустилась с крыльца, подошла ко мне, поклонилась и подала блюдо.

- *Христос Воскрес,* - выдохнула она.

- *Воистину Воскресе!* – так же ответил я и коснулся губами свежей, душистой ее щеки, такой взволновавшей сердце, да и всю мою плоть. И еще раз! И еще!

- Стол накрыт, князь! – румянец полыхал на ее лице. И мне в голову ударил жар. Но я сдержал себя. Опустил голову. Резко поднял ее. Засмеялся. Махнул мужикам рукой: «А ну, все – в истбу! Разговляться будем !»

- А в баньку? – вскинул брови старый Фока

- Потом! Грех в Светлый праздник париться! Принеси воды. Здесь по пояс обмоюсь! – еще громче рассмеялся я.

Пасха в этот год случилась ранняя. Поэтому на дворе было прохладно. И от всего моего тела шел легкий пар. Мужики, женки которые приехали со мной, тоже не могли нарадоваться и с благодарностью смотрели на меня. За столом, после жирных яств, - свинины, говядины, птицы, - приготовленных в щедро залитом масле, сметане, варенце, - еще нескольких чар крепкого меда и вина я почувствовал, что

устал. Тишка взялся проводить меня. И я, благословив мужиков на продоложение трапезы, отправился в лежницу, уже отгороженную, обустроенную, изукрашенную, явно женскими руками…

- И-и-и-эх! – мотнул я головой, пытаясь так остудить жар в крови. И, раздевшись, рухнул на постель. А когда проснулся, сквозь ставни на окнах пробивался солнечный свет. Я кликнул Тишку. Тот вошел с крынкой свежего парного молока.

- Откуда? – удивился я.

- Как же? Фока коровенку прикупил. Мо-о-олочную!

- Кликни-ка его.

Когда старик вошел, я спросил: «Ну, поведай, как вы тут жили? Я гляжу, не голодали? Как княгиня?»

- Какой голодали, княже?! Тут к Благовещению кто-то сани рыбы прислал. Го-о-ору! Всю съесть не смогли. В ледник покладали. Мужики-возницы сказывали, мол, ваш князь знает, от кого. Да от князя Курбского дьяк со стрельцами, - с конными, - денег привез. Мне под расписку отдал. За каждый грош отчитаться могу. У меня все учтено.

- Ладно. Я тебе верю. Теперь ответь все-таки: как княгиня?

- А что княгиня? Разумная баба! На торг сама все дни ходила! Нет, не одна, конечно. Я, да двое-трое мужиков ее всякий раз сопровождали. При саблях. Мало ли кто обидеть захотел бы. Но торговаться она умеет! Любо-дорого посмотреть! И не скупая. Заставляла, чтобы мужиков я кормил как следует. Ще-э-эдро. Говорила, мол, хороший работник – сытый работник. Даже к некоторым купцам повадилась вский раз. Говорит, мол, у них - товар хорош. Снедь всегда - свежая. Да и рукоделием по вечерам занималась. Поди сам заметил, как горницу, да лежницу твою изукрасила.

- Да-да… А что за купцы, не разведал? Ну, те, к которым она постоянно ходила…

- Один чернявый какой-то, с юга. Другой – наш, из-под Рязани. Третий… Вроде, как русский, а вроде, как и нет. Сказывала княгиня, что он - выходец из ее родных мест. Проверял. Люди торговые сказывают, что знают их давно. Честные, мол, торгаши. А что сердце-то твое, княже, тревожит.

Я в ответ мотнул головой: «Как и сказать, не знаю…»

Сделал большой глоток молока. Подумал: «Что ж так тревожит сердце мое»? Проговорил, наконец: «Опасаюсь я, что

литвинские лазутчики под купцов рядиться могут. А ну, как узнают ее. Умыкнут…»

- И-и-и, княже! Не тревожься! Мы-то, холопы твои, на что?! Чай, саблями махать умеем. А без тебя, я каждый Божий день мужиков сподвигал на учение.

- Да-а-а, - поставив крынку на стол, хлопнул я себя ладонными по коленям и поднялся, - надо покупать себе другой самострел. А мой, старый, впредь будешь брать с собой, когда княгиню на торг сопровождать придется. Христославы приходили?

- Де-е-етишки! Правда, нищий старик, страшный такой, противный, - ну, бес-бесом, прости Господи, - постучал перед рассветом…

- Перед рассветом? – вскинулся я.

- Да. Мы как раз из храма вернулись. Разговляться собрались.

- Мы?

- Ну, да. Княгиня-то не ходила. Неможилось ей, как я понял, по-бабьи. Но нас встретила чин-чином. Стол накрыла.

- А кроме того, в церковь часто ли ходила?

- Дык… Как сказать. Разочка два за твою отлучку. Когда отец Иероним накануне захаживал. Я так разумею, прости уж:

понадругались над ней инородцы. Вот и неможется ей по бабьей части. Но молится она! Знаю: мо-о-олится. Каждое утро и каждый вечер. Сам слыхал, когда истбу обходил: бу-бу-бу-бу-бу-бу.

- Спаси тя Господи, старый друже мой, за службу.

- Во славу Божию! В церковь-то пойдешь?

- Конечно. А кого ж ты из баб к княгине приставил?

- Дуняшку, Климову женку. Она – баба справная. Да и силушкой Бог не обидел: надо будет, и мужика здорового с ног кулачком собьет. Саблей владеет. Я ей сабельку-то без твоего благословения выдал, кинжальчик, свинчаточку. Прости уж.

- Кликни ее: пусть будит княгиню. Скажи: я повелел.

- Сей же час исполню. А на обед что велишь приготовить?

- Щей. Да - покислее. Что-то я вчера меду да вина перехватил.

- Исполню. Велишь ли мужиков погулять отпустить? Ну-у-у, тех, кто не в чреде и без женок здесь…

- Ладно. Только чтоб не безобразили. Да, забыл. Приготовь гостинцы для батюшки, нищим чего раздать. Сам знаешь.

- Уразумел.

- Спаси Господи. Ступай с Богом.

Дни Светлой седмицы пролетели незаметно: одно веселие сменялось другим. Праздник омрачало только то, что я не мог нигде, кроме, как у князя Иоанна Пересветова, появиться с княгиней Аллой. Вот у него мы действительно появились вместе. Благо, что Государь и все приближенные уехали из Кремля в Коломенское. Наконец, на Фомину, после Божественной Литургии, я повелел оседлать коней, и в сопровождении нескольких мужиков мы с княгиней отправились верхом на Воробьевы горы. День выдался теплым, солнечным. Нежная, бледноватая, словно разведенная чистой родниковой водой, зелень расплескалась по всей Москве и округе. С кручи мы спустилсь к реке. Спешились. Я повелел мужикам отойти ниже по течению и выкупать коней. Постелив попону на свежую траву, скинул кафтан, верхнюю рубаху, присел, стянул сапоги.

- Ой, – воскликнула Алла, - так искупаться хочется!

- У нас до Троицы не купаются.

- Печет, - словно маленькая девочка, сложила лодочкой ладони на груди она,

засмеялась, - русалкам я не нужна! Не утащат.

И такой красивой показалась мне, что я, покачав головой, попросил: «Только далеко не заплывай!»

Она ушла в кусты и скоро вышла в одной рубашке. Прижала руки к груди, медленно вошла в воду. Дошла до пояса. Несколько раз, весело охая, присела. И поплыла. Я залюбовался ей. И так самому захотелось броситься в тугие, жгучие струи Москва-реки! Вспомнилось детство. Да так, что взгляд затуманился…

- Кня-а-а-азь! – вывел меня из воспоминаний голос княгини. Она в саженях пяти от берега из воды махала мне рукой. Вскочил. Выпрыгнул из портов. И с разбегу бросился в воду. Она действительно обожгла все тело. Под водой я быстро доплыл до Аллы. Вынырнул. И тут меня… обожгли ее губы. Ноги не доставали до дна. Мы, кувыркаясь на плаву, не отрывались друг от друга. Потом вдруг Алла оттолкнула меня. Взмахнула руками. Быстро поплыла к берегу. Крикнув мне: «Догоняй!..»

Я и исполнил! Выбравшись из воды, увидел ее, стоящую надо мной. Смеющуюся. Но намокшая рубаха просвечивала насквозь, подчеркивая всю стать ее молодой плоти.

Меня бросило в жар. Она двинулась назад. Я – за ней…

…Я едва оторвался от Аллы. И не смел поднять на нее глаз. А она радостно, не стесняясь своей наготы, смеялась: «Ты мне сразу приглянулся. Но разве я могла мечтать о таком счастье?! О свободе?! О тебе?!»

- Так что ж, – несмело поднял я глаза и тут же обжегся взглядом о ее плоть, - люб я тебе?

- Не спрашивай про то! Зачем говорить? Неужели ты не понял? Ой! Какой же ты еще отрок! – еще звонче засмеялась она и, кинувшись, повалила меня опять на попону…

…Мы возвращались когда солнце едва коснулось куполов дальних церквей. Я искоса поглядывал на княгиню. А она весело о чем-то щебетала. И я радовался этому щебету. И не было стыда, а тем более – не было ощущения греха. Хотя где-то внутри чей-то голос напоминал: «А ведь сблудил!..»

Мужики подотстали, и я тихо спросил Аллу: «А выйдешь ли за меня?»

- Ой, - потупилась она, - так сразу?! Надо бы обождать. Разве тебе не сладко было?

- Сладко-то – сладко. Но хочется, чтобы всё – честь-честью! По-людски!

- Значит и я люба тебе?

- Кончено! – даже привстал я на стременах.

- Дай мне ночь на раздумье. Я ведь отвыкла быть хозяйкой. Совсем недавно – из холопок…

- Добро, - кивнул я и пришпорил коня. А на рассвете меня растряс за плечо Тихон: «Княже! Пробуждайся! К тебе княжич Емелиан пожаловал.»

- Зови сюда! – мотнув головой, пробормотал я и сладко вспомнил вчерашний берег Москвы-реки на Воробьевых горах. И снова горячее томление вспыхнуло внутри: «Как-то она сейчас? Что думает? Что решила? Поскорей бы – к ней. Только как от мужиков-то скрыть? Не по-русьски все вышло! Впрочем, что это я? Мы же – не отрок с отроковицей. Всё это было и у меня, и у нее»!

- Спишь да почиваешь? – со смехом ввалился к мне в ложницу Емелиан, - *Христос Воскресе*!

- *Воистину Воскресе*! – вскочил я, едва успев до его прихода натянуть порты. Мы похристосовались.

- Прости, в такую рань заявился. Проститься приехал. В Пронск с грамотами отправляюсь. Отца моего Государь

кормленщиком ставит. Только теперь по Судебнику, который Государь Иоанн Васильевич с митрополитом Макарием, попом Сильвестром, Алешкой Адашевым и Ондрейкой Курбским написали, даются уставные грамоты местного самоуправления. Согласно Судебнику наместники и волостели, поставленные ранее или заново, не смогут судить без участия выборных от населения: дворского, старост и лучших торговых людей местных крестьянских общин. Государь так и написал: «А болярам и детем болярским, за которыми кормление с судом болярским, и им судити, а на суде у них быти дворскому и старосте и лучшим людем». Кроме права собственного суда через выборных судей, всем общинам, как городским, так и волостным, Избранная рада предоставляет право собственного управления, раскладки податей и надзора за порядком. Указа-то пока нет. Но Государь желает проверить, как его эта задумка приживется пока в Пронске.»

- А что с этим-то, с бывшим? С колодником нашим? – еще раз помотал я головой, не совсем уразумев сказанное.

- Тут наши, из тысячи, таких же иродов привезли с десяток. Ты-то не был у князя Курбского в Светлую среду. Я – тоже. Но

встретил Панкратку. Так вот, Панкратка сказывал, что Государь сам судить будет. Но гневался он на нашего полонянина! Даже князь Ондрейка Курбский не мог умирить сердца Государева! Иоанн Васильевич-то вором его назвал! Иудой! Говорил, что нам Царство возводить надо Православное, Подножие Престола Божиего, Удел Пресвятой Богородицы, а этот – под себя гребёт. Мол, не подавился еще?! Подавится скоро! Полагаю, смерти предаст. Слово-то какое молвил: «не подавился - подавится»! А что?! Вор – он и есть вор! Не гляди, что болярского роду.

- С десяток, говоришь?

- С деся-а-аток! Но сдается мне, что везти их на Москву еще и везти. Кстати, и за Середниковским послали конных стрельцов. Я слыхал: тоже в железах привезти велено. Только ты никому пока - ни слова!

- Что ж я, отрок, что ли? Государево дело!

- А ты… Это… Коли желаешь, перебирайся в мои хоромы! Они попросторней твоих-то будут! Я, ежели Бог даст, вернусь не раньше Успения Божией Матери. Потому, как обязан проследить за выборностью. А? Я повелел старосте принять тебя с холопами и всей рухлядью, -

хитро, но добродушно улыбнулся княжич Емелиан.

- Спаси тя Господи! Пока места всем здесь хватает. К тому же, сегодня – пред светлые очи князя Курбского. Куда он направит еще?

- Ну… Как пожелаешь. Прости, коли обидел чем!

- Бог простит! А мне, друже, прощать не за что. Ты меня прости.

- Бог простит. Бог простит. И мне тебя тоже не за что прощать! Я тебя, как брата полюбил.

Мы похристосовались. И он вышел. Скоро с улицы донесся конский топот. А я опять погрузился в свои думки.

«Как быть со свадьбой-то? Ведь, теперь я - человек служивый! Надо разрешение на то брать. У князя Курбского. А тот, поди, - у попа Сильвестра ли, у митрополита. Они – у самого Государя, должно быть! А мне еще и к матушке тогда надобно сгонять. У нее благословения просить. А, стало быть, знакомить ее с княгиней. Времени-то сколько уйдет. Ох-ох-ох! Надо поспешать. А как? Да что это я, собственно? Ведь княгиня еще не дала согласия. А ну, как откажет? Не-е-ет! Теперь, после вчерашнего, не откажет. Просто, по-бабьи, «ломается». Ох! Не

получилось как у людей! Так ведь, не в первый же раз! К тому же – вдовец. А ну, как Церковь не разрешит! Второе венчание! Не-е-ет! Разрешит! Великому-то Князю Василию, батюшке Государя, разрешила! Так то – Государю! А я?! Княжонок! Ох-ох-ох! Помоги, Господи»!

Не постучав, я вошел в лежницу Аллы. Она, сидевшая перед зеркалом в одной рубашке, поначалу смутилась. Запахнула вырез на груди. Но тут же вскочила. Прижалась ко мне всем телом. Подставила губы для поцелуя. Я, конечно же, поцеловал и… прилип!

…Отдышавшись, спросил: «Ну, и что ты скажешь? Прошла ночь раздумий.»

- Я согласна… Только…

- Что?

- Только всё это может…

- Что-о-о?!

- Тебе же надо получить разрешение. От Государя. Ты же – его холоп. А потом – родительское благословение. А это – нам с тобой ехать в та-а-акую даль.

- Погоди, - перебил я, - откуда ты знаешь о разрешении Государя?

Какое-то раздражение или тревога закипали во мне. Но я сдержал себя. Спросил: «И откуда тебе ведомо, в какую

даль ехать за родительским благословением?»

- Да я… Я на торгу слышала, как две паночки судачили о том же меж собой. А ехать куда, так Фока вечерами рассказывал о батюшке твоем покойном, о матушке, о сыночках. О том, каким ты в детстве и отрочестве сорванцом был! Я все и выспросила. Разве то - грешно? А кто это приезжал к тебе? Я хотела, было, зайти в твою лежницу, но ты с кем-то толковал.

- А-а-а, – махнул я рукой, - один мой добрый соратник. Княжич Емелиан. Попрощаться заехал. В отчинку свою едет. В Пронск. Сейчас же в Царстве Русском все по-новому, по-доброму будет!

- Да-а-а, не то, что у ляхов! Или у ливонцев! Или у той же литвы! Я походила по торгу. Сперва боязно было. Но потом гляжу: лю-у-у-убо! Лепотно здесь. По-доброму! По-христиански! И что же? Я, безродная княгиня, бывшая холопка смогу обитать, как какая-нибудь бо-о-о-лярыня ро-о-о-довитая? – опять прильнула она ко мне. Вырез ее рубахи распахнулся как бы сам собой. И я опять прильнул губами к ней.

- Да, - говорил я между поцелуями, - сейчас в Царстве Русском мы с тобой – главные! После Государя и ближних его.

Сейчас главные – те, кои служат, а не сидят по палатам.

- М-м-м, - застонала она. Но в это время раздался стук в дверь, а из-за нее послышался голос Тишки: «Княгиня! Князя не видала? Тут вестовой - к нему.»

Я вскочил. Вышел. И наткнулся на Тишку и конного стрельца.

- Княже, - тихо молвил второй, - тебя немедля требует к себе князь Курбский.

- Тишка, – кивнул я, - одеваться.

…И скоро стоял перед широким и длинным столом, уставленным блюдами с мочеными яблоками, брусникой, медом, квашенной капустой, крынками, как я понял, с квасом и кислым молоком.

- Ну, что, голубь, – болезненно улыбнулся князь Курбский, - разговелись мы крепко. Пора и за дело браться. А лететь тебе, голубь… Нет-нет! Здесь, в Москве пока будешь. Слыхал я: ты - знатный рубака. Вот, и поезжай, приглядись, как конных стрельцов учат рубиться. Там – дело тонкое. Среди учителей есть иноземцы. К ним и приглядись. Поживи с ними. А я пока словечко за тебя Государю замолвлю, чтобы к Рождеству Христову ты нововселье в новых хоромах справил. Государь – ще-е-е-дрый! К щедрым на службу холопам. Тогда и

матушку свою с сыновьями к себе перевезешь. А там глядишь и деревенька, сельцо какие перепадут. За добрую службу-то!

- Князь Ондрей! – жестко произнес я первые слова, но вдруг как-то весь внутри сник душей, - ты мой – начальник. И вот… Вот… Я тут жениться надумал.

Курбский даже откинул голову назад, словно спрашивая: «Ну, и»? А вслух произнес: «Уж не на умыкнутой ли тобой холопке-княгине?»

- На ней, - вконец смутившись, опустил я голову, - но тут такое дело… Я ведь – вдовец. Как Святая Церковь на второе венчание?

- Не кручинь сердца! – хохотнул он. Даже не дал договорить; «На второе венчание вдову или вдовца до сорока пяти лет Церковь благословляет. Но я пока не велю. Давай, повременим. До похода. Сам поразмысли: зачнет она дитятку, а ты, - все под Богом ходим, - останешься… там. Не надо сиротить. А уж ежели случится, так ты оставить должен сироте достойные средства для жизни. А их, эти средства надо за-служить! Погоди малое время. Или?.. Уже?.. Просил же тебя Иоанн Васильевич не блудить. Ну, да ладно. Мы ему не скажем.

Даже Царям не все полезно знать, что нам положено! Ха-ха! Одно могу сказать тебе: после похода отпразднуем твою свадебку! Слово Курбского! Ступай с Богом.

…Через несколько седмиц, перед самой Святой Троицей я вошел к Курбскому. А перед ним уже стоял тот самый полковой голова, со стрельцами которого мне пришлось маяться, вспоминая каждую ночь княгиню Аллу. Ну, не мог я ничего сделать с собой, чтобы не вспоминать! Когда я вошел, и тот, и другой смеялись. Увидев меня, засмеялись еще громче и задорнее.

- Рубится! Да как! Любо-дорого, – сквозь смех говорил полковой голова, - но стоит прерваться, тут же глаза становятся, как у карася, из самой глубины выловленного.

- Самое главное – рубится! – вторил ему Курбский.

- Да… Жестоко! Не хотел бы в сече под его саблю угодить.

Тут я понял, что речь идет обо мне. Какая-то досада вспыхнула в сердце. Я выпалил: «А меня так под Казанью рубили!»

- Ну, ладно-ладно! Вот уже и обиды пошли! Полковой-то голова хвалит тебя – не нахвалится! А посмеяться да подтрунить, а главное, - когда с соратниками, - над собой

перед сечей, – только на пользу. Этим ты силу свою духовную показываешь. И смирение! – поднялся из-за стола Курбский. Положил мне руку на плечо: «Так что, не заводись, словно петух перед тем, как в курятник зайти! Многому ты научил стрельцов! Лозу на скаку рубят! Ло-о-озу! А ты, Алексашка, что про стрельцов скажешь?»

- А что сказать? Были бы дурны, наговорил бы десять коробов. А так одно скажу: добрые ратники! – пожав плечами, ответил я.

- Спаси тя Господи на добром слове, - поклонился мне полковой голова.

А князь Курбский довольно хмыкнул: «Ладно, Алексашка, езжай к своей зазнобе… Давно ль на исповеди-то был?.. Езжай с Богом. День тебе – Святой Троицы, сама Святая Троица, да День Святаго Духа – на отдых. На второй день седмицы чтоб здесь стоял! Без хмеля в голове и без блажи в сердце!»

Я поклонился. И вылетел вон. Однако, проезжая по улице, никак не мог найти своей истбы. Всё, вроде бы, - то же самое. Церковь. Две лавки. Истбы все – те же. А где ж моя? Стояла, похоже, здесь… Но передо мной за новым, тесовым, еще пахнувшим смолой

забором, возвышались свежесрубленные знатные хоромы. Тут калитка отворилась, и в ней я увидел Фоку. Раздо-о-обрел старик. А может быть, - не он. Не-е-ет. Он. Увидев меня, старый холоп поклонился в пояс. Заулыбался: «Будь здрав, княже! Наконец-то! А мы-то ждем - не дождемся.»

- Погоди, Фока! А что за хоромы? – спешился я.

- Дык, как только ты отбыл, понагнали сюда плотников, пильщиков иных всяких. Возами тес прибывал. Разгружать не поспевали. Всё наше, прежнее, поначалу порушили. Мы, грешники, под открытым небо, рядом со скотиной спали. А эти, пригнанные, не то, что днем, ночами при факелах работали. Соседи поначалу, ой, как роптали: мол, спать мешаем. Так на третий день полсотни стрельцов пригнали. Кстати, с братцем твоим во главе, князь-Петром. Он их, соседей-то, и пугнул. Враз притихли. Вот, теперь изволь пожаловать в свои новые хоромы. Сюда и матушку болярыню с внучатками, - сыночками твоим, - и привезти нестыдно.

- Погоди, – едва сдерживал я за узду перебирающего ногами коня, - а княгиня? Где она? Как?

- А что? Веселая! Добрая! Сама уже с бабами нашими на торг ходит. Кормит нас всех ладно. Да и зодчих баловала. Возами покупала снеди всякой. Вот, только…

- Что?

- Нищих черезчур привечает. Это, конечно, по-христиански. Но повадился тут один… Я тебе про него еще в тот раз сказывал. Когда ты перед Рождеством Христовым на Рязанщину ходил. Ну, тот, противный старик. Рожей на беса похож. Так она его особо жалует. С лица, оно конечно, воду не пить. Но не урод, а страшен. Носом своим, кажется, в самую душу клюет. Вот-вот отнимет! Душу-то! Господи, спаси и сохрани! Прости уж меня, княже! Но всё сдается мне, что где-то я его еще да-а-авненько видал. И сердцем не могу принять его, эдакое страшилище. Прости, Господи!

«Сердобльная, нищелюбивая!» - хмыкнул я про себя. И, бросив уздечку Фоке, зашел в калитку. Двора я не узнал. Хоромы – бо-о-олярские! Не узнал и Аллы. Она как-то особенно округлилась. Увидев меня, подбежала. Прильнула. Опустила глаза на живот.

- Что? – мотнул я отяжелевшей от прихлынувшей крови головой и тоже опустил глаза.

- Да, - только и сказала она. Я подхватил ее на руки и внес в терем, целуя глаза, нос, щеки, уши, волосы, губы. Она не сопротивлялась. Наоборот, обвила мою шею руками. Прижалась. Притихла. Теперь обычная ее лежница стала настоящим покоем, через светлицу и несколько сеней выходящим в висячий переход. «Грех-то какой! – мелькнула вдруг думка. Но я отогнал ее, решив: «Какой же грех в рождении новой душеньки живой?! Божией души!»

- Как съездил? – томно прикрыв глаза, спросила княгиня.

- Что как? С конными стрельцами занимался, - ответил я, любуясь ее лицом.

- С ко-о-онными? А что, у русьского Царя конные стрельцы появились? Это с такими железными трубками, которые огнем палят?

- Скажешь тоже: с тру-у-убками. С пищалями! – засмеялся я, опуская ее на лежанку.

- А ты принеси домой, чтобы вблизи на нее поглядеть… Ой! Что это я, неразумная такая! Мне бы о своем, о бабьем думать! Вот, завтра пойду на торг.»

- Погоди, – вскинулся я, - что это такое? «У Русьского Царя»? У твоего Царя! Ты

носишь во чреве чадо холопа Русьского Царя. Значит, и сама - его холопка. Только это – не тягота! Это – высшая Божия награда. И потом нам нужно такое войско, чтобы пеший ратник мог в любой миг вскочить на коня и рубиться, как рубится конный. А конный ратник, потеряв коня, должен уметь делать все в сечи, что умеет пеший. И чего это ты на торг собралась? Для этого Фока есть, пять баб. А сейчас еще холопов и холопок вызову! Такие хоромы обихаживать надо! Так что, никаких торгов!

- Нет-нет, мне самой надо выбрать снедь, вещи, которые в обиходе необходимы. Я тут заморские сладости заприметила. Сколько ж тебе, родимый, претерпеть пришлось! Поди, уже не одну сотню на конях ратиться напестовал!

- Ага! Я – сотню. Другой – сотню. Скоро всех твоих обидчиков порубаем! К Покрову еще сотен десять обучится.

Тут я осекся… Что несу?! Оттолкнул ее: «Не смей меня более о службе спрашивать!»

- Так я же и не спрашиваю. Сам говоришь. А мне это даже слушать неприятно. Я просто тебя жалею. Соскучилась, - вдруг заплакала она.

Я погладил ее по волосам: «Ладно-ладно. Погорячился я. Действительно, сам – болтун. Ты уж прости.»

«Завтра же – Троица!» - вдруг вспомнил я. А вслух сказал княгине: «Ты не желаешь ли завтра причаститься Святых Тайн? Из одной чаши со мной! Представляешь какая сила объединит нас?!»

Она опустила глаза. Задумалась. Закусила губу. Тихо сказала: «Боюсь я… Это же – святыня. А меня все время вот уже неделю тошнит и тошнит. А вдруг не удержу причастие?! И голова кружится. Я вообще хотела просить тебя оставить меня завтра дома.»

- Ну-у-у, что ж… Оставайся. Только причастие при твоей непраздности – самое целительное и укрепляющее средство! Как перестанет тошнить, так почаще ходи причащайся.

- Как скажешь, - она опять прижалась ко мне, повалилась на лежанку, увлекая за собой.

- Что ты?! Что ты?! Разве ж можно,– отстранился я, - при непраздности?! Мне мой покойный духовник еще по молодости лет с покойной женой запретил. К тому же, мне завтра – приобщаться Святых Тайн. Пойду распоряжусь, чтобы сегодня мне постное

подавали. А тебе – обязательно молочное! Даже по средам и пятницам. Впрочем, завтра благословлюсь за тебя у отца Иеронима.

Я встал и вышел. А после трапезы знакомился с обновленным хозяйством. Да-а-а! Щедр Государь! Палаты мои теперь свободно вмещали поболе полсотни домочадцев, конюшня – два десятка голов. По заднему двору гуляли куры, утки, гуси, свинья с поросятами. Из коровника доносилось сытое мычание. Я подозвал Тишку и Фоку. Первому сказал: «Седлай коня. Сгоняй в стрелецкий полк, к князьям Петру и Георгию. Пригласи завтра на праздничную трапезу. После Божественной Литургии. А ты, старик, вели приготовить стол. Накрой в саду. Кстати, как тебе удалось так усадьбу расширить?»

Фока почесал за ухом: «Дык… Не я расширял. Князь Ондрей Михайлович. Как деньги-то привез, так и повелел соседские земли занять. Оказывается, соседи-то во Псков подались. Там у них кто-то помер, большое наследство оставил. Вот и ушли. А коли сосед бывший от службы Государевой отошел до времени, так земельку, да хоромы освободить должен. Так теперь Князь наш Великий и Царь повелевает. А что? По мне – так по-Божески!»

- А что ж сразу-то не рассказал мне?

- Да ты ж, княже, и не спрашивал. Что ж зря языком молоть?!

…Перед Вечерей я готовился к исповеди. И вдруг думка обожгла меня: «Как же сказать про Воробьевы горы? Ведь отец Иероним и до Святого Причастия может не допустить! А впрочем, сказать надобно. Ну, наложит запрет, - это уж, как положено! Ха! Алла-то – непраздная. Повторять Воробьевы горы не придется. Епитимийные поклоны отобью с Божьей помощью. А там, глядишь и свадебка. А покаяться надо! Вот только чувства греховности нет в сердце! В этом тоже покаюсь! Ох-хо-хо! Помоги, Господи»!

…Вечерняя служба была умилительной. Со слезами на глазах воздевал руки к горнему Иерусалиму отец Иероним. Но перед тем, как исповедовать, преобразился лицом: взгляд стал твердым, сверкающим, сам он весь выпрямился, помолодел, словно перед ратным поединком. Крест сжал так, что суставы на ладонях побелели. Голос возвысился под самый купол храма: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Где живем мы, братия и сестры? В Москве. В стольном граде Царства Русьского, бывшего некогда Великим Княжеством Московским. Но почему же

изменилось название Отчины нашей? Да потому, что, наконец, осознали древние русичи, откуда они берут свое духовное начало. Откуда же? От первых людей, сотворенных Богом, от Адама и Евы! От первородного сына благочестивого праотца нашего Ноя, от Иафета! От внука его Мосоха, который привел богоизбранный род свой на землю нашу. Вслушайтесь в имя: Мос-ох… Сравните: чья земля? Мос-охова! Мосхова! Мосхва! Москва!!! А ведь тогда не было разделения языков. Не было его до того момента, пока в очередной раз не возгордились чада Божии, и в этой сатанинской гордости не задумали подняться до самого Престола Божия, воздвигнув Вавилонскую Башню. Вот тогда-то и вразумил Господь Бог нерадивых чад своих, разделив их языки. Только род Мосоха не участововал в гордо-греховной затее. Как знать, может быть, и на нашем великорусьском языке говорили первые люди. Посему и сродни древние русичи и мы, их потомки, Царскому роду Давидову. Цар-ско-му! Кто был первым нашим Царем, - или как говаривали раньше, - Великим Князем? Рюрик-варяг. Что означает «варяг»? Мореплаватель. Но был он явно русичем. А в четырнадцатом колене – предком Римского

Императора Августа. Но пал в гордом, сатанинском язычестве первый Рим, который тщетно пытались просветить святые апостолы Петр и Павел. Тогда Византия стала Вторым Римом, несущим в себе свет Христов всем остальным народам. Первый Рим - наследник мировой империи языческого Рима - отпал в гордыну католицизма. Второй, - Византия, - поступившись чистотой Церкви ради сиюминутных выгод, был отдан Богом на попрание иноверцам, последователям Магомета. Два Рима пали в ересях и суетных соблазнах мира сего, не сумев сохранить благоговейную чистоту веры, чистое и светлое мироощущения апостольского Православия. Однако, Бог поругаем не бывает. И наимудрейшим Просмыслом Своим выбрал Он наш народ продолжать святое дело. Русь всегда была тесно связана с Византией. Еще Креститель Руси святой равноапостольный благоверный Великий Князь Володимир взял в жены византийскую царевну Анну. От дочери византийского Императора родился Великий Князь Киевский Володимир Мономах, которому отец жены в начале двенадцатого века от Рождества Христова прислал крест из Животворящего Древа, сердоликовую чашу,

принадлежавшую его предку Императору Августу, правившему Римом еще при земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Царские бармы и Царский венец - шапку Мономаха, которыми с тех пор венчались на Великое Княжение Русьские Государи. Великий князь Иоанн Третий Васильевич овдовел в двадцать семь лет. Супругой его стала София Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина XII, в Царствование которого турки-османы завоевали Константинополь. Семья будущей Великой Княгини Московской бежала. Сама же она, поселившись на Русьской Земле родила от Великого Князя Иоанна Васильевича первенца Василия, будущего отца нашего нынешнего Государя. Не может не быть на нашей грешной земле иконы Царства Небесного! Именно потому, что Княжество Московское осталось последней Православной Державой, мы именуем его ныне Царством, а Великого князя Московского по византийскому образу - Царем и автократором, то есть Самодержцем. Но для чего я это говорю вам сегодня, накануне Великого Праздника Святой Троицы? А для того, чтобы открыть святость сути Третьего Рима. Он может быть

таким только тогда, когда и здесь, на земле, на иконе Царства Небесного, когда мы все станем телом Церкви, когда возникнет и у нас триединство, олицетворяющее Святую Троицу: Вера Православная, Православный Царь и Православное Отечество! Когда мы все, как один, будем готовы не пожалеть живота своего за каждый из перечисленных ликов. Когда будем готовы погубить души свои за них, дабы, по слову Христову, спасти их! Вы можете возразить мне, мол, Бог и Господь наш Иисус Христос говорил про Себя Самого, мол, кто погубит душу свою за Меня, спасет ее. Но кто может сказать, что Христа нет в Вере Православной, в Помазаннике Божием – Царе, в Православном Отечестве – Иконе Царствия Божиего? Кто?! Такое могут сказать только ворог рода человеческого и темные ангелы его и слуги его в людском обличии. Так будем же безприкословно верить Государю нашему с верными слугами его, Церкви Святой, дабы Отчина наша стала иконой Царства Небесного. А если потребуется, все, как один положим за них души и животы наши. Аминь.»

Прихожане стояли, словно зачарованные. Я почувствовал, как слезы стекают по моим щекам на бороду. Скосил

взгляд налево, направо. Люди разных возрастов, сословий тоже стояли со слезами на глазах. Драгоценнее золота, любых самоцветов виделись мне слова отца Иеронима. А он уже, благословив прихожан, направился к аналою, у которого должен был исповедовать своих духовных чад. Когда я подошел к нему, язык мой онемел, прирос к нёбу. Священник взглянул на меня. Нахмурился. Покачал головой. И вдруг спросил: «Сблудил?»

У меня перехватило дыхание. Но я прохрипел: «Каюсь, батюшка!»

- Прости, Господи! – перекрестился он. И я подумал, мол, откуда же он узнал? А он вдруг продолжил: «Всех ли ворогов по необходимости жизни лишал?»

- Каюсь, батюшка!

- Прости, Господи раба Твоего болярина Александра! - продолжал пристально вглядываться в меня отец Иероним: «Ну-у-у, пост ты соблюдал! А что ж получилось из блуда? Как же ты не разумеешь, что чадушко твое в утробе его матери – ублюдок! Жизнь его или ее вся может пойти наперекосяк с грехами! Твой грех всю жизнь висеть над головой его или ее будет! А? Теперь понял свою греховность? Понял ее смертоносность? Понял, что ты

уготовил чаду своему? Как же его тебе отмаливать у Господа надо? Неужто, не разумеешь, что грехом сим смертным ты и свою душу для врага рода человеческого открыл? А? Ай-ай-ай! Какие он тебе еще соблазны подготовил? Какие грехи подсунет? И они, словно снег на малый комочек налипать будут! Что ж княгиня-то сама не пришла покаяться? Или на немощь сослалась? Надо, чтобы она покаялась. Чтобы вам вместе отмаливать дитятко. Думай, как это сделать.»

- Помолитесь, батюшка! – выдавил я из себя через силу.

- Помолюсь. Куда ж деваться-то?! А вот тебе – десять земных поклонов ежедневно до рождения чада со словами: «Господи, прости меня грешного блудника. Господи, спаси чадо мое, грехом зачатое»! И гляди! Не пропусти ни дня! Для епетимии сей у тебя нет ни праздников, ни воскресных дней. А коли пошлет Государь куда, все одно твори поклоны. Хоть в лесу, хоть в поле! Хоть днем, хоть ночью!»

- Все исполню, батюшка!

- Не хвались, едучи на рать! Проси Бога помощи исполнить епитимию! Ангела-Хранителя своего. Небесного Покровителя проси.

- Спаси Господи, батюшка. Благословишь ли причаститься Святых Тайн?

- Что ж делать?! Не положено, но учитывая, что ты на Государевой службе! А ведь именно она – твоя главная молитва ко Господу! И завтра много хмельного не пей.

- А ты, отче, не соблаговолишь ли придти к столу?

- Нет. Прости. Мне митрополит повелел прибыть в свои покои сразу после Божественной Литургии.

…Дома я твердо повелел княгине сходить на исповедь. Она заплакала: «Ну, как же я смогу с недугом моим?! Опять рвало сегодня. Ладно-ладно. Схожу после праздника. В будний день. Только повели никому не сопровождать меня. Стыдно!»

- Чего стыдно? Исповедоваться?

- Не-е-ет! Стыдно грех раскрывать! Да и греховности я не чувствую! Так сладко было!

И тогда я передал ей слова отца Иеронима, из которых сам понял свою греховность. Сказал при этом, что тоже поначалу ее не чувствовал. Она внимательно слушала. Слезы у нее на щеках высохли.

- У католиков с этим всё проще, - вдруг сказала княгиня Алла.

- Мы с тобой – православные христиане, - я поцеловал ее в лоб и ушел в свою лежницу. Там опустился на колени. Молился. Поминал убиенного отца – за упокой, княгиню Аллу, матушку, сыновей, тетку, братьев, Государя с семьей – за здравие. Каялся. Просил о помощи, как наставил отец Иероним. На коленях и заснул… А проснулся от ударов колокола. За окном светало. Я сделал десять поклонов. Оделся. И шагнул за порог. За мной потянулись домочадцы. Кроме княгини. Стоять на службе было тяжело. Горели пятки. Но словно камень свалился с плеч, когда принял Святые Дары. Словно солнце вспыхнуло в сердце. Неужели Господь простил? Или дал понять, что может простить?

…К полудню стол в саду был накрыт. Все хоромы украшены березовыми ветками, а земля, как в церкви усыпана свежескошенной травой. Но вместо братьев Петра и Георгия в калитку ввалились веселые князья Курбский, Панкратий, Мстислав и еще несколько незнакомых мне.

- Вот, решили навестить, – хлопнул меня по плечу первый, - я-то – не надолго. Мне еще к Государю надо вечером на пир. А вот моя славная конница, - уж, не обезсудь, -

не уйдет, пока всех вин твоих и медов не попробует! А где же твоя суженая-ряженая? Похвались!

Мне стало радостно! Я поспешил в терем. Но княгиня, услышав про приглашение, замахала руками: «Куда мне - за стол? Бог с тобой! Но, ежели желаешь, я по-христиански прислуживать вам стану.»

Я пожал плечами. И подумал: «Вот не была на празднике в храме и не дает тебе Господь праздновать с нами за столом». Когда же гости узнали о решении Аллы, захлопали в ладоши.

- Вот, учитесь, братия, - засмеялся Курбский, - как женок надо пестовать! По Домострою!

- По чему? – не понял я.

- По Домострою! Не читал? Это сочинил отец Сильвестр! Там все расписано! Да так ладно! «...Трудом же своим да стоит каждый дом и всякий народ» или «...Благословенным трудом и средствами праведными жить подобает всякому человеку. И, видя добрые дела ваши, и милосердие, и любовь сердечную ко всем, и таковую праведность, обратит на вас Бог свои милости и преумножит урожай плодами и всякое изобилие...», или вот, еще, «...В домовитом обиходе и везде… и стару и малу

всякое дело начати или рукоделничати, или ести или пити илиества варити или печи што и всякие приспехи делати и всякое рукоделие и всякое мастерьство… да молитву Исусову проговоря… тому Божия милость поспешествует Аггели невидимо помогают...». Как вам? А? Ладно ли? А вот уж, совсем добре: «...А людей… держати чтобы были рукодельны кто чему достоин и какому рукоделию учен, не вор бы не бражник не зерьщик, не тать не разбоиник, не блудник не чародеи, не корчмит, не оманьщик… сыт бы был Государевым жалованьем… платенко верьхнее и нижнее и рубашка и сапог блюсти по празником и при добрых людех в ведро а всегды бы было чистенко и не изваляно, и не изгрязнено и не излито, и не измочено и не измято»… А вот нашему Алексашке – самое главное на будущее: «...А слуг также, смотря по вине и по делу, наказать и посечь, а, наказав, пожалеть; госпоже же за слуг заступаться при разбирательстве, тогда и слугам спокойней. Но если слову жены или сына, или дочери слуга не внимает, наставление отвергает, не слушается и не боится их, и не делает того, чему муж, отец или мать его учат, то плетью постегать, по вине смотря, да не перед людьми, наедине поучить,

приговаривать и попенять, и простить, но никогда не обижаться друг на друга. Ни за какую вину ни по уху, ни по лицу не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, ничем железным и деревянным не бить. Кто в сердцах так бьет или с кручины, многие беды от того случаются: слепота и глухота, и руку и ногу и палец вывихнет, наступают головные боли и боль зубная, а у беременных женщин и дети в утробе повреждаются. Плетью же, наказывая, осторожно бить, и разумно и больно, и страшно и здорово - если вина велика»...

- Как это ты князь Ондрей все запомнил? – удивленно крутанул головой Панкратка.

- И-и-и! Попробуй, не запомнить! Мы-то с Государем Иоанном Васильевичем сызмальства вместе – и в играх, и в учебе! Так отец Сильвестр еще года два назад нам плеши проел этими наставлениями! - засмеялся Курбский. Но тут же посерьезнел: «Хотя с другой стороны все верно сказано! По-Божиему Закону! Применительно к нашей обыденной жизни. И Государю по душе такое чтение. Коли желаете, принесу в расположение. А как будете в стороже, так вместо того, чтобы дремоту гонять, почитаете. Полезное дело для души, скажу я

вам. И духовник мой, наставник отец Максим Грек тоже внушает мне это. Он, знаете ли, столько книг духовных и служебных исправил! А сколько новых поучений святых отцов с эллинского перевел!»

Так, слово за слово, мы уселись за стол. Тихон возглавил баб. Сам подливал нам вина и меды. А бабы подносили яства. Первую чару поднял князь Курбский в благодарение Богу. Вторую – за праздник. Третью, как водится, - за Государя.

- Многая ле-е-ета! – взвилось над столом. А тут и братья Петр да Георгий подошли. Познакомились. Уселись за стол. Слушали. В разговор сами не вступали. Шутка ли, с самым ближним к Государю князем за одним столом оказались. Особенно радовался Петруша, - за меня! А Георгий, не отрываясь, смотрел в рот князю Ондрею. Тот между чарами говорил о том, что, когда постареет, и не сможет уже участвовать в сечах, коли Бог в живых оставит, мечтает написать житие Августина Гиппонского, где нибудь в дальнем сельце создать скрипторий, в коем переписывались бы и переводились рукописи, писались различные сочинения. Задумал он перевести сборник «Новый Маргарит», в основе которого лежат труды

святителя Иоанна Златоуста и святого преподобного Иоанна Дамаскина.

- Правда, Государь спорит. Говорит, что надо бы своих, русских святых отцов труды печатать! Я спросил, мол, кого? Он назвал преподобного Иосифа, игумена Волоцкого. Конечно, его «Просветитель» - ладная книга! Но его взгляды, а тем паче поступки… Представляете, словно латиняне-католики, наши деды по наущению именно неистового Иосифа столько еретиков в огне сожгли. Не знаю, как кто, а я полагаю это смертно греховным. Бог дал жизнь человеку, Ему и забирать ее! А потом! Первые-то христианские монахи в пустыни уходили голы и босы, ни-че-го-шень-ки не имели. Питались травами, и то – раз в неделю! Жили в пещерах. И молились! Вот ведь – основной труд монахов. А у нас?! Монастыри землями владеют, лесами с охотой, селами, деревнями, озерами с рыбным промыслом! Где у них найдется время молиться за нас грешных? Вот, спросил я наставника своего отца Максима про Святую гору Афон, - удел Пресвятой Богородицы, - мол, там монастыри владеют селами, деревнями, холопами? Он там до-о-олго подвизался. И что же услышал я в ответ? Нет, чадо, монахам этого не нужно. И на Афоне, уделе

Пресвятой Богородицы, нет такого! А с другой стороны, если забрать у монастырей земли, села, другие угодья, - заметьте, лучшие, самые плодородные, - сколько можно нашу, ратную, дворянскую братию, за службу отблагодарить?! Ну, ничего-ничего! Избранная Рада наша во главе с Государем во всем этом разберется! И расставит по своим местам, Богом установленным.

А я вдруг подумал: «Что ж мы молчим? По крайней мере, трое из нас? Или это я что-то запамятовал? Не иеромонах ли на подворье Чудова монастыря толковал, что игумен с Волока Ламского, отец Иосиф сам сидел на хлебе и воде, так же благословлял братию, - да и то, поди, раз в неделю, - зато спас от голодной смерти тьму людишек, когда Литва, набежав, все сожгла. А спасал-то он за счет монастырских сел, деревень, рыбных промыслов. За счет монастырских запасов! А что же я сам молчу?! Как же? Скажешь тут, когда все сидят с открытыми ртами. Слушают! Кого? Князя Курбского? Не-е-ет! На-а-ачальника»!

Я крутанул головой и увидел княгиню, стоявшую поодаль. Она тоже внимательно слушала, прислонившись к опадающей цветом яблоньке и сложив руки на груди. Но взгляд ее показался мне вдруг совершенно

чужим! Жестким. И острым, словно лезвие сабли.

Я опять крутанул головой. Прикрыл глаза. А когда открыл и опять взглянул на Аллу, встретил ее взгляд. Теперь он был нежным, даже страстным, что сейчас в ее положении совершенно недопустимо.

- Ну, всё, братия! Всё! Мне пора к Государю… - встал из-за стола Курбский. И перекрестил стол: «А вы тут гуляйте! Пра-а-аздник на Священнорусской земле»!

- Погоди, Ондрей Михайлович. Не поведаешь ли, - вскинулся князь Панкрат, - к чему приговорили моего бывшего старосту, вора?

- И-и-и, брат, – подошел к нему Курбский, - не время судить! Пра-а-аздник! Накануне Петрова поста и рассудим. Да хоть в четверток. В каменоломню бы его! А впрочем, ежели покается на святых Кресте и Евангелии, можно и помягче что присудить.

Он поклонился всем собравшимся и резво двинулся из сада. А мы продолжили веселье.

- Какой чудный князь! - задумчиво проговорил брат Георгий И сдвинул свою чару с моей: «Вот, под чьим началом я мечтал бы служить! И ратник, чую, добрый, и человек – книжный, мудрый.»

- Помоги тебе Господи, - ответил я, едва сам отойдя от невеселых думок.

- Ежели будет возможность, замолви за меня словечко! – жалобно попросил Георгий.

- ?

- Ну-у-у… Ты же - под его началом?! Под рукой князя Курбского.

- Договорились, - улыбнулся я, хлопнув брата по плечу.

Из-за стола мы подались на берег Москва-реки, куда собирался почти весь город на гуляние. Там уже были установлены качели, столбы с веревками для догонялок по кругу и другие, гладко обтесанные для лазания за сапогами, самоварами, другими наградами. Березки еще со вчерашнего вечера уже были обвиты лентами, цветами, рушниками. А теперь под ними девки трапезничали пирогами, яйцами, молоком или квасом. Какие-то из них начинали водить хороводы. А в другом месте уже звенела песня «Ты удайся, удайся, мой лен». Девушки повторяли движения сеяния льна, его прополки, уборки, чесаная и прядения. У самой реки пели «Мы просо сеяли» и тоже показывали зрителям сев, сбор, молотьбу, засыпание в погреб проса. Отроки перетягивали толстую веревку. Победившие падали на землю со смехом. Веселились и

зрители. Люди постарше, возвращаясь с кладбища, тоже присаживались на свежую, еще не потоптанную травку, беседовали, вспоминали усопших сродников. Князь Петр, высмотрев свою невесту, бросился к ней. А Георгий, Мстислав, да и другие из нас, и незнакомые княжата, сынки болярские, высыпавшие на гулянье, что помоложе, приглядывались к юным болярышням. Перешептывались, посмеивались, кивали то на одну, то на другую разрумянившуюся красавицу. А мне было почему-то не очень весело. Родные могилки – далеко. Даже цветочков не могу положить на них.

…Вернувшись вечером, я застал княгиню на лавочке, под крыльцом. Она сидела, грустно опустив глаза.

- Что-то случилось? Почему не в покоях? – спросил, забезпокоившись, я.

- Тошно мне в горнице, в лежнице. Повели траву убрать. От нее еще сильнее мутит!

- Хорошо. Только травка-то и березки – освященные! Наоборот должны хворь всякую отгонять! Иные непраздные наоборот Троицкой травой перины себе набивают, подушки.

- А у меня – наоборот,– резко вскинула голову княгиня Алла, - по грехам, должно быть.

Я сел рядом. Обнял за плечи. Попробовал успокоить. Но куда там! Она… разрыдалась. Я решил помолчать: понятно, не в себе княгиня! Тяжко ей! Вспомнилась Наталия. Она еще хуже переносила непраздность. Хотя деревенские бабы в этом положении и в поле ходят, и работают там. Вспомнилось, как матушка заставляла непраздную Наталию мыть полы, рассыпать горох и потом по зернышку собирать, наклоняясь за каждый отдельно. Говорила, что это – очень полезно и для будущей матери, - укрепляет чрево, - и для младенчика. Сказал об этом княгине.

- А князь-то Курбский – и собой пригож, и книжник знатный, и мудер не по годам! - вдруг вместо ответа на мои слова заявила она. И улыбнулась: «Вот с кем тебе дружбу-то водить надобно, как Панкратка делает сие. Тогда и по службе поднимешься быстро.»

- Да-да.., - не стал я обрывать ее, хотя очень хотелось. Дабы не совала нос не в бабье дело.

Куда-то пропало праздничное настроение. Я ушел к себе. И опять решил

подольше помолиться, чтобы отогнать всякие помыслы, непонятную тоску, предчувствие какой-то скорби. Послезавтра решил еще раз потолковать с князем Курбским: раскрыться перед ним о непраздности княгини, дабы поторопиться со свадьбой. А чем завтра-то заняться? Как это чем? Духов же День! Первым делом в храм. Я поздно улегся. Но даже во сне душа томилась все той же тоской.

Утром, на проповеди отец Иероним сказал, что жизнь по Духу Святому ясно обнаруживается в плодах Духа, к которым относятся, по словам святого Апостола Павла, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. «А у меня? – обжегся я думкой, - Есть ли они у меня? Ну, ладно, вера есть. Любовь? Конечно, к княгине, матушке, детям, соратникам, Государю. Но почему же нет радости, мира, кротости»? Дождавшись батюшку после службы, я поведал ему о своей тоске, даже каком-то отчаянии от думок.

- Это – хорошо, – вдруг заулыбался отец Иероним, - потому как это душа твоя борется с болезнью греха! Молись. Проси у Господа сил для этой борьбы. Проси ниспослать Духа

Святаго в подкрепление душевное. А что ж? Княгине опять неможется?

На мой кивок он покачал головой. Но ничего не сказал. И зачем-то вернулся в Святой Алтарь. Я не знал, ждать его или нет. А он скоро вышел в споровождении дьячка, несшего корзину, прикрытую красной тканью. Мне же отец Иероним пояснил: «Хоромы-то твои - обновленные, расширенные, - надо заново освятить. Заодно потолкую с княгинюшкой. А?»

- Спаси Господи, батюшка, - поклонился я.

Войдя в терем, мы услышали, что княгиня еще не вставала. Недужится. Я велел предупредить, что пришел священник, чтобы прибралась. Медленно, чинно, окропляя святой водой все помещения терема, двора, служил отец Иероним. Даже кони, корова с телком, свиньи, козы склоняли головы перед ним. Священник ушел в лежницу княгини. Я в это время повелел накрывать праздничный стол. Долго не выходил отец Иероним от Аллы. А, когда вышел, ничего не сказал. Только какую-то скорбь я заметил в глазах у него.

- Что-то дурное, батюшка? – безпокоясь, порывисто спросил я.

- Всякое и дурное, и доброе – от Бога! Вопрос: с каким сердцем принять то или другое. С благодарным или ропотным. Тебе надо за все благодарить Господа. Слышишь? За все! А дурное посылается Господом по грехам. Но – во искупление и укрепление в вере. Помни об этом всегда и везде. Тогда и стяжаешь любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание, о коих ты слышал на проповеди, - неопределенно ответил поп.

Но за трапезой он повеселел, рассказывал забавные случаи из жизни. Своей и прихожан. И у меня настроение поднялось. А на улице загрохотал гром. Грозовой поток ударил по Москве. И в то же время сияло солнце!

- Гроза – на Духов день, – как водится! Значит, – хмыкнул отец Иероним, - остальное лето будет добрым. Грибы, говорят, пошли…

- Я отправлю за ними холопов, - кивнул я, - и на твою долю, отче, повелю набрать.

- Грибы заготовить на многодневные посты – милое дело! Венчаться-то когда намерен?

- Надо благословение у князя Курбского получить, к матушке в Рязань съездить, тоже благословиться. Завтра – на

службу. Куда пошлют, за каким делом, не ведаю.

- Да-а-а, - протянул отец Иероним, - дело - не одного дня. И, полагаю, не одной седмицы. Посему, не гони лошадей. Чтобы все было основательно, чинно. От слова «чин».

…Утром я, в числе других моих соратников, стоял перед князем Курбским. Конечно же, при всех я не мог заговорить с ним о поджимающих сроках Святого Венчания. А он весело давал распоряжения одним, подтрунивал над другими. Наконец, поднялся, привлекая общее внимание к себе.

- Вот что, братия. Послезавтра Государь назначил учения нашей «тысячи». И хотя нас всего пока триста и набор лучших не закончен, мы должны показаться Иоанну Васильевичу именно тысячью! Драться, как тысяча. Что будем делать? Стрелять из луков, самострелов, пищалей, рубить лозу, метать сулицу, рубиться деревянными саблями по парам, верхом преодолевать препятствия, приступом брать крепостные стены. Все это займет дней пятнадцать-двадцать. Выходим завтра утром, после ранней Божественной Литургии и молебна в соборе.

- А куда идем?

- На Коломенское. Там и встанем. Потешную крепостицу уже поставили. А оврагов, да канав, да валов, да холмов для скачки – там тоже хватает. Стрелецкий полк – уже на месте. Сегодня же пришлите каждый по паре холопов, чтобы рухлядь нашу, пищали, сулицы собрать и погрузить. И – по одной телеге с десятка. Сами решайте, кто предоставит.

- А чей стрелецкий полк ушел?

- Болярина Феодора Лопухина.

Эта новость обрадовала меня. Смогу выполнить просьбу князя Георгия, указав на него Курбскому. А там и о венчании потолкую. Если Бог даст.

- А на стенах кто обороняться будет? – спросил кто-то из наших.

- Стрельцы. Так что, - хохотнул Курбский, - нам надо показать, что мы – Го-су-да-ре-ва конная тысяча! Смо-о-отрите у меня! И не думайте, что их кушаками закидаете! Они – тоже ребята хваткие! Каждый день, почитай, учатся. И не только огненному бою! А еще и сторожу несут.

Новость, которую я принес домой, расстроила княгиню. Опять ее глаза оказались на мокром месте. И как ни ласкал я ее, как ни утешал, ничего не помогало.

- Итак целыми днями я без тебя здесь кисну! - хныкала она. Ну, прямо как девица: «В тот раз к конным стрельцам больше чем на месяц уезжал. И ни разу заехать, навестить не собрался. Это с Воробьевой-то слободы!»

- Почему это с Воробьевой? Да от Свиблова - день скакать надобно! Там же учения шли!

- Свиблово? А-а-а… Прости. А я уж думала, что они на Воробьевой слободе стоят. Но сейчас-то на денек сможешь с учений заехать? Или тоже где-нибудь в Свиблове будешь?

- 53 Нет, не в Свиблово. Теперь - в Коломенском. Но и это – не ближний свет. Да и некогда будет. Каждый Божий день – стрельбы, приступ крепостицы, рубка, скачки. Всего не перечислишь! Так что седмицы через две-три вернусь. И не кручинься, пожалуйста!

Она опустила глаза. Смиряясь, должно быть, вздохнула. Прижалась ко мне. Я обнял ее. Поцеловал. Кликнул Тишку и Фоку. Повелел им собирать меня в дорогу. А сам сел почистить и смазать самострел. Обиходил саблю, кинжал. Вышел на конюшню. Повелел дать побольше овса Каурке. Напоить. И вдруг сам вскипел: «А

чего это я разоправдывался перед бабой?! Куда еду? На какое время? Разбаловалась! Забыла, как в холопках бегала! Ну и что, что - брюхатая! Другие княгини или болярыни, можно подумать, не ходили непраздными! Да что это со мной? Опять неспокойно и тоскливо на душе! Ведь я люблю ее. Но что-то у нас не так! Что-что?! Живем во грехе. Вот и ставит лукавый рогатки. Об этом, должно быть, отец Иероним и предупреждал! Значит надо молиться. Терпеть до венчания».

…Утром наши три сотни, отстояв Божественную Литургию и молебен, весело выехали из Кремля. Затянули песню. Кони пошли побойчее. Даже три десятка телег, тяжело груженых пищалями, бердышами, сулицами, доспехом, снедью, шатрами, не отставали. К вечеру мы подходили к Коломенскому. Издали еще над густыми кронами деревьев увидели купол храма, резной и расписной Царский летний дворец, похожий на пряничный домик. А выше – еще одна церковь.

- Храм Вознесения Господня! - кивнул на первый князь Курбский. И перекрестился: «Государь Василий Иоаннович воздвиг его по обету, в

благодарность за рождение сына-наследника!»

Мы все последовали ему. А Курбский продолжал: «Красоты неописуемой. Думаю, нигде во вселенной нет такого лепотного храма. Вот она – богоизбранность Державы нашей Русьской! Там еще есть и поменьше церковь. Деревянная. Во имя святого Великомученика Георгия Победоносца! А во-о-он, на холме – тоже чудный храм! Во имя святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Небесного Покровителя нашего Государя. Он – молельный. Государь Василий Иоаннович, которому Господь долго не давал детей, молился и построил его с несколькими престолами, умоляя Бога даровать сына-наследника. И что же вы думаете? Ровно через год родился наш Царь Иоанн Васльевич! Вот она, избранность Божия!

Мы опять перекрестились и начали спускаться к Москва-реке. Прошли еще версту. И на самом берегу остановились. Тут же были разложены костры, поставлены шатры, разгружены телеги, определена чреда сторожи. Нашему десятку выпал жребий стоять на третью ночь. А на утро, после ранней Божественной Литургии, назначены были стрельбы. Курбский ускакал во дворец.

А мы, поужинав и все вместе прослушав вечерние молитвы, которые читал молодой поп, приписанный к тысяче, перед походным аналоем, разбрелись по своим шатрам. Ночь была душная. Потому и безсонная. Но и полы шатра нельзя было откинуть: комары бы заели. Утром нас поднял звук рожка. Вода в реке закипела, когда три сотни мужеских силных тел почти одновременно бросились в нее. Наскоро искупавшись, оделись для смотра. И вот с холма в окружении Курбского, Адашева, попа Сильвестра, еще нескольких боляр спустился Государь. Веселый, румяный, с мокрой головой, - должно быть, тоже после утреннего купания, - он статно гарцевал на сером в яблоках жеребце. Подъехал к нам. Крикнул: «Здорово! Молодцы!»

Аж сердце зашлось от восторга. Мы дружно ответили. А он, обернувшись к Курбскому, громко сказал: «Благодарствуй, Ондрейка! Каких ты мне конников готовишь! Любо-дорого посмотреть! Давай-ка, всех – в храм. А потом и дело спросим.»

Я не мог молиться. Смотрел на Государя. Зато тот истово крестился, клал поклоны. Весь собранный, строгий, но в то же время какой-то умиленный. И не юным Царем он виделся сейчас, а умудренным,

опытным мужем-строителем, мужем-ратником, мужем-книжником, мужем-молитвенником. И все это было в одном человеке.

- Не просто в человеке, а в По-ма-зан-ни-ке Божием, - услышал я голос совсем рядом.

Покрутил головой. Но не нашел никого, кто бы мог ответить этим моим думкам. Соратники мои тоже, накладывая на себя крестное знамение, нет-нет, а взглядывали на Государя.

- Слава Тебе, Господи! – счастливо вздохнул я, радуясь увиденному, услышанному и удуманному мною.

- Слава Тебе, Господи! – произнес все тот же голос невидимого человека. «Или… Ангела? - вдруг мелькнула у меня в голове мысль, - Научиться бы еще молиться так, как молится Государь. Ведь он, – весь! – сама молитва»!

- Не забудь про епитимью! Про поклоны! – третий раз над ухом прозвучал голос. «Значит, все-таки, от Бога!» - обрадовался я и, едва шевеля губами, положил десять земных поклонов.

А когда поднялся, подумал: «Вот и помогает Господь! Здесь-то каждый день

смогу начинать с храмовой службы. С поклонов»! И так отрадно стало на душе!»

…Мы причащались Святых Таин. Из одной Чаши с Государем. Значит, все мы сейчас, - и он, главный, и в тоже время, равный, - одной Плоти и Крови с нами. Плоти и Крови Христовых! Да, за это… За это, - хоть сейчас! – в самое пекло!

А потом нас вывели в овраг, на стрельбище. Там стояли деревянные чурбаны, грубо вытесанные из стволов толстых осин.

- Свинец, - разъяснил князь Курбский – дорог. Осина - дерево мягкое. Пули из неё легко достать. А если и сжечь, свинец все равно останется и сгодится для новых пуль.

Наш десяток стрелял третьим. Я вспомнил, как делали это Петр и Георгий. Установил бердыш. Наложил на него пищаль. Ох, и больно же ударил приклад в плечо отдачей! Первым выстрелом откололо щепу от болвана. После второго он упал. А я настрелялся. На огневой рубеж вышел четвертый десяток… Пятый… Десятый… Когда еще один уже зажег фитили, прицелился, Иоанн Васильевич, до сих пор стоявший рядом со стрелками, вдруг крикнул: «Стой! Не стрелять!»

И кинулся прямо к болванам. Я поднял глаза от ствола, который прочищал длинным прутом с намотанной на него тряпицей, и увидел между стрелками и болванами девочку лет пяти с лукошком в руках. Она пересекала овраг. Государь подбежал к ней, сзватил в охапку и откатился в сторону. Но тут и раздался выстрел. Оказалось, что несколько наших уже успели наложить фитили на порох в ложах своих пищалей. Князь Курбский кинулся к ним, ударил по концам нескольких стволов тростью, опуская их вниз. А Государь, Великий Князь и Царь Иоанн Васильевич приподнялся и пошел к нам, прижимая к себе девчушку. Приговаривал: «Ну что ты, миленькая, не бойся. Здесь мы ворогов, басурманов всяких учимся бить. Чтобы ты, матушка твоя, тятенька, братики, сестрички, бабушки, дедушки спали спокойно. Но впредь не ходи сюда. Особливо, когда шум услышишь наподобии грома небесного.»

- Так здесь же малинка – самая сладкая! – размазала слезы по щекам девочка.

- А малинки я пришлю тебе сегодня, - поставив на ножки, погладил ее по головке Государь, - ты где живешь?

- В Дьякове. Мой тятенька при самом Великом Князе и Царе Иоанне Васильевиче служит! Правда не в Москве, а здесь, в Коломенском. А уж как любит его тятенька! Как любит! Нас так не любит, как Царя!

- А видала ли ты его? Царя-то? – улыбаясь одними глазами, поднял голову на нас Государь и обвел всех взглядом.

- Не-е-ет, – вздохнула девочка, - не видала. А уж так хочу! Хоть одним глазком! Хоть капелькой глазочка! Упала бы ему в ноженьки! Поцеловала бы его сапожек!..

- Это за что ж поцеловала бы сапожек-то? – хмыкнул Государь и опять обвел нас всех взглядом.

- Как же? Ты – такой большой, а не знаешь. Царь-то наш – надега, сторожа и оборона всего мира Христианского! А поди ж, тяжко ему, родимому, весь мир-то оборонять! Мы с маменькой и сестричками каждый Божий день за здравие его, за победы над супостатами молимся, поклончики кладем. А ты разве не молишься? Поклоны не кладешь? А может быть, ты – еретик какой? – вдруг отстранилась от него девочка.

- Что ты?! Что ты, родная?! Не еретик я! И молюсь. И поклончики кладу. И слово даю: увидишь Царя. Я его знаю и расскажу

ему, как ты любишь и желаешь увидеть. Как твоего тятеньку кличут?

- Дьяк он. А кличут его Данилкой Круглым. А тебе на что?

- Как на что?! Сказал же передам Государю твое желание. А тот, Бог даст, и в гости пожалует к тебе.

- И-и-и! Брешешь, поди. У Царя – только и делов, что по гостям ходить! У него, родимого, вся Земля Русская в обихаживании, обороне и стороже. Де-е-ержава! Слыхал такое слово? Вера Христианская! А ты – «в го-о-ости».

- Истина глаголет устами младенца! – растроганно воскликнул Иоанн Васильевич и опять обвел нас взглядом. А девочке повелел: «Ну, беги до истбы своей. А я всё передам Государю. Как хоть зовут тебя, маленькая?»

- Я – не маленькая. Я уже за братцем молодшим смотрю, постирушки устраиваю, капусту рубить помогаю, по грибы, по ягоды хожу. А зовут зовуткой, - вдруг звонко рассмеялась девочка. Но вдруг посерьезнела: «Кличут меня по святому имени – Акулькой. А тебя?»

- А меня – Ивашкой! - в тон ей ответил государь. И чмокнул в темечко: «Да не забывай: Царь в гости придет, малинки

принесет. Эх! Быть тебе замужем за князем! Кня-а-агиней!»

- За-му-жем! А вот для этого, - прыснула в ладошку девочка, - я еще – ма-а-аленькая! И потом… Куда нам дьякончихам книгнями быть-то?! Или за себя, что ли, замуж взять хочешь?

- Не-е-е-ет. У меня жена уже есть. А вот за княжонка какого-нибудь выйдешь обязательно.

Девочка резво вбежала по склону оврага. Обернулась. Помахала нам ручкой. И скрылась. Государь задумался. Мотнул головой. Серьезно произнес: «А что?! Есть в ней княжья кровь! Есть! Державно мыслит. А это – по-княжески. Алешка! Узнай-ка все про тятеньку ее, про дьяка Данилку Круглого. Ко Двору приблизить надобно. Коли так он деток пестует, каков сам-то?! А?!»

Царь задумался на миг. Но тут же весело на нас прикрикнул: «А ну, становись! Продолжим стрельбы.»

Отстрелялись мы. Государь остался доволен. А уж мы-то – тем паче!

На второй день, после Божественной Литургии и молебна, мы собрались перед самым летним Дворцом. По повелению Государя, скинули кафтаны, нижние рубахи.

Нагие по пояс предстали мы с деревянными саблями в руках. По одному подходили к помосту, на котором восседал Иоанн Васильевич, окруженный приближенными. Поединщиками нам были стрелецкие десятские и сотские, - княжеские да болярские сынки. И надо же, когда вышел я, то оказался в паре с князем Георгием. Поклонившись, шепнул ему: «Самое время тебе показать себя перед князем Курбским. Только учти, рубись во всю силу. Спуску я тебе не дам.»

- А то я, можно подумать, дам! – шепотом хмыкнул он в ответ. И мы скрестили сабли. Тут я пожалел, что мало все-таки упражнялся в последнее время сам. В паре! Во-от она, гордынька! Наставником возомнил себя! Прости, Господи! И так обозлился на себя самого, что и не ведаю, откуда прыть взялась! Не менее четверти часа рубились с Георгием. Взмокли. Размыкались и вновь схватывались в рукопашной. Бросали друг друга на землю. Но… давали встать: лежачего русьские не бьют!

- Довольно, – послышался голос Государя, - оба - славные рубаки! Алексашку я знаю. А ты, супротивник, кто будешь?

Георгий вытянулся. Представился по всей форме.

- Ондрюшка, – обернулся Иоанн Васильевич к Курбскому, - завтра на скачках вместе с конными в первый же заезд его поставь. Погляжу, как конем владеет. А то и к твоей тысяче припишу.

Я заметил, как в глазах Георгия вспыхнул восторг. И тоже порадовался за брата. Вот бы и Петрушу перетащить в тысячу. Хотя… молод еще, конечно. Ну, там, как Бог даст. А тут и сам он вышел в поединок с Мстиславкой. Рубились они тоже красиво! Петруша худой, изворотливый, юркий, словно вьюнок, и княжич Мстислав – тяжеловатый, но основательный: каждое движение его было полновесным, точно выверенным, но в то же время быстрым, ловким и сильным. Вот, торопливость, какая-то отроческая поспешность, даже суетливость и погубили Петрушу. Скоро Мстиславка трижды коснулся дубовым клинком голых плеча, живота и груди младшего двоюродного брата. Мои соратники восторженно загудели. А Петруша скорбно опустил голову.

- Эй-эй-эй! Служивый, – кликнул Государь, - не горюй! Я вижу, ты помоложе

меня будешь! Еще свое возьмешь. Стреляешь-то как?

- В этом деле он у нас – лучший! – поклонился Иоанну Васильевичу дородный болярин в стрелецком кафтане.

- Вот, завтра и поглядим! После скачек. Для стрельцов мы усложним условия. Стрельбы будут в сумерках. Алешка! Заготовь факелы. Препятствия для скачек возвели?

- Все исполнено, Государь, - наклонился к Иоанну Васильевичу дородный болярин с бородой почти до пояса.

…По повелению Царя поединки возобновились. Да такие жаркие! Глаз не оторвать. И продлились они почти до душного летнего вечера. Потом все мы во главе с Иоанном Васильевичем кинулись вниз, купаться. И резвились в воде, словно отроки. А когда вернулись ко Дворцу, перед ним оказались столы, накрытые разнообразными яствами. Но я, да и весь наш десяток, более трех чар слабого меду пить не стали. Впереди была сторожа. Впрочем, и Государь, и князь Курбский выпили тоже только три чары. Раньше других мы поднялись из-за стола. Благословились. И ушли в свои шатры, отдохнуть до заката.

Князь Панкрат разбудил всех и повел на свои посты. Я оказался на противоположном к Дворцу крутом берегу оврага. Шагах в пятистах начиналось село Дьково. Скоро свет в окнах истб погас. Зато зажглись безчисленные звезды на небе. Эх! Не до любования ими! Не до лю-бо-ва-ния! Я даже не заметил, как пролетело время чреды. Князь Панкрат привел смену: Мстиславку. Тот поеживался со сна. Огляделся. Спросил: «Все ли спокойно?»

- А то, - хмыкнул я. Вернувшись в шатер, плюхнулся на попону. Не раздеваясь. И сразу же, как показалось, был разбужен. Время шло к рассвету. Было тепло. Но влажно. С реки поднимался густой туман. В тишине вспыхнули крики первых петухов. Менял я княжича Бориса. Тот тоже доложил, что все спокойно. Но добавил: «Внешне… А вот на сердце томление какое-то. Туга. Предчувствие недоброе.»

- А ты помолись, - хохотнул Панкратка.

- Только и делал, пока стоял.

- Ну, значит, вымолил спокойную сторожу для Алексашки, - опять засмеялся Панкратка. Однако томление княжича Бориса передалось и мне. Что-то вокруг было не так. В рассветной тишине слышался шорох листвы на другом берегу Москва-

реки. Со стороны Дьяково донеслась приглушенная речь. Потом ругань: «А ну, пошли отсюда, окаянные! Здесь вас никто слушать не будет! Все у нас – христиане православные! Ишь, с гудками своими да песнями срамными пришли! Да еще и на ночлег просятся. После вас истбы заново освяшать надобно! Пошли вон!»

«Гудками да песнями срамными? – насторожился я. Недоуменно повторил про себя: « С песнями срамными! Кого ж гонят-то?»

И тут же услышал конский топот.

- Стой! – установил я на бердыш в его сторону пищаль.

И увидел верхового отрока. Тот вздыбил коня. Выдохнул: «Тятенька послал меня к старшему сторожи. Скоморохи к нам пожаловали. А тятенька сказывает, что нехристи - они. За Государя безпокоится. Нехристи же! Целым табором пожаловали.»

- Скачи! – кивнул я. Но из оврага уже поднимался князь Панкрат с тремя нашими и десятком стрельцов. Спросил: «Что за шум?»

Отрок повторил только что сказанное мне.

- А ну, веди в село! Нам еще красных петухов здесь не хватало! - сурово

проговорил Панкратка. Повернувшись ко мне, спросил: «Пойдешь ли с нами. Вот, Мстиславка пришел на последнюю ночную чреду.»

- Пойду, - кивнул я. Скоро мы входили в Дьяково. Там хозяйки уже выгоняли коров, коз, овец со дворов в стадо. Но посреди площади перед храмом мы увидели окруженные местными мужиками крытые телеги, возле которых скучились незнакомые люди странного вида: в меховых безрукавках и шапках, - это в июне-то, - то ли - в платках, то ли - накидках. На голове одного из них, грязного толстяка была нахлобучена козья голова с рогами, прости Господи! У одной молодухи волосы были… зелеными, у другой из-под глубокого выреза рубахи безстыдно наполовину выставлялась огромные груди. Красивый по-бабьи, молодой мужик брезгливо оглядывал окруживших повозки селян. Чем-то он напомнил мне недавнего пана Яна из литовского посольства. Или еще кого, виденных прежде.

- Во-о-он, стрельцы пришли! Сейчас разберутся! – послышались голоса.

- Гнать их надобно, служивые!

- Гляньте, чад наших мясистая не стыдиться! Все наружу вывалила! Охальница!

Князь Панкрат подошел к старику, очевидно, страшему среди пришельцев. Вгляделся в корявое, уродливое лицо. Спросил: «Кто таков?»

- Добрый князь! Сами мы – не здешние, - клюнул тот длинным крюком, свисающего до самого подбородка, носа. Попытался изобразить несколько частых поклонов: «Ходим по свету. Людишек веселим. Песни играем. Тем и живем.»

- Песни они играют! Срамота одна, – раздалось из толпы жителей Дьяково, – прости, Господи! Гони их, князь!

- Нам ихнего веселия не надобно…

- Богохульники…

- Слышал, что селяне глаголют? – строго спросил Панкратка.

- Слышал-слышал, добрый князь. Сей же час съедем. Насильно мил не будешь. А что это грохотало в овраге давича? Людям спать не давало, потому и злые они такие.

- Пошли вон отсюда, – замахнулся на старика плеткой Панкратка, - или не понял? Так я сей же час велю ваши телеги запалить, а вас самих туда покидать!

- Как повелишь, добрый князь, - старик опять затыкал носом в Панкратку. А мне эти кивки показались очень знакомыми. Но я осадил себя: нехристи все – на одну рожу. За

их кивками да улыбочками – ложь да злоба. Старик же что-то проговорил не по-нашему, и скоморохи засуетились. Скоро их повозки проскрипели в сторону Москвы.

…Скачки! Любо-дорого! Наш десяток шел третьим заездом. И хоть недосып все еще давал себя знать, кровь прибилась к лицу.

- Ну, Каурка, не подведи! – шепнул я коню, погладив его по морде. А когда весь десяток преодолел и березовые завалы, и рвы с водой, и воткнутые в землю наискосок направленные на нас сулицы, потом – пики, мне уже не думалось о первенстве. Я радовался за соратников. Радовался, заметив, как радуется Государь. Он подозвал князя Панкрата. Обнял его, заляпанного грязью, залитого своим и конским потом. Расцеловал. И еще я порадовался, когда мой двоюродный брат Георгий пришел первым в своем заезде.

- Государь! Ты хотел его отдать ко мне в тысячу! – заломил шапку князь Курбский.

- Что ж, бери, – хохотнул Иоанн Васильевич, - не держать же такого наездника в пеших стрельцах.

А по лицу брата было видно, как ликует его душа.

- Государь, – развел руками стрелецкий голова, - ты у меня так всех лучших княжат в конницу заберешь.

- Да ладно тебе, болярин Феодор! – опять хохотнул Иоанн Васильевич. И назидательно поднял вверх указательный палец: «Людишек надо ставить на такую службу, на которой они больше пользы для Отечества принесут.»

Все в окружении Царя дружно закивали головами и засмеялись. И сей день закончился общей трапезой, которую опять возглавлял Иоанн Васильевич. А в завершение ее Государь что-то шепнул Адашеву. Тот вышел и скоро вернулся с изукрашенным ларцом. Сей же час прислуга установила шагах в десяти от стола деревянного болвана. Иоанн Васильевич раскрыл ларец, вынул оттуда диковинку: пищальку, размером не больше локтя, и покрытую тониким золотыми и серебрянными узорами, напаянными на вороненый ствол, со светлой, словно кость, рукоятью…

- Вот, братия, царь Галльский прислал мне гостинец. Называется «пистоля». Так, Алешка? Сейчас при вас я испытаю сию малую пищаль.

Он нацелился в болвана. Нажал на рычажок под стволом. Пыхнуло дымком. Легонько, - конечно, намного тише, нежели от наших пищалей, - громыхнуло. Болван повалился. Но, как бы, нехотя.

- Жаль, конечно, - улыбаясь, все-таки вздохнул Иоанн Васильевич, - тяжелый доспех не пробивает. Но для ближнего боя годится. Заказал я таких пистолей нашим умельцам сотню штук. Да пусть мозгами пораскинут: как бы силу боя увеличить. И если же у кого из вас среди холопов есть смекалистые в оружейном деле, ведите ко мне. Я мечтаю каждого сотника, полусотника, десятника вооружить эдакой диковинкой. А потом - и каждого конника! А уж воеводам Сам Бог веле пистолю носить.

Царь передал пистолю Курбскому. Тот, внимательно оглядев, даже погладил ее и передал дальше вдоль стола. Легонькая, еще теплая от выстрела и наших рук, она скоро согрела и мою ладонь…

…Ох! Как же сладко мне спалось! Снилась Алла! И как же ласкала она меня! Но вдруг кто-то прервал эту сладость, начав тормошить, трясти.

- Алексашка! Да пробудись ты! Панкратка пропал! – услышал я голос Мстиславки

- Как пропал? Он что, младенец? – досадливо замотал я головой, поднимаясь на локтях.

Передо мной в рассветных сумерках, пробивающихся сквозь распахнутые полы шатра, стояли княжичи Борис, Глеб, Мстислав, Ондрей, Роман.

- Вышел из шатра по нужде еще затемно и до сих пор не вернулся, - продолжал Мстиславка.

- Может быть, прогуляться решил по берегу? – еще раз мотнул я головой.

- Ага, – повторил мое движение княжич Роман, - решил! Сегодня крепостицу брать.

Я вскинулся. Натянул порты, сапоги, кафтан. Пристегнул саблю. Спросил: «К Курбскому ходили? Нет? Пошли!»

И вдруг кровь ударила мне в голову: я вспомнил старика из скоморохов. Да-да, это был тот, которого я подобрал еще в Погосте! Тот, который выкрал моих сыновей! Тот, который перепрыгнул частокол бывшего моего тестя верхом на черной волчице. Тот, который привел набег крымчаков, сжег мою вотчинку, убил, - пусть руками других, - отца Леонтия, мамушку, иных домочадцев, чуть не погубил меня самого на берегу Оки. Тот, который оболванил нас всех, княжат, рядом с Гусем-рекой и пожег село князя Давыда.

Тот! Не случайно он и здесь теперь объявился! Быть беде!

- Идем к Курбскому! – прохрипел я.

- В Царский Дворец? – даже откинулся от меня Мстиславка.

- В Царский Дворец! - кивнул я. И первым выскочил из шатра. На ходу выпроговорил: «Вспомни-ка, брат, старика, усыпившего нас в снегу на Гусе-реке. И теперь сравни его с сегодняшним скоморохом!»

Но когда мы были на полпути ко Дворцу, звякнул пробудный колокол. Оказывается, уже - не рано. Просто небо затянуло тучами. А мы увидели князя Курбского, в полном снаряжении спускающегося в стан. Заметив нас, он остановился. Подождал. Молча дернул подбородком: мол, что случилось? Выслушав, повелел Мстиславке собрать все три сотни.

…Князя Панкрата мы нашли в овраге. Да его ли? Лица не было. А было сплошное кровавое месиво. Словно зверь какой выгрыз. Прибежал дьяк-лекарь. Раздвинул нас. Опустился перед Панкратом. Разрезал рубаху. Выдохнул: «Вот, глядите! И засвидетельствуйте. Двенадцать ударов очень тонким, словно игла, кинжалом -

вокруг сердца. Тринадцатый – в него! Это – жертвоприношение!»

- Язычники? – спросил кто-то из княжат

- Хуже! Те, кто поклоняется врагу рода человеческого. Двенадцать ударов, прости Господи, - по святым апостолам, тринадцатый - - тихо недоговорил дьяк. Но мы поняли – по Кому. По Тому, Кто - в каждом сердце Христианском! Тогда и я поведал все, о чем вспомнил. Сокрушенно мотнул головой: «Почему же всякий раз, встречая этого нелюдя, не могу узнать его?»

- Да потому что – нелюдь! Умеет затуманить память! – также тихо ответил дьяк. А князь Курбский вскипел: «Догнать! Сожгу! Алексашка, ты – десятник. Тому, кто приведет эту нечисть на веревке, как собак, свою саблю подарю! Все три сотни – в погоню.»

- Не догнать, - мотнул головой дьяк, - не привести. Это – нечисть. Они исчезли.

Но мы уже не слушали. Однако, в самом деле, не догнали. Не привели. От злобы ли, в память ли князя Панкрата, крепостицу, все равно взяли. Его отпели. Положили на два оставшихся дня в церкви Вознесения. Государь поначалу был мрачнее тучи. Потом, за трапезой, вдруг вскинулся.

Поднял чару. Сказал, мотнув головой, словно скидывая кручину с лица: «Значит, братия, правильное, Божие дело мы творим, коли такая нечисть на нас окрысилась! Царствие Небесное невинно убиенному болярину Панкратию! Душу свою за всех нас положил. Алешка! Отпиши семье его земли под Торжком. Села три-четыре. На вечное владение. А мы возблагодарим Бога за его милость даровать нам Божие дело. Слава Тебе, Господи!»

И он залпом осушил свою чару…

Провожать меня на вокзал Валентина не пошла. Просила прощения. Ссылалась на навалившуюся вдруг усталость. Да и мне почему-то вдруг захотелось побыть одному. Я ехал в троллебусе по зимнему Минску и какая-то, - тоска-не тоска, маята-не маята, - тяжесть навалилась на сердце. А что ж я хотел? Пост нарушал. Молиться – не молился. И вдруг почувствовал, как тяжело сейчас князю Александру. И естественно, не видел, не знал, чем могу помочь. И могу ли? Смешно. Времена-то те давно минули! А вдруг я всем этим, - не постился, не молился, - вредил ему из настоящего – в прошлое?! Смешно? Во мне вдруг стала расти злоба на себя, на Валентину, на родителей. Как давно

я не видел Небесного Покровителя. Почему он бросил меня? И от этого стало еще тоскливее. Что-то вокруг меня, нас, - Валентины, родителей, - варилось. Именно варилось! Словно в каком- смрадном колдовском котле!

Соседкой по купе оказалась молодящаяся дама лет сорока-сорока пяти. Она сразу начала жеманничать. Положила ногу на ногу. Да так, что длинный, почти до пола, шелковый халат стал короток, обнажая ноги целиком. Скорый поезд, в расписании которого были всего пара остановок, набирал ход. Соседей уже не предвиделось. Дама постелила на стол чистую салфетку, на нее – клеенку, на которой развернула фольгу. В ней аппетитно сверкала жирком и корочкой целиком зажаренная курица. В другом таком же свертке оказался «столичный» салат. В третьем – салями. И еще… И еще…

- Нет-нет, - вороковала она, разливая по стопкам из «пержавейки» настоящий «Наполеон», - вы обязательно должны покушать. Я же вижу! Женщина в моих годах, с моим опытом, сразу видит мужчину, который – либо холостяк, либо отвратительно ухожен женой. Вот мой муж – редкостный балбес! Хотя – ве-е-еликий

ученый! Получает хорошо. За секретность. А толку?! Я ведь – женщина! Же-е-ена! Эмансипированная, скажу я вам… Сашенька, давайте, выпьем за знакомство!

И она протянула мне стопку. Коньяк сразу ударил в голову. А соседка, тоже оказавшаяся Валентиной, продолжала: «Вот, еду к старшей сестричке в Москву. У нее внученька родилась. Надо пяточки обмыть! Но мы с вами их сегодня обмоем.»

И еще подлила коньяку.

- Так вы все-таки женаты или нет? – спросила она, высасывая лимонный сок из дольки. Я кивнул.

- Это оч-чень даже за-ме-ча-тель-но! Ненавижу связываться с холостяками!

И она вдруг подсела ко мне на полку. Обвила мою шею руками. Я даже ничего не успел понять. Зато потом, встав, она рассмеялась: «Я же говорила, что эмансипированная! Если хочешь, можешь и здесь покурить. Давай? Я тебя настоящим «данхилом» угощу! И покурю с тобой. Муж из командировки два блока привез. Один я себе взяла. Балуюсь иногда. Заодно, выпьем еще по полрюмочки. А? Другой блок я сестричке везу. Вот, у нее муж! В постели – Рихтер! И… еврей! Умница! Директор меховой комиссионки. Ты, наверняка,

знаешь! В Столешниковом переулке. Давай-давай, выпьем. Спать совсем расхотелось! Выпьем. А потом я закушу тобой!..

Поезд замедлил ход. Остановился. Я вскинулся. Она засмеялась: «Не волнуйся. К нам никого не подсадят. Я заплатила проводнице.»

Но я все равно вышел из купе. Стало противно. Ненавидел самого себя. Толстая пожилая проводница недобро посмотрела на меня. Хмыкнула: «На перрон не выходить. Стоянка поезда две минуты. А покурить можете в противоположном тамбуре.»

Туда я и отправился. А там меня ждала голова старика-корня.

- Сблудил? – покачалась она. Но тут же рассмеялась: «Ну, ничего. Безгрешен един Бог. Покаешься. Зато, поди, сладко-то как! А Валентина, твоя жена, сама виновата! Видите ли, охладела! Ей работать надо! А всех денег не заработаешь! Но я потолковать с тобой хотел. Пока куришь. Уж и не знаю даже, что тебе внушали на той шовинистической дачке, но жена твоя права. К чему думать об этом? Рассуждать? Нервы себе самому трепать? Не надо! Добром это не обернется.

- Ты хочешь сказать, что про евреев и масонов всё – правда? – глубоко затянулся я дымом сигареты.

- А то! Поберег бы Маришку, Валентину! Ведь эти хасиды и в жертву девчушку принести могут. Они любят христианскую кровушку. Выкачивают и пьют. Да-да. Особенно любят младенчиков и невинных девиц. Ты что ж думаешь, Эдику твоему долго осталось? Жене его? Детям?

- И ты не можешь ничем помочь, чтобы спасти их?

- Теперь – нет. Служил бы, как раньше, сатане, мог бы. А теперь – нет, не могу. А тебе надо жить и жить. С семьей, конечно. Деток рожать. А лучше всего познакомиться с кем-нибудь из этих. Хотя бы с мужем сестры попутчицы твоей. Он среди этой братии видное место занимает. Ой, видное! Поможет и с работой, и с публикациями. Да и знакомством с ним ты своей начальнице нос хор-р-рошо утрешь. А о злодеяниях их и думать забудь! Я же тебе зла не желаю. Заодно сможешь изредка развлекаться с попутчицей своей. Да и сестрица ее не против будет. Втроем! У них это – семейное!

- Что-то не пойму я тебя. А жена?

- Что жена? Же-э-эна! Жена – не стенка, можно подвинуть! Ха-ха! Избаловал ты ее!

- На что ты меня толкаешь? Я считал, что ты исправляться стал. К Богу идешь.

- И-и-идешь! Ха! На себя посмотри! Я-то не блудил только что! Я-то только говорю. А ты делаешь. Да и сам с женой в блуде живешь: без венчания! Так, какая разница: одним блудом меньше, одним блудом больше? А я тебя при этом не осуждаю. Даже оправдываю. А ты еще и обижаешься.

- Да-а-а…

- То-то! Но имей ввиду: после твоего венчания я сам тебе блудить не позволю! А пока гу-у-уляй! Иди, а то старушка заждалась!

Я едва успел задвинуть за собой дверь в купе, как попутчица накинулась на меня… А утром, кутая нос в чернобурковый воротник, протянула визитку: «Позвони, если понравилось.»

И она заспешила к встречающей ее паре: как две капли воды похожей женщине в норковой шубе и мужику в дубленке и черной широкополой шляпе. Я же вскинул на плечо спортивную сумку и зашагал по перрону к зданию вокзала, ненавидя себя, попутчицу, московскую погоду. Даже к Валентине вспыхнуло недоброе чувство.

Я решил устроить себе выходной. А дома застал всех своих, - даже мать! -

собирающимися: оказывается, она устроилась работать страховым агентом. И скоро я остался один в квартире. Первым делом позвонил в Минск. Но телефон Валентины ответил мне безконечными длинными гудками. Куда это она могла отправиться в такую рань? Тем более, что вчера неожиданно «очень устала»! Тогда я позвонил Василько. Трубку взяла Мария. Сразу же узнала меня. Но радости в голосе не слышалось совсем. На мой вопрос: «Что-то случилось?»

Ответила: «А ты разве не знаешь?»

- Откуда же?! Я только что вернулся из двухмесячной командировки.

- Да-да. Василько что-то говорил об этом. А случилась беда. Отец Валерий отошел ко Господу. Завтра – девятый день.

- Как?! Не может быть! – я чуть не выронил телефонную трубку.

- Вот так, - стало слышно, как Мария заплакала.

- Царствие Небесное! - только и выдохнул я.

- Упокой, Господи, душу протоиерея Твоего Валерия. Он за день до кончины тебя вспоминал. Что-то сказать тебе хотел. Может быть, Василько и отец-дьякон Николай знают? Ты завтра придешь на панихиду?

- Ох-хо-хо! Мне же - на работу. Пред «светлые очи» начальства с отчетом пойду! От меня свечку в Алтарь передай. Пожалуйста.

Мысль о том, что больше никогда не увижу духовника, не исповедуюсь ему, не посоветуюсь, не укладывалась в голове. А Мария вдруг продолжила: «А сразу после Рождества Христова мы узнали, что погиб Святослав. Автомобильная катастрофа. Отец Валерий тогда сказал, что ему ее подстроили. Вдова и дети вернулись в Москву. Вот, такие у нас горькие новости. Прости, у меня котлеты сейчас сгорят.»

И она повесила трубку. А я так и остался стоять несколько минут, не замечая коротких гудков. Потом открыл бар. Налил полстакана водки, которая показалась на вкус… водой.

- Как жить-то теперь, – громко спросил я себя, - кому исповедоваться? Нагрешил-то – выше крыши! И вдруг вспомнил, что отец Валерий благословил «если что» ехать в Сергиев-Посад к его другу. Как он назвал-то его? Вот ведь, забыл! И съездить-то можно только на выходные! Или… прямо сейчас?

- Не пори горячку, - услышал я голос старика-корня и, обернувшись, увидел его голову в кресле, - а лучше приведи себя в

порядок. Отдохни. К тому же, через час - перерыв в движении электричек.

Я согласно кивнул и отправился в ванную Взбодрившись контрастным душем, сварил себе пельменей. Позавтракал. И, действительно, решил прилечь, отдохнуть. Заснул сразу же. Как сразу же увидел отца Валерия, Алексу, князя Аляксандра, другого, - Алексашку, - и еще несколько незнакомых, - или забытых? – лиц. Стоя в легкой дымке, как бы за тюлевой занавеской, они с ласковым, жалостливым укором, молча, смотрели на меня. Даже во сне я вдруг, кажется, понял причину таких их взглядов. Действительно, разве можно не пожалеть меня, считающегося православным христианином, но забывшего, когда в последний раз отстаивал всю Божественную Литургию или Всенощную? Забывшего посты и праздники? Забывшего молитвы, исповедь, покаяние? Забывшего Святое Причастие?!

Я попробовал проснуться, но не смог. Темнота обступила меня. Густая. Липкая. Вязкая. Я попробовал молиться, но губы и язык не слушались. Словно покрывшись жестью, они только царапали друг друга, нёбо, десны. И тут кто-то шепнул мне: «Так мучаются перед смертью нераскаявшиеся

грешники. Особенно называвшие себя христианами, но предавшие своим грохопадением Христа, Его Пречистую Матерь, своих Небесных Покровителей да и сами Заповеди Божии.

- Нет! Нет! Господи, – все-таки сумел прохрипеть я, - прости! Дай возможность покаяться!

И проснулся. Открыл молитвослов, - как раз на ежедневном исповедании грехов. Опустился на колени. Но в это время услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Это была мать. Она весело проговорила: «Вот, заскочила на минутку. День сегодня выдался удачный. Уже восемь семей застраховала. И еще к троим надо успеть. Ты нашел в морозилке пельмени? Оч-чень хорошо! На работу не пойдешь? Замечательно! Почисти к часикам шести картошки на большую сковородку. Мне пельмешек оставил? Мо-ло-дец!»

Она зазвенела посудой на кухне. При этом еще что-то и напевала. А я пошел на лоджию покурить. Когда, перекусив, она все-таки ушла, встал на молитву. Вычитал Молитвенное правило и ежедневное исповедование грехов. Стало полегче. Какая-

то замутненность в душе рассеялась. Но – не до конца.

- Чего же ты маешься? – опять передо мной замаячила голова старика-корня. Поскребла волосы-корешки на затылке: «Ну, согрешил. Ну, не постишься! А ведь и святые твои отцы говорили, что посты – в душе, а не в теле! Опять повторю: ты и с женой своей в блуде живешь. Грех? Не-е-ет! Без воли Божией не произошло бы ничего. Ни брака твоего с Валюшей, ни нынешней встречи с попутчицей Валентиной. Ох-хо-хо! А тут еще - эти две смерти! Вот как бы за них не пришлось отвечать на Страшном Суде.»

- А я-то здесь причем?

- А как же! Поп твой за тебя молился? Молился. А ты его молитвы не оправдал. Грешил? Еще как! Вот и возвращались они, грехи твои, к нему болячками. А те до смерти довели. В этом мире все взаимосвязанно. Материальное имеет огромное влияние на невидимое. А другой твой знакомый? Да-да, тот, что жил на улице Алексея Толстого. И где блудил ты, когда он доверил тебе свою квартиру. Этот тоже за тебя молился. И переживал. Но не только за жену и детишек-балбесов. Вот и не справился с управлением. А как ты думаешь?! Сколько моих бывших подельников на его руках повисли перед

самой аварией?! Все они были ничем иным, как грехами твоими да иных, за кого молился Славка. Скажу из опыта: такие грехи не прощаются. Но ты не горюй! Перед смертью своею сможешь в монастырь уйти. А при постриге все мирские предыдущие грехи снимаются, как при крещении. Это я с тобой так секретами невидимого мира делюсь. Цени! А ведь вам, людям, не положено знать их! Ну, мне – пора. А в голову не бери. Не бери!

Он исчез. А меня начало прожигать чувство вины перед отцом Валерием и Святославом. И оно переходило в какое-то незнакомое доселе уныние, а затем – отчаянную безысходность… «Отпустило» немного только тогда, когда дозвонился до Валентины. Она сразу защебетала: «С раннего утра – на ногах: бюро по обмену жилья, домоуправление, потом – работа. Одних справок и выписок десятка полтора собрала! А ты мне письмо еще не написал? У тебя же – выходной.»

- А ты? – хмыкнул я, уверенный в отрицательном ответе, и вспомнив почти ежедневную нашу переписку до свадьбы.

- Я же объясняю, что забегалась! А сегодня еще платье кроить до полуночи придется. Деньги же немалые нужны для

переезда! Хотя грузовик директор обещал выхлопотать в Управлении Дороги. И контейнер. Пятитонный. А студийцы - погрузить и разгрузить вещи. Ты письмо-то все-таки мне напиши сегодня. И хорошо бы – со стихами. Ты мне их давно не посвящал! А почему у тебя голос грустный?

- Соскучился. А к тому же…

- Ну, всё, – перебила вдруг она меня, - спокойной ночи. Давай будем экономить.

И в трубке раздались короткие гудки…

- Ты что такой мрачный? – спросил за ужином отец.

- Я – не мрачный. Я – задумчивый. Матриала собрал для десятка больших статей. Про мелочь и не говорю. Но ты же сам понимаешь, что к каждой статье свой, непохожий на другие, художественный подход нужен? Своя «изюминка»!

- Ну, вот и найди сначала для одной, самой актуальной, свою «изюминку». Распиши. А потом найдутся и для других. Целая горсть киш-миша! И вообще, - улыбнулся он, - вопросы надо решать по мере их поступления, а не все сразу.

- А как с обменом дела? – перебила отца мать.

- Нашли. И бывший муж Валентины согласился на этот вариант размена, - впервые за день улыбнулся я.

- Ну, вот и хорошо. Перевезешь свою благоверную на новую квартиру, а там…

- Что там? – вскинулся я.

- Нет-нет. Ничего. Просто мы тут подумали, что бабушка, мать отца, тяжело больна. Ухода – никакого. Хотим взять ее к себе. Сами не справимся, положим в больницу. В… санаторий. А Владимирскую квартиру надо обменять на комнату в Москвоской «коммуналке». Видишь, ради тебя мы согласны та-а-акой груз, такое ярмо взять на себя. Ты ведь помнишь, как бабушка ссорила и нас с тобой, и отца со мной.

- Мама! Папа! Большое спасибо! – от восторга я даже подскочил со стула.

- Что ж, давай теперь ищи варианты обмена Владимира на Москву. Ты же,- кивнула медленно мать, - давно мечтал о собственной жилплощади.

Радости моей не было предела! И утром после получасового устного отчета о командировке Людмиле Петровне и Галине Евсеевне, в курилке я поделился своими новостями с Женей. Правда, рассказал и об

изменениях в Валентине и своим ночном приключении в поезде.

- Да, не вини ты себя! Подумаешь! Не ты же первый начал?!

- Где? С кем? Что? – не понял я.

- Да, везде. И – с Валентиной: сам же говоришь, что она изменилась не в лучшую сторону. И с этой чернобурковой дамочкой… А что?! Какой образ?! Я бы на твоем месте продолжил знакомство. И ее образ, типаж можно в роман вставить. «Ченобурковая дамочка»! И родственничка ее, директора меховой комиссионки в романе используем. А? Представляешь? Кстати, позволю задать тебе вопрос, памятный еще со времен твоего жениховства. Жена твоя дала тебе поработь дома? Я - не про статьи. Я – про стихи. Про наброски к роману.

- Нет, - опустил я глаза, - как-то ни вдохновения, ни времени не было. Все какая-то бытовая суета. Но ведь – медовый месяц!

- Вот-вот! Медовый месяц в суете не проходит. Он – самое время для лирики! Ты знаешь, сколько я стихов написал в наш с Танюшей медовый месяц? И не только любовную лирику! - вздохнул Женя. Он затушил сигарету: «Ладно, оставим это. Пошли работать!»

В субботу я отправился в Банный переулок, в Центральное бюро по обмену жилой площади. И провел там целый день. Заполнял какие-то бланки, заявления. Давал объявления в газету. Пролистал десятка два папок с уже предлагаемыми вариантами обмена. А в воскресенье из слякотной Москвы попал в белоснежно-чистые, старенькие, все еще узорчатые по карнизам и оконным наличникам улочки Загорска, именуемого раньше Сергиевым Посадом. Под ногами поскрипывал снежок, - то с голубоватым, то с розоватым отливом. Узенькие тропинки между сугробами, доходившими до верха штакетин палисадников, казалось, вели куда-то в детство, в радость, в беззаботность. И хотя сквозь низкие, серые облака не просвечивалось даже намека на солнце, его, - и для души, и для глаз, - вполне заменяли драгоценные, теплые, даже жаркие купола на храмах Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Пройдя сквозь «почетный караул» нищих и раздав им всю мелочь из карманов, я вошел в высокие и широкие, голубые, словно весеннее небо, монастырские ворота. И перед первым же встретившемся монахом сложил ладони лодочкой: «Батюшка, благословите.»

Тот улыбнулся глазами цвета живого неба: «Бог тебя благословит. А я не могу: не в иерейском сане.»

- Подскажите, где мне найти иеромонаха Иллариона? Он – бывший офицер.

- Во-о-он, - слегка приподнял только ладонь собеседник, - там – проходная. У послушника спросишь. И если батюшка сейчас – в обители, его вызовут.

Так я и сделал. Седой, заросший по самые брови, старик строго оглядел меня через стеклянную перегородку. Спросил: «По какой нужде?»

- По благословению покойного духовника, - Царствие ему Небесное, - приехал из Москвы, - перекрестился я. Послушник за стеклом тоже перекрестился. Поднял телефонную трубку. Когда на другом конце провода ответили, что тихо проговорил. Подняв на меня глаза, кивком указал на ряд стульев вдоль стены. На двух уже сидели старушка и молодая женщина. Я опустился рядом. И минут через пятнадцать в проходную вошел моложавый, подтянутый монах лет сорока-пяти-пятидесяти.

- Кто вызывал меня? Я – иеромонах Илларион, - поклонился он сразу всем нам троим.

- Благословите, батюшка, - вытянулся перед ним я. И пояснил: «От отца Валерия, из церкви Воскресения Словущего в Москве. Вы, должно быть, уже знаете скорбную новость?»

- Да-да. Мне матушка Елена звонила. Но приехать я не смог. Здесь, знаете ли, как в Армии. Послушание – превыше всего. Пойдемьте ко мне в келию.

И мы прошли через двор, усаженный фруктовыми, что сразу угадывалось, деревцами. Дорожки, действительно, как в Армии, были очищены от снега до самого асфальта и присыпаны песком. А сугробы вдоль них, - «единообразно», прямоугольно, словно по ниточке, - выравнены. По дорожкам, то тут, то там, прогуливались монахи. В основном – по двое.

- Сейчас – время отдыха, - пояснил отец Илларион, открывая передо мною дверь, утепленную по старинке ватином и дермантином.

Келия представляла собой комнатку метра два на три. Топчан, покрытый войлоком и одеялом, маленький столик, в углу, освещаемый богатым, большим, под самый потолок, иконостасом, двухэтажная книжная полка да какое-то монашеское

облачение на «плечиках», повешенное на гвоздь в стене, - вот и вся обстановка.

- Присаживайтесь, - перекрестившись на образа, пригласил отец Илларион, указывая на резную, поначалу незамеченную мной, табуреточку. Сам же он опустился на топчан. Спросил: «Какое благословение вы получили от отца Валерия по моему поводу?»

- Еще несколько месяцев назад он велел «в случае чего» обратиться к вам. Идти под ваше духовное руководство. - ответил я.

- Вот как?! – он вскинул брови. И даже слегка крутанул головой: «Тогда вы для начала должны рассказать мне все о своей жизни. Я помолюсь. Господь, будем веровать, вразумит меня. Такие дела сразу не решаются. Итак, слушаю вас.

Я начал рассказ. Он слушал, опустив глаза. Кивал. Изредка спрашивал: «Вы исповедались, каялись в этих грехах?»

- Кончно, – отвечал я, - отцу Валерию.

Он накладывал на себя крестное знамение. Шевелил губами. Кивал мне: «Дальше.»

Я продолжал. Когда же я довел рассказ об исключении из коммунистической партии и демобилизации, он усмехнулся: «Так вот, почему отец Валерий передал мне ваше окормление. Я ведь – тоже бывший

ракетчик. Командир группы наземных стартов. 65-ые, твердотопливные, - слышали, должно быть…»

- Вы Рижское училище заканчивали? – перебил я.

- Так точно, - улыбнулся он, - и служил я там же, где и вы. В Ивановской области. Тоже был исключен из партии. За антисоветскую пропаганду. Тогда с этим делом жестко было. Меня вообще в фашистской идеологии обвинили, хотя ею в моих рассуждениях и не пахло. Пять лет лагерей дали. Через четыре освободился. Узнал, что уже три года, как жена развелась со мной, увезла детей, вышла замуж. И вот я – здесь.

- Батюшка! Я же слышал про вас! Вы – капитан Георгий Виноградов! Самый молодой тогда командир группы на подполковничьей должности! Про вас легенды в гарнизоне ходили. Шепотом, конечно.

- Так-таки, и легенды?

- Батюшка, а можно «на ты»? Ведь даже к Господу мы так обращаемся…

- Бог тебя благословит, Александр. Так что же за легенды?

- Да-а-а! Рассказывали. Например, капитан Анатолий Владимирович Шишкин,

- мы с ним в одной группе на 84-х служили, в третьем полку, - что вы, ой, ты, батюшка, с честью держался и на суде офицерской чести, и на дивизионной парткомиссии, и на народном суде. Обличал все начальство, которое своими делами и поступками, ну, никак не соответствует словам и лозунгам…

- Шишкин? Толя? Так и не стал майором? – перебил он вдруг меня.

- Так он же - честный офицер! И резал в глаза всё, что думает! Всяким сынкам, выскочкам, стукачам!

Отец Илларион вздохнул: «Я ведь тогда уже верующим был. Отец мой, покойник, - Царствие ему Небесное, - мне помог разорбраться во всем. С ним же чудо произошло. На фронте, когда Берлин наши взяли. Он водителем был у одного командира полка. После ранения. А до этого «Катюшу» водил. Так вот. Рейхстаг был уже взят. Ну-у-у, командир полка, проезжая мимо, захотел осмотреть его. Отец остановил машину. Полковник ушел в Рейхстаг. А отец тоже вышел из кабины. Закурил. Поднялся на несколько ступенек и… остолбенел! Перед ним, улыбаясь, стоял наш последний Царь, мученик, искупитель Николай Второй Александрович в полевой полковничьей форме, в полном, как говорят, снаряжении.

Он кивнул отцу. Поблагодарил за службу. Добавил при этом, мол, не подвел ты своего отца, мученика, не посрамил его подвига. А потом отец увидел и моего деда, своего отца. Полного Георгиевского кавалера. Тоже Георгия. В форме унтер-офицера, возникшего за спиной нашего Святого Императора. Тот тоже улыбнулся. Прикрыл на миг глаза, как бы благословляя сына. Проговорил: мол, погиб я при одной из попыток осовобождения нашего Государя. Мы все тогда погибли. В подземном ходе из Санкт-Петербурга в Царское Село. У вас это называется «метро». «Красные» включили ток высокого напряжения в части наполовину затопленной водой. Сам ты не разберешься при жизни. А вот сыну твоему все расскажи и накажи разобраться. Святой у нас Царь Николай Александрович. От тебя требуется только в храм ходить, веровать, каяться. Исповедоваться в грехах. И жить, - самое главное, - по-Божески. А вот внук мой, - твой сын, - пусть продолжит наше служение. Оба, - и Государь, и дед мой, - исчезли. Вот я и стал офицером. А когда разобрался, не смог молчать. За это меня и обвинили в фашиствующем антисоветизме.

- Как это? – не выдержал я, многого из его слов не понимая. Но в это время в дверь

кельи постучали и за ней раздался голос: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас…»

- Аминь, - громко произнес отец Илларион. В открывшуюся дверь просунулась голова молодого монаха: «Отче! Там опять с проходной звонят. Говорят, что, как бы, чадо духовное приехала. Спрашивает.»

- Ну, Александр, - вздохнул отец Илларион, - Бог не дает продолжить разговор. Прости. Пойдем.

- Батюшка! А последние грехи. Неисповеданные! Да и вообще: вся жизнь какая-то сумбурная. Греховная насквозь. Не знаю даже как поступать! А тут ещеэ

- Приезжай, как только время появится. Все и обговорим. А я буду сугубо молиться за тебя. Прости. Нехорошо заставлять женщину ждать. Пойдем.

Мы вышли, и в проходной я увидел… Татиану, с которой познакомился под Минском, на даче у Эдуарда Мартыновича. Вот уж кого не ожидал здесь встретить! А Татиана, благословившись у отца Иллариона, похристосовавшись со мной, повторила мои слова вслух: «Вот уже кого не ожидала здесь встретить!»

Но, тут же повернувшись к отцу Иллариону, опустила глаза: «Ну, никак не могу Бориса сюда привести. Он говорит, мол, во всем хочет сам разобраться. Вот и сейчас пошел в Троицкий храм, к мощам преподобного Сергия. Там и обещался меня дождаться. Говорит, мол, батюшка Сергий святее твоего духовника, он и надоумит меня. А с Александром мы у Эдуарда Мартыновича познакомились.»

- Вот как?! Вот и не верьтому, – улыбнулся отец Илларион, - что Господь сводит своих. Значит, мир – тесен. У тебя ко мне что-то исповедальное?

- Не-е-ет! Тезисы статьи привезла. Предпоследнюю, которую ты, батюшка, благословил осенью, кратко в Минске поведала нашим. Одобрили. А сейчас у меня – новая назрела.

- Ну, что ж! Плодовито работаешь! Молодец! А не возражаешь, если и Александр тоже познакомится с ней?

- Как благословишь, отче.

- Тогда пойдемте, прогуляемся по Лавре.

И мы вышли из проходной. Прошли мимо могил. Зашли за музейный корпус. Там было совсем безлюдно. Татьяна взглядом попросила разрешения говорить. И начала:

«Я хочу назавать статью «Крест и меч». Или как-то подобно тому. Ведь ты, отче, говорил в прошлый раз, что на земле Церковь воинствующая, но ее раскололи задолго до семнадцатого года и пропагандируют по сути толстовское непротивление злу.»

- Да-да, - кивнул отец Илларион, - и раскол может усилиться именно тогда, когда с виду Церковь станет возрождаться. Так писал, по-моему, святой праведный Иоанн Кронштадтский, мол, храмы позолотят, а внутри будет мерзость запустения.

- Вот я и пишу, что милосердие и мужество составляют монолит Православной Веры, который сегодня стремятся расколоть, расшатать, разрушить, обезоруживая христиан хитроумными разглагольствованиями, убеждая их в пагубности воинского подвига для христианской души.

- Погоди-погоди! Но сегодня ли? Это делалось до семнадцатого года тайными обновленцами. А после – и официальной Церковью. Еще Собор восемнадцатого года намекал на это. При местоблюстительстве митрополита Сергия верхушка Церкови закрывала глаза на гонения. Вот здесь надо как-то осторожно отделить котлеты от мух! Впрочем, сдается мне, да и старчики наши

говорят, что недалеки те времена, когда все непротивленчество, беззубость войдет официально в архиерейский быт. Дальше?

- *Отче наш,* - обращаемся мы в данной нам в Евангелии молитве Господней к Богу, удостоенные чести называть Его своим Отцом… - продолжила Татиана, - *Отче наш, Иже еси на небесех*… Так христианин исповедует свою непреложную Веру в Бога Истинного, которая потому и Верой именуется, что не требует доказательств. Помнишь, батюшка, ты именно такое толкование приводил? Правильно ли я поняла?

- Умница! Только не возгордись! – хмыкнул отец Илларион.

- Далее мы взываем: *Да святится Имя Твое.* И в этих словах выражаем любовь. Приносим славу Имени Божьему. Разъясните мне суть «имябожества»! За что официальная Церковь критиковала это учение?

- И-и-и, милое чадушко мое! Это оч-чень долгий разговор! Надеюсь Бог даст нам время в другой раз разрешить твой вопросец. Продолжай.

- Следующее прошение: *Да приидет Царствие Твое.* В этих словах звучит надежда на спасение душ наших. А у слова «надежда»

есть удивительный древний смысл: как одежда – покров телу, так надежда – Божий покров человеческой души, без которого не выжить.

- Ух ты, - вырвалось у меня, - это же - открытие! Настоящее открытие поэтического образа!

- Танюша у нас – первооткрывательница! Впрочем, не будем захваливать! - усмехнулся в бороду отец Илларион.

А Татиена продолжала: «*Да будет Воля Твоя, яко на небеси и на земли*… В этих словах мы превозносим премудрость Божию. И они являются коренными словами Господней молитвы, потому что когда мы молимся о воле Божией на земле, как на небе, то полагаем себя орудием этой воли, не пассивными созерцателями творимого на земле зла, а поборниками Божьей правды, без которой мир может погибнуть. *Хлеб наш насущный даждь нам днесь*… Так мы выражаем верность добродетели воздержания - христианскому аскетизму. Далее мы взываем*: И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим*… Здесь мы вспоминаем об условии нашего спасения: о нашем покаянии,

искуплении своих грехов и готовности прощать грехи ближнего.»

- А вот здесь, мое дорогое чадушко, - вдруг вскинулся отец Илларион, - я бы советовал тебе подумать и над тем, что мы не только о своем личном взываем «оставить долги наши», но говорим как бы от имени всех православных христиан! *На-а-аши!* В этом возгласе выражено единство Церкви! Воинствующей Церкви! Ее тела! Во главе со Спасителем нашим Господом Иисусом Христом!

- Спаси Господи, батюшка! Обязательно учту и подумаю. Далее мы молим: *И не введи нас во искушение…* Этим, я полагаю, мы утверждаем свою твердость стояния в Вере, свою готовность добровольно нести свой крест, ибо вольно следующему за Господом не требуется искушений, то есть испытаний! Ведь искушать значит - пробовать, испытывать. Посему сие прошение означает, что мы итак уже, без проб и испытаний, несем крест свой вслед за Христом. А если же встречаем искушения в жизни, не означает ли это, что уклоняемся от креста своего?

Отец Илларион довольно закивал. А Татиана продолжала: «Наконец. *Но избави насъ от лукаваго…* Кто назван лукавым в

Молитве Господней? Современные изыскатели от русского языка придали этому слову игривый, нестрашный смысл. А ведь лукавый - имя сатаны! В слове «лукавый» выражена идея искривления прямого пути к Господу. Корень слова – «лук» - мы находим в русских словах «излучина», - поворот реки, «лук», - старинное стрелковое, изогнутое оружие. И мы просим Бога избавить нас от сатаны, искривляющего наш путь к Богу. Для нас, православных, молитва *Отче наш* является исповеданием нашей Веры в Бога, утверждением нашего долга отстаивать правду Божию на земле, именно отстаивать, то есть непримиримо воевать со злом. Так почему же нынешнее Православное христианство в России предстает в облике эдакой овечьей уступчивости, с помощью которой, как уверяют нас, только и можно победить зло. В подтверждение обычно приводят слова Господа Иисуса Христа, данные нам в Евангелии от святого Апостола Матфея: «Аз же глаголю вам не противитися злу. Но аще тя кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую». И эти слова выдаются за единственно верный закон жизни Православного христианина, а сопротивление злу силой рассматривают чуть ли не как покушение на Божьи

Заповеди, на страшную ересь. Не потому ли у человека, идущего к Вере, стремящегося справедливость и милость Божию водворить по образу Небес в своей земной жизни, возникает естественное недоумение – ведь повелением «подставить щеку» его призывают уступать дорогу злу. А что такое душа, привыкшая все время уступать дьявольскому вражьему натиску? Это душа без силы творить добро. Это душа – без воли следовать за Господом. Не христианин это! Пустое место! Более того, эту идейку непротивления злу нередко пытаются узаконить другими словами Господа Иисуса Христа своему ученику, кинувшемуся с мечом на пришедших иудеев: *Возврати меч свой в место его. Вси бо приемшии меч, мечем погибнут*… Так нам говорит тот же самый святой Апостол Матфей. Толкуют так, что у православного руки опускаются в безсилии. Заглянем в Толковую Библию, читаем: «Христос, произнося свои слова, запретил всем людям иметь меч и употреблять его в качестве защиты или производства насилия». Перед нами пример наглой лжи, дьявольски расчетливо нацеленной на обезсиливание, обезволивание христиан, на воспитание из них покорного стада для будущего пастуха – антихриста. И вот какую

ложь я недавно обнаружила! Слово «приемшии», а еще в этом чтении встречается и слово «вземшии», по-церковно-славянски и по-русски не означают просто «взять»! Они означают «взять первым, начать». Сравним русское выражение «приняться за дело», «взяться за дело», то есть начать работу. Греческое слово, соответствующее этим славянским в оригинале Евангельского текста, имеет такое же значение – «поднять оружие первым». Пе-е-ервым! Вот и «приемшим меч» является не кто иной, как тот, кто *взял его первым*, напавший с оружием, и такой человек, по слову Господа и по свидетельству нашей истории, непременно от меча и погибает. Бог не дает победы агрессору. Русская пословица в подтверждение Евангельских слов гласит: «На начинающего - Бог». Да, Господь запретил нам такое противление злу силой, которое оценивается как личная месть нашему личному врагу. Врагам же Божиим и врагам Отечества, – силе сатанинской! – не противиться есть грех великий, ибо это нарушает две главные заповеди Христовы: заповедь любви к Богу и заповедь любви к ближнему. Евангельские слова об оружии и вооруженном сопротивлении злу намеренно замалчиваются уже столько лет! Хотя они-то

как раз и являются для нас законом противодействия врагам именно силой. Накануне Своих смертных Страданий Господь Иисус Христос заповедует ученикам быть готовыми к тяжелым временам на земле без Него. Так? Но поэтому Он заповедует непременно вооружаться, и у кого нет денег, - «да продаст ризу свою и купит нож». Так передает нам святой Апостол Лука. И что это, как непреложная Заповедь Господня для каждого христианина?! Таким образом, вооруженная героическая борьба за Христа, против христоненавистников и богоборцев освящена Самим Господом. Наше Русское Православие искони понимало необходимость меча, разящего врагов Божиих. Потому и первый из Архангелов Михаил предстает на иконах Небесным воителем. Потому с самых древних времен на нашем гербе Святой Георгий Победоносец в образе воина, сражается и побивает дракона. Не того ли Ветхозаветного змия? А наши благоверные Великие Князья Александр Невский, Дмитрий Донской, святой воин, преподобный Илья Муромец, непрославленный пока флотоводец Феодор Ушаков, шедшие против врагов Отечества огнем и мечом? Разве были они кротки и смиренны перед агрессорами. Не только

города Святой Православной Руси, но и монастыри русские, их насельники, постриженные в ангельский образ, становились, подобно воинственному Архангелу Михаилу, оплотом истребления вражьих сил, как это было в Смутное время, когда Свято-Троице-Сергиева обитель продержалась в польской осаде, в кольце войска, исчисляемого пятнадцатью тысячами, год и три месяца, потеряв две трети своего воинского монашеского гарнизона. И кто придумал только, что в гибельной для Отечества ситуации монашествующие и священники не могут брать в руки оружия?!

- А ты мне подсказала тему для поиска! – опять вскинулся отец Илларион, доселе шагающий с опущенной головой. И задумчиво проговорил: «Спаси тя Господи! Продолжай»!

- Крест и меч, - вздохнула Татиана, опустив кулачок в варежке, до сих пор рубящий воздух и как бы подтверждающий ее слова, - милосердие и мужество составляют монолит Православной Веры, который сегодня стремятся расколоть, расшатать, разрушить, обезоруживая христиан хитроумными разглагольствованиями, убеждая их в

пагубности воинского подвига для христианской души. Излюбленное нытье псевдохристианских проповедников – «о мире всего мира», ради которого нас опять-таки призывают не прикасаться к оружию, стать толерантно, - Господи, слово-то какое! - вежливыми, улыбчиво единомысленными, – мол, ведь это же ради мира на земле! – со всеми врагами Христа и нашего Отечества. Да разве единомыслие всегда одинаково благо? По слову Иоанна Златоуста «и разбойники между собой бывают согласны». Но лишь тогда «по-настоящему водворяется мир, - утверждает святитель Иоанн, - когда враждебное от-де-ля-ет-ся». Спаситель наш Господь Иисус Христос жестко полагает перед нами Свое слово именно о разделении, а не единении мира. И предупреждает: «Приидох вовреще не мир, но меч». Меч – по-славянски значит рассекающий, разделяющий добро и зло, творящий насилие властью, данной Богом! Меч, водворяющий добро на земле и поражающий злобу, – вот священное оружие православных! «Ведь и врач, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - тогда спасает прочие части тела, когда отсекает от него неизлечимый член». Таким образом, только поразив огнем и мечом врагов Господа, выгнав со своей земли

врагов Отечества, мы водворим подлинный мир в России, только тогда можем стяжать истинно дух мирен, спасая тысячи и тысячи наших ближних – православных братьев христианской уступчивостью и любовью.

Татиана вздохнула. Приостановилась. И вдруг, закрасневшись, очаровательно заулыбалась. Выдохнула: «Всё!»

- Воительница ты моя! А что говорит Борис по поводу твоих изысканий?

- Бог смилостивился над нами. Мы – единомысленны в этих изысканиях. Только Борис хочет хитростью сейчас добиться возможности войти во властные структуры. А потом уже действовать с нашей позиции.

- Во, как! Ну-у-у, Бог вам в помощь! Покрова Божией Матери в сем святом деле. Толко хитрость, - почитай, лукавство, - никогда не помогало во благом деле! - поклонился отец Илларион. Широко перекрестил Татиану: «Статью пиши. Но даже не знаю, где тебе сейчас ее удастся опубликовать. Я помолюсь. А там, уж, какова будет воля Божия.»

Я любовался Татианой. Борис, как я понял, был ее мужем. Повезло ему с женой! Умница! Красавица! Вот бы и с Борисом познакомиться!

- А как тебе, Александр тезисы статьи? – прервал мои мысли отец Илларион.

- Прости, Господи! Прости и ты, отче! Позавидовал таланту Татианы, потому как сам бы так написать не смог! Энциклопедически!

- Не завидуй, потому как, – вдруг засмеялся батюшка, - у тебя другой путь. Другая стезя.

- Какая?

- Сейчас тебе надо заняться своим образованием. Танюша, а ты привезла проповедь, которую я тебе давал в последний раз?

- Архиепископа Аверкия? Да. Благодаря этой брошюре я и написала тезисы статьи. Она у меня здесь. - полезла Татиана в сумочку.

- Дай Александру почитать. Он потом тебе отдаст.

Я взял в руки тоненькую книжицу. Сразу заметил, что это - Джорданвильское издание. Хмыкнул про себя. Подумал: «Почему же отец Валерий не говорил мне такого? Или я тогда еще не дорос? А теперь?! С последними-то грехами»?!

На колокольне часы отбили два по полудни.

- Ох, простите меня, дорогие мои, - спохватился отец Илларион, - на трапезу опаздывать нельзя. А вы можете пообедать с паломниками и трудниками. Танюша, беги за супругом и догоняйте нас.

- Спаси Господи, отче, - помотала та головой, - Борис категорически против монастырских обедов. Говорит, мол, нечего братию объедать! Сказал, что перекусим в блинной на станции. Вы с Александром идите. А я – в Троицкий храм. К мужу. Хочу еще на акафисте преподобному Сергию постоять.

- Воля ваша, - хмыкнул отец Илларион, - а послушание мужу в православной семье – выше послушания даже духовнику. Ты, Александр, не желаешь ли отобедать?

- Простите, батюшка, уж если сегодня не удается исповаться и покаяться в последних грехах, то, пожалуй, тоже пойду в храм. Помолюсь, да и домой подамся. Завтра – на работу, - вздохнул я.

- Господь да благословит вас, - перекрестил меня и Татиану отец Илларион и широко зашагал от нас к проходной.

- Простите меня, Александр, - протянула ладошку Татиана, - я тоже поспешу. Муж, должно быть, уже волнуется.

К тому же у нас сыночек дома с соседкой остался.

Я ответил на рукопожатие и отправился в собор, потом в трапезный храм, потом в Троицкий, к мощам преподобного Сергия. Татианы там уже не было. А стрелки на колокольне показывали четверть пятого. «Эдак, - подумал я, - домой вернусь не раньше семи. Надо ехать. Тем более начало смеркаться». Но прежде я решил вернуться в храм, чтобы помолиться перед святыми мощами о прощении грехов. Но кованные двери были на замке, и на них висело объявление: «Закрыто на уборку до 18 часов». «Вот, не повезло!» - раздосадовалась мысль. «Не допустил к себе батюшка Сергий! По грехам!» - согласно вздохнула другая.

Георгия приписали к моему десятку. Он радовался, словно младенчик, получивший давно желанную игрушку. Всё повторял: «Вот, уж Петруша, поди, позавидует!»

- Почему это? – хмыкнул я наконец. И пожал плечами: «Он и своим местом доволен.»

Георгий как бы даже обиделся. Надул губы. Молча вышел из шатра. А скоро мы отправились из Коломенского в Москву.

Дома, в моем расширившемся хозяйстве, все было так, словно я и не уезжал. Княгиня встретила меня на крыльце. Поднесла чару ромейского, моченое яблочко. Прижалась на миг ко мне. И дни потекли своей обычной чредой. К нашим учениям прибавилась еще и сторожа в Царском Дворце. Даже в Грановитой палате постоять несколько раз пришлось, когда Государь принимал посольства.

Но однажды назначили меня сопровождать Государя, Курбского, Адашева, попа Сильвестра и какого-то родовитого болярина в подземелье, как я понял, в пыточную. Там в большом помещении, уставленном всякими орудиями дознания, Иоанн Васильевич опустился на грубо струганную лавку. Остальные встали немного сзади и по бокам от него. Я же по знаку Курбского остался у низких входных дверей. Дьяки-дознаватели и пыточные люди ввели… болярина Иоанна из Посольского Приказа. Был он бледен. В одной грязной, порванной рубахе. Закован в железа. Государь неотрывно, долго, сурово, молча, вглядывался в лицо колодника. Наконец,

спросил: «Знаешь ли Ивашка, по какой нужде здесь оказался?»

- Не ведаю, Государь, - облизнув пересохшие губы, ответил тот.

- И вины перед Богом, Царством нашим никакой не чувствуешь? – свел брови к переносице Иоанн Васильевич.

- Нет, Государь. Могу присягнуть о том на святом Кресте и Евангелии, - склонив голову, но продолжая прямо смотреть на Царя, ответил болярин Иоанн.

- А вот, князь Никита, - соратник твой по Посольскому Приказу, - свидетельствует, что ты тайно перешел на службу к нашим недругам, когда сопровождал литовское посольство, - недобро крутанул головой Государь.

- Повели призвать наветчика, - вскинулся болярин Иоанн, - и дозволь взглянуть ему в глаза.

Государь кивнул дьяку. И тот, обойдя на целую сажень обвиняемого, вышел. А когда вернулся, вслед за ним в пыточную вошел дородный, осанистый, но молодой, незнакомый мне князь.

- Сам кто будешь? Откуда? – спросил его Иоанн Васильевич.

- Никитка Аниканов я. Со Псковщины. Именьице у меня – богатое. Но все одно, к

тебе, Государь, пришел служить. Жизнь отдам за тебя, дабы любого ворога, явного ли, тайного ли, извести!

- Никитка, – остановил его жестом Царь, - ты по-прежнему утверждаешь, что сей Ивашка, сын болярский, вступил в сговор с литовским посольством?

- Я.., - гордо выпрямился князь, - да, утверждаю. Потому, как слушал его речи.

- И на каком же языке? – вдруг усмехнулся болярин Иоанн.

- Да. На каком и где? – вставил слово поп Сильвестр.

- Да-а-а… В Приказе. На нашем языке-то. Я ж другого не разумею. А говаривал он дьяку приказному, который вместе с ним встречал и провожал посольство. Говорил, что, мол, как разодеты, как обходительны послы. Как разумны! Говорил такоже, мол, как щедры! Не в пример, мол, тебе, Государь. Щедры-ы-ы! Стало быть заплатили! И еще…

- Последнего я не говорил, - вскинул голову болярни Иоанн, - а про разодетость добавил: «словно петухи».

- Государь, - опять заговорил с поклоном поп Сильвестр, - не забыл ли ты мои наставления о Страшном Суде? О том, как ты судишь, так и тебя судить будут? Там не люди свидетельствовать станут! Ангелы

Божии! Тебе для твоих грядущих великих деяний нужно благонравное, безпорочное окружение.

- Да-да, - закивал Алешка, - а во всяком подозрении, даже навете, есть доля правды. Бьют поначалу не за то, что сделал, а за то, что попался. На безукоризненного-то холопа никто слова дурного не скажет.

- На дыбу - его бы, Государь! Тут же сознается! – хохотнул незнакомый мне болярин. Я едва сдерживал ходившие под кожей желваки. Не мог болярнн Иоанн пойти на любое иудство! Ну, никак не мог! И я взмолился, не разжимая губ: «Господи! Если он не виноват, помоги ему»!

Дверь в пыточную распахнулась и вошел… митрополит Макарий. Иоанн Васильевич, а за ним и остальные, склонились под благословение. Владыко обвел всех взглядом. Молча перекрестил. Государь, увидев в глазах митрополита вопрос, тут же все и рассказал. Владыко помолчал. Перекрестился. Твердо молвил: «Есть у нас добрый обычай: доносчику - первый кнут.»

Тут же развернулся и вышел вон. Князь Никита даже присел, округлив глаза. А Государь кивнул пыточным людишкам. Те подхватили доносчика. Сордрали с него

дорогой кафтан, верхнюю и исподнюю рубахи. Приподняли за связанные руки к балке. После третьего удара кнутом Никитка заверещал, что, должно быть неправильно понял слова болярина Иоанна. После пятого, всхлипывая, стал виниться: мол, бес попутал, заложив в сердце желание занять пост соратника по Пососльскому Приказу.

- Велика милость Божия! – истово перекрестился поп Сильвестр. И обведя всех взглядом, провещал: «Послал Милостивец Ангела Своего, владыченьку Макария! Вложил в медовые уста его слово Свое! И еще раз подвердил, что ты, Государь, - вечный Самодержец, Православной веры истинный наставник, на вороги Божии – крепкий боритель, Христовой Церкви – столп непоколибимый. Осенен ты тою же благодатию что и святой равноапостольный Константин Великий, утвердивший Христианство в Византии. И призван ты защищать истинную веру по всему свету. Но… чуть было не сотворили мы неправедный суд. А посему, как твой духовник, называю епитимию: сей же ночью положи сотню земных поклонов.

Иоанн Васильевич склонился под благословение. Получив его, повернулся к незнакомому мне болярину. Кивнул: «Коли

хотел ты кого – на дыбу, так не мешкай с Никиткой-то!»

Затем уж обратился к последнему: «Лжец ты! А знаешь ли, кто есть отец лжи? После дыбы – в дальний монастырь пойдешь. На черные работы. Предал соратника моего – предал и меня».

Наконец, Государь поклонился болярниу Иоанну: «Прости ты меня Христа ради. Бес попутал. Сторицею воздам тебе за перенесенную обиду.»

Проходя мимо меня, Иоанн Васильевич вдруг остановился. Вгляделся в глаза. Мотнул головой, словно что-то вспомнил. Вдруг спросил: «Что ж ты, Алексашка не вступился за оклеветанного болярина? Ведь вместе посольство встречали.»

- Не посмел встревать, Государь, - и я почувствовал, как стыд заливает лицо краской.

- То, что без спроса Царского молчал, - похвально! - А то, что за Божию правду даже под страхом кнута не вступился, - худо! – и вышел из подземелья. За ним потянулись и остальные. Когда болярин Иоанн, уже раскованный от желез, проходил мимо, я шепнул ему: «Прости меня Христа ради!»

Он остановился. Положил мне руку на плечо: «И-и-и, брат! Нельзя пока на твоем

месте вступаться. Здесь можно только молиться, чтобы Господь Государю правду открыл.»

- Я и молился, - громко воскликнул я, - за тебя!

- Вот и услышал Господь! И вступился: послал митрополита Макария. А за то тебе – великая благодарность! Спаси Господи! Почитай: я - твой должник, - обнял он меня и вышел вон.

Мы с Мстиславкой, несшим со мной сторожу, последовали за всеми. На другой день, в расположении, я спросил князя Курбского: «А если бы этот Никитка вчера не созналася бы в навете на болярина Иоанна?»

- Дикий обычай! Басурманский какой-то! - крутанул головой тот. Отвел взгляд в сторону: «Но с другой стороны: если б не сознался, отправился бы на дыбу. А на ней, родимой, кнута бы отведал. Кто ж после такого не сознается в чем угодно?! Но-о-о… Ежели Государь и дальше так пойдет, всем добра не видать! Ну, мало ли: ошибся княжич. Получил свое кнутом. Зачем же на дыбу? Прости, Господи! А тем паче, - в монастырь на черные работы?!

«Ничего себе: ошибся!» - вспыхнула во мне мысль, но я не подал даже виду своего

изумления таким рассуждением. А брат Георгий, стоявший здесь же, восхищенно «поедал» глазами Курбского. Тот поймал его взгляд. Улыбнулся. Хлопнул брата по плечу: «А что?! Не забрать ли мне тебя у Алексашки себе порученцем? А?»

- Рад буду служить! – вытянулся в струнку Георгий.

- Вот и славно! Так и порешим. А ты, Алексашка, после сторожи можешь ехать домой. Отдыхать. Кстати, как там твоя суженная поживает?

- Как? Так ведь,– смутился я, - на четвертом месяце она. Непраздная.

- Во как! – хмыкнув, крутанул головой Курбский, - Ну-у-у, закрутил ты, брат! А матушка-то твоя знает?

Я помотал головой. Опустил глаза в пол.

- Да-а-а, - продолжал Курбский, - скакать вам сейчас в Переславль-Рязанский не с руки. Распутица. Давай-ка, пиши грамоту матушке. Пусть по первому снежному пути с внучатами да холопами в хоромы твои перебирается. Приедет – узнает. Я как раз гонцов на Рязанщину посылаю. Они и доставят грамотку-то. Не горюй! Дело житейское. А ты… А тебе дело здесь найдется.

Дома, за трапезой, я рассказал Алле повеление князя Курбского. Она зарделась. Опустила глаза. Всхлипнула: «Зачем же так сразу? Боязно мне. А ну, как не прийдусь матушке твоей по душе?!»

- Пустое! Приедет, - ты на сносях уже будешь. Куда ж деваться-то? И ей, и нам.

- А ты не слыхал, что один молодой княжич Государем в подземелье отправлен? Неправедно! Никиткой кличут. Не слыхивал ли про то?– вдруг переменила она разговор.

- Как это?! Государем отправлен, – даже откинулся я назад, - и неправедно! Да и почем ты знаешь?

- Как же? Я тут с болярышней одной на торгу подружилась. Так он, Никитка-то, - ее суженный. Ох, и плакала же она! Ох, и плакала! Вот я и порешила тебя спросить. И про то, что неправедно отправлен в подземелье, она мне сказала.

- Ха! Неправедно ли, – крутанул я головой, - наветовать этому Никитке на верного Государю болярина из корысти? Чтобы на его место сесть. Да-да! На того самого, который встречал ваше посольство и помог мне тебя спасти. На дыбе сейчас клеветник. Сам видел. Доносчику – первый кнут! После третьего удара и признался иудушка в навете им наведенном.

- Что за обычаи такие? – поморщилась княгиня. Отвернулась от меня. Пробормотала: «Чуть что – сразу кнут и дыба! Дикарство какое-то!»

Я хотел, было, прикрикнуть на нее, но вдруг вспомнил о непраздности. Молча встал и ушел в свою лежницу. Спал аж до самого заката. Но сон был какой-то тяжелый, потный. И снились какие-то обрывки, словно разноцветные обгоревшие тряпки. Крикнул Фоку. Велел стол собирать. А он сказал, что княгине нездоровится, и она будет трапезничать в своем покое.

- Ну-у-у, тогда и мне сюда принеси, - кивнул я, - да кликни Дуняшку. Что это там приключилось с княгиней?

- Намаялась она, бедняжечка, - всплеснула руками на мой вопрос баба, приставленная к Алле, - что ни день, то на торг спешит. И ладно: только о себе радела бы! Всё думает, как бы нас, холопов получше накормить да обиходить. Меня - во-о-она, какими бусиками на День Ангела одарила. Ино-зем-ны-е! Камешки – все желтые, прозрачные! А в срединном, самом большом – так лепотно мушка впаялась! Как живая!

- Ливонские камушки, - встрял Фока, - или литовские. С моря, которое в прошлые веки Русским прозывалось, когда наше

солнышко, святой благоверный Великий Князь Александр Невский дорогу туда пробил.

«Щедрая! Холопов любит. А я-то, невежда, всё собак на нее готов спустить», - подумалось самоукоризненно мне. И я отпустил холопов с Богом. За окнами дзинькал мелкий, частый, холодный дождь, готовый, казалось, перейти в снежную, колючую крупу…

Прошло три седмицы, после которых меня срочно вызвал князь Курбский. Весело хлопнул по плечу.

- Радуйся, Алексашка! Гонцы вернулись. Ответ твоей матушки привезли. На, читай, - протянул он мне грамотку. Из нее я и узнал, что все мои живы-здоровы. Собираются в путь-дорожку. И, ежели Бог даст, к Рождеству Христову будут на Москве всем нашим двором. Я поклонился князю Курбскому в пояс. А он, приобняв меня за плечо, заговорил: «А тебе, голубь мой сизокрылый, лететь до Нижнего. Готовить заставы. Места ночевок для Государя выбрать. Болярам да княжатам велеть залотовки ладить. Для ратников снедь всякую в погрнба да леднички закладывать. Овес да сено для коней поберечь. А по пути перед самой Казанью, лес валить, тес пилить.

Для «гуляй-крепостиц». С тобой пойдут уже знакомый тебе дьяк Кирюшка. Да полсотни плотников, столько же литейщиков. Этих в Нижнем оставишь, чтобы местных научили нашим ратным поделкам. Да накажи, чтобы кормили, поили, обихаживали, как родных! И все, что затребуют, исполняли. У них – свои десятники. Пойдет с тобой еще один княжич. Димитрий. Этот приставлен, дабы выведать, не таит ли кто добра какого неправедного, не в сговоре ли с Казанцами. Ты – старший.`Но и к нему, к Митке, прислушивайся. С ним идет десяток его молодцов. Они свое дело ту-у-уго знают! Посему их ни для каких работ не привлекай. Даже на ночевках. Из ратных людишек тебе дается полусотня конных и столько же гонцов, коих ты с Митькой будешь снабжать грамотками и на Москву отправлять. Ко мне лично! И тайно! Всё ли уразумел? Слава Богу. Мужичков своих посноровистей десяток можешь взять для обслуги. Пойдешь о-дву-конь. Два дня на сборы хватит? И никому – ни слова! Ни женке, ни холопам. Даже те, которые с тобой пойдут, до самого Нижнего знать не должны, куда, да зачем. А что делать после Нижнего, тебе Митька там и поведает.

- А что княгине-то сказать? – поначалу опешил я.

- А скажешь, что идешь.., ну.., скажем.., в Холмогоры.

Я кивнул. А Князь Ондрей напоследок наставил: «К Рождеству жду обратно. Выезд затемно. Через два дня. Отсюда.»

…Алла на удивление спокойно встретила весть о моем отъезде. А перед дорогой вынесла стременную чару. Склонилась под благословение. Сама перекрестила меня. Только опять, - прости Господи!`– не по-нашему… Слева направо. Я тронул коня. И мимо поплыли Ѣаминки, Никольское, Павловский Посад, Петушки… Пе-туш-ки… Что-то екнуло в сердце, словно я уже был здесь. И не раз.

- А почему Петушки? – спросил я ехавшего рядом княжича Митьку, светловолосого и светлобородого, тонкого, словно вербочка, но ловкого, задумчивого и не очень разговорчивого, с легкой сабелькой и таким же кинжальчиком на поясе.

- В былые времена здесь разбойнички обитали. И знаки всякие друг дружке петушиным криком подавали, - спокойно усмехнувшись, смешно акая, ответил он.

- А сейчас? Разбойнички? – крутанул я опасливо головой.

- Вывели их всех, - хмыкнул он. И тут же издалека послышалось кукарекание. Все, кто слышал про разбойничков-«петушков», засмеялись. А княжич Митька пояснил: «Из дальней вёски донеслось».

- Вёски? – переспросил я.

- Да. Так у нас на Белой Руси деревни называют, - вдруг погрустнев, ответил он.

- Слушай, - спохватился я, - а почему мы идем на Нижний? Путь-то на Казань поюжнее будет.

Митька улыбнулся: «Все - очень просто. От Нижнего будут спускаться по Волге и лес, и тес. Мастеровые наши там останутся. Их мы и сопровождаем. А вот, после Нижнего мы… Впрочем, пока не время толковать о сём. Во всяком случае, я - ни сном, ни духом – о пути наших ратей на Казань: через Нижний ли, южнее ли…

Он пришпорил коня. За ним потянулись`и мы все. А мелкий дождь перешел в снег. И опять сердце ёкнуло в груди. Должно хотело что-то напомнить мне. Но что?

На первом большом привале в лесу, Митька построил своих ратников парами. Поставил друг против друга. И я залюбовался рукопашной схваткой десятка людей. Вспомнился вдруг нукер Ахмед: даже

ему с его молодцами, пожалуй, княжича с Белой Руси одолеть было бы трудно. Занимало и то, что ратники рубились не на шутку, и не деревянным саблями, а настоящим оружием. При этом выворачивались так, что те как бы скользили вдоль тела, даже не повреждая одежды, кольчуг и доспехов. Мои мужики и мастеровые, занятые обустройством ночлега, оставили свои дела. И тоже любовались рукопашным боем.

Вечером у костра спросил Митьку: «Где ж ты такому бою научился?»

- И-и-и, брат! У нас это – в роду. Берем мы свое начало от росичей, селившихся вдоль реки Рось. Потом наши пращуры перебрались севернее, на Припять, в Беловежье. А там зверья – несчитано. Вот, с отрочества и учимся ходить на медведя в одиночку. Это – ладно! Дело и для вас, московитов, - привычное. А`вот с вепрем справиться – похлопотнее будет! К тому же, западные соседи никогда не упускали, случая придти пограбить наши посады, вески. Не было года, наверное, чтобы мои пращуры не отражали набегов ляхов, литвы, угров, крымчаков. Теперь же вообще под игом литовско-ляхским отчина скорбит. Редкие остатки моего рода ушли на Москву целыми

и невредимыми. Чу-у-удом Божием! Вот и служим Белому Царю в надежде, что он свободит Белую Русь! А борьба, коей владеем мы, называется медвежьей. Суть ее в том, что ратник не отражает удар ворога, а уворачивается так, что оружие скользит вдоль тела, не причиняя вреда. В результате этого, противник открывает себя. Движется вслед за своим же ударом ен мас ыт жу тут А теряйся и бери ворога в этом движении голыми руиами.

Такбился, пожалуй, поискуснее всех, каждый привал для Митьки и его людей начинался с рукопашного учебново боя. И он нередко становился в пару. Но бился, пожалуй, поискуснее всех!

Дорога сделала резкий поворот и с вершины, поросшего лесом холма перед нами вдалеке взмыли храм-ворота, золотом купола с крестом победительно врывающимся в темноо-серое осеннее небо. Словно капля солнца повисла в воздухе, опадая белокаменным, строгим свечением стен вниз. К храму-воротам с двух сторон примыкали высокие валы, усаженные деревянными стенами с башнями, бойницами, другими сооружениями.

- Золотые ворота, - пояснил княжич Дениска, не по чину вдруг обогнавший нас. Я

укоризненно взглянул на него. Он смутился: «Прости, Алексаша! Соскучился по родным местам. Я ведь – из Володимира! Год дома не был! А эти ворота выстояли даже при Батыевом нашествии, когда весь город выжгли поганые, а оставшихся в живых, которые затворились в Успенском соборе, спалили заживо. Тогда мало кто спасся.»

- Спаси тя Господи за науку! - улыбнулся добродушно Митька и подмигнул мне, мол, не надо осуждать. В Володимире мы остановились в кремле, в палатах кормленщика. И мужиков, и ратников, и мастеровых разместили в ближайшем монастыре. Когда мы с Митькой и другими княжатами-десятниками решили сходить на Всенощную в Успенский собор, сердце мое опять застрекотало кузнечиком. Шел я от кремля по липовой аллее, и меня не отпускало чувство, что я бывал здесь когда-то очень давно. И такая теплота вдруг хлынула в душу, словно я после долгой разлуки встретился с близким человеком. Однако, тут же обожгла мысль: «Что-то очень давно отец не являлся. Почему?»

…Рассвет следущего дня мы встретили в дороге. Пронизывающий ветер, бьющий в лица колючим снегом с дождем, замедлил наше движение. И только к вечеру мы

оказались в Боголюбове. Остановились у ворот монастыря. И снова что-то очень родное, но забытое, кольнуло сердце. На торге, напротив монастыря, собралась большая толпа. В центре ее сидели слепой старик и мальчик поводырь. Оба пели: первый - густым басом, второй – тоненько, по-детски:

Государь-то наш,
Иоанн Васильевич,
На Казань идет,
Честну рать ведет.
Свободить полон, -
Весь честной народ,
Христианский люд
Из-под злых татар.
Бросит щепочку, -
Там село встает,
Бросит камешек, -
Белостенный град,
Белостенный град,
Монастырь святой…

Слушавшие мужики крестились, бабы вытирали кончиками платков глаза, даже дети малые притихли. А голос слепца и подголоски поводыря крепли, взлетая над куполами монастырских храмов. У меня даже мурашки побежали по спине! Но это были мурашки вострога, гордости за мой

народ, за черный, простой люд, правдивее любой летописи, любых книжных людей, осенивший Белого Русского Царя, его подвижничество.

…Темнело быстро. Посему, дабы не терять времени, я с княжичем Митькой132и дьяком Кирюшкой отправились к игумену монастыря. В келье, куда провел молоденький чернец, навстречу нам из-за большого стола, заваленного книгами, свитками, какими-то дощечками, поднялся седой старец. Осветил нас ясными, цвета живого неба, глазами. Преподал благословение. Услышав про Государево дело, махнул рукой: «Боле ничего не говорите. Раз - Государево, значит – Божие. Сейчас же повелю устроить вас, накормить, коней обиходить. К кормленщику не ходите: хворает он. Прошлой зимой казанцы набегом приходили. Но мы их отбили. А вот кормленщика тяжко ранили: до сих встать не может. Вчера я его соборовал. Все, что надобно от боголюбского люда, поведайте мне: все исполним. У нас здесь с кормленщиком – добрая соборность. Все дела вместе решаем.»

Дьяк Кирюшка зачитал грамоту с повелением готовиться к встрече Русьского войска. Игумен слушал, опустив голову.

Кивнул. Позвал чернеца. Повелел обустроить нас и кого-то вызвать к нему. А утром, на рассвете, после ранней Божественно Литургии мы отправились дальше. И всюду, без исключения, нас втречали, словно родных. Всюду радостно крестились, когда узнавали, что надобно готовиться к большому ратному походу. Княжич Митька частенько отлучался куда-то, но не надолго. В одном большом селе я спросил его: «Куда это ты хаживаешь всякий раз?»

Он пристально взглянул. Дернул усом: «Прости, Алексашка, но, разве князь Курбский не говаривал тебе о моем деле? А хожу я к верным людям, дабы узнать: кто здесь и чем дышит. Нет ли крамолы какой или измены.»

- И что ж? Ты всех их лично знаешь?

- Служба такая. Я за этот год уже трижды ходил до Нижнего. И – дальше. Аж - за Казань.

- Коли служба, так и толковать нечего. Мне б свою справить по-людски! Прости за любопытство.

- Бог простит.

В Городце мы сделали большой привал. Попарились в баньке, устроенной кормленщиком, отоспались на пуховиках. А утром, после Божественной Литургии

отправились на торг. Митька зашел в какую-то лавку. Я двинулся, было за ним, но оказалось, что он уединился с хозяином-купцом в задних сенях. Не увидев в лавке ничего нужного, вышел на воздух, решив присмотреть гостинцы для Аллы, сыновей, матушки. Но тут ко мне подскочила непонятного возраста грязная нищенка, с большим чугунным крестом на тяжелой, - чуть ли не колодезной, - цепи поверх лохмотьев. Она, растопырив руки, на широко расставленных ногах запрыгала вокруг меня и тоненьким, почти детским голоском запричитала:

- Петушка-то – в суп, суп,
Потому что – глуп, глуп,
Душу в пепел разотрут,
Потому что – блуд, блуд…
И не смогут помогать
Ни отец, ни брат, ни мать
Душу бесы приберут,
Потому что - блуд, блуд.
Петушку-то лгут, лгут,
Потому что – блуд, блуд…

Тишка, сопровождавший нас с Митькой, попытался загородить меня от нее. Но я остановил его. Вынул из кошеля на поясе несколько монет. Протянул нищенке. Но та отмахнулась и ускакала прочь на

одной ножке. А я задумался. О чем это она? Не про меня же с Аллой! А-а-а! Кликуша какая-то! Таким верить - жить расхочется! Но на сердце все равно осела какая-то серо-грязная муть. А тут и княжич Митька появился. Ве-е-еселый! Хлопнул меня по плечу. Крутанул головой: «Вот ведь, как отличается народ, живущий к Востоку от Москвы, от западных обитателей! От тех же псковичей или новогородцев! А ведь и те, и другие – русьские!»

- ? – дернул вверх подбородком я.

- Государя почитают здесь свободителем, охранителем, надегой всего православного люда. Былины про Иоанна Васильевича слагают! Песни… Сказки… А на псковщине, например, каких только грязных слухов не ходит! Один – гаже другого!

- А что так?

- Что? Ворог там гнездо свил. Подбивает простых людишек идти под руку шведов, ляхов или литвы. Те, мол, и Пскову, и Новогороду вольность дать обещали. Подобно некоторым немецким городам. Смешно молвить: город-царство! Сам по себе. Во-о-ольный! А ведь от веку известно, что царство, разделившееся в себе, погибнет.

А вольность-то Богом данная одна: человек волен выбирать грешить или не грешить.

- Так они и дадут эту самую псково-новогородскую вольность! – хмыкнул я. И тут же забыв про кликушу. Сказал: «Мне князь Иоанн Пересветов, что у Государя книжным хранилищем заведует, рассказывал, как те же ляхи православных, не желающих латинскую веру принимать, на колы сажают да на кострах жгут, да в проруби топят.»

- Тебе рассказывали, а я сам видел, - помрачнел княжич и перекрестился.

- Ничего, - хмыкнул я, - возьмем Казань, на запад двинемся! Свободим собратьев по правой вере!

- Твоими бы устами да мед пить, - только и ответил Митька, опустив голову.

…Время спустя, Нижегородский кормленщик, узнав, по какой нужде мы прибыли, созвал боляр и князей, купцов и освященный собор. И здесь я увидел радость, даже какое-то ликование, на лицах собравшихся.

- Ну, наконец-то!

- Помоги нам, Господи!

- Дай Бог скинуть это поганое ярмо!

- Помоги, Господи, Царю нашему Иоанну Васильевичу!

- Будем день и ночь о его здравии молиться!

- И за победу над супостатами! – раздались голоса нижегородцев. Кормленщик встал. Перекрестился на святые образа. И начал определять, кому из сограждан каким Государевым делом подготовки к походу заниматься, сколько и каких умельцев выделить в помощь приехавшим мастеровым. Нижегородцы согласно, уверенно, опять же радостно, кивали.

В конце нашего совета какой-то старый болярин вдруг спросил: «Правду ли толкуют, что скоро кормленщиков не будет? Что, мол, выборные от всего населения станут руководить жителями и всеми делами житейскими? Ежели так, то передайте Государю, что мы всё одно нашего Михеича, болярина Ондрейку, нынешнего кормленщика, выберем! А? Господа нижегородцы?»

Все собравшиеся дружно и согласно зашумели. Встал дьяк Кирюшка. Хмыкнул: «Любо-дорого смотреть на вас, честные отцы и братия! Слышать вас. Любо-дорого! Правда, скоро кормленщиков Государь отменит. От-ме-е-е-енит! А то, что сказали нам, скажете и самому Царю Иоанну

Васильевичу. Самому Царю. Он войско поведет. Сам поведет. И остановится у вас, в Нижнем.»

- Добре!

- А! Каков молодец!

- Слава тебе, Господи!

- Не гляди, что молод!

- Свободитель!

- Собиратель земель Русьских!

- Опора и надега! – опять отозвались собравшиеся.

…- Ну, что, – довольно потер я ладони, когда мы с Митькой и другими княжатами вечером, после обильной трапезы, поднимались в отведенные покои кормленщических хором, - дело Государево закончили!..

- Нет, брат, - вдруг остановился и усмехнулся княжич Димитрий, - закончили мы только половину дела. Об остальном потолкуем сейчас у меня в покое.

И тут я вспомнил, что князь Курбский после прибытия в Нижний велел слушать Митьку. Через два дня мы с ратниками и моими мужиками вышли из Нижнего и берегом направились… вниз по Волге.

В электричке, которая едва тащилась в сторону Москвы, на меня напала тоска.

Неудовлетворенность какая-то. Ведь не исповедался. Не покаялся. Да и теперь, по благословению отца Валерия, надо ездить в Лавру. А при моей работе особо не наездишься. Вот ведь, «повезло»!

- Это – не повезло! Это – плата за грехи, - вдруг проговорил мужчина лет сорока, сидевший напротив в нашем полупустом вагоне. Я вгляделся в него. Знакомое лицо. Короткая, аккуратная бородка, такие же усы. Глаза – грустные, но добрые. Взгляд – пронизывающий. А он продолжал: «Человеку даются два пути: греховный и безгрешный. И в зависимоти от того, какой выбран, - расплата. Был духовник. Теперь он отнят. Его дано заменить. Но… Но теперь предстоит испытать большие неудобства, даже трудности для выполнения своих христианских обязанностей. Конечно, их легче не выполнять. Но тогда наклонная, по которой катится грешный человек, становится более крутой. И остальные грехи липнут на скатывающегося ком, подобно снежному, быстрее.»

- Простите, а вы кто? И откуда все это про меня знаете?

Незнакомец, - или забытый знакомый, - скорбно вздохнул. Помолчал. Еще раз вздохнул. Глядя в вагонное окно, тихо

проговорил: «Я тот, кто желает тебе добра. По Божиим законам. Потому и знаю все про тебя. Одно время ты начал стремительно расти в своем духовном развитии. Затем возомнил себя невесть кем. Возгордился. Остановился духовно. Загрешил. Не стал каяться, исповедоваться, причащаться. И, как следствие, покатился вниз по наклонной. Вот и сегодня ты даже не понял, что Господь, - именно Господь! - тебя не пустил ни к святым мощам, ни к исповеди.»

- А вы не слишком ли строги? – усмехнулся я, вспомнив жалость и участие старика-корня.

- Если бы было «слишком», я бы не разговаривал сейчас с тобой, - ответил попутчик.

- А я и не просил, - вспыхнул вдруг я.

- Ну, что ж… Как знаешь, - попутчик встал и направился к тамбуру. А когда дверь за ним закатилась, я вдруг вспомнил, что именно его лицо всего несколько часов назад я видел на большой иконе святого благоверного Великого Князя Александра Невского в Лавре. Кинулся, было, в тамбур, но ни там, ни в следующем вагоне, ни в остальных, - а я пробежал по всему составу! – не увидел его. Мне захотелось забиться головой о стенку тамбура: «Как же я так

мог?! Мне давалась возможность решить многие мои проблемы! А я?» И новая волна тоски накрыла меня с головой. Да что там волна?! Девятый вал! Я сидел, низко опустив голову, и шептал: «Ну, прости, меня! Прости, святой благоверный Великий Князь Александр Невский! Прости! Не понял я! Немощен! Прости! Вернись! Мне так нужна сейчас твоя помощь!»

- Что это ты, - мужик, бывший офицер! – нюни распустил? Возьми себя в руки! – теперь передо мной, над вагонной лавкой напротив, покачивалась голова старика-корня. Он даже улыбался: «Ну, не узнал ты его! А так всегда со святыми бывает, когда они материализуются! Ну, не вернулся он после твоих просьб. А ведь у него, поди, ты – не один! Он, наверняка помчался помогать еще какому-нибудь Александру. Видишь, я даже не ехидничаю, мол, хорош, мол растравил твою душу и удрал. Мол, не по-христиански!»

- Я ведь оскорбил его!

- Э-э-э! К святому грязь, хула, оскорбления не липнут. А потом, он тоже понимать должен, в каком ты подавленном состоянии. Не очень все это хорошо получилось. Но и отчаиваться не надо! Я же тебя не бросил! Тогда, как и монаху из

Лавры времени нет, чтобы поисповедовать чадо покойного друга. Дру-у-уга! И Таньке этой полоумной! А теперь – и твоему покровителю. Не слишком ли он обидчив? Зато я – с тобой! И, будь уверен, не брошу! Тебе надо отдохнуть! Развеяться! Снять стресс! А не позвонить ли бывшей попутчице из Минска? А? Или просто: не пойти ли пивка попить. Нет же поста!

Я задумался. А, может быть, и вправду «снять стресс»? Нет. За окном уже темно. Завтра – на работу. И тут я почувствовал, что дремлю.

- Следующая остановка – Ярославский вокзал! – ворвался мне в уши из вагонного динамика голос машиниста.

Я ехал в троллейбусе. Настроение слегка улучшилось, но какая-то серая муть осела на сердце. Дома со всей семьей уперся взглядом в телевизор. Решил развеяться хотя бы так. Удалось. Там показывали «Королеву бензоколонки». А утром, на работе понял, что все-таки никак не могу отделаться от тоски. Однако, легко и быстро отредактировал статью. Людмила Петровна довольно заулыбалась, когда я положил на ее стол рукопись: «Как, уже? Да вы, Александр, у нас - стахановец. Давайте-давайте! Посмотрим!»

Пролистала статью. Еще шире расплылась в улыбке: «Ну и ну! Придется вам премию выбивать! Евгений Юрьевич! Вы только посмотрите! Как интересно! Как необычно! А самое главное: наш дорогой Александр понял стиль автора, вработался в него. И так «причесал» предложения, что я думаю: ни у кого претензий к редактуре не будет.»

«Это – от злости! - подумал я, но заставил себя улыбнуться, - Или от тоски»… В курилке Женя спросил: «Что случилось-то? На тебе лица нет.»

Я и рассказал.

- Ну, вот! Я же тебе говорил, что к хорошему твой религиозный фанатизм не приведет. Давай-ка сегодня пивка выпьем. Ты же дневную норму выполнил. Думаю, Людмила Петровна не будет против, если мы пораньше «сорвемся» с работы. Тем более, что и мне всего пару страниц дорредактировать осталось. Кстати, я такое стихотворение написал!

- Давненько мы с тобой в ЦДЛ не ходили, - перебил его я.

- А что? Это – идея! Я сейчас позвоню, узнаю, какое мероприятие сегодня. Потом позвоню Володе, Валерке. Лады?

- Ну да. А я позвоню домой. Скажу, что иду на вечер поэзии…

А про себя подумал: «Опять врать!» Но все получилось, как мы задумали. И скоро я снова увидел тяжелые резные с начищенными латунными ручками двери Центрального Дома литераторов. Скоро одна из них открылась, и перед нами возник Володя Шкапский. Расцеловался. Снова назвал старичками. Посетовал про зимы и лета, которые мы не виделись и провел вовнутрь. На ходу восторгался: «Первый раз за годы советской власти сегодня – вечер памяти Николая Гумилева! Первый раз! Ничего! Скоро организуем вечера Гипиус, Мережковского, Бальмонта, Мандельштама, Кузьмина, других из «серебряного века». Пора! Пора доставать эти таланты из небытия!»

- А Есенина, Клюева, Ганина? – спросил вдруг Женя.

- Фу… Старичок! От них портянками пахнет! Нет, конечно, Есенин - талантлив. Да и он, кстати, написал:

А Клюев, ладожкий дьячок…
Его стихи, как телогрейка…
Но я вчера их вслух прочел,
И в клетке сдохла кананрейка…

Ха-ха! Или подзабыл, старичок? Да и другие, из так называемой Есенининской плеяды. Нет. Я, конечно, не против них. Они воспели свое время, пусть даже и в те годы безвозвратно ушедшее. Но на стихи имели право. А что? По пивку? Я бы вообще более конкретно отметил встречу. Тем более, гонорарчяик получил. Да и с вас причитается. Но обрадую за столом. Пошли в «гадюшник»!

- А на вечер? – спросил я.

- Я тебе дам почитать! Я тебе дам почитать, - крутанул головой Шкапский, - правда, - «самиздат». Но в «Советском писателе» готовится уже сборник его стихов.

- У меня есть, - вспомнил я подарок Агнии Вениаминовны, который даже до сих пор не раскрыл.

- Ну, вот, и почитаешь на досуге. Стихи – вещь интимная. Я на подобных вечерах бываю только по необходимости. По рег-ла-мен-ту! – поднял Володя вверх указательный палец. И засмеялся: «Поэтому стихи хороших поэтов я люблю читать дома, на диване. Или на пленере. Чего и тебе советую.»

Мы прошли в кафе. Там, как всегда, в синеватых извиваниях табачного дыма и паров спиртного, было многолюдно. И, как с удивлением я заметил, маститые поэты,

многие из которых считали себя дессидентами, сидели не в зрительном зале, а именно здесь. И, похоже, совсем не собирались идти на вечер поэта, еще недавно запрещенного цензурой. Но, прислушавшись, я понял, что говорят они именно о поэзии Николая Гумилева.

- Ну, что Гумилев? Что Гумилев?! – декламировал некий Кирилл Кульбицкий, лауреат нескольких ленинских и Государственных премий. Он жеманно махнул ладошкой: «Гордец! Потому и плохо кончил. А стихи-то его изжили себя! Время-то его виршей прошло! Ну, кто их читает сейчас? Кто переписывает в тетрадки? Кто заучивает наизусть? А? Писать надо так, чтобы и через сто лет твои стихи читали и, - гм, - школьники, и крестьяне, и рабочие, и профессора! Я вот, недавно, выступал на заводе «Серп и молот»! Тысячная аудитория! А? Как аплодировали!

- Кира! Так мы же месяц назад с серкретарем заводского парткомитета здесь пили, - вскинул хмельную голову Антон Забережный, главный редактор какого-то, - подзабыл, - толстого литераторно-художественного журнала.., и - тоже поэт.

- А как же! Оч-ч-чень образованный, культурный человек. Я бы даже сказал: наш

человек. Не гляди, что партийный лидер! Та-а-акие анекдоты «шпарил»! Все же всё понимают. И если занимают даже партийный пост, то для того, чтобы мы, элита поэзии, могли на хлеб заработать. По-о-мог! Не спорю. Помог организовать аудиторию. Но помог-то он не этому, как его! Деревенщику! Тьфу, забыл! А помогает он нам донести культуру в массы народные! В ма-а-ас-сы. Не нам же, глашатаям культуры, опускаться до них. Надо их тянуть до настоящей культуры! До настоящей поэзии!

- Чего задумался? – отвлек мое внимание голос Жени.

- Да вот, слушаю, как «метры» общаются, - усмехнулся я.

- А ты не слушай! – перегнулся ко мне через стол Женя. И перешел почти на шепот: «Этот Кульбицкий женат на дочке какого «шишки» из ЦККПСС. Вот и гребет гонгорары с книг, выступлений, разные премии лопатой. Совковой!

- Молодец, Жека, – засмеялся Володя, разливая коньяк, - скаламбурил-то как! «Совковой»! Сам он - «совковый» и лопата – такая же. Ну, по соточке – за встречу?

Мы выпили… А тут вдруг Кульбицкий обернулся и прокричал в нашу сторону: «Володечка! Шкапский! Иди же сюда! Я тебя

обниму! А лучше перебирайся за мой столик! У меня - праздник: издали мое «Избранное»! Вчера в «ореховом» зале отмечали! А сегодня, вот, здоровье поправляем.»

Володя бросил нам: «Я – мигом.»

И подошел к «совковому». Поздравил. Расцеловался с ним. Принял стакан. Чокнулся со всеми за столом Выпил. Но тут же кивнул головой в сторону нашего столика. Кульбицкий тоже кивком отпустил Володю, назвав его молодцом и сказав при этом что-то про воспитание молодых кадров.

- Ф-ф-фу, - вздохнул Шкапский, вернувшись к нам, - индюк.., бездарь! От его стихов не то, что канарейки, слоны подохнуть могут! А вы что сидите, словно в воду опущенные? Жека! Наливай! По пять капель!

- Ты хотел нас чем-то обрадовать? – спросил Женя.

- Да-а-а! – хитро заулыбался Володя. И после небольшой паузы медленно проговорил: «Поздравляю. Твое стихотворение про БАМ, Женя, уже поставили в «День поэзии». И твой «Август», Саша. Еще раз поздравляю.»

- Это надо обмыть! – восторженно замотал головой Женя. Я согласно кивнул. Но Володя не согласился: «Сегодня угощаю

я. А вы «проставитесь», когда «День поэзии» будет лежать вот здесь, на столе.»

Застолье затягивалось. И Женя, и я, и сам Володя уже повторили «походы» к буфетной стойке за очередными порциями кофе, коньяка, бутербродов, тарталеток. А вскоре в кафе хлынула целая толпа.

- Вечер поэзии закончился, - пояснил Володя. А я все-таки немного пожалел, что не послушал стихов Николая Гумилева. Но коньяк развеял и жалость, и недавнюю тоску. Володю позвал из-за стола еще кто-то. А когда он ушел, Женя заговорил: «Я все-таки не договорил сегодня о твоем фанатизме. Ты бери пример с меня. Ну, верю я в Бога. Но зачем же за каждым чихом к священнику бежать? Он же – тоже человек. У него, поди, своих дел, - как и у всех! – невпроворот. И что же? Он не грешит? Врач! Исцели себя сам! Живи, как живется! Ты же не воруешь. Не убиваешь. Бога не ругаешь. Чего же еще? Вот, Гумилев, хотя бы. Уж на что тогда Церковь, как говорят, «у руля» в Царстве стояла. А Гумилев смог же разойтись с Анни Ахматовой, хотя это по церковным законам и не положено. Да и погулять любил. Поди, не монашествовал. Гвардейский офицер! Жил, как живется. Без фанатизма твоего религиозного».

- Жека, - перебил я его, - мы с тобой выпили. Давай, тогда не будем об этом. Поговорим на трезвую голову.

- Ла-а-ады. Не пора ли нам – на посошок и – по домам?

- Давай. Поздновато уже. Мне-то добираться подольше твоего…

Мы распрощались с Володей, который решил посидеть еще с кем-то из «метров». А по дороге разговор как-то не клеился. Я все думал о том, что Женя в чем-то прав о моем «фанатизме». А дома решил все-таки полистать томик Гумилева, благо – хмель за дорогу повыветрился.

Родители уже спали. Я тоже улегся. Включил бра над изголовьем и раскрыл стихи. Открыл наугад:

В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных
Странные есть мужики.

Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики стрибожьи,
Чуя старинную быль.

С остановившимся взглядом
Здесь проходил печенег…

Сыростью пахнет и гадом
Возле мелеющих рек.

Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.

Путь этот - светы и мраки,
Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.

В гордую нашу столицу
Входит он - Боже спаси! -
Обворажает Царицу
Необозримой Руси.

Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной,
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.

Как не прогнулись, - о, горе! -
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исаакии крест?

Над потрясенной столицей

Выстрелы, крики, набат.
Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.

"Что ж, православные, жгите
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите…
Кто защитит сироту?

В диком краю и убогом
Много таких мужиков,
Слышен по дальним дорогам
Радостный гул их шагов".

Верной твердынею православья
Врезан Исаакий в вышине.
Там отслужу я молебен о здравии
Машеньки и панихиду по мне.

Аж дух захватило!

- Про кого это он? Образ-то конкретный!? – тихо спросил я самого себя.

- Про Гришку Распутина, - ответили мне. Я полнял глаза и увидел в кресле голову старика-корня. Рука-корень взметнулась и опустилась. А голова, прикрыв глаза, монотонно продолжила: «История простая. Здесь, как сказали умные люди, - еще в то время! - звучат раздумья. Да-да, горестные

раздумья уже другой, - увы большей, - части России, верноподданнические чувства которой, - христианские, я бы даже сказал, фа-на-ти-чес-ки верноподданнические чувства которой, - уже были поколеблены одним только именем "Распутин". Упоминание же именно Исаакия здесь является знаковым. Уходя из жизни, - а поэт явно предчувствовал это, - он прощается именно с той Россией, которой он служил, за которою готов был положить свою жизнь на войне и, с памятью о которой, вступил… в Вечность. В стихах не только у Гумилева, но и у Блока, Ахматовой, Мандельштама, Исаакий - один из символов Императорской России.»

- Что-то ты заговорил, как заправский литературовед советского периода, - хмыкнул я.

- Причем здесь исторические периоды?! – поморщилась голова. И, по-дирижерски потрясла ладонью: «Я сужу объективно! Впрочем, не буду навязывать тебе своего мнения. И мнения большинства грамотных, передовых литературоведов именно того времени! Читай!»

«Надо бы завтра Женю спросить о Распутине», - подумал я и пролистал еще

несколько страниц. Остановил взгляд. Прочитал:

"ЕЕ
Императорскому Высочеству Великой
Княжне Анастасии Николаевне ко дню
рождения"

Сегодня день Анастасии,
И мы хотим, чтоб через нас
Любовь и ласка всей России
К Вам благодарно донеслась.

Какая радость нам поздравить
Вас, лучший образ наших снов,
И подпись скромную поставить
Внизу приветственных стихов.

Забыв о том, что накануне
Мы были в яростных боях,
Мы праздник пятого июня
В своих отпразднуем сердцах.

И мы уносим к новой сече
Восторгом полные сердца,
Припоминая наши встречи
Средь Царскосельского дворца.

И под стихотворением – подпись: «*Прапорщик Н.Гумилев*». Вдруг подумалось: «Как нежно! Вроде бы – официальное

стихотворение. К дате… «Датское»! А так чисто, искренне. Без пафоса! Как же надо любить! Нет, не прекрасную Княжну. Нет, не девушку Царского рода. Просто че-ло-ве-ка! Вот оно, христианство Гумилева: Любовь! Потому что Бог – Любовь! И вера. Он не был безверцем! Он был настоящим христианином»!

Я вышел на лоджию покурить. А мысли не переставали кружиться вокруг всего двух этих таких разных стихотворений. Но таких неповторимых, по сути, по искренности, по любви. И вдруг вспомнил Свердловск-Екатеринбург, старого сторожа-дворника, семерых, как он сказал, святых. Но ведь это почти подтвердил и покойный отец Валерий, Царствие ему Небесное. Значит, и Великая Княжна Анастасия – святая. А Гумилев, получается, - провидец, пророк, если смог написать, что «Любовь и ласка всей России к вам благодарно донеслась.». Бла-го-дар-но! Только за принадлежность к Царскому роду такого не может быть. Благодарно может быть только за… Любовь. За Любовь ко всей России! И уж если простой, по сути рядовой прапорщик, пусть даже - популярный эстетствующий поэт, - почувствовал эту

Любовь, значит и весь народ, - а его не обманешь, - чувствовал ее!

Мне казалось, что от меня идет пар. Поэтому я пока решил отложить чтение стихов. Улегся. И, засыпая, вдруг вспомнил, что не звонил Валентине. Жене. Но сил подняться уже не было…

А утром, на работе во время перекура я прочитал Жене стихотворение Гумилеваа, посвященное Великой Княжне Анастасии. Он посмотрел на меня, как на ребенка. Хмыкнул: «А я гляжу: ты какой-то очарованный с утра ходишь. Ну-у-у-у… Неплохое стихотворение. Мастеровитое. Есть свои поэтические находки.»

- Неплохое?! – удивился я.

- Понимаю, тебе оно - очень близко. Ты - из офицерского рода. А я-то - из простых мужиков рязанских. Мне - ближе Есенин. И, уж ежели начистоту, то твой Гумилев никаким боком к Православию не прикладывался. Я же читал некоторые стихи его. Не видел там ни Бога, ни веры, ни молитвы. И уж тем более – исповеди, покаяния, за которые ты так ратуешь в нашей жизни. Ни лю-бви!

- Кстати, - перебил я его, пытаясь понять, - а что ты скажешь насчет Распутина?

- Распутина? Григория? А что это ты им интересуешься?

- Вот… Тоже - еще одно стихотворение Гумилева «Мужик». И.., - я попытался придумать что-нибудь, лишь бы не говорить про старика-корня, - прочитал сноску о том, что в нем подразумевается именно Распутин.

Женя выслушал стихотворение. Глубоко затянулся дымом сигареты. Выдохнул: «Да. Так и трактуется Григорий Распутин во всех учебниках. Пьяница. Развратник. Переспал со всеми фрейлинами Царского двора. Имел большое влияние на Царя Николая и Его Семью. Особенно – на Царицу Александру. Только, сдается мне, темное это дело. Не бери в голову. История все сама рассудит. К тому же у нас с тобой и без Распутина много забот. Про роман-то мы совсем забыли. А? Или ты уже передумал писать его?».

- Нет! Что ты? – опустил я голову, опять вспомнив слова отца Валерия о том, что Людмила Петровна не дасть нам его написать.

Так имеет ли смысл браться? Или это - опять мой религиозный фанатизм: верить предсказаниям священника? И в мыслях начался ледоход с мутной, грязной водой между крошащимися льдинами. Возникло

какое-то непонятное неприятие самого Жени и его слов. Оно жгло меня. Весь день разговор с ним у нас не клеился. Распрощались мы сухо. Моя душа чего-то требовала. И когда я сел в троллейбус, рука сама потянулась в спротивную сумку и вынула из нее томик стихов Николая Гумилева, завещанный Агнией Вениаминовной, - Царствие ей Небесное. Прошептал: «Господи! Благослови! Вразуми!»

И раскрыл на первой же попавшейся странице. Прочитал:

КАПИТАНЫ
(отрывок)

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель.

Чья не пылью затерянных хартий -
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте

Отмечает свой дерзостный путь

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет…

Подумалось: «Да, наверное, Жека прав. Православием здесь и не пахнет. Зато в изобилии флибустьерство, авантрюризм. Удаль. Гусарство! Именно такие, каким я поклонялся в свою офицерскую бытность. Какими жил в те юные годы. И… которые, образно говоря, сжег, как мосты!»

Я лениво полистал страницы. И вдруг полоснуло по глазам:

ПОТОМКИ КАИНА

Он не солгал нам, дух печально-строгий,
Принявший имя утренней звезды,
Когда сказал: "Не бойтесь вышней мзды,
Вкусите плод, и будете, как боги".

Для юношей открылись все дороги,
Для старцев - все запретные труды,

Для девушек - янтарные плоды
И белые, как снег, единороги.

Но почему мы клонимся без сил,
Нам кажется, что кто-то нас забыл,
Нам ясен ужас древнего соблазна,

Когда случайно чья-нибудь рука
Две жердочки, две травки, два древка
Соединит на миг крестообразно?

И даже задохнулся от восторга! «Вот тебе, Жека, и – неверие Гумилева!» - подумалось с недобротою. Значит, советская цензура постралась показать Гумилева именно «флибустьером и авантюристом», вырезала его православные стихи. Мой-то сборничек издан в двадцатые годы! За грани-цей. Я пролистал еще несколько страниц. И снова сладко вздохнул, когда прочитал:

СЛОВО

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это - Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Я восхищался глубиной понимания времени, людей, поэтов-«серебряновековцев», копашащихся в собственном грязном белье и выставлющих его наружу! Глубиной понимания Православия! Обличением, - а Гумилев имел право на это, как поэт! – падения веры в народе, а в первую очередь в его элите,

которая должна нести этому народу Веру Православную через искусство.

И снова я наслаждался еще более близким мне стихотворением:

Война

М. М. Чичагову

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

А «ура» вдали — как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это — мирное селенье
В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы
И победы Царский час даруй,
Кто поверженному скажет: «Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!»

Ну разве мог такое написать неверующий человек, неправославный Христианин?! Завтра обязательно покажу Жене! И вдруг подумалось: «А может быть и про Григория Распутина Женя так же «много» и «хорошо» знает»?

…- Следующая остановка – «Универсам», конечная, - прервал мои мысли микрофонный голос водителя троллейбуса.

…- Что это ты, словно начищенный тульский самовар, сверкаешь? – спросила мать, когда я вышел к ужину.

- Поработалось сегодня хорошо, - улыбнулся я. Но тут же просил: «А писем мне не было?»

- Писем? – почему-то переспросил она, хотя прекрасно слышала вопрос. Поджала губы «От женушки своей ждешь?

Нет. Не было. Я дважды в почтовый ящик заглядывала.»

Вечером, когда все улеглись, я вытащил телефон на лоджию и позвонил Валентине. Она запричитала в трубку: «Что же ты не звонишь? Не пишешь? Всего два письма от тебя получила. И без стихов!»

- А ты мне написала? – спросил я.

- Сразу после твоего отъезда. И потом – еще одно в пятницу. Ты что? Не получил? Уже должны дойти. Я по штемпелям прошлых писем смотрела: от Минска до Москвы и обратно они идут не больше четырех дней. А я, тем более, тебе «Авиа» послала. Эти вообще за день-два должны дойти.

- Схожу завтра на почту. Может быть, там что-нибудь напутали. А может быть, будем посылать «заказными»?

- Мы на этом разоримся. Ты получше у своих домашних пораспрашивай… Сдается мне… Впрочем, лучше расскажи теперь: как ты там?

- Ищу размен. Родители согласились взять к себе бабушку, - мать отца, - а ее однокомнатную во Владимире я теперь должен обменять на комнату в московской коммуналке для нас с тобой и Маришки.

- Ну, что ж! Не будем дело на безделье менять! Думаю, ради будущего счастья нашей семьи тебе следует приезжать в Минск через две недели на третью.

- А если очень сильно буду скучать?

- Ну, если уж оч-ч-чень сильно!- засмеялась Валентина, но серьезно добавила: «Я здесь тоже кручусь с обменом. Наша будущая двухкомнатная вся блестит: после ремонта. Поэтому и мне здесь ремонт надо делать. Иначе обменщики не соглашаются. Видишь, опять – затраты! И – немалые. Поэтому, давай, не будем деньги транжирить на телефонные разговоры. Ты лучше письма присылай. Со стихами. Так приятно читать их, особенно посвященные мне.

Что я и сделал: тут же сел и написал письмо. А вот стихи послал Николая Гумилева. Пусть порадуется вместе со мной. Улегся я, когда стрелки на будильнике показывали четверть четвертого ночи.

Княжич Димитрий ехал рядом, но на разговоры не был настроен. То и дело осматривался по сторонам. Своих ратников посылал по двое вперед и в стороны. Теребил ус.

- Тебя что-то безпокоит? – наконец, не выдержал я.

- Безпокоит, - неопределенно ответил он. Помолчал. Еще раз посмотрел по сторонам. Вдруг спросил: «Тебе приходилось в жизни с нечистой силой воочию сталкиваться?»

- Да-а-а, - удивился я вопросу, - а что?

- У нас на Припяти, на Свислочи, да в Пинских болотах этой дряни, как грязи. Потому и учат с младенчества распознавать ее. Даже чуять. Бабушка моя, - Царствие ей Небесное, - наставляла, что, мол, ежели крест нательный холодеет, нечисть – рядом. Вот и сейчас. Посылал своих молодцев. Кроме звериных следов, нет никаких. А чую: рядом нечисть.

- А волчьи? Следы? – хмыкнув, крутанул я головой.

- Полагаешь, оборотни?

- А то! Вот с этой гадостью мне не раз пришлось столкнуться под Касимовым. Там отчинка родителева была.

- А я как-то даже и не подумал. А ведь в самом деле, - теперь крутанул головой он, - замутил лукавый разум в этом направлении. Дай Бог теперь до посада знакомого добраться. А там поразмыслим. Поразведаем. Метель грядет. Лютая. Успеть бы до нее.

- Так, может быть, нечисть ее и накликала? – спросил я и, вспомнив,

рассказал про метель, заставшую меня с соратниками на пути в Переславль-Рязанский.

- Здесь колдуны полютее будут. Я слыхал, они в последний поход на Казань, грозы вызвали.

- Я попал в такую грозу. На моих глазах ратника и коня его в головешки молния обратила. Остальные едва успели до перелеска добраться.

- Вот-вот! А здесь куда деваться? Берег-то – голый! Господи, пронеси! – вдруг указал он вперед. И я увидел безконечно уходящую ввысь темную стену, - хотя снег-то - белый! – надвигающуюся на нас со стороны Казани.

- Не успели! – скрипнул зубами Митька. Но тут из начинающейся метели, словно из-под земли выскочил дозорный ратник-белорус. Прохрипел: «В десяти шагах – балка. Поперек дороги. Там можно схорониться!»

Митька стеганул коня плеткой и нырнул в снежную круговерть. Мы последовали за ним. Кони едва справлялись с ветром. Но все-таки скоро мы свернули влево, в узкую глубокую расщелину с почти отвесными стенами. Там еще можно было что-то увидеть шагах в двадцати. Мы едва

успели спешиться, стреножить коней, закутаться в тулупы, усесться, прижавшись друг к другу. Но возможность что-то делать продолжалась недолго. Скоро над нами и рядом, и, казалось, внутри нас все потемнело, завыло, заухало, закружилось, обдавая ледяным дыханием чего-то жуткого, нездешнего. Ну, я понимаю, - зримый ворог, пусть даже лучше вооруженный! С ним еще можно поратовать! Даже погибая, дешево не даться. Но здесь мы были безсильны!

- И как же твоя бабушка наставляла вести себя при таком нападении? – сплюнув с губ налетевший и налипший снег, спросил я Митьку.

- Нательные кресты – наружу! – прохрипел он, передавая повеление по «цепочке» заваливших ся в снег ратников и громко запел, - *Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…*

Все подхватили… Ух! Что здесь началось вокруг нас! Казалось, не ветер, а все окрестные волчьи, вороньи, еще какого зверья стаи завыли, закаркали, завизжали, заголосили. Я едва различал Митькино лицо, но заметил, как он сверкнул глазами и подмигнул мне: мол, вот, как бабушка наставляла! Так, несколько часов кряду мы и молились Честному Кресту Господню.

Уставали. Но тогда Митька вдруг начинал наизусть, как я понял, петь Псалмы Давидовы. «А я, олух Царя Небесного, всё, чему матушка, мамушка и отец Леонтий учили, позабыл! – горько подумалось мне, - Но ведь вот оно, самое надежное оружие для духовной сечи! Да и в ратном бою – тоже щит и броня, как тот же покойный духовник мой сказывал»!

Наконец, метель стихла. Все мы представляли из себя сугробы в два человеческих роста. Но так тепло было под снегом, что выбираться не хотелось. Да и немалых трудов стоило сбросить с себя эти «пуховики». А когда мы снова оказались верхом и выехали из балки, я спросил Митьку: «Стало быть, казанцы уже знают, что мы идем в их сторону?»

- Сами казанцы, может быть, и нет. А вот какой-нибудь местный, недалеко живущий, змиепоклонник-колдун точно проведал о том. Несильный колдун. Но вот как раз он-то и может сообщить в Казань о нашем разъезде.

- И-и-и! Пока злодей доберется отсюда до Казани.., - усмехнулся, было, я.

Но Митька перебил: «Ему самому незачем добираться. Для этого бесы есть. Они и сообщат своим. А те - казанским

колдунам. А последние – хану. А Сафа-Гирей отправит на наши поиски сотен пять.

- Ну, и что же нам делать?

Митька вдруг хохотнул. Пришпорил коня. Обернувшись, пояснил: «Сейчас поспешать надо! Дай Бог, только в темноте доберемся до ближайшего посада. А там – мой давний знакомец обитает. С ним потолкуем. Три головы - лучше двух! А тем паче – одной! Мы же всё еще - на Нижегородской земле. Но рубеж - уже недалеко. По-о-спе-еша-а-ай!»

Темнота сгущалась быстро. Но княжич Димитрий уверенно вел нас. Как будто по-кошачьи видел дорогу. Скоро мы свернули прочь от берега Волги. И по тропе, ведомой только лишь одному Митьке, дошли до густого смешанного леса, испещренного оврагами, заваленного буреломом. И мы, и кони довольно притомились, пробираясь сквозь него.

- Что за хозяин твой знакомец?! – проворчал я. Даже посетовал: «Не может в своем лесу порядок навести.»

- И-и-и, – засмеялся Митька, - здесь лес прибирать – себе дороже выйдет! Сказываю же: рубеж казанский – рядышком. А бурелом в лесу – надежнее крепостных стен.

- То-то и оно, - продолжал ворчать я, - нешто казанцы в лес вообще пойдут. Они же степь почитают.

- Не-е-ет, брат, - опять засмеялся Митька, - это тебе – не Золотая орда. К тому же, казанцы в большинстве своем - не татаро-монголы, а волжские булгары, которых еще святой благоверный Великий Князь-великомученик Ондрей Боголюбский бивал. Они - в лесах, как дома. Но и они в былые лета оказались под ярмом орды. Смешались с погаными. И стали теми, кем являются в сей день.

- А что ж, здесь дороги в твоему посаду нет?

- Есть, брат. Но она опаснее бурелома. Сам должен разуметь: казанцы - рядом. Любая шайка напасть каждый день, каждую ночь может. Лесом да буреломом идти как бы – лень. Да и бояться малого числа обитетелей посада особо нечего. Проходят такие налетчики по дороге обычно, под самыми стенами окружают посад и берут его приступом. А знакомец мой, местный князь, - мужик мудрый на всякие ловушки. Посему, чтобы дорогой к нему пройти, эти самые премудрости ведать надобно. Да и поближе к стенам осторожнее быть не помешает: там

тоже всяких гостинцев для непрошенных гостей заготовлено.

- Ты ж толковал, что они, - казанцы, - змиепоклонники. А я, когда ходил сюда, видел минареты. Значит, поклоняются они этому самому.., как его.., ах, да, Аллаху. Что-то у тебя здесь не вяжется!

- Вяжется-вяжется! Слава Тебе, Господи. Приехали, кажись. Во-о-он, огоньки. Потом поясню про змиепоклонство казанцев.

Я вгляделся, но никаких огоньков не увидел. И вдруг какое-то странное сравнение Аллаха и имени моей княгинюшки втерлось в голову. А Митька свистнул как-то по-особому. Ему ответили так же. Мы проехали вдоль высокого частокола под висящими на цепях и покачивающимися над нашими головами огромными бревнами. Княжич Димитрий дернул подбородком на них: «Вот, только один вид гостинцев! Представь, на какое количество осаждающих одно такое бревнышко рассчитано, скольких изувечить может!»

Ворота перед нами распахнулись не сразу. Возникло чувство, что несколько пар глаз разглядывают нас через скрытые оконца. Наконец, мы въехали в посад. Копыта наших коней гулко цокали по

дощатой мостовой. «Словно по крышке пустой бочки», - подумалось мне. А Митька пояснил:

- Проезжаем еще по одному гостинцу местного хозяина. Ежели разбойники все-таки ворвались в посад, доски, - почитай, полубревна, - особым приспособлением разлетаются и налетчики вместе с конями падают в глубокую яму, дно коей утыкано заостренными тонкими бревнами в сажень длинной. Ямка сия сотню ворогов за милую душу принять может. Да и сама мостовая как бы дыбом встает, и тоже немало захватчиков изувечит.

- Это ж надо до такого додуматься, - крутанул я головой.

- Жизнь заставляет. И… служба!

- Служба?

- Государь местного князя Константина очень жалует. Он здесь, на Казанском рубеже – наши глаза и уши. Водит дружбу с казанцами…

- Как так? С казанцами?!

- А как ты узнаешь о том, что замышляет Сафа-Гирей и его придворные?

- Ты тут много сказывал про колдунов здешних. Как князь Константин их не боится? Уж коли нас они за столько верст учуяли.

В ответ Митька повел рукой вокруг себя. И я увидел на внутренней стороне частокола большие резные деревянные кресты, а многие из встречающих нас холопов были в подрясниках.

- Иноки? – спросил я. Митька кивнул в ответ: «И иноки, и ратники.»

- Как так? Иноку же не положено оружие в руки брать?

- А не вспомнишь ли героев Куликова? Схимников? Пересвета и Ослябю? А? Тут, конечно, особое благословение нужно. А от благословленных на стезю сию – особая молитвенность. Так что, колдуны здешние сами страшатся князя Константина и его дружинки.

Посад внутри оказался намного шире, нежели виделся снаружи. Посреди него возвышалась приземистая небольшая церквушка, рядом – хоромы князя, несколько просторных, добротных, но тоже невысоких истб. К частоколу с внутренней его стороны лепились хозяйственные постройки, склады, конюшня, псарня, овин, свинарник, коровник, сеновалы. Церковь тоже обросла маленькими жилыми пристройками. Как я понял, - келиями.

В это время двери храма растворились, и из них стали выходить

люди. Митька спешился первым. Подбежал к высокому, худому, нестарому, но уже седому, ничем не отличающему от других прихожанину. Поклонился в пояс. Я понял, что это и есть князь Константин. Тот ответил моему соратнику поклоном. Обнял его. Похристосовался. Мы, - все остальные, - тоже спешились. Я с княжатами подошел к хозяину посада. Поклонились. Он пристально вгляделся в лицо каждого. Жестом пригласил в терем. На крыльце обернулся и махнул кому-то рукой. Посад ожил, словно улей. Его обитатели брали под уздцы наших коней, уводили куда-то, холопов, ратников приглашали в теплые истбы

…Широкий стол был заставлен яствами. Постными. Хозяин пояснил: «Поди, в походе и счет дням потеряли. Середа сегодня. Так что, не обессудьте. Рыба. Икра. Грибочки. Меды у меня – только слабые. Ромейского не держу.»

В трапезную вошел иеромонах. Тоже – седой. И тоже – нестарый. Но возраст определить было трудно. Борода, усы, брови, казалось скрывали все лицо. И только большие глаза светились цветом живого неба. Оглядел нас. Поклонился. И тут же стал читать молитву перед трапезой. Мы

последовали ему. Но уж слишком долго он читал. Обращался и к святителю Николаю, и еще к другим угодникам Божиим. Я такого даже в монастырях не видывал и не слыхивал. Хозяин посада вслед ему шевелил губами, истово крестился. Не узнавал я и Митьку: тот, прикрыв глаза, повторял все за князем Константином. Наконец, иеромонах благословил стол. Вслед за хозяином хором сел по правую его руку. Холопы налили нам меду. Князь Константин перекрестился. Поднял чару: «Слава Тебе, Господи, за трапезу сию.»

Мы, следуя хозяину, сделали по глотку, хотя мне хотелось осушить чару до дна. С дороги. С устатку. После того, как все слегка насытились, князь Константин заговорил: «О делах наших завтра потолкуем. А теперь, Митенька, расскажи, как добрались?»

- За все слава Богу, - ответил тот, - только в дороге такая буря снежная застала! Едва после нее из-под снега выбрались. Полагаю, дело рук нечистого есть сие. Кто у вас здесь поближе всех из ворожин этих обитает?

Князь Константин взглянул на иеромонаха. Тот прикрыл поначалу глаза. Пошевелил губами. Кивнул хозяину посада.

- Есть тут одна… Бо-о-оля-арыня, - вздохнул хозяин посада, - вдова. Чулчиха. Из чернокнижниц. Бежала в наши места от Царского и митрополичьего сыска. Мурза к ней один повадился блудить. Прости, Господи, - не впасть бы в осуждение. Но как не взлюбит кого, чахнет раб Божий. А мурза по ее наветам обозы купеческие грабит. Эти сведения – точные!

- Вера наша слабеет. Потому и разгулялась нечисть. Не «аллахова»! Не-э-эт! - вставил иеромонах.

- Жидовствующая, что ли? – спросил я.

- Все они.., - крутанул головой князь Константин, - есть у меня среди ее челяди свой человек. Много, чего поведал. Хотя давно и не видел его. Говоришь, Митенька, метель? Снежная буря?

- Буря?! Сте-е-ена! Хоть и снежная, но темная! Как в летнюю грозу!

- Стало быть, о вашем походе уже знают в Казани. Ну, ничего! Бог не выдаст, ни колдуны, ни казанцы не съедят. Завтра день у меня погостите. В баньке попаритесь. Отоспитесь в тепле. О деле потолкуем. А я пока своего человка в Казань отправлю.

Князь Константин взглянул на иеромонаха. Тот согласно кивнул, и сам

произнес: «Господь благословит. А мы завтра отслужим молебен нашему казанскому мученику Христову Иоанну. Он всегда помогает…»

- А что это за мученик, отче? – спросил кто-то из княжат.

- Здесь, поди, мучеников русских за Христа поболе, чем во всем мире будет? - добавил другой.

- Да, чадца, верно толкуете. Но святой мученик Иоанн особо памятен нам. И хотя не прославлен еще Русской Православной Церковью, - пока! - народ наш почитает его. Особенно в Казани. - кивнул иеромонах.

- Так, расскажи нам о нем, отче!

Иеромонах перекрестился и заговорил: «В один из набегов казанских, - лет полсотни назад, - из Новогорода вместе с другими пленниками был уведен один богобоязненный и благочестивый юноша, по имени Иоанн. После прибытия в Казань, все пленники были разделены между теми, кто участвовал в набеге. Иоанн достался ханскому родственнику, по имени Алей-Шпуру. Будучи юн годами, он хорошо был наставлен в христианском учении: соблюдал посты, не любил праздности и все время проводил в трудах и молитвах. За такое трудолюбие Алей-Шпур сделал Иоанна

своим личным слугою. Иоанн усердно исполнял возложенные на него обязанности и терпеливо переносил неволю, несмотря на все насмешки, которыми осыпали его магометане. Уповая на милость Божию он проводил ночи в молитве. Ценя Иоанна, как прекрасного слугу, Алей-Шпур пожелал обратить его в свою веру. Иоанн смело объявил Алей-Шпуру, что он христианин, и ничто не заставит его переменить свои веру и убеждения. Даже мучения, которым подвергли юного исповедника, не достигли цели. При этом он не только с силою защищал Православие, но и обличал ложное учение Магомета. Видя с одной стороны безцельность своих многочисленных попыток обратить Иоанна в мусульманство, а с другой твердость, с которой мученик открыто исповедывал Христа, а Магомета называл лжецом, разгневанный Алей-Шпур приказал убить верно служившего ему Иоанна. Мученику связали руки ремнем и вывели за город на близлежащую гору. Там ему должны были отрубить голову. Истязая страдальца, мучители нанесли ему много ран, и мечем насквозь прокололи живот. Мучители попытались отсечь ему голову, но удар нанесли неудачно: рассекли только шею, и, считая его мертвым, вернулись в

город. В этот день был сильный мороз. Много часов Иоанн пролежал без чувств и только поздним вечером очнулся. Желая прославить Своего мученика, Господь дал ему достаточно сил, чтобы подняться, причем ремень на руках развязался сам собой. Иоанн, осенив себя крестным знамением, поддерживая руками свою голову, направился в город к жившим там болярам Великого Князя Московского. Придя к ним глубокой ночью, Иоанн рассказал о своих мучениях. Однако, раны были смертельны. Предчувствуя близкую кончину, Иоанн просил находившегося при болярах священника причастить его Святых Христовых Тайн. Причастившись, Иоанн провел остальную часть ночи без сна в молитве и утром при восходе солнца предал свою душу в руки Божии. Благоухание наполнило дом, где находилось тело святого мученика Иоанна. Так Господь прославил смиренного Своего исповедника, и все христиане прославили Бога, дивного во святых Своих. Честное тело святого мученика Иоанна было погребено тайно в лесу, около Казани, на русском кладбище.

Иеромонах встал. Повернулась к святым иконам. Перекрестился. Пропел: «Святой мучениче Иоанне, моли Бога о нас.»

Мы все последовали ему. А кто-то из княжат спросил: «Отче, а есть ли другие известные святые на Казанской земле?»

- Есть, чадо. Всюду, куда дошло учение Христово, есть свои святые. В Казани приняли мученические венцы Авраамий и Феодор Булгарские. А сколько иных, не ведомых людишкам, но ведомых только Господу?! Посему от всякого чародейства и колдовства у вас в дороге - немало заступников Небесных. Только уж вы и сами не оплошайте. Отвергайте греховные помысли и дела. Ведь именно ими мы отвергаем святых и Ангелов Божиих, готовых в любой миг придти к нам на помощь в скорбях, искушениях и опасностях.

Иеромонах почему-то пристально посмотрел на меня. Я отвел взгляд. А заметивший это Митька, вдруг объявил: «Святых везде много. Но я всегда, когда отправляюсь на Казань, молюсь святому благоверному Великому Князю-великомученику Ондрею Боголюбскому. Ведь это он наголову разбил волжских булгар. Или как сейчас говорят: бо-а-а-алгар. Конечно молюсь и своему Небесному

покровителю великомученику Димитрию Солунскому!»

Все за столом перекрестились. А мне вдруг стало стыдно. За что? Не за Аллу же?!

Трапеза закончилась. И опять иеромонах читал непривычно для меня долгое благодарение за нее. В покое отведенном мне и Митьке я, не раздеваясь бросился на лежанку. Казалось, что сразу засну. Но не тут-то было! Я подскочил, как ошпаренный, когда княжич Димитрий серьезно сказал: «А ведь у тебя есть какой-то нераскаянный грех.»

- С чего ты это взял?

- Прочитал в глазах отца Иустина.

- Иустина?

- Да. Иеромонаха Иустина. Здешнего священника. Я его давно знаю. Он насквозь каждого видит. Пойми меня правильно. Мы идем на дело, которое может стать последним. И поэтому хочется предстать пред Богом, коли уж Он попустит положить в походе живот свой, надо в чистоте. Не только своей, но и соратников. К тому же, именно от этой чистоты зависит, вернемся мы из похода живыми или нет. Мы же молимся друг за друга? Молимся. А если соратник во грехе, - а тем паче, в смертном, - представь,

каких бесов он с собой тащит! И как эти бесы ополчаются на тех, кто молится за него.

- Ты рассуждаешь, словно поп.

- Что ж тут удивительного. Моего родного дядьку, попа, ляхи на кол посадили. А он меня пестовал с младенчества. Да и сейчас нередко является. Наставляет. Откуда, ты полагаешь, у нас добрые думки? Я разумею те, что направляют нас на покаяние, молитву, милостыню, другие добродетели, наказанные Самим Богом?

- Ну и что ж, - вспомнив отца, его явления ко мне, видения какого-то князя, и перебив соратинка, вдруг застыдился я, - мне завтра пойти покаяться перед иеромонахом Иустином?

- Как знаешь. Покаяние – воля каждого. Но не будет для того завтра времени. К тому же, он – сторо-о-огий. Не знает он ни подвигов твоих, ни падений. Хотя и видит духовными очами. Такие вещи надо исповедовать только тем, кого ты знаешь. Кому хочешь исповедовать. У меня духовник – в Москве. Ему я говорю все. Отец же Иустин… А вдруг запретит тебе дальше идти в поход. И что я без тебя делать стану? Ежели желаешь, могу напомнить тебе слова святого Апостола Иакова: *Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга,*

***чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного*.**

- Ты считаешь себя праведным?

- Нет, конечно. Праведен и безгрешен Един Бог во Святей Троице славимый. Но Он всегда с теми двумя или тремя, вставшими на молитву об одном и том же.

- - Чудно даже: ты моложе меня, а мудрее…

- Опять же, это – не моя заслуга. В моем роду слишком много тех, кто принял мученическую смерть за исповедование Православной Веры. Скажи. Облегчи сердце. Мы, ведь возможно, на смерть идем!

- Да не считаю я это как-то грехом!

- Счи-и-итаешь! Иначе не думал бы об этом. Плоть твоя, полагаю, не считает, а душа противится плоти и ее греху. И бес греха вдалбливает плоти о безгрешии. К одному греху прирастает другой, третий,.. сотый, наконец! А какой он, последний? Ты что, сильнее лукавого? И уверен, что он не сумеет ослабить твою руку в сече? Не сумеет внушить тебе даже праведность предательства? Только не гневайся за эти слова. Другому бы не сказал их. А тебе… Говорю же: Бог ведает, не на смерть ли идем вместе!

- Возможно ты и прав! - поначалу вспыхнул я. Но еще горячей обжегся о правдивость его слов. - Тогда, слушай!

После моего рассказа об Алле мы с княжичем Димитрием долго молились. Он читал по памяти незнакомые мне молитвы. Но их слова обжигали, а потом и оживали во мне птицами, выклевывающими из души что-то грязное, липкое, недоброе. «Бедные! - подумалось вдруг, - Как же им должно быть противно! Добрые! Как же они облегчают меня»! Уже прокричали первые петухи, когда мы с Митькой повалились на свои лежанки. Но я вдруг вспомнил, что исповедал грехи отцу Иерониму. А вот епетимию не выполнил! Прости, Господи! А может быть, Господь теперь все-таки простил меня, потому как иду на дело Государево! А то и на смерть!

Поддумав так, я вдруг почувствовал облегчение. Словно стянувшая меня змеиная кожа сползла. И я стал собой. Таким, каким был даже до женитьбы на Наталии. От-роком! С этим и заснул...

А утром, после ранней Божественной Литургии, мы снова собрались в гриднице князя Константина.

- Вернемся, братия, к нашим казанцам. Полагаю, отряд сабель в пятьсот

навстречу вам уже выслан. Чулчиха постаралась! - начал он. И обвел нас взглядом: «Посему, предлагаю изменить ваш путь. Пройти на Восток верст полсотни. Дойти далее до Свияги и по ней спуститься к Волге. Пока пройдете до Свияги, полтысячи казанцев как раз минуют остров на слиянии этих двух рек. К слову, Митенька, давно хотел тебе сказать: остров сей – чудо! Поставил бы Государь на нем крепостицу – неприступной бы стала! Стала бы и опорной для идущего войска: передохнуть ратникам, подкрепиться, снаряжение обновить. Ха-ха! В баньке попариться! В ней же, родимой и склады со снедью, кормом для скота, кузни там, другое всякое разместить можно. От Свияжска-то – рукой подать до Казани: тридцать верст!

- Крепостицу? А ведь это, – даже хмыкнул Митька, - под самым носом у казанцев? Да разве ж они дадут сие сотворить?

- А зачем же их спрашивать о том?! Крепостицу сладить где-нибудь в Нижнем. Потом раскатать по бревнышкам. Те заранее пометить: где и какому – место. Доставить на стругах в сопровождении сильной рати. Перед самым походом. И собрать ее заново в две-три седмицы можно. Казанцы и

опомниться не успеют! Передай сию мою думку Государю.

- А как бы нам Чулчиху приструнить? – спросил я, вспомнив почему-то касимовского Ахмеда.

- Трудно сие, - вступил в беседу иеромонах Иустин, - потому как ее столько бесов берегут. Вы и близко не подойдете. Приструнить ее могут только нехристи. А этим бесы не повелят.

- Да нешто Господь Бог слабее ее? – закипятился я.

- Не слабее. Но, стало быть, нет пока Его воли на ее приструнение, - отрезал иеромонах.

- Давайте, о деле! – спокойно проговорил Митька.

- Так вот, - продолжал князь Константин, - дам я вам проводника. Татарина. Крещеного. Он поведет вас вокруг Казани. Там, – на юг и восток, - места неоглядные. Смотрите в оба. Бог даст, встретите наших, русьских, беглых рабов, да разбойников, что с Рязанщины, из-под Курска, Пронска, Тулы да других городов от суда кормленщиковского бежали. Эти да-а-авно в ватаги сбились. И – в немалые. Казаками себя кличут. Удалы! Но между ватагами есть сообщение. Полагаю, тысяч

пять-десять, а то и поболе, собрать могут. Только уговорить их надобно. Больно уж вольность свою полюбили. Попривыкли к ней. Одного из воевод ихних я знаю. Дубком кличут.

- А святое имя? – переспросил Митька.

- Иоанн. Но только упаси вас Бог на меня сослаться. На Казань со своими пойду. А пока не время раскрываться. И вот, что еще. На пути у вас, верст через двадцать посад будет. Туда не заходите. Иуда там обитает. Князь Игнатка. Он и зельем злым опоить может. И сжечь в баньке. Не всех, конечно, а княжат, дабы отряд ваш обезглавить. Остальных же на казанском базаре в рабство продаст. Как медведь-шатун обитает. Руки – в русьской, да и в иноземной крови - по локти. Обозы грабит, - хоть с востока, хоть с запада, хоть с севера. А людишек с обозов тех – опять же, - на казанский базар, в рабство гонит.

- У нас таких и под Москвой хватает. А ежели мы его запалим? – не удержался я.

- Горяч ты, князь! У вас дело – другое, Государево. Запаливать можно лишь тогда, когда иного выхода нет. Ваше дело – подступы к Казани разведать. Места для станов определить надежные, - тот же остров

на слиянии Свияги и Волги, - ватаги казачьи воедино собрать. Разве ж этого мало? А с иудушкой этим, Игнаткой, Государь сам разберется после взятия Казани.

- Есть ли еще в порубежье твоем такие, как Игнатка? – спросил Митька.

- Есть. На том берегу Волги. Болярин там сидит. Лукой кличут. Прозвище не знаю. Этот как говорится, - и вашим, и нашим, и вместе спляшем. Лишь бы в мошну денежка текла. Кто больше заплатит, тот и - первый друже. А так, он – безвредный. Поди шли берегом, видели версты за три отсюда посад?

- Не-е-е-т, - удивился Митька.

- Прости, Митенька, запамятовал. Там вас как раз буря и застала.

- Так, не он ли навел? Бурю-то?

- Грехи навели, - опять встрял иеромонах. «Стро-о-о-огий»! – вспомнил я слова Митьки.

- Вот, ведь как получается, князь Константин! Кроме тебя, верных-то здесь не оказалось! – мотнул головой княжич Димитрий.

- Увы… Хотя… Погоди. Приезжал тут один. Тоже татарин. Мелкий князек. Он как раз на слиянии Камы с Волгой обитает. Ох, и собачился на Сафу-Гирея. Вот, просил отца Иустина окрестить в Православие. Говорил

со всем родом перейти желает. И пойти под руку Русьского Царя. Как бишь его, батюшка?

- Не окрестил я Рахимку. Благословил погодить пока, - медленно кивнул иеромонах, - и снестись с монастырьком одним. Там у меня сомолитвенник подвизается. Пусть Рахимка к Таинству подготовится. Весь свой род подготовит. В оглашенных походит. Да и нам - польза. А ну, как прознал бы про его Святое Крещение Сафа-Гирей? Весь род бы вырезал. Он на этот грех лют! Но вы, коли случится, смело к нему обращайтесь. Рахим-бек его кличут. На меня можете сослаться.

Я вспомнил Мустафу-Михаила. Как он? Жив ли?..

Ближе к вечеру мы отслужили молебен. Попарились в баньке. Плотно потрапезничали. И задолго до рассвета тронулись в путь. Проводник наш, назвавшийся Акимкой, повел проезжей дорогой, но при этом попросил идти за ним след в след. На мой вопросительный взгляд ответил: «Волчьи ямы, однако. Супротив разбойников. Много их нынче безобразничает на дорогах Но нам, однако, страшиться не надо. После бури они еще не дошли сюда.»

Вдоль Волги мы прошли еще верст пять и свернули влево.

- По самому рубежу с Казанским ханством идем! - заулыбался Акимка… - Вот здесь, однако, шайтан напасть может. Надобно молитвы читать.

Митька передал совет крещеного татарина по цепочке всем нашим. И над нами взымыли в небо слова «*Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…*». Дорога наша шла в гору.

- Конные! – крикнул кто-то из княжат, ехавших позади нас с Митькой. Мы проследили глазами за плеткой, указывающей в сторону Казани. Там, на холме, верстах в двух, действительно, словно истуканы, застыли татарские ратники. Митька вопросительно кивнул Акимке. Тот успокаивающе махнул рукой: «Порубежная сторожа. Эти в драку не полезут. Да и поменьше их, чем нас.»

И мы продолжили путь. Скоро показался лес. Холмами, словно волнами, он уходил далеко. Насколько хватало взгляда. При въезде под кроны деревьев Акимка вдруг приостановился. Всмотрелся вдаль. Покачал головой.

- Однако, недобро здесь, - кивнул он на снег. И тут мы все увидели следы, уходящие в чащу.

- А может быть, наша сторожа? – спросил я.

- Не-е-ету, - задумавшись, опять покачал головой Акимка. Он посмотрел по сторонам. Сокрушенно произнес: «Дзы-дзы-дзы… Совсем я плохой стал. Как же не уследил, что рядом шайтан Игнатка с своими разбойниками все это время идет…»

И он показал плеткой в сторону, откуда и вели следы: «Однако, засада на нас в лесу.»

- Да что ж, они совсем безголовые? – хмыкнул Митька. И махнул рукой: «Не разумеют, что ли, что мы их следы заметим?!

- Однако, не безголовые, - ответил Акимка, - ведают, что нам просто деваться некуда. И поди, уже на нас глядят, стрелы наставляют.

В этот же миг из чащи раздался свист, и мы едва могли пригнуться и прикрыться щитами. Но несколько наших повалились с коней, пораженные стрелами.

- В кольцо! – только и крикнул Митька.

А нас уже окружали сотни две всадников. Под их прицелом мы навряд ли что могли сделать.

- Игнатка? – шепотом спросил Митька Акимку.

- Он, шайтан…

Перед нами выехал дородный, красномордый, нестарый еще болярин в наборном дорогом доспехе, видневшемся под шубой, шеломе с позолотой, с изукрашенным серебром самотрелом в правой руке и саблей в левой.

- Гости дорогие, – засмеялся он, - милости просим в мои угодья. С чем пожаловали?

- Доброй же милостью ты встречаешь гостей, - крутанул головой княжич Димитрий и указал на подстреленных наших ратников.

- Я здесь у себя дома. И потому решаю сам: как и кого встретить. Куда путь держим?

- А почему я тебе отвечать должен? Мы не за трапезой. Не в гриднице твоей, - ответил Митька.

- А потому, что я, - сказываю же, - хозяин этих мест. Захочу, людишки мои, как куропаток постреляют вас сейчас. Захочу – в колодки забью, да в Казань на базар отведу.

- Согласен в колодку, - усмехнулся Митька, - но при одном условии. Сойдемся с тобой в поединке. Победишь, пойду в колоду. Нет, - мы спокойно пойдем своим путем. А? Чтобы честь – честью…

- Ты-ы-ы… Щенок безродный! Мне про честь толковать будешь?! – еще больше покраснел Игнатка. Привстал на стременах: «С тобой! В поединок?! А ну, вяжите их! А кто хоть пальцем шевельнет, рубите безжалостно!»

Но вдруг он осекся. Уставился куда-то поверх наших голов. Лицо искривилось от ужаса. Мы невольно взглянули в ту сторону, куда смотрел Игнатка. И увидели, что по нетронутому снегу к нам на холм поднимается молодой мужик. Одет он был совсем не по-зимнему: в белоснежную рубаха с золотым крестом на ней, красный легкий плащ, сафьяновые сапожки. Глаза в поллица светились цветом живого неба. И следов-то на снегу после него не оставалось. Я, как, впрочем, и все, даже разбойники, перекрестился. Одно коробило: поперек шеи алел широкий и явно глубокий шрам.

Незнакомец вошел в круг напавших на нас. Остановился шагах в десяти от Игнатки. Покачал головой. Молвил тихо, но

почему-то при этом снег осыпался с ближних деревьев:

- Бедный ты, Игнатка, несчастный! Кончается терпение Божие! Ой, кончается! Ступай-ка домой. Да сразу же поезжай в монастырек какой-нибудь. Замоли грехи! Как на суд-то Божий предстанешь? А? Сколько душ невинных вопиет к Нему об отмщении. Ступай. Ступай, болезный. Бог милостив! Может быть, даст еще время на покаяние. Чрево-то твое теперь каждую ночь болит. А?

Мгновенно побледневший Игнатка вдруг резко развернул коня и, всадив в его бока шпоры по самые каблуки, понесся по своим же следам, которые привели его в лес. Холопы, мелко и часто крестясь, последовали за своим хозяином. Незнакомец же направился к нашим погибшим соратникам. Наклонялся, поддерживая свою голову рукой, над каждым. Поднимал глаза в небо, шевелил губами. И… вставали ратники, протирали глаза, словно после сладкого сна, удивленно оглядывались. Крестились. Повскакивали на коней.

- А вы, братия, - наконец, обернулся к нам незнакомец, - ступайте своей дорогой с Богом.

- Скажи, хоть как отблагодарить тебя? За кого молиться? Спас ты нас! – поклонился из седла Митька.

- Бога благодарите. Спас вас Господь. А меня кличут раб Божий Иоанн, - слегка, приложив ладонь ко лбу, придержал в поклоне голову незакомец, развернулся и пошел прочь. И снова на снегу не оставалось следов его ног.

- Ангел Господень!

- Не-е-е-е, угодник Божий! Только какой? Не Иоанн ли Креститель?

- Да-а-а, тот тоже голову держит на образах руками…

- Не-е-е-ет, братия! Мученик это! Плащ-то красный! Мученический!

- Вспомните-ка, братия, поп давеча говаривал, что казанский святой мученик Иоанн тоже шел и поддерживал голову руками! Уж не он ли?

- Слава Тебе, Господи! Ведь мы ему вчерась молебен служили! - переговаривались наши ратнички, княжата и мужики. И опять мы все, словно по повелению, перекрестились.

- Велича-аем, велича-а-а-аем тя, святый мучениче Иоа-а-ане… Святый мучениче Иоанне казанский, моли Бога о нас! – разнеслось по округе. Дальше шли мы

по лесной, заметенной снегом дороге, но казалось, что даже коням весело было идти. И нетрудно. А я вдруг почувствовал свое греховное сожительство с Аллой так остро, словно рогатина вошла в самое сердце. И решил, что у по приезду обязательно, не откладывая ни на день, сразу после Святок поведу ее под венец.

«Ежели Бог даст», - хмыкнула думка. «Дожить сперва надо», - вторила ей другая. И какая-то непонятная тоска, тягучее, скорбное предчувствие вдруг заполонили сердце. Я попробовал молиться. Но слова скребли, резали языком нёбо и щеки, словно пила - кору дерева. «Вот ведь, - подумалось вдруг, - свершилось чудо Божие, а благодать взяла да и отступила. Но для меня ли она была?! И скорбно-то, должно быть, от того, что недостоин я ее. Во-он, Митька едет, радостью пышет, словно кулич пасхальный. А я? Во мне самом - все дело. Беда моя и скорбь моя. В грехе моем. Чудо сие было для других! Для тех, кто пал под стрелами и встал, словно после сладкого сна. Для тех, кто видел, как Господь оживляет убиенных. Но – не для меня».

Ночью, на привале, ворочаясь у костра, я никак не мог заснуть. Но под утро

вдруг услышал в самое ухо: «Скоро! Скоро исцелишься ты от своего недуга.»

Я резко вскочил. Но никого рядом не было. Митька, закутавшись в тулуп, сладко посапывал, словно отрок. Улыбался во сне. Кто-то из княжат похрапывал. Я решил пройтись, проверить сторожу. Всё оказалось исправным.

За несколько дней мы сделали большой крюк. Наконец, спустились по льду Свияги и еще издали увидели высокую, лысую, продутую от снега ветрами, гору. Митька даже крякнул от удовольствия. По-отрочески задорно вытер нос рукавицей. Указал на гору плеткой: «Славное место! Ай-да князь Константин! Ай-да, умница! Та-а-а-акую крепостицу сладить здесь можно! Неприступную! А? Алексашка?»

- Да-да, - кивнул я.

- Объедем вокруг?

- Кинязь! Кинязь, – вдруг запротестовал Акимка, - однако, не надо такого делать! Мы же - на казанской земле. На пять верст все просматривается. Однако, обратно идти надо. Обходить Казань. Говорил же наш поп, что Сафа-Гирей уже знает про нас. Он, шайтан, дремать не будет.

- Вот, - вдруг заговорил Митька, - и в Казани есть такая же гора. Змиевой

прозывается. Ему, змию этому, и поклонялись древние булгары, пока не пришли с юго-востока поклонники Аллаха. Огнем и мечем приводили они здешних идоло- и огнепоклонников к вере своей. Привели. Но колдунов, поклоняющихся змию поганому, до сих пор в чести держат. Против нас. Русьских. Вот такая двойная вера. Но мы, Бог даст, с этой свияжской горки начнем завершение ига поганского.

…Что ж. Пришлось подчиниться здравому смыслу. И мы пошли дальше, как и было решено заранее. По молитвам ли мученика Иоанна Казанского, наших ли Небесных Покровителей, но скоро мы обошли Казань намного восточнее и опять вошли в лесостепи с их оврагами, балками. Мне казалось, что я узнаю места, которые исходил во время похода, в котором погиб мой отец. И где я сам чуть было не отдал Богу душу. Опять вспомнились сотник Никита, Мустафа-Михаил, князь Серебряный, болярин Лыков, другие. Как-то теперь сложится наш поход?! Мы шли искать вольных людишек, называющих себя казаками.

И все ж-таки стычки с небольшим разъездом, - тоже сотней, - казанцев избежать не удалось. Вороги выскочили из жиденького

перелеска, окаймяющего небольшсю речушку. Сразу попытались осыпать нас стрелами. Мы ответили тем же. И тут мне удалось полюбоваться Митькой и его людьми в деле. Каждый из них сцепился с тремя-четырьмя казанцами. Казалось, что кривой меч должен разрубить Митьку от плеча до седла, но тот даже не стал отбивать удар, а лишь качнулся всем телом в сторону, и татарин вслед за своим мечем… чуть не выпал из седла. И тут же уже действительно выпал обезглавленным. А Митька, и ратники его, продолжая уворачиваться от ударов казанцев, в свой черед хлесткими, неожиданными, почти невидимыми ударами рубили ворогов. Нам почти нечего было делать. Однако и мы потеряли в этой стычке пятерых.

Как могли, выдолбили могилки в мерзлой земле. Отпели мирским чином. И двинулись дальше. Я стал называть Митьку княжичем Димитрием. Но он воспротивился: «Что это ты, Алексашка? Годами - старше меня. Ратник – не хуже. Пуд соли мы уже, должно быть, с тобой съели. Так что, давай-ка величаться, как прежде. А?»

В первый раз за столько дней я улыбнулся.

Утром, начиная рабочий день в курилке, Женя победоносно достал сложенный вчетверо листок будмаги и разворачивая его сказал: «Смотри, я не поленился. Достал одно стихотворение твоего любимого Гумилева. Послушай и скажи: где здесь Православие? Нет-нет! Послушай! Такое мог написать только совсем неправославный человек, даже воинствующий атеист, он же здесь восхищается смертными грехами. Это мне Танюша подсказала.»

И он продекламировал:

Мои читатели
Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов...
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.
Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,

Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: «Я не люблю вас», —
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.

Ну?! Что скажешь? Бродяга, покоряющий многие племена, убийца Императорского посла, иные, убивающие слонов и, - заметь! – людей, унижение душевной теплотой и так далее, и тому подобное. Что-то даже близко не лежат здесь принципы православного поэта. И у моего любимого поэта Сергея Александровича Есенина такого и в помине нет! А?

- Зато у него есть про «дедушку Ленина», - не к ночи будь этот ублюдок помянут:

Он с лысиною, как поднос
Глядел скромней из самых скромных…

Хор-рош скромняга: «Несогласных – расстрелять, сомневающихся – по лагерям»! Или: «расстрелять как можно больше попов»! Но уж если цитировать Гумилева, то ты забыл прочитать последние строки из стихотворения. Пойдем в кабинет! У меня как раз с собой в сумке мой томик стихов.

В кабинете, теперь победоносно в свою очередь, я достал книжку и, раскрыв на нужной странице, продекламировал:

А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
И, представ перед лицом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

- У меня этих строк в сборнике нет, - вскинул брови Женя.

- Так вот, мой дорогой, - улыбнулся я, - все это стихотворение в некотором роде, прости Господи за дерзновение, вторит

словам святого Апостола Павла о том, что с эллинами он – эллин, с иудеями – иудей. Гумилев не осуждает. Он пытается доказать, что его стихи одинаково понятны мужественным людям. И он тянул этих мужественных людей до своих нравственных, православных критериев. Вспомни стихи, которые мы в прошлый раз читали. Но в «серебрянный век», как мне кажется, уже сместились нравственные критерии. Гумилев в них мог ошибаться. Но то, что он верил в Бога, был православным христианином, искал, пытался разобраться, - мучительно пытался! - я уверен на все сто! Вспомни о его окружении! Они и любимого мной тоже Есенина куда «водили»? И если бы не Господь Бог, неизвестно, до каких бы «демьянов бедных» или «джеков алтаузенов» Сергей Александрович смог бы докатиться.

- Саха, – округлил глаза Женя, - у тебя же литературоведческий талант! Ты шпарил сейчас, как по писанному. Это же – готовая статья.

- В том-то и беда, что повторить даже устно, а не то, что на бумаге, сказанное только что мной в порыве, я уже не смогу, - вздохнул я.

Хотелось еще что-то сказать, но в этот момент в кабинет вошла Людмила Петровна.

Веселая, румяная, с ямочками на щечках. Защебетала: «Ах, мальчики, как же на улице-то хорошо! Сейчас бы – куда-нибудь на природу! В теплую дачку! Или в поход! С гитарой! Под песни Визбора! Но, работа есть работа. Посему, давайте работать. Александр, а вы когда Минск собираетесь? Ах, да, забыла! У вас же – обмен. Я вам советую еще по районным бюро прокатиться. Там иногда, я слышала, такие варианты встречаются! Вот, вы в какой район хотите привезти своих? Туда и поезжайте. Женя, тебе еще много страниц в последней статье редактировать? Завтра автор приезжает. Мы с ним полночи по межгороду сегодня разговаривали…

- За ваш счет?- хмыкнул Женя.

- Нет. Это – он мне звонил. Из «проблемной лаборатории». Вот люди работают. Ночами! Сутками не выходят! Не то, что мы.

- А я слышал, например, что тот, кто остается после рабочего дня, плохо работает.

- Это если работа - нетворческая. В бухгалтерии, например, или за станком… А у нас – рабочий день не нормирован. Вы же свой роман готовы ночами писать. То-то! Ну-с, приступим. Прошу час полной тишины.

К вечеру у меня разболелась голова. И какая-то тягота легла на сердце. Словно предчувствие чего-то недоброго. Вернувшись домой, я нашел на столе записку матери: «Мы ушли в кино. Ужин на плите. Нас не жди. Фильм двухсерийный».

Ничего не хотелось. Я налил себе чаю. Включил телевизор. И тут увидел на диване брошенную книжку. Ага! «Женщина в белом». Значит, мать читала. Отец таких в руки не берет. Захотел, было положить ее на тумбочку, чтобы улечься на диван, но из книжки выпал… конверт, исписанный почерком Валентины. Он был вскрыт. На штемпеле стояла дата Московского отделения связи трехдневной давности.

«Как же так?! – не укладывлось у меня в мозгу. Кровь ударила мне в голову: « Читать чужие письма?! Да еще врать, что они не приходили. А где тогда второе письмо? И это – мать! Ма-а-ать! Она же учила не врать»!

Меня просто трясло. Да так, что даже письмо читать не хотелось, словно оно было осквернено. Была осквернена моя любовь, любовь Валентины ко мне, вся моя семейная жизнь. Я попытался успокоиться. Но куда там! Открыл бар, вскрыл бутылку «Старки». Налил стакан. Выпил. Закусил конфеткой.

Подумалось вдруг: «А не лучше ли было помолиться? Умирить сердце»? Я не знал, как быть. Но хмель брал свое. Я решил поговорить начистоту. При отце. При Алине. Как-то она «запоет» при них! Я положил письмо в книгу, которую бросил обратно на диван. И скоро в замке повернулся ключ.

Родители и сестра что-то весело обсуждали. Я вышел в прихожую. Пристально оглядел их.

- Привет! – кивнула Алина.

- А что это ты такой суровый? – крутанул головой отец.

- И чего это у тебя глазки блестят? Выпил, что ли? – сощурилась мать.

- Да. И было от чего. Прости, папа, магазины сейчас уже закрыты, и я открыл твою «Старку», - спокойно и холодно ответил я.

- Что случилось-то? – посерьезней отец.

- Случилось… Но сначала разденьтесь. А потом я скажу.

Родители и сестра притихли. Молча, разделись. Вошли в большую комнату.

- Ну, не тяни, - уселся в кресло-качалку отец.

- Я-то не тяну… Мама, ты тут говорила, что писем из Минска не было? А?

- Так.., - вдруг отвела она глаза.

- Ты же всегда говорила, что никогда не врешь!

- А почему это ты так с матерью разговариваешь? – вдруг вскинулась она.

- Да потому что ты вскрыла и прочитала письма моей жены ко мне. Потому что солгала, сказав, что писем не было.

- Я мать, – вдруг закричала она, - я имею право узнать, как тебя в очередной раз охмуряют! Жен у тебя может быть много, а мать - одна. Да, вскрыла. Да, прочитала. Потому что переживаю за тебя! Мало ты в жизни дров наломал?! А отдувались всегда мы с отцом! Спасибо, сыночек, испортил хорошее настроение! В кои веки раз в кино выбрались. И на – тебе! Встретил! Да еще и пьяный!

Я не знал, что сказать. Понял только, что говорить безполезно. Она так и не поняла ничего. Поэтому развернулся и ушел в свою комнату. В квартире какое-то время стояла полная тишина. Я сидел у себя в комнате на топчане, сжав виски ладонями. «Ну, как тут выполнять послушание отца Валерия, - Царствие ему Небесное, -по поводу отношения к матери? Наверняка, и он даже предположить не мог такого»! – думал я.

Дверь открылась. Не входя в комнату, мать швырнула мне два письма: «Можешь

подавиться своими письмами. Тебе всегда бабы и друзья были дороже родных.»

Я даже не поднял на нее глаз. Но следом, после ее ухода, вошел отец. Кивнул: «Пойдем, покурим.»

Мы вышли на лоджию. Закурили. Он достал из валенка в шкафу бутылку портвейна, стаканчики. Налил. Чокнулся со мной. Мы выпили.

- Конечно, - заговорил он, - мать поступила гадко. Но ты должен понять и простить ее: сделала она это, действительно, переживая за тебя. Из любви! Вот и сейчас села, плачет. Я не призываю тебя бежать к ней, пресмыкаться. Нет. Прости ее в своей душе. В сердце. И все само собой восстановится. Надо быть мужчиной. Бабы-то – все одинаковые. Ты думаешь, твоя Валентина на такое не способна? Дай-то Бог, если так. Пойдем, я сейчас яичницу с ветчиной пожарю. На еду-то нечего обижаться.

- Но ведь мать даже не чувствует себя виноватой! – воскликнул я.

- Не горячись. Успокойся. Будь мужчиной. Пойдем на кухню…

Ужинали мы всей семьей. Но молча. Выпив воды, я поблагодарил за ужин и ушел в свою комнату. Но заснуть долго не мог.

Поэтому вышел на лоджию. Достал из валенка отцов портвейн и еще выпил. После этого улегся и сразу заснул. Утром встал раньше всех. Но с больной головой: шутка ли, - «Старка» с портвейном. Принял контрастный душ, выпил крепкого кофе.

- Доброе утро, - как ни в чем не бывало, вошла в кухню мать. Я ответил. И постарался побыстрее собраться. Поэтому и на работе оказался раньше всех. Пришел Женя. Увидев меня, хмыкнул: «Ты что, решил взять пример с «ученых» из «проблемной лаборатории»: дневать и ночевать на работе? А что – такой зеленый, как крокодил Гена?»

- А-а-а, - отмахнулся я.

- Случилось что?

Я и рассказал. Женя округлил глаза. Подумал. Сказал: «Ну-у-у, дела! Знаешь.., Валентина может писать на мой адрес. Я прятать и читать ее письма не буду. А?»

- Тогда придется все рассказать ей, - крутанул я головой, - а это, сам понимаешь, не самый лучший показатель моей семьи.

- Ну и не переживай. Я вот только сейчас подумал, что матушка твоя получила хор-р-роший урок. И больше не станет ни скрывать, ни читать письма твоей жены.

- Спасибо, Жека. Утешил. Поддержал!

- Ха! Если не мы, то кто?! Пошли курить. Кстати, да-а-авненько мы над романом не работали. Я вот тут еще главку «начирикал». Хочешь почитать? В обеденный перерыв?

- Давай, - кивнул я…

…Дни пролетали мелкими пичужками. Как и говорил отец, отношения быстро наладились. И действительно, письма от Валентины, если их доставали из ящика в мое отстутствие дома, всегда лежали на письменном столе нераспечатанными. Наступил Великий пост. Вот тут и пошли искушения. Мать никак не могла понять, почему я не ем колбасу, котлеты, сосиски, пельмени, сало. Наконец, пришлось признаться, что хочу соблюдать пост. На что она хмыкнула: «У тебя - новые «закидоны»! Когда ж ты позвроcлеешь? Молочное-то хоть будешь есть? Рыбку? Не могу ж я тебе все время отдельно готовить!»

Мне пришлось согласиться. К отцу Иллариону я так и не собрался. На Великий канон Андрея Критского не ходил. От всего этого на душе лежала какая-то истома. Приехав к Валентине, тоже узнал, что она не постится.

- Некогда мне фантазировать с постными блюдами. Ремонт! Обмен! Голова

кругом идет, – хмыкнула недобро жена. И поставила передо мною тарелку с пельменями: «Кстати, мы сегодня должны отшкурить потолок в ванной, вымыть его и снова побелить. Поэтому наедайся как следует. Обедать будем только вечером, когда закончим с побелкой.

Субботу я провел в ремонтных работах. А вечером, за ужином, Валентина поставился на стол бутылку «Беловежской пущи». Объявила: «Устал? Я – тоже. Давай, по стопочке? С устатку.»

Утром я проснулся от шумного выговора, который делала жена Маришке. И вдруг девочка закричала на мать. Я вышел из спальни. Сказал тихо, но твердо: «Мариша! Разве так можно с мамой разговаривать?»

- А что она?! Все девочки из класса гуляют до девяти или даже до десяти! А я, - как маленькая.

- Но они уроки днем делают. А ты опять двойку получила! - еще больше повысила голос Валентина.

- Я учила. А эта дура по английскому слова не дала сказать. Сразу «пару» влепила. Еще и наорала!

- Мариша! Разве можно учительницу так называть?! – покачал я головой.

- Можно! Ее все так называют!

- Вобщем так, - уже спокойнее сказала жена, - ты наказана: всю неделю не получишь сладкого и гулять не пойдешь.

- Под-д-думаешь! – скривила губы Маришка и, в сердцах хлопнув ладонями по коленкам, уселась у окна, резко отвернулась от нас. Я взглянул на Валентину. Ее лицо покрылось пятнами. Я кивком позвал ее в спальню.

- Что? – жестко спросила она, когда я прикрыл за нами дверь.

- Мне кажется, я знаю, почему всё это происходит. Сейчас – Великий пост. А мы с тобой не постимся, не молимся. Поэтому – все искушения…

- Не постимся… Не молимся… - передразнила меня Валентина. Некрасиво наморщила лоб: «А что толку? Да и когда молиться?! Дел столько, что на дочь времени не хватает! Совсем распустилась! Не слушается. Грубит. Ты – в Москве, я – здесь. И это – семья? Я одна все делаю. И ремонт. И обмен. И деньги зарабатываю. И по дому кручусь. И шью ночами. Посмотри, на кого я стала похожа!

- Мы же говорили! Ты согласилась, что надо перетерпеть.

- Ага! Мы будем терпеть, а дочь будет от рук отбиваться.

- Ладно. Какие планы у нас на сегодня?

- Какие планы? Когда их претворять-то? Пла-а-аны! Времени – скоро полдень. Что ты сделать-то до отъезда успеешь. Надо белить потолки на кухне и в туалете. А до этого старую побелку отмыть. А еще до этого что-то вынести, сложить где-нибудь. Мебель, плиту, мойку накрыть газетами. А мы еще не завтракали.

Я смотрел на жену и не узнавал ее. Попробовал оправдать. Себя же – укорил: мол, не пощусь, вот и получаю. Подошел к ней. Попытался обнять. Но Валентина, передернув плечами, вывернулась из-под руки. Буркнула: «Некогда миловаться. Пошли завтракать. Ты спал, а я готовила.»

Ну, и напрыгался же я: с табуретки - на стол, оттуда обратно и – на пол. Весь – в побелке! Едва успел помыться. Чуть не опоздал на поезд. Валентина, конечно, провожать не пошла. Сослалась на то, что надо кухню и ванную отмыть после побелки. В сумке оказались три бутерброда и бутылка «минералки». Это я мог бы купить и вокзальном буфете. Попробовал оправдать Валентину: мол, закрутилась, забегалась, заремонтировлась. Куда уж тут разносолы

какие-то?! Однако в сердце зарождалось раздражение. На кого? Да на себя самого! Вспомннлись советы старика-корня. И в первую очередь по поводу моего вагонного блуда.

- Прости, Господи! – прошептал я, выходя в коридор из купе, так как в нем не находил себе места. В тамбуре закурил. И снова передо мной заколебалась дымчатая голова старика-корня. Он опять успокаивал меня, убеждал в том, что Валентина просто очень устала, разнервничалась, сорвалась, что надо понять ее перетерпеть.

- Ты же сам говорил, что главная добродетель – терпение! – сверкнул он красноватым взглядом. Обхватил ладонью волосатый подбородок: «Подожди до лета! А там все прояснится. Займись своим обменом. Пиши роман, наконец! Каждая семья, как и человек, начиная с детских лет, переживает несколько критических возрастов. Это ученые доказали. А может быть тебе лучше…

- ? – вскинул я на него глаза.

- Поучить ее, как бабу!

- ?

- Не пиши. Не звони. Не приезжай месячишко. Такие методы действуют на них. Если конечно, любит… Избаловал ты ее.

- Если любит? А если – нет?

- Ну-ну-ну! Зачем же так мрачно?

- Ладно, - кивнул я, соглашаясь с ним, - а вот как мне быть? Даже заснуть не могу!

- Это – дело поправимое. Ступай в купе. Ложись. И сразу заснешь! Ха-ха, - скривил он губы в подобии улыбки и вдруг показался мне таким же, как был когда-то, в первые наши встречи. Но я мотнул головой и отправился в купе, где завалился на полку и тут же действительно заснул. А при подъезде к Москве не мог разлепить глаз. Но даже в таком состоянии решил поступить по совету старика-корня: не звонить, не писать, не приезжать. Об этом же, приехав на работу, поведал Жене, когда тот появился в кабинете. Он задумался. Вздохнул: «Поспешил ты Саха с женитьбой! Но месяц не подавать о себе знать – не дело! Она возьмет и на развод подаст. Что тогда?»

- Почему поспешил? Баб же учить надо!

- Эх-хе-хе… Моя Танюша говорит, что женщина от хозяйственных дел, даже самых трудных и неприятных, если любит семью, мужа, получает только радость. А тут? Получает? Может быть, усталость? Но – радостную!

- Ты хочешь сказать, что Валентина меня не любит?

- По правде? Даже не знаю. Не уверен. Время покажет. Давай, лучше начнем работать. В любимом деле можно забыться от всех житейских неурядиц. А звонить жене все-таки надо.

Вечером я поехал в церковь, где когда-то служил отец Валерий. Знакомых там не увидел никого. И службы не было вообще. Спросил у старушки за свечным ящиком о Николае, то есть об отце диаконе.

- И-и-и, милый! Сейчас настоятельствует здесь отец Григорий. Он устроил перевод Николаше, - прости Господи, - отцу диакону, на самую окраину Москвы, в разрушенный храм. Сказал, мол, Николаша – энергичный: пусть и помогает тамошнему священнику восстанавливать святыньку.

- А где этот храм? Адрес не знаете?

- Не-е-е, милый. Не знаю.

- А можно, я помолюсь здесь?

- Только недолго. Мне скоро надо будет закрывать церковь. Охрана уже пришла. Ну-у-у, минут двадцать я еще подожду.

Я вошел вглубь. Опустился на колени перед иконой святого благоверного Великого Князя Александра Невского. Просил у него прощения. Просил вразумить. Пот струился по лицу, шее, спине. И почти в изнеможении,

наконец, уселся в темноте на лавку, напротив иконы Божией Матери «Взыскание погибших»… Имено здесь я нередко беседовал с отцом Валерием, - Царствие ему Небесное…

- Каешься? Скорбишь? – услышал я сбоку голос… отца Валерия. Да! Рядом со мной сидел он.

- Ба-а-атюшка, – выдохнул я, - ты же у…

- У Бога все живы. Что ж ты так напортачил? А? Больно и мне, и другим, которые за тебя молятся. За твои грехи, ой, как больно! За твой вагонный блуд рушится семья с Валентиной. Разделяетесь вы. А Царство, разделившееся в себе, погибнет.

- Как же все исправить?

- И-и-и! Милый! И об этом я не раз, и не два тебе говаривал. Каяться надо. Исповедовать грехи. И всегда, во всем, во всех неприятностях вини только себя.

- Ну, хорошо! Поеду к отцу Иллариону. Исповедаюсь. Покаюсь. И все наладится в семейной жизни?

- Ты что же, с Богом решил поторговаться? – грустно усмехнулся отец Валерий.

- Не-е-е-ет… Ну-у-у…

- Учись переносить все, как подарок от Бога. За все благодари Его. Учись и Его наказания, которые даются во искупления грехов, и как наказания, - на-ка-зы, уроки, дабы не повторять грехи, - переносить с благодарностью. Не забывай молиться, поститься. А то душа-то твоя совсем задыхается! Как в газовой камере. Молитва – воздух для души. Ты это скоро прочитаешь, когда книги православные начнут издавать.

- Батюшка, - перебил я его, - скажи мне, пожалуйста: сложится ли семейная жизнь с Валентиной? Сейчас идет какой-то разлад. Я понимаю, сам в глазах Бога виноват. Но готов исправиться! Только как? А жизнь-то наша сложится?

- Об этом ведает только Господь. Одно скажу: не так ты начал жизнь с Валентиной. Самое начало было благим, но потом… Все шаги, начиная с ЗАГСа, со лжи в нем, были на вранье замешаны!. Хотя лгать-то тоже тебя лукавый через Валентину подначил. И покатился «снежный» ком.

- Так, объясни!

- Не могу. Нет на то повеления. Да и сам ты – не маленький. Вспомни наши разговоры. Ты же поначалу был во много-много раз более Православным Христианином по жизни, нежели теперь. Вот

и начни с воспоминаний тех времен. А в противном случае я даже придти к тебе на помощь не смогу. И никто не сможет. Из тех, кто раньше приходил и помогал.

- Ну, почему так?

- Потому что у тебя пропало желание не грешить. Господь тебя привел в Церковь. Даровал первую благодать. Так сказать, поставил на правильную тропинку. Тогда настала твоя очередь самому преумножать эту благодать: самому идти по тропинке, на которую поставил Господь. И не с пикниковой легкостью. А с проявлением собственных сил Христова воина, выброшенного в тыл врага рода человеческого. Но увы! Ты всё в сторону куда-то сворачиваешь. Сам! Против Бога! Забыв про Него и Его наказы. Вспомни их. В армии такое уклонение от маршрута рассматривается, как невыполнение приказа. А что за это бывает в боевых условиях? А? Не забыл? Вернись на тропинку. На свой маршрут! Теперь же прощай. Мне пора.

И он как будто растворился в воздухе. Зато передо мной появилась старушка из-за свечного ящика. Улыбнулась: «Ну? Помолился, милый? Умирил душу и сердце?»

- Спаси Господи, матушка, - мотнул я головой.

- Тогда ступай с Богом. Поди, женушка-то заждалась?!

Я, горько усмехнувшись, поклонился старушке. Перекрестился на три стороны. Вышел на воздух. Улица, казалось, вся, от асфальта до крыш домов, и даже выше, - до самых звезд, - звенела капелью. Весна-а-а! Я спустился до Красной площади по улице Герцена, бывшей Никитской. И неожиданно для себя решил подняться по Горького обратно, до метро «Пушкинская». Скоро – Пасха! А радости от этого на душе не было. «Во всем вини только себя», - вспомнил я слова отца Валерия. Но на сердце навалилось такое уныние, - даже отчаяние, - что захотелось выпить. Однако, оказалось, что все магазины, даже «Елиссевский» закрыты. Я вспомнил про валенок в шкафу на лоджии. И поспешил в метро. Однако, через час выйдя на свой станции, минут сорок дожидался автобуса. Давно бы пешком дошел.

Дома отец и мать уже собирались укладываться. Мать вышла в прихожую. Пригляделась, сощурив глаза. Даже принюхалась. Спросила: «Что ж так поздно. И не позвонил. Случилось что?»

- Просто решил прогуляться. Ты же знаешь, я всегда любил бродить по Москве.

- Тогда мой руки и – ужинать.

- Не хочется…

- А ты часом не заболел? – мать приложила ладонь ко лбу. Покачала головой: «Да у тебя же температура! Ну-ка, марш в постель! Я тебе сейчас горячего молока с медом принесу. И надень, пожалуйста, теплое белье. Кстати, твоя благоверная звонила. Мы с ней минут сорок болтали.»

Через полчаса с градусником подмышкой я потел в постели, закутанный в ватное одеяло.

- Завтра же вызываю врача на дом! - заключила мать. Посмотрела на градусник. И опять покачала головой: «Тридцать восемь и семь. Вот, твои еженедельные поездочки в Минск. В поездах – сквозняки. А ты себя не жалеешь. Ведь больной-то никакой Валентине не будешь нужен! Маленькие детки – маленькие бедки!»

- А что Валентина? – спросил я.

- Валентина? Она интересовалась: как ты доехал? И почему не позвонил?

- А болтали о чем?

- О-о-о! Да мало ли тем для женских разговоров. Ну, ладно, ты постарайся

заснуть. А я завтра сама вызову врача и позвоню тебе на работу.

И она вышла, выключив свет. А я провалился в дремоту. Но скоро проснулся. Передо мной в кресле покоилась голова старика-корня.

- Ну и что ты себя мучаешь? Зачем в церковь потащился? Почему не задумался, слушая дух, принявший образ твоего духовничка? Или не знаешь, что мои бывшие подельники могут принимать облик любого человека? С тобой уже такое было однажды! Почему не попросил его перекреститься?

- Это в церкви-то? – начал, было, я.

- А то ты не знаешь, что и в церкви не только ангелочки летают! Тем более, что настоятелем там теперь поставлен твой нелюбимый Гришка. Как он служит?! Как он служит! Кое-у-кого, - сам понимаешь, о ком это я, - сердце, конечно, радуется! А у настоящих-то верующих слезами оно обливается. А угрожал он тебе как?! «Не приду больше! Не помогу! Да и никто не придет! Не поможет! Мол, погибаешь, - погибай сам! А то, мол, как в военное время тебя, как дезертира». Да разве ж так можно? И что, ежели он - этот самый, - как его?! – святой, разве ж не знал он, что ты простудился, заболел? Святой такого не

знать не мог! Разве ж такое - по-людски?! Я уже не говорю о любви, о которой он при жизни на всех углах трезвонил. Где эта его любовь? А? Вот я, говоря его же казарменным языком, не хлопаю по голенищу, а просто помогаю. И советом, и делом. Разве не так? Надо заснуть, - помогаю даже в этом! Вот это, посуди сам, и есть та самая любовь! Ты только не подумай, что я тебя против твоего духовника настраиваю. Не-е-ет! Твой-то благословил тебя на брак с Валентиной! И я это поддержал. А этот исподтишка семью вашу разрушить хочет! Подумай! Рассуди сам. Не он сидел с тобой и лясы точил в церкви-то, а совсем другой. Напугать тебя решил. А чего пугаться-то? Ты не воруешь. Не убиваешь. Чужих жен не уводишь! А эта, вагоне, сама на тебя накинулась! Я же видел, что ты и глазом не успел моргнуть! Вот, пусть сама и отвечает. И нечего сердце свое мучить. Тебе поправиться надо! Послушай ма-а-ать! Она-то тебе зла не желает!

- Что-то ты себе противоречишь! Мать-то была против нашего с Валентиной брака. Письма от нее мне вскрыла, прочитала, спрятала да еще и солгала, что не приходили.

- Э-т-то ты про мать-то?! Ай-ай-ай! Ну, давай-давай! Брось в нее камень, коли сам -

без греха! В мать-то! К тому же учти, она все это делала из добрых, благих намерений!

- Ага! А благими намерениями сам знаешь, куда дорога вымощена!

- А ты видел это? То-то. Кто поговорки придумал? А? Лю-у-уди! Но не Всевышний. А такие-то поговорки придумал, скорее всего, всенижний! Ха-ха! Как я скаламбурил?! А?! У тебя учусь! У твоего таланта. А люди выдали поговорки за на-а-ародные! Ладно, хватит об этом. Итак, все предельно ясно. Я – о другом! Тебе жутко повезло! Во-первых, женушка твоя узнает, что ты лежишь с высокой температурой, заволнуется. Дай понять, что и ее вина в твоей температурre есть. Вот, пусть теперь она сама поназванивает! А ты посуше, похолоднее с ней разговаривай. Если потом что скажет, сошлись на болезнь. Во-вторых, ты можешь несколько дней заниматься своим творчеством, писать стихи, роман. А? Наконец, можешь просто отдохнуть!

Но отдохнуть я не смог. Простыни и подушка обжигали тело. Однако стоило сбросить с себя одеяло, начинался озноб. К тому же лежать я мог только на животе: и справа и слева спина болела так, словно меня избили резиновыми шлангами. Я пошевелил языком. Словно наждачная бумага прошлась

по всему рту, обдирая нёбо, щеки, гортань. Сглотнулась горечь. Я встал. Сделал несколько шагов, но пол поплыл под ногами. «Этого еще не хватало!» - мелькнуло в голове. Вспомнилось вдруг, как я заболел у Василько перед первым своим взрослым Святым Причастием. Взял себя в руки. «По стеночке» прошел на кухню. Часы показывали половину третьего… Налил себе из трехлитровой банки, в которой звякали серебряные полтинники, - так мать обеззараживала кипяченую воду.

- Слушай, а похоже ты серьезно простудился! – в дверях на кухню стояла мать.

Она опять приложила руку ко лбу. Покачала головой. Потребовала: «Открой-ка рот. Странно, - покраснения нет. Нос забит? А кашель есть?»

И тут словно прорвало: сухое, какое-то лающее бухание вырвалось у меня из груди. Но не откашлялось. И облегчения я не получил.

- Марш в постель! – приказала мать, а сама пошла к телефону. Вызвала «скорую». Опять согрела мне молоко с медом. Маленькие глотки обжигащие рот и верхнюю часть груди принесли облегчение. А тут и в дверь позвонили. Молодой,

веселый, курчавый, черноволосый врач что-то мурлыкал себе под нос. Попросил снять нижнюю рубаху. Увидев на мне нательный крест, скривил губы, но прослушал спину, грудь. Попросил открыть рот и высунуть язык. Вобщем - всё, как при обычном медицинском осмотре. Наконец, он улыбнувшись произнес: «Обычное остро-распиратурное заболевание. Побольше пить горячей жидкости. Лучше с лимончиком. Можно - молоко с медом или «Боржоми». Постельный режим. Через три дня будете на ногах.»

- А лекарства? – удивленно вскинула брови мать.

- При ОРЗ никаких лекарств не нужно. Само проходит дня через два-три. Разве что, горло полощите фурацилином, содой. Ешьте чесной и лук. Больничный выписывать?

- Нет, - поджала губы мать, - простите за то, что побезпокоили.

- Не за что. Это – наша работа. Всего доброго.

Когда за ним захлопнулась дверь, мать вошла ко мне. В сердцах хмыкнула: «Даже руки не помыл, придя с улицы. Тоже мне, - вра-а-ач! Они сейчас – не в «пед», так – в «мед», не – в «мед», так – в госуниверситет. Завтра участкового вызову. А ты выпей

аспиринчику и валерианочки. Чтобы заснуть…»

Все это она дала мне. Проследила, чтобы я проглотил таблетку. Выключила свет и вышла. А я провалился в тяжелый, липкий, какой-то дремучий сон. И даже не понимал, что мне снится. Слишком быстро передо мной, словно слайды, мелькали какие-то «стоп-кадры». Я не мог уловить не только смысла, но даже того, что на них изображено. И это раздражало.

Проснулся я оттого, что услышал, как опять кто-то звонит в дверь. И тут же в прихожей заворковали голоса: матери и еще один, женский.

- Антонина Никитична! Уж простите! У вас итак участок - огромный. Но вот? Сынок заболел, - причитала мать, - ночью «скорую» вызывали. Но ихний врач почему-то сказал, что ОРЗ. Вы посмотрите Сашу. А я пока чаек заварю. А может быть, лучше - кофейку?

Я не слышал, что сказала Антонина Никитична в ответ, но в ванной зажурчала вода и через минуту в дверях, вытирая руки о китайское полотенце, поданное матерью, показалась пожилая, строгая женщина с усталыми глазами. Она слегка склонила набок голову. Спросила: «Ну-с, Александр Леонидович. Что вас безпокоит?»

Я рассказал. Она, как и «ночной» врач прослушала мне грудь, спину. Только делала это намного дольше. Потом покачала головой. Подняла глаза на мать, стоявшую тут же: «Необходима госпитализация. Воспаление легких. Острое! Где у вас телефон? Я сама «скорую» вызову. А пока приедут, напишу направление.

Мать всплеснула руками: «Доездился! Ведь почти каждую неделю в Минск к молодой жене мотается! В Москве найти не мог. А в поездах – сквозняки!»

Врач как будто и не слышала ее слов. Вышла и что-то долго, тихо объясняла по телефону. А мать в это время суетилась: сносила в мою комнату туалетные принадлежности, смену белья, тапочки, спортивный костюм, еще что-то. Все это, акуратно упаковав, сложила в спортивную сумку. Наконец, вошла врач и попросила меня одеться. И едва я успел, в дверь позвонили. Теперь врачом «скорой помощи» оказалась стройненькой девушкой. Она внимательно слушала Антонину Никитичну, глядя ей прямо в глаза. Кивнула. И пригласила меня на выход. Мать попыталась, было, напроситься в сопровождающие, но девушка-врач, опять внимательно взглянув на Антонину

Никитичну, отрицательно покачала головой: «Места в машине только для врача и фельдшера. Кроме больного, конечно. К тому же, ваш сын сам может передвигаться. И находится в полном сознании. Вечером позвоните в справочное пятьдесят четвертой больницы и узнайте, в каком отделении и в какой палате лежит он. Там же вам скажут о днях и времени посещения больных. Всего доброго. Будьте сами здоровы.»

Я облегченно вздохнул. Поцеловал мать. И вышел из дома. В приемном покое больницы, куда меня привезли, пришлось просидеть почти до вечера. Сначала медсестра записывала мои данные, потом мне делали рентген, затем брали анализы. И все это с промежутками в час, а то и в полтора. Наконец, почти к ужину меня привели в палату, где лежали еще трое. Но не успел я даже познакомиться, как вошла медсестра и, назвав мою фамилию, потребовала ложиться в постель. Поставила капельницу. Но тут оказалось, что боль в спине начинает усиливаться. Из-за нее я уже не мог лежать! Повернулся. И понял, что иголка капельницы выскочила из вены: на коже надувался красноватый пузырь.

- Мужики, – попросил я соседей по палате, - позовите, пожалуйста, сестру. Иголка выскочила из вены.

- А ты чё, – хмыкнул здоровяк в тельняшке, - первый раз под капельницей?

- Спина болит так, что лежать на ней не могу.

Другой сосед, - пожилой, седой, с глубокими пролысинами, приземистый, с землистым лицом - молча, встал и вышел в коридор. А вернулся через минуту вместе с сестрой, ставившей мне капельницу. Та, переставляя иглу, укоризненно покачала головой: «Что ж это вы, больной, двадцать минут полежать спокойно не можете?»

- Говорю же: не могу на спине лежать. Болит и справа, и слева, - прокряхтел я.

- Ой-ой-ой! Какие мы неженки! – засюсюкала сестра. И тут же съехидничала: «Между прочим, рентген никакого воспаления легких у вас, больной, не показал… Ну, ладно. Так и быть. В исключительных случаях капельницу можно ставить и сидящим больным. Давайте, я помогу вам сесть. Ой, а что это у вас за шрам рядом с лопаткой?»

- А-а-а, – отмахнулся я, - ерунда! От фурункула.

Сестра опять покачала головой: «А то я не вижу, что - от пулевого…»

И уже бережно и осторожно усадила меня в подушки. Проверила иглу. Показала, как крутить колесико, когда кончится раствор. И вышла. В палате наступила тишина. Я понял, что внимание моих соседей остановлено на мне.

- Ну, что, мужики, давайте знакомиться? Меня зовут Александром, - пытаясь придать веселость голосу, сказал я.

- Леха, - ответил здровяк в тельняшке, - работаю сварщиком в Южном порту. Надышался газу. Подсадил легкие. Потому – и здесь. Обидно, что курить – больно.

- Анатолий Максимович, - представился тот, который ходил за сестрой, - инженер. Лежу с обострением хронического бронхита.

Третий молчал, отвернувшись к стене. За него сказал Леха: «Отсыпается. Ночью поступил. От завтрака и обеда отказался. И с нами пока не разговаривал. Обождём малёк. А что это сестра про твое пулевое ранение говорила.»

- Погоди. Дай в себя придти. Еще наговоримся. Я бы тоже вздремнул часок. Ночь почти не спал…

- Ты это, обожди спать-то. Скоро ужин принесут. Сегодня сосиски обещали. А к ним у меня - курица. Отварная, правда. Женка принесла. Просил жареную. А она мне: мол, тебе только вареную можно. А у тебя чего, Максимыч?

- Паровые котлеты, соленые огучики, сыр, - отозвался тот.

- Живё-о-о-м! – хлопнул в ладоши Леха. Погладил себя по животу: «Вообще-то, Санёк, кормят здесь хорошо. Но порции – для воробья! Э-эх! Сейчас бы грамчиков сто водочки! А лучше – сто пятьдесят».

- Леша-Леша, - покачал головой Анатолий Максимович, - тебе же сказали, что нас пичкают антибиотиками. А они со спиртным - несовместимы.

- А-а-а, - махнул рукой тот, - чё они знают, твои врачи?! Во-о-он, у нас Васька. В токарном работал. В прошлом годе живот прихватило. День болит, другой. А в порту - аврал! Терпел. Пахал. На третий день не выдержал. Пошел к врачу. А тот ему: мол, ничего страшного! Мол, поднял что-то тяжелое. Работаешь-то в порту. Поднял и забыл о том. Васька – домой. А ночью на «скорой» увезли. Но не довезли. Аппендицит. Гнойный. Лопнул. И нет человека. Вот, т-те - и врачи! Пойду-ка я позвоню кому-нибудь из

мужиков. У нашей бригады, аккурат, – ночная смена. Стало быть, завтра по утряне принесут. После обхода и тяпнем. Ты как, Санёк, по поводу этого?

И он шелкнул себя пальцами сбоку по горлу.

- Завтра поглядим. Что врачи скажут на обходе, - улыбнулся я и, заметив, что раствор во флаконе почти закончился, колесиком перекрыл шланг. Глаза у меня слипались. Но я вспомнил, что мать складывала в сумку какие-то продукты. А тут и сестра подошла. Сняла капельницу.

- У-у-ужинать, - раздалось из коридора…

- Вам пока вставать нельзя, - остановила медсестра мою попытку подняться, - сюда принесут…

- Катерина, – деланно строго заговорил вдруг Лёха, - а к ужину положено наркомовские!

И он опять щелкнул себя сбоку по горлу.

- Ага! Щас! Принесу, - хохотнула сестра, - покрепче! Погорячее! Магнезии, например. И не два кубика, как врачом назначено, а все десять всажу тебе одно место. В самый нерв! Во-о-от, проберет-то!

До самых печенок! И похмеляться завтра не потребуется!

- Злая ты, Катька! Вредная и жадная! Мало тебя пацаны в детстве за косы таскали! – буркнул Лёха и, запахнув полу байкового бледно-коричневого с синими сатиновыми воротом и манжетами халата, обиженно вышел из палаты. За ним потянулся и Анатолий Максимович. Третий сосед так и остался лежать лицом к стене. Скоро в палату вошла молодая, но болезненно полная женищна. Поставила на прикроватную тумбочку тарелку с рисовой кашей и сосиской, чашку с бледно-желтой жидкостью, на которую положила кусок серого хлеба с кубиком сливочного масла. Есть особенно не хотелось, но я заставил себя поужинать. А когда Лёха и Анатолий Максимович вернулись, я кивнул на третьего соседа: «А ведь он ни разу не повернулся. Жив ли вообще?»

Леха прикоснулся к плечу дежащего. Но тот только что-то промычал в ответ.

- Жи-и-ивой! – хмыкнул Лёха. И стал доставать из тумбочки какие-то свертки: «Ну, что?! Продолжим ужин? Давай, Санёк, подымайся. Врежем по курятинке.»

- Спасибо, - кивнул я, - у меня и больничный ужин-то колом в горле встал. Не хочется ничего больше.

- Гляди. Хозяин – барин. Было бы предложено. А я здесь казенной пищей не наедаюсь. Максимыч, присаживайся.

Они оба еще с полчаса поедали свои запасы. Наконец, отдышавшись и икнув, Лёха отвалился от стола: «Вот, теперь – нормалёк. Можно и телек посмотреть. Максимыч, пойдешь?»

- Не-е-ет. У меня еще кроссворд не отгадан, - ответил тот и завалился на свою кровать с журналом и карандашом в руках. А я провалился в сон…

Дорога проходила по заснеженной лесостепи, которая просматривалась на вёрсты. Заметив татарские стойбища и кочевья, мы обходили их стороной. С Митькой и другими княжатами по очереди сами возглавляли дозоры. Вот и дней через пять нашего пути опять настал мой черед выехать вперед во главе десятка ратников. Поднялась метель. Да такая! Послабее, чем когда-то на Кикиморовом болоте или на казанском рубеже, но шагах в пяти тоже ничего не было видно. Поэтому я решил вернуться обратно, к нашему отряду и вместе

с ним переждать непогоду. Но, похоже, заплутал. Поэтому остановился, чтобы переждать. Мы уложили коней кругом и сами спрятались внутри его. «Только бы не заснуть» - сверлила голову мысль. Я тормошил своих ратников, сам время от времени вскакивал, прыгал, хлопал себя руками по груди, плечам, ногам, бокам. Становилось теплее. Но ненадолго. Сгустились сумерки. Стемнело совсем. «Не может Митька бросить! А впрочем, он и сам - в таком же безпомощном положении, как и мы. И костров не разведешь… Знать бы, где ближайший перелесок. Там и переночевать можно. Остается надеяться только на Бога», - думал я.

Так я и мои ратники провели всю ночь. Слава Богу, никто не замерз. Наконец-то на востоке начало светлеть. Оказалось, что мы остановились всего в сотне шагов от перелеска, И тут… из него на нас выскочили сотни две казанцев. И все мы оказались на прицеле татарских лучников. Вперед их выехал богато одетый всадник. Заулыбался в крысиные хвосты своих усов: «Дзы-дзы-дзы! Какой товар! Урусский кинязь! Урусские ратники! Сдавайте оружие. Пойдем на Казань. На невольничьем рынке я за вас хороший таньга получу.»

Я обвел взглядом своих. Те, молча, стали отстегивать сабли, побросали щиты, сняли луки, колчаны. А что было делать? Сила солому ломит!

Нас связали одной веревкой и повели к перелеску, в котором оказалось еще сотни полторы полонян. И не только русских. Несколько похожих на татар смуглых людишек жались друг ко другу. Только глаза у них - не раскосые, и лики были похожи на наши. Странно, но среди полонян были и явные татары. Этих-то почему ведут на рынок? А среди русьских выделялся могучий, статный, немолодой мужик с проседью в густой и длинной льняной бороде и такой же гриве, перетянутой по лбу ремешком. Рядом с ним держались тоже, похоже, русьских мужиков около сотни. Нас подтолкнули к ним. Тут же вырубили несколько тонких и длинных жердей, связали из них подобие колодок, которые надели на нас, разделив по пятеркам. Выстроив в два ряда, ударами плеток повелели двигаться от места привала. От напряжения сил в таком движении стало даже жарко. Руки-то тоже к жердям привязаны. Как бы тут не упасть, подскользнувшись. Рядом со мной возглавлял пятерку колодников тот самый

могучий мужик, сразу бросившийся мне в глаза.

- Русьский? - спросил я его.

- Был русьским, - хмыкнул тот.

- А что? Перестал быть? – удивился я.

- Для других перестал. Вольный я человек. Казак. Слыхал про таких?

- Во-о-ольный! – усмехнулся я. И чуть было не подскользнулся. Но устоял на ногах. Пробурчал: «Хороша вол,я с колодкой на шее. Впрочем, вашего брата, казака, мне и надо. Не знаешь ли такого Дубка Ивашку?»

- Ну-у-у, если и знаю, то по какой нужде он тебе надобен?

- Вот ему я это и скажу, если увижу.

- У-у-увидишь.

Дальше мы пошли молча. Казанцы торопились. То и дело подстегивали нас плетями. Следующий ночлег был в балке, берега которой поросли мелким кустарником. Наломанные тонкие ветки прогорали быстро и тепла давали мало. Я спросил казака: «А как ты в полон попал?»

- На охоту выехали мы с братией. Набили зверья – немеряно! Не унести. Поэтому и попались. Эта шайка, - кивнул он на казанцев, - промышляет торговлей людьми. Хватают всех. Даже - своих из дальних кочевий. Купцов иноземных.

Князей. Во-о-он, торговые таджики. Те, которые смуглые, а на нас похожи. Ну, ничего. Всё - в руце Божией.

- Так ты поведай мне: кто такие казаки?

- Те-е-ебе? Болярскому сынку?

- Я – не болярский сынок! Я – холоп Государев! Князь! – путы держали, чтобы вскинуться.

- Хо-о-о-олоп, – хмыкнул соколодник, - да еще и Государев! Эт-т-та какого ж Государя-то?

- Иоанна Васильевича!

- Ну-у-у-у, тады слухай. Казаки – беглые. От болярского ли, от кормленщического ли зла. Из татарского ли рабства ушли сюда. Кочуем. Хотя свои схроны мы имеем, чтобы голод там, зиму лютую пережить. Так, на что ж тебе Дубок-то?

- Сказал же: увижу, - с ним и потолкую.

- Так что ж? Ты к нему с десятком ехал?

- Нет. Я в дозор вышел. Метель застала. Переночевали за лошадьми. А проснулись – перелесок ваш увидели. Тут нас и взяли в оборот. Отряд наш - несколько сотен.

- Угу… Доживем до утра. А там, как Бог даст, - только и сказал соколодник, завернувшись в свое тряпье.

Эта ночь не в пример прошлой была светлой: звезд на небо высыпало – не счесть! Знобко только. А на рассвете, все были оглушены переливистым свистом, раздавшимся с разных сторон и криком: «Братия! Лежите! Голов не подымайте…»

Я не понял и хотел, было, вскочить, но казак удержал меня за рукав. Даже дернул вниз. Засвители стрелы. Что-то громыхнуло. Казанцы вскакивали. Но тут же падали. Казак и его людишки, не вставая со снега, сбивали с ног, ближайших к ним татар, и душили веревками, которыми были связаны. Сотни две всадников ворвались в наш привал и рубили не успевших опомниться казанцев направо и налево. И тут я заметил среди них Митьку, других наших. Но были и незнакомые мне ратники. Впрочем, ратниками последних назвать было трудно: одеты и снаряжены они были разномастно.

- Ивашка! Дубок! – крикнул один из них, спешиваясь и бросаясь к моему недавнему собеседнику.

- Ду-у-убок! – удивился я, не веря ушам и глазам. А ратник уже перерезал путы на руках и ногам полонян.

- Тятенька! – каким-то детским голоском прокричал молодой стройный всадник. Тоже спешился и подбежал к Дубку.

- Доча! – обнял тот всадника. А у того из-под свалившегося в снег великоватого шелома по плечам рассыпались русые длинные волосы: «Аленушка! Что ж ты без платка?»

- Дык… Не успела! Только шелом и натянула, как сбираться наши стали на выручку тебя, - сверкнула она в мою сторону глазами, но тут же отвела их, прижавшись к отцу. Я стоял весь какой-то растерянный. Из этого состояния вывел Митька, подбежавший ко мне.

- Алексашка! Жив?! Слава Богу, – хлопнул он меня по плечу, - а то я, было, уж и не чаял тебя увидеть! Спаси Господи казаков, коих встретил на дороге.

Мы обнялись. А я вдруг засмотрелся на дочку Дубка. Но помотал головой, сбрасывая с себя это наваждение. А казак, хитро прищурившись, спросил: «Так за какой нуждой ты меня искал? Я – Ивашка Дубок.»

- Это я уже понял, - по–христиански поклонился я ему в пояс. Кивнул на Митьку: «Нам бы потолковать с тобой с глазу на глаз.»

- А у меня от своих тайн нет, - мотнул головой Дубок и свистнул. Казанцы были порублены, и с разных концов перелеска к нам потянулась разномастная братия, освободившая нас. Они смешались с княжатами и московскими ратниками. Дубок вопросительно вскинул вверх бороду: «Ну, сказывайте.»

- Великий Князь и Царь Иоанн Васильевич послал нас отыскать тебя, Дубок, дабы собрал ты казаков и пришел под его державную руку. А для начала – под Казань, чтобы в составе Русьской рати взять ее. И тем самым положить конец безчинству татарскому! - громко проговорил дьяк Кирюшка.

- Что скажете, братья-казаки? – опять вскинул подбородок Ивашка.

- Эвон, как загнул.

- А потом ноздри рвать нам будут?

- Или на дыбу?

- На ды-ы-ыбу? На плаху!

- Ишь, чего захотел! Мы – ведь беглые! - раздались голоса.

- Великий Князь и Царь Иоанн Васильевич повелел передать вам, что все вины, кои есть, и если есть, вам будут прощены, коли вы на поле брани докажете ему свою верность. Болярам, обидчикам

вашим, достанется по заслугам. И не даст он боле изголяться на своими, Государевыми, холопами! - перекрыл их голоса своим Митька.

- Брешешь, поди….

- Знаем мы болярскую правду и прощение, - опять закричали из толпы.

- Болярская дума разогнана. Вокруг Государя сплотились молодые княжата, чьи роды сами пострадали от кормленщиков-боляр. Упраздняются и кормления. Власть будет выборная от всех сословий. А те, кто служит сейчас Государю, будь он самого подлого сословия, - я не имею вас в виду, господа казаки, - наделяется землей, отчинкой, денежным жалованием, грамотой вольности - дворянством и милостью Государевой. Я сам – из обедневших, даже нищих, князей. У меня у самого вотчина была отобрана. И вот, у князя Алексашки – тоже. А в подтверждение правды сказанного мной целую крест свой нательный, - полез Митька запазуху, перекрестился и выполнил обещанное. Казаки загудели. Кое-кто из наших княжат тоже загомонили, представляясь рядом стоящим, целуя свои кресты.

- Что ж, - взял слово Дубок, - Крест целован. Не иуда же – он. Токмо, для начала,

я сам хотел бы потолковать с Государем, ежели он действительно такой простой, что с беглым холопом говорить будет. А?

- Даю слово, что будет, - поклонился Митька.

- Чтой-то ты щедр на клятвы да посулы, - раздалось из толпы, - а Господь заповедал не клясться. А?

- Я не клянусь, а даю слово! – вскинулся Митька. Отыскал взглядом говорившего: «А коли сомнения есть, выходи на поединок! Пусть Господь рассудит!»

- Погоди, Прошка, - остановил поднатчика бугай с оселедцем под скинутой шапкой, - я этого болярчика поучу маленько. Господь не выдаст, болярин не съест.

И, выйдя перед нами, он, скинув полушубок и кафтан, остался в одной рубахе. Митька тоже последовал ему. Но скоро из толпы вылетел вздох, словно они одновременно все окунулись в прорубь.Это бугай с оселедцем оказался на снегу с заломанной рукой и закричал: «Отпусти! Больно же!»

Митька поднялся. Улыбнулся. Протянул руку бугаю: «Давай, брат, вставай! Помогу. Обиды не держи, потому как Бог решил.»

Бугай поднялся. Оглядел собравшихся. Перекрестился на четыре стороны. Поклонился Митьке. Крикнул для всех: «А я верю москалям! Господь – за них!»

Казаки зашумели. Но смолкли, когда Дубок поднял руку: «Решено. Сейчас возвращаемся в свой стан. И оттуда я иду к Великому Князю и Царю с этими княжатами. Со мной идут только охотнички. А?

- Лю-у-у-бо! – закричали собравшиеся.

- Тятенька! Я – с тобой. Уж больно хочется Москову хоть глазочком увидеть! – подала голосок дочка Дубка и вдруг взглянула на меня. «Совсем отроковица!» - мелькнула снисходительная мысль.

- Добро, - кивнул Дубок, - а теперь все – в стан!

Ему подвели коня, и он взметнулся в седло, легко и весело, словно отрок. Но остановился. Оглянулся на иноплеменных бывших полонян. Те разбирали оружие и коней убитых казанцев. Дубок подъехал к самому крепкому, - как его? - ах да, таджику, сказал что-то. Тот непонимающе пожал плечами, обернулся к своим. Один из казаков тоже подъехал к иноземцам и перевел слова Дубка. Таджики весело загомонили, закивали головами. Вскочили в седла и присоединились к нашему отряду. Им

последовали и остальные бывшие полоняне. Эти пристроились за спинами таджиков.

Мы скакали весь день. Не останавливались и ночью. Казаки уверено, словно по своему огороду, шли по бездорожью. И только на вторую ночь остановились на берегу какой-то реки в прибрежной рощице. Казаки выставили сторожу, развели костры, нанизали на вертела подстреленную по дороге живность: несколько оленей, зайцев. Перекусили. Но не насытились. Попробуй, накорми такую ораву, если считать иноземцев, увязавшихся за нами. А те вовсю пытались выучить наш язык. Я уже знал, что самый крепкий таджик, с которым толковал Дубок перед началом нашей поездки, – князек по имени Хабиб. Он скорбел. Оказалось, что весь его род вырезан, селение сгорело. Так что, возвращаться ему некуда. И он попросился принять его в казачью вольницу. На это Дубок покачал головой: «Видишь ли, казаки – народ православный. И это одно из условий для принятия в вольницу. Но, если круг решит, можешь со своими людишками остаться пока. А там, глядишь, и нашим станешь, веру примешь нашу.»

Хабиб радостно мелко и часто закивал головой. На привалах я нередко ловил на

себе взгляды дочки Дубка Алены. Смущался. Вспоминал Аллу.

Только через седмицу мы увидели вдалеке высокий холм, поросший лесом, над которым взвивались в небо дымки.

- Пришли, - улыбнувшись, вздохнул Дубок.

- Как же вы обитаете так близко от Казани? - спросил его Митька.

- Мы не живем на одном месте. Летом кочуем. На зиму устраиваемся где-нибудь, вырыв землянки. Приторговываем. Или меняемся с проезжими купцами. В основном добываем пушнинку. Меняем ее на зелье, меды, оружие, доспех. Слыхал, поди, как самопалы громыхнули по казанцам?! Хотя и мечтаю я сесть в одном месте. Возвести посад, крепостицу.

- Для этого надо Казань поставить на колени, - хмыкнул я.

- Да-да, - засмотрелся вдаль Дубок.

- Вот и приведи своих людей под Казань, к Великому Князю и Царю Иоанну Васильевичу. А он уж, поверь, не заставит себя ждать с милостью. Глядишь и земли эти тебе под руку даст! - поддержал меня Митька. Но тут же спросил: - Сколько сабель ты привести сможешь? Тысяч пять?

- Могу и тысяч пять. Могу и десять. Вот только отдохнем день с дороги и пойду с вами на Москву, - ответил Дубок.

- Значит, послезавтра выходим?

- Значит, выходим. Сперва поднимемся на север. А потом уж прямиком, через Нижний. Только, чур, в него я заходить не буду.

- Что так?

- Несподручно мне. Лепший ворог мой там обитает. И даже вы меня от него сберечь не сможете. Не будем о том языки чесать. Вот, ежели выслужусь у Государя.

- Добро, - кивнул Митька.

Скоро мы миновали завалы, возведенные казаками для непрошенных гостей. Толстые стволы деревьев были уложены так, что перебраться через них было трудно. И спрятаться за них - тоже несподручно. Да и раскатиться они могли под горку в один миг. И не одну сотню покалечить. На цепях висели бревна, оттянутые веревками в сторону землянок. Обруби веревку и полетит колода маяником в нападающих. Да-а-а, тяжеленько здесь пришлось бы не то что коннице, даже пешей рати, вздумавшей вдруг брать приступом земляночный казачий посад. Я крутил головой, с восхищением разглядывая все эти

приспособления. Дубок, заметив мое внимание, хмыкнул: «Голь на выдумки хитра!»

В теплых землянках мы, наконец, отъелись, отпились, отдохнули. Сходили даже в подобие баньки, тоже обустроенной в землянке. Дубок тем временем разослал гонцов к таким же, как он, казачьим головам. И через день, перед рассветом мы вышли на Москву.

Обратный путь прошел, словно по горке, накатанной санками. Однако, при подъезде к Москве, вдруг какая-то истома или дурное предчувствие влилось в сердце. Я пробовал молиться. Отпускало, но не надолго.

Князь Курбский, увидев меня, сначала улыбнулся, потом опустил глаза: «Ступай домой. Тебе там надобно быть сейчас. Завтра потолкуем. Приходи к полудню. А мы тут с княжичем Митькой без тебя все дела обустроим.»

Фока, встретивший меня во дворе, отвел глаза.

- Что случилось? – спросил я, предчувствуя недоброе.

- Беда, князь, - ответил он, не глядя на меня, - княгиня выкинула плод.

Я кинулся в терем. Там, в своей светелке, сидела бледная, осунувшаяся Алла. Увидев меня, вскочила. Упала на грудь. Разрыдалась. Я гладил ее по голове, целовал в волосы: «Что ж делать, милая? Так, стало быть, Богу угодно.»

А у самого сердце готово было выскочить из груди. Так мы и простояли какое-то время. Потом княгиня выпроводила меня, сославшись на недомогание. Я вызвал Фоку. И тот рассказал, что беда случилась как раз перед самым началом поста.

- А князь-то Курбский – такой милостивец! Все эти дни навещал нас. Подолгу сиживал с княгиней, утешал ее, как мог. Много они о книжной премудрости всякой толковали. - продолжал он. Тяжело вздохнул: «Я-то, неуч, ничегошеньки из их бесед не понял. Но ты не сумлевайся, князь! Княгиня никогда с ним с глазу на глаз не оставалась.»

- Курбский? – переспросил я.

- Он, родимый. И всякий раз с гостинцами приезжал. До-о-оброе сердце у князюшки. С ним еще и братец твой, князь Георгий, захаживал. Тоже толковал с княгиней. Тоже утешал. Так мягенько, тихонько.

- Отец Иероним заходил?

- Тоже был. Тоже утешал. С нами молился.

Я повелел истопить баню. Привел себя в порядок. Обошел хозяйство. Так день и прошел. К трапезе Алла не вышла. Повелела передать мне, что ляжет пораньше. Пожелала доброй ночи. Я заснул только под утро. Потому и проснулся поздно. Оказалось, что княгиня поднялась. И уже – в поварне.

- Зачем же ты встала, - спросил я, зайдя туда.

- Мне намного лучше. В смысле плоти. Душа только болит. Но надобно дальше жить. Ты приехал – и слава Богу!

- Я сейчас – к Курбскому.

- Передавай поклон, - встала она на цыпочки и чмокнула меня в щеку, - он так поддержал меня.

- А отец Иероним?

- А вот он… Он как-то не по-доброму все время смотрит. Словно старается увидеть что-то дурное. Не ходил бы ты к нему. Не по душе он мне!

Я не стал ничего отвечать. Не то время. Не то состояние. Отправился к Курбскому, привхватив с собой и Тишку. Там уже были Митька и Дубок.

- Скорблю вместе с тобой, - положил мне руку на плечо князь Курбский, - но жить надо дальше. И служить. А чтобы развеять тоску твою и суженой твоей, во-о-на, пригласи Митьку в гости. А попозже и я заеду с Ивашкой. Мы с ним сейчас – к Государю идем. Эх, знали бы казанцы, какой гостинец мы им с казаками готовим! Сами бы сдались на милость! А вызвал я тебя, чтобы жалование выдать. Поди, поиздержался. Вот, и получи. Как раз – к Рождеству Христову! Будет, на что разговеться!

И он, открыв большой ларец, вынул оттуда увесистый мешочек, в котором весело звякали золотые. Это радовало. Да и предложение с гостями князя Курбского пришлось мне по душе. Я отправил Тишку с повелением Фоке накрыть постный стол. Надо насытиться: завтра - сочельник. Весь день, почитай, в церквах служба будет. Доехали с Митькой быстро. Я вбежал на крыльцо. Распахнул дверь. Прошел первые, вторые, третьи сени. Крикнул: «Княгинюшка! Принимай гостя!»

Алла вышла из своей светлицы, спустилась в гридницу. Улыбаясь, перевела взгляд с меня на Митьку. И вдруг… побледнела.

- Что с тобой, любушка моя? – испугался я. Представил: «Это – соратник мой по последнему походу. А сейчас князь Курбский еще с одним гостем приедет.»

Алла стояла, не двигаясь. Я обернулся на Митьку. Тот тоже, не сводя глаз с Аллы, стоял белее полотна. Только ноздри вздрагивали.

- Мне нехорошо, – прошептала Алла, - ты уж сам прими.

И она, резко развернувшись, стала подниматься по лестнице к себе. При этом каждый свой шаг отмечала стуком кулачка по перилам. Я вопросительно посмотрел на княжича Димитрия.

- Вот, что я скажу тебе, - проговорил медленно он, - мне ведь князь Курбский поведал твою историю. Но не всё в ней так, как вы оба полагаете. Поехали немедля к Курбскому.

- Он же – у Государя! – перебил я.

- Вот там, как раз и встретим его, когда он выйдет из палат.

- Ты мне можешь объяснить?

- Нет, - перебил Митька меня, - объясню сразу всем: и Курбскому, и тебе.

Он резко развернулся и вышел из терема. Я поспешил за ним. Вскочив на коней, мы отправились в Кремль. Там нам

ждать пришлось долго. Все это время Митька ходил взад и вперед по сеням, где мы решили дождаться Курбского. Я попытался открыть рот, но Митька жестом остановил меня: «Ради Христа! Ни о чем не спрашивай.»

Я ничего не понимал. Я не знал даже, что и подумать. С какой стороны подступиться к произошедшему. К произошедшему? Но что, собственно, произошло?! А Курбский всё не появлялся. На дворе сгущались сумерки. И от них на душе становилось еще муторнее. Наконец, веселый голос князя Курбского донесся из дальних покоев. А вот и - он с Ивашкой Дубком. Но увидев нас, Курбский оборвал свою веселую речь на полуслове и удивленно вскинул брови: «А вы почему здесь?»

Княжич Митька, обернулся назад. Поглядел по сторонам. Опустил глаза: «Государево дело.»

- Ну? – вскинул подбородок Курбский.

- Даже не ведаю, как начать!

- С начала, княжич.

- Тогда так. В хоромах у князя Александра живет не бывшая холопка. Она – действительно княгиня, но… Она – шляхтичка. Известна своими злодеяниями в Белой Руси. Там – ее поместье. Служит она

тайному колдовскому ордену. Занимается черной магией, почитай, колдовством. На ее счету убийства многих добрых людей: князей, священников, архиереев, даже королей, которые боролись с тайными орденами, почитай, с сатанинскими. По всей Европе!

Я не верил своим ушам. А Курбский замахал рукой: «Что ты несешь? Меду опился? Или ромейского?»

- Сейчас – пост! Я ее знаю. Сам едва вырвался из лап ее людишек. А почти всю мою родню те после лютых пыток заживо сожгли в амбаре. По ее приказу. Да и невесту мою, Настасьюшку! На моих глазах…

- И за что же?

- За веру Православную. За то, что все мужчины в роду владели медвежьей борьбой! За то, что не давали католикам уводить православных из нашей веры. Освобождали их из темниц. Но для чего она в Москве? Не для того же, чтобы с князем Алексашкой детей рожать!

Я стоял, словно окатанный ледяной водой. Я не верил, чтобы Алла… Курбский спросил: «Митька! А ты не мог обознаться?»

- Нет. У нее на подбородке и щеке – родинки. А над правой бровью - маленький шрам.

- Как же ты запомнил такие тонкие подробности ее облика? – спросил, горько хмыкнув, я.

- Она меня пытала в течение нескольких часов. Насмотрелся!

- Пы-ы-ытала? – даже откинулся назад Курбский.

- Да. Сама. Лично.

- Ну, что, Алексашка? – поджал губы князь Курбский. И нервно прошелся по горнице: «Пригрел змею?.. Если все сказанное Митькой подтвердится, боюсь, не избежать тебе Разбойного Приказа. А теперь, поехали к ней. Все вчетвером. Авось не сладит с нами. А я-то, думал-гадал: откуда у мелкой княгин-русинки такая книжность? Такие рассуждения?!

По улицам Москвы мы пустили коней вскачь. Но, подъезжая к своим хоромам, я вдруг почувствовал, что сердце заходится. Широкие ворота были распахнуты. А въехав в них, мы все увидели кого-то из моих холопов, уткнувшегося лицом в снег, который густо краснел под ним. На ступеньках полусидел-полулежал Фока в окровавленной на груди рубахе. А прямо под крыльцом, странно откинув голову назад, с перерезанным горлом лежала Акулина. Наши кони испуганно прягли ушами,

пятились назад. Да и сами мы сглатывали горечь увиденного, что есть силы натягивая уздечки.

Я спешился. Подбежал к Фоке. Тронул его за плечо. Старик застонал. Приоткрыл глаза. Прохрипел: «О дву-конь… В твоем праздничном облачении… Сразу после твоего отъезда… С саблей на поясе… С самострелом… А меня, вот… Ножом… Там, в конюшне – еще один наш… Остальные в людской заперты… Как раз трапезничали… Прости, княже, коли что не так… И ратится-то, душегубица, по-княжески… По грехам нашим! Прости, Господи!

Я обернулся на князя Курбского, Митьку, Дубка. Желваки на скулах ходили у всех троих. Митька был белее мела. Курбский снял шапку. Перекрестился. Спешился. Подошел ко мне. Жестко повелел: «Ежели не хочешь на дыбу, доставь ее в Москву. Живую или мертвую. Лучше – живую. Дабы прознать, за какой нуждой она к нам пожаловала. Вот такое Рождество ты сам себе своей похотью устроил.»

Курбский вскочил в седло и ускакал. Теперь подошел ко мне Митька. Опустил голову: «Прости меня Христа ради. Но по-другому я не мог. И ежели желаешь, скажу, куда примерно, она сейчас может податься.»

Я положил ему руку на плечо: «Не за что мне тебя прощать. Дело – Государево. Ты правильно все сделал. Еще духовник мой, - Царствие ему Небесное, - говаривал, что во всех скорбях и бедах винить надо только себя самого. А то, что знаешь, поведай.»

- Узнала она меня. И ушла, потому что поняла: узнал и я ее. И молчать не буду. Скачет она сейчас в сторону Смоленска. Но ты, Алексашка, учти, что у нее – на дороге в постоялых дворах есть свои людишки. Не на всех, конечно. Владеет она всяким оружием. Из самострела с двадцати шагов лозу расщепляет. И скачет под Берестье. Оттуда – на Полцк пойдет. Вот, гляди.

И Митька на снегу нарисовал ножнами сабли дорогу, расположение городов… При этом пояснил: «Поместье ее - под Берестьем. Тисовьем называется. Туда путь и держи. Когда выходишь?»

- Сей же час. Соберу оставшихся мужиков. Снарядимся и пойдем. С наступающим Рождеством тебя, княжич Димитрий.

- Тебя - тоже.

Мы похристосовались. И он вскочил в седло.

- Будь здрав, княже, - попрощался со мной и Дубок. И они оба направили коней

вон со двора. А я пошел освобождать запертых в людской холопов. Бабы заголосили над телами убиенных. Я повелел пригласить отца Иеронима, чтобы он отпел их. Фока, к моей радости, все еще был жив. Его отнесли в постель.

- Помоги, исцели его, Господи! – прошептал я. Большинство мужиков и четырех баб я оставил присматривать за хозяйством и выхаживать Фоку. Самых ловких, знакомых с ратным делом, снарядил. И в ночь с ними вышел из Москвы. Сначала, пока она была недалече, мы гнали лошадей. Алла, - или как ее там, - должна была сделать наоборот: в Москве и ближних посадах, чтобы не привлекать к себе внимания, ехать небыстро. Но потом гнать во весь опор! Где ж у нее могли быть свои людишки? Пожалуй, сразу за Вязьмой. А дальше шла уже земли ворогов. Получается, что она – служила даже не ляхскому королю, не великому князю Литовскому, а некоей тайной силе, объединенной, - как там сказал Митька? – ах, да, в ор-де-на. Но все одно – против Руси Святой!.. Дорога была знакома еще со времени встречи того рокового для меня посольства. Как же все было ловко разыграно ими. Как же Алла лгала мне все

это время! А ее непраздность? Не могло же и это быть ложью!..

Лицо мое горело, даже не смотря на встречный морозный ветер. В висках стучало. Как все-таки хорошо, что я не успел ее с матушкой познакомить! С сыновьями! Хор-р-рош и сын, и отец! А все потому, что искупался до Троицы, грезил блудом, а потом жил в блуде. Но неужели отец Иероним не видел духовными очами? Нет, похоже, видел. А если бы сказал мне о виденном, как бы я ответил ему?! Ха! Жалел он меня. Хотел, чтобы я убедился во всем сам. Чтобы вкусил этой горечи! За блу-у-уд! Да-а-а… Дыба пожалуй легче, чем эта сердечная туга! Господи! Умири сердце мое! Дай мне силы преодолеть себя! Свою… Любовь? Но разве любовь берет начало в похоти? А с Аллой все начиналось с похоти. Значит, это была не любовь!

Теперь, вспоминая приезд посольства, я поневоле вспоминал кривые улыбки пана Яна. Он-то наверняка знал об этой лжи! Если, конечно, не был ее соучастником.

К утру мы были уже в Одинцове. Помнится, дьяк говорил, что здесь обитают потомки героя Куликова. Нет! Остнавливаться не будем. Я решил дать

небольшой роздых коням, пустив их тихим шагом.

Скоро навстречу выехал конный разъезд в полсотни ратников. Старший поднял руку. Мы остановились.

- Кто такие? Куда идете? – спросил он.

- Государево дело, - ответил я, - По повелению князя Курбского.

- А грамота на сие у вас имеется?

- Что-то новое ты молвил. Я ходил и на Казань, и на Вязьму. Такого не бывало.

- А сейчас есть. Если нет грамоты, придется вам проехать до Одинцова. К тамошнему помещику.

- Да не могу я! – кровь ударила в голову. От безсилия я даже уздечку из рук выпустил. Попытался объяснить: «Преследую опасного преступника. Вернее – преступницу. Толкую же: по повелению князя Курбского.»

- Прости, брат. Коли ты и в самом деле – служивый, должен понять меня. Мне тоже повелели. Изволь же! Не искушай!

- Будь по-твоему, - вздохнул я. Но тут же вскинулся: «Погоди! А кто ж повелел тебе такое?»

- Кормленщик наш, болярин Одинцов Микитка. А что?

- Веди меня к нему!

- Сам я не могу. Видишь, в стороже стою. А вот Ондрейка вас проводит.

«Еще полдня, - и это самое малое! - потеряно!» - скрипнул я зубами. Но пришлось возвращаться. Слава Богу, что недалеко. На дворе кормленщика шел учебный бой на деревянных саблях. Между ратниками расхаживал немолодой, статный болярин и покрикивал. Исправлял движения, показывал сам. В дальнем углу метали сулицы.

- Вот он, Одинец, - кивнул на болярина наш сопроводитель. Я спешился. Подошел к хозяину двора. Поклонился. Назвался. Тот вгляделся в меня. Хмыкнул: «Я тебя видел при Государе. По какой нужде прибыл?»

- Долго рассказывать болярин. Но еду по повелению князя Курбского. Надо поспешать…

- И грамоты от него у тебя, конечно, нет.

- Нет. Но с коих пор такие порядки введены?

- Заезжал тут гонец какой-то. Красавчик, словно девица. Волосы длинные, вьются на концах. Личико белое, гладкое. Поди, и бороденка еще не пробивалась. Глазищи большие, волоокие. Но темные. Губки пухлые. Как такой и служить-то

может?! Сказывал, что смута на Москве. Просил опасаться ворожьих доглядчиков. Я гонца отправил, чтобы проверить. Но на всякий случай велел проезд закрыть без грамот.

- Красавчик-то ускакал? – я почему-то вспомнил пана Яна.

- Сра-а-азу.

- А был ли с ним кто еще? Не останавливалась ли, не меняла ли коня молодуха красивая да статная?

- Погоди, - Одинец обернулся, кликнул, – Фролка, иди-ка сюда.

К нам подбежал худенький, словно отрок, низкорослый мужичишка. Поклонился. Кормленщик спросил его: «Ты в стороже давича на околице в сторону Можайска стоял. Ну-у-у, когда гонец с Москвы прискакал. Видел, как он уходил? Один? Или с кем еще?»

- А то как же? Отрок с ним скакал. Только гонец-то – чернявый. А отрок, - тоже, словно молодка, статный, красивый, но белявый. Из под шапки словно воротник пряди по плечам рассыпались.

- А кто еще с ними был? – чуть не задохнулся я.

- Как же… Пятеро конных. Но эти – ратники. Крепкие такие. За-а-аметные!

- Когда они ушли? – опять спросил я.

- В ночь и подались. Мне как раз сменяться надо было.

- Болярин, – повернулся я к Одинцу и перекрестился, - вот тебе крест, что не лгу я тебе. Этот самый гонец, - и не гонец, а латинянин, - и его отрок, - и не отрок, а баба, душегубица, - мне и нужны. Велел князь Курбский доставить ее живой или мертвой! Зло они затевали против Государя! Да узнал ее один холоп Государев из Белой Руси. Она саморучно пытала его.

Одинец задумался. Опустил глаза. А я вдруг выпалил: «Не выполню повеления, - на дыбу пойду. Да и тебе от Курбского может не поздоровиться…»

И опять обратился к холопу: «Грамоты-то какие тебе гонец показывал?»

- Не-е-ету, - даже отшатнулся тот. Одинец хлопнул себя ладонью по лбу: «Вот же, голова садовая! Не иначе, как ворожбой одолел меня гонец тот! Ладно, брат, скачи. Помоги тебе Бог. Верю тебе, потому как ложь какая-то в гонце том была. И баба эта, в отрока переодетая, – тоже напонятка.»

…«В ночь ушли! А ведь отстаю от них, – сокрушаясь, вспомнил я слова одинцовского сторожа, - на день и на ночь. Но не могут же они без отдыха скакать всю

дорогу. К тому же, от Можайска до Вязьмы идет сплошной лес больше сотни верст. Там - одно селение только – Царево Займище. Неужели же пан Ян встретил ее? А, может быть, все это время он был в Москве?! Алла, Алла! Так лгать столько времени! Так претворяться в любовных утехах! Где бы мне сократить время? Не останавливаться на ночь? Но могу ли так изматывать холопов? Коней? Да и если с ней – ратники?! И ведь, должно быть, не простые! Рукопашники! Справимся ли мы с ними? Эх! Сейчас бы сюда Ахмеда! Или Митьку! С их людишками»!

Не мог я не дать отдохнуть холопам и коням. Но и костров разжигать не велел. Потрапезничали всухомятку. Кто-то задремал, привалившись к стволу дерева. Но часа через два я поднял всех, и мы снова тронулись в путь.

«А ведь сегодня ночью – Рождество Христово! - вспомнилось вдруг, - Матушка с сыновьями должна приехать»…

- С Рождеством Христовым! Христос рождейся! – как можно веселее поздравил я своих мужиков. Повелел: «Кто увидит дичь какую, стреляй! На костре испечем.»

Мужики загомонили. Не слезая с седел, христосовались между собой. День прошел в

скачке. Изредка я переводил коня на шаг, чтобы дать отдохнуть. Только к утру следующего дня мы были в большом селе. На постоялом дворе сменили лошадей. Потрапезничали. На скорую руку. Запаслись снедью на долгий путь по дремучим лесам.

«Ну, вот, - подумал я, - а Митька говаривал, что у Аллы по дороге свои людишки имеются! Что-то не видать их»!

- Не до нас ей, - словно прочитав мои мысли, молвил Тишка, скакавший рядом, - вот, ежели заметит, что мы у нее на хвосте, пустит в ход свою ворожбу.

- А скажи-ка мне, друг ситный, как же ты, Фока, другие не смогли распознать всю ее лукавость? – вдруг спросил я.

- Дык…. Скажи тебе, княже тогда, ты все одно не поверил бы. Да еще повелел бы выпороть на конюшне! - ответил он. Отвел глаза: «А тот же Фока! Ему словно глаза кто застил! Ведьма она! Одно слово. А я? Я-то - с тобой все дни в походах. Фока не углядел, и свое получил. Жаль Акульку и Николку. Хотя, с другой стороны, души свои за нас положили. Невинно убиенные! Поди, в Царствии Небесном - сейчас За нас молятся. Стало быть, споймаем злодейку! Помо-о-олятся пред Престолом Божиим! По-о-о-омогут!»

А у меня глаза стали слипаться. Сколько ж дней без сна?! Я пришпорил коня, чтобы холодом остудить лицо и прогнать сонливость. Получилось! Удивительное дело: но и переночевали мы в лесу без приключений. Хотя ночлегом это тоже назвать было нельзя: трапеза опять - всухомятку, часа два дремоты. «Так Алла со своими точно не сможет! Догоним!» - торжествующе думал я.

И вторая, и третья ночевки прошли спокойно. Мы проезжали маленькие селения из пяти-шести дворов. Но чему было удивляться? Набеги литвы и ляхов, - не самых их властителей, а небольших шаек, - согнали людишек с насиженных мест. Ушли они поближе к Москве, да и подальше на восток и север. Наконец, впереди разукрасился куполами храмов Божиих Можайск, недавно подновленный и укрепленный радением Великого Князя Василия, - Царствие ему Небесное, - и сына его, нынешнего Государя.

Сподручно ли заезжать было к кормленщику? Вина моя перед Богом, Государем и самой Отчиной, недальновидность и даже слепота духовная в грехе с Аллой прожигали душу все сильнее и сильнее. «Сам напортачил, – сам и буду

расхлебывавть!» - решил я и направил коня на постоялый двор. Там потребовал горячих щей для себя и холопов, хлеба, сала, сбитня. А когда заикнулся о смене коней, услышал от щуплого, лысого, с рыжей бороденкой хозяина: «Дык… Болярин… Коней-то всех забрали, - и двух часов не прошло. А те, которых оставили не готовы: я ж их повелел накормить овсом, напоить с дорожки. Да и едва не загнаны они. Отдых нужен. Коням-то.

- А кто забрал сменных? – скрипнул я зубами.

- Двое молодых боляр, - совсем отроки! Правда при них - пятеро ратников в возрасте. Я-то держу пятнадцать коников. Четырнадцать в самый раз и забрали болярские сынки. Толкую же: о-дву-конь пошли. Как и пришли. Одним-то, оставшимся, ты ж не довольствуешься.

- А есть ли в Можайске еще дворы, где можно сменить коней? – на щи мне и смотреть не хотелось. Зато мужики мои, перекрестившись наскоро, набросились на горячее. Хозяин постоялого двора задумался. Почесал за ухом. Нараспев ответил: «На выезде из города есть постоялый двор. Но, коли не по своей нужде торопишься, а по Государевой, иди к кормленщику. Он нынче

- до-о-обрый! Князь Василий наш. Именинник!»

- А с чего ты взял, что я по Государевой нужде тороплюсь? – заподозрил я неладное.

- Дык… По своей-то нужде так не торопятся, - кивнул он, на мужиков, ложки которых так и мелькали от мисок к устам: «А то бы отдохнул. В баньке попарился. Праздники-то какие! Свя-а-атки!»

- Некогда, - бросил я ему. Холопам велел дожидаться, а с собой кликнул только Тишку. Тот промокнул куском хлеба остатки щей, запихнул его в рот и, подхватив саблю бросился за мной в двери.

«Два часа назад… Неизвестно, есть ли еще сменные кони на другом постоялом дворе. Если бы сейчас сразу выехать, нагнал бы их!» - стучало в голове. И я отправился в хоромы кормленщика. Тот сидя в гриднице принимал поздравление купцов и подарки от них. Потчевал медом, ромейским. И сам был уже изрядно навеселе. Когда же я выступил вслед за последним поздравляющим, кормленщик удивленно вскинул брови. Спросил меня: «Кто таков? Почему не знаю?»

Я поклонился: «Прими поздравление с Днем Ангела, болярин Василий. Приезжий я, князь Александр. Из Москвы. По повелению

князя Курбского преследую преступников. Десяток моих ратников ожидают меня на постоялом дворе. А там – нет сменных коней. Преступники же, замыслявшие зло Государю, всего два часа покинули Можайск. Окажи милость, дай мне два десятка коней. До Вязьмы-то – не ближний свет. Злодеи пошли о-дву-конь. Мне бы с моими людишками – тоже надобно бы! Чтобы нагнать. А? Окажи милость ради праздничка.»

- Эт-то в такой-то для меня день просишь. А почем я знаю, что ты – сам не злодей? И не идешь к ворогам: в литву там или к ляхам с изменой? – прищурился он.

- Прости, болярин, – вдруг поклонился Тишка, стоявший чуть позади меня, - я – простой ратник, а и то ведаю, что на конях, значит на сменных, из Государевой конюшни – клейма Государевы. И ты, как кормленщик, поди, ведаешь, что на них изображено. Первые-то наши, как положено было по Цареву Указу для ближних походов. А сменные – ка-а-азенные!

- Хол-лоп! Как смеешь хлебало разевать? – вскинулся, было, болярин Василий. Но вдруг улыбнулся: «А ведь смышленый! Истину глаголешь. Мне б таких – побольше на службу. А то забот - полон рот!

Присядь, князь, выпей меду или ромейского. А ратник твой пусть сходит за людишками и конями. Погляжу на них. И ради праздничка, помогу, коли правду сказал.»

Еще раз поздравив кормленщика с Днем Ангела, я пригубил чару. А тот попросил: «Коли можно, поведай мне о злодеях?»

- Прости, болярин Василий, не праздничный разговор. Вот буду возвращаться, ежели жив останусь, поведаю. А князь Курбский повелел мне привезти злодейку, - да-да, в отрока-то баба переоделась, - живой или мертвой. Из ляхов она. Моих троих холопов зарезала. Да и другие разные злодейства чинила. Чуть было в доверие к князю Курбскому не вползла. Чуешь, куда вороги руки протянули? На кого? К тому же, ведомо мне, что ворожить умеет. А еще сказывал один холоп Государев, который и опознал ее, - самолично пытала, - что по дороге до самого Смоленска у нее свои людишки имеются. Может быть, - и в твоем Можайске…

- И-и-и, брат! Произведу сыск! Не верил я в доглядчиков литовских и ляхских, о коих мне докладывали. Но уж коли ты из Москвы такую весть привез, будет сыск. Отведай пирогов-то. Поди, устал с дороги?

- Спаси, Господи, - поклонился я и набросился на яства: щей-то так и не похлебал на постоялом дворе. Но рассиживаться долго не пришлось. Вбежавший холоп доложил, что мои людишки прибыли верхом. Болярин Василий поднялся из-за стола, вышел на двор. Убедился, что кони – Государевы. Поклонился мне. А своим холопам повелел привести нам двадцать коней. И скоро, попрощавшись мы о-дву-конь уже скакали по дороге на Вязьму. Над нам свисали горы снега, отяжелившего широкие ветки сосен, берез, елей, подступавших к самой дороге. Казалось, крикни погромче и обрушаться они. И погребут нас под собой. День стоял ясный. Но следов на дороге было множество. Какие, да чьи, - пойди, угадай. Хотя и навстречу после нескольких посадов нам никто не попадался. Никого мы и не обгоняли. Тищина стояла ме-о-ортвая.

Вдруг Тишка, вглядывавшийся все время в дорогу, озабоченно проговорил: «А следов-то семерых всадников нет-е-ету! Глянь, княже! День - безснежный. Проехали злодеи часа четыре-пять назад. А на дороге – только колея от полозьев одних санок, да от копыт пары-другой лошадок. И подковки-то – стё-о-ортые. Стало быть, не ратники шли.

Крестьяне местные. Беднота. Но свернуть они, - разумею, злодеи, - в сторону тоже не могли. Нигде я по обочинам не приметил следов, ведущих в лес.

«Вот ведь, - подумал я про Тишку, - не гляди, что холоп! Всё видит. Всё замечает! Молодец! Но нам-то как теперь быть»? А Тишка продолжал:

- Сдается мне, княже, что учуяла она нас. Ворожбу в ход пустила. Давай-ка, повели всем молиться. Только шепотом.

Что я и сделал. Так мы прошли три дня и три ночи. Ночевали под мостами, которых по дороге я насчитал несколько сотен. Там и костры не видны были со стороны, и снегу – поменьше, да и ветер не так продувал. Наконец-то показалось большое село. По прошлому походу на Вязьму я помнил его название: Царево Займище. Вздохнул: «Теперь и до Вязьмы – недалеко. Самое большее – полтора перехода. К тому же здесь – Государева застава для досмотра торговых и всякого рода проезжих людишек. Уж мимо сторожей наши вороги проскользнуть никак не могли.»

- Ага, – мотнул головой Тишка, - если только не наворожили.»

- Типун тебе на язык! – зыркнул я на него так, что тот опустил глаза.

- Да я – ничего! Места здесь низинные, заливные, заболоченные. Для всякой нечисти – самое обиталище.

- Потому и - Займище, - уже мягче ответил я, - луга - заливные! Травка - сочная! Стало быть, скотинка у местных жи-ы-ырует…

- Рыбки здесь, должно быть – немеренно!

- Так река и называется Сежей: явно по рыбному промыслу. А другая речка Любигостьей зовется, - пытался я выбросить из головы недоброе предчувствие, вдруг охватившее меня.

Перед въездом в село дорога была перекрыта жердью, схожей с колодезным «журавлем». А за ней медленно, как бы нехотя, переминался с ноги на ногу ратник в тулупе и валенках. Но увидев нас, остановился. Вгляделся. Распахнул тулуп, под которым сверкнули доспех и кольчуга. Ратник положил руку на саблю, висевшую у пояса. Свистнул. И тотчас же из ближней истбенки вышли, - а точнее как бы выплыли, - еще человек пять с самострелами. Остановились, дожидаясь, пока мы подъедем. Я пригляделся к ним. Удивился: лица - сонные, какие-то помятые, глаза, словно у карасей, выдернутых из

самой глубины. «С похмелья, что ли?» - подумалось мне вдруг.

- Кто такие будете? И куда путь держите? – произнес сторожевой, тоже медленно, да еще так, словно его рот был набит горячей гречневой кашей.

- С Государевым делом. По повелению князя Курбского, - ответил я.

- Опять с Государевым делом, - пробурчал тем же тоном другой. И широко зевнул: «Куда их всех несет?»

- Теперь вы, служивые, скажите: проезжали ли здесь семеро конных? Двое, как бы князья или боляре. С ними – пять ратников, - спросил я.

- А почему это мы должны перед тобой ответ держать? – хмыкнул еще один из сторожи.

- Сказываю же: по Государеву делу.

- Тогда тебе - к нашему сотнику надо, - медленно кивнул первый, - только он что-то занедужил. Почивает. Придется обождать. Коли ты такие вопросы задаешь, не пустим покуда тебя дальше. Спешивайся.

- Да вы что, братцы?! – вскинулся, было, Тишка. Огляделся: «Нам торопиться надо!»

- Спешивайся-спешивайся, - медленно, затихающим голосом повторил ратник.

- Говорил же: заворожили сторожу. Глянь, княже, они, - словно с глухого похмелья, - так, может быть, сотник-то ихний уже Богу душу отдал?! - зашептал мне Тишка, медленно сползая с седла. Я сделал знак своим, и те спешились тоже. А ратники вдруг один за другим повалились, словно оползли, на снег. И тоже – медленно.

- Э-э-э-! Служивые! - подскочил к ним Тишка и попытался поднять одного. Закряхтел: «Тя-а-ажелый, словно упокойник!»

Я наклонился над ратником, приложил ладонь к шее. Кровь не билась. Я снял шелом, подшеломник. Перекрестился… Прошептал: «Упокой, Господи…»

Остальные порубежные ратники тоже оказались мертвыми. С трудом мы перенесли их в сторожку, где валялись еще трое их соратников. Тоже – упокойнички! На столе, заваленном недоеденными яствами, - большой кувшин, глиняные чары, две из которых были опрокинуты. Вокруг них блестела пролившаяся темно-бурая жидкость. Тишка захотел, было, прикоснуться к ней пальцем, но я ударил его по руке: «Не смей! Ты не думаешь, что это и есть лютое зелье, коим опоили сторожу?»

Тишка испуганно вскинул на меня глаза. А я повелел: «Едем к кормленщику. Сотник, должно быть, у него обитает. И для чего им надо было травить сторожу? Непонятно! Может быть, их тоже не пропускали?»

- Э-э-эх, княже, – отозвался Тишка, - сказывал же я тебе, что всякая прислуга нечисти, ежели не сотворит злодейств, болеть начинает. Сколько дней лжекнягиня бывшая твоя не делала людям пакостей? Вот-вот… А тут случай подвернулся не только людям, но и самому Государю в лице холопов его зло сотворить.

- Спаси Господи, Тишка. Может быть, ты и прав. Посему мы и должны ее полонить! Живой или мертвой!

Скоро мы подъехали к небольшому терему, обнесенному частоколом. Навстречу нам вышел невысокий, немолодой, ничем не примечательный князь в полушубке, накинутом на простую холщовую рубаху. Только перстень на пальце, да красивая сабля у пояса говорили о его сословии. Он внимательно вгляделся в нас. Спросил: «С чем пожаловали? Кто такие будете?»

- С Государевым делом. По повелению князя Курбского, - ответил в который раз я и представился. Спросил в свою очередь: «А

ты, должно быть хозяин этих мест? Как величать повелишь?»

- Князь Симеон…

- А сотник заставы не у тебя ли обитает? –

- У меня. Только нездоровится ему нынче. Хотя, холопы сказывали, пробудился. Молока попросил. Пройдите в терем.

- Погоди, пошли кого нибудь за десятком ратников, свободных от службы. Со стороны Можайска вся сторожа мертва! Опоил их кто-то вином. Еще скажи: не зазжали ли к тебе двое болярских сынков отроческого вида с пятью ратниками?

- Не-е-ет, - испуганно округлив глаза, помотал головой хозяин Царева Займища. Он тут же кликнул кого-то из холопов и исполнил мою просьбу. А нас провел в терем. Холопов отвели в людскую. Мы же с князем Симеоном в дальнем покое застали сотника. Тот лежал в пуховиках. Часто гулко кашлял. Отхлебывал из крынки молоко. Князь Симеон представил меня. А я рассказал сотнику о случившейся беде. Потом поведал и о тех, кого преследую. Недужный даже подскочил на подушке. Но тут же безсильно рухнул обратно. Прикрыл глаза. Закашлялся. Потом попросил: «Князь Симеон, ты итак, как родной, меня

выхаживаешь. Окажи еще одну милость: возьми заставу на время под свою руку. Смени сторожу. Узнай, живы ли ратнички, стоявшие со стороны Вязьмы. А убиенных невинно попроси попа отпеть.»

Хозяин Царева Займища согласно пожал плечами. Кивнул мне. И вышел из покоя. Я последовал за ним. В гриднице уже накрывали стол.

- Живу я небогато, но хватает, - жестом пригласил меня потрапезничать князь Симеон. И не без гордости отметил: «Мелкие шайки ляхов и литвы сюда соваться опасаются. А большой сечи, почитай лет пятьдесят не было. Сердца не тревожь: ратничков твоих сейчас уже потчуют в людской. Но понять я не могу: зачем злодеям нужно было травить сторожу?»

Я повторил ему слова моего Тишки. Князь Симеон прикрыл глаза. Помотал головой: «Вот ведь какой народ у нас: даже предположить не может в ком-то другом пакости, на которую сам не способен. Эх-эх-эх! Помяни, Господи новопреставленных рабов твоих. Имена их Сам веси. Но неужто в Москве всё так, как бы это сказать, немирно, что ли?»

- А что ж ты думал, княже! Не хотят ни ляхи, ни литва, ни немцы, ни крымцы, ни

казанцы, ни ногайцы, чтобы Царство наше было непобедимым. Не-по-ко-ри-мым! – вздохнул я. И спросил: «А не дашь ли мне двадцать сменных коней? Я после трапезы отдыхать не буду? Так хочется еще до рубежа догнать злодеев.»

В гридницу вошел крепкий мужик. Поклонился хозяину. Что-то прошептал ему на ухо. Тот кивнул. Отпустил холопа. И вдруг сказал: «Прости меня, князь Александр!»

- ?

- Подозревал я, что это ты со своими людишками отравил сторожу. Послал своих холопов выведать: как и когда вы приехали.

- Выведали? – хмыкнув, крутанул я головой.

- Выведали. Может быть твои злодеи так и хотели, чтобы подозрение пало на тебя. Так вот, мужичок один, что на торг в Вязьму ездит против тебя свидетельствовал. Мол, ты ударил первого сторожника. Людишки твои – остальных уложили. Потом утащили их в сторожку, где и отравили. Но, слава Богу, две бабы стояли у колодца, да детишки на санках катались. Они все по правде видели. Опровергли навет. Прости меня, Христа ради, за подозрение. Ведь тоже – грех! Клевета! Только в сердце! Самому себе!

- Погоди-погоди, – вскинулся я, - а ведь сказывали мне, что у преступников свои людишки, - соглядатаи да пособники, - по всей дороге рассеяны. Не один ли из них твой торгаш?

- Во-о-она, как?! – теперь крутанул головой князь Симеон. И задумчиво договорил: «Спаси тя Господи за весть такую. Повелю поглядывать за ним. А за навет, коли благословишь, выпорю, властью кормленщика.»

- Нет. Прошу тебя. Не надо. Заехали мы на твой двор в ворота, а выпусти ты нас огородами, чтобы никто не видел. Да слух распусти, мол, в подклети нас посадил, чтобы дознание провести. А не знают ли твои людишки, как давно преступники проскочили через село?

- Как же. Почитай, часа полтора назад…

- Прости, князь! Надо нам поспешать! А тебе – помогай Бог! - поднялся я из-за стола.

…«Кто ж это так усердно молится за меня, грешника?» - свербила мысль… … И я, почти оглаживая плеткой, подгонял сменного коня, данного мне князем Симеоном. Тот послушно ускорял ход. А за спиной я слышал гулкий стук копыт свежих

коней, на которых спешили за мной мои мужички.

Глаза у меня слипались. Но «угнездиться», - как говаривал отец, - я не мог: в любом положении по бокам тянущая боль протекала от плеч до поясницы. Я встал. Выглянул из палаты. Увидел медсестру. Позвал: «Катерина!»

- Что-о-о? – протянула она. Покачала головой: «Вам предписан постельный режим. Если нужна утка, судно, я принесу. И… сходите.»

- Еще не хватало! А вы не могли бы – хмыкнул я, - дать мне хотя бы анальгину? Лежать не могу. Болит.

- Какие мы нежные! - крутанула она по-мужски головой. И отрицательно покрутила ею: «Без врача не могу, не имею права. Сейчас схожу в ординаторскую. Сегодня как раз Хабиб Рахметович дежурит. Как он назначит. А вы идите, ложитесь.»

Что я и сделал. Через несколько минут в палату вошел смуглый, черноволосый, курчавый, но с европейскими чертами лица крепкий высокий мужик в белом халате. «Ну, вот! Попал «к чурке»! Что он знает? Они все дипломы покупают», - подумал я. А врач, просмотрев три листка моей

новосклееной «истории болезни», попросил снять футболку. Прослушал меня. Крутанул головой. Сказал сестре: «Сделайте больному укол обезболивающего и…»

Дальше я не понял. Но после укола боль затихла. А сон навалился так, что справиться с ним я не смог. Да и не захотел. Просто провалился в него! Но он был тревожным: то я куда-то скакал, как в последнем видении, то выбирался из какого-то подземелья, куда посадила меня… Валентина, то…

Открыл я глаза от солнца, бившего в них. Огляделся. Лёха лежал и дул на перышко, выдернутое, очевидно из подушки, отчего оно взмывало вверх, но скоро опускалось, словно парашютик в мультике. Тогда он снова дул. И оно снова взмывало вверх. Анатолий Максимович похрапывал, раскинувшись по всей ширине кровати. А вот кровать третьего соседа была пуста. И даже заново застелена.

- Лёха, – от сухости в горле прохрипел я, - а где этот.., ну, который вчера еле жил? Даже не ужинал…

- Э-э-э, – дунул тот в очередной раз на перышко, - ты всё проспал. Тут такое было! Кровь горлом у него пошла. Ошметками ее всё вокруг забрызгал. В реанимацию его

увезли. Мы все перепугались! Врачи, медсестры набежали. Какие-то ему уколы делали. А он – всё одно! Потом даже кровью блеванул! А ведь говорят: целый детский сад спас. Только как, не по-ни-ма-ю! Зато всех нянечек, со всех отделений к нам пригнали, чтобы они до утра всю кровь и кровавые ошметки отмыли. Тебе даже пододеяльник сменили. А ты храпел себе!

Дверь в палату открылась, и в ее проеме мы увидели молодого, элегантного человека. Из-за его спины выглядывали доктор Хабиб и медсестра Катя.

- Доброе утро, - улыбнулся молодой человек, но его улыбка вдруг напомнила мне «кэгэбиста» Олега с праздника, на котором мы познакомились с Валентиной.

- Доброе утро, - повторил молодой человек, - представлюсь: старший лейтенант Комитета Государственной безопасности Игорь Безволоско. Сейчас вы мне дадите подписки о неразглашении виденного вами сегодня ночью с соседом по палате. Предупреждаю об уголовной ответственности в случае разглашения.

- Спал и нич-чего не видел, - мотнул я головой.

- Но вы ведь, наверняка, уже знаете, что произошло из уст ваших сопалатников, -

даже не спросил, а утвердил старший лейтенант, - поэтому я обязан взять и с вас подписку. Вот – бланки. Поставьте только свои подписи. Паспортные данные я уже записал.

Анатолий Максимович, севший на кровати, помотал головой, сбрасывая остатки сна. Спросил: «А что произошло? Ну, лежал больной. Ну, случился приступ. Ну, кровь пошла горлом. Где криминал?»

- Криминала нет, - улыбнулся старший лейтенант КГБ, - но для проформы распишитесь. Не везти же мне вас, больных, сейчас в свою «контору»?

Мы, - больные, - переглянулись. И расписались в подсунутых нам бланках, где обязались не рассказывать никому о произошедшим такого-то числа, таких-то месяца и года, в такой-то палате и в такой-то больнице, с таким-то больным.

- Ну, вот и замечательно, - опять улыбнулся старший лейтенант КГБ, собрал бумажки в портфель, пожелал, - выздоравливайте.

Когда он вышел, Лёха хмыкнул: «Видит Бог, не хотел я ни курить, ни пить! Но после такого! Как будто в дерьмо наступил! Не зря я пацанам звонил вчера. Как чувствовал.»

Он достал из-под матраца начатую слегка скомканную пачку «Явы», коробок спичек и вышел из палаты. Анатолий Максимович, покряхтев в нашаривании шлепанцев, последовал за ним. И мне нестерпимо захотелось курить.

- За-а-автракать! – разнеслось за дверью по коридору отеления.

Теперь мне принесли омлет… или запеканку, - я так и не понял, - тарелку овсяной каши, хлеб, масло, кусочек сыру и стакан сиреневой жидкости, чем-то напомнившей да-а-алекое по времени, но почему-то явное, детсадовское какао. Но все это - в таком количестве, что я, заглотив, даже не почувствал. Поэтому с удоволствием после завтрака набросился на домашние продукты: и мои, и Лёхины, и Анатолия Максимовича.

- О-о-о! Аппетит появился! – поднял вверх большой палец правой руки Леха. - Значит будешь жить!

В палату заглянула незнакомая, красивая, словно из «Бурды», медсестра, - Катя, должно быть, уже сменилась. Громко зашептала: «Вы что здесь расселись?! Обход начался! Ну-ка, всё – прочь со стола! И сами – марш по постелям!»

- Прапорщик в юбке! - хмыкнул Лёха, когда дверь за ней закрылась. Хмыкнул ей вслед: «А так, сзади на мордочку, – ни-че-го! Бойкая! Такая в койке многое умеет! Я бы - с ней… А? Санёк?»

- Давайте, со стола уберем! - опустив глаза, проговорил Анатолий Максимович. И первым принялся за дело: «На самом деле, неудобно. Придут врачи. А тут – харчевня!»

Что мы и сделали. И едва успели прыгнуть под одеяла, как в палату зашли врачи во главе с заведующей отделением, - строгой, какой-то даже чопорной, бабушкой в хрустящем халате, с тугим узлом на затылке все еще каштановых, но с обильной сединой, волос, в больших, старомодных очках в роговой оправе, за которыми скрывались глаза… цвета живого неба.

- У нас – новенький? – почти пропела она. И подошла ко мне первому: «Так-с, голубчик, что с нами произошло?»

Я подробно рассказал. А она, присев ко мне на краешек кровати вдруг, наклонившись очень низко, очень тихо спросила: «А вы давно были в шестнадцатом веке? Вот уж наворочал ваш предок, князюшко Александр!»

Я откинулся от нее. Откуда она знает?! Но заведующая погладила меня маленькой

ладошкой по плечу и громко проговорила: «Давайте-ка поправляйтесь! Ему ваша помощь нужна.»

- А вы? - спросил, было, я…

- Я скоро дежурю по больнице. Потолкуем… – и она повернулась к вчерашнему доктору, - Хабибчик, дружочек, я этого больного за тобой закрепляю. Двустороннее… Крупозное…. Острое… Слава Богу, крови нет в мокроте… Потрудись, поставь на ноги. Сделай милость.

И она стала перечислять лекарства, которыми меня должны были пичкать. Потом все врачи подходили к Лёхе, к Анатолию Максимовичу. Но долго там не задерживались. О чем-то весело переговариваясь, они вышли из палаты. И Лёха вздохнул: «Пацаны не раньше, чем через час приедут. А выпить хочется! Этот «ко-о-о-зёл» из КГБ как будто костер внутри разжег!.. Хм… Пионерский!»

- Лёха! – вдруг, неожиданно для самого себя позвал я.

- Чё? – отозвался тот.

- А ты друзей своих, которым звонил вчера, уважаешь?

- Ты чё?! Да мы с ними вместе пашем. Землю, говоря по-детски, жрем. Да я с

любым из них, как нас в морпехе учили, в разведку пойду!

- А что ж ты их так унижаешь?

- Че-е-его?

Я не видел, но чувствовал, что сосед по палате готов мне глотку перегрызть.

- А того! – повернулся я нему. Подложид согнутую в локте руку под подбородок: «Ты их па-ца-на-ми называешь! Да? А ты знаешь, что это слово означает?»

- Не-е-е! – даже откинулся назад, сидевший на своей кровати, Лёха.

- На заборе какое слово из трех букв написано? – хмыкнул я.

- Ну-у-у? – понимающе кивнул Лёха.

- Так вот, «па-а-а-цан» на старо-еврейскопм языке – уничижительное от трехбуквенного на заборе! От слова «поц»! Только вбеще ьолее уничижительном значении!

- Иди ты, - замотал головой Лёха.

- Не веришь? – уже более спокойно спросил я.

- Вы, Александр, простите, антисемит? – вдруг услышал я голос доселе молчавшего Анатолия Максимовича.

- Почему? – ответил я вопросом.

- Ну-у-у… Коснулись ерейского вопроса.

- Простите, Анатолий Максимович, я коснулся не еврейского вопроса, если это для вас так оскорбительно, а как человек, имеющий отношение к русскому языку и русской литературе, я коснулся вопроса чистоты русского языка.

- Да я с вами согласен, - махнул рукой тот, - просто…

- Что? Говори, Максимыч! – даже привстал с кровати Лёха

- Просто… Ну-у-у, не хочется мне, чтобы в нашу палату заходил еще какой-нибудь старший лейтенант КГБ. Давайте, лучше разгадаем кроссворд. Вот, вы, Александр, если разбираетесь в литературе, скажите, какая фамилия у персонажа Льва Николаевича Толстого в романе «Анна Каренина» из пяти букв?

- Ленин, - не задумываясь, вспомнив Гомель, ответил я. Но осекся: «Ой! Простите! Левин!»

- Точно! – вскинул обе руки Анатолий Максимович и быстро заполнил клеточки кроссворда. А Лёха вдруг захохотал. Мы с Анатолием Максимовичем уставились на него. А он, сдерживая себя от смеха, пояснил: «Тут анекдотец рассказали. У нас вся бригада от него два дня ржала! Представьте: приезжает комиссия в детсад-ясли. Собрали

детишек. И вот добрая такая, толстая тетя из комиссии спрашивает, мол, кто такой, детишки: маленький, беленький, с длинными ушками? Под елочкой прыг-прыг, морковку – хрумк-хрумк? Дети глазки опустили, насупились. Мо-о-олчат! Тетка сделала еще более доброе лицо. Опять спрашивает то же. Дети еще ниже головки опускают. Жмутся друг к дружке. Тетка в третий раз спрашивает. Воспиталка не выдержала! Крикнула: мол, что ж вы, ребятки, молчите? Я вам столько о нем рассказывала! Ну-ка, называйте: кто это? Детишки переглянулись так… И неуверенно, но хором: «де-е-едушка Ле-е-енин»…

Лёха засмеялся сам. Меня чуть пополам от смеха не переломило. Анатолий Максимович поначалу как бы поперхнулся. Потом погрозил нам пальцем: «И-и-эх молодежь! Поосторожничали бы. Только сегодня этот приходил, который вас лет эдак сорок назад расстерелял бы и глазом не моргнул бы за такие анекдоты!»

- А может быть, у них патроны кончились! - аж, до слез рассмеялся Лёха.

- Курить хочется, - вздохнул я, вспомнив весь нелюбимый мной анекдот про закончившиеся патроны, заключительную

фразу из которого процитировал сосед по палате.

- А чего?! – всикинулся Лёха. - Если Максимыч не против, мы с тобой сейчас дверь - на швабру, в одеяла закутаемся, в форточку и подымим. А потом «Шипром» против запаха побрызгаем. Да и кому мы после обхода нужны?..

Но сделать этого мы не успели: в палату вошла еще незнакомая мне сестра. На кармашке хрустящего белизной халата и шапочке был вышит красный крестик. Взгляд сторгий. Даже тугой какой-то, удлиненный намного ниже колен халат подступал под самое горло. Хотя и он не мог скрыть статность фигуры, казалось рвущей все пуговицы и швы. Сестра назвала мою фамилию и приказала: «Сей же час – в постель. Вам назначены три укола и капельница.»

И она вкатила в палату устройство, верх которого, словно новогодняя елка был унизан бутылочками. От них, словно электропровода от лампочек, тянулись трубочки.

- Яночка, а что ж вы про меня забыли? – игриво произнес Лёха.

- Сколько раз говорить вам, – не поднимая глаз, твердо отчеканила медсестра,

- что меня зовут не Яна, а Иоанна. И еще: вам, кроме таблеток, все назначения отменены. Скоро – на выписку.

«Ишь, ты, - отметил я про себя, - по-православному себя называет»! Послушно улегся и подставил руку под иглу капельницы.

- Нет-нет, - помотала головой Иоанна, - вам приказано ставить капельницу в сидячем положении. Давайте, я поправлю подушки. А вы садитесь. Вот так. Боли не чувствуете?

- Спасибо, - кивнул я и даже не почувствовал, как игла вошла в вену.

- Когда раствор будет кончаться, позовете, - так же, не поднимая глаз, проговорила медсестра и собралась выходить из палаты.

- Да я сам могу трубочку перекрыть.

- Нет-нет. Это – моя обязанность, моя ответственность, - и она вышла из палаты.

- Говорю же: прапорщик в юбке! – хмыкнул Лёха. И пожалев, вздохнул: «Теперь мы долго не покурим! С этой медсестричкой не забалуешь!»

Раствор уже заканчивался, когда Иоанна снова появилась в палате. Молча перекрыла трубочку. Вынула из меня иглу. И тут же сделала три укола. Сказала, мельком

взглянув на Лёху: «Предупреждаю повторно: вас лечат антибиотиками. Но они будут бездейственны, если вы употребите спиртное.»

- Ну-у-у, не баба, а – электронно-вычислительная машина какая-то! – вздохнул теперь Анатолий Максимович. И тяжело вздохнул: «Кажется, ничего человеческого нет в ней. Не пошутит никогда, не утешит. Хотя уколы делает безболезненно. И вообще, работу свою на «ять» выполняет.»

- Э-э-э, нет, Максимыч, - опять засмеялся Лёха, - человеческого, а именно женского в ней много. Только скрыто оно, это чисто человеческое, и добавлю даже – оч-ч-чень аппетитное, под ха-ла-ти-ком. Может быть, эт-то че-ло-ве-чес-ко-е просто разбудить никто не смог. Еще пока! А я представляю, какие в ней «торнады» обитают!

- А ты женат? – спросил я его.

- А то! Двоих спиногрызиков даже на свет произвел. А ты чего спросил?

- Да так, - пожал я плечами…

- Женка у меня – хорошая, добрая, жалеющая. Но как я узнаю, что на свете нет никого лучше, чем она, если не попробую других? – засмеялся Лёха. Подошел к двери.

Сделал из швабры засов. Подмигнул мне: «Ну, что Санёк, перекурим?»

Я, было, поднялся на локтях, но он не успел закрыть дверь на швабру. В палате опять появилась Иоанна. Теперь она вызвала Лёху на рентген. «Покурили!» - выразительно округлил глаза тот и отправился за медсестрой. А я вдруг опять задрема И проспал до самого обеда. Разбудил меня залихватский свист, доносившийся с улицы и карабканье Лёхи на высокий подоконник.

- Пацаны.., то есть корешки пришли. Принесли! – довольно хмыкнул он и достал из кармана скомканную газету, на которую была намотана веревка. А скоро он выудил из-за окна пакет. Крикнул в форточку: «Ажур!»

Помахал рукой и спрыгнул с подоконника. Достал из пакета три яблока, две пачки «Явы» и бутылку «Столичной». Пропел: «Жи-и-ивем!»

Дернул подбородком снизу вверх: «Ну, ты как Санёк? По пять калель?»

- Нет, - помотал я головой, - вот, встану на ноги. Как ты. Перед выпиской.

- Как знаешь… А ты, Максимыч?

Тот тоже отказался. Тогда Лёха взболтал содержимое бутылки, откупорил ее.

И, не отрываясь, влил в себя почти половину. Выдохнул. Надкусил яблоко. Довольно вздохнул: «И как ее коммунисты пьют! Словно Боженька босыми пяточками по внутренностям пробежался…

«Прости, Господи!» – пошевелил я одним языком при сомкнутых губах.

- Теперь можно покурить. Сестры с врачами обедать пошли, - проговорил он, воткнул в дверную ручку швабру, закурил. Я последовал ему. И закашлялся. Отдышался. Вторая затяжка кашля не вызвала. Потом Лёха обрызгал всю палату «Шипром». А из коридора раздался крик: «Обе-е-едать!»

После овощного супа-пюре, биточка с макаронами компота меня поклонило в сон. А проснулся я, когда в дверь палаты входили мои родители. Отец с деланной веселостью за что-то хвалил меня. Мать тут же начала доставать из сумки всякие кульки и пакетики:

- Тут жареная курица. Здесь пельмени. Алиночка вчера сама налепила. А я сегодня пожарила. Как ты любишь. На сале. С чесночком. Здесь – яблоки, апельсины, огурчики, вареные яйца, сыр, колбаска. Да… Вот – грибочки. Только вы уж с соседями их сегодня съешьте. Они - хоть и соленые, но береженого Бог бережет. С пельмешками.

Остальное - потом. Мало ли, ночью есть захочется. Тебе сейчас надо питаться, как следует. Помочь организму справиться с болезнью. Где у вас холодильник? За окном? А птицы не поклюют? Но это – тоже хорошо: сохраннее будет! А вообще, в отделении есть холодильник?

- Есть, - ответил Анатолий Максимович, - в дальнем конце отделения. Направо по коридору. Там ничего не пропадает. Просто пакет подписать своей фамилией надо.

- Очень хорошо. Я уже поговорила с лечащим врачом. Не гляди, что - нерусский. Очень внимательный. Вдумчивый. Кажется, знающий.

- Хабибка-то? Рахметыч? Классный доктор! Хоть и таджик. Он, кстати, как мне тут сестричка рассказывала, на русской бабе женат. Да и у него – мать русская. Не наглый. Не хапуга. Взяток не берет. Меня вмиг на ноги поставил.

Мать с отцом закивали головами. Они явно не хотели рассуждать о враче с Лёхой. Мать продолжила: «Благоверная твоя звонила. Спросила я ее: мол, не поездки ли твои довели тебя до крупозного двустороннего воспаления легких?»

- Зачем, мама?

- Ничего-ничего! Пусть задумается! И ведь заплакала, когда узнала, что ты - в больнице. Пусть поплачет! Обещала приехать. Навестить. Только не знает, когда. Ишь, «не зна-а-ает»! Да я бы к отцу, всё и всех бросив, тут же первым рейсом самолета полетела бы, окажись он на твоем месте. Ох-ох-ох! От баб твоих у тебя всю жизнь – одни неприятности. Ну, ладно, пойду положу курицу в холодильник. Колбаску копченую можно и в пакате оставить. Или – за окно?

- В холодильник, мама…

Когда она вышла, я спросил отца: «Пап, у тебя нет лишней пачки сигарет?

- Ты же знаешь: я курю папиросы. А потом, куда тебе с твоим воспалением еще и курить?!

- Ну-у-у… Сразу же я бросить не могу.

- Санёк, - вмешался Лёха, - я поделюсь с тобой. Мне паца.., ой, корешки передали же.

- Хорошо, - вздохнул отец, - завтра привезу тебе. Долг отдашь товарищу. И сам. Только уменьши дозу мак-си-маль-но! И матери не вздумай брякнуть!

Вошла мать.Обвела всех взглядом. Удовлетворенно выдохнула: «С врачем я договорилась. С медсестрой я по-о-о-оговорила. Странная особа!

Перевела взгляд на меня: «А тебе-то чего привезти?»

- Ой… Вот хорошо бы – кипятильник, стакан для него, заварки, сахарку. А то чай – здесь «холодный, но несладкий», - вспомнил я армейскую шутку и улыбнулся.

- Ха-ха, – вмешался вдруг Лёха, - не чай! Моча ослиная…

Мать вдруг засмеялась. Неожиданно! Кивнула: «Обязательно! Со «слоном»! Ну, поправляйтесь вы тут! Все трое. И ты, сынок. Особенно!»

- Мама, – вскинулся я, - а писем не было?

- Ох! Прости! Было одно! Забыла я его дома. Сам понять должен: до писем ли, если у тебя – такое! Завтра привезу.

…- Ну, и мамашка - у тебя! – хмыкнул Лёха после ухода родителей, - мо-о-орпех! Батя твой - за ней, как - за каменной стеной. А кто он у тебя?

- Он? Он-то как раз, – крутанул я головой, - полковник. Ветеран Ракетных войск стратегического назначения. Сам колышки для позиционных районов вбивал. А сейчас – заместитель кафедры в военной академии, доцент, кандидат военных наук.

Лёха даже свистнул. Но добавил: «Однако, и здесь во всем - заслуга твоей мамашки.»

«Пожил бы ты с ней хотя бы месяц! - недобро подумал я и тут же укорил себя, - Прости, Господи»!

На ужин дали крупно нарезанную тушеную капусту, от которой мы дружно отказались. Зато набросились на вкуснятину, которую принесли мне родители. У меня разыгрался аппетит. Заметив это, Лёха хлопнул в ладоши и поднял вверх большой палец правой руки: «Значит, скоро Санёк и ты на поправку пойдешь! Когда на жрачку пробивает, значит организм начал бороться с болезнью. Так Хабибка говорит. А он в этом деле толк знает.»

И курица и пельмени, и половина батона колбасы растянулись на весь вечер. Наконец, Лёха откинулся всем телом от стола. Погладил живот. Икнул. Встал. Закрыл дверь на швабру. Достал остатки водки. Жестом предложил мне. Я помотал головой. Тогда он допил бутылку до дна. Открыл форточку. Закурил. Я последовал ему. И странное дело: не закашлялся. Мы закончили курить и едва успели убрать швабру, как дверь приоткрылась и показавшаяся в ней Иоанна приказала: «На

уколы… А накурили-то! С вашими болячками надо бы воздержаться от этой отравы. И если курить, то - в туалете.»

- Так Саньку вставать еще нельзя. А я – с ним за компанию, - расплылся в улыбке Лёха.

Иоанна только покачала головой. Анатолий Максимович пошел за ней. Потянулся в процедурную и Лёха. А мне потом Иоанна сделала два укола прямо в палате и опять поставила капельницу. Я попросил ее: «А анальгинчику нельзя? А то, боюсь, ночью опять спина и бока разболятся.»

- Я сделала обезболивающий, который прописан врачом, - проговорила она и вышла из палаты. А меня опять потянуло в сон.

Утро началось с таблеток и уколов. После завтрака мне опять поставили капельницу. Теперь дежурила Раечка, - веселая толстушка, несмотря на комплекцию, порхающая по отделению и что-то все время напевающая. Она похохатывала на нескромные шутки Лёхи и изредка снизу вверх бросала на него косые взгляды. А после обхода Хабиб Рахметович вдруг заглянул к нам в палату и кивнул мне: «Вас просила зайти Елена Васильевна. К ней

в кабинет. Ах, да, вы же не знаете: это - заведующая отделением.»

- Значит мне уже можно вставать? – вскинулся я.

- На час. Не больше. Пойдемьте. Я провожу.

Удивительно, но войдя в кабинет, мне вдруг показалось, что «бабушку» с тугим узлом волос на затылке и прямым пробором, я видел не только вчера и сегодня на врачебном обходе. А она, отпустив Хабиба Рахметовича, добродушно, но с хитринкой в глазах вдруг улыбнулась, пригласила присесть. Спросила о состоянии здоровья. Полистала мою еще тоненькую историю болезни.

- Ну-с, - улыбнуласть она, - повторю вопрос: давно из шетнадцатого века?

- Откуда вы знаете?

- Мой муж – профессор психиатрии. Занимается и генетикой. В частности – генной памятью. Вот вы и приснились мне, когда в очередной раз я оказалась в Москве шестнадцатого века. Со своими предками. Почувствовала себя моей пра-пра-пра… и так далее… бабушкой. Я ведь – уральская казачка. Но по тем временам, мои предки пришли служить Царю Иоанну Васильевичу Грозному. Грозному – для врагов России. И

вы там были. Точнее – ваш дальний предок. Тоже Александр. Так? А ведь приснились-то вы тогда, когда мы еще и не видели друг друга. Вот и верь официозу, что генетика, мол, – лженаука. Просто кому-то очень надо, чтобы мы забыли свое родство, чтобы не прислушивались к генной памяти. А теперь, давайте, я вас посмотрю и послушаю. Снимайте рубашку. О-о-о! Да вы – православный христианин? Крестик… Не смущайтесь. У нас здесь, в отделении все верующие собралась. Даже Хабиб Рахметович, в Святом Крещении - Глеб. Мы не афшируем всего этого. Люди-то разные бывают. Не дай Бог ввести кого в искушение хулы на Святаго Духа, на нашу Веру. Но… Займемся вашим здоровьем.

Она стала крутить меня, прослушивать, стучать по груди, по спине, по бокам согнутыми пальцами. Потом долго рассматривала рентгеновский снимок. Спросила: «Кровь горлом не шла?»

- Нет, - хмыкнул я.

- Вы много курите?

- Средне… Полпачки в день. Иногда – больше. Иной раз – меньше.

- Бросать надо, Алексашенька. Совсем бросать, дружок. Грешно ведь. Да и для здоровья – неполезно. Впрочем, разве вас,

мужчин, убедишь в этом?! Пока гром не грянет… Так хоть здесь постарайтесь воздержаться.

- А что было потом с вами, после приезда в Москву, на службу Царю Иоанну Васильевичу? – спросил я, чтобы сменить тему разговора.

- И-и-и! Александр! Такие вещи не рассказываются. Если Богу угодно, Он вам Сам напомнит. А теперь идите. Отдыхайте. Очень была рада встретиться с вами в наше время.

И она углубилась в бумаги, завалившие ее стол. А мне захотелось покурить и… выпить. Но, - замотал я головой, - при антибиотиках нельзя! В палате пахло свежестью. Пол блестел от свежей влаги. И Лёха и Анатолий Максимович лежали на своих кроватях. Первый вскинул подбородок вверх: «?»

- Сказали курить надо бросать, - завалился я поверх застеленного одеяла.

- Эт-т-то точно! – хмыкнул Лёха. И сам засмеялся: «Анекдот хотите?

И я, и Анатолий Максимович согласно кивнули и вопросительно повернулись к нему. А он, заговорщически подмигнув, тихо заговорил: «Уговорили мужика, простого работягу вступить в КПСС. Приходит он на

комиссию. Там его спрашивают, мол, если партия прикажет, курить бросишь? Он кивнул. Его опять спрашивают, мол, а если партия прикажет, пить тоже бросишь? Он опять согласился. Его в третий раз спрашивают, мол, а вот, если партия прикажет, с женщинами перестанешь общаться? Ну-у-у, понимаете, в каком смысле. На парткомиссиях прямо про такие дела не говорили. Мужик пожал плечами. Развел руками. Но кивнул утвердительно. Наконец, его спрашивают, мол, а если партия прикажет, жизнь за нее отдашь. Мужик махнул, так, в сердцах, рукой, - мол, отдам. А почему, - опять спрашивают его. А мужик и отвечает, мол, а на хрена она мне такая нужна?»

Мы с Анатолием Максимовичем дружно рассмеялись. Но сам Лёха хохотал звонче нас обоих.

- Что-то весело у вас, - зашла в палату Раечка.

- А мы анекдоты травим. - все еще не успокоился от смеха Лёха, - хочешь послушать?

- Нет… Я их все равно не запоминаю. К тому же, работы много. Трое больных поступили. Надо оформлять. Вот и думаю

одного к вам определить. Старшая-то сестра на учебе. Хабиб Рахметович велел мне.

- Слушай, Раечка, красавица ты наша! Раечка-кралечка,- вдруг молитвенно сложил руки Лёха, - ради всего самого хорошего: не определяй к нам никого. Ведь есть же места в других палатах. У нас коллектив уже сложился. А? С меня – шоколадка!

- Да что там шоколадка? Скинемся на коробку конфет. У меня жена брата на «Рот-Фронте» работает, - подал голос Анатолий Максимович

- Ох! Что с вами делать?! Так и быть. В двенадцатой палате действительно три койки свободны. Пусть ложатся вместе, раз вместе поступили! - вздохнула Раечка И расплылась в улыбке: «Про конфеты только не забудьте… А то у меня как раз скоро у мамы будут именины.»

- Эх, – крутанул головой Лёха, когда медсестра вышла из палаты, - сама ты, как шоколадка! Сладенькая! Всё – при ней. А, Санёк?

- Не в моем вкусе, - хмыкнул я.

Так пролетели еще полдня, обед, послеобеденный сон. Меня навестила мать. К Лёхе пришла жена, - такая же пухленькая, симпатичная и веселая, как Раечка. Они вдвоем вышли из палаты. Мать моя

посидела у меня недолго. Отдала письмо от Валентины, кипятильник, стакан, заварку, творожники, котлеты, лимон, яблоки, апельсины и заторопилась, объявив, что отец завтра отправляется в командировку. И его надо еще собрать. Письмо от Валентины было коротким: видимо писала, еще не зная, что я – в больнице. Сообщала, что с помощью студийцев отремонтировала спальню. Сейчас – взялась за большую комнату. Жаловалась на Маришку, которая, мол, совсем от рук отбилась. Дерзит. Не слушается. Во всем письме чувствовалось что-то недоброе, раздражительное. Правда в конце все-таки написала: «Целую. Твоя жена». И хотя я понимал, что Валентина устала, взвалив такой груз на свои плечи, настроение испортилось.

Леха вернулся перед самым ужином с сумкой набитой всякими свертками. Вывалил на стол содержимое: опять курицу, домашние пирожки, пачку сливочного масла, увесистый кусок ветчины. Довольно вздохнул: «Говорю же ей, что послезавтра выписывают. Мол, неси домой! А она еще и рассердилась: куда я такую тяжесть потащу обратно?! Во, как любит. Нет, Натаха моя все-таки любит меня. А пирожки какие

печет. Попробуйте! Языки проглотите! С рисом, луком и яйцом! Мои любимые!»

- Вот-вот! А ты про Раечку: «шо-ко-лад-ка»! – укоризненно покачал головой Анатолий Максимович.

- Да я ж – так, для куражу, – пожал плечами Лёха, - шуткую!

- В каждой шутке есть доля правды, - поднял указательный палец вверх Анатолий Максимович.

- Да ладно тебе, Максимыч! – махнул рукой Лёха. По-хозяйски обвел стол рукой: «Давайте за стол садиться. А то на ужин – перловка. И биточек – с голубиное яйцо. Хотя помню в армии… Голубями и их яйцами только и утоляли голодуху. У нас этих диких голубей было! Под крышей спортивного зала жили. Так мы их из рогаток били. А что? В лесу они все - здоровые. А потом лазили под самый верх, за яйцами. Голод-то – не тетка. А нам, восемнадцатилетним пацанам, жрать хотелось чуть ли не каждую минуту! Эх, сейчас бы «соточку» пропустить! А лучше – сто пятьдесят! Так ведь жену-то не упросишь! Она у меня в этом отношении – кремень! Оправдывает себя тем, что у меня работа – часто на верхатуре. А значит, - повышенной опасности. Хотя по праздникам

и сама наливает. Я потом, конечно, добавляю втихаря. Ну-у-у, чтобы ее не расстаривать.

Весь ужин Лёха болтал языком. О чем только не порассказал. Понятно: радовался, что послезавтра – на выписку. Но после ужина я отправился в холл отделения, выбрал место посветлее и написал Валентине письмо. Успокаивал, как мог. А мог ли? И надо ли это было ей? Неужели же Женя был прав в том, что я поспешил со свадьбой? Неужели и мать была права? Что-то не ладится у нас. Чувствую это! Только что «это»? И вагонное «приключение» с другой Валентиной было лишь закономерным показателем «этого».

…Так прошли две с половиной недели. Каждый день меня кто-нибудь навещал. Дважды приезжал Женя. Один раз – Людмила Петровна. Все остальные вечера я виделся с матерью, сестрой, наконец, с отцом, вернувшимся из недельной командировки. Вспомнились Василько, Мария, Николай. Но звонить им было как-то стыдно: появился, когда в них возникла нужда! Хор-р-рош брат! Я узнал, что с воспалением легких, если, конечно дело идет на поправку, в больницах обычно лежат двадцать один день. Мне предстояла выписка. Но вот, однажды вечером ко мне

пришла… Валентина. Грустная. Припала к груди. Всплакнула: «Прости, раньше не могла вырваться. Как ты себя чувствуешь?»

- Наверное, скоро выпишут, - я соскучился. Но какой-то холодок веял от жены, проникая и в мое сердце: «Ты где остановилась? У родителей?»

- Да.

- А Маришка с тобой?

- Нет. Куда ж ее посреди четверти?

- Как тебя мои встретили?

- Нормально. Так я же только утром сегодня приехала. И сегодня уезжаю. Вот, я тут тебе сала привезла, копченого! Кровяная колбаса, как ты любишь. Ну, «Зубровку» или «Беловежскую пущу» тебе сейчас нельзя. Я твоему отцу их отдала. Выпишешься, - выпьете с ним на пару.

- У меня после больницы еще три дня свободных. Я хотел бы к тебе приехать.

- Нет-нет! Даже и не думай. Твоя мама разговаривала с врачом. Так вот он сказал, что организм у тебя ослаблен. Нужен период одаптации. А в поездах, сам знаешь: или сквозняки, или холодно, или наоборот, топят, словно в сауне. Выйдешь в тамбур потный и, - готово дело, - снова можно на больничную койку попасть. Поэтому ты уж лучше поначалу окрепни. Потом приедешь.

Квартиру, кстати, не узнаешь! Виталик, правда, палец о палец не ударил. Его комнату Степан с хлопцами ремонтировали. Сейчас уже идет окончательное оформление документов. Так что, к «майским» будем переезжать. Тебе, наверное, лучше взять неделю «за свой счет».

- Я попробую оформить командировку.

- Да, хорошо бы. Какая-то, но – экономия…

«Экономия, - подумалось вдруг, - Похоже, что она за этим словом и другими, подобными, - за «бытовухой»! – совсем забыла о какой-то нежности, ласке, любви»!

- Свидание окончено! – услышал я голос Иоанны, которая дежурила в этот день. «Свидание! Как в тюрьме!» - опять с досадой подумал я. И почувствовал раздражение: ведь не могла же Валентина не спросить мать о времени посещения больных! И приехала за полчаса до окончания «свиданий»

- А что ты сегодня весь день делала? – спросил я, провожая ее.

- По настоянию твоей мамы отдохнула с дороги. Говорю же, в вагоне топили так, что до сих пор от духоты голова болит. Потом, после обеда пробежалась по магазинам.

- А-а-а, - протянул я, потому что чуть было не задохнулся от обиды.

- Что? – заглянула мне в глаза Валентина, видимо почувствовав неладное.

- Нет, ничего. Просто мы почти месяц не виделись. Посещение больных - с семнадцати до девятнадцати. А ты пришла в половине седьмого.

- Ну-у-у, прости, в очередях отстоять пришлось. Мне же нужно своей маме, Маришке, кое-кому из студийцев подарки из Москвы привезти. Да, чуть не забыла, удалось поговорить с главным редактором «Железнодорожника Белоруссии». Наш директор эту встречу устроил. Видишь, как меня ценят?! И за тебя переживают. Так вот, главный редактор согласен взять тебя на работу. Пока – корреспондентом. А через год должность заведующего отделом освобождается. Он ее обещал тебе. К тому же, и я свои связи еще поднять могу. Так что, карьерный рост тебе обеспечен.

- Мне надо закрывать отделение. Времени уже девятнадцать-ноль-пять, - опять перебила нас Иоанна, оказавшаяся за моей спиной.

- Давай прощаться, - обнял и поцеловал я Валентину. Но в губах ее не почувствовал никакого тепла.

- Так ты подумай о работе в нашей газете. Добре? – теперь она прижалась ко мне и сама поцеловала в губы. Но и тут я не почувствовал тепла… В эту ночь заснуть не мог. Уныние переходило в отчаяние. Неужели всё с Валентиной кончилось. Похоже, она не собирается ехать в Москву. Но ведь и я в Минск не поеду. Ведь сколько раз я мог убедиться в том, что там, в том же ДК я – это не я, со своей фамилией, именем, со своим творчеством. Там я – муж Валентины Ивановны, известной на всю Белоруссию художницы-прикладницы…

А утром Хабиб Рахметович во время обхода, глядя пристально на меня, встревожился: «Как вы себя чувствуете? Что ваш вид мне не очень нравится…»

- Плохо спал ночь. По семейным обстоятельствам… - я даже пошутить попробовал.

- Ну, что ж, с сегодняшнего дня я отменил антибиотики. Сейчас вас поколят витаминами, общеукрепляющими средствами. А в пятницу можно и выписываться. Как вы на это смотрите?

- Замечательно, - улыбнулся я, а в мыслях было совсем другое. Дежурила Раечка, и с ее разрешения уже в обед я

шепотом просил Женю по телефону привезти мне коньяку.

- А как же антибиотики? – спросил он.

- Больше не колют! Курс лечения закончился.

- У тебя что-то случилось?

- Возможно, что да. Ты не мог бы сегодня приехать к пяти. Меня, кстати в пятницу выписывают.

- Лады. Отпрошусь. Извини. Мне надо бежать. У нас сейчас совещание начинается. Поэтому прощаюсь. До вечера.

Тогда я позвонил домой и сказал матери, чтобы она не приходила сегодня, потому что меня навестит Женя. Больше ничего говорить не стал, решив оставить разговор до моего возвращения из больницы. А вечером мне повезло. По телевизору показывали какой-то сумасшедший футбольный матч, все больные, которые могли передвигаться, приросли к экрану. Шум в отделении стоял такой, какой, возможно, был в старину при крупном сражении. Поэтому мы с Женей могли уединиться в курилку, присесть там на банкетку и, потягивая коньячок, неспешно поговорить. Я рассказал ему все. Он даже крякнул: «Когда я лежал в больнице, моя Танюша каждый день бегала ко мне. И это

притом, что у нее на руках был грудной Андрюша. А родители ее тогда как раз накануне моей госпитализации, уехали на дачу, с которой, как ты знаешь, нет никакой связи… Конечно в твоем случае говорить про ежедневные посещения не приходится. Но если вспомнить, как ты мотался к ней в Минск на каждые выходные… Даже не знаю, Саха, что тебе и сказать. Чем утешить… Остается одно: наберись терпения. По-моему, у православных христиан – это чуть ли не главная добродетель. А?»

- Главная-главная. И еще одна – смирение! - вдруг улыбнулся я, действительно утешенный и умиренный. - Ты прав: Бог все расставит на свои места, как это по-лезно будет мне. По грехам. И по заслугам.

- Вот-вот, - положил мне руку на плечо Женя, - выпишешься, придешь в себя, поедешь в Минск. Перевезешь ее с дочкой на новую квартиру. Глядишь, тогда и все уладится. Встанет на свои места. Только…

- ?

- Только заклинаю тебя, Саха: не уезжай туда. Скажи ей твердо. Даже объяснить можешь, что хочешь быть самим собой со своим творчеством, а не безплатным приложением к народной мастерице. Знаешь,

иногда такая твердость действует на баб сильнее, чем ласки, нежность, уговоры, доказательства, логика и так далее. А если уедешь, то эта твоя слабость может впоследствие расцениться Валентиной как твое слабоволие, если хочешь, даже слюнтяйство. А это вызывает в женщине неуважение, если не презрение к мужчине. За ними последуют упреки и даже оскорбления. А возможно и развод через несколько лет. Но тогда ты в Москву уже не вернешься! И станешь и в Минске чужаком, и в Москве никем. Помнишь, мы с тобой говорили об этом же перед свадьбой. Так вот: я не изменил своего мнения. Даже сильнее утвердился в нем. Поспешил ты, Саха, с женитьбой. Прости уж. Кто ж тебе еще скажет об этом прямо и честно?

- Да-да, - кивнул я, - мне те же мысли пришли в голову вчера, после прощания с ней. Вот, дурак, не послушал я тебя раньше.

- Знал бы где упасть, соломку подстелил бы, - грустно улыбнулся Женя. И тут же встрепенулся: «Засиделись мы с тобой, брат. Пора домой. Танюша заждалась. В понедельник выйдешь на работу?»

- Даже не знаю. Врач сказал, что в понедельник должен сходить к участковому. Закрыть больничный. А что он скажет?

- Тогда позвони в любом случае. Пойдем, проводишь меня до выхода из отделения. Кстати, здесь еще остались, - достал он портфеля недопитый коньяк, - пятнадцать капель. У меня-то дома есть. А вот тебе может пригодиться. Пойдем занесем в палату.

Так мы и сделали. Но когда Женя ушел уныние, какая-то безысходность, отчаяние снова навалились на меня. В палате никого не было. И я отхлебнул еще коньяку. Ужинать не стал. Забылся в дремоте. Перед выпиской Елена Васильевна снова пригласила меня к себе в кабинет. Улыбнулась: «Ну, вот, вы и поправились. А почему такая скорбь на челе?»

Я пожал плечами. А она, перекрестившись, продолжила: «И в прошлом, и в нынешнем, и в будущем каждый православный христианин совершал, совершает и будет совершать грехи. Безгрешен Един Бог! Однако, здесь нужно каяться постоянно! Потому как очень многие грехи наших предков, как правило, по греховности своей забытых и неведомых нам, наложили отпечаток на нашу жизнь, вызвали нас к грехам. Но и мы не остаемся в стороне не только от потомков, но и от предков. И подчас своими поступками

вредим или помогаем. Наши нераскаенные грехи приносят им скорби, потери, и свои, - да-да, свои! - грехи, которые как бы по спирали опять влияют на нас. Вот, такой порочный, подчас, круг. Мне ли, бабе, учить вас?! Но это – как раз та теория, над которой работает сейчас мой муж. Ведь у Бога все живы. Вам в ближайшее время, как я полагаю, как чувствую, многое предстоит. Не забывайте о сказанном. И будьте здоровы. До встречи в шестнадцатом веке.

…В пятницу к обеду я был уже дома… Только неуютно как-то чувствовал себя в привычной квартире. Что-то здесь было не так. «Надо – в храм Божий! На исповедь! Елена Васильевна не зря же сказала! Она же все знает про видения… - вспыхнула в голове мысль. И вдруг жестко утвердилась в сердце: «Завтра же – в Сергиев Посад, к отцу Иллариону».

Уже знакомый Вяземский кормленщик встретил меня, как дорогого гостя. Велел накрывать стол. Но я, поклонившись в пояс, остановил его: «Прости Христа ради, болярин. Не время пировать. Государево дело! Скакать дальше надобно.»

- Это ж куда? Мы же – порубежье. А дальше – ворог! Ну-у-у, во-первых, кто тебя благословил?...

Я не дал ему закончить: «Повеление князя Курбского. А он, надо полагать, в своих делах благославляется у самого митрополита Макария. Тебя, болярин такой ответ устраивает?»

- Да не могу я тебя туда пустить! На верную погибель идешь! – мотнул упрямо головой кормленщик. Твердо, не допуская возражений, опустил глаза: «Неспокойно там нынче! Во-о-о-он, стены башни укрепляем. Не гляди, что – не лето!»

- Пойми! – начал было я, но осекся. Обернулся к своим мужикам. Подозвал Тишку. Шепотом повелел: «Никому из здешних – ни слова о деле! Коли кто приставать станет, хмыкни, мол, мы – люди подневольные: куда князь поведет, туда и идем. И знать нам о том ни к чему. Уразумел?»

Потом повернулся к кормленщику: «Здесь о деле Государевом знать будешь только ты один. Посему думай! Коли с нами что приключится… Пошли!

Я взял его за тукав и увел в хозяйский терем. Там все и поведал ему.

- Ну-у-у, дела! – выдохнул он. Перекрестился: «Свя-свят-свят! С нами крестная сила!»

Задумался он. Еще раз перекрестился. Заговорил: «Подозревал я, что кто-то здесь ворогу служит. Но ведь подозрение – тяжкий грех. Наравнее с клеветой! Однако… Соглядатая я сыщу! Делать нечего. Идти – так идти! Помоги тебе Бог!»

Он обернулся. Перекрестился на образа. Крикнул в сторону: «Трофимка!»

В гридницу влетел молодой мужик со смешливым лицом и светлыми на прямой пробор, намазанными маслом прядями на голове. Поклонился кормленщику, мне. Застыл.

- Ты когда в последний раз за Смоленск к нашим ходил?

- А то не помнишь, батюшка-болярин! Седмицу, как вернулся! – заулыбался Трофим.

- Пойдешь снова. Сей же час. Отведешь князя с его людишками к Захарке. От меня повелишь, чтобы каждое слово князя, как мое исполнили. А?

- Уразумел, батюшка-болярин. А повелишь ли с женкой проститься?

- Ступай на конюшню. Вели седлать сменных коней. Да передай от меня, чтобы

снеди какой на дорожку князю и его людишкам собрали. А куда идешь, да зачем – ни-ко-му! Да не дорогой из Вязьмы выводи. Огородами, словно на заячью охоту!

…Смоленск мы обошли стороной: благо леса там дре-е-емучие! Тимоха вел нас уверенно, словно всю жизнь ходил по этим невидимым тропам. Несколько раз ночевали мы в пустых истбушках, где однако всегда находили дрова, соль, сухари… Трофим улыбался. На третьем привале, заметив недоумение моих мужиков, пояснил: «Не гляди, что ляхи да литва почти до самой Вязьмы правят! Людишки-то наши, русьские обитают! Здесь же даже тайные пустыньки есть. Но мы в них не пойдем. Нам спешить надобно. Снега-то мало выпадает: как бы по следу кто недобрый за нами не пошел! Господи. Помоги нам!»

Опасения его оказались не напрасными. Однажды, на рассвете он резко свернул вправо от нашего пути.

- Ты чего это? – насторожился я.

- Батюшка-болярин сказал же: заячья охота! Вот в нее мы и попали! Только стали теперь зайцами. Путать следы надо! Разъезд гусарский не менее полусотни идет за нами. Эх! Святой мученик Трофим! Помогай!

Выводи! И вы, святые мученики Виленские, Антоний, Иоанн и Евстафий! Выводите нас!

И мы припустили коней прямо по открывшемуся внезапно полю. Но скоро опять оказались на опушке. Трофим придержал коня. огляделся. И тут мы все вынужденно пригнулись, потому что из леса донесся тихий свист.

- Не бойсь, – засмеялся наш проводник, - эт –то свои.

Он направил коньяка в самую гушу. Но скоро выехал обратно. Махнул нам рукой. И мы опять, по его примеру, пришпорили своих коней. И пошли вдоль опушки. Однако версты через две наткнулись на… «крылатых гусар», которых, как и говорил Трофим, действительно было полсотни. Они быстро окружили нас. Пшекающе, смеялись…

«Неужели предал?» - удивленно вскинул я взгляд на Трофимку. А тот, тоже пшекая, что кричал ворогам. Направил своего коня от нас к ним…

- Иуда! – скрипнул зубами Тишка. Но тут десятка полтора гусар, вскрикнув, повалились с коней. В лице или шее каждого торчали стрелы. Остальные вороги поначалу опешили. А на них уже неслись десятка два хорошо снаряженных мужиков. Трофим

первым врезался в смешавшиеся ряды гусар. И я сам увидел, как под его саблей пали двое. Не стоять же было мне на месте! Я кинулся в сечу. Мои мужики – за мной. И тут я вдруг увидел среди наших троих легко одетых боляр. Они не рубили ворога. Зато своими саблями, полами расстегнутых кафтанов, да и просто… руками отбивали гусарские сабли, казалось бы, настигающие и моих мужиков и тех, которые так неожиданно пришли к нам на помощь.

Когда все было кончено, но я не заметил тех самых боляр среди наших спасителей. Спросить Трофимку? Мужика? Как-то не по-княжески… Но тут подал голос мой Тишка: «А что за боляре рубились среди нас с ворогами? И где они?»

Тимоха хмыкнул. Перекрестился: «Ты тоже видел их? Не ведаю даж»

- Да это ж - святые мученики Виленские! – ответил вдруг крепкий еще старик, чем-то напомнивший мне Степана.

- С нами Крестная сила! – перекрестился Тишка.

А старик продолжал: «А вы не ведаете о них? Они завсегда на помощь приходят тем, на кого латиняне ополчаются.»

Как будто в поисках объяснений, я огляделся. Местные мужики собирали

оружие порубленных и пострелянных гусаров. Цокали языками, если вдруг у кого-то находили самострел.

- Расскажи, отец, - попросил вдруг Тишка.

- Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий, - заговорил старик, - принадлежали к роду знатных литовских боляр и несли придворную службу у князя Ольгерда. Иоанн и Антоний - родные братья - приняли от святителя Нестора святое Крещение. От него молодые придворные узнали про Христа, Новый завет и христианскую веру. Однако христианский образ жизни даже внешне отличался от языческого и не позволял долго держать в тайне свою верность новообретенной вере. На вопрос Ольгерда, почему они нарушают древние обычаи, братья открыто назвались христианами. Не желая распространения христианской веры среди своих слуг, быть может, мучимый совестью за измену православию, великий князь начал склонять их к измене. Он, как сказывал мне еще мой дед, принуждал их отказаться от благочестия, съесть на трапезе мяса! В постный-то день!. Отказавшись исполнить это, братья были закованы в железа. Год, проведенный в темнице, сломил волю

старшего из братьев - Иоанна. Он умолял князя об освобождении. Обещал вернуться к язычеству. Отступничество Иоанна было для Ольгерда достаточным, чтобы отпустить на свободу обоих братьев. Однако и теперь Антоний не пожелал изменить христианской вере. Иоанн, как рассказывают, тоже остался в душе православным. Измученный совестью, он просил пресвитера Нестора - духовника Антония, который мог посещать его в неволе, даровать ему прощение. Тогда Иоанн вновь, теперь уже перед множеством народа, исповедовал Единого во Святой Троице Бога. Эта дерзость не могла остаться прощенной язычниками. ьвонв дрегьлО лишил свободы придворного. Во мраке темницы, в ожидании немилосердмой кары, объединились единым духовным порывом обоих братьев. Через несколько дней сердца языческое окружение Ольгерда потребовало крови исповедников. Еще накануне Антонию был оглашен приговор, и всю ночь он провел в молитвенном бдении и исповеди своему духовному отцу и наставнику Нестору. в из его рук святое Зимним утром, приня причастие, он был повешен на дубе, где обычно проходили смертные казни. Через десять дней был задушен и святой Иоанн, а повешено на том же дубе. Третьим -тело его

мучеником за веру нашу святую стал Евстафий. Однажды он прилюдно назвал себя христианином и отказался нарушить пост. Его жестоко пытали. Поддержанный и укрепленный Святым Духом, Евстафий не только стал нечувствителен к боли, но даже утешал братьев во Христе. Его также повесили. На месте кончины святых ьгерда Иулиании мучеников по воле жены Ол была построена часовня, а князь Константин Острожский поставил там храм во имя Святой Троицы…

- Ты, старик, рассказываешь, словно поп или свидетель сего подвига, - не удержавшись, хмыкнул я.

- Я – сам из тех мест. Сам исповедовал веру Православную. Бежал. Прижился здесь. А о святых Виленских мучениках мне поведал, сказывал же уже, мой дед. Вот он, действитзльно, был попом. И его за веру утопили в проруби, - вздохнул и перекрестившись, рассказчик. И завешио повествование: «И здесь, и дальше - на Белой Руси, святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий особо почитаемы. Поэтому, как вы видели сегодня, помогают в разных бедах. Святые угодники Божии, - они завсегда так. Им только молиться надо почаще. Да самим поменьше грешить.»

- А где ж вы обитаете? – спросил я.

- Мы, как птички Божии. В лесу есть вёска. Но и оттуда согнать могут в любой день.

- Чем питаетесь?

- А чем Бог пошлет. Иногда выходим лесами под Вязьму. А передохнув там, у своих, - снова сюда. На дело Божие и Государево. Опять же – обозы ляхов, литвы, крымчаков, жидов забираем и нищим нашим землякам раздаем.

- Разбойничаете? – хмыкнул Тишка.

- Нет, милай! Свое вовзращаем. Своих мы не трогаем. Смоленск-то испокон века русьским поселением был. В нем предки наши, которые шли «из варяг в греки» ладьи да струги смолили. Потому и – Смо-о-оленск! Забрали его у нас неправедно. Потому и хозяйничать в нашем хозяйстве иродам мешаем. Разбойничают они. А мы свое возвращаем. Сказывал же уже: Государево дело творим. На службе, значит, у Царя нашего. Под предводительством кормленщика Вяземского.

- Эт-то, как казаки, - пояснил я Тишке, - только Дубок со товарищи на востоке, а эти – на западе.

Сам же устыдился: как же смел требовать с кормленщика сына на

Московскую службу. Во-он, сколько чад его по вражьей земле службу правят. Каждый день смертушку лютую в темные, провальные зенки видят!

- Как величать-то тебя? – спросил я старика.

- Во святом Крещении Миной нарекли. В честь святого великомученика Мины. Тоже ведь ратник был зна-а-атный!

- Ну, вот, что, Мина. Мы идем по делу Государеву…

- Да уж, ведомо. Трофимка сказал, - перебил меня старик, - и повеление мне передал: если не найдут вас супостаты, проводить до Минска. А уж там вас другие встретят и дальше с ними пойдете. Захаркины людишки. А этих антихристов перистых скоро хватятся. Но мы уже да-а-алеко будем. Пойдем опять же тайными тропами.

И через несколко дней мы, безо всяких приключений, обошли стороной Минск. Ночевали в глухих, вёсках, затерявшихся в лесах и болотах. И всюду, куда приходили, простые мужики, попы, даже обнищавшие русьские князьки встречали нас, словно родных. И все, как один, спрашивали с надеждой и слезами на глазах, скоро ли

русьский Белый Царь свободит их от ига, которое похуже ордынского.

- Те, хоть веру нашу Православную не трогали. А здесь приходится прятаться. В лесах да на болотах требы исполнять, Божественные Литургии, Утрени, Вечерни служить. А коли поймают кого на них, тут же – на кол или в костер, - вытер слезы с глаз старенький поп, приютивший нас в землянке, посреди леса, где в таких же «хоромах», как у него обитали и мужики и даже молоденький князек с редкой рыжей бороденькой.

Про снеди и говорить не приходилось. Жили людишки впроголодь. Охотиться – и то было опасно. Местные «паны» называли леса своими угодьями. И жестко наказывали, если ловили кого даже с подстреленной уткой.

- А храмы Божии наши все в костелы свои превратили! - продолжал жаловаться поп. Вытер слезящиеся глаза: «Как жиды здесь лютуют, и говорить грешно: как бы язык за такие слова не отсох. Эти и панов, и судей, даже попов ихних купили. Видел я жидов даже среди монахов римских. Эти вообще никакой власти не признают. Какими-то орденами себя величают! И с мечами под подрясниками ходят. Где ж это

видано, чтобы в ангельском чине оружие носить?! Может быть, и ангелы они… Только – темные, из тех, кто отпал вместе с денницей, с сатаной, стало быть.»

Спустя еще седмицы полторы, - и опять безо всяких приключений, - мы подошли к Берестью. А там и до поместья Тисовье было рукой подать, как сказал Захарка, все эти дни и ночи ехавший с нами вместо Трофима, оставшегося под Минском. Да-а-а… Это было не поместье, а каменная крепостица со стенами сажени четыре высотой, глухими башнями, уходящими в небо еще выше, чем стены. И подойти-то к поместью можно было только ночью или на рассвете, в туман. Стояла крепостица на самой вершине холма, сбегающего к обрывистому берегу реки. Я вспомнил, как княжич Димитрий рисовал мне на снегу: что, где и как расположено в поместье. Но тогда я даже не представлял, как смогу забраться на стену, по которой ходили дозорные, - ночью с факелами, - пройти по ней, дойти до подвесного перехода. Или мне надо было спуститься и по земле, - опять же, на виду у сторожи, дойти до жилых хором, проникнуть в них. Но делать было нечего. Мы дождались темноты. Захарка достал и из мешка длинную веревку с трехжальным крюком на конце. Раскрутил

ее. Закинул на стену. Подергал, проверяя, прочно ли зацепился крюк. Хлопнул меня по плечу: «Ну, что, я – первый?»

- Нет, много людишек привлечет много внимания. Я пойду один.

Захарка и Тишка одновременно покачали головами. А я полез по веревке… Слава Богу, никто из дозорных на стене меня поначалу не заметил. Я подкрался к одному из них, зажал сзади рот и вогнал под доспех сверху в шею кинжал. От стены до ближайшего окна в жилых хоромах и было-то сажени три. Я прикинул в уме, хватит ли веревки. Должно было хватить. Я раскрутил крюк и закинул его на крышу хором. А потом, как в детстве, на веревке, привязанной к толстой ветке дерева, склонившегося над Гусем, чтобы долететь до середины реки, оттолкнулся и, скользя вдоль стены, влетел в открытый висячий переход, уходящий в темноту покоев. Но тут же наткнулся на «крылатого» гусара, который, как будто нарочно, поджидал меня. Он принялся доставать свою тяжелую саблю. Однако я успел ударить его рукояткой самострела по щековине шелома. Гусар развернулся всем телом. Протянул к лицу руку. Даже нагнулся. А я, обхватив сбоку, свернул ему шею. И кинулся дальше по

извилистым, низким и узким каменным переходам. Сворачивал то направо, то налево, словно кто-то вел меня. И чуть не попался, выскочив на двух «крылатых» гусар, стоявших у дубовой, красиво окованной двери. Первый из них упал, пробитой болтом из самотрела в шею. Второй попытался нанести удар обнаженной саблей. Но, отбив его, я отцовским приемом вогнал свою в его шею сверху вниз, под доспех. Гусар даже и пикнуть не успел. Толко выдохнул кровью. Я положил очередной болт в ложе самострела и распахнул дверь в покой. Там стоял полумрак, рассеиваемый свечами, - почему-то черными! – и огнем в камине, перед которым спинкой ко мне стоял высокий трон. Вдруг он развернулся, и я увидел… Аллу. Она восседала в драгоценной наряде с высоким кружевным воротником, - я и названия такого сарафана не знал, - унизанном самоцветами. Волосы были прибраны в причудливый узор. Груди, прижатые друг к дружке платьем, - обнажены наполовину. Лицо и губы блестели, словно намазанные чем-то. А в руках ее была… пистоля, направленная в меня. Похожую нам показывал Государь в Коломенском. Я вспомнил, как стреляет она.

- Я ждала тебя, - улыбнулась Алла. Но я не узнал свою бывшую суженную. Ее словно подменили: в глазах был красноватый, совсем неженский, даже нечеловеческий блеск. Пухлые, когда-то нежные губы теперь искревились в злобе. А нижняя оттопырилась и свисла вниз. Алла повторила: «Я ждала тебя, Алексашенька. Видела, что ты идешь по моим следам. Но что мне с тобой было делать на твоей земле? Это – неинтересно! Просто убить – никакого удоольствия. А здесь… А здесь я – хозяйка! И буду делать с тобой все, что захочу.

- Как ты видела? – прохрипел от безсил»ия я.

- А вот, как.., - и она, не сводя с меня глаз и ствола пистоли, левой рукой взяла со стола небольшой прозрачный шар, в котором вдруг я увидел… себя, мужичков, убиенных в Царевом Займище ратинков с заставы, иных, помогавших мне в этом походе.

- Видишь, от меня ничего не скроешь, - вернула Алла на место шар, - потому что я - сильнее твоего Распятого!

- Погоди! А наш ребенок? – почти закричал я, вспомнив ее совсем другой.

- Ребенок? Ха! Святой отец, который руководит мною, повелел мне избавиться от

него, ибо он, если бы повзрослел, стал бы опасен для всего моего дела.

- Ты убила наше чадо?! – почти задохнулся я.

- Да, - прозвучал скрипучий голос и из-за моей спины вышел уродливый старик в коричневом балахоне, подпоясанном обычной веревкой.

Я пытался вспомнить, где я видел это страшилище? Его нос, - весь в бородавках и волосах, - свисал до самого подбородка, выступающего далеко вперед. Корявость плоти, похожей на ведьмачески-старушечью, из бабушкиных сказок, не скрывало даже облачение.

Урод обошел меня вокруг. Приблизился к Алле и встал позади нее справа, сгорбленно облокотившись на высокую спинку трона.

- Да, - повторил он, - так благословил я.

- Неужели ты думаешь, пся крев, - сверкнула красноватыми глазами Алла, - что я захочу родить от тебя, наивного, глупого, варвара, готового поверить во все, что ваши попы внушают таким же, как ты?! Да, я вытравила из чрева тво-е-го ребенка! Вы верите в Распятого. Ха! Но и Его кто-то создал. И этот кто-то – великий созидатель вселенной! И в ней ему подчинено всё! А

значит и нам, его слугам. И скоро нам подчинятся другие. Например,.. Курбский, Адашев, почитаемый тобой поп Сильвестр и его сынок-купчишка. Они же заражены жаждой власти и золота. А жажда будет расти, словно снежный ком. Вот эта жажда и приведет их к нам на службу. И царишку твоего Ивашку мы с их помощью так оболжем. На тысячи лет этой лжи хватит. И тогда твоя Россия станет имперской провинцией. Ха! Ты что же, полагаешь, что против вас, дикарей, варваров, встал какой-нибудь римский «папа» или так называемое «великое» княжество литовское, или Речь посполитая, или, - того смешнее, - турецкий султан с его ханствами казанским и астраханским? Ха-ха! Нет, суженый мой да ряженый! В прошлом, конечно! Все они в рукаве у нас! Против вас встал Великий Созидатель всего сущего в мире сем! И мы – его слуги! Нет ни наций, ни народов! Нет и-и-их! Для нас! Для нас нет их! Мы – везде! В любом народе! В любой нации! Мы - единственные, кто способен управлять вами, скотами! И вы подчинитесь нам! Или погибнете! Так научил нас великий Адонирам!

- Да-да, - закивал урод, - и бабы ваши станут избавляться от детей своих еще в

своем чреве. Так удобнее! К тому же мы внушим им, через таких, как Курбский, что избавление от детей еще во чреве сущих, омолаживает, исцеляет их организм. Вот уж, будет славно. И станут они гибнуть, потому что посчитают, что за это им от Распятого не будет прощения. И закончится ваш род! А те, кто останутся, станут нашими рабами и рабынями.

- Курбский? – мотнул я головой.

- Да-да, - услышал знакомый голос сзади, и из-за моей спины передо мной возник… пан Ян. Он тоже обошел вокруг меня, оглядывая с ног до головы и встал по другую сторону от Аллы. Продолжил: «Курбский-Курбский! Он пока еще и сам не понимает, что уже – наш! В его гнилое, завистливое и корыстное по сути, сердце наше зерно уже брошено, словно в навоз, и пустило росток.»

- Не тешь себя мыслью, что можешь что-то исправить! - усмехнулась Алла. Положила пистолю на стол: «Если бы я не была уверена в том, что ты живым отсюда не выйдешь, мы бы тебе ничего не сказали. Увы! Ты умрешь. Но умрешь в муках безсилия что-либо исправить. И еще одна разновидность скорби, как говорите вы, предстоит тебе. Но вы, русьские, сами

виноваты в своих скорбях. Сколько же мне пришлось терпеть тебя! Пся крев! Да, умрешь ты мучительно. Почему? Как? Завтра узнаешь.»

- Погоди-погоди, – пострался я растянуть время, - пусть: Курбский - Курбским. А кто это, - Адонирам?

- Твоя любознательность похвальна, - хмыкнул урод. И, почесав полубритый подбородок, задумался.Потом вдруг промолвил: «А вдруг и он поможет нам? Конечно в чине ученика. Пока. Ну, так слушай! Адонирам являлся сыном некой овдовевшей женщины из рода Нефтелимов, в силу чего мы часто имуем себя "детьми вдовы". Великий мастер Адонирам начал возрождать храм. Его возведение всемирного - даст человечству возможность создания идеального общественного устройства. Храм есть микромодель мира, поэтому архитектор должен быть посвященным в таинства мироздания. Сто тридцать тысяч рабочих, - ты только представь! тысяч! - участвовавших в строительстве, Адонирам разделил на три степени эзотерической инициации: ученики - товарищи - мастера. Вышестоящей степени соответствовала более высокая плата за труд, выдаваемая при произнесении соответствующего пароля.

Символическим паролем для учеников служило слово "Иоаким", для товарищей - "Вооз", для мастеров - "Иегова". Возбуждаемые завистью, трое «товарищей» вознамерились силой или обманом выведать у Адонирама тайное слово степени мастера. Недостойные подмастерья олицетворяли три человеческих порока - зависть, невежество и лицемерие. Когда архитектор совершал обход храма, у южного входа первый из заговорщиков в ответ на отказ выдать пароль нанес ему удар по шее двадцатичетырехдюймовой линейкой. Второй у западных ворот ударил мастера в грудь угольником. Наконец, у восточного входа третий из подмастерьев убил мастера, поразив его молотом в голову.

- Что-то не совсем ясно мне: «микромодель», «эзотерические», «инициации»! Хотя, на мой взгляд, подло поджидать начальника и бить его, чтобы узнать державные тайны! Служить надо там, где Бог поставил! Надо мне всё обдумать! - проговорил, было я.

Но вдруг Алла встала с кресла. Поднесла ладони к пламени камина. Некрасиво скривив губы, произнесла: «Ну, вот, видите? Варвар – он и есть варвар! Если бы Всевеличайшему было угодно, сей гой

схватил бы на лету наши постулаты. Увы! Он должен либо стать рабом, либо умереть. Рабом он не может стать. Посему, пока…»

И я, почувствовав удар сзади по затылку, погрузился в липкую, тягучую, красную мглу… А очнулся оттого, что кто-то щекотал мне щеку. Я открыл глаза. Тусклая свечка едва освещала низкую каменную кладку, как я понял, подземелья. Руки нащупали солому, на которую, видимо, меня бросили. Где-то однотонно капала вода. И эти звуки разрывали болящую голову. Я опустил глаза на грудь и увидел на ней… большую крысу. Именно ее хвост щекотал мне щеку. Я вскинулся. Крыса пискнула и упрыгала куда-то в темноту угла. Руки мои и ноги оказались скованными между собой длинной тяжелой цепью. Когда я попытался сесть, она громко звякнула. И словно в ответ ей, лязгнул запор с наружной стороны двери. В подземелье вошел хромой старик. Посмотрел на меня. Хмыкнул. Расплылся в щербатой улыбке: «Пришел-таки в себя. Что ж, я вот, пожрать тебе принес.»

И в двух саженях от меня поставил на пол глиняную плошку с каким-то варевом, небольшой кувшин и рядом положил горбушку хлеба. Я отвернулся. А он дребезжащее засмелся: «Ты не бойсь.

Травить тебя никто не станет. Тебе другая казнь придумана. Ве-е-еселая! Так что, жри пока. А то ведь у тебя здесь - много прихлебателей. Не успеешь сам, так они все подберут и подлижут»

И он опять задребезжал щербатым ртом. Развернулся. Ушел. Но я не успел даже приподняться, чтобы доползти до снеди. К ней из всех углов кинулись крысы. Они затеяли меж собой грызню за обед. Или ужин? А может быть, только завтрак? Крысы скоро исчезли, разбежавшись в мрак подземелья. Нетронутой осталась только вода в кувшине. Я сделал глоток, но тут же выплюнул: вода была протухшая. Должно быть, как и еда. «Задушить бы этого живодера цепью! – подумалось вдруг, но я осекся, - А дальше? Как я оковы-то сниму. С ними далеко не убежишь. К тому же, сторожа, поди на каждом шагу стоит. И выхода из подземелья не знаю.»

Я стал молиться. Читал вслух всё, что помнил.. А помнил, оказалось, мало! Зато вспомнился княжич Димитрий. Вот он-то знал столько молитв, что на всё оставшееся время хватило бы. «А может быть, дать обет, мол, если спасусь, приму монашеский постриг»? – кольнула больную голову мысль.

- Ты для другого рожден, - услышал я рядом.

И увидел шагах в двух, сидящего корточках русьского князя. Только снаряжение его было древним. Он улыбался.

- Ты кто? – спросил я.

- Зови меня Ростиславом. А послал меня мой кровный отец – Великий Князь Мстислав-Феодор. По повелению Божиему, конечно.

«Мстислав… Мстислав.., – напряг я память, - да это же - Небесный Покровитель княжича Мстиславки из моего десятка! Значит и этот – святой… Или я уже рассудка лишаюсь»?

- Эх-эх-эх, – покачал головой странный гость, - запамятовал ты, что каждому дается по вере его. А пришел я к тебе, чтобы сказать, как молиться. Лежи и потворяй: *Господи, Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий Богородицей и всеми святыми помилуя мя*! И не будет поругана вера твоя. А насчет пострига твоего… Нет, брат… Я, вот тоже хотел, было, постричься, да духовник мой, отче Симеон так сказал мне на это: “Княже! Для чего хочешь сне сотворить! Бог тебя учинил князем, определил тебе правду делать и праведно подданных судить, все свои обещения и клятвы твердо и нерушимо

держать, а не как чернецу уединиться от людей. Какая тебе благость и добродетель будут, если Богу и людям отречешься?”

- Мне праведно судить? Да кто ж даст теперь? От смерти лютой в двух шагах стою, - мотнул я головой.

- Сказывал же тебе уже: каждому дается по вере его. Ты же обет свой, данный когда-то отцу, не нарушил. Если не считать, что поддался на происки сатанинского отродья Но это – потому, что не веришь в способность людишек на подлости, на которые не способен сам. И будет тебе это – хор-рошим уроком. А теперь прощай. Молись.

И он исчез. Значит, это был святой! Значит, я еще в очах Божиих не совсем законченный блудник! Значит есть еще надежда спастись! И я стал повторять слова молитвы, подсказанной мне. Незаметно задремал. А проснулся от лязга запора в мою темницу. Теперь в нее вошли несколько мужиков с бритыми, бабьими подбородками, в черных кожаных коротких кафтанах, - или как это у них называется, - в таких же портах и высоких сапогах. Они подхватили меня. Поставили на ноги. Накинули на голову мешок и вытолкали из темницы. Я старался запомниать число поворотов направо и

налево. При этом считал шаги. Когда с головы сорвали мешок, я увидел, что опять нахожусь перед сидящей на крутящемся троне Аллой. Теперь она была в другом, нежели в прошлый раз, не менее богатом платье. Но вместо пистоли вертела в руках какие-то маленькие шипчики. И так же кривила губы. Улыбалась. Зато по обеим сторонам от трона, кроме пана Яна и старого урода в балахоне, стояли четверо холопов с саблями наголо

- Как почивалось Алексашенька? Как вкушалось и пилось? – спросила она и кивнула затянутым в черную кожу. Те подскочили ко мне и завернули руки за спину. Стянули цепь так, что я не мог даже пальцем пошевелить. Алла же продолжала: «Пора тебе ответить за ту плотскую боль, которуя я вынуждена была претерпеть, выкидывая твоего ублюдка из своего чрева.»

И она медленно, повиливая задом, обошла вокруг меня, разглядывая снизу до верху, словно видела впервые. Зашла за спину. И… щелкнула щипчиками. А меня от ладони до плеча прожгла боль. Я понял, что ее щипчики «откусили» часть моего правого мизинца. Я едва сдержал стон. Но поморщился.

- Ох, как нам больно! - воскликнула Алла. Потом прошептала, приблизив ко мне лицо: «Вот так каждый день теперь я буду лишать тебя части твоей плоти. По ма-а-аленькому кусочку. Сначала – на правой руке, чтобы ты даже не мог перекреститься. Потом – на левой. Затем - на ногах. И, наконец, ты лишишься всего, что выступает наружу. А потом я посажу тебя еще живого, точнее то живое, что от тебя останется, - ха-ха, - в боченок с крепким соляным раствором. Но… Ха-ха! Сейчас ты испытаешь муку другого рода.

Она опять кивнула холопам и те подвели меня к окну. Алла сама распахнула тяжелые занавески. Кивнула за окно. Я взглянул и увидел на дворе, прямо передо мной, моих мужиков, посаженных на колы. Кто-то из них был еще жив. И мучился. У отошедших ко Господу остекленелые глаза, казалось, вывалились наружу целиком, а на лицах застыл такой ужас, какого я еще никогда и нигде не видывал. Я мысленно попрощался ними. Попросил Господа упокоить их души. И вдруг, вглядевшись, пересчитал: мужиков было только девять! Среди них не было Тишки! Неужели спасся? Значит, не бросит! Нет и Захарки. Значит и этот ушел от ворогов!

- А ведь в их муках и гибели виноват ты, Алексашенька! - перебила мои мысли Алла. Вкрадчиво проговорила: «По повелению какого Бога ты погнал их сюда? На верную гибель. А значит и сам убил! Да как! Им бы землю пахать, холопок своих тискать, да ублюдков тетешкать. Вот и мучайся теперь в ожидании отмщения от своего Распятого за то, что привел этот скот на убой! Зная тебя, представляю, что теперь творится на твоей душенке. Уведите его обратно в темницу. А нам пора и потрапезничать, как говорят русьские.»

Мне снова накинули на голову мешок. И вытолкали вон. Снова я считал шаги. Пробовал запомнить где, как и куда сворачивать. Боль прожигала всю руку. Но введя в подземелье, мои сторожники замешкались и… перевязали оставшуюся часть пальца. Сорвали с головы мешок и бросили меня на солому.

… Я очнулся от боли. «Ныл» отрубленный палец. Болела голова. Язык и губы, царапая, скреблись друг о дружку. Сколько же я не пил и не ел ничего? Сосчитать в уме не удалось из-за боли и слабости. А скоро меня опять с мешком на голове, протащили по переходам и втолкнули в покои Аллы.

- Как же ты похудел, осунулся, любый мой! - скривила губы в улыбке она. И смерила меня взглядом: «Что ж… За все надо платить. К сожалению, мне необходимо выехать ненадолго. Придется отчитаться перед моим Высшим Советом за мое неудавшееся до конца внедрение в окружение твоего царишки. Но меня простят уже за то, что в Московии я немало взрастила плодов для нашего воцарения над вами, варварами. Для вашего же просвещения. К тому же учтут и мои прошлые заслуги. Можешь порадоваться за меня. А пока…»

И опять я лишился еще одной части мизинца.

- Когда я вернусь, мы продолжим наши забавы с твоими выступающими наружу частями плоти. А пока я прикажу тебя хорошенько поить и кормить, - засмеялась она, похрустывая пальцами.

И снова с мешком на голове я оказался в своем подземелье. Только теперь старик, ставивший передо мной тухлятину, принес вареные яйца, зажаренного гуся, свежего хлеба и жбан ромейского. Насытившись, я провалился в сон, даже забыв о боли. А проснулся от лязга засова. Поднял голову. В дверях в каком-то немыслимом

басурманском наряде стоял… княжич Димитрий. В одной руке у него была окровавленная сабля, а другой он, держа за шиворот пригибал головой к полу моего темничного стража. У меня даже голова закружилась, когда из-за спины княжича выглянули Дубок и мой Тишка. Тоже с кровоточащими саблями. А когда они вошли ко мне в подземелье, я увидел и Алену, - дочку Дубка. Она была тоже в каком-то иноземном наряде, вся обвешанная бусами, монетами, нанизанными на нити и почему-то с волосами черного цвета. Одной рукой Алена, обхватив сзади, сжимала шею Аллы, а другой приставляла к ее горл длинный широкий нож. Но тут, несмотря на боль в пальце, я не мог не рассмеяться. У Алены под глазом красовался хор-роший синяк. Как это ее угораздило?!

- Жив.., – воскликнул княжич Димитрий, - слава Богу!

У меня на глазах выступили слезы. Я хотел что-то сказать, но Дубок дал пинка моему стражу и прикрикнул: «А ну, холоп, снимай железа с князя!»

Потом он обернулся и бросил куда-то в невидимую глубину коридора: «А этих тащите сюда. Вот их-то как раз и – в железа!»

И в темницу втолкнули… пана Яна и уродливого старика в коричневом балахоне. А за ними вошли Захарка и еще несколько казаков Дубка и ратников княжича Димитрия. Меня тут же расковали. Я растер руки и ноги в тех местах, где их натерли цепи. Княжич Димитрий, увидев мой изуродованный пальец, спросил, кивнув на Аллу: «Она?»

- Она-а-а,- ответил я.

Княжич Димитрий подошел к Алле. Сорвал руковицу с правой руки. И тут только я заметил, что у него вообще нет мизинца и безымянного пальца. Как же я раньше не обратил внимания?!

- Помнишь ли? – покрутил он изуродованной рукой перед лицом Аллы.

- Пся крев, - процедила та сквозь зубы и отвернулась.

- Ну ничего, - сдержал я ненависть к ней, хотя желание ударить ее было почти непреодолимым, - в Разбойном Приказе она по-другому заговорит.

- Тогда надо уходить! - тихо проговорил Захарка. Тронул за рукав княжича Димитрия: «Как бы кто из местных холопов не успел сбежать в Берестье. Коли так случится, сюда сотен пять ратников мигом пришлют.»

- А этих куда? – кивнул на пана Яна и старого урода Дубок.

- Первого берем с собой, - повелел я, - в железах. Он тоже много знает. А этот урод еще подохнет в дороге. Возиться с ним – себе дороже! Замкнем здесь. А ключи по дороге куда-нибудь в снег зашвырнем.

В переходах, по которым спешили мы, то и дело валялись порубленные холопы Аллы. Даже те, в черной коже. Во дворе снег алел под убитыми ворогами. Аллу и пана Яна в железах мы бросили в узкие, - для лесных дорог, - сани. А я вдруг почему-то вспомнил, как пожалел Аллу в обозе посольства, как бросил ей и другим бабам волчьи шкуры. Мы выехали из крепостицы и сразу свернули в другую от дороги на Москву сторону. Я воспросительно взглянул на княжича. Тот хмыкнул: «Надо запутать следы. Сделаем небольшой крюк.»

- Как ты проник в поместье. Такие стены!

- А ты посмотри на меня! - засмелся Митька. И скосил глаза: «Ну чем я не восточный купец. А их услуги здесь, ой, как, ценятся. В тот раз, когда меня пытали, я видел, как в замок въехал такой же. И тут же кинулся в покои. Стало быть, какие-то важные вести привез. Вот я и подумал…»

- Нет. Ты погоди! А как ты здесь вообще оказался? Притом вместе, – замотал я головой, - с Дубком. А люди твои? А казаки?

- Отпросились у Курбского. Я ведь знаю колдовские повадки этой мерзавки, - кивнул он на Аллу, - Вот и убедил князя Ондрея, что тебя надо подстраховать. Только от самой Вязьмы мы шли уже под видом купцов. Поэтому задержек, крюков, каких-то опасок в дороге не было. Быстро пришли.

- А синяк у Алены под глазом? Он, сдается мне, ей не к лицу! – улыбнулся я.

- Это твоя бывшая суженая-ряженая изловчилась… Но Алена наша, скажу я тебе, ладный ратник. Так ее скрутила. А до этого еще троих слуг ее зарубила. Сразу двумя саблями дралась.

Я обернулся на Алену. Та, как и мы, ехала верхом. А поймав мой взгляд, вдруг зарделась, что твой маков цвет. Опустила глаза. Гикнула и хлестанула плеткой лошадку, запряженную в санки с полонянами.

Дорога шла спокойно. Захарка, зная все ворожьи заставы, предупреждал о них загодя. Тогда мы стянув цепями руки и ноги пана Яна и Аллы, затыкали им рты, заворачивали

в рогожи и навалилвали на них всякую рухлядь. На заставах княжич Димитрий, опять превратившийся в восточного купца, щедро платил, отчего сторожники довольно цокали языками, пшекали, мелко кланялись. Наконец-то мы оказались на порубежье. До Вязьмы было рукой подать. Проезжая в хвост нашего отряда, я вдруг услышал голос Аллы: «Князь Александр! Напрасно вы нас с паном Яном в Москву везете. И там есть наши людишки. Не допустят они нас до Разбойного Приказа. Все одно убьют. А тебе, я слышала, велено доставить меня живой или мертвой. Так привези… мертвую. Ведь я бы тебя не пожалела. Убила бы. Как убила нашего с тобой ребенка.»

- Да-да, - закивал пан Ян, - мы же говорили тебе: ты не ведаешь, с кем ратиться захотел. И все вы не ведаете. Наши люди – везде. Уж если перед нами герцоги, принцы, короли трепещут! А ваши некоторые боляре?! Знают, что либо встанут в наши ряды и будут выполнять повеления Высшего Совета, либо умрут лютой смертью. Так что, если не убьют нас по дороге на Москву, достанут даже в подземельях Московского Кремля. Побоятся, что под пытками мы выдадим вселенские тайны захвата власти над всеми народами и странами. А потом…

Неужели тебе не обидно оттого, как мы мучали тебя. Отомсти!

Я, не ответив, проскакал мимо. Однако вслед услышал: «Эх! Русьские варвары! Какие-то все вы блаженные! Никакой хватки! Кому нужно ваше благородство, кроме вас самих?!»

…Перед Вязьмой кормленщик, оповещенный ускакавшим вперед Захаркой, встретил нас во главе большого отряда ратников. Полонян, не снимая с них желез, отправил подклети своих хором. А нас он пригласил на трапезу.

- Слава Богу! Живы и здоровы! Да еще и с гостинцами для Государя и князя Курбского. Заговляться пора! На Великий пост. Сегодня Масляная седмица началась! - улыбнулся он.

- Нам бы – в баньку! - вдруг жалобно попросил Митька.

- Молочка хотя бы с блинками с дорожки отведайте! А банька через малое время будет! – уверил болярин.

…Распаренные и расслабившиеся мы сидели за столом кормленщика и насыщались стерляжьей ухой, блинами с икрой и осетриной, сметаной, яйцами… Вдруг Алена вскинулась. Обратилась к

Дубку: «Тятенька! Дозволь к болярину обратиться.»

Тот кивнул. Алена же поклонилась в пояс. Опустив глаза, проговорила: «Прости, болярин, что за столом такое говорю. Но, вот, мы из баньки пришли. А полоняночка-то наша – тоже баба. Дозволь я ей ушат воды отнесу?»

Раскрасневшийся и захмелевший кормленщик умилился: «Иди, милая. Только поосторожней. Ты полонила, ты ей и хозяйка теперь. До Разбойного Приказа, конечно. Одна в подклеть не заходи. Вот ведь, какие девки у нас на Русьской земле! Даже о вороге по-христиански заботятся.»

Однако Алена скоро не вернулась. Дубок сидел. Хмурил брови. Митька тоже выглядел озабоченным. Наконец, последний не выдержал: «Кабы чего недоброго не произошло. Пойдем-ка, Алексашка, спустимся к ворогам.»

И опрометью кинулся из-за стола. Я - за ним. Там мы увидели посиневшего лицом с выпученными глазами и следами от цепи на шее ратника, лежавшего на полу, опрокинутый ушат. И борющихся Алену и Аллу. Последняя изловчилась и сзади обвила цепью шею дочери Дубка. Мы с Митькой

выхватили сабли кинжалы. Но Алла прикрылась Аленой.

- Дочка! – раздался позади нас голос Ивашки Дубка. А я вдруг вспомнил, что только недавно проверял свой навык метать кинжал или нож. Но как это сделать, если от моей цели меня отгораживала Алена. Не мог же я…

- Кидай князь… Не мне же, отцу, - выдохнул Дубок.

Но тут и Алена вдруг резко нагнулась и Алла, перелетев через ее спину и голову, оказалась прямо перед нами. Словно цепом, ударила оковами Дубка, Митьку… А тут я метнул кинжал…

- Видишь, - прохрипела Алла, приложив ладонь к самому центру груди, из которой торчала рукоятка моего кинжала, и слизывая с уголка губ выступившую струйку крови, - опять получилось по-моему. Я победила тебя, Алексашенька…

И она рухнула замертво.

Прежде, чем ехать в Сергиев Посад к отцу Иллариону я все-таки решил принять душ, перекусить, привести себя в порядок и сходить в районную поликлиннику. «Вот ведь, – досадливо подумалось вдруг, - сколько раз собирался встать на учет в

железнодорожной, ведомственной, министерской поликлинике. Руки не доходили! Дядя Леша из Лужков назвал бы меня безручкой»! «А в чем, собственно дело?! – ответила вдруг другая мысль, - Стоял бы там на учете. Поехал бы сейчас… А это – не ближний свет. Семь верст киселя хлебать. А своя, родная, районная поликлиника – в десяти минутах ходьбы»!

И тут я вдруг понял, что досадую исключительно на себя, на Валентину. Тоже мне, же-е-ена! За три недели один раз приехала! И то – на полчаса! Остальное же время с матерью протрепалась да по магазинам прошлялась! И мне вдруг показалось, что я не люблю ее! Или просто почувствовал ее нелюбовь.

«Ага, - думал я, - значит я могу любить не саму Валентину, а только ее любовь, заботу обо мне! Ну, и мерзавец! А ведь по ней даже не скучал! Как же? Ску-у-учал! Ага! Скучал не по ней, а по ее заботе. Обихаживанию. И злился за то что не получаешь желаемого! Нет-нет-нет! Здесь что-то не так! А может быть, действительно: нечистая сила? Колдовство? А может быть, все эти недобрые мысли мне сейчас кто-то внушает?»

С этими и подобными мыслями, словно раздирая зажившую рану, я вошел в кабинет к пожилой врачихе. Как ее? Антонина, по моему… Отчество забылось… А она улыбнулась. Кивнула, приглашая присесть: «Поправились, молодой человек? Как сейчас чувствуете себя?»

- Спасибо! Только что - из больницы, забежал домой, и сразу – к вам. Вот - выписка из истории болезни.

Участковая врачиха пролистала толстую книжицу с назначениями, анализами, заключениями. Довольно хмыкнула: «Да вас там не только вылечили, но и полностью обследовали. Ну, что ж, я довольна. Раздевайтесь. Послушаю. Посмотрю… Вам ведь еще три рабочих дня положено для акклиматизации. Рекомендую ежедневные прогулки, но не более, чем по часу. Курите поменьше. Дышите… Не дышите… Сейчас заполним «больничный».

Из поликлиники я вышел, когда уже смеркалось. Подумал: «Ну, какой может быть Сергиев Посад сегодня? На ночь-то глядя?! Да и притомился с непривычки. Пойду-ка, пивка попью». Что и сделал. Но домой вернулся еще до прихода родителей и Алины. Почистил картошки.

Вечером, за ужином, отец радостно сообщил: «Два дня назад позвонила нам некая Алевтина Геннадиевна из Владимира. Говорит, что у ее отца здесь, в Москве, на Бабушкинской – комната в коммуналке. Отец два года, как овдовел. Сдавать стал. Вот и хочет она его во Владимир забрать. Живет она на Всполье. Считай, в двух шагах от нашего варианта. Поэтому решили мы с матерью завтра махнуть туда, показать бабушкину квартиру.»

- Ну-у-у, «махнешь», к примеру, ты один, - хмыкнула мать, - потому как мне и здесь предстоит еще неизвестно сколько лет общаться с лю-у-у-убимой свекровью! Сколько ж она мне крови попортила! Сколько гадости всякой семье нашей сделала! Чего только не творила, чтобы нас развести с тобой! Как Сашку портила! Алину сглазила!

- Надежда! – повысил голос отец.

- А что?! Я неправду говорю? Я всегда только правду говорю! И любому в глаза скажу, какой бы правда не была. У каждого правда - своя. А она, правда, - одна! Вот ее я и говорю! Сам знаешь, как маменька твоя по бабкам-колдуньям ездила! Через нее я стала старой, больной и злой! Только помни, что

тебе обратно в воскресенье до обеда выехать надо! Сильно там не… «махай».

И мать выразительно щелкнула себя сбоку по горлу. А отец продолжал: «Тебе же, сын, я предлагаю завтра с утречка съезить посмотреть свое будущее жильё. Если, конечно, бабушкина квартира понравится Алевтине Геннадьевне и ее отцу. Вообще-то они хотят туда прописать внучку нашего московского обменщика. Дедушка-то – не вечен!»

Я даже задохнулся от радости: «Наконец-то, - свое жилье! Смогу ра-а-аботать! Писать»!

- А сейчас давайте-ка включим телевизор! - вдруг изменила тон мать. Мечтательно проговорила, даже почти пропела: «Там сейчас «Весна» будет! С Черкасовым и Ладыниной! А ты, Саша, иди, отдыхай. Утомился с непривычки, должно быть.»

Действительно, телевизор мне надоел еще в больнице. Пришлось даже «за компанию» один раз в футбольный матч уставиться. Поэтому я ушел в свою комнату и оттуда позвонил Валенитне. Она сразу запричитала в трубку: «Ты прости меня за то, что не писала в это время. Так замоталась. Крою. Шью. На работу бегаю. К

переезду готовлюсь. Виталий, если что – не по его, спекулировать начал: мол, если не сделаю, откажется от размена…»

- Не спекулировать, а шантажировать! – поправил ее я. И со смехом добавил: «Передай ему, что ежели не прекратит шантаж, я приеду и намылю ему шею. А надо будет, и Михася позову на помощь.»

- Да-да… Одна только радость: Маришка капризничать почти перестала. Про тебя часто спрашивает: мол, когда приедешь? Ну, а ты как себя чувствуешь?

- Поправился. Нашелся обмен Владимира на Москву…

- Конечно, «коммуналка»?

- Хм… Что ж, все равно, поздравляю. Ты сейчас вплотную этим обменом займись. И давай прощаться, чтобы деньги не транжирить. Целую…

И я услышал в трубке короткие губки. Досадливо мотнул головой: поговорили! Молодые супруги, называется! А ведь мы и полгода не прожили, как обычная семья! Нет! Надо точно ехать в Сергиев Посад! С этой мыслью я и заснул. А утром, когда мать, собрав, проводила отца и сама села завтракать, я за столом, как бы даже нехотя проговорил: «Ох-ох-ох! Надо поехать на Бабушкинскую. Комнату посмотреть.»

- Ты бы хоть позвонил предварительно этому деду. А вдруг он сейчас тоже во Владимир укатил? – вспелеснула руками мать.

- Там соседка должна быть. Ну, скажи мне, куда старухе в субботу рано утром идти? А если и не будет ее дома, я район посмотрю, достопримечательности, магазины. Сколько времени, лежа на больничной койке, свежим воздухом не дышал?! Прогуляюсь.

- Тебе – лишь бы из дома удрать! – поджала губы мать и ушла к Алине. Там она начала что-то тихо и долго внушать сестре. А я собрался. Закинул спортивную сумку на плечо и выскочил из дома. «Улица Изумрудная, дом 18» прочитал я и поднялся на второй этаж. Нажал кнопку звонка. Раз. Два. Никто не отозвался. Я удовлетворенно выдохнул: «Ну, и слава Богу!»

И с чувством выполненного долга бодро зашагал к платформе «Лосиноостровская», которая, как подсказал мне прохожий, находилась в десяти минутах ходьбы от моего будущего, - дай-то Бог! – жилья. С электричкой мне тоже повезло. И через час я преодолевал жижу луж, которыми стали когда-то так радовавшие меня заснеженные тропинки улиц Сергиева

Посада. Я вдруг задумался о Валентине. Стало горько.

Сугробы, по-стариковски ссутулившись, чернели грязью, окатывающей их из-под колес машим. А те, словно назло редко проглядывающей мелкими зернами снежной белизне, буксовали. И автоматные очереди черной жижи снова врезались в сугробы, штакетины палисадников, скамеечки. Несколько раз и мне приходилось увертываться из-под этого «обстрела». От него уныние мое только обострилось. Но вспыхнувшие вдруг, показалось, совсем вблизи, купола храмов Лавры ласково полыхнули золотом в глаза. И я облегченно вздохнул. Перекрестился. Тут-то меня и окатило с ног до головы! Грязью. Из-под колес чумазого «ЗиЛка»! Мне послышалось, как кто-то злорадно захихикал за моей спиной. Но, обернувшись, никого вблизи не увидел.

Я перешел по мосту речушку и свернул к источнику. Не меньше получаса пришлось отмывать, оттирать куртку и брюки. И тут ударили колокола всех монастырских церквей, перезвоном подняв в воздух голубей, галок, ворон, обитающих в округе. Я закурил. Сел на перила низенького заборчика вокруг часовенки, оставшейся

белоснежной в этом черно-сером круговороте грязи, сугробов, дороги, жидких тротуаров, голубей, галок и ворон.

- Ну, и слава Богу, - опять вырвалось у меня.

- Эка тебя угораздило! – всхлипнула какая-то бабулька. Она спускалась со стороны Лавры. Остановилась, опираясь на палочку. Покачала головой: «Анчутки! Право слово, анчутки! Спаси Господи! И ведь иной раз нарочно окатят прохожего из лужи. Не по душе им, когда люди в святую обитель идут.

- Откуда ж они знают, что в монастырь? – усмехнулся, было, я, подумав, что старушке не с кем дома поговорить, вот и остановилась душу отвести.

- Откудова? Толкую же: анчу-у-утки! По тебе, к примеру, сразу видно, что не наш, не посадский. С Москвы, поди? Ви-и-идно. Людям видно. А уж анчуткам – тем паче!

- Кто ж они такие, бабушка? – удивился я, не сумев вспомнить из всего своего словарного запаса такого прозвища.

- Анчутки-то? И-и-и, милый, – вдруг сверкнула она на меня глазами цвета живого неба, - нечистая – анчутки. Почитай, как бабушки рассказывали, - самые древние бесы, к Святой Руси приставленные. Еще с

тех времен, когда и во Христа-Батюшку у нас никто и не веровал. Жили, словно звери. А зверствовать учили анчутки эти самые: полевые да банные. Злю-у-у-щие! Вот, ежели тебе в воде судрогой ногу сведет, это тебя точно анчутка ухватил. Он, негодник! Прости, Господи, огради и пронеси! Еще анчутки бывают беспятыми и беспалыми. Беспятые они, потому как за главным ихним волк погнался однажды, да и откусил ему пятку-то. Хи-хи… Банные анчутки – мо-о-охнатые, лысые, пугают людей стонами, помрачают их разум, хорошо умеют изменять свой облик. Полевые — росточком совсем махонькие и более мирные. Живут они в каждом растении и зовутся сообразно своему обиталищу: картофельники, конопельники, ленники, овсяники, пшеничники, рожники. Но – тоже нечисть! А откуда ж мы можем знать, не появились ли всякие там автомобильные или, скажем, телефонные анчутки! Лукавый, он все прикарманивает!

- Бабушка, - засмеялся я, - так неужели ж Господь не сильнее этих твоих анчуток?

- Господь с тобой, ми-и-илай! Кончно, сильнее. Но попускает этим анчуткам треклятым нападать на нас. За наши, милай, грехи! Прости нас, Господи! Спаси и

сохрани! Помогай нам, Царица Небесная! Видать, и ты маленько согрешил. – мелко и часто закрестилась старушка. И вдруг засуетилась: «Ох! Старая я грешница! Заболталась! Опять волю языку поганому дала! Это – в Великий-то пост! Накануне Благовещения! Ох! Прости Ты меня, Пресвятая Богородица!»

Она поклонилась мне в пояс и засеменила через мост…

- Ма-а-а-аленько! Согре-э-эшил, - горько хмыкнул я, ни к кому не обращаясь. И, поднявшись, побрел в монастырь. Там из собора валил народ, монахи. Тщедушный старичок в потертом подрясничке и облезлой меховой безрукавке резко поворачивался всем телом в разные строны, мелко и часто крестил всех проходящих мимо него. Он весь был увешен маленькими иконками и крестиками, приколотыми булавками к груди, плечам, бокам, животу. Даже – к спине. Женщины, девушки в сбившихся платках, длинных, не очень чистых по подолам юбках, старики явно деревенского вида подходили к нему, припадали к благословляющей руке губами. А он что-то лепетал им почти детским голоском, с силой пригибал их головы к той или иной иконке. Несколько монахов, прошедшие мимо него,

отвернулись, ускорили шаг. Перекрестилсь. А он, заметив их, завертелся на одной ножке вокруг себя самого и заверещал: «Не монахи вы! Не иноки! Вертеп беззаконников! Скоро до содомского греха докатитесь в своем общежитии! Тьфу на вас! Тьфу на вас! Чтоб огнь гиенский в душах у вас не погас. Горят душеньки ваши безвинные в телах бесами наполненных. Бе-э-эсами! И-и-и-роды! Души свои, как Ирод младенцев в Вифлееме режете! И архиереи ваши – отродье сатанинское! Церковь ачихристу отдали. И сами в прислужники к ним подались! Погоны под мантиями ностьет! В ад вам всем валиться!»

- Александр?! – услышал я вдруг над самым ухом. Повернулся в сторону говорившего. И едва узнал отца Иллариона. Да и немудрено было узнать: клобук надвинут на самые брови, мантия закрывает чуть ли с обеих сторон лицо почти до самого носа.

- О! Батюшка, – сложил я лодочкой ладони, - благословите!

И он осенил меня широким крестом. Улыбнулся: «Давненько не показывался.»

- Я в больнице лежал с воспалением легких. По грехам!

- И-и-и, милый! И ты наслушался этих кликуш?! А давай-ка, вспомним евангельского слепого, который страдал не за свои грехи, даже не за грехи родителей. А за что? Точнее: во что? А? Напомню, брат: во славу Божию! Так что, возможно болезнь была послана тебе по неизреченной любви Господней, дабы уберечь тебя от какого-либо тяжкого греха.

Я даже опешил от таких слов. Только хмыкнул: «Куда уж тяжелее, чем я, грешить?»

- Вот это ты хорошо сказал! Наполовину покаялся. Вот, глянь, - указал он на ругателя монахов, - стоит несчастный раб Божий. Хулит не только монахов, но и священноначалие! Поверь, хулит он и тех кто верно на своем месте служит Богу, а в свободное время ходят в храм, исповедуются тем же священникам и монахам. А ведь они все вместе и составляют Церковь, которую и врата адовы не одолеют. В чем беда подобных этому псевдомонаху? Я подскажу: в нем нет любви! Любви к таким же христианам. Да, в нашей Церкви много всякого. Но так бывает и в любой семье! Ссоры, недоразумения, самовыпячивание, самооправдание. Но если в семье есть любовь, то мелкие бесята, отвечающие за

перечисленные мною пакости, в конце концов оказываются безсильны. А попускается им возможность творить свое беззаконие Господом только для того, чтобы укрепить любовь в семье. Чтобы любящие люди проявили эту любовь, - Божий дар! – к ближним. Ведь Бог есть Любовь? Да? Да!!! А вот в этом несчастном любви-то как раз и нет! А значит, нет и Бога!

- Но ведь и врач иногда делает больно, чтобы вылечить! И святые пророки бичевали недостатки ветхозаветной Церкви! – не удержался я и тут же укорил себя: «Вот оно – самовыпячивание, желание поспорить, не зная глубоко предмета спора. Я что? Каждый день читаю Святое Евангелие? Каждый день вычитываю молитвенные правила? Да как я смею?»!

- Вот-вот, - вдруг улыбнулся отец Илларион, словно прочитал мои мысли, - врач лечит тело. Но когда мы читаем Евангелие, молимся, - разговариваем с Богом, - Он отвечает. А значит, Его благодать изливается лучше любого лекарства. Мы начинаем понимать все более правильно. Ты же знаешь про чудесные физические исцеления болящих по их молитвам. Значит, надо сначала душу исцелить. Тогда и, ежели Богу угодно и

больному полезно, придет физическое исцеление. И о последнем ведомо только Господу! Ты об этом подумай.

- Спаси Господи, батюшка. Кажется, все это я уже слышал. Но подзабыл. А вот как научиться сохранить все сие в душе? Как заставить себя сохраненное претворять в жизнь?

- Думаю, начать надо с исповеди. Ведь, похоже, ты за этим приехал. На твоем лице – какая-то скорбь.

- Да, батюшка. Только сумею ли сконцентрировать свои мысли? Рассказать все кратко и точно?

- Во-о-от, – крутанул головой отец Илларион, - лукавый ловит тебя на твоей неуверенности! А здесь надо просить Ангела Хранителя и Небесного Покровителя отогнать лукавого. Господа попроси вложить в сердце и в уста то, что должен сказать, как тербует этого Его учение. Пойдем ко мне в келию?

Я кивнул. И покорно двинулся за ним, обдумывая, как и что сказать. Вдруг отец Илларион обернулся, покачал головой, проговорил: «Не надо ничего обдумывать! Не надо планировать: что и как сказать. Господь сам знает! И сделает так, что ты именно нужное скажешь.»

В келье отец Илларион надел поручи, епитрахиль. Встал на колени. Я последовал за ним. И снова у меня заныли ноги, спина. Кашлем разрывало грудь. Но я старался повторять за ним слова молитвы. Исповедь, которая была больше похожа на разговор двух друзей, затянулась. Наконец, отец Илларион сказал: «Нет, с женитьбой ты не поспешил. Поспешил грешить! Начиная с обмана матери, до бракосочетания, сказав, что женился. И в ЗАГСе вы оба уже вволю изолгались. А вырос снежно-греховный ком до размеров… Сам знаешь, кто лжец и отец лжи. Вот ему ты сразу и услужил. И покатился сей ком! Из черного снега, который сейчас покрывает дороги и улицы. А тут, видимо еще кто-то сыграл свою черную роль. Уж и не знаю, кто. Начал это дело разрушения вашей семьи один, его подхватил другой, третий. Каждый – в своем роде. Даже не они, не люди, а те бесы, которые за ними стоят. Ты, конечно, в конце концов об этом узнаешь. Когда-нибудь. Но вини во всем только себя. Кайся. Е-же-дневно.

Отец Илларион взглянул на часы. Закачал головой: «Похоже, брат, мы проговорили с тобой и вечернюю трапезу. Ну, что ж, полезно перед большим

праздником попоститься строго. Тебе, должно быть домой пора? А то, если хочешь, останься на ночь в нашей гостинице. Я договорюсь, чтобы тебя устроили. А?»

- С удовольствием, - теперь улыбнулся я, чувствуя несказанное облегчяение, - только домой позвонить надо. В Москву. Опять врать придется. Скажу.., что встретил бывшего сослуживца и остался у него ночевать. А?

- В этом нет лжи. Оба мы служили в Тейково. Значит, - сослуживцы. А теперь встань на колени. Я разрешу тебя от грехов. С условием твоего ежедневного покаяния.

Удивительно, но мать спокойно отнеслась к моему сообщению. Только попросила: «Вы там, с сослуживцем не очень усугубляйте с выпивкой! Тебе недавно антибиотики кололи. К тому, как сам говоришь, пост… Ха-ха…»

- Нет, мама, он вообще не пьет, - успокоил я ее.

- И где ж такие мужики водятся?! - хмыкнула она и повесила трубку.

Зайдя в гостиницу с внешней стороны монастырской стены, я увидел там и отца Иллариона, который что-то говорил молодому монаху, сидящему за стойкой администратора. Подняв на меня глаза, он

улыбнулся: «Отец игумен благословил меня не ходить на Всенощную, а провести с тобой вечер, если ты не пойдешь на Всенощное бдение.»

- ?

- Ты же не привык к долгим монастырским службам. Я почитаю Правило ко Святому Причастию. И завтра, за праздничной Божественной Литургией сможешь приобщиться Святых Таин. Бери ключ от гостиничной келии.

- Номер тринадцать, - произнес монах за стойкой. Протянул мне ключ. А я даже как-то растерялся: «Тринадцать?!»

- И-и-и, милый, – рассмеялся отец Илларион, - гляжу, а ты еще и – суевер! Но и тогда, коли по-твоему так рассуждать, то тринадцать – самое счастливое число: двенадцать святых Апостолов и тринадцатый – Господь наш Иисус Христос. Пойдем-пойдем.

В маленькой, - два на два метра, - комнатке кроме узкой кровати, тумбочки, вешалки и табуретки, ничего не было. Зато угол сверкал настоящим иконостасом. «Вот бы мне такой – домой!» - взметнулась мысль. Но тут же в голову влетела другая: «А ты заслужил»? Отец Илларион присел на табуретку, а я – на кровать. И тут же сказал:

«Но я даже не постился, как положено три дня! Как причащаться? Да и весь Великий пост практически не соблюдал…»

- Зато сегодня мы с тобой – и без обеда, и без ужина. А потом, прости уж, рассказал я о тебе отцу игумену. В двух словах. Естественно без разглашения тайны исповеди. Он, к слову, - тоже бывший офицер. Летчик-истребитель. Так вот, выслушав, он просто благословил: мол, надо парню причаститься. И добавил: мол, жизненно необходимо. А твое несоблюдение поста мы с ним взяли на себя. Прости уж.

- Летчик-истребитель?! – крутанул я головой. И не мог не улыбнуться: «Создается впечатление, что в Лавре половина монахов – бывшие офицеры!»

- Ну-у-у, не половина, но добрая часть. Тут осенью отпевали мы одного брата. Он – не просто бывший офицер. Уче-о-оный! – почему-то грустно усмехнулся отец Илларион.

- Ну и что? ой отец, например, – пожал я плечами, - тоже ученый. Военный ученый. Кандидат наук. Столько учебников по своей дисциплине написал!

- И-и-и, барт Александр! Ученые разные бывают. Даже среди тех, кто новое оружие разрабатывает. Одни – ради

зарплаты, машины, хорошей квартиры, другие – для защиты Отечества. Первым наплевать, как применят их открытия. Со вторыми сложнее. Потому что их изыскания власть придержащие подчас используют для недобрых целей. Вот и наш отец Лев, - Царствие ему Небесное, - тоже оказался в числе вторых. Он разрабатывал систему защиты человека на основе генетики от биологического оружия массового уничтожения. Разработал. Орден получил. В тридцать пять лет - звание полковника. Досрочно! Через майора «перескочил»! И что же? Все это при Хрущеве было. А тот, как тебе известно, любил «громадьё» военных испытаний. Если уни-что-жать кого-то одним ядерным ударом, то целиком страну. Такую, как Соединенные штаты! Ты, должно быть, знаешь о трагедиях ядерных взрывов на Новой Земле и под Семипалатинском. Сколько там народу полегло. А сколько до сих пор умирает, схватив разные дозы радиации. На-а-а-ши солдаты и офицеры! И в данном случае, по разработками отца Льва решили прихлебатели Хрущова прогнуться перед ним. Создать сверхсолдат. Отца Льва пригласили как консультанта. И когда он увидел этих чудовищ, чуть руки на себя, - прости Господи, - не наложил! А хрущовцы

что хотели? Не всех солдат подвергнуть обработке, а только спецподразделения. Вот, к примеру, есть у американцев подразделение водолазов, подводный боевых плавцов, именуемых «морскими котиками». Но это – просто люди. Профессионалы. Но со своими чувствами, увлечениями, слабостями. А нашим этого мало показалось…

- Отец Илларион, - перебил я его, - ты про чудовищ не договорил…

- Да-да… Так вот. Генетика официально была объявлена буржуазной лженаукой. Для чего? Да для того, чтобы скрыть исследования в ее области в военных лабораториях. А чудовища? На основе изыскания нашего отца Льва попытались карьеристы, пожелавшие сотворить новое существо. Взять на себя функции самого Господа Бога! А кто на это способен? Кто во все века пытался собой заменить Творца? Вот и поразмысли: кому служили Хрущов и иже с ним? Хотя все это, - я разумею создание псевдотвари, - началось гораздо раньше наших пращуров-русичи. Так вот, как рассказывал отец Лев, опыты удались. Не без колдовства, конечно. Ну, хорошо, создал этот кто-то физиологическое существо. А душу в любую тварь живую может вдохнуть только

Господь. Значит, созданное существо – без души?! А если нет в этом существе Божиего дыхания, значит служит сей искусственный индивид опять только тому же лукавому. Все у него есть: тело, инстинкты, даже некое подобие разума. А души, - и уж тем более духа! – нет как нет! Робот! Биоробот!

- Ну, и что это за биороботы получились? Такие же, как и мы?– опять перебил я.

- Э-э-э, нет! Отец Лев рассказывал, - и всегда плакал при этом, - что бездушный пловец-подводник, например, сразу напомнил ему русалку мужского пола. Конечно, ступни и кисти заканчивались пальцами. Но те были длиннее обычных и соединялись перепонками, как у лягушек. Ласты! Понимаешь, ласты – часть тела! Глаза у них под водой прикрывались прозрачной пленкой. Причем все это возникло у взрослых людей-добровльцев. Но планировалось размножение таких чудловищ! Планировалась и пересадка жабр. И легкие, и жабры – одновременно. Человеки-амфибии? Не-е-ет! Водяные, а не люди!

- Анчутки! – хохотнул я, чтобы сбросить с себя жутковатость.

- Как ты сказал? – прищурился отец Илларион. Я повторил и рассказал о старушке у часовни с источником. Спросил в свою очередь: «Кликуша?»

- Нет, брат. Существа, о которых говорила старушка, были, есть и будут до Второго Пришествия Христова. Они суть бесы, которые умеют материализоваться. А вследствие роста так называемого технического прогресса нечистые духи стали изменять формы своей материализации. Или же вселяться в так называемых ученых, которые извратили суть исследований того же отца Льва. И создали… бе-сов во плоти. А народные или даже, пожалуй, простонародные предания о леших, русалках, водяных, кикиморах и иже с ними – всего лишь предупреждение нам не верить в доброту и полезность тех существ, которые не с Господом Богом. Теперь представь: если бы эксперимент хрущовский удался, в каких радужных красках нам рисовали бы сверхсолдат с экранов телевизоров и страниц газет «Правда» и «Красная звезда»?

- А почему он не удался?

- Взбунтовались первые сверхсолдаты! Головы охранникам отрывали с такой же легкостью, как ребенок отрывает крылышко у мухи. Отец Лев говорил, что сработали у

них некоторые гены. А именно те, которые были пересажены им от акул, волков, змей, прочих хищных тварей. Поэтому срочно уничтожили всю эту бесовщину. Вместе с подземными секретными лабораториями. Не обошлось, конечно, и без человеческих жертв. Оставшихся в живых охранников уничтожили тоже. Так говорил отец Лев. Тогда-то он и подал раппотрт об оставке. Но куда там?! Его посадили в специзолятор: слишком много он знал. А семье сообщили, что погиб при исполнении служебных обязанностей. И только после смены Хрущова его выпустили, объявив су-мас-шед-шим и поставив под негласный надзор с обязательной еженедельной явкой в психдиспансер. Жена к тому времени вышла за другого. Детей отправили в длительные командировки за границу. Вот так и пришел отец Лев в нашу обитель. А к Богу он еще раньше пришел: в специзоляторе. Там ему было какое-то видение. Но он никогда о нем не рассказывал… Ох, и заболтались же мы с тобой! И это – перед светлым праздником Матушки нашей Царицы Небесной Богородицы. Прости, Господи! Давай-ка, я Правило ко Святому Причастию почитаю. А ты постарайся повнимательнее послушать…

- А можно, я покурить схожу? – опустил я глаза.

- Ни разрешить, ни запретить тебе этого я не могу, но, - вздохнул отец Илларион, - те из паломников, которые не могут удержаться, выходят из гостиницы на улицу. Там рядом с крыльцом есть место для курения. Однако, видишь, какие мы, монахи, - лютые грешники: по всем иноческим законам должны бы умереть для мира. И все в миру и от мира умертвить в себе. А не получается! Служба в Армии и тюрьма до сих пор иногда ночами снятся.

…На улице я выкурил две сигареты подряд. А вернувшись в гостиничный номер-келью, опустился на колени рядом с батюшкой. Тот почти шепотом и однообразно читал знакомые, но забытые молитвы. А я вдруг заплакал. Вся прошедшая жизнь и все в ней виделось мне сплошным грехом, огромным, необъятным комом черного от грязи, - грязи моей души! - снега. Я привалился лицом к плечу отца Иллариона и так, изредка вытирая ладонью слезы с щек, простоял всё молитвенное правило. Но когда встал, необычайная легкость наполнила всего меня. Казалось, что я, словно воздушный шарик, могу легко взлететь под

низкий потолок кельи, - стоит только оттолкнуться от пола.

- Ну, вот, и помолились! Ну, вот, и хорошо! Давай-ка, брат Александр, ложись почивать. А мне еще свою Пятисотницу справить надо. Я тебя завтра разбужу, - поднявшись с колен, попрощался со мной отец Илларион и вышел. А я, едва нашел в себе силы раздеться и тут же провалился в сон. Но, казалось, не успел заснуть, как в дверь постучали и прозвучал голос отца Иллариона: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Сыне и слове Божий, помилуй нас.»

И откуда во мне взялось: я вспомнил, как надо отвечать. И громко произнес: «Аминь.»

Отец Илларион вошел бодрый и свежий, словно проспал часов двенадцать. Пропел:

- Днесь спасения нашего главизна
и еже от века таинства явление:
Сын Божий Сын Девы бывает
и Гавриил благодать благовествует.
Темже и мы с ним Богородице возопим:
радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою!

Весело, почти засмеявшись, поздравил: «С праздником! Умывайся! Сейчас зазвонят! Нехорошо на службу опаздывать!»

Я кинулся в туалет. Оказалось, что гостинница уже давно пробудилась и теперь гудела, словно улей, в котором дружно ладятся золотистые, душистые соты. Прихожане и прихожанки бегали, суетились. Но все это было радостно, весело, празднично. Это состояние передалось и мне. Я по пояс окатился ледяной водой из начищенного, как в армии, медного крана, растерся полотенцем. И через пять минут спешил за отцом Илларионом в собор. Там уже читались часы. А те, кто не смог исповедоваться вчера, выстроился в пять длинных очередей, - по числу исповедующих монахов, - перед большой иконой Спасителя. Отец Илларион ушел в святой Алтарь. А я попробовал молиться. И вдруг увидел себя… раздвоившимся. Один я, сгорбленный, под тяжестью какого-то почти невидимого мутного облака, был похож на… старика-корня. У меня даже мурашки пробежали по спине! Боже! Неужели же он все это время лгал! Притворялся! Путал меня! Значит и с Валентиной – все не так, как утверждал старик-корень?

Зато другой: молодцеватый, подтянутый, румяный, бодрый, - только формы офицерской не хватает, - смотрел на меня, сгорбленного, с жалостной любовью. Смотрел глазами цвета живого неба. Вогласы, ектеньи, казалось поначалу, не различаемые по смыслу и словам, вливались в мое сердце, в мою душу, в мой дух. А они-то уж всё прекрасно понимали. И, как казалось мне, не только внимали, но и сами становились словами молитвословий и возгласов. И чем дальше царила в людских, - и в моей, - душах Божественная Литургия, тем сильнее гнуло к земле сгорбленное подобие старика-корня. Кажется, я стал понимать. И поэтому еще усиленнее молился, подпевал хору, словно он-я давно знал слова песнопений! А когда сгорбленный совсем сник, сравниваясь с полом собора, я услышал: «Верую, Господи, и исповедую…»

В Царских вратах стоял высокий, стройный седоватый священник. И если бы не ряса, я подумал бы, что он – старый офицер. Конечно, бывший офицер. Я покрутил головой и, заметив недалеко молодого человека в подряснике, тихо, чтобы не задеть никого, чтобы никому не помешать, приблизился к нему. Шепотом спросил: «Кто этот батюшка?»

- Отец игумен Феогност, - не поворачивая ко мне головы, также шепотом ответил молодой человек.

- Все, кто благословлен братией нашего монастыря, сделайте три земных поклона, сложите руки на груди, - правая – на левую, - и подходите к Чаше. Перед Ней называйте громко и четко свое святое имя и шире раскрывайте рот. Не тропитесь. Не толкайтесь! Вы сейчас – перед Самой Царицей Небесной, которую чествуют Сын Ее и Господь наш и Спаситель Иисус Христос, все Небеса, Земля и вся вселенная.

- *Тело Христово прими-и-и-и-иите..,* - вздохнул хор монахов. Но звучание с каждым повторением все усиливалось. И казалось, само наполнялось Телом и Кровью Христовой. Когда же я подошел к Чаше, отец Феогност внимательно вгляделся в меня. Мне показалось, он понял, что я – это тот, про кого ему вчера говорил отец Илларион. Произнося привычные слова про мое причащение, он почти незаметно улыбнулся и, как бы ободряя, прикрыл на миг глаза. А у меня по щекам опять покатились слезы. И опять отец Феогност одобрительно улыбнулся. Уже более открыто. Прошептал: «С отпушением грехов и принятием Святых Таин!»

«Ах! Как жаль, что сейчас со мной нет Валентины, Маришки!» - сладко, но грустно подумал я. И отошел к столу, где давали запивку. После слов «С миром изыдем» я по-прежнему остался стоять, прислонившись спиной к колонне: так никуда не хотелось уходить отсюда! Скоро меня окликнул отец Илларион. Он подошел и заговорщически прошептал: «Отец игумен приглашает тебя на праздничную трапезу. Вкусим сегодня рыбки! Икорки! По четыреста граммов винца выпьем! Отец Феогност с Афона выписал. Думаю, что тебя и на ракию благословит.»

Он плотоядно сглотнул слюну. Потер ладони. Но тут же перекрестился. Прошептал: «Прости, Господи!»

И взяв меня за рукав, повлек за собой.

- На ракию? – не понял я, примеряясь к его широким шагам, когда мы вышли из собора.

- Ну, да. На греческую водку. Там ведь, на Афоне, все немного попроще. Монахи даже покуривают. На праздники по две красавули винца выпивают. А красавуля - восемьсот граммов. Но нам, русским такого нельзя. За-а-аведёмся! – вдруг в голос засмеялся отец Илларион.

Но на ракию отец Феогност меня не благословил, сославшись на то, что мне сегодня надо возвращаться в Москву. Зато каково было мое удивление, когда за столом, среди гостей, сидевших почти рядом с отцом игуменом, я увидел… Елену Васильевну, заведующую отделнием больницы, из которой я только что выписался. Она была в строгом черном платье с белым кружевным воротничком и перламутровыми пуговичками. И без того всегда гладко прибранные волосы скрывались теперь под платком, повязанным так же, как иногда делала это Валентина. Чем-то похожим на чалму. Увидев меня, она сначала склонила голову в приветствии, а потом покачала ею. И что-то сказала отцу Феогносту, указывая взглядом в мою сторону. Тот кивнул. Улыбнулся.

Салат из крабов, осетровый «Оливье», заливной судак, кусочки копченых семги, севрюги, белорыбицы таяли во рту. Но они только обострили вкус. Поэтому стерляжья уха пришлась в самую пору! А тем более, под пироги с налимом! Отец Илларион подливал мне понемногу красного вина. Да такого, какого я никогда в жизни не пил. Но самое главное: я не пьянел! В душу и сердце

вливались мир, теплота, радость, любовь! И я поделился этим с отцом Илларионом.

- Это – к нашему вчерашнему разговору: за столом-то любовь царит! - кивнул он. И он одной кистью, почти незаметно, обвел застолье: «А вот, подумай кто-нибудь сейчас дурно про другого, любого из нас, - тотчас все захмелеют. Но у нас на страже – Ангелы Хранители! Они, родимые! Не зря же мы желаем друг другу Ангела за трапезой! Поэтому и самим думать про другого дурно – оскорблять и своего Ангела, и Ангела того, про кого дурно подумал. А такие штучки безнаказанно не пройдут. В духовной жизни надо быть всегда начеку. В первую очередь, по отношению к самому себе, к своим мыслям, взглядам, словам. А откуда ты знаешь Елену Васильевну и Сергия Емелиановича?

- У Елены Васильевны я лечился в больнице. А кто такой Сергий Емелианович? Я его не знаю.

- Он же рядом с ней сидит. Ее муж. Именно они приютили на несколько дней в Москве отца Льва, про которого я тебе рассказывал вчера, когда тот вырвался из специзолятора и собрался уходить в монастырь. Сергий Емельянович – профессор, его коллега. Тоже генетикой

занимается. Правда, с психиатрической точки зрения. И – штатский. Глубоко верующая семья. Бо-о-о-льшие друзья нашей обители. Сколько раз помогали нам! Да и немудрено. Преподобный Сергий – Небесный Покровитель Сергия Емелиановича. А духовником у них – наш любимец, батюшка Кирилл!

И отец Илларион взглядом показал на старенького монаха, сидевшего по правую руку от отца игмуена. Я взглянул в сторону Елены Васильевны. Рядом с ней сидел нестарый, и скорее не профессорского, а купеческого вида, мужчина с широкой, недлинной бородой, слегка вьющимися, бывшими когда-то льняными, чуть удлиненными волосами, светлыми глазами цвета живого неба. Его можно было принять также и за скульптора или художника. Заметив мой взгляд, Елена Васильевна что сказала мужу. Тот внимательно склонил голову в ее сторону и посмотрел на меня. Приветствуя, приподнял свой бокал. Улыбнулся мне. И опять заговорил с молодым человеком, сидевшим по другую сторону от него.

Скоро застолье подошли к концу. Отец Феогност встал с последним тостом. Поднял его за гостей. Как бы извинился: «Вам,

дорогие мои, еще до Москвы добираться. А нам – продолжать свое иноческое дело.»

Выпил остатки вина в своем бокале. Прочитал молитву. Преподал общее благословение. А когда мы вышли на воздух, и я стал прощаться с отцом Илларионом, вдруг услышал голос Елены Васильены, окликающий меня: «Александр, дружок, у нас в машине – свободное место. Если хотите, мы подвезем вас до Москвы.»

Отец Илларион благословил меня. Напомнил про ежедневное покаяние. И скоро мы летели по Ярославскому шоссе, взбирающемуся на безчисленные холмы и затем падающему с них. А мимо проплывало зимнее разноцветье лесов, полей, перелесков, села, деревни…

Машину вел тот самый молодой человек, сидевший на трапезе рядом с профессором и оказавшийся его ассистентом. Сам Сергей Емелианович сидел впереди, рядом с водителем. А мы с Еленой Васильевной устроились на заднем сиденье. Сергей Емелианович с самого начала пути задавал мне вопросы о моей жизни.

«Словно исповедует», - несколько даже досадливо хмыкнул я про себя. А профессор пояснил: «Александр Леонидович, вы уж простите меня, старика, но мне моя Леночка

поведала, что и вас предки посещают. Работает генная память. К тому же, возможно, как я понял, вы с ней - дальняя родня. Леночка узнала вас. То есть, непременно, ваши пращуры были не просто знакомы, но даже очень близки. Это я могу предполагать, если моя теория верна. Посему и спрашиваю с таким, простите, пристрастием. Это – профессиональный интерес. Леночка говорила, что вы – журналист. Думаю, что и сами так же же расспрашиваете своих интервьюироваемых. Так что? Расскажете?»

- Мне скрывать нечего, - улыбнулся я, глядя в зеркало заднего вида, из которого улыбались цветом живого неба глаза Сергея Емелиановича. И я попытался выполнить просьбу профессора. Только, увы, я не дошел еще и до половины истории про Алексу и Аллу из четвертого века, а мы уже въезжали в Москву. Прощаясь со мной у метро «Проспект мира», Сергей Емелианович задумался на минуту и вдруг предложил: «А знаете что? Приезжайте-ка вы в гости в следующую собботу! Она как раз Лазарева будет. Икорки вкусим. Под водочку! И вы дораскажете. А?»

Он повернулся к жене: «Леночка, надеюсь, у тебя нет никакого дежурства?»

- Нет-нет, милый. Я в этом месяце свое отдежурила.

- Ну, и слава Богу! Ангела-Хранителя вам в дорогу, Александр Леонидович. «Дальняя родня?! - размышлял я, когда уже пересел из трамвая в 41-й троллейбус, - Как это он вычислил? Странно! И внешний вид его не очень соответствует манере разговора. Ах ты, прости, Господи! После Святого Причастия начинаю обсуждение человека. Так и до осуждения - недалеко».

А дома все мое семейство было в сборе. И за столом засыпали вопросами о комнате на Изумрудной улице. Я сказал правду: в квартире никого не застал, подождал немножко и отправился на железнодорожную станцию. А район мне понравился: много магазинов, парикмахерская в соседнем доме, кинотеатр – рядом. До работы на электричке – всего двадцать минут. До метро «Бабушкинская» – пятнадцать.

- Значит, от тебя и до дачи – ближе? Если по железной дороге? – спросила Алина.

- «От тебя»… - передразнила ее мать, - делите шкуру неубитого медведя! Надо еще обменять. А ты что, отец, скажешь?

- Квартира матери дочке обменщика понравилась. Даже ремонт не стала требовать сделать! Теперь надо созвониться

со стариком здесь и съездить все-таки, посмотреть комнату, - ответил отец.

- Вот, Сашке надо, пусть и едет. Ему жить. Пусть хоть раз сам что-нибудь путное сделает. А мне надоело нянчиться со всеми вами! - вдруг взвилась мать.

- Так и сделаем! - попытался я смягчить разговор. Но мать, поджав губы, поднялась. Бросила: «И посуду сами мойте. А я буду телевизор смотреть.»

Когда она ушла, отец, махнул рукой: «Это так всякий раз бывает, после того, как съезжу во Владимир. Не сложилось у них с бабушкой. Эта тоже завелась вчера: жена, мол, дороже матери стала. Мол, после смерти деда одну бросил на произвол судьбы, носа, мол, не кажешь. А если приезжаешь, то раз в год, по обещанию, да и то - на день-два. Я уже привык. И вы, ребята не обращайте внимания. Но комнату и всю квартиру, Саша, посмотреть надо. Ну, Алиночка, иди, отдыхай. А мы тут с Сашей посуду помоем.

Когда Алина вышла, отец громко включил в мойке воду. Достал из холодильника початую бутылку «Зубровки», которую, очевидно, привезла Валентина. Подмигнул: «Для тебя оставил. За успех нашего безнадежного дела!»

Мы с ним выпили по рюмке. Он начал мыть, а я вытирать посуду после ужина. А потом отправились по своим комнатам. Но только я улегся, началось! Я увидел не то пещеру, не то какое-то подземелье. По нему до самого потолка слоями плыл голубоватый дымок. Стеллажи` вдоль стен были уставлены чучелами самых размых мелких зверюшек. В стеклянных цилиндрах тоже чернела, зеленела, желтела, белела, бледнела всякая тварь. На веревках, растянуъых по всему подземелью, сушились целые веники травы, каких-то веток. Но в одной из реторт я увидел… эмбрион человека. Тот плавал в желтом растворе и, похоже… шевелился! Вонь в подземелье, стояла страшная! А за огромным столом, уставленном различными колбами, ретортами, пузырьками, бутылками, плошками, ступками, заваленном книгами, свитками сидел, безобразный на вид, но богато одетый старик. Он склонился над толстенным томом. Изредка вздрагивая, отрываясь от прочитанного, поднимал голову, закатывал глаза, бормотал что-то, то и дело взглядывая на строй разнобразной стеклянной посуды. Где же я видел этого урода? Его длинный крюкообразный нос, свисающий до далеко вперед вступающего подбородка? Эти

волосатые бородавки по всему лицу? Эти злые, темные, затягивающие внутрь себя, глаза?

В дверь подземелья постучали, - явно условным сигналом. Старик вскинулся. По-молодому подскочил к двери. Что-то спросил не по-русски. Отодвинул засов. В подземелье вошли двое. Тоже - не с обложки журнала мод! Все трое как-то странно раскланялись друг с другом. При этом они делали замысловатые движения руками и ногами. Говорили что-то невнятное и непонятное. И тоже – не по-русски. Но вдруг, с этого момента, я стал понимать их речь.

- Дорогие мои Якоб и Ицхак, - начал хозяин подземелья, - мы выждали семь дней с тех пор, как звезды вошли в заповеданное положение. Я нашел нужную глину. Подготовил тварей, олицетворяющих четыре стихии и четыре темперамента. Полтора часа осталось до рассвета. Вы готовы?

- Да, рабби Лев! – поклонились двое пришедших.

- Наконец-то мы получим прототип гоя-раба, слепо выполняющего все хозяйственные работы, защищающего гетто от погромов, крушащего всех ворогов, - кого только прикажем! Наконец-то мы приобретем покровительство и самого

императора. Он-то дурень со своими учеными не понимает, что наша каббала сильнее всех его наук и откровений дурацкой веры в Распятого! Сильнее Самого Распятого! - потирал ладони хозяин подземелья.

Он повернулся к столу и принялся мять, словно женищина – тесто, глину, лежащую на большой доске. Двое других, закатив глаза, что-то бормотали. Наконец, я увидел на доске вылепленного глиняного болвана. Тогда тот, которого звали Ицхак, семь раз обошел его против часовой стрелки. Закатил глаза и выплюнул вверх непонятное слово. Глиняный болван как бы вспыхнул голубоватым пламенем и… увеличился вдвое! То же самое, в обратном направлении проделал другой гость хозяина подземелья, Якоб. Теперь болван вспыхнул красным пламенем и еще увеличился. Ему уже не хватало доски. С большим трудом, кряхтя и охая, трое уродов стащили его на пол. После этого Лев подошел к столу, слил в одну реторту из четырех пузырьков и влил смесь в щель, обозначавшую рот болвана. Тот … пошевелился. Зашевелилились и волосы у меня на голове. А хозяин подземелья достал из клетки под столом крысу. Острым кривым ножом вскрыл ей брюхо и

содержимое тоже влил в рот болвану. Двое других стояли по обеим сторонам от него с поднятыми головами. Закатив глаза, они что-то бормотали. Затем встали так, что я не видел, каких же зверей убивал хозяин подземелья, повторяя с ними то же, что сделал с крысой. Но по-моему, среди них были собака и кошка. Только - какие-то вялые. Опоенные ли чем? Не потому ли и молчали?

- Рабби! У учителя Акибы сказано, что нужна кровь волка! – услышал я шепот Ицхака.

- Не мешай. В этой собаке есть кровь волка. Мне ее, бездомную, отловили в лесу. Как раз рядом с волчьим логовом! – прошипел хозяин подземелья и взял в руку сосуд с человеческим эмбрионом. Глядя на него, спросил: «Что вы сделали с той молодой христианкой, у которой вырезали зародыш?»

- Как ты и повелел, рабби, - ответил Якоб, - распяли на берегу, чтобы все увидели ее наготу и разрезанное чрево.

Лев удовлетворенно кивнул. Достал шевелящееся розовое тельце и… надрезал его. Затем повторил действа, совершенные с предыдущими тварями. Повелел Якобу: «Открой седьмую главу Книги Бытия, где

говорится о Сотворении человека. Прочитай два стиха.»

Тот повиновался. А я в сердцах подумал: «Кощунники»!

- А ты, Ицхак, подай мне шем. Здесь у нас – имя неназванного, тетраграмматон. Имя бога! Здесь! И более нигде! Ни в одной священной книге! Только мы с вами, – тяжело задышал Лев, - да еще несколько братьев, обладая высокой мудростью и способностью вдохнуть жизнь в высокую материю, способны вычислить это имя!

- Но правильно ли мы делаем? Никто же точно не знает, сколько символов должно быть начетрано на шеме. Здесь мнения раходятся: от 12-14 букв до 72 слов! – вдруг жалобно зашептал Ицхак, подвая ему плоский длинный камешек..

- Я тебя умоляю! Мацу жертвенной кровью не испортишь! Я взял последнее, – ответил Лев. Вложил в рот болвана поданное и, сложив руки на груди, провозгласил: «Вот он – наш голем! И мы сделаем таких же сто, тысячу, тысячу тысяч. Ни одно войско не устоит против наших големов! И эти проклятые христиане ответят нам за каждое свое слово! За каждую свою молитву! За каждый свой поклон! Они узнают, что такое оскорблять своей ересью нашу великую

веру! Исполнится многовековая мечта встать над всем миром! Стать его хозяином!

Глиняный болван вдруг сел на доске. Потом встал. Поклонился. И глухим голосом, словно с набитым ртом, пробасил: «Повелевай, хозяин…

Я проснулся в холодном поту. Ведь предупреждал же отец Илларион, что после такого Святого Причастия нужно ждать нападения. Спаси, Господи! И сохрани! Часы показывали половину шестого утра. Поэтому я подумал, что засыпать на час – не имеет смысла: только нервы трепать себе. Да и навряд получится. Я рывком поднялся. И встал на молитву, твердо решив по возможности поститься до Пасхи.

К вечеру, по повелению кормленщика Вязьмы, привезли выдолбленную колоду, в которую и положили тело Аллы. Залили медом. Перед тем, как закрыть крышкой, я вгляделся в лицо, когда-то так любимое мной, такое желанное. Но странное дело: я не узнал Аллу. Надменная красавица с жестоким, пепельного цвета лицом, злобно ухмылялась, искривив кончики губ. Один – вверх, другой – вниз. Но вдруг, на моих глазах лицо медленно приобрело маску ужаса, который может возникнуть только

при виде чего-то неотвратимо страшного. Я обернулся на своих соратинков, стоявших немного позади меня. Очевидно, все они заметили это изменение. Княжич Димитрий даже отпрянул на полшага назад. Алена, ойкнув, прильнула к отцовскому плечу. Тишка перекрестился. Прикрыл глаза. И вдруг произнес: «Вот оно, когда смертушка-то настоящая наступила. Она у грешников лю-у-у-ута!»

Он виновато поднял на меня глаза. Но я, вздохнув, только мелко закивал. Отвернулся. И повелел накрыть колоду крышкой и закрепить парой гвоздей. Медлить мы не стали. Сменив коней, пустилсь в обратный путь. Пан Ян сидел в узких санях, опираясь локтем на крышку колоды с телом Аллы, высоко подняв воротник тулупа и низко опустив мохнатую шапку на лоб. Теперь его трудно было узнать: бледный, изможденный, осунувшийся, с красным носом и синими губами. Но по-прежнему высокомерившийся, словно петух… перед отправкой в лапшу.

- Озяб, болезный? – хохотнул один из шести ратников княжича Димитрия, которые ехали вокруг саней. Пан Ян только вскинул ненавидящий взгляд, крутанул головой, пытаясь глубже всунуть ее в мех.

Обратился ко мне: «Князь Александр! Убей меня! Всё одно, свои даже в кремлевских подземельях, отыщут и предадут мукам, которые вашим пыточникам и не снились. Лучше уж от вас, от ворогов, смерть принять, чем от своих.»

- Э-э-э, нет, – вдруг хмыкнул княжич Димитрий, - вот расскажешь Государю про свои ордена, да что они замыслили протии Царя и Царства Русьского, да кто из наших доморощенных иуд у вас на службе состоит. А там Государь и решит.

- Не поверит ваш Царь моим сказкам. Слишком уж они неправдоподобны, - вдруг гордо вскинул подбородок пан Ян.

- А ты на дыбе правдоподобненько все и раскроешь, - хмыкнул опять княжич Димитрий. А ратникам своим повелел: «Ежели что, собой прикрывайте! Но этого гуся нам в Москву, к Государю позарез доставить надо живёхоньким! Головами отвечаете! А ежели доставим в целости и сохранности, буду просить вашего болярина десятскими вас назначить.

Мы гнали лошадей. Но только к вечеру следующего дня дошли до Царева Займища. Его кормленщик, князь Симеон, встретил нас, словно родных. Увидев пана Яна и

колоду, вскинул подбородок снизу вверх в их сторону.

- Они-и-и, - вздохнув, кивнул я, - одна мертвая. Другой, - как видишь. А посему, повели-ка, брат к нашим ратникам еще и своих приставить, чтобы потрое в стороже стояли. Да внешние дозоры усиль. Кстати, а ты разобрался со своим односельчанином, который оклеветал нас по пути на Вязьму?

Княжич Митька, услышав наш разговор, приблизился к нам. Прищурился, вглядываясь в князя Симеона. А кормленщик охнул, хлопнул себя ладонью по лбу: «Прости, брат! Совсем со своими хлопотами замотался. Ночей не сплю! Поди, помнишь болезного сотника, что заставщиками воеводствовал? Три дня, как похоронили… Царствие ему Небесное! Теперь я, пока смена не придет, содержу и чредую заставу. Но сей же час этого мужика вызову Приволокут на веревке! Вы только Государю не доносите о нерадении моем! А?»

- И не подумаем, - вмешался княжич Митька, - а что за соглядатай?

Я рассказал. А он хмыкнул. Покрутил головой. Опустил глаза в пол. Потом вскинул их. Хохотнул: «А ежели он и впрямь - ворожьий соглядатай, мы даже поможем тебе от него избавиться. И князю Курбскому

скажем, что ты его изобличил. Согласен? Тогда пусти слушок по селу, что везем мы из литвы ворога Государева, за которым давича Царские холопы гнались. А мы засаду устроим.»

- Может быть, поначалу – в баньку? – неуверенно проговорил князь Симеон.

- Нет, брат, поначалу дело сладим! А земляк-то твой-иуда в этих местах рожден? - глядя под ноги, спросил Митька.

- Не-е-ет, пришлый. Годков пять, как появился. Толковал, что беженец из лязов. Но крест православный показывал!

- Один? Или семейный?

- Дочка у него года полтора назад объявилась. Тоже, говорит, бежала от ляхов. Надругались над ней. Перезревшая. Так вековухой, видать, Бог и определил обитать здесь.

- Пришлый, говоришь? – задумавшись на миг, опять хмыкнул Митька. Огляделся, словно высматривал кого-то. Тихо проговорил: «Ну, вот, что. Сторжу усиливай тайно, чтобы ни одна душа не ведала о том. К истбе твоего «пришлого» людишек трех попроворней снаряди. Да чтоб тихо сидели. Никаких дел не творили. Надобно, - ежели – соглядатай, - чтобы он сюда пришел.

Полагаю, ежели придет, то уж обязательно со своей «вековухой».

Князь Симеон мелко и часто закивал головой: «Уразумел, братия. Все исполню.»

Мы сделали вид, что пируем. Расшумелись. Распелись на всё село! И мужикам нашим с ратинками то же делать велели. На самом же деле сели ждать. К нам присоединился еще и Дубок. Он, придя, хмыкнул: «Вот ведь, девка! Огонь! В самое пекло лезет всякий раз. Чуть ли не на коленки встала: мол, возьми меня тятенька с собой! Мол, Христом Богом молю. Ох, Алена! Алена!.. Чуть плеткой ей по спине не прошелся. Неслушница такая!»

Действительно, заполночь в гридницу ввалился заснеженный мужик. Выдохнул: «Вышли они из истбы. Сторожко так, опасливо идут, огородами. А я – прямиком по улице – сюда. Сами на – лыжах. С ними еще кто-то двое. Тоже на лыжах.»

- Что ж это они? Вчетвером – на такую ораву ратников? – удивился князь Симеон.

- Видимо, они не свободить его хотят, - хозяин Займища округлил глаза.

А Митка пояснил: «Верно, не сво-о-ободить! У-у-у-бить. Да вчетвером можно сотню порезать. Ежели навык есть. Так что, никакой не беженец - твой пришлый. Ворог

он, посаженный здесь для особых тайных дел.»

Мы вскочили одновременно. Натянули кольчужные перчатки. Вместе с Дубком и Митькой спустились в подклеть, где сидел на цепи пан Ян. Встали по углам за охапками сена. Наш сторожник притворился. Захрапел, опершись на бердыш. И скоро в подклеть спустились четверо. Один какой-то колотушкой ударил по голове сторожника. Тот завалился. А пришлые подошли к деревянной решетке, за которой сидел пан Ян. Тот, заметив их, забился в угол.

Один из пришедших глухо заговорил. Но я ничего не мог понять в его иноземной речи. Однако, скосив глаза на Митьку, понял, что тот все разумеет. Слышался звон цепей пана Яна ворочавшегося в своем углу. А пришедший все говорил и говорил. Наконец, похоже, он задал вопрос пану Яну. После недолгого молчания оследовал краткий ответ. И тут княжич Митька свистнул и кинулся из укрытия первым. Сверкнула сабля. И ладони обеих, протянутых пришедшим, рук отлетели в стороны. Тот вскрикнул. Что-то звякнуло о каменный пол, упав вместе с отрубленными кистями. Через миг все несостоявшиеся убийцы пана Яна были скручены.

Обезрученному перетянули руки и перевязали. Похоже кровь остановилась. Он кривил и кусал обезкровленные губы. Другие стояли, опустив головы.

- Хор-р-рош уловчик! – хмыкнул княжич Димитрий. Повелел нашим: «Всех - в железа.»

Потом наклонился. Поднял с пола кинжал. Дли-и-инный, но тонкий, словно игла. С дорогой, костяной, отделанной зотой вязью и самоцветами рукояткой. Княжич посветил под ногами поданным ему факелом.

- Ага! Вот еще! – довольно хмыкнул он. Поднял с пола маленький пузырек, тоже затейливо изукрашенный: «Вот, князь Алексаша, нашему панчику сии людишки предлагали, согласно своим законам, выбрать смерть. Чтобы, не дай Бог, под пытками он не проговорился и не открыл некии тайны. А выбор прост: кинжал, от которого и ранку-то не сразу углядишь, яд или удавка. Панчик наш должен был подойти к решетке. И тогда, как двое бы держали его, третий кинжалом, если панчик выбрал эту смертушку, нанес бы двенадцать медленных ударов вокруг сердца, а тринадцатый – в него. Причем делается такое беззаконие медленно, под чтение колдовских заклинаний. Если панчик

выбрал яд, то ему влили бы его в рот. И бедняга к утру помер бы в страшных мучениях. Удавкой же они не просто душат, а закручивают ее воротком, опять же медленно, приговаривая при этом те же кощунства.

- Откуда все это ведомо тебе? – удивился я.

- И-и-и, брат, – улыбнулся Митька, - служба у меня такая. А тебе, Бог даст, еще много узнать придстоит, коли со мной служить придется. Не зря я следом за тобой под Берестье поехал. Хор-р-рош, повторюсь, увловчик!

Затем он повернулся к князю Симеону: «Дай мне полсотни ратников. В Можайске я отпущу их обратно. Очень важных пташек везем мы гостинцем Государю. Оч-ч-чень важных. И довезти должны их целенькими, без трещинок, как пасхальные яйца! А выходим через час.»

- В ночь? – вскинул брови кормленщик.

- Да, - только и ответил княжич. Теперь Митька повернулся ко мне: «Ну, Алексаша! Коли даст Бог добраться до Государя, быть тебе пожалованным бо-о-о-льшим селом!»

Он сорвал с одного из полонян тряпку на голове и я узнал… Аннету, подружку Аллы из посольства.

- Вот те на, - даже выдохнулось у меня.

- А что ты думаешь, – хмыкнул Митька, - все три были подготовлены, как приманка для какого-нибуь русьского княжича-лопуха. Одну их них обязательно кто-то должен был выбрать! Прости уж за «лопуха»!

- А-а-а, - махнул я рукой, - чего на правду обижаться. Но где третья? Олеся?

- Вот ее-то я и опасаюсь в пути. Все три, якобы холопки, как я понял из твоих рассказов, были наряжены на Царство наше. Значит, где-то недалече она, - поджал губы княжич Митька, - потому и говорю, что надо быстрее выходить. Почитай, сто верст без малого – лесом идти.

Каждого полонянина со стянутыми цепями руками и ногами разместили в отдельных санях. Лицом к каждому сел ратник со взведенным самострелом, направленным на ворога. Позади устроился еще один, с обнаженной саблей. По бокам и со спины их огородили щитами. Вокруг каждых саней ехали по шесть ратинков из заставы. А вокруг них еще по три Митькиных молодца или казака. Шли мы о-дву-конь. И к саням были приданы сменные лошади.

- Идем без привалов и ночевок, - определил Митька, - коней меняем со дня на ночь и обратно.

- Добро, - кивнули одновременно мы с Дубком. Перекусывая на ходу краюхой хлеба и шматом сала, - прости, Господи, какой уж тут пост?! - я подмигнул скакавшей рядом Алене: «А из тебя добрый ратник вышел бы!»

- Нужды в том нет! – задиристо ответила она. Но покраснела и опустила глаза. Пробормотала: «Мне бабой быть сподручнее.»

-- Бабой? А что, муж есть? – хмыкнул я.

- Девка она еще! - встрял между нами Дубок. Строго посмотрел на дочь: «Рановато замуж. Да пока и не за кого.»

- А я что? Я – ничего! Хотел просто похвалить за то, как она через спину вражину эту упокойную кинула, - смущенно проговорил я.

- У нас, казаков, этому каждая баба обучена. С отрочества вместе с мальцами навыкают и на саблях ратиться, и из лука стрелять, и сулицы метать, и топоры, и ножи. Да и рукопашному бою сам ее обучал.

- А ты что ж? Женат?

Ивашка Дубок вздохнул: «Увели нашу с Аленой мамку Марью казанцы в полон.

Даже и не ведаю, где она сейчас. Поэтому тоже и дал согласие идти под руку Иоанна Васильевича. Бог даст, возьмем Казань, и там найду Марьюшку свою.»

…Ближе к вечеру впереди на дороге показался обоз саней в двадцать, идущий навстречу. Княжич Димитрий поднял руку. Мы все остановились. И он повелел: «Наложить стрелы на луки. Болты – в ложе. Сабли – вон. Бармицы застегнуть…»

- Чего это ты? – поначалу удивился я.

- А ты глянь! В санях-то - по двое-трое сидят. Такого в торговых обозах не бывает. И верховые – по бокам и позади, - прищурился, вглядываясь вдаль княжич, - поболе сотни будет…

- Ну и глазастый же ты! Всё приметил! – восхищенно выдохнул я.

- Служба такая – хмыкнул Митька и скинул полушубок. Свернув его в жгут, положил перед собой на седло. То же сделали и его ратники. А за ними – и я с Дубком, Аленой, конными казаками, займищенскими заставниками.

- Все – на левую руку! – повелел княжич, и живая стена из ратников и казаков отгородила сани с полонянами со стороны приближающегося обоза.

А Митька продолжил: «Шире шаг!»

Первыми санями правила баба, по самые глаза закутанная в платок. Позади нее примостились старик в треухе и двое молодых мужиков. Их лица тоже были до глаз замотаны тряпками. Рядом в полушубке, из-под которого блестел наборный доспех, гарцевал молодец с красивым по-бабьи лицом, опушенным короткой бородкой. За этими санями следовали другие. И только они поравнялись с нами, как ездоки вскинулись, сбросили тулупы и полушубки, под которыми оказали колчуги и доспехи, и… осыпали нас стрелами. Среди наших раздались крики и стоны. Конные от обоза кинулись в рукопашную. Ах! Как прав оказался Митька. Он крикнул мне: «Береги безрукого! Этот у них – старший!»

Наши ратники тоже пустили стрелы. Поразили десяток ворогов. И тут завязалась рукпашная. Митька с двумя своими ни на шаг не отходил от саней с паном Яном. Я с Дубком и Аленой загородили собой безрукого. Баба из обоза тоже вскочила на коня и киулась в мою сторону. В одной руке у нее была сабля, в другой – самострел. Путь ей прочищали трое конных. Одного из них я узнал. Это был… пан Мечеслав. Мы скрестили сабли. Но краем глаза я увидел,

как путь к саням с безруким бабе преградила Алена.

- Что ж ты делаешь?! Под самострел же лезешь! Ох, Господи! Спаси и сохрани рабу твою Елену! – прожег я словами свои губы. А пану Мечеславу, отбив его выпад, крикнул: «Что ж ты?! Называл себя честным, благородным ратником, а действуешь, как разбойник на большой дороге?! Во-о-ор!»

И я, изловчившись, рубанул его по голове. Сабля скользнула по шелому вниз, входя в податливую плоть шеи. Пан Мечислав откинулся и начал сползать назад. Но и я упал через спину коня, потому что тот как-то странно присел на задние ноги Оказывается, какой-то мужичонка из нападавших подлез под меня перезал ему сухожилия. А подлаза уже занес надо мной тяжелую секиру. Но застыл. Выпучил глаза. Выпустил оружие из рук и потянулся обеими руками к шее, из которой торчало оперение болта. Я на миг оглянулся. Оказывается ратник, сидевший напротив безрукого, применил свой самотрел. Но в это время баба из обоза сбила с ног Алену и, подскочив к саням, в упор выстрелила в того, которого я должен был сберечь! Рубанула и ратника, спасшего меня. Я подскочил сзади, развернул

за плечо злодейку. При этом у нее развязался платок, Передо мной была… Олеся.

- Вот и встретились, - усмехнулась она и нанесла такой удар саблей, что я едва сумел отбить его. Рубанул сам. Что ж, противник был достойным. Олеся упала с разрубленной пополам головой. Вместе с Тишкой, оказавшимся как раз рядом, мы зарубили еще троих. Я мельком заглянул в сани. Безрукий лежал с широко раскрытыми глазами. На лбу слегка сочилась кровью небольшая дыра. Очевидно, болт пробил голову насквозь. Оглядевшись, я увидел, что Дубок рубится двумя саблями шагах в десяти от меня. Рядом же со мной никого из ворогов не было. Тогда я кинулся к Алене. Но та уже и сама пыталась подняться.

- Как ты? – попытался я помочь ей.

- Слава Богу!.. Почему она меня не убила? Только по голове ударила рукоятью сабли, - сняв шелом, мотала Алена своей длинной косой. И вдруг вскинулась: «И-и-иди! Рубись, как все! Чего пристал? Аника-воин! Сказала же, что за все – слава Богу!»

Я только хмыкнул. Оглядевшись, кликнул Тишку. Повелел, указывая на пана Мечислава: «Этого связать и – в сани.»

А сам кинулся в сечу, которая, похоже, подходила к концу… «Да-а-а, - подумалось

вдруг, - если бы не ратинки княжича Димитрия и казаки, вряд ли я выстоял с простыми ратниками против этих разбойников»! Но тут на меня выскочили двое ворогов, с которыми тяжелёхонько пришлось. Но, - Бог милостив, - справился. Когда сеча закончилась, оказалось, что мы потеряли убиенными больше половины своих людей, - помяни их, Господи, во Царствии Своем.

Мороз окреп. Поэтому связав из тонких небольших березок волокуши, мы прицепили их к саням, уложили туда наших убиенных, чтобы по-людски похоронить в Можайске. И двинулись дальше. Но случившееся сильно затянула наше движение.

В дороге я невольно заметил, что Алена как-то виновато нет-нет, а вскидывала на меня взор. Я подскакал к ней: «Не кручинь сердца. Я не сержусь. Сеча – такое дело, что твои слова мне пошли только на пользу. Спаси тя Господи.»

- Не на что, - пробурчала она, опустив взор и надув губки. Но тут я сам почувствовал свою вину перед княжичем Димитрием, который все это время ехал в задумчивом молчании. А может быть, он уже не доверяет мне как соратнику?! Я нагнал

его. Склонил голову: «Прости ты меня, княжич, Христа ради.»

- И-и-и! За что ж это, брат? - вдруг неожиданно улыбнулся он.

- Не уберег я безрукого!..

- А ты и не смог бы этого сделать. Ни мне, ни даже Государю за это гневаться нет причины.

- ?

- Брат Алексаша! Олеся, - как она рубилась! любо-дорого! - и иже с нею имели одну единственную цель: свободить безрукого. А ежели сие не удастся, убить его. Ведь он во всем это заговоре - птица оч-ч-чень высокого полета! Ты даже не представляешь, - какого! Он будет повыше иного заморского короля. Не зря же именно он приехал привести в исполнение смертный приговор таким важным людишкам, как Алла и пан Ян. А они – тоже не последние в этом заговоре. А то, что его убили?... У них у всех – конец такой. Убивший кровию, кровию да умрет! Не бери это близко к сердцу. На всё – воля Божия. Ведь и мы с тобой могли на поле той сечи остаться. А? Конечно, безрукий много интересного мог поведать о том, что замышляют слуги сатанинские против нашей Православной Державы. А как же?! Подножие Престола

Господня! Но, повторяю, на все – воля Божия. Немало знает и пан Ян. Вот его-то теперь и надо беречь, как зеницу ока!

- Спаси тя Господи, брат. А то я уж подумал, что гневаешься на мое нерадеине.

- Гнев – тяжкий грех, – засмеялся княжич, - а мне в ад, ой, как не хочется!

Я приотстал от Митьки. И тут ко мне подскакал Тишка. Потупился: «Я вот… Тут, княже… Прости, коли не так что…»

- Да не тяни. Говори! – рассмеялся я.

- Вот, я и говорю. Твой-то самострел басурмане в Берестье куда-то засунули… Мы не успели обыскать все. Надо было сматываться. А я подобрал. На поле сечи… Этой злодейки. И колчан с болтами, - протянул он мне самострел Олеси.

- Знатный подарок, - осмотрел я на на скаку самострел. - добротно слажен. Спаси тебя Господи.

А сам в это время подумал, что Тишку надо обязательно наградить как-нибудь по приезду в Москву. Не забыть и семьи невинно убиенных, на кол посаженных. Ежели, конечно, Бог даст добраться целыми и невредимыми. Но тут же спросил его: «Как же ты там от бесурсман ушел, тогда, как всех наших мужичков на колы посажали?»

- Да просто все… Ну, остановились мы, где Захарка повелел. Станчик разбили. Сторожу выставили. Тебя, стало быть, ждали. Я и пошел по воду. Костров раводить нельзя. А пить хочется. Я и увидел, как дорожка какая-то тянется сверху к реке. Вот и подумал, что родничок. Пошел с котелком да с фляжкой. А тут эти налетели. Повязали всех. А я в кустах спрятался. Что ж я соломой против силы пойду?! Не заметили они меня.

- Ангел Хранитель тебя твой спас. И послал для этого за водой. А дальше? - крутанул я головой.

- А дальше я о колоду головой бился, не зная, что и делать. Понимал ведь: полонили тебя. Но как спасать? Тем паче, что и коней супостаты увели в крепостицу ихнюю. Одна сабля – на поясе, да нож - за голенищем. Ну, думаю, надо людей добрых искать Это в чужих-то краях. А я помолился! И пошел на дымок. Гляжу, стоит истбушка. А оттуда – крик! Зовет кто-то на помощь. Я сторожко так, из-за баньки, выглядываю. А там мракобес, - весь в черной коже! – девку заваливает. Явно снасильничать хочет. Ну, я и, - свою дочку вспомнил, - подкравшись, дал ему свенчаточкой, которая в рукавичке была, по макушке, прости, Господи. Он и

отвалился. А девка, значит, кричать, было собралась. Но передумала. Схватила меня за рукав и потащила на сеновал. Там в сене отец ее раненный лежал. Весь - в кровище! Я повелел девке воды принести. Помог, значит. А старик тот что-то не по-нашему сказал ей. Девка и убегла. Ну, думаю, сейчас холопов бывшей княгини нашей приведет, этой Аллы, - и Царствия-то ей Небесного не пожелаешь. Не-е-ет. Гляжу: княжич Димитрий со своими входит в истбу. Вот уж, радость-то была! Вот уж, радость-то! Словно на Пасху! А потом и Захарка нашелся. Оказалось, что я по воду пошел, а он – по нужде.

- Неисповедимы пути Твои, Господи! – перекрестился я. А тут ко мне и Дубок подъехал. Опустив глаза, молвил: «Слово некое хочу сказать тебе, княже.»

- Что такое, брат?

- Дай-то Бог братьями стать.

Я жестом отправил Тишку прочь. Кивнул Ивашке. Тот продолжил: «Сам, поди, ведаешь, что отец чадо свое знает лучше других?»

- ? – вскинул вопросительно я подбродок снизу вверх.

- А ведаю я, потому, как вижу, что запал ты на сердце Алене. Погоди перечить.

Я – постарше тебя по возрасту. Не гляди, что холоп беглый. Имей хотя бы к возрасту христианское почтение. Я – казак! Так вот, одно тебе скажу, княже: коли хочешь братом быть, как назвал меня давича, не давай воли страсти. Не ровня вы с Аленой. А испортишь девку, разорву на двух березках. На плаху потом пойду, но перед Богом - прав буду. Так на Святой Руси повелось. Прости уж, - по-христиански, - коли резко сказал. По-казачьи…

- Да что ты, брат? Как же я могу? Ведь вместе рубились только что!

- Знаю я вас болярских да княжеских сынков! Может быть, и бес нашептывает сейчас мне, но только мало я от вашего бра-а-а-ата видел доброго. Прости уж. Но про березки-то помни.

Он придержал коня. А я замотал головой. Что-то недоброе окутало меня, словно туман. «Вот ведь, наваждение! В самом конце похода! Когда, казалось, все почти завершено! Один переход остался до Можайска! А тут… Тот, кому доверял…» - сверлило в голове.

- Умири сердце! – послышалось рядом, и я увидел скакавшего голова в голову… отца.

- Наконец-то! – выдохнул я. Скорб слетела с души: «Что ж ты раньше не показывался?»

- А к кому показываться? Мой сын – греховодник, - покачал он головой, - блу-у-у-дник! И с кем? Забыл про обет?

- Я его выполнил! Я своими руками убил… её! Е-е-е-ё! Ты поинмаешь?! Е-е-е-её?! А Наталию, еретичку жидовствующую, ты мне подсунул! Это – не греховодничество?

- За это и несу епитимию. Так ты же не помогаешь. А еще более усугубил.

- Откуда же я знал?

- Да-да… Скажешь, у нового поколения – свои законы. А закон-то один – Бо-о-ожий!

- А я… А я … Могу помочь?

- Да. Своей службой.

- А как тебе… Алена?

- Лишь бы ты был счастлив…

- Прости, отец.

- Бог простит. Слу-у-у-ужи! Как обетовал! - и он растворился в морозном воздухе. А у меня на душе все помутилось: не так я с отцом поговорил! Ой, не так! Прости, Господи! И ты, отец! В Можайске же панихиду закажу! И благодарственный молебен. А чего это я про Алену у него спросил? Хватит! Наженихался!..

До Можайска мы добрались без приключений. Местный кормленщик болярин Василий охал да ахал, слушая наши рассказы. Панов Яна и Мечеслова мы заключили в подземелье. В разные подклети. Выставили усиленную охрану. А болярин Василий указал на дальнюю подклеть: «Вычислил я-таки соглядатая. Дьяка моего купили супостаты. Может быть, захватите его с собой на Москву? А я грамотку в Разбойный Приказ отпишу о своем расследовании. Самому-то сейчас не с руки ехать: к осени полк собрать надо, снарядить, стены и башни подновить и укрепить. Вобщем, делов – по самую макушку! Так возьмете ворожину, которого я пригрел? Дьяка моего?

- Что ж, - хмыкнул Митька, - да-а-а-авай! До кучи! И вот, что еще: нас сопровождали заставщики из Царева Займища. Две трети их полегла в сече. Окажи милость, распорядись, чтобы упокойничков, невинно убиенных, отпели и земле придали. Раненных - подлечи. А нам дай ратничков пятьдесят в сопровождение до Одинцова. Сам ведаешь, какую птаху заморскую на Москву везем. Береженного Бог бережет! А?

Болярин согласно пожал плечами. Вечером мы сходили в собор. Отстояли Всенощную. Я заказал панихиду и благодарственный молебен. Потом все попарились в баньке. И с рассветом вышли на Москву. Но не успели сделать и переход, как встретили большой отряд ратников. Они оказались сменой, идущей на заставу в Царевом Займище. Хмурый, даже какой-то суровый пожилой князь, шедший во главе отряда, выслушал наш рассказ молча. Перкрестился. Пошевелил губами. Молвил: «На все - воля Божия. Значит во время идем. Прощайте. Ангелов Хранителей вам в дорогу. И Покрова Божией Матери.»

И мы разошлись. До Москвы оставался всего один переход. Я проезжал вдоль обоза, когда пан Мечислав окликнул меня: «Пан Александр?»

- ? – дернул я подобородком снизу вверх.

- Прости меня. Я ведь – ратник. В их дела нос не совал. Своих забот хватило. Но только не вор я, не разбойник.

- Бог тебя простит, - мотнул я головой, - а рассказывать про себя в Разбойном Приказе станешь. Напали-то вы на нас на Русьской Земле. Стало быть, мало того, что

сразбойничали, - набег совершили. Вот за это и ответишь, как воевода.

И я поскакал дальше…

…Курбский, встетивший нас, выглядел хмуро. Обошел обоз. Оглядел всех. Повелел снять крышку с колоды, в которой покоилось тело Аллы. Дернул подбородком снизу вверх, как бы спрашивая.

- Сам же толковал: живой или мертвой. Первого не получилось. Иначе бы и сами не пришли и ворогов не привезли бы! - отстранил слегка меня княжич Митька. И пояснил: «Князь Александр, убив ее, спас жизнь и мне, и Дубку, и дочке его, да и ратникам нашим. Она ведь не хуже меня всяким оружием владела.»

- Ну, что ж, - положил мне на плечо руку Курбский, - искупил ты свою вину. Езжай домой. Отдыхай. Там твоя матушка с чадами прибыли. Ежели понадобишься, вызову.

Мы похристосовались с Митькой и Дубком, и я отправился в свои хоромы. Но чем ближе подъезжал к своему жилью, тем тоскливее становилось на душе: словно живые, вставали передо мной воспоминания о нашей с Аллой жизни здесь. Я отгонял их, но они снова лезли в душу. Я убеждал себя,

что она – вражина. Но тут же вспоминал ее улыбку, ласки, голос.

«Да воскреснет Бог и расточаться врази его!» **- вспомнилось вдруг, что так говаривал в минуты искушений и опасности Митька. И тут же радость предстоящей встречи с матушкой и сыновьями наполнила сердце. «Вот ведь, стало быть, действительно вражье нападение!» - вдохнул я. И вот уже - забор и тесовые ворота моего двора. Я постучал рукояткой плетки в ворота. Открыл мне их Фока! Слава Тебе, Господи, - живой и здоровый!**

- Княже.., – радостно выдохнул он, - Тишка сказал, что будешь только к вечеру. Но я уже баньку затопил. Стол велю сей же час накрывать.

Я въехал во двор и опять почувствовал, что воспоминание об Алле кольнуло сердце. Но с крыльца ко мне ссыпались Ваня и Вася. Выросли-то как! Я спешился. А они прыгнули, как маленькие, пытаясь вскочить на руки.

- Вы же - совсем большие! Княжата, – засмеялся я, - княжата! Не удержу! Ну, здравствуйте.

Мы расцеловались. А подняв глаза, я увидел и матушку, стоявшую на крыльце. Вбежал к ней. Склонился под благословение.

Она поцеловала меня в макушку. Со слезами в голосе произнесла: «Слава Богу!»

Я вгляделся в матушку. Морщинки уже отчетливо пролегли на щеках и на лбу. Из-под платка выбилась белоснежная прядка. Господи! Постарела-то как! А она вглядывалсь в меня, словно искала ответ на какие-то свои немые вопросы. Прикрыла глаза. Смахнула слезу. Повелела: «Давай-ка, сын, переодевайся. Ступай с дороги в баню. И – за стол.»

А за матушкой я увидел дядьку Степана. Боже! Как же и он постарел! Седина в голове и бороде ударилась в желтизну. А он только ткнулся мне в плечо лицом. И я понял: плачет. Я погладил его по голове. Поцеловал в макушку.

- Ну, что? Что ты старый друже мой и пестун? Слава Богу, ты, матушка, детки живы и здоровы…

- Да нет, княже! Годы берут свое. Старый конь в сече умирать должен. А на покое он быстрее дряхлеет. Прости уж. Но сынков твоих пестую с Божией помощью. Тебя всегда им в пример ставлю. А они уж величаются тобой! Ну-да, ладно. Исполняй то, что матушка повелела. Старость-то почитать надобно. По-христиански-то!

И я исполнил. Но, оставшись опять наедине с собой, вспомнил Аллу. Да-а-а, видимо, долго еще эта рана будет кровоточить в сердце. В бане Тишка от души исхлестал меня березовым, а потом и дубовым вениками. Распарившийся, разомлевший я сидел за столом между сыновьями, не спускавшими с меня глаз, напротив матушки, все еще вглядывающейся в меня. Потрапезничав вволю, мы разошлись по своим покоям. Но скоро дверь в мою лежницу отворилась и вошла матушка. Долго и пристально, молча, опять вглядывалась в меня. Наконец, спросила: «Растолкуй ты мне, старой грешнице, чадо мое ненаглядное, что же здесь все-таки произошло? Почему и кем Фока ранен? Как еще двое холопов погибли? Что за рухлядь бабья, болярская в кладовке брошена? Холопы-то глаза опускают. На все мои вопросы отговариваются. На тебя кивают, мол, князюшко приедет, все растолкует. А что это у тебя с рукой? Где мизинец-то? А?»

- Матушка! Не кручинь сердца. Служба у меня такая. На ней и потерял мизинец. Главное же – не голову! А здесь… А здесь тоже - все скорби от той же службы. Завелась, как говорит князь Курбский, крыса в

хоромах. Она и откусила палец-то. А сейчас – все слава Богу! Уладилось. А боле не спрашивай. Служба Го-су-да-ре-ва!

- А ведь поблудил ты…

- То, что было, быльем поросло. А для исповеди священник есть. Ему я исповедаюсь и каюсь в грехах.

- Так-то ты с матерью разговариваешь?!

- Так, не отрок, поди, уже! Прости, мать. Сблудил. Крепко сблудил. Да так, что и сам убил блудницу. Не дело она затеяла против державы. Живулечку моего из чрева вытравила! - и я, вдруг зарыдав, упал на грудь матери. А она, прижав мою голову к себе, гладила по волосам и приговаривала: «Ну, что ж… Безгрешен Един Бог. Помоги тебе Господи одолеть эту скорбь. Помоги, Господи. А я молиться за тебя усерднее буду. Не трезай только сердце свое. Еще найдешь свою суженую. Сердце, говорю, не терзай. Знать, епитимия Божия такая - на роду нашем. Знать, есть, за что. За какие-нибудь прапрадедовы грехи. Умирись, сынулечка! Голубочек мой сизокрыленький»»

Из глаз ее тоже лились слезы. Так мы и просидели допоздна. А она все гладила и гладила меня по голове. А ведь - не отрок я уже!

Рано утром, еще по темноте, прискакал посыльный от князя Курбского. Войдя в лежницу, поклонился в пояс. Молвил: «Велено тебе, князь Ляксандр, в Кремль скакать. В Разбойный Приказ. Там и сам Государь - сейчас! Сбирайся. Мне велено вместе с тобой вернуться.»

- Так, что ж? Как колодника везти станешь?

- Не-е-е-т… Государь повелел беречь тебя, как зеницу ока. Сказывал, что в дороге всякое статься может. Велел тебе в доспех облачиться. Но ты поспешай. По-о-оспешай!

…Через час я спускался в подземелье. Петляя по переходам, наконец, вошел в душный и дымный зал. Там на узкой лавке сидел Государь Иоанн Васильевич. По бокам стояли поп Сильвестр, Адашев, князь Курбский, княжич Митька, Дубок и еще несколько княжат, болярских сынков, дьяков. На дыбах висели паны Ян и Мечеслав, можайский дьяк, еще несколько незнакомых мне людишек. В жаровне раскалились добела железные пруты. Пыточные дьяки с масками на лицах ждали повеления. Увидев меня, Государь встал с лавки. Подошел ко мне. Похристосовался. Мотнул головой: «Знал бы ты, Алексашка, каких гусей привез! Цены тебе нет, друже ты

мой! Скорблю с тобой вместе о твоей утрате. Но, с Божией помощью, переживем. Всяк искушаем бывает. Но теперь тебе я верю.»

И он посмотрел на княжича Митьку. Я поклонился. Сказал: «Здесь – заслуга княжича Димитрия и Ивашки Дубка с дочкой. Сам бы я нипочем бы не выбрался из этой переделки.»

- Молодец, - кивнул Государь, - ценю твою скромность, смирение. Но, ежежли бы с тобой не случилось такой напасти, то и Митька с Дубком не сладили бы своего дела. Вот так Господь и творит Свои чудеса. На нас!.. А теперь, послушай, что эти гуси гогочат! Ты ведь не понаслышке общался с их пособницей.

- Добро, - кивнул я и встал позади Государя рядом с Курбским.

- Ну, Аника-воин, - усмехнулся Иоанн Васильевич, обращясь к пану Мечеславу, - что поведаешь нам? Что хотели сотворить твои подельники вместе с убиенными против нас и Царства Русьского?

- Не ведаю, - простонал тот, - я – ратник. Воеводил. Думал только о том, как охранить панов, обиходить подчиненных, коней.

- А что? И не ведал даже того, что все три бабы – и не холопки вовсе, а подосланы к нам вред всякий чинить?

- Сие ведал… Но как я, присягнувший служить, мог нарушить присягу?!

- Похвально такое радение о службе и верности присяге. Но тогда получается, что ты – лютый ворог наш! И ежели не побили бы ваш обоз холопы мои, ты побил бы их?

- Побил бы. Но воеводила нами Олеся.

- И что же она повелела?

- В первую голову, ежели не сможем свободить, убить графа Ульриха и пана Яна, чтобы под пытками не сознались в тайнах, ведомых им. Потом убить князей Александра и Димитрия. И если сладится, порубить остальных, кто был в замке на Тисовье.

- Граф Ульрих – это тот, которому ладони отрубили?

- Да.

- А что он за птица?

- Он – самый главный.

- И его, главного, убить?! Что-то я не понимаю.

- Убить, если не удастся свободить Так принято. Для сохранения тайны.

- Какой тайны?

- Этого мне не ведомо. Я – ратник. Толкую же: мое дело было ратиться. В дела других я даже не вникал.

- Он правду говорит? – повернулся к пану Яну Иоанн Васильевич.

- Правду, - выдохнул тот, – потому как – не посвящен…

- Во что не посвящен? Кем?

- …

- Тогда ты поведай нам о тайнах ваших.

- Не могу! Я клятву дал.

Государь кивнул пыточным. Один из них ударил пана Яна хлыстом по ребрам. Тот вскрикнул. Иоанн Васильевич повторил требование. Но пан Ян только опустил голову. Раздался еще одил хлопок хлыста. А за ним – еще один вскрик. Пан Ян поднял голову: «Лучше убей меня Государь. Ты не убьешь, так наши все равно до меня доберуться. Для них нет преград и запретов.»

- Казнить мы тебя всегда успеем. Я хочу знать, что ты и твои подельники замыслили против меня и державы моей. И кто из моих подданных вам служит? Коли поведаешь, обещаю тебе жизнь. Потому как ты – иноземец. И спрячу тебя в дальний монастырек, где ни-и-икто не отыщет.

- Дай время подумать, Царь, - поднял голову пан Ян и взглянул на пана Мечеслава.

- Добро, - кивнул Иоанн Васильевич и кивнул пыточным, - этого ратничка снимите и уведите в подклеть.

Когда повеление было исполнено, Государь подошел поближе к пану Яну и дернул подбородком снизу вверх: «Ну? Будешь говорить?»

- Толку от моих рассказов не будет никакого. Тебе, Царь, все одно не одолеть, не помешать нашему братству. А мы будем владеть всем миром. Потому, как стоим над миром. Над властителями разных народов и держав. Мы – везде!

- А ты вот поведай и нам. Глядишь, и я с холопами своими пожелаю в братство твое вступить. А?

- Не в моей это власти. У нас все решает «высший светлейший совет».

- А как же мне его найти?

- От него и был прислан граф Ульрих.

- Во, здорово! Он, как я понимаю, немец. Ты – лях.

- У нас не имеет значения, кто в какой земле родился, откуда вышел. Я же сказал уже, что мы – над миром.

- Стало быть и присланы вы были, чтобы подчинить Землю Русьскую своему «братству»? Како веруеши?

- …

- Или опять хлыста захотел? Забыл, кто с тобой разговаривает?!

- Государь, - подал голос князь Курбский, - дозволь сказать? Сдается мне, что он нам головы морочить взялся. Не верится мне в эдакий вселенский заговор. Это ж сколько времени добираться надобно! Откуда ж знал тот убиенный немец, что наши людишки одну ворожину убили, другого полонили? И тут же оказался здесь! Ой, не верится мне. Ой, лукавит колодник наш.

- Что на это ты скажешь? – кивнул в сторону Курбского Иоанн Васильевич, обращаясь к пану Яну.

- Мы имеем приборы, через которые все ведаем. Имеем способность передвигаться быстрее любого всадника. Во времени и в пространстве…

- Уж не ворожбой ли «братство» ваше занимается? Так у нас, на Земле Русьской с этим – просто: в баньку, да петушка красного подпустить.

- Дозволь, Государь слово молвить? – встрял княжич Митька. Получив

позволение, продолжил: «Князь Александр не даст слукавить. Он тоже видел. Есть у них прозрачные шары, которые в результате ворожбы показывают те места и тех людишек, которые нужны ворогам. Хоть за сотню верст!»

Иоанн Васильевич метнул взгляд в меня: «?»

- Да, Государь. Видел я эти шары. И видел, как они показывают! Свидетельствую! – вытянулся я перед Царем.

- Да, сжечь его, Государь, в баньке! Чародея эдакого заморского! – вскипел вдруг поп Сильвестр. Иоанн Васильевич мотнул головой: «И сие мы еще успеем, коли упираться будет. Посему повелеваю: его на цепь, в дальнюю подклеть. Пусть поразмыслит. Завтра и потолкуем. В последний раз. А пока глаз с него не спускать. Любого, кто приблизится к его подклети, рубить без жалости! А за ним я завтра сам приду.»

Потом он обернулся к Курбскому: «А что ж твои молодцы не привезли мне такой шар?»

- Так ведь – колдовской, Государь! Заговоров мы тоже не знаем, чтобы испытать шарик-то. А молодцы мои сами едва ноги

унесли из чужой земли. Но с гостинцами приехали. А сам я не очень-то и верю всему этому… Но из колодника нашего можно вытянуть все сведения.

- Добро, - вдруг задумавшись, кивнул Иоанн Васильевич и направился к выходу из подземелья. Остальные потянулись за ним.

Дни стояли какие-то тусклые. Даже с Женей не хотелось ни о чем говорить. И он тоже почему-то помалкивал. Дважды я созвонился с Валентиной. Но разговоры получились какие-то «дежурные». В субботу я договорился со стариком-обменщиком встретиться на Бабушкинской, чтобы посмотреть комнату. Соседки дома не оказалось. Комната мне понравилась: светлая, теплая. Старый допотопный шкаф, письменный стол, продавленный диван, два стула – вот и вся мебель.

- Увозить во Владимир ничего не собираюсь. Хочешь, выкини, а хочешь оставь, - сказал старик,

- А что за соседка у вас? – спросил я, выходя на кухню, на которой все блестело от чистоты.

- Соседка, как соседка, - вдруг опустил глаза он.

- А где вы еду готовите? Столик-то – один. Соседкин?

- Много ли мне надо? Вечером – кефир с булочкой. Утром – яичница с колбасой, чай. А посуда – в комнате. В письменном столе, - он опять опустил глаза. Потом уставился в окно. Все это показалось странным, но я решил не задумываться: может быть, у него такая манера общаться. Что мне с ним, детей крестить?! Скорей бы переехать! Вернувшись домой, за ужином я отчитался перед родителями. Мать заулыбалась: «Хорошо-то как! На мебель тратиться не придется. Не вздумай ничего выкидывать! Разбогатеешь, новую мебель купишь, а эту на дачу отвезем. Да и соседку, говоришь, не видел? Ну-ну! Еще успеешь. Ты завтра куда-то собираешься?»

- А что?

- Просто спросила. Завтра же – Вербное воскресенье. Утром сбегал бы в лес, нарезал бы вербочки. А?

- Хорошо, - ответил я. А сам вспомнил, что приглашен в гости к Сергею Емелиановичу и Елене Васильевне. Но они-то наверняка, на службу пойдут. Да и мне не мешало бы. Встану пораньше.

Так и сделал. И утром, пока родители и сестра еще спали, успел и в лес сгонять, и

собраться, и убежать из дома, оставив записку, в которой сообщил, что пошел в церковь освятить вербу.

…Сергей Емелианович и Елена Васильевна, видимо, только вернулись домой. Но, увидев меня в дверях оба заулыбались, поздравили с праздником, пригласили проходить. Я даже удивился тому, что профессор и заведующая отделением большой больницы живут в скромной двухкомнатной квартирке, обставленной самой простой мебелью. Только иконы в Красном углу были настоящие, с позолотой, в серебряных окладах и дорогих киотах. Елена Васильевна засуетилась. Начала сразу накрывать на стол. Но и здесь все было просто: селедка, бутерброды с красной рыбой и икрой, соленые грибочки, помидоры и огурцы. А в центре стола играл своими гранями старинный, запотевший графинчик.

Сергей Емелианович прочитал молитву перед едой. И мы уселись за стол. Я кратко рассказал про Алексу из четвертого века, князя Ляксандра из четырнадцатого. И, наконец, о последнем, который сейчас время от времени напоминает о себе. Удивился тому, что Царь Иоанн Васильевич – совсем не такой, каким его на представляют

современные историки. Но рассказ закончил последним сном про голема.

И Сергей Емелианович, и Елена Васильевна внимательно выслушали. Профессор изредка качал головой, а его супруга, - наоборот, - сидела, прикрыв глаза ладонью, и улыбалась.

- Ну, что ж, - наконец, подытожил мой рассказ Сергей Емелианович, - с официально научной точки зрения все это может показаться, если не редкими помутнениями рассудка, не галлюцинациями, то болезненной фантазией. А на мой взгляд, у вас, Александр, как и у моей Леночки, просто обостренная генная память. Мы же знаем, что у Бога – все живы. Вот и посещают вас ваши пращуры. Они своими добродетелями и грехами влияют на вашу жизнь. Но и вы-то – тоже… Вот и напоминают ваши пращуры, как жить, чтобы не повторять их грехов. Показывают ваши родовые благословения и родовые проклятия. Вот вы боритесь со своими грехами, за каждым из которых стоят бесы. А по поводу голема… М-да… Вам все правильно привиделось. Но, думаю, это связано как раз с эпохой Иоанна Васильевича Грозного. Грозного – для врагов России! Вот последние и лезли из кожи вон,

чтобы сделать Державу нашу «имперской провинцией», как предлагал в своих отчетах, - простите, запамятовал имя. Не обходилось и без колдовства. А им занимались в своих ложах масоны.

- Я слышал про них. Но знаю не глубоко, - закивал я.

- А вы знаете, что много знать про них смертельно опасно? Они даже своих не жалеют, когда те выполнили, - или не выполнили, - повеление своего «светлейшего великого совета». Или когда «братьям» угрожают пытки, от которых они могут выдать секреты «вольных каменщиков»…

- Да-да… Я же рассказал про Ульриха, про Яна, Аллу. Но про голема?

- В официальной литературе его создание припиывают как раз к шестнадцатому веку. Но я полагаю, такие опыты проводились и раньше. Все это, как и масонство берет свое начало из каббалы.

- Каббалы?

- Да-да. Каббала – это оккультизм. Это попытка контактов с темными духами. Но расплачиваться «контактерам» за это приходится погибелью души. Так учат нас святые отцы. Когда Израиль, - я разумею народ, - не принял Новый Завет, распял Христа Спасителя, когда от него ушли

пророки и ушла Благодать Божия, – он, наконец, вполне предался желаниям своего сердца и создал себе религию. А именно - каббалу. Всё то, что было запрещено Ветхим Заветом, потому как есть в каббале магия и оккультизм, астрология и отрицание Единого Личного Бога-Творца.

Каббала привлекает к себе несчастных заблудших тем, что она обещает крупные достижения в любой области. Мол, ах, как необычно! Ах, как интересно! Кааббла обещает же успехи даже в захвате мирового господства, о чем, к слову, и мечтали, и мечтают масоны. Для людей соблазнительно, когда им говорят, что занятия каббалой принесут им возможность управлять некими силами, успехи в бизнесе, материальное благополучие и популярность. Оккультисты убеждают людей, что с помощью каббалы, они достигнут гораздо большего, чем своими силами. Я надеюсь, что это – наш первый, так сказать, вступительный урок. А для начала могу дать почитать книгу замечательного русского ученого Льва Александровича Тихомирова "Религиозно-Философские основы истории". На страницах со сто девяносто девятой по двести сорок четвертую вы прочитаете о появлении каббалы, каббалистическом мировоззрении,

практической каббале и ее общем значении… Только, чур, с возвратом!

- Ну, что вы?! Конечно!

- Сереженька, – встряла Елена Васильевна, - ты, наверное, замучил Александра?!

- Нет-нет, – поспешил ответить я, - мне как раз это очень интересно.

- Только маленькое уточнение, даже предостережение, - вздохнул Сергей Емелианович, - будьте предельно осторожны. Не надо читать эту книгу в городском транспорте. А лучше, - вообще не выносите из дома.

- ? – вскинул я брови.

- Каббалисты мстят тем, кто пытается разобраться, чтобы вывести их на чистую воду. Мстят смертельно. И мстят иногда на мистическом, колдовском уровне.

- Значит, получается, что масоны и кабалисты – одно и тоже?

- Почти. И те, и другие – оккультисты. Каббалисты родили масонов. Так что, последние – как бы придаток, прислуга, своеобразные големы для первых.

Я поневоле вспомнил, какие похвалы масонству пела Людмила Петровна. Вспомнил, как она рассказывала про фокусы, которые показывал «семечка».

Значит, и она заражена этой дрянью. Надо искать другую работу. Правильно, говорил отец Валерий, - Царствие ему Небесное, - что она не даст нам с Женей работать над романом. А ведь сколько мы уже времени даже не вспоминаем о нем. Неужели, колдовство? Надо искать другую работу!

- Так вот, - продолжил Сергей Емелианович, - в эпоху Иоанна Васильевича Грозного, наши западные.., хм.., «доброжелатели», - а тогда увлечение каббалой, как и собственно масонство, было очень распространено в Европе, - единственным своим врагом видели Русское Православное Царство. Тем паче оно крепло и мужало. К слову, Русская Армия даже к середине царствования Иоанна Васильевича, не знала себе равных в мире. Поэтому-то и накинулись на бедное наше Отечество всякие оккультисты всех мастей. И каким же державным умом надо было обладать нашему Царю, чтобы противостоять этим врагам. И врагам – прежде всего, - Пра-во-сла-ви-я! Ведь известно же, что в корнях волос Иоанна Васильевича, любимой жены его Анастасии, сына найдено одинаковое количество одного и того же яда! А врач, который его пользовал, насколько я помню, был опять же иноземцем. И нет у нас

гарантии, что он не занимался оккультизмом. А сколько предателей было куплено среди бояр всякого рода внешними врагами?! И с ними боролся Царь! А ему приписали излишнюю жестокость! Даже, прости, Господи, параною! Так-то вот! Каббалисты до сих пытаются найти «Царский ген»! Искали его даже оккультисты Гитлера! Это я вам, как специалист говорю. Так что, берегите свои гены. Они у вас – княжеские. Точно! Причем тех князей, которые служили верой и правдой Великим Князьям, Царям и Отечеству. Иначе, я думаю, что к вере Православной вы не пришли бы! Молятся за вас крепко на Небесах.

- А как тогда объяснить поведение сверх солдат? У них же и гены человеческие были! И души безсмертные!

- И-и-и, – мотнул головой Сергей Емелианович, - вам это отец Илларион рассказал. Да, страшно использовали Алешкины, - простите, в иночестве отца Льва, - исследования. А чтобы объяснить это, вам надо прослушать курс лекций по генетике. А попросту говоря, в них возобладали гены хищников, внедренные оккультистами, работавшими тогда в военных НИИ. К тому, же, с точки зрения

Православия, родовые проклятия оказались сильнее родовых благословений, если Господь попустил тех «добровольцев» стать подопытными зверюшками. Они – тоже разновидности голема. И предки их несомненно замешаны во грехах, вопиющих на небо об отмщениии. А души? Души есть и у зверюшек. У кошки душа, если мне не изменяет память, весит то ли сорок, то ли четыреста граммов. Простите мою забычивость. Но это - за пределами темы моих исследований. Вот, Саша Борисов… Такие опыты тоже проводились.

Я посмотрел на часы. Они показывали четверть седьмого. Мне стало неудобно: сидим уже часа четыре. Хозяева, должно быть, устали. И я стал прощаться. Сергей Емелианович приглашал заглядывать почаще. Елена Васильевна перекрестила на дорожку. А дома я раскрыл книгу, данную мне сегодня, и принялся читать.

«У большинства людей при слове "каббала" встает представление не о какой-либо философии, а о чернокнижии, магии и колдовстве. И действительно, практика магии всегда составляла ее непременную принадлежность. Каббала родилась окутанной в магию и чародейство.

Такого рода занятия противны

Моисееву Закону. "Не должен находиться у тебя... прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых," - сказано во Второзаконии (Втор. 18:10-11). Тем не менее влияния язычества, влияния политеистического периода порождали в Израиле гадания и волшебства с давнейших времен, и это еще более усилилось в пропитанной чародействами Вавилонии.

То же мировоззрение, которое имеет Каббала, по существу своему неразлучно с практикой чародейства. Еврейское предание приписывает начало этим волшебствам царю Соломону, которого премудрость, по народным верованиям, и связана тесно с его знанием заклинаний и волшебств. Об этом пишет еще Иосиф Флавий. "Господь Бог, - говорит он, - даровал Соломону возможность изучить искусство входить в общение с демонами на пользу и благо людям. Соломон оставил после себя заклинания для излечения всяких болезней и волшебные формулы, помощью которых возможно связать демонов. Это искусство, - прибавляет Иосиф Флавий, - и до сих пор еще весьма сильно процветает среди нас, евреев" (Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т. 1. С. 440). Современные каббалисты и ныне очень

почитают так называемые "Соломоновы ключики," приписываемые премудрому царю.

Подтверждение слов Иосифа Флавия мы находим и в Деяниях Апостолов, где сообщается о скитающихся иудейских заклинателях, некоторые из которых пробовали изгонять злых духов также и именем Иисуса Христа. Это делали именно семь сыновей иудейского первосвященника Скефы. Когда же злой дух, в ответ на заклинания, исколотил их, это навело страх на многих занимающихся чародейством, и они сожгли свои волшебные книги, которых, очевидно, было очень много, так как цена их составила 50 000 драхм (Деян. 19:13-19).

Чародейская практика сильно развилась в гаонский период в том мистическом движении, которое неразрывно связано с Каббалой. Тогда особенно проявилось увлечение физиогномикой, хиромантией, вызыванием духов и всякой магией, замечает Карпп. Некоторые ученые из Кайруана (в Персии) спрашивали Гаигаона, как относиться к этим явлениям? "Эти мистики, - говорят они, - представляют нам множество книг, которые наполнены таинственными именами Бога, ангелов, фигурами и тайными печатями. Кто желает

предаться мистической практике, пишет то или иное имя, исполняет то или иное действие, и тогда совершается чудотворение" (S. Karppe. Указ. соч. С. 90-92).

Точно так же караим Салмон бен Иерушам в начале X века по Р. Х. упрекал раввинистов-мистиков в том, что они претендуют исцелять болезни магией, успокаивать бури, умиротворять диких животных и имеют таинственные имена, посредством которых можно приворожить к себе женщин. Саадия гаон, живший в Суре Вавилонской в 892-914 годах по Р. Х., очень почитаемый каббалистами позднейшего времени, излагал учение, дающее теоретическую основу магии (Там же. С. 170), а именно: говорил, что Бог в мире то же самое, что душа в теле, и одновременно присутствует во всех предметах. Это дает возможность обратного влияния от предметов на божество. Это тот же взгляд, который лежит в основе Каббалы. Все существующее свыше и внизу, по ее философии, составляет одно целое, и нити всего космоса сосредоточены в человеке, который есть "распределитель влияний." Человек соединяет в себе все элементы: божественные, небесные, стихийные, материальные - и может влиять на все. Все

существующее в мире высшем является здесь образом. "Все действующее на наши чувства имеет символическое значение, - характеризует А. Франк, - явления и формы материальные могут нам открыть то, что происходит в мысли божественной и человеческой" (A. Franck. La Kabbale. C. 163-164). Отсюда вытекают астрология и физиогномика с хиромантией. Каббалисты читали "небесную азбуку," которая образуется созвездиями и различным расположением звезд. Наблюдая их, мы можем узнавать грядущие события. Точно так же физиогномика и хиромантия показывают нам не только характер человека, но и его судьбу.

В этом случае виды таинственного знания сообщают нам лишь пассивное предвидение событий. Но единство мира и положение в нем человека дают нам возможность и активного влияния на события.

Обрисовывая учение Каббалы, Грец говорит: между миром здешним и миром божественным существует постоянная связь, и душа человека может воздействовать на божество. "Народ израильский призван способствовать обилию милостей (свыше) и, следовательно, сохранению мира. Для этого

он получил откровение - Тору с 613 религиозными предписаниями, чтобы каждым своим поступком [мог] воздействовать на сефирот и некоторым образом вынуждать их к благодеяниям. Поэтому обряд имеет огромное мистическое значение и непреходящую ценность. Обряды представляют магическое средство для сохранения всей вселенной." "Предписанные молитвы производят безусловное действие, если молящийся умеет по тому или иному поводу обратиться к соответствующей сефирот, ибо не прямо к Богу, а к ней нужно направлять молитву" (Г. Грец. История евреев. Т. VIII, Гл. 3).

Это понятно, потому что "Бог" для Каббалы, в сущности, есть скорее некоторый основной элемент, который реально концентрируется в более конкретных силах, каковыми особенно являются ангельские, управляющие небесными телами, влияющими на мир и стихии, составляющие его. На них-то преимущественно и приходится направлять сознательное влияние человека. Тут является элемент теургии. Теория Каббалы, говорит Папюс (Папюс. Указ. соч. С. 37), связана с теорией магии единством идеи и символа в природе, человеке и вселенной. Действовать на

символы, значит - действовать на идеи и на существа духовные - ангелов. Но не одни ангелы, а все вещи мира связаны между собою и со всеми другими субстанциями. Поэтому посредством материальных предметов можно оказывать влияние на духовные предметы.

Практическая Каббала, как искусство, является достоянием лишь посвященных. Но о способах магических действий можно судить в общих чертах по литературным данным.

Таинственное знание действует, во-первых, посредством угадывания по символу, во-вторых, посредством так называемой молитвы, связанной со знанием смысла и силы букв еврейской азбуки, в-третьих, посредством материального колдовства, в-четвертых, посредством культового обряда и жертвы, этого таинственнейшего орудия действия языческой философии.

Относительно угадывания по символу, то есть астрологии, физиогномики и хиромантии, уже упомянуто выше. В отношении же магического влияния на события особенного внимания заслуживает применение еврейской азбуки.

"Внешние средства каббалистики, - говорит Папюс, - дает еврейская азбука с ее тройным значением букв: арифметическим, иероглифическим и непосредственным; и символическое соотношение букв ко всем трем мирам. Комбинировать еврейские слова значит - воздействовать на всю вселенную" (там же. с. 87).

Мы видели, что буквы представляют собой некоторую действительную силу, род "существ," которые играли важнейшую роль в создании всех частей вселенной, при самой трансформации божества в сефирот. Трудно даже сказать, суть ли буквы - создание божества или его составная часть. Действительно, божество "начертало" и "выбило" их "духом своим," то есть водило своим дуновением, как пером и резцом, и из этих разнообразных поворотов дуновения составились буквы. Буквы возникли уже во второй эманации, немедленно после того, как в первой сефирот совершилось появление "духа." По возникновении своем буквы проницают всю вселенную, все сефироты и "царствуют" во всем, возникшем в сефироте и из самих букв. Без буквы не произошло ничего, и в создавшемся мире всех его ступеней буквы остаются такой же движущей силой, как при его образовании.

Это силы вполне реальные и для магического действия имеют то удобство, что легко видимы и анализируемы во всех своих составных частях, давая, таким образом, возможность проникновения во все тайные, невидимые соотношения мировых сущностей, сил и предметов. Буквы дают все удобства для изучения имен Божиих, а каждое из десяти имен Божиих выражает особое свойство Бога, особую силу, которые вместе образуют законы природы и общий центр действия. "Все божественные проявления, - объясняет Папюс, - то есть все действия и существа, связаны между собой так же тесно, как клеточки тела человека связаны с ним. Привести в движение одно из этих проявлений - это значит создать течение реального действия, которое отразится во всей вселенной. Так точно ощущение, полученное человеком в какой-либо точке его кожи, заставит содрогнуться весь его организм" (Папюс. Указ. соч, с. 99).

Для использования этой возможности влияния Каббала изучает имена Божии. Их 10, и они соответствуют сефирот. Свойства их изучены каббалистами так же рационалистически, как физик изучает силы природы или зоолог - части тела какого-либо организма. Получив знание всех свойств

имен Божиих, должно изучить отношение этих имен Божиих к различным отделам и силам природы. Их приводят даже в соотношение ко всем частям тела человеческого.

Вся эта работа над Священным Писанием уже давно произведена, и в Каббале существует ряд таблиц, которые показывают соотношение между именами Божиими, ангельскими чинами, числами, буквами и разными отделами вселенной, элементами природы, членами тела и т. д. При составлении таблиц и при установке этих соотношений Каббале служит та своеобразная форма "изучения" Священного Писания, которую мы уже отмечали в талмудической учености. Это - безгранично фантастический символизм, рассечение текста и отдельных букв и расшифровка слов и даже букв.

Способов расшифровки, не считая их подразделений, три: 1) темура, 2) гематрия и 3) нотарикон.

Темура представляет собой самую обыкновенную расшифровку Писания, для которой нужно иметь только ключ. Таких ключей несколько. По способу атбаш, ключом является обратное расположение букв в азбуке и, соответственно с этим,

замена букв текста: то есть первая буква азбуки заменяется последнею, вторая предпоследнею и т. д. В системе темуры есть и более сложные ключи, при которых азбука разбивается на несколько колонок. Гематрия исходит из предположения, что слова, буквы которых, при сложении их цифрового значения дают одинаковое число, родственны между собой и могут быть друг другом заменяемы. Нотарикон основан на том, что буквы данного слова могут быть лишь абривиатурой каких-то других слов. Начиная догадываться, какие могут тут подразумеваться слова, каждое слово текста можно превратить в целую фразу. Разумеется, при таком способе, вникая в смысл Св. Писания, в нем можно найти все что угодно. В Писании, как говорят, есть действительно зашифрованные места. Но, за исключением этих немногих случаев, все остальное представляет не более, как искусственную подстановку в текст Писания того, что каббалистам требуется в нем отыскать по каким-либо соображениям. А искать в Писании необходимо, ибо все, что есть истина, непременно должно находиться в нем.

Вся работа этих поисков в Писании давно уже произведена, и, выяснив

соотношения имен Божеских с ангельскими и со всеми планами и этажами мира, со всеми частями видимого и невидимого бытия, каббалисты составили множество таблиц, выражающих эти соотношения. Некоторые таблицы такого рода приведены в сочинении Папюса (Папюс. Указ. соч). Для нас достаточно охарактеризовать их общий смысл и способ пользования ими.

Смысл таблиц состоит в том, что различные силы - имена божественные, ангельские и прочие - расположены по таблицам в различных "мирах," в разных "небесах," в соотношении с различными планетами, знаками зодиака, с царствами минеральным, растительным, животным, также со здоровьем, болезнями, смертью, различными добродетелями и пороками, профессиями, занятиями и т. д. По таблицам, таким образом, видно, куда нужно обращаться по тому или иному предмету.

Приемы действия приблизительно таковы. Если нужно вопросить о чем-либо Бога, то справляются с 32 местами первой Книги Бытия, где божественное имя Элоим повторяется 32 раза. Затем посредством молитв, взятых из имени Элоим, обращаются к Богу. Для того чтобы увеличить силу молитвы, употребляют так называемое

"сорокадвухбуквенное имя" (А. Франк думает, что оно составляется из соединения имен всех десяти сефирот). Но недостаточно знать буквы этого "Великого и страшного имени": нужно еще уметь их правильно произносить. Совершенно такое же требование мы видели раньше в заклинательных молитвах древних египтян. Но если знать и уметь произносить это имя, то посредством его можно совершить все. Владеющий этим именем называется "баалшем." Таким "баалшемом" считался в недалеком прошлом основатель хасидизма - Израиль Бешт.

В сочинении Папюса приведена таблица "шемамфораш," в которой содержатся имена 72 гениев, заведующих звездными сферами и силами природы. Имена этих гениев можно узнать таким способом. В трех строках трех стихов 14 главы Исхода содержится в каждой по 72 буквы, речь же идет об ангеле, оказавшему помощь Израилю при переходе через Чермное (Красное) море. Эти три стиха пишутся один над другим, первый и третий слева направо, а средний - справа налево. Затем читают вертикально буквы всех трех строк, находящиеся одна над другой, и таким образом получают 72 слова, по три буквы

каждое. К каждому из них прибавляют божественное имя Эль или Иах. Это и суть искомые имена 72 гениев, к которым нужно обращать свою молитву (Папюс. Указ. соч. с. 217 и след).

Но обращаться к ним нужно со знанием всех обстоятельств. У каждого гения есть своя специальная область ведения, в пределах которой только и можно что-либо от него получить. Так, например, один гений заведует земледелием и плодородием, другой - химией, медициной, физикой и т. д. Каждый гений имеет лишь точно определенное время силы и влияния. Так, например, упомянутый гений земледелия (его имя Хабю Иах) имеет силу только 17 августа, от 10 часов 21 минуты утра до 10 часов 40 минут утра, то есть всего в течение 19 минут. Если пропустить этот краткий срок, то уже никаких результатов не получится. Сверх того, кроме добрых 72 гениев есть 72 соответствующих им злых гения, которые посылают противоположное тому, что дается добрыми гениями, как, например, бесплодие вместо плодородия и болезнь вместо здоровья. Нужно хорошо знать, как действовать, чтобы вместо доброго гения не наткнуться на злого и не получить вместо искомого блага противоположное ему зло.

Во всем этом построении ясно чувствуются влияния парсизма, вместе с еще более древними концепциями Шумера и Аккада. И точно так же, как в древнейшем аккадском колдовстве, чернокнижник, если нужно кому-либо нанести вред, обращается не к добрым гениям, а к злым.

Как известно, магия и делится на белую, приносящую благо, и черную, несущую зло. Но учиться, как той, так и другой нужно очень долго, проходя при этом и известную личную "тренировку" путем известной дисциплины, долженствующей развить в посвященном в тайные знания известные способности к вызыванию духов и обращению с ними.

Очень древний (относительно) образчик этой личной подготовки приводит Карпп, говоря о так называемом Иеридат Гамер-каба, то есть о погружении в глубину "меркаба" - известной формы "созерцания." Тут имеется целый кодекс предписаний, приготовляющих человека к способности погрузиться в таинственный мир. Предписания эти довольно обычные для "созерцаний." Человек, приготовляющийся к этому, должен долго поститься и оставаться в неподвижном положении, опустив голову между своих колен, с лицом,

обращенным к земле, и произносить монотонным голосом краткие молитвы. Постепенной практикой он доходит сначала до низших созерцаний, а потом до высших, проходя десять ступеней подготовки и возвышения. Когда "небо открывается" перед созерцателем, это, по объяснению учителя, не значит, что он восходит на небо, "но у него возникает в сердце нечто, вводящее его в созерцание божественных вещей" (Кагрре. Указ. соч. с. 87-89)

Должно притом заметить, что не одна подготовка, но и природные способности дают человеку возможность погружений в иные миры. Поэтому учители заранее наблюдают лицо и руки ищущих посвящения, и если на них нет требуемых "знаков," то бесполезно пробовать развивать несуществующие силы.

Нередко говорят, что тайна, в которой держатся каббалистические способы гадания и действия, а равно и продолжительная работа ищущих посвящения в тайны, имеют целью предохранить мир от того зла, которое может произвести посвященный, если он человек злой. Может быть, такие соображения и имеют место у некоторых каббалистов, но, во-первых, среди таинственных действий имеются и такие,

какие имеют прямой целью причинить именно зло. Во-вторых, вообще, нельзя сомневаться, что не качества добродетели требуются прежде всего от посвящаемого, а оккультные способности. В этом отношении любопытен рассказ об обращении в Каббалу знаменитого Нахманида. Он, говорят, сначала безусловно отвергал Каббалу, несмотря на убеждения одного знакомого каббалиста. Наконец, раз случилось так, что этот каббалист совершил тяжкое преступление, за которое был приговорен к смертной казни. Он воспользовался этим случаем для того, чтобы убедить Нахманида в истине Каббалы и чуть ли не накануне казни заявил, что придет к нему в ближайший праздник субботы. Так и вышло. Каббалист силой чародейства придал свой вид ослу, который и был казнен вместо него, а сам он остался здрав и невредим и в назначенное время пришел на субботнее пиршество. Это чудо произвело на Нахманида такое впечатление, что он сам сделался каббалистом (S. Karppe,Указ. соч.). Здесь дело не в том, было ли в действительности это происшествие, а в том, что составители легенды, очевидно, не придают никакого значения этическому элементу. Нахманиду достаточно было, по

легенде, узнать, что Каббала действительно дает способы совершать чудеса, и хотя бы каббалист оказался преступником, заслужившим смертную казнь, он не перестает быть служителем каббалистической истины, его молитвы не перестают влиять на божественные миры и силы. Понятия о добре и зле здесь, очевидно, находятся на заднем плане, на переднем же - тайные знания и тайные способности.

Точно так же, должно думать и относительно того, что каббалисты называют "верой." Молитвы, о которых они говорят, должны быть произносимы непременно с "верой," а иначе они не окажут воздействия на высшие миры. Но это не вера в Бога, а выработка напряженной энергии, уверенность в своей способности произвести данное влияние. Что касается нравственности каббалистов, то она никогда не ценилась в еврействе высоко, и, скорее, оценивалась даже очень низко. Так, раввинисты обвиняли в крайней распущенности самого Саббатая Цеви, лжемессию, который учил на основе каббалы. Если бы это было даже преувеличением, порожденным партийной ненавистью, то все же "Катехизис саббатиан," сохранившийся до нашего времени в

Салониках, далеко не блещет высокой этикой (Проф. Грец. Остатки саббатианской секты в Салониках. "Восход." 1884. № 6). В нем значится, что "мир существует только для верующих" (то есть для них самих) и что "не составляет преступления в глазах Бога - убить верующего, разоблачившего тайны своего учения." Обман окружающих также возводится у них в обязанность. Если все это происходит просто в борьбе за существование, то все равно оно не блещет этикой (Хасидизм - учение в основе вполне каббалистическое, хотя в развитии своем приняло своеобразные формы. Каббала издавна проникла в Польшу. Саббатьянство также проникало сюда, хотя жило скрытно. Основатель хасидизма Израиль Бешт, лично человек очень хорошей репутации, читал "Зо-гар," по которому и гадал. Его учение - обычное каббалистическое, из которого быстро выработался институт "цадиков," праведников, служащих посредниками между миром и Богом, умеющих влиять на высшие сферы и потому приобретших абсолютный авторитет в пастве своей (С. Дубнов. Возникновение хасидизма. "Восход," 1888).

Весьма дурно отзывались евреи о саббатиандах, проникших в Польшу. "Они, -

говорит один из их обличителей Яков…, - разрешили себе прелюбодеяние, воровство, клятвопреступление и делали это с намерением насытить нечистую силу и тем ускорить пришествие Мессии" (Дубнов. Введение в историю хасидизма. "Восход." 1888). Дубнов Семен Маркович (1860-1940) – еврейский историк. Главный труд - "Всемирная история еврейского народа от древних времен до настоящего времени." Когда в Польше появились хасиды, их повсюду обвиняли в безнравственности… "О минском кружке рассказывали ужасные вещи, говорили, что, кроме отступления от обрядов, члены кружка позволяли себе самые постыдныц пороки, разврат и распущенность, что впоследствии подтвердилось при допросе" (С. Дубнов. Историц хасидского раскола. "Восход." q890, март). В окружном послании знаменитого Гара Ильи, кроме тех же обвинений, читаем, что "между хасидами есть люди, запятнавшие себя кровью невинных бедняков" (Там же. 1891, ноябрь). Господин Дубнов не объясняет в точности смысла этого обвинения, но, очевидно, оно подразумевает нечто преступное.

Конечно, в междоусобной войне направлений легко возникают ложные

подозрения и обвинения. Но в цадикизме каббалистический мистицизм подходит, несомненно, к опасному порогу безнравственности. Так, по учению знаменитого цадика Елимелеха из Лезайска, "цадик может грешить нарочно, чтобы связать свою душу с душой человека, совершившего этот грех, и чтобы своим последующим покаянием очистить от этого греха душу, вместе со своей, и того грешника, и поднять его вместе с собой." Враг хасидов Израиль Лейбель обвинял Елимелеха в том, что по его учению цадик может отпустить человеку даже будущие грехи, если только обяжется сам повторить их (Там же. 1890, октябрь).

Тут этическое начало заменяется каким-то чародейски-материальным, где спасающий душу грешника выносит ее на своих плечах, как пловец утопающего из воды, независимо от того, был ли этот утопающий хороший человек или плохой.

История хасидизма и цадикизма полна рассказов о разных чудесах, но из нее мы не узнаем почти ничего о рой сторонц магическкх влияний, которые совершаются материальными средствами и жертвою. Не смотря на свое тысячелетнее существование, Каббала со стороны практикующей остается

весьма таинственной. А между тем она не есть движение отжившее. В течение всей истории она показывает себя живущей и развивающейся. С 16 века каббалистический мистический обряд получил новое развитие у Исаака Лурье.

Исаак Лурье - личность восторженная и увлекающаяся, жил в 1534-1572 годах в Палестине, где основал влиятельное каббалистическое общество, занимавшееся вызываниями духов, причем тайнодействующие облачались в какие-то особые ритуальные одеяния. Он рано умер в Иерусалиме от чумы, но его дело продолжил его ученик Хаим Витали, который умер в 1620 г.

Этот Витали подвергся жестоким разоблачениям известного ксендза магистра Пранайтиса, бывшего экспертом на суде по делу об убийстве Ющинского. Пранайтис доказывает, что еврейский мистицизм создал особое ученин, будто бы при сотворении мира Иегова заронил в живые существа "искры" своей божественной святости. Что из этих искр двести восемьдесят восемь были захвачены "злой" стороной мира, "клипот." Освобождение этих искр необходимо для пришествия Мессии. Учение Витали, если его правильно передает Пранайтис, очень

любопытно, так как воспроизводит манихейскую тему, проявлявшуюся и в христиански ересях. Это показывает, как разнообразны постоянные влияния, действовавшие на Каббалу. В этом же учении Хаима Витали Пранайтис указывает также обоснованность ритуальных убийств.

Он цитирует одно сочинение Витали, где сказано: "Тайна означенного дела в том, что с целью сочетания Малого Лика и его Супруги (дело, очевидно, идет о сефирот, Короле и Королеве) мы возносим женские воды двумя способами: во-первых, молитвой, припадая лицом к земле, ибо через нее (молитву) молящиеся возносят горе священные искры, находящиеся в скорлупах (клипот) повсюду, во-вторых - убивая скорлупы (клипот) и удаляя их из этого мира, ибо тогда они (клипот) сами возносят находящиеся в них святые искры, тайною женских вод, вверх к Супруге Малого Лика, а через это сочетавается Малый Лик со своею Супругой и приводит в порядок искры. Каков точный смысл этих слов, разобрать нелегко. Сам Пранайтис, в связи с другими приводимыми им цитатами, выводит заключение, что "убийству не еврея, а следовалельно христианина, придается значение жертвенного акта"

("Заключение о тайне крови у евреев, данное бывшим профессором римско-католической Духовной академии в Санкт-Оетербурге, куратором Туркестанского края, магистром богословия И. С. Пранайтисом, 15-23 ноября 1912 года, пункты 15, 16).

Нельзя не пожалеть, что Пранайтис касается цитируемых им мест только с чисто "боевой" целью - доказать существование "ритуальных убийств." Было бы гораздо важнее чисто научным путем разработать значение "жертвы" в учении Каббалы, не непременно "человеческой," а вообще жертвы. Дело в том, что при несомненном обилии языческих источников Каббалы "жертва" должна в ней иметь большое значение. Грец, обрисовывая Каббалу, так и говорит, что с точки зрения каббалистов "Храм (Иерусалимский) и культы жертвоприношения имели необыкновенно важное значение, состоявшее в поддержании связи между высшим и низшим миром." Но это слишком кратко и неопределенно. Если мы вспомним учение о жертве в языческом мире, то увидим, что она вообще была средством как-то укрепить силы высших сфер. Наши ученые, выражаясь наглядно и грубо, говорят, что жертва язычников состояла в "кормлении богов." Это, отчасти,

правда, но очень неточно выраженная. По "Бхагавад-Гите," самое сотворение мира произошло не иначе, как при помощи какого-то жертвоприношения, которое, очевидно, не имело значения "кормления" (ибо тогда еще некого было кормить), но состояло в переносе творящей, влияющей силы туда, где требовалось ее приложение для совершения известного действия (творения мира). Во всех учениях, в которых требуется или допускается влияние человеческой силы на сверхчеловеческие сферы, "жертва" имеет в основе именно такое значение, и обязательность жертвы можно предположить также в практической Каббалц. Однако ясного расследования этого вопроса не имеется.

В еврействе, по разрушении храма, жертва упразднена, и, если сохранилась, - то в самых малых проявлениях фольклора. Именно: день очищения (Иом Кипур) в еврейских семействах мужчины и женщины приносят в жертву белого петуха или курицу. Для этого раввин вертит птицу над своей головой, прочитывая молитву, а потом бьет трижды жертву, приговаривая: "Этот петух (или курица) да будет стененою меня… Им да приключится смерть, а мне и всему Израилю да будет счастливая жизнь." В конце концов

очистительная жертва идет на праздничное угощение (А. А. Алексеев. Очерки домашней и общественной жизни евреев, их верования, богослужения, праздники, обряды, Талмуд и кагал. СПб., 1896. Изд. 3-е. с. 139. Этот обряд более подробно описывается также у Брафмана. Алексеев Александр, Вульф Шахнович, 1820-1895 - православный миссионер из евреев, публицист. Брафман Яков Александрович, 1825-1879, - еврей-христианин, писатель. Автор двух нашумевших книг; "Еврейские братства местные и всемирные," Вильна, 1868, и "Книга Кагала. Материалы для изучения еврейского быта," Вильна, 1870). Разумеется, народ не задумывается глубоко над смыслом совершаемого обряда, ставшего для него просто религиозно-бытовым символом, вроде того, как у христиан зажигание свеч перед образами.

Если подвести итоги, приходится сказать, что практическая Каббала известна нам только в самом общем смысле, то есть в смысле разнообразного влияния человека на все сферы мира, от низших до высших. Что касается самих способов действия, они известны или поверхностно, или совсем неизвестны, служа предметом одних лишь догадок.

Известно, что существует две Каббалы. Одна европейская, родившаяся из еврейской, но переработанная в главнейшем европейским умом; она наполняет собою наш оккультизм и поэтому даже в смысле воздействия на различные "планы" бытия известна относительно лучше. Другая Каббала, еврейская, известна лишь тесным кругам посвященных. Между евреями-талмудистами немало лиц, интересующихся Каббалой как учением философским.

Но практическая Каббала остается тайной. Образованные евреи даже и относятся к ней пренебрежительно. "Современные евреи, - говорит г. Переферкович, - знакомятся с Каббалой, за немногими исключениями, не по древним еврейским источникам, а по сочинениям, написанным на европейских языках. Где-нибудь в глухих местечках Польши и Галиции, вдали от центров цивилизации, находятся еще среди стариков любители Каббалы, но их Каббала - не та умозрительная философская Каббала, которая способна заинтересовать мыслящего человека, а нестройный ряд мистических и суеверных представлений и аскетических обрядов, не дающих никакой пищи просвещенному уму. Им наша книга, да и

никакая книга не нужна, у них и нам учиться нечему" (Н. Переферкович. Предисловие к Каббале Папюса в русском переводе)».

Я перевел дух. А стрелки часов показывали половину первого ночи.

Но не успели мы выйти из подземелья, как Иоанн Васильевич обернулся. Вгляделся в нас с Митькой. Потом посмотрел на Можайского дьяка-соглядатая, еще не снятого с дыбы. Проговорил: «А про этого мы забыли!»

Он вернулся на свою лавку. Сел. Но опять взглянул на нас с Митькой. Повелел: «Вот, что голубки… Вы вдвоем сегодня ночью этих ляхов сторожить станете. Никого к ним не допускать! Головами отвечаете за их животы. Особенного, за этого это, как его… Ах, за да, пана Яна. Я его завтра с пристрастием допрошу. Ночь пополам разделите. Сторожа – вам в помощь будет. Но и за ней присматривайте. Особливо боляр не привечайте. Таково мое слово. Ступайте.

- Государь! Ты так скоро и меня в измене подозревать станешь! – вдруг набычился князь Курбский.

- Подозрение – смертный грех, чадо мое царственное! – закивал поп Сильвестр. И перекрестился: «Подозревать – все одно, что

клеветать и лжесвидетельствовать! Все одно, что заместо Господа Бога судить!..

Мы с Митькой не услышали, что ответил им Иоанн Васильевич, потому что, поклонившись, прикрыли за собой дверь. Княжич Митька, взглянув на меня, только пожал плечами: мол, что ж делать, коли так повелено. А из-за двери уже раздались вопли пытуемого дьяка-иуды. Но тут я вспомнил, как Алла говорила, что князь Курбский – уже на их стороне. Околдовали, что ли?..

…Прямо перед клетью мы с Митькой бросили на пол копешку сена. Развалились. В углу подклети тоже на сене полужелал пан Ян. Что-то бормотал, раскачиваясь вперед и назад. У двери, опершись на бердыш, стоял сторожник. Он изредка встряхивал головой. То ли прогоняя сонливость, то ли еще не оправившись от раны куда-нибудь а шею или в плечо. Я кивнул Митьке на пана Яна: «Колдует, что ли?»

- У нас против их колдовства надега и опора есть.

И княжич громко стал читать 90-й Псалом, потом, пояснив мне, - 26-й. Потом еще какие-то. Уже не называя. «И как он все это помнит?!» - восхитился я про себя. Пан Ян застонал. Перестал раскачиваться. Звякнув цепями, обхватил голову ладонями.

Еще раз застоянал. А Митька подмигнул мне: «Видал?!»

И продолжил. Наконец, пан Ян не выдержал. Почти прокричал: «Умоляю! Перестань! Это же твои сродники, коих мы огню предали на меня насели. Голову на части разрывают.»

- А что ж ты хотел? – прервал чтение Митька, отчего пан Ян вздохнул с облегчением. А Митька утвердил: «Они, пострадав за Веру Православную Христинскую, мученические венцы от Господа приняли. И теперь - ратники Небесного воинства Христова!»

- Ну вот, – даже сумел усмехнуться пан Ян, - я вашему Богу новых святых поставляю, а вы меня еще и пытаете, и ненавидите! Неправедно это!

- Чья бы корова мычала! О праведности-то! Да, они, дерзаю сказать, - святые! И помогают. Что ж тебе никто не поможет, кому ты поклоняешься? А ежели и помогут, то живота лишиться.

- Я не выполнил повеления, данного мне. А у нас за это… Впрочем, как и у вас. Не выполнил бы ты повеления, данного Царем, так тебя бы – на плаху, заместо меня. А в лучшем случае – на дыбу, да в хлысты. До ребер! Вот если бы ты, да соратник твой,

князь Александр, да ратник этот перешли в мою веру, глядишь и меня бы помиловали. У вас это называется душу положить за други своя.

- Душу?! – вдруг вскинулся я. И вспомнил бывшего тестя, старика-колдуна, нечисть всякую. Процедил сквозь зубы: «Да есть ли она у тебя? Душа-то? Поди давно лукавому продал!»

- А как же?! У каждой твари есть душа. Вот, завтра я и скажу, что одного из главных наших, старика в сутане, - у вас это подрясником называется, - вы в замке оставили. По-ми-ло-ва-ли! А ведь это он через шар остальных моих соратинков вызвал. Упустили, как Царь ваш нынче сказал, гла-а-авного гуся. Поглавнее Ульриха! Да и подземелья главного вы не видывали! А там столько интересного! Ведаете ли вы, кто такие големы? Ха! Это - ратники, созданные из глины. Вот они-то – как раз без души! Но жи-ы-ывучие. Один голем каждой рукой по лошади поднимает. Быка кулаком убивает. Вот их-то и делает наш великий учитель, которого вы у-пу-сти-ли. А может быть, он ку-у-у-упил вас? А? Задам я вашему Царю этот вопрос завтра. Ведь старичок-то наш, когда сделает несколько сотен, големы сметут ваши рати

голыми руками. И секрет создания големов даже мне не известен. Учитель наш – избранный из избранных! Имени, его, конечно, я даже на костре не выдам, потому, как сразу умру в муках пострашнее огненных…

- А что ж за вера у вас такая? – раздался голос сторожника. Оказывается, он и не думал дремать. А теперь даже весь, напрягшись, как бы вытянулся в сторону пана Яна.

- Да-да! Поведай нам, - вдруг согласился Митька. Я удивился. Смутился, не веря своим ушам. Но взглянув на его лицо, заметил хитринку в глазах. Я после стольких совместных походов уже знал: так всегда бывало, когда он задумывал что-то неожиданное против ворога. А пан Ян гордо выпрямился. Хмыкнул: «Для того, чтобы постичь наши тайные знания, нужны годы! Го-о-оды! Но я попробую попроще растолковать вам откуда мы, вселенская сила, берем свое начало. Самыми древними хранителями высшего, совершенного знания, нашими духовными праотцами, были гностики. Слово «гносиос» по-эллински означает «знание». Что может знать Творец мира, если он, сотворив его, почивает и отдыхает. А мир-то изменяется. Вот эти

изменения и изучают «гностики». Им, именно им, передал Творец свои высшие знания. Сам же отошел от дел. Стал в развитии этих знаний вторым. Сторонним наблюдателем. И к своему стыду, отстал в знаниях! Кстати вам полезно знать, что положение это в точности соответствовало иудейскому отношению к Богу в Талмуде, согласно которому "раввины обладают верховной властью над Богом". А ведь именно иудеи дали миру Талмуд, то есть Ветхий Завет. Потом дали и Христа. Когда же у Того ничего не получилось, они свели свои великие знания в Каббалу.»

- Э-э-э! Ты Христа не упоминай всуе! Он – Бог! Дали!.. Евреи!.. Христа!.. Говори, да не заговаривайся! Еретик! Прости, Господи! – воскликнул сторожник.

- Наберись терпения! - спокойно продолжил пан Ян. - Ученые каббалисты, гностики считали, что все существующее и есть Бог. Вы ведь знаете, что Он – везде! И Спаситель пришел для того, чтобы научить достойных неким высшим сокровенным знаниям. Причем, не просто пришел! А был послан никем иным, как Яхве! Ну, чему можно было научить неграмотных людишек?! Апостолам же Он приказал распространять эти знания только среди

самых избранных. Благодаря своим умам и талантам такими оказались именно гностики. Поэтому они тоже, как и в большинстве своем ветхозаветные иудеи, считали себя "избранным семенем" и проводили в своих учениях идеи иудейского избранничества и превосходства над другими народами. Но разве не иудеев, согласно Ветхого Завета, а потом и талмуда, торы, и каббалы, выбрал Всевышний в число избранного своего народа?

- По поводу Ветхого Завета с тобой нельзя не согласиться. А вот про талмуд, тору и каббалу, ничего сказать не могу… - опять сверкнул искринкой в глазах Митька… - Но ты продолжай.

- Я вам передаю только песчинку со дна моря знаний. Поэтому продолжу. Учение гностиков… - на мгновние задумался пан Ян и опять заговорил, - предполагает существование двух миров: духовного, — источника добра и света, - и материального, — источника зла и тьмы. Причем добро отождествляется с понятием "знание", а зло — с понятием "незнание". Так что, вы теперь не можете не уразуметь, за что мы боремся и с чем… За знание… С незнанием…

- Ну-у-у, эт-т-то ты загнул! - не выдержал я. - Получается, что вы боретесь с

Русьским Царством, потому что всё оно – зло от незнания?

- Я поясню позже. Гностики учили, что чувственный мир есть отражение сверхчувственного. Высшее существо у гностиков называлось "Глубиной", "Первоначалом", "Первоотцом" и было тождественно каббалическому понятию Эн-соф, - Бесконечная сущность. Первоначальное половое различие являлось, по учению гностиков, источником всякой жизни. Из Глубины, или Первоначала, попарно истекают божественные силы — эоны. В каббале — сефироты, которые разделяются на мужские и женские. Последний из эонов, наиболее отдаленный от Первоначала, имел в себе зародыш матери и служил посредником между чувственным и духовным мирами. Этот эон гностики называли Божественной Мыслью и Премудростью, которой видимый мир с его Богом и ангелами обязан своим существованием.

- Все вроде как правильно, - опять вставил сторожник, - потому как в храмах наших все время восклицают про Премудрость Божию! Только не разумею я про всякие «эвоны». На самом деле

граматешки не достает. А от этого и грехи злые на голову сыплются!

- Помолчи! – прикрикнул на него Митька.

- Среди самых избранных наших ученых, - продолжал пан Ян, - известны такие, как Симон, ученик александрийской школы философа-каббалиста Филона, Менандр, Керинф, Марк и Валентин. Последний, к слову, принял Христианство, но завистники его высшему знанию три раза отлучали от Церкви, после чего он ушел на остров Кипр, где основал свою церковную общину. Гностик Василид учил, что "ангелы, занимающие самое последнее небо, именно видимое нами, устроили все в мире и разделили между собою землю и живущие на ней народы. Их начальник есть тот, которого почитают богом иудейским, и так как он хотел подчинить своим людям, то есть иудеям, все прочие народы, то против восстали все прочие князья. Так что не мы, а вы и другие народы начали эту борьбу. Борьбу с богом. А мы хотим избавить вас, неблагодарных, от ереси. Другими нашими духовными пращурами были манихеи, вобравшие в свое учение идеи каббалистов и гностиков. Их учение возникло в третьем веке в Персии. Основателем был некто

Мани. Манихеи, как каббалисты и гностики, учили о двойственности Божества и о всебожии мира. По мнению манихеев, существуют два начала — два высших существа, связанные друг с другом, — "бог добра" и "бог зла", из которых один был властелином в царстве духа и света, другой — в царстве материи и тьмы. Оба высших существа выделяли из себя божественные силы. Одно, - царство света, матерь жизни, — произвела первобытного человека — христа (соответствует понятию "Адам Кадмон" у каббалистов); из царства мрака произошел первобытный дьявол. Первобытный человек Христос и первобытный дьявол вступают в битву, из которой дьявол выходит победителем, и царство материи и мрака поглощает элементы духовного божественного света. Эта частица света "бога добра", поглощенная материей, дает ей жизнь и становится душой мира. Дьявол заковывает душу мира в узы материи и таким образом создает Вселенную и человека. Видимый мир рождается из соединения духа и света с материей и мраком.

- Ну да, - подал голос сторожник, - и батюшка в нашем приходе назвал мир сей

плотский – юдолью плача и скорбей. Но разве от добра можно плакать и скорбеть?

А я вдруг почувствовал, что какой-то доселе неведомый дурман склеивает мне очи. Нет! Не неведомый! Именно так своими ласкам и лишала меня рассудка Алла.

- Наконец, - перебил пан Ян, - в одном из Крестовых походов на Константинополь, захваченный сарацинами, за осовобождение Гроба Господня самые честные и благородные рыцари создали Орден рыцарей храма. Или - тамплиеров. Орден быстро развивался и к концу XII века превратился в могущественную организацию, владевшую огромными землями, домами и богатствами на Ближнем Востоке и в Европе. Но все это рыцари-монахи тратили на помощь больным, нищим, калекам, сиротам, на выкуп из сарацинского рабства несчастных христиан. Для этого понадобились именно высшие знания каббалы! Среди сарацин – немало разных злых колдунов! И с ними можно было бороться только их методами! Но тогда именно христианские владетели и князья Церкви ополчились на рыцарей! Позавидовали несметному богатству, которое дал ордену высший бог за подвиги! Тамплиеры приняли новый устав, известный только избранным членам ордена, в котором

устанавливались положения, обороняющие рыцарей от Христианской Церкви. Устав этот содержался в глубокой тайне, и членам ордена запрещалось под страхом смерти носить его с собой. Новое учение тамплиеров было видоизмененной формой манихейства. Тамплиеры признавали существование "высшего бога" — творца духа и добра — и "низшего бога" — создателя материи и зла. Но вскоре все тамплиеры, находившиеся на территории Галлии во главе с гроссмейстером Яковом де Моле и конвентом ордена, были внезапно арестованы по приказанию короля. Следствие над ними продолжалось семь лет, по словам историка Мишле, "безо всякого принуждения", "медленно, с крайней снисходительностью и мягкостью". Кроме гроссмейстера, унизительному допросу подверглись все члены ордена. После суда главные из рыцарей, включая Якова де Моле, были казнены, а остальные приговорены к тюремному заключению. Но кое-кто, обладающий высшим знанием спасся. Какова прична такого беззакония? Галльский король и князья Церкви захватили богатства тамплиеров и поделили между собой! Объединив эти и другие достижения высших знаний, и несем мы их в

мир, полный зла, порока, плоти. Но знания сии не могут умереть, потому как даны избранным высшим богом! Как не могут умереть и избранные!

Пан Ян безсильно звякнул цепями и опустился на солому. А Митька, опять хитро сверкнул глазами и со вздохом проговорил: «Жаль мне тебя и тех, про кого я услышал только что. А знаешь, поведай то же самое завтра нашему Государю! Он – мудер. И, как знать, поймет твои высшие знания. А? Ведь судя по твоим сказкам вы ничего плохого не делаете. И от вас гибнут только те, кто первыми подняли мечи?

- Да, - медленно кивнул пан Ян, - только эти мечи не всегда – железные мечи!

- А какие ж еще? Деревянные, что ли? - замотал головой сторожник.

- Вот, - показал на него пан Ян, - что он может понять? Кем он должен быть в этом мире? Кем может быть? Только злом!

- Ты полегче, заморыш, – прикрикнул вдруг сторожник, - а то древко-то бердыша и через решетку до брюха твоего дотянется! А садану так, что тут же нужду и справишь!

- Это ты - полегче! – остановил его Митька. Строго напомнил: «Забыл, что он – Государев узник? Встань-ка на свое место у двери.»

Я обернулся на дальнюю клеть, где сидел пан Мечислав. Подошел к ней. Посветил большой свечой. Тот, раскинув широко сильные руки, крепко спал, тихонько, но со свистом, похрапывая.

- А меня все одно скоро менять придут, - обиженно проворчал сторожник.

- Ме-е-енять? – прищурил глаза Митька. И настороженно взглянул на меня: «А у нас другое повеление Государево: никого в темницу не впускать!»

- Как это? – даже откинулся назад сторожник. И оглянулся, словно в поисках чье-то поддержки: «Это что ж? Всю ночь без снеди, питья, сна?»

- Ты как разговариваешь с князем? – прикрикнул я. Но в это время в дверь темницы постучали. Сторожник приоткрыл маленькое зарешеченное окошко-глазок. Спросил: «Чего надо?»

- Никого не велено пускать, - крикнул я.

- Мы из Чудова монастыря. По благословению митрополита Макария и Государя. Принесли потрапезничать стороже и узникам. Владыко и Государь проявили милосердие, - ответили из-за двери.

Я даже растерялся. Взглянул на княжича Димитрия. Тот тоже недоуменно

пожал плечами. Но перекрестившись покачал головой: «Не открывать дверь…»

Однако сторожник уже ссамовольничал: отодвинул засов. И… упал с болтом от самострела во лбу. А в темницу ворвались трое в монашеском облачении, но явно не похожие на иноков. На какой-то миг, они растерялись, увидев нас, еще не успевших обнажить сабли. Но быстро пришли в себя. Двое тут же кинулись на меня и Митьку, а третий, не увидев в подклети пана Яна, как потом выяснилось, зарывшегося в солому, метнулся к подклети, где в полумраке спал пан Мечеслав и выстрелил в него из самострела. Но Митька уже ловким выпадом зарубил одного лжемонаха. Схватив сзади за плечо другого, сцепившегося со мной, развернул его к себе лицом и вонзил в горло ворога кинжал. Третий, увидев такое, сам бросил саблю и поднял руки. Мы скрутили его. Обыскали. Нашли тонкий кинжал, маленький пузырек, шелковый шнурок. И тут в дверь вбежали настоящие сторожники во главе с болярским сынком. Оказывается в подземелье пришла новая чреда сторожи…

- Ах ты гад! – замахнулся саблей на лежащего лжеинока болярский сынок. Но Митька перехватил его руку: «Не смей! Это –

Государево дело! Государь и будет с ним разбираться. Лучше вызови лекарей, дьяка из Разбойного Приказа. А сам – пчелкой в Государевы покои. Найди либо князя Курбского, либо Адашева, либо попа Сильвестра. И расскажи обо всем. Они сами сообщат Государю.

Болярский сынок с ратником убежали. Двое других сторожей встали у двери. А мы с Митькой опустилсь на сено. У меня по спине пробежала мелкая дрожь. Подумалось: «Надо же! Прав оказался пан Ян. И здесь, чуть было, не достали его». А княжичу Димитрию я сказал: «Спаси тя, Господи! В который раз ты меня спасаешь.»

- Служба такая, – улыбнулся он, - Го-су-да-ре-ва! И – долг христинский.

В темницу вбежали дьяк и лекарь. И сразу же за ними – Государь в кафтане накинутом на рубаху и Курбский.

- Как же вы дверь-то открыли супротив повеления? – недобро взглянув, спросил второй.

- Он открыл, - кивнул на убитого сторожа Митька.

- Узники живы? – крутанул головой Иоанн Васильевич.

- Жив я, - раздалось из подклети пана Яна, - но говорил же, что и здесь найдут. Я в солому зарылся.

- Надо второго осмотреть. Этот ирод в него из самострела саданул, - проговорил я, почему-то искренне жалея пана Мечеслава.

Но к счастью, из-за полумрака в подземелье, убийца, не распознав, что стреляет не в того, попал только в плечо над сердцем. Лекарь кинулся к пану Мечеславу, а Государь посветил факелом над убитыми:

- Ба-а-а! Да это же наши! Болярин Пафнутий и князь Антипа! Вот те на! Иуды!

Он поднял глаза на Курбского. Тот крутанул головой. Закусил губу: «Кто б мог подумать!»

- А этот? – склонился Иоанн Васильевич над связанным нами несостоявшемся убийцей. И тоже уживился немало: «Ты ли это, болярин Прокл?»

Тот только отвернул голову в сторону.

- Ну, что ж, - жестко проговорил Государь, - тех кто убиен, - в ледник. А живых – в пыточную. Иуду – на дыбу. С иноземцем мы потолкуем. Цепи с него не снимайте. А раненного, - тоже в цепях, - на лавку посадите. Пусть послушает. Может быть, и он что дельное поведает.

И Царь повернулся к нам: «Спаси вас Господи, князья, за службу. Не забуду вашего радения. Можете отдыхать. Я за вами пришлю, коли нужда будет.»

- Дозволь, Государь слово молвить? – поклонился Митька. Обернулся на остальных: «Только выйдем отсюдова. Втроем, с князем Алексашкой.»

Иоанн Васильевич согласно кивнул и первым вышел из темницы. Мы - за ним. И в переходе подземелья княжич Димитрий коротко поведал о сказках пана Яна. Посоветовал: «Пригласил бы ты, Государь, книжных людей. Так складно врал ворог, что сторожник, - Царствие ему Небесное, - стал соглашаться с ним. А через ученых монахов, послушавших пана Яна, мы и выведаем правду о том, что замыслил он с подельниками.»

Иоанн Васильевич взглянул на меня. Я согласно склонил голову.

- Ну что ж, тогда почивать нынче вам не придется. Со мной пойдете в пыточную. Еще раз послушаете этого чародея, - хмыкнул Государь. И позвал: «Ондрейка!»

Появившемуся князю Курбскому он повелел идти к митрополиту Макарию: «Моли его придти немедля в пыточную с теми, кто ведает о зарубежье, всяких

тамошних колдунах и ворожеях. Да не забудь призвать Адашева, попа Сильвестра, стольников и окольничьих. Чтобы все слышали.»

…Пока дьяки подвязывали и поднимали болярниа Прокла на дыбу, Иоанн Васильевич прохаживался вдоль стены с разными жестокими приспособлениями. Трогал их. Крутил головой. Думал о чем-то. Мы же встали по бокам и сзади лавки, на которой он должен был сидеть. Скоро появился и владыко. А с ним – трое монахов. Митрополит преподал Государю и нам благословение. И тоже присел на принесенную для него лавку. Монахи встали рядом с нами. Пана Яна усадили напротив Иоанна Васильевича. Тот помолчал. Покрутил в раздумье ус. Наконец, обратился к пану Яну: «Тут мои холопы доложили мне, как сладко ты им сказки сказывал. Поведай теперь и нам о том же.»

Пан Ян даже вскинулся. Но, взяв себя в руки, скривил губы в знакомой улыбке: «Скажу это в надежде, что и ты, Царь, захочешь быть с нами. Все европейские Государи уже сделали это. Да и сам папа римский.»

- Мне твой римский папа – не отец, не брат и не сват, чтобы уподобляться ему! –

перебил Иоанн Васильевич. Усмехнулся: «Ты говори. А мы послушаем. И соборно поразмыслим.»

Пан Ян стал повторять то же, что толковал нам, только более красочно, витиевато и многословно. Государь слушал, вглядываясь в него. Митрополит сидел, опустив глаза долу. Шевелил губами. Когда же пан Ян замолчал, Государь обратился к болярину Проклу: «Так ты принял эту веру?»

- А что ж он неправильно сказал?! – со стоном отозвался тот.

- А почто же убить его хотел?

- Я дал клятву. Мне повелели, согласно ей, исполнить приговор. Ведь и твои холопы убивают по твоему повелению…

- А-а-а, - только и протянул Государь, и теперь повернулся к митрополиту Макарию. Тот слегка склонил голову. Проговорил: «Со мной пришел инок Тит. Он много лет сам исповедовал эту ересь в Галлии. Изучил много чародейских приемов и приборов. Немало и книг перечитал. Но Господь открыл ему истину, когда он оказался в нашем Царстве и побывал на Божественной Литургии. Я благословляю его сейчас поведать всем нам о действительном учении еретиков.»

Немолодой монах с поклонами перекрестился на четыре стороны. Сделал шаг вперед. Тихо, но твердо заговорил: «То, что толковал сей несчастный – ложь приукрашенная, перевернутая с ног на голову! Гонстики – самая распространенная тайная секта, боровшаяся с Христианством с самого начала рождения нашей Святой Церкви. Все свои догмы и законы гностики черпали в иудейской каббале, колдовском учении. Эти еретики объявляли себя хранителями высшего, совершенного знания. Творца они кощунственно ставили ниже себя – тварей! То же сделал и сатана со своими ангелами. Сие утверждение в точности соответствовало иудейскому отношению к Богу в Талмуде, - в извращенном Священном Писании, - где сказано, что раввины обладают верховной властью над Богом. Каково кощунство?! Вместе с тем, в своем богоборчестве гностики пытались использовать имя Христа Спасителя, еретически искажая и извращая Его учение. Одни из них признавали Христа человеком, на которого сошла высшая сила, другие учили, что Спаситель только принял вид человека, а в действительности был безтелесен. Гностики обманывали легковерных, сообщая им, что Спаситель

пришел для того, чтобы научить достойных неким высшим сокровенным знаниям, а Святым Апостолам, якобы, приказал распространять эти знания только среди самых избранных. Так гностики раздедяли и властвовали!»

Иоанн Васильевич жестом остановил монаха. Спросил: «Но ведь у нас такое уже было? Та же ересь жидовствующих!

- Да, Государь, - поклонился ему монах, - сие – звенья одной цепи. Только, внося ересь жидовствующих на Русь, ее мракобесы надеялись уничтожить Веру Православную руками самих же русьских людей. Но совсем не собирались объявить их избранными. Для них предназначалось рабское ярмо. Гностики же, - в большинстве своем иудеи, - считали себя "избранным семенем" и в своих учениях открыто утверждали иудейское избранничество и превосходство над другими языками.

- Но ведь и в Библии сказано, что иудеи – избранный язык! – вскинулся пан Ян.

- Мы тебя уже послушали! - возвысил голос Иоанн Васильевич. И вдруг с жалостью посмотрел на него: «Соблаговоли и ты послушать и помолчать!»

Монах продолжал: «Учение гностиков предполагало существование двух миров:

духовного — источника добра и света, и материального — источника зла и тьмы. Причем добро отождествлялось у них с понятием "знание", а зло — с понятием "незнание". Гностики учили, что чувственный мир есть отражение сверхчувственного. Высшее существо у гностиков называлось "Глубиной", "Первоначалом", "Первоотцом" и было тождественно каббалическому понятию Эн-соф, по-ихнему, Безконечная сущность. Заметь, Государь, не Бог-Творец, а что-то совсем неопределенное! Кощунственная замена. Далее станет ясно, кем они заменили себе Бога-Творца! Первоначальное половое различие являлось, по учению гностиков, источником всякой жизни.»

Дальше инок повторял все, что толковал пан Ян. Но так, что и мы, остальные, поняли смертоносность ереси. А монах продолжал: «Значит, - по учению еретиков, - все твои холопы, верно служащие Богу, Царю и Отчеству – суть зло?! Это – еще раз подтверждает кощунство! Однако, я продолжу. Основоположником гностических сект был кипрский еврей Симон Волхв, ученик александрийской школы иудейского философа-каббалиста Филона. Симон Волхв вошел в историю после ряда неблаговидных

деяний и был разоблачен самим святым Апостолом Петром. Симон Волхв, пораженный чудесами, которые творили ученики Христа святые Апостолы Филипп и Петр, приписал их не Силе Божией, а особым знамениям, высшей магии, - читай, колдовства, - которыми, по его мнению, обладали Святые Апостолы. Симон притворно принял Христианство, а затем стал предлагать Апостолам деньги, чтобы они научили его творить чудеса. Апостол Петр прогнал каббалиста, заявив ему: "Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем чести и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды." Так поведано в Деяниях! Гностические секты сразу после Крестной Смерти и Воскресения Христова, по словам святого Иринея, как "грибы из земли, стали появляться под влиянием темной силы, ополчившейся против Христианства". Среди наиболее известных еретиков, кроме Симона Волхва, следует назвать Менандра, Керинфа, Марка и Валентина. Особую известность получил

иудей Валентин, так же, как и Симон Волхв, притворно принявший Христианство, чтобы вредить ему изнутри. Валентина три раза отлучали от Церкви, после чего он ушел на остров Кипр, где основал еретическую секту валентиан. Отцы Церкви не уставали обличать ереси гностических сект. Особенно в этом прославился святой Ириней, епископ Лионский, принявший мученическую смерть во времена гонений императора Септимия Севера около двести второго года. Опираясь на Священное Писание, святой Ириней показывал сатанинскую сущность гностиков, их безнравственность, переходящую в распутство, полную свободу от нравственных законов, ибо они представляли Бога ничего не ведающей силой. "О самом Первоначале, или Глубине, - писал святой Ириней, — у гностиков много различных мнений. Одни говорят, что она не имеет четы, ни есть ни мужеского пола, ни женского и вообще ни есть что-либо; а другие называют ее мужеско-женскою, приписывая ей естество гермафродита. Еще другие соединяют с ней Молчание как супругу, чтобы образовалась первая чета". Так Симон Волхв объявил себя спасителем и воплотившимся Словом Божиим, заявлял, что принял образ человека именно для того,

чтобы освободить божественную мысль из уз материи, а людей — от тирании ангелов, сотворивших мир. Обретя "божественную мысль", - а ею оказалась блудница по имени Селена, - Симон Волхв вступил с нею в сожительство. Люди, верующие в него, Симона, и в его Селену, вещал еретик, свободны делать всё, что они хотят и спасутся этой верой независимо от дел, "ибо дела праведны не по природе, а случайно". "Поэтому, — делает вывод святой Ириней, — мистические жрецы этой секты живут сладострастно и занимаются делами волхвования. Они употребляют заклинания и заговоры. Любят прибегать к средствам, возбуждающим страсть плоти, к так называемым духам домашним и наводящим сон, и к другим забавным проделкам. Они имеют также изображения Симона, представленного в виде Юпитера, и Селены — в виде Минервы, и молятся им". Богохульны и их обряды. К примеру, обряд посвящения, в противовес нашему Святому Крещению у гностиков, - последователей иудея Марка, - святой Ириней описывает так: «Одни из них устраивают брачный чертог и совершают блудное тайнодейство с произношением каких-то слов над посвящаемыми. При этом говорят, что

совершаемое ими есть духовный брак по подобию горних сочетаний. А другие ведут на воду и, крестя, приговаривают кощунственные слова: "Во имя неведомого отца всего, в матерь всего — истину, в сошедшей на Иисуса, в единении, искуплении и общении с силами". Иные же, чтобы более поразить посвящаемых, приговаривают какие-то еврейские слова, именно: "Васема Хамосси Ваэнора Мистадиа Руада Куста Вавофор Калахфи". Истолкование же сих слов таково: "Призываю то, что превыше всякой силы отчей, что именуется светом, духом благим и жизнью, потому что ты царствовал в теле».

- Что ж ты нам об этой мерзости ни слова не сказал? – вскинулся, было, я на пана Яна, но был остановлен взглядом Государя.

Отец Тит спокойно продолжал: «Гностики, как и каббалисты, проводили идеи иудейского избранничества, объявляя себя "особыми людьми". Так, например, гностик Василид учил, что "ангелы, занимающие самое последнее небо, именно видимое нами, устроили все в мире и разделили между собою землю и живущие на ней народы. Их начальник есть тот, которого почитают богом иудейским, и так как он

хотел подчинить своим людям, то бишь иудеям, все прочие народы, то ему противостали все прочие князья". Гностики принимали в свои секты без особенного разбора, но тайное учение высшего знания доверялось лишь избранным после пятилетнего тяжелого испытания. "Избранные" носили камни с вырезанными на них змеями и другими символами в качестве талисманов и подтверждения посвящения. Пользовались паролями и секретными рукопожатиями для опознания их другими еретиками. Еще одной сатанинской сектой, порожденной иудаизмом, были манихеи, вобравшие в свое учение ереси каббалистов и гностиков. Возникла эта секта в третьем по Рождеству Христовом веке в Персии. Основателем был некто Мани, отлученный от Христианской Церкви и вообразивший себя создателем новой религии, противостоящей Христианству. Мани воспитывался в одной из сект так называемых мандантов, соединявших в своем учении суеверия халдеев с идеями и верованиями, заимствованными из Талмуда, каббалы и даже Библии. Слово "манда" в переводе тоже означало "знание". Знание это, по мнению сектантов, могло быть доверено только

избранным и служило их благополучию и процветанию. С распространением Христианства секта мандантов стала воинствовать. В конце первого века иудей Елксай, чтобы унизить Иисуса Христа, провозгласил спасителем мира его Предтечу Иоанна Крестителя и ввел среди мандантов вместе с верованиями иудейской секты ессеев некоторое подобие обряда крещения. Многое из того, что в дальнейшем проповедовал Мани, было заимствовано им из учения и обрядов мандантов. Мани не только стремился остановить распространение Христианства, но и всячески способствовал развитию иудейского влияния на державы, еще не охваченные Христианством. Отрицая христианское учение, манихеи, как каббалисты и гностики, учили о двойственности Божества и о всебожии мира. По мнению манихеев, существуют два начала — два высших существа, связанные друг с другом, — "бог добра" и "бог зла", из которых один был властелином в царстве духа и света, другой — в царстве материи и тьмы. Оба высших существа выделяли из себя божественные силы. Одна, царство света, матерь жизни — произвела первобытного человека — христа, образ

которого подобен Адаму Кадмону у каббалистов. Из царства мрака произошел первобытный дьявол. Первобытный человек христос и первобытный дьявол вступают в битву, из которой дьявол выходит победителем, и царство материи и мрака поглощает элементы духовного божественного света. Эта частица света "бога добра", поглощенная материей, дает ей жизнь и становится душой вселенной. Дьявол заковывает душу вселенной в узы материи и таким образом создает Вселенную и человека. Видимый мир рождается из соединения духа и света с материей и мраком. Чтобы душа человека не узнала о своем божественном происхождении, дьявол запрещает человеку вкушать от древа познания. Манихеи выступали против брака и деторождения, считая, что они способствуют удержанию духа в оковах материи. Между тем мы знаем, Господь заповедал людям: *Плодитесь и размножайтесь!* Вместе с тем манихеи, впрочем, как и многие иные сектанты, поощряли блуд и прочие подобные грехи, о которых и говорить-то мне, монаху, срамно, с тем чтобы они только не вели к деторождению. Эти еретики строго хранили тайны своего общества. Его члены делились

на верующих, избранных и совершенных. Требовалось много лет, чтобы со степени верующего перейти на степень избранного. Но Господь миловал многих. Так, напрмер, блаженный Августин епископ Иппонийский, который до покаяния и обращения в Христианство девять лет состоял в секте манихеев, не пошел дальше первой ступени "верующих". По его свидетельству, от посвящаемых требовалось прежде всего строжайшее соблюдение тайны, разрешалось преступать клятву и обманывать. Еретики заповедовали: "Клянись, нарушай присягу, но не выдавай тайны". Святой сообщает о жестокости манихеев: "Нищему, если он не манихей, не подавай хлеба и воды.» Любую власть манихеи проклинали как учрежденные злым богом и учили, что не должно быть ни собственников, ни домов, ни земель, ни денег". Все это, тем не менее, не мешало избранным и совершенным манихеям владеть богатыми землями и домами, собственностью и деньгами. После падения Западной Римской империи манихейские секты распространились в Аравию и Византийскую империю. Да-да! Увы! Во Второй Рим! В X-XI веках на их основе по всей Европе появились различные ереси, в том числе ересь жидовствующих.

Творцом мира в этих ересях почитался дьявол, который, например, у богомилов назывался Сатанаилом. В Западной Европе секты жидовствующих широко распространились после изгнания евреев из Вавилона и казни там иудейского вождя Езекии. Имея самые разные названия, - манихеи, брабансоны, альбигойцы и иные, - эти секты чаще всего были известны под наименованием катаров. Учение катаров было близко манихейству. Они отвергали христианские представления о Боге и Священное Писание и, как манихеи, считали, что Земля и весь род человеческий сотворены дьяволом. Катары верили в перевоплощение души: если человек потерпел неудачу в одной жизни, то, как они утверждали, у него есть возможность преуспеть в следующей. Они не признавали Святое Крещение, Крест Господень, исповедь, святые иконы. Секты катаров делились на две ступени посвящения — верящие и совершенные. Чтобы достичь степени совершенных, требовалось по крайней мере два года специальных послушаний. Кроме связанных с манихейством катаров, в Галлии существовала секта орлеанских манихеев, появлению которой предшествовал

кощунственный антихристианский акт орлеанских иудеев. В 1014 году эти богоборцы отправили в Египет, к калифу Хакему, своих послов. Те попытались убедить его разрушить Гроб Господень в Иерусалиме, чтобы уничтожить само основание христианских «еретиков». Посланцы сумели убедить калифа, и самая великая христианская Святыня была разрушена. Однако иудейским посланцам не удалось скрыть свое преступление. После возвращения в Орлеан их судили и казнили. В 1022 году в Орлеане появилась манихейская секта, состоявшая в основном из иудеев, в которую удалось завлечь многих католиков-священников, и среди них - духовника французской королевы Констанции, священника Стефана. Тайная секта действовала в Орлеане почти год, но была разоблачена. Суд приговорил еретиков к смертной казни. В XI столетии от Рождества Христова на Юге Галлии одновременно с катарами, - а часто и сливаясь с ними, - действовала и другая разновидность манихейства — секта альбигойцев, названная так от города Альби, в котором проходил Собор, осудивший эту ересь. Особенно широко альбигойство распространилось среди крещеных евреев

провинции Лангедок. Как и манихеи, альбигойцы признавали два высших существа доброе и злое. "Добрый бог" создал духовный мир, а "злой бог" — мир материальный. Христианский Бог-Творец был, по мнению альбигойцев, "злым богом", а Христово Учение отвергалось, как "плотские" установления "злого и плотского Бога". Среди части альбигойцев процветало, прости, Господи, содомия и самый разнузданный блуд. Еретики считали, что грехи плоти, как создания "злого Бога", не имеют никакого значения для безгрешного духа. Альбигойцы ненавидели Христианство, преследовали и убивали священников, грабили и разрушали монастыри и церкви. В тайной секте альбигойцев существовали три степени посвящения: ученики, верующие и совершенные. Посвященные в степень совершенных считались святыми, и им давалось право отпускать грехи и выносить смертные приговоры. Каждый вступающий давал клятву хранить тайну под страхом смерти. Управление осуществлялось тайными руководителями, неизвестными большинству ее приспешников. Альбигойская секта была уничтожена во время крестового похода против катаров, частью которой они, по существу, являлись.

Остатки еретиков слились с манихейской сектой вальдепсов, а некоторые вступили в сатанинский Орден рыцарей-тамплиеров.»

…Мы переглянулись с Митькой и одновременно с презрением посмотрели на пана Яна.

- Ох и лгун же ты! – не выдержал я, но снова был остановлен взглядом Государя. А монах, замолкнув на миг, продолжал: «Орден рыцарей храма, или тамплиеров, был основан в 1118 году от Рождества Христова для охраны паломников к Гробу Господню и защиты их от нападения сарацин. Первоначально орден носил монашеский характер. Его члены отличались благочестием и вели аскетический образ жизни. Иерусалимский король Балдуин II подарил тамплиерам дом, построенный на том месте, где, по преданию, находился храм Соломона, откуда произошло название храмовники, или тамплиеры. Орден быстро развивался и к концу XII века превратился в очень могущественный! Тамплиеры владели огромными землями, домами и богатствами на Ближнем Востоке и в Европе. К началу XIII века характер ордена изменяется. Власть в нем захватили силы, связанные с каббалистско-манихейскими сектами, которые вносят в устав ордена изменения,

отменявшие послушничество и разрешающие принимать в орден несчастных, отлученных от Церкви. Вскоре большую часть рыцарей ордена стали составлять люди, недостойные или просто враждебные Христианству. Постепенно орден храмовников превратился в тайный союз поклонников… сатаны. Да-да! Именно лукавому стали служить они. И этому есть свидетельства розысков! Тамплиеры вместе с внешним исповеданием Христианской веры установили обряды тайного поклонения сатане. В храмах проходили церковные службы, а в подземельях ордена ночью или на рассвете происходили тайные сборища, где совершались кощунственные обряды поругания христианских Святынь, и проходили "черные мессы" с людскими жертвоприношениями. Тамплиеры приняли новый устав, известный только избранным членам ордена, в котором устанавливались положения, враждебные Христианской Церкви. Устав этот содержался в глубокой тайне, и рыцарям ордена запрещалось под страхом смерти носить его с собой. Новое учение тамплиеров было развитием манихейства. Тамплиеры признавали существование "высшего бога" — творца духа и добра — и "низшего бога" —

создателя материи и зла. Признавая двойственность божества, тамплиеры поклонялись не "высшему богу", а низшему — "богу материи и зла". Его они представляли в образе Бафомета — дьявола с рогами, пятиконечной звездой во лбу, козлиной головой, женской грудью и мужским удом. На своих тайных сборищах тамплиеры исполняли обряды отметания Христа, оплевывания Креста, поклонения Бафомету. В тайны ордена посвящались не все тамплиеры. От избранника требовали клятвы под страхом мучительной смерти. После произнесения клятвы посвящаемый в тайну должен был отречься от Христа, как от "лжепророка", и от Христианской Церкви. После отречения от Христа посвящаемый целовал каждого своего брата по ордену "в уста и ниже пояса". Посвящаемому показывали Бафомета и объявляли: "Верь в него, ему доверяйся, и благо тебе будет". Новоявленный еретик склонял свою голову перед сатаной. Новопосвященный в рыцари-тамплиеры получал "пояс Иоанна", который через прикосновение его к изображению Бафомета приобретал характер талисмана. Пояс этот служил главным отличительным знаком принадлежности к Ордену тамплиеров. Название пояса именем Иоанна

объяснялось почитанием, которым, якобы, пользовался Иоанн Креститель у тамплиеров.»

- Погоди, святой отец… - перебил монаха теперь Иоанн Васильевич… - а не поглядеть ли нам наличие оного пояса у пана Яна? Князь Ондрейка! Окажи милость!

Пыточные люди скрутили пана Яна, но пояса на нем не оказалось…

- Продолжай, отец Тит, - кивнул Государь. Монах поклонился и заговорил снова: «Тамплиеры вели развратный образ жизни, а многие были подвержены и содомитским порокам. Их резиденции превратились в дома терпимости и места самых разнузданных оргий. Потеряв человеческий облик, тамплиеры вступали в сговоры с шайками бандитов. В частности, орден вошел в союз с "исламской" сектой ассассинов, - убийц. Оба сборища имели одинаковую иерархию, прости Господи, одинаковые ступени посвящения, одинаковые цвета облачений, - белый и красный. Одинаково разрушали вероисповедания, которые они наружно исповедовали. Так, разумею я, не являются ли они руками одного существа? Да! И да! И да! Так же как тамплиеры не были настоящими христианами, так и ассассины

только прикрывались мусульманскими одеждами, являясь на самом деле преступной иудейской сектой. Триста с половиной лет назад многие тамплиеры, находившиеся в Галлии во главе с гроссмейстером Яковом Моле и конвентом ордена, были посажены в темницы по повелению Гальского Государя. Розыск продолжался семь лет. Все узники признались в отречении от Христа, в оплевывании Креста и попирании его ногами, особенно - в Святую пятницу. Признались они и в блуде, в поклонении идолу Бафомета, в наказании смертью за нарушение тайны или неповиновение, в содомитстве как во вполне установившемся обычае, в убийствах, грабежах, ложных присягах. После суда Якова Моле и его главных подручных казнили, Причем содомитам через коровий рок вгоняли раскаленный железный прут в зад. Остальных тамплиеров-колодников посадили в темницы. Кому-то из сих сатанистов удалось скрыться. Эти вступили в другие секты. Впрочем, слыхал я от верных людей, что тайный орден живет и здравствует. Тайно!»

Монах поклонился, перекрестился и встал на свое место. Ненадолго наступила тишина. Но ее разорвали глухие рыдания.

Мы все повернулись в их сторону. Пан Мечеслав, сидя на своей лавке и закрыв лицо ладонями, весь сжался в комок. Рыдал он, по-детски захлебываясь и всхлипывая. Зато пан Ян, высоко подняв голову, обводил нас всех глазами. Кривил губы в тонкой улыбке, словно праздновал победу… Рыдания пана Мечеслава стали затихать. Тогда Иоанн Васильевич произнес: «Казнить тебя, как иноземца, мне не с руки. Отправлю-ка, пожалуй, восвоясию С небольшим отрядом, скажем, к королю Речи Посполитой. А с тобой и грамоту, в которой записан весь твой рассказ.»

И тут только я заметил в дальнем углу за маленьким столиком дьяка, склонившегося над пергаментов. Он вытерал тряпицей перо. На такие Государевы слова пан Ян побледнел. С лица исчезла победительная кривая улыбка…

- Не-е-ет, – вскинулся он, - умоляю! Лучше здесь казните! Вы же слышали, что там меня предадут лютой многодневной смерти за разглашение тайны…

- Пся крев! – вдруг крикнул со своей лавки пан Мечеслав. Он попробовал подняться. Но, ойкнув, схватился за раненное плечо, опустился обратно. Снова поднял голову. С гневом и болью

проговорил: «А я верно служил! И ничего не знал о том! Получается: я предал веру предков-христиан! Предал отца!»

Пан Ян посмотрел на него. Опять скривил губы в своей улыбке. Хмыкнул: «Тебе пененьзи платили за твою слуюбу. И надо сказать, что платили небедно. Даже хотели посвятить тебя в рыцари. Но теперь я вижу, что не напрасно мы медлили. Ты – слабак. И недостоин даже песчинки со дня морского тех знаний, которыми владеют настоящие рыцари. Ты – пся крев.»

- Уведите его! – кивнул на пана Мечеслава Государь. И когда того вывели, опять обратился к пану Яну: «Ну, и что мне с тобой делать?»

Тот опустил голову. Иоанн Васильевич встал. Обошел вокруг пана Яна и вдруг сказал: «Хочешь жить, назови мне моих боляр и князей, которые – на службе у вас. Тебе же не жалко их? Пожалей себя!»

- Не могу. Это – тайна ордена. А потом… и знаю-то я только троих. Двоих сегодня в темнице убили. А третий – Прокл. Потому-то именно они пришли предать меня смерти: знают в лицо. Более ни я – никому, ни мне никто не ведомы. Это – тоже закон наших тайн.

- Ну, что ж. Уведите и этого! – дернул бородой Царь.

- Погоди, Государь! Спроси его еще, – вдруг встрял княжич Димитрий, - про големов. Говорил, что мы, освобождая князя Алексашку из замка в Тисовье, прохлопали главного чародея. Тот из глины, якобы, делает непобедимых ратников против нас.

Иоанн Васильевич удивленно округлил глаза. Крутанул головой. Взглянул на митрополита. А пан Ян поспешил: «Я никогда не вникал в дела чужой службы в ордене. Знаю только, что есть такие.»

И он пересказал все то, что поведал нам. Добавил: «Более ничего поведать не могу.»

- Уведите. Сторожу поставить по всему подземелью из моей конной тысячи. Князь Ондрейка, ты – старший. Вот и мой ответ на твои слова, что я, мол, скоро и тебя подозревать стану. А этого иуду, - кивнул Государь на болярина Прокла, - пытать, пока не назовет всех, - все-е-ех! – своих подельников. Дьяк Архип, тебе поручю всё записать! Владыко, прошу тебя оказать милость: пройди со мной в мои покои. Хочу благословиться на одно дело державное. А вы, голуби, - наконец, повернулся Иоанн Васильевич к нам, - идите-ка тоже со мной.

Мы с Митькой переглянулись: мол, к чему бы это? Но исполнили.

- Ну, что? – заговорщически улыбаясь, обвела нас взглядом за ужином мать, - В воскресенье – Пасха. Тесто для кулича я замесила. Луковую шелуха для окарски яиц заварила. На даче праздник и отметим. Выезжаем в пятницу вечером.

- Как это отметим? – удивился я, - Когда?! Папе же в воскресенье – за руль…

- Вот и отметим в субботу вечерком. В воскресенье до обеда поработаем. К вечеру вернемся домой, - вдруг начала заводиться мать.

- А святить кулич, яйца? – и у меня к голове бурно начала приливать кровь.

- Ой! Не люблю я эту обрядовость, придуманную людьми. И неизвестно еще насколько добропорядочными! Бог, Он – не в обрядах! Он в сердце быть должен. Как у меня! – погладила она себя по груди.

- Мама, – не унимался я, - но в такой Великий Праздник нельзя работать!

- Не человек для субботы, а суббота для человека! - парировала мать. И наставительно подняла вверх указательный палец: «Так меня моя мама и твоя бабушка Наталия Алексеевна учила. А потом: где

написано, что нельзя? Во время войны-то люди ни воскресений, ни суббот не знали! Спали у станков. А?»

- Написано это у святых отцов.

- «У свя-тых от-цов»! Пдумать только, – перебив, передразнила меня мать, - у свяиых отцов! Они тоже были людьми, а не Богом! Значит, грешили! Как же верить грешникам? К тому же, скажи-ка мне, сыночек дорогой, в какой еще день, когда нам съездить, дачу к лету подготовить? Надо мусор, прошлогоднюю листву убрать и сжечь, грядки вскопать, печь подмазать и протопить, чтобы дом подсох. В будни-то мы все работаем! А ты, похоже, в Минск на Пасху намылился?

- По поводу запрета на физический труд в праздники, - сдержавшись, холодно ответил я, - еще в Ветхом Завете заповедано: шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу. Это означает, что в воскресный день надо сходить в церковь, помолиться, причаститься Святых Таин.

- Ветхий Завет, сдается мне, - хохотнул вдруг отец, - написан для евреев. А мы, вроде как, - русские.

- Христос пришел не отменить Ветхий Завет, а исполнить его и дополнить! – кровь опять ударила мне в голову. Попробовал как

можно мягче сказать я: «К тому же, папа, Ветхий Завет дан был и-у-де-ям, избранному народу, Израилю! Но когда они Христа распяли, богоизбранным народом стал наш. Русский народ!

- Ишь ты, – теперь хохотнула мать, - Фашисты себя тоже считали избранными! Над другими народами! И где это ты всего такого нахватался? Опять блажишь! Потом опять разочаруешься. Когда же ты, наконец, повзрослеешь?!

«Уже повзрослел! – вспыхнуло у меня в голове, - Вырос из пионерско-комсомольского атеизма! Но как же быть? Как работать на Пасху? Как не пойти в церковь?! Может быть, резко отказаться? А как же тогда благословение отца Валерия, - Царствие ему Небесное, - о почитании родителей и послушания им? Интересно, что бы он сказал в данном положении»?

- О чем задумался? – прервал мои мысли отец.

- О работе, - крутанул я головой.

- Ага,– хмыкнула мать, - сейчас придумаешь, что тебе в субботу обязательно надо куда-нибудь по своим ре-э-эдакторским делам?!

- Нет! - ответил я. И поднялся из-за стола: «Спасибо за ужин. Пойду к себе. Доброй ночи.»

И я ушел в свою комнату. Вышел на лоджию. Закурил. И увидел… голову старика-корня.

- Давненько не появлялся, - попытался улыбнуться я, а про себя решил вывести его сейчас же на чистую воду.

- Дела, знаешь ли.., - замялся он. Но тут же затараторил: «Надо же ставить точки над «i», согласно нашему договору. А это – дело непростое! А вот ты зря не настоял на своем! Кто для тебя главнее? Родители или Бог? А? Какой-то христианский святой поучал, что, мол, если близкие люди мешают твоей вере, да будут они для тебя мытарями и разбойниками! Даже через ссору, даже через скандал, даже через очередной окончательный разрыв с родителями ты должен выполнить свой долг перед Всевышним! Должен пойти на Пасхальную Литургию! Видишь, как я преуспел в осмыслении поучений? Что ж ты не похвалишь меня?

- Мо-ло-дец! – даже растерялся я.

- И еще. Будь осторожен! Сейчас под видом всяких святош к тебе могут являться мои бывшие подельники. Не верь им! Ведь

первый ответ на твои душевные вопросы – всегда от Бога. Остальные… Сам знаешь, от кого!

Я действительно растерялся: ведь он все сказал правильно! За веру надо стоять до конца. И разве не написано, что ближние твои – враги твои?

- Ой-ой-ой! – вдруг, словно от зубной боли, сморщилась голова старика-корня, - Совсем забыл! Старею, должно быть! У меня же столько дел!

И она исчезла. А передо мной вдруг возник русский ратник в княжеских доспехах и красном плаще. Лицо его было… Да! Я узнал его! Но, вспомнив предостережение старика-корня, потребовал: «Прочитай вслух молитву Честному Кресту и перекрестись.»

Ратник, улыбнувшись, исполнил. Тогда я прошептал: «Ты – мой Небесный Покровитель, святой благоверный Великий Князь Александр Невский?»

- Нет, брат, - покачал головой ратник, - хотя, я тоже – Александр. А красный плащ? Его удостаиваются не только Великий Князья…

- Но и мученики за Христа! – перебил я.

Мой собеседник опять улыбнулся. Кивнул. Но тут же посерьезнел. Опустил глаза в пол. Сосредоточился, словно

прислушивался к чему-то или к Кому-то. Перекрестился еще раз. И заговорил: «А прислан я к тебе для того, чтобы уберечь от греховного шага, на который ты в мыслях согласился. Согласился этим лукашкой.»

- Но он же исправляется! Хочет покаяться! К тому же, столько дельных советов давал.

- …Которые привели ко грехам. Однако, сейчас не о нем речь. В этом ты сам разберешься. Со временем. А теперь я напомню тебе про один обычай. Он испокон века бытовал у Православных Христиан. Именно в праздники они оказывали особую милость сиротам, недужным, немощным и старым. Да? Какую милость? Да просто порой делали за них необходимую физическую работу. Твои сродники могут заблуждаться. Могут грешить. И помочь им ты можешь только своей любовью. Своей помощью. Вспомни, как болен отец твой. Как разрывается по хозяйству на части мать. Ты должен помочь им! Поезжай с ними. Там – твоя Божественная Пасхальная Литургия! В семье – мир, и на столе – пир. А с другой стороны: ну, поругаешься ты с ними, пойдешь в храм Божий. И какое же сердце, что в нем ты принесешь Христу Воскресшему? Лучше в Пасхальную полночь

помолись Светлому Христову Воскресению. Помолись за сродников. Погаси огонь их неверия своей любовью. Ведь проявиться она может только в твоей молитве и помощи! Вспомни про овцу, упавшую в колодец, и которую хозяин не бросит, какой бы праздник не стоял на дворе. И еще: не жди за свою любовь и помощь благодарности от людей. Будь даже готов к тому, что именно через них враг рода человеческого может отомстить. Это уж, как Господь попустит. Для чего? А чтобы ты учился оказывать любовь и милость людям не за любовь и милость людскую, но свято веруя, что оказываешь их Богу. Что идешь путем Христа. Путем любви. Ведь Христос есть Любовь! И храни тебя Господь.

Ратник исчез. А я поначалу недоумевал: кому из них верить?! Хотя… Старик-то-корень сам не перекрестился, молитвы не прочитал, Христа-Любовь не помянул. Призывал к вражде! «Значит, в пятницу – на дачу!» - твердо решил я. И утром весело объявил об этом родителям. Мать заворковала. Отец довольно хмыкнул. А на работе, я, как не пытался сдержать себя, все-таки спросил: «Людмила Петровна, вы не слышали, что такое кабала? Ой, нет,

ударение – на первом слоге и в середине две буквы «б».»

Та удивленно вскинула на меня взгляд. Повела в стороны глазами, словно в поиске помощи от Жени и девочек-редакторш. Склонила голову набок. Улыбнулась до ямочек на щеках: «Ох, Александр-Александр! Вечно вы чем-нибудь ошарашите!»

«Ошарашу? От слова «шар»? Стеклянный?» – хмыкнул я про себя…

А Людмила Петровна, глядя, что называется, в никуда, продолжила: «Видите ли… Если пролистать истории разных народов, то мы увидим, что объединяет их не религия, не любовь, не дружба, не доброта, не здоровье. Сотни и сотни поколений в разных концах земного шара оказались измученными, даже искалеченными разными личными и общественными бедами, войнами, болезнями, стихией. И не могли они понять их причины. Не могли связать с ними цель своего существования. Не перебивайте, пожалуйста. Философско-религиозное учение Каббала дает ответ на многие вопросы. Более того того, она передает аромат учений более древних и спасительных, чем, скажем, Христианство. Между тем, я бы не советовала вам пытаться понять и

разобраться в Каббале. Я и сама не рискую, кроме как подчерпнуть некую инофрмацию об этом. Для того чтобы понять всю совокупность областей, из которых состоит Каббала, всю ее глубину, нужно быть, например, Леонардо да Винчи! Да-да! Не удивляйтесь. Он много занимался этим учением. И, возможно, благодаря пониманию Каббалы, умению ею пользоваться, изобрел и парашют, и вертолет, и подводную лодку! Наконец, написал свою непотворимую, таинственную Монну Лизу. Кстати, он был и гроссмейстером ордена Тамплиеров! Откуда я все это знаю? Ха! В ВПШК проходили семинары по научному атеизму. Но, что интересно и необычно: тему для реферата каждый выбирал сам. Так вот, «семечка», про которого я вам рассказывала, сделал доклад именно по Каббале. Ох, и фантазер! Он сказал, например, что овладение Каббалой, по мнению ее приверженцев, давало и дает им возможность управлять некими своими нераскрытыми энергетическими силами, приносит материальное благополучие и, например, популярность. А что это, собственно, вас так заинтересовал данный вопрос?»

- Да… Так… Услышал где-то.

- Э-э-э, Александр! Не лукавьте! Поделитесь! Что или кто натолкнул вас на поиски ответа? Это же – так необычно! Так интересно!

Я даже не знал, что сказать. Однако понял связь Людмилы Петровны с теми, о ком прочитал в книге Льва Тихомирова. Но тут меня выручила Галина Евсеевна, неожиданно вошедшая в кабинет и пригласившая нашу заведующую отделом к себе. Когда мы с Женей отправились в курилку, он спросил: «А что эта «каббала» тебя так заинтересовала?

- Для романа, - пожав плечами, попытался выкрутиться я, - а впрочем…

Мне вдруг захотелось поделиться с другом своими мыслями о прочитанной книге Тихомирова. Что я и сделал. Теперь Женя, выслушав, пожал плечами: «Всё это придумали церковники!»

- Я так не думаю.

- ? – дернул подбородком снизу вверх Женя. И я понял, что с ним говорить на эту тему будет трудно. Знаний моих явно не хватало, да и трудиться не хотелось. Поэтому я и сказал: «А почему бы нам действительно не выписать нашего «гроссмейстера» каббалистом?»

- Он же – не че-ло-век! – усмехнулся Женя.

- Хорошо. Но действует-то он по законам каббалы. А каббалистами мы можем выписать кого-нибудь из его приспешников.

- Ой, даже и не знаю. Ты же слышал, что Людмила Петровна остерегла нас. Как бы рассудком не повредиться, влезая в это «у-че-ни-е». А писать, не влезая, выписывать наших героев, тоже нельзя! Не будем же мы унижаться, прыгая по «верхушкам»! А ты бы взял у своего попа разрешение на это. Или как там говорят? Ах, да: благословение.

- Хорошо. Съезжу и попрошу.

- Когда?

- После Светлой седмицы.

- Дожить еще надо!

Когда мы вошли в кабинет, Людмила Петровна покачала головой и проговорила: «Что-то вы долго курите.»

Рядом с ней, за ее рабочим столом, сидел худощавый, лысый, с выпуклым лбом и тонким горбатым носом мужик в свитере и джинсах. Из-за толстых линз очков в массивной роговой оправе он полоснул нас взглядом холодных серых глаз и буркнул: «Здрасте…»

А Людмила Петровна слегка склонила голову в его сторону и представила гостя:

«Это – Михаил Яковлевич Левитский из проблемной лаборатории ВПШК, доктор наук. Прошу любить и жаловать.»

А у меня вспыхнуло в мозгу: «Гроссмейстер»! Но я представился как положено. Женя последовал мне. А Людмила Петровна продолжала: «Михаил Яковлевич привез очень необычную, очень интересную статью. Оказывается в Ленинградском ДК железнодорожников появилось любительское объединение самодеятельных исследователей всяких аномальных явлений природы, человека, экстрасенсорики, парапсихологии и так далее. В него входят в основном представители интеллигенции. Раньше подобное пресекалось властями. Но теперь, хоть и со скрипом, пробивает себе дорогу. Мне сейчас надо в тишине посидеть и поработать с Михаилом Яковлевичем. Поэтому, вы, девочки, можете ехать по домам. Отдыхайте! Ха-ха! А вы, товарищи старшие редакторы, возьмите каждый по книжечке, любезно представленных нашим гостем. Тоже поезжайте домой. Но не отдыхать. А знакомиться с изданием. В понедельник и потолкуем. До свидания.

«Гроссмейстер» вытащил из пузатого портфеля две книжицы страниц на сто, явно изданные в ВПШК, и чему-то улыбаясь

ниточкой губ, протянул одну мне, другую Жене. Мы согласно кивнули. Пожелали «всего доброго». И вышли из кабинета.

- Грос-с-смейстер! – выдохнул шепотом Женя.

- Я тоже так про него подумал, как только увидел! Надо же! Значит, мы – на правильном пути! – крутанул согласно головой я.

- Ты знаешь, Саха, по-моему, нам это ничего хорошего не предвещает. Ты видел его рожу?! Иезуит какой-то! Типичный! Теперь заставят редактировать его статью. А это – опять война!

- Что ж делать?! Страстная седмица!

- А может быть, по пивку?

- Говорю же: Страстная седмица. Страстная пятница! Великий пост кончается. Хоть последние дни надо воздержаться! И тебе советую.

- А-а-а! Условности все это! Обрядовость, придуманная попами-людьми, которые – тоже не без греха. А значит, и - не законодатели! - махнул рукой Женя.

И мы, попрощавшись пошли: он – в метро, а я – на троллейбус. Дома никого не оказалось. Поэтому я съел круто посоленную горбушку «Бородинского», выпил чашку крепкого кофе и завалился на свой топчан с

книжецей из ВПШК. Но, пролистав десяток страниц, понял, что и читал это уже, и слышал. Только со знаком «наоборот». Впервые мне намекал отец Валерий, - Царствие ему Небесное. Потом - касался темы отец Илларион. Наконец, вкратце рассказал Сергей Емелианович. А выводы мне подсказала книга Льва Тихомирова. Стало быть, я оказался прав по поводу Людмила Петровны. А может быть, она просто по глупости вляпалсь в эту грязь?

…В замке входной двери повернулся ключ. И раздалось оханье отца. Я выскочил в прихожую. Он стоял белее снега.

- Папа! – кинулся я к нему.

- Ничего-ничего, - попытался улыбнуться он, - обычный прострел поясницы.

Я помог отцу раздеться. Уложил его на диван. Хотел налить коньяку, но он остановил меня: «Сейчас мать придет. Пусть сама нальет. Чтобы ругани не было.»

Так и получилось. Алина пришла позже всех. Узнав о болезни отца, предложила: «Может быть, мы сами тогда, втроем на автобусе поедем? А папа пусть отлеживается?»

- Еще чего! – вскинулась мать. И пристально посмотрела на меня: «Я отца

одного не оставлю! Вот, если бы Сашка почаще на даче бывал, да знал бы там все дела, проблемы, - отпустила бы вас двоих. А так? Какой толк? Что вы там делать будете? Решено: на дачу в эти выходные мы не едем. Завтра сама схожу святить кулич и яйца.»

Вечер прошел в тишине. Отец ужинал лежа. А я, сославшись на усталость, а от нее – на отсутствие аппетита, ушел к себе и снова углубился в чтение опуса Левитского-«гроссмейстера». Но скоро не выдержал. Позвонил по телефону Сергею Емелиановичу. Однако, только заикнулся о теме разговора, услышал в ответ: «Александр! Простите меня Христа ради. Сегодня – Страстная пятница. Мы с Леночкой вчера причастились Святых Таин. Не хочется терять благодати. Давайте о вашей брошюре поговорим после Пасхи. Праздник праздников всё же. А если хотите, приезжайте на Светлое Воскресенье в гости. Часов в шестнадцать. И еще: не советовал бы вести беседы на тему, затронутую вами, по телефону. Еще раз, простите меня. Поклон вам от Елены Васильевны. С наступающей Страстной субботой.»

И в трубке раздались короткие гудки. «Вот ведь, как настоящие христиане живут! Не то, что я!» - подумалось мне.

В субботу мы с Алиной по поручению матери делали генеральную уборку квартиры. А после обеда я, уставший от прыжков с пола на подоконник при мытье окон, с табуретки на стол и обратно при протирании пыли на мебели, прилег и сразу заснул. Проснувшись, чистил и резал лук, тер сыр, чеснок, морковь, свеклу, проворачивал мясо через мясорубку. Мать готовила праздничный стол.

- Где у нас здесь ближайшая церковь? Хочу на службу сходить, – объявил я

- В Черкизове. Надо доехать на 41-м троллейбусе до кинотеатра «Севастополь». Только там служба обычно начинается в семь утра. Проснешься?

- Будильник заведу.

Вечером я позвонил Валентине, но никто не ответил. «Должно быть, к матери своей уехала», - подумал я и решил улечься пораньше. Однако долго не мог заснуть. То ли днем сон перебил, то ли по жене заскучал. Стал в который раз оправдывать ее и осуждать себя. Лежа, просил у Бога прощение за грехи. И тут в легком, серебристо-голубом свечении увидел недавнего гостя, князя в красном плаще. Он улыбался. Потом, перекрестившись, заговорил: «Вот, видишь, к чему привели

твои смирение, любовь, намерение помочь ближним? Помни этот случай. И не кручинь сердца о болезни отца. Благодари Бога! Могло быть хуже, если бы вы поехали. Но Господь за твои смирение, любовь, намерение помочь отвел вас от беды. Об этом боле не спрашивай.»

- А что мне делать с этой гадостью? Или это – не гадость?– потряс я книжицей «гроссмейстера».

- Это – хуже! Но пока на службе своей молчи. Господь милостив. Все разрешится… ***Христос Воскресе!***

- ***Воистину Воскресе!*** **– ответил я и взглянул на часы. Стрелки на них показывали пять минут первого ночи. А когда я поднял глаза от циферблата, князя Александра в красном плаще уже не было.**

…Пасхальная служба пролетела мгновенно. И умилительно. А в десять я был уже дома. Отец, слегка прихрамывая, ходил по квартире.

- Тебе лучше? - спросил я его. Отец с улыбкой крутанул головой. А мать, выглянувшая с кухни потребовала: «Расскажи-расскажи про свой сон!»

Отец опять крутанул головой. Даже крякнул: «Сам не пойму… Вчера двинуться не мог. Только, перевернувшись на живот и

заснул. После коньяка. И вдруг, как бы проснувшись, вижу: заходит к нам в комнату старичок. Подходит ко мне и касается палочкой спины. А сам так по-доброму улыбается. Мне от палочки его сразу тепло стало. Сладко! А он говорит, что, мол, креститься мне надо. Тогда и болеть не буду. И… исчез! Ну, куда мне, скажи на милость, креститься на старости лет?! А потом, если в академии узнают?!»

- А мы тебя тайно окрестим! Как Сашу и меня когда-то! Уж тогда времена куда, как драконовские, были! – засмеялась Алина.

- Поживем – увидим, - вздохнул отец.

- ***Христос Воскресе!*** **– воскликнул я.**

- ***Воистину Воскресе*****! – хором ответили мне родители и сестра. Мы расцеловались и стали накрывать на стол. Завтрак начался с кулича и яиц. Мать с Алиной выпили Кагору, а мы с отцом – по рюмке коньяку. Потом все пошли в лес гулять. И здесь я заметил, что отец вообще не хромает. Мать тоже приотстала от него. Постояла, посмотрела, склонив голову набок. Наконец, догнала и спросила: «Что? Совсем не болит?»**

- Совсем, - удивленно пожал он плечами.

- Креститься надо! – вздохнула Алина.

…Вернувшись из леса, мы снова сели за стол. Потом отец играл на аккордеоне. А мы пели. Всё те же, традиционные для нашей семьи, песни. И было так хорошо! Никаких упреков! Никаких недобрых слов! А вечером мать вдруг сказала: «Это даже хорошо, что на дачу не поехали! Оч-чень хорошо! Отдохнули, как когда-то.»

И на глазах у нее стояли слезы. Они туманились и одновременно светились радостью. Или воспоминаниями. Нет, все-таки радостью! «Пасхальной!» - отметил я про себя.

…Утром в кабинете Людмила Петровна сетовала: «Совсем руки отваливаются! Все выходные квартиру в порядок приводили. Ковры выбили. Окна вымыли. Паутину сняли. А кафель в ванной и на кухне! В воскресенье полдня балкон от хлама очищали. Сколько его за год накопилось! А все как-то руки не доходили.»

- В воскресенье?! – удивился я.

- А когда ж еще?! В пятницу до одиннадцати вечера здесь в Михаилом Яковлевичем над статьей просидели. Он-то – сразу на обратный поезд. Вот, подвижник! А я до дома только в первом часу добралась. Автобуса минут сорок ждала. Зато статья получилась! М-м-м! Пальчики оближешь!

Кстати, а вы, мальчики, ознакомились с книгой Михаила Яковлевича?

- Конечно, - почти одновременно кивнули мы с Женей.

- Ну? И как вам? – перевела она взгляд с него на меня.

- Видите ли.., - начал, было, я. Но Женя перебил: «Очень интересно! Представляете, кто-то желает зла тебе или близким, а ты усилием воли и разума, - хлоп! – и ставишь перед ним невидимую стену! А еще оказывается, мы все обладаем этими, как его, экстрасенсорными способностями. И развить их для того, чтобы управлять силами природы, совсем нетрудно! И существа из параллельных миров – не такие уж мерзкие!

Женя повернулся ко мне: «Саха! Помнишь русалку на Воже? Мы могли бы с ней оч-чень даже неплохо пообщаться, если бы знали. А она бы и пару подружек позвала!»

- Вообще-то, - вдруг подала голос редакторша Кира, - моя бабушка называла русалок нечистой силой.

- Кирочка, девочка моя, - обняла ее за плечо Людмила Петровна, - наукой доказано, что ни бесов, ни сатаны нет. Нет! Не су-щест-ву-ет! А придумали их церковники. И

сделали это для того, чтобы остановить развитие воли и разума у простого народа. Чтобы он не вышел у них из подчинения. Нет! Вы только представьте! Научились бы наши пра-пра-прадедушки и пра-пра-прабабушки общаться с обитателями параллельных миров, - а ведь те готовы на контакты, готовы помогать нам, - стали бы нужны нам церкви, молитвы, попы? Мудрецы, живущие на Тибете, в Шамбале, умеют общаться. И поэтому живут тысячелетиями! А мы, темные, как и наши темнющие предки, не доросли до этого высшего разума! А почему? Да просто не захотели! Лбы-то по церквам разбивать – проще! Кстати, язычники-славяне пользовались услугами обителей параллельных миров. На своем, конечно, интеллектуальном уровне. Почему же они почитали того, кого называли домовым? Значит, была от него какая-то польза! А ежегодные праздники ру-са-ли-и? Звучит-то как необычно! Ой!.. Что-то мы заболтались! Работать! Работать надо! Женя! Ты – на правильном пути, если так увлекся. Поэтому сейчас же берись за статью Михаила Яковлевича. Внимательно просмотри. На отдельном листе запиши вопросы, которые возникнут. А потом мы вместе с тобой

поработаем. Может быть, даже в командировку в Ленинград поехать придется. Опять вместе!

В это время в кабинет вошла Галина Евсеевна. Мрачнее тучи! Обвела нас всех взглядом. Проговорила: «Люда! Мне не понравилась книжица этого Михаила Яковлевича Левитского.»

- Почему? – вскинулась Людмила Петровна.

- В ней же пропагандируется сущее колдовство!

- Ой! Галина Евсеевна! Мы здесь только что с сотрудниками отдела разговаривали. Вот, ребята все – в восторге! И это – не колдовство, а наука о высших знаниях! О том, как использовать их, как овладевать ими. Ведь сегодня, в конце двадцатого века, лишь единицы владеют высшими знаниями. А если они будут доступны всему человечеству, то не будет на земле ни войн, ни болезней, ни стихийных бедствий. Я уже говорила ребятам, что этими знаниями владели великие Леонардо да Винчи, Боттичелли, Ньютон, Гюго, Дебюсси. А Маларме, Метерлинк, Герцен, Белинский? Или мы откажем первым в их гениальности, вторым – в высоком таланте? А наши Рерихи? Николай, Елена, их сыновья?

- Нет-нет. Мне мало мнения твоего доктора философских наук. Мы сделаем так: отдадим книгу на экспертизу специалистам. Статью размножим. Ознакомим с ней всех сотрудников ЦДКЖ. И обсудим на редакционно-методическом совете.

- Но это же очень длительный процесс!

- А ты хочешь, чтобы нас всех повыгнали с работы? Без права трудиться по профессии. Позиция нашей партии, насколько я знаю, расходится со взглядами твоего автора.

- Да со времен ОГПУ в компетентных органах работают секретные отделы по изучению высших знаний.

- Вот там пусть они и работают. Впрочем… Я позвоню в наше железнодорожное КГБ. Попрошу найти консультанта. А еще, сдается мне, что твой автор-протеже не совсем здоров. Ты уверена, что у него с головой – все в порядке?

- Галина Евсеевна, - подал голос я, - у меня есть знакомый профессор психиатрии. Генетик. Давайте его пригласим консультантом?

Я перевел взгляд на Людмилу Петровну. И увидел в ее глазах красноватый злобный огонек, направленный на меня, словно лазерный луч. Поэтому добавил:

«Мне трудно судить о здоровье автора книги и статьи. Но, помятуя свою дипломную работу и подготовку к ней, я не увидел в них каких-то психических отклонений.»

Взгляд Людмилы Петровны смягчился. Она закивала: «Вот-вот! Именно профессора психиатрии.»

- Хорошо, - согласилась Галина Евсеевна, - но он, должно быть, очень занятой человек. Вы, Саша, поезжайте к нему. В любое рабочее время. И если он найдет возможность, дайте ему почитать и книгу, и статью. И попросите с точки зрения специалиста написать небольшую рецензию. Таким образом, предположительно два члена экспертизы у нас уже есть. Евгений Юрьевич, а вас я попрошу связаться с кем-нибудь из Союза писателей. С грамотным человеком!

- Например, с Евгением Сидоровым, - вставила Людмила Петровна, - он ездил в Шамбалу.

- Ну-у-у, - задумалась Галина Евсеевна, - возможно. Но он, очевидно, сторонник вашего автора-протеже. А нам желательно знать и противоположное, и нейтральное мнения. Естественно с аргументами. Хорошо бы еще историка привлечь.

- Мне кажется, здесь я тоже смогу помочь, - вырвалось у меня.

- ?

- Тот же самый профессор может подсказать. Он же вращается в высших научных кругах,

- Попробуйте, - кивнула Галина Евсеевна, - только пооперативнее. А теперь давайте дальше работать.

И она вышла из кабинета. А мы с Женей отправились в курилку. Там я его спросил: «Тебе серьезно понравился этот опус?»

- А что? Действительно интересно. В рассуждениях Людмилы Петровны и Михаила Яковлевича есть свое рациональное зерно. Во-первых, мне нравится то, что люди работают творчески. Ищут! И что-то находят. Если бы это было против Бога, то разве Он допустил бы какой-либо пасквиль появиться на свет? Во-вторых, человечество далеко от совершенства. И только гении в любой области определют его развитие. Из-бран-ны-е! Вспомни, чьи имена называла Людмила Петровна. В-третьих, здесь у меня и желание собственной выгоды появилось. Я хочу писать гениальные, в крайнем случае, очень талантливые стихи. Бог пока мне

гениальности не дает. Вот и подумалось, что Он может дать ее, овладей я высшими знаниями. Тем более, гениальные стихи я хочу писать не для себя, а для людей, для русского народа! Позволю спросить тебя: где грех в такой меркантильности?

- Ну-у-у, - пытался собраться я с мыслями, - начнем с «рационального зерна». Оно было и у Александра Македонского, когда тот завоевывал мир, и у Чингисхана, и у тех же тамплиеров, и даже у Гитлера.

- У последнего? – хмыкнул Женя.

- И у него. Ты же – историк. Он повысил благосостояние немецкого народа! Тоже говорил, что для людей старается…

- Ну, ты, Саха, сравнил! Друг называется! – возмутился Женя.

- Я сравнил цели. На словах упомянутых людей. А средства? По-моему и у иезуитов был лозунг: «цель оправдывает средства». Но что они вытворяли? А? Ты же – историк! И Господь не до-пус-кал, а по-пус-кал. Это – разные понятия! Второе: об избранности. Вспомним Александра Сергеевича Пушкина с его завещанием каждому поэту «глаголом жечь сердца людей». Да? Да! Так что, мне кажется, избранность для поэта – это дар Божий. А

значит, это – не право, а обязанность. Перед Богом и людьми.

- А как же тогда «Я памятник воздвиг себе нерукотворный»?

- Памятник воздвигается Богом, потому как – нерукотворный. И воздвигается он за выполнение обязанности, преумножение данных Богом талантов. Но теперь о третьем, о меркантильности. Итак, мы выяснили, что талант – дар Божий. Не из воздуха или воды, или еще чего материального. Да? Да. От Бога! И его можно, - да и нужно! - приумножить. Чем? Как? Благодарением Бога. Молитвой, то есть разговором с Богом. Да и истинные знания дает только Бог через Священное Писание, поучения святых отцов. Но ты ведь не читаешь их. А знания получить хочешь, обойдя Бога.

- Ты опять сел на любимого конька! – хмыкнул Женя, - хотя и в твоих словах есть рациональное зерно.

- Слушай! Заканчивай свои геологические раскопки. Ты чем пишешь стихи? Разумом? Ведь в переводе на русский «рацио» – разум!

- Конечно, душой! Сердцем! Но живем-то мы в материальном мире, где главенствующую роль для возможности

существования играет именно разум. Здесь одной душой не проживешь!

- А Духом? Святым Духом, который всё на свете движет, как сказано в Священном Писании. Значит Им мы и живем, и дышим, и пишем. Согласись, настоящий поэт – не от мира сего, если, конечно, свой талант от Бога он приумножает во славу Божию, а не в обход Его.

- Ладно, - вздохнул Женя, - хватит философствовать, пошли работать, а то опять скажут, что мы слишком долго курим.

В нашем кабинете Людмила Петровна… плакала. Причитала: «Стараешься-стараешься! Из командировок не вылезаешь! Ночами работаешь! Без обеда, ужина! А тут – экс-пер-ти-за! Хороша благодарность: не-до-ве-ри-е!»

Девушки-редакторши успокаивали ее. Она же, вскинув на нас взгляд, горько проговорила: «Ну, что, сотруднички! Ищите, ищите теперь псевдоученых оппонетов, чтобы затоптали статью! Тут для людей, для всего народа стараешься. Чтобы им лучше жилось! А свои же сотрудники…»

И она зарыдала еще сильнее. Женя подошел к ней. Погладил по плечу. Попросил: «Успокойтесь, пожалуйста. Мы

как раз своих пробуем найти. Чтобы других, - противников, - не нашлось!»

- Правда? – с надеждой опять подняла на нас глаза Людмила Петровна. А я подумал, что если книга попадет на рецензию Сергею Емелиановичу, то от нее пух и перья полетят. Про статью не знаю: не читал пока. И тут мне стало жалко Людмилу Петровну. А вдруг она не ведает, что творит?! Что ж мне-то делать теперь? Мы с Женей хотели, было, сесть и вместе прочитать статью, но Людмила Петровна воспротивилась: «Нет-нет. Объективности ради и для того, чтобы вы не высказали экспертам собственное мнение, я прошу до редакционно-методического совета не прикасаться к рукописи. Александр, звоните своему профессору. Статью ему повезет Кира.»

Я подчинился. Но домашний телефон Сергея Емелиановича ответил длинными гудками.

- Очевидно, профессор – на работе, - пожал я плечами и повесил трубку.

- Тогда оба садитесь за плановые статьи, - совсем успокоившись, распорядилась Людмила Петровна. И рабочий день закончилася безмолвной редактурой. Так же молча, - лишь грустно попрощавшись, - информационно-

издательский отдел разошелся по домам. А за ужином отец спросил меня: «Ты чего такой мрачный?»

Я и рассказал о сложившей обстановке. Объяснил и свое положение. Отец почесал пролысину выше лба.

- Да-а-а, - протянул он, - до чего докатились! О нечисти всякой несуществующей статейки кропают. Но ведь если ты пригласишь своего профессора, который раздраконит опус этого, с позволения сказать, ученого, тебе там не работать. А с другой стороны…

- Вот я и говорю, - вмешалась мать, - не влезай ты в это дело! Мало в армии дров наломал?! Ты вот что: скажи, что профессор отказался из-за занятости или уехал за границу на какой-то международный симпозиум. Надолго. А сам даже не звони ему! Не звони! Слышишь? Тем более, что руководство твое эксперта из КГБ пригласить хочет. Хоть раз в жизни послушай мать!

Я только и ответил ей: «Угу…»

После ужина мы с отцом перекуривали на лоджии. И тут он вдруг сказал: «Мать не дала мне закончить мою мысль. Ты хочешь узнать ее?»

Я кивнул. Тогда отец продолжил: «В вопросах всякого колдовства я, как ты понимаешь, не силен. Но слышал, что любые колдуны вредят людям. И если ты верен Богу, - а народ наш в подавляющем большинстве был верен Ему всегда, - то, не выполнив поручения и промолчав, станешь предателем. Это – как в Армии. Видишь, что человек враг страны, - предатель или шпион, - и не выводишь его на чистую правду, перед товарищами, командирами и подчиненными, считай и себя предателем или шпионом. Ты же не бежишь докладывать попам, как в особый отдел… Как на тебя бегали докладывать. Да и что они могут сделать?! Ты обращаешься к компетентному человеку, специалисту. Вот пусть он и думает. Пусть он при всех и разоблачает. А работу и другую найти можно. И начинай подыскивать ее сейчас.»

Отец ушел к себе. А я в своей комнате вдруг увидел голову старика-корня.

- Ну, что? – заколыхалась она. И от волнения даже позеленела: «Не послушал ты меня. Теперь та-а-акую кашу расхлебывать придется! И это – наказание тебе за то, что согласился работать в Пасху на даче. Пусть даже не поехал. Но намерение-то было? То-то. А теперь, почему ты не последователен?

Тебя не трогают слезы Людмилки? Тебе не жалко ее? Ведь вот ближних, то бишь родителей, пожалел? Пожалел. А Людмилка разве не ближняя? Так и ей окажи милосердие. Не звони ты этому Сережке. Он, старый пенек, зарвался. Зарвался, скажу я тебе, да так, что скоро самому психиатр потребуется. Да-да! Поверь моему опыту. Ну, разгромит он книжку и статью. Ну, и кому от этого польза? И какая? Ближней-то твоей, - Людмилке, - один вред! Пожалей, полюби ее. А бумага? Она все стерпит. К тому же, статейку эту никто и читать не будет. Так что и писанина Михрюткина никому вреда не принесет. А? И что там такого понаписано? Бабушкины сказки! Сам, поди, в отрочестве до дыр зачитывал «Мифы Древней Греции», а потом «Мифы древних славян». И что? Повредили они тебе? Послушай хоть на этот раз меня. Кстати скоро тебе и Валентинка дозвонится. Ты вот лучше приготовься к разговору с ней. И помни, что от твоего решения насчет статейки и книжки мно-о-огое будет зависеть в будущей семейной жизни. Да-да!»

И действительно, в прихожей раздался частый, - междугородний, - телефонный звонок. Я кинулся туда. Но мать уже успела поднять трубку. Ответила: «Воистину

Воскрес, Валюша… Дома-дома! А где ж ему быть? Уработался сегодня. Серый весь приехал. Да, какие-то проблемы у него там, на работе. Даже и не знаю. Зову-зову. Да, вот он и сам.

И она протянула мне аппарат и трубку. С ними я вернулся в свою комнату. И услышал голос Валентины: «Ты что, другую женщину завел себе в Москве? Почему не звонишь?»

Какое-то раздражение напало на меня. А может быть, такие претензии жены просто наложились на мое состояние от всего сегодняшнего дня? И тем не менее посчитал вправе ответить: «Я-то как раз звонил. Вот, где, интересно, ты была в субботу и на Пасху?»

- Как это где?! Я же много раз говорила, что на такие праздники езжу к маме в Могилев. Ты сам-то когда к семье приехать собираешься?

- Даже не знаю. Если на неделе оформят документы в бюро по обмену, то в субботу буду переезжать. А ты бы сама приехала. Помогла бы.

- Мебель, что ли, таскать?

- Валя, почему ты так грубо разговариваешь? Раньше такого не было.

- Раньше я не чувствовала, что мужа у меня нет.

- Но ты же сама просила сначала оформить обмен, переехать. А мебель таскать не надо. Там все есть. Обменщик оставляет и шкаф, и стол, и диван-кровать. Просто я подумал, что ты поможешь личные вещи собрать.

- Это у тебя-то? Личные вещи?.. Ой, прости, дорогой! Что-то я действительно не туда разошлась. Раздражаюсь. Хотя ты ни в чем не виноват.

- В чем?

- У меня с обменом заминка. Моя-то квартира – кооперативная. А переезжать надо в государственную. В обменном бюро этот нюанс прошляпили. Теперь еще надо несколько бумаг оформить. А наш председатель жилищного кооператива в командировку уехал. На месяц. А подпись кроме него никто поставить не может. Вот, я и расстроилась. Прости-прости-прости! Маришка и мама тебе передают *Христос Воскресе!*

- *Воистину Воскресе*.

- А что у тебя за проблемы на работе?

- Долго рассказывать. Да и не телефонный разговор это.

- Ну, ладно. Не будем деньги транжирить. Целую-целую-целую! Всё. Пока.

И в трубке раздались короткие гудки. Я вышел на лоджию. Закурил. Несмотря на эти «прости-прости-прости» и «целую-целую-целую», - что-то новое в интонации! – на душе оставалась лежать та же тяжесть.

- И будет лежать, - услышал я сбоку, - потому как молчанием предается Бог. Враги Господни готовят новое похищение овец словесного стада Христова. А ты будешь молчать и ничего не делать?

Я повернул голову, но там, откуда звучал голос мелкими искорками рассеивался серебристо-голубой свет. Я перекрестился. И сердце вдруг подсказало, что говорил мой недавний гость, князь Александр в красном плаще. Я тихо вышел из комнаты. По полосе света в темной прихожей понял, что родители и Алина – все еще на кухне. Тогда я унес телефон на лоджию и набрал номер Сергея Емелиановича и Елены Васильевны.

- Ондрейка, – вдруг, наморщив лоб, обернулся к Курбскому Государь, - за своими молодцами пошли кого-нибудь. Видишь сколько ворогов собралось вокруг?! Словно вороны перед битвой. Только какой они

поживы ожидают? И как определить, кто из нашего окружения под вороньими перьями хоронится? Посему спускайся-ка сам в пыточную. Проследи лично, чтобы дьяки записали всех болярских и княжатских сынков, кои иудами стали и служат теперь ляхам – неляхам, литве – не литве, папе – не папе.

- Ордену, - подсказал Адашев.

- Ливонскому? Тевтонскому? Еще какому? – задумчиво глянул на него Иоанн Васильевич. Но продолжил: «Благодарствую за подсказку. Вот тебе ее и разрешать сию загадку. Посему, ступай-ка в Посольский Приказ и узнай, какие «ор-р-рде-э-эна» нынче бытуют. Особенно – в порубежье. Самолично все перепиши.»

- Отец Сильвестр, - вдруг подал голос митрополит Макарий, - как видишь, дело - нешуточное. У отца Льва есть опись этих самых орденов. Только он составлял ее лет пять назад. Но и она может пригодиться…

- Да-да, батюшка, - поддержал Государь, - окажи милость, сходи. Передай благословение владыки подготовить мне сей список.

- Слушаю, Государь, - выпямился Адашев.

- Все исполню! – поддакнул поп Сеотвестр

- Призываю на вас Божие благословение, чада, - обеими руками перекрестил их митрополит. И они ушли. Каждый - в свою сторону. Мы с Митькой переглянулись. А я подумал, что не случайно отправил своих ближних Иоанн Васильевич. И владыко Макарий понял его задумку. Государь же мотнул головой, как бы приглашая нас следовать за ним. И так мы, вчетвером поднялись по Царскому Крыльцу, прошли по переходам в дальний покой Дворца. Рынды стоявшие у двери, распахнули ее. Но за ней, в полусажени, оказалась еще одна. Ее открыл сам Иоанн Васильевич. Подождал, пока мы войдем, и задвинул засов на первой. Прикрыл и вторую. Перед нами вытянулся длинный покой. Мы прошли в самый его дальний конец. Там Иоанн Васильевич поклонился в пояс митрополиту: «Спаси тя Господи, владыко. Уразумел ты мое намерение. Сам отослал попа Сильвестра. Уж очень в последнее время разгосподствовался он. Льготы всякие для сыночка-купчишки выпрашивает. А тот, знай себе, мошну набивает. Но торговать ездит на за-а-апад! Курбский больно уж сердобольным к

ворогам стал. Все про мою жестокость к ним толкует. Особливо – за глаза. Донесли мне. Адашев? Он – с ними! Розыск по ним начинать не хочется. Пока. Посему, думаю, нам лучше вчетвером потолковать. Благослови же, помолившись, начать разговор о деле державном.

- Бог тебя благословит, Иоаннушко! – обеими руками перекрестил нас митрополит, - А мне быть ли?

- А тебе, владыко, уж тем паче следует ведать сие. Потому как, кто ж кроме тебя, пестуна моего духовного и наставника с отроческих лет, добрый да безкорыстный совет даст, кто молиться за сих верных холопов моих, князей Александра и Димитрия, сугубо станет? Теперь же – о деле! - повернулся к нам с Митькой Государь. - Идти вам, князья, на дело многотрудное. Добывать вам для меня стеклянный шар тот колдовской. А еще – запись, из которой узнали бы мы, как големы те лепятся. А еще хорошо бы старика, «гончара» этих големов, прости Господи, привезти. Да-да! Того, коего в Тисовье, проморгав, оставили. Но почему «Тисовье»? В Берестье другая река протекает, не Тиса. Тут, возможно, еще одна тайна кроется. Ежели так, то ее тоже надобно выведать. А хочу я добыть все это не для

того, чтобы самому, упаси Бог, чародействовать, а дабы узнать, как со злом сим ратиться. Уж ежели галльский царь, называвший меня в грамотах братом, ордену прислуживает, что про других властителей толковать?! Все они, стало быть, под рукой ордена, на нашу Русь Святую пасти смрадные свои оскалили. Посему оружие врага нам ведать надобно. Так ли думаю, владыко?

- Так, чадушко мое, Иоаннушко! – кивнул митрополит.

- Дозволь спросить, Государь? – склонил голову Митька.

- Говори.

- А вот… На все ведь – воля Божия. Коли что у нас по грехам нашим не сладится?

- Вороги наши – только вороги Христа! – вдруг ответил за Царя митрополит, - Не мы – против них. Они – против Спасителя! Не мы воюем. Они – на веру нашу ополчились. А значит, - на Христа. Посему подлежат геене огненной.

Он взглянул на Иоанна Васильевича. Кивнул ему. И тот, усмехнувшись, продолжил: «Там, где не сладится, устрой геену. Пусть те из ворогов, кто попадет в нее, - по воле Божией, - помучившись плотью

здесь, на земле, меньшим мукам подверглись бы душеньками своими несчастными на Суде Божием. Нам бы сейчас не западом заниматься, а с Казанью, да с Астраханью дело сладить. Но, ежели не сдержим тайный натиск орденов всяких с запада, не пресечем измены своих, поддавшихся этому натиску, не будет победы на востоке.

- Да, - поддержал митрополит, - широко крамола пустила ядовитые поросли свои у нас. И на востоке – тоже. Но корни ее – даже не на западе. В Тибете! Здесь поросли эти мы выжигать станем. А вы – там верхние корешки покорчуйте да пожгите. Только делать это надо без ненависти. С любовью. С любовью ко Христу. Молитесь дорогой!

- Дозволь, Государь? – опять склонил голову Митька. И, получив разрешение, продолжил: «Дай нам с собой Ивашку Дубка.»

- И-и-и! Куда ты загнул! А кто мне, – хмыкнул Иоанн Васильевич, - под Казань казаков приведет?

- Так ведь пришли с ним еще трое верных людишек. Ровня ему. Они и приведут. А там, глядишь, и мы обернемся к походу на Казань-то. Государь! Дубок в таком деле, на которое мы идем, - самый подходящий соратник.

- Будь по-твоему, - вздохнув, покачал головой Иоанн Васильевич, - пойдете без обоза. На рассвете четвертого дня. Тайно. Людишек берите по силам. Но - немного. Ежели возьмут вас вороги, выручить не смогу. Не обезсудьте. А для верных людишек по дороге словечко тайное скажу. Перед самым отъездом. И деньги выдам тогда же. Если еще понадобятся, у моих соглядатаев там же и возьмете. Всё. Ступайте с Богом.

Митрополит Макарий благословил нас. Государь сам отворил перед нами и внутреннюю, и внешнюю двери. И мы, пройдя теми же переходами, оказались на воздухе.

- Перебирайся-ка ты с Дубком и Аленой ко мне! - положил я руку на плечо Митьке, - Все одно, Дубок дочке за Казань без него возвращаться не позволит. А у меня она под присмотром матушки моей пока поживет. Да и сбираться нам будет половчее: всем миром. Сразу.

- У тебя ж хоромы – невелики! Моих молодцев – десяток. Столько еще с Дубком пойдет казачков, - крутанул головой княжич.

- В тесноте, да не в обиде.

- А уж не положил ли ты глаз на Алену?

- Полно тебе! Мне перенедужить еще Аллой надобно. А что это за Тибет такой?

- Долго рассказывать. Да и не много я ведаю про него. Вот, знакомец мой один. Из нагайцев крещеных. А холоп-то какой верный Государев! Ну, да не велено пока толковать о нем.

- Не велено? Стало быть не будем. Жду пораньше завтра.

- Добре!

И он ускакал в другой конец Китай-города. А я отправился к себе. За вечерней трапезой объявил матушке о том, что через три дня уезжаю по Государеву делу. Она хоть и поджала губы, но ничего спрашивать не стала. Вот ведь! Приучил батюшка, - Царствие ему Небесное.

Утром приехали Митька, Дубок с Аленой, их людишки. Ивашка обжег меня предупреждающим взглядом. Алена сразу же ушла в светелку матушки. Мы же, - я, Митька, Дубок, мой Тишка и еще несколько ратников и казаков, сели в гриднице за стол. Слово взял княжич Димитрий: «Ежели Бог попустит, то на верную смертушку идем, братия.»

И он коротко поведал собравшимся то, о чем толковал нам Государь и на что благословил митрополит Макарий. Закончил же Митька словами: «Я иду своей волей. Князь Алексашка – тоже. Вас же неволить не

желаю. Кто не хочет идти, может сей же час отказаться и убраться восвояси.»

Какое-то время все молчали. Наконец, Дубок крякнул. Встал. Постоял, глядя в столешницу. Поднял глаза. Сказал: «Любо-дорого за Веру Православную, Царя Белого и Державу Русьскую да за други своя живот и душу положить. Вот, и пообитал я в стольном граде Москове. Потолковал с Са-а-амим Ца-а-арем! И понял, что беды мои были от крамольника-болярина. Бог ему Судия! А вот, коли бы все служили не своему пузу, не своей мошне, то неодолимой бы стала Русь Святая. За это и погибель не страшна…

- И своя корысть есть! Коли погибнешь, – хмыкнул мой Тишка, - так сразу в райские обители Ангелы Божии унесут! Без мытарств! Без Суда Божиего!

Все собравшиеся засмеялись. А казаки дружно гаркнули: «Лю-у-у-бо!»

- Тогда потолкуйте с остальными людишками. Дабы знали, на что идут. Вдруг кто и не пожелает? - заключил Митька.

…В этот день мы отсыпались, отъедались, попарились в баньке. Я старался все время быть на глазах у Дубка, дабы не искушать его. На второй день мы отправились в собор. Исповедались.

Причастились Святых Таин. А на обратном пути встретили несколько телег, на которых, закованные в железа сидели явно боляре да княжата. Их сопровождали конные стрельцы с обнаженными саблями в руках. Миька кивнул на сидельцев: «Заговорщики. Иуды. Видно, тот болярин на дыбе признаваться начал.»

- Собакам – смерть собачья, - Дубок, должно быть, хотел брезгливо сплюнуть, но сглотнул слюну, вспомнив про Причастие.

- Но ведь и оговорить кого-то могли?! - пожал я плечами, вспомнив в свою очередь, как оклеветали болярина Иоанна из Посольского Приказа.

- Могли, - отозвался княжич Димитрий, - только для оклеветанных исповедь есть. Митрополит помолится и Господь вразумит Государя. К тому же, и доносчик под кнутом может сознаться в навете.

…Третий день ушел на сборы. По бокам шести лошадей приторочили большие, почти в человеческий рост корзины для снеди. Другим на спины уложили теплую рухлядь, мешки с кольчугами, доспехом, дополнительным оружием, арканами, другим снаряжением. Выехать решили в темноте, не зажигая света, чтобы не привлекать внимания соседей. По этой же причине с

моими с домашними попращались еще с вечера. Тихо посидели. Выпили ромейского, меда. И задолго до рассвета на четвертый день выехали со двора. А при выезде из Белого города, сразу за заставой, дорогу нам преградил конный ратник.

- Эт-то что за дела такие?! – взялся, было, за саблю Митька. Но незнакомец отстегнул бармицу и мы узнали… Государя. Он, улыбнувшись, мотнул головой в сторону ворот низеньких хором за глухим, высоким забором, и сам въехал туда. Мы последовали ему. Там, не слезая с коня, мне, Митьке и Дубку он шепнул заветные слова. Каждому вручил по увесистому мешочку золота. Тихонько свистнул, и из-за хором к нам выехал всадник. Я пригляделся к нему и узнал болярина Иоанна из Посольского Приказа! Того самого, с которым встречал злополучное для меня литовское посольство, за которого молился в пыточной, когда он, оклеветанный, висел на дыбе. Государь кивнул на него: «Ивашка хорошо разумеет и толкует по-ляхски, по-литовски, по-немецки. Пойдет с вами, чтобы вы впросак не попали. Вдруг нарветесь на кого в иноземщине, и надо будет отвечать на вопросы. Но сами ушами не хлопайте! Постигайте чужой говор. Не ленитесь. Митька! Ты верных людишек

знаешь. И ты, Ивашка, - тоже. Ступайте с Богом!

Государь по-владычнему благословил нас. И мы выехали из Москвы. Где-то под Одинцово ко мне подскакал Тишка. Шепнул: «То ли лукавый уже начинает водить меня, то ли еще что. Но сдается мне, что в одном коробе с рухлядью кто-то скребется.»

- Окстись! – хмыкнул я. Но, поразмыслив, жестом остановил наш отряд и громко объявил: «Холоп мой, Тишка, только что слышал шорох в одном из коробов. Береженого Бог бережет. Посему, давайте-ка глянем.

- Мышка на сале заснула, - хохотнул кто-то из казаков.

- Не-е-ет! Тут дело – нешуточное! - вынул из-под шубы короткий самострел Митька и, подскакав к груженой лошадке, откинул крышку короба. А из него показалась голова… Алены.

- До-о-оча! – чуть не свалился с седла Дубок.

- Озябла я здесь. Руки-ноги затекли, - как ни в чем не бывало выпрыгнула она из короба и стала разминать конечности.

- Да я тебя сейчас при всех выпорю! – взмахнул плеткой отец.

- А хоть и выпорешь! Одних вас не пущу. С вами поеду. Мое слово твердо! А вдруг такая же кикимора, как в замке, когда князя Александра свобождали, встретится на пути. К ней-то бабий подход будет нужен. Или подзабыли, как я ее через спину кинула?

- Ну-у-у, девка! – хохотнул мой Тишка.

- Вот те и мышка! – натянул на глаза шапку шутнику-казаку его сортаник. А Дубок только помотал по-лошадиному головой. Вздохнул. И, развернув коня, первым тронулся с места. Заставы, большие поместья, села, посады мы решили объезжать стороной. Поэтому ночевали в лесу, в балках и оврагах. В ямах разжигали костры. Сторожи выставляли подальше от очередного стана. Можайск тоже объехали стороной. Но скоро поняли, что снеди не хватает. Да лошадок не меняли. Те притомились. Овес заканчивался. Тогда Дубок предложил: «До Царева Займища дотянем. На полях – скирды сена. Какой-никакой – корм. Сами поохотимся. Без хлеба? Ну, так что ж. Казаки часто его не видят, не вкушают…»

- А Займище? – перебил его Митька.

- Объедем. Почему ж не объехать?! Но.., - Дубок хитро улыбнулся, - вер-нем-ся! Будто мы на Москву идем. А? Сменим коней,

пополним припасы, попаримся в баньке. И уйдем. Только опять лесами возвращаться придется. И еще раз обойти Царево Займище. Другого выхода не вижу.

Я взглянул на Митьку, на боляриа Иоанна. И понял, что они согласны с Дубком. Тишка подал голос: «А вот ежели тамошний кормленщик и сотник заставы спросят, мол, почему не видели, как мы шли на Вязьму, коли теперь возвращаемся на Москву? А?»

Болярин Иоанн ответил: «Предоставьте ответить мне. Я знаю, что сказать. А кормленщик уж и с сотником потолкует.»

- Тайное словечко? – шепнул я ему. Болярин Иоанн только махнул рукой. На этом наш совет и завершился. А утром я проснулся от того, что Митька кому-то громко выговаривал: «У тебя что, головы нет? Или вместо нее - чурбан осиновый? Ты понимаешь, на что мы идем? Таимся! Места-то здесь – глухие. Разбойные! А ты? Знаешь ли, что в ратном походе за такие вещи и повесить могут?»

- Да не брани ты его так. Вольный казак. Не привык еще. Обвыкнется! - забасил голос Дубка. Я открыл глаза и увидел шагах в пяти казака Евсейку, - могучего, головы на две выше Митьки и раза в два шире его в плечах. Именно его

отчитывал Митька. А Дубок защищал. Я вскочил. Подошел. И увидел между ними тушу небольшой оленихи.

- Вот, полюбуйся, – горячился Митька, - на добычу! Пошел я проверять сторожу. Взял одного своего молодца. Все на местах стояли. Бодрствовали. А этого – не оказалось. Ну, думаю, не дай Бог, сняли, да в «языки» утащили! Огляделся. Следов, вроде нет. Перекрестился. И тут слышу: ветки хрустят. Да так, словно дедушко, - так у нас медведя называют по старинке, - сквозь чащу ломится к нам. Мой-то молодец - топор – наиготовку. Я – за самострел. Пригляделся. А это наш сторожник с оленихой на плечах сучья ломает…

- Дык, тяжелая ж.., - опустив голову вниз, набычившись, оправдывался звавшийся Евсейкой, - да и отошел-то я шагов на двадцать. Она же сама в меня носом ткнулась. Но бить было неудобно. Деревья размаху мешали.

- Какому размаху? – не понял я.

- Руки, - удивился моему непониманию Евсейка, - я ж ее кулаком хотел, чтобы ратное оружие не марать. Думал, братию свежатинкой побаловать. Пусть и без хлеба.

- Ну, что, княжич Димитрий, простим ему на первый раз? Не о себе ж думал. О

братии! – пряча улыбку в бороду и усы, проговорил я.

- Да если такое с ним повториться, - встрял Дубок, - я ж его при всех выпороть велю! И сам первых десять плетей дам!

- Если такое повториться, - вздохнул Митька, - я велю повесить его! Мы идем не в «городки» играть с соседями, и не в «бабки!» Хорошо, что пока – на своей земле. А на ворожьей сами могли бы поживой стать. Только не для зверья!

Он резко развернулся и шагнул к играющим искорками углям своего костра. Дубок потряс сложеной втрое плеткой перед носом Евсейки и повелел: «Освежуй. Раздели на всех. Успеть бы сварить до рассвета.»

И тоже зашагал к своему костру. А я подсел на бревно к Митьке. Тот ломал тоненькие ветки и бросал их на угли. Видно было, что он и сам не рад своей горячности. Поэтому я решил потолковать о другом. Спросил: «А не может ли тот урод в подряснике, - или как его там, - увидеть нас в своем прозрачном шаре?»

- Как же он это сделает, ежели не ведает, что мы по его душу идем?

- Что-то не разумею? Растолкуй.

- Насколько я знаю, в шаре можно увидеть только того человека, про которого

ведаешь. Вот, к примеру, Алла знала, что ты бросишься в погоню за ней? Знала! Вот и глядела на тебя через колдовской шар. К тому же, чтобы увидеть нужного человека, надо иметь какую-никакую его вещицу. Шар кладется на нее. Читаются заклинания. И все-то ты видишь!

- Погоди-погоди! А как же тогда тот старик на берегу реки показывал мне мою бывшую покойную жену-еретичку? Да и шар висел в воздухе.

И я рассказал Митьке случай, когда попал в полон после того, как крымцы сожгли вотчинку.

- Возможно, на пальце старика было колечко твоей женки. А вот про висение в воздухе ничего не ведаю.

- Откуда ж ты и это-то знаешь?

- А я как раз пробрался в замок к твоей бывшей Алле, когда она ворожила с шаром. Я все подсмотрел. Слава Богу, она тогда одна была.

- Тогда ты и попался?

- Не-е-ет… Попался я в другой раз. Но тогда, увидев ворожбу, решил изничтожить этот гадюшник. Ждал, когда их, как можно больше соберется. Дождался! Не успел и глазом моргнуть, как схватили. Потом

показали мне, как видели меня сквозь стену с самого начала. Смеялись.

- В шаре видели?

- Не-е-ет. В кипящем котле.

- Свят-свят-свят! С нами Крестная сила! – предернулся я.

- Ладно… Поговорить мы еще, Бог даст, успеем. Надо вздремнуть самую малость. Прости. Глаза слипаются.

И он, завернувшись в шубу, улегся на лапник, поближе к углям. А я так и не смог заснуть. Да и сам Митька, похоже, тоже не спал. Через некоторое время он поднялся. Сел на лапник. Потряс головой. Вздохнул: «Разбередил я сердце горькими воспоминаниями.»

- Прости, это я виноват.

- Не-е-ет! Просто воспоминаия рождают страсть. А в нашем деле она недопустима. Голову теряешь… О! Алена поднялась. К ручью пошла. Умыться, должно быть. Не надо бы ей одной ходить. Может быть, ты проводишь?

- Ну, уж нет. Ее батюшка обещал меня на двух березках разорвать, ежели что заметит с моей стороны.

- А ты что? Боишься?

- Как сказать? Не хочу вводить ни ее, ни его в искушение.

Митька рывком поднялся. Подошел к храпевшему Дубку. Ткнул его в бок. Повторил то же, что и мне сказал: мол, не надо по лесу одной Алене ходить. Ивашка крякнул. Встал. Окликнул дочку. И пошел ей вслед. На следующем привале я решил больше ни о чем не спрашивать Митьку, дабы не бередить раны воспоминаний.

Как и решили мы обошли Царево Займище. Только потратили на это целый день: местные мужики далеко растянулись вверх и вниз по течению обеих рек, занимаясь своим рыбным промыслом. Они ставили так называемые «косынки». А нам совсем было ни к чему, чтобы они видели нас.

Уже знакомый кормленщик, увидев болярина Иоанна, бросился к нему в объятия: «Как же так?! Почему же не навестил, когда шел из Москвы?»

- Пришлось идти другой дорогой. И знаешь ли, какой крюк сделали?! У-у-у!

- Погоди-погоди, – вгляделся в меня и в Митьку кормленщик, - как-то вы уж очень шустро!

Он помотал головой, словно стряхивая с нее что-то. Но и тут помог болярин Иоанн: «Я их встретил по дороге с повелением Государя вернуться. Они свою поклажу

передали другому отряду, и – назад. Вот, снова возвращаемся.»

- А-а-а! Ну тогда ладно. В баньку?

- Да нет. Мы уж до Вязьмы дойдем. Торопимся. Государево дело. Нам бы лошадей сменить. Эти – подустали.

Кормленщик распорядился. И, наскоро потрапезничав, мы отправились в дальнейший путь.

- С этими обходами дня три потеряли, - ворчал Дубок. Алена наоборот радовалась чему-то. Часто улыбалась. Готова была услужить любому ратнику. Но Дубок, глядя на нее, только хмурился. Решили идти и ночью. Без привала. И к вечеру следующего дня были уже в Вязьме. Тут же заперлись в дальнем покое с местным кормленщиком. И коротко поведали ему о нашем походе. Конечно, только то, что можно было ему знать. Без упоминаний големов, шаров, другого колдовства. Тут уж говорил один болярин Иоанн. Кормленщик кивал. Прикрывал глаза, что-то подсчитывая в уме. Наконец, сказал: «Что ж, дорогу вы теперь знаете. Наши людишки, по слухам, все живы и здоровы. Так что, при необходимости, подсобят. Снеди, овса я вам на первое время дам.»

- Нужны пенензи, и всякая деньга иноземная. У тебя есть?

- Есть немного. Но это – казенное!

- А нам твоего кровного не надобно. Расписку я тебе дам.

- Добре. Когда выходите?

- Ты скажи сперва, появился в последнее время кто-нибудь в Вязьме новенький? Пришлый? – спросил теперь Митька.

- Да есть тут один сыч. Старый. Страшный, что твой нечистый. Хотя - угодливый. Каждому готов ноги мыть. Купил истбушку-развалюшку.

- А на что живет?

- То-о-оргует! А еще, людишки говорят, лечит от разной хвори. Они, болезные и несут ему: кто – яйца, кто – сметану, кто - окорок, кто – пироги. Вот только, как я слышал, денег он не берет. Да и яства не берет тоже. В свои руки… Велит в сенях оставлять. На лавке.

- А как бы нам нынче на него поглядеть? Только так, чтобы он нас не видел…

- Да на что это страшилище вам?

«Страшилище?» - вдруг вспыхнуло у меня в голове. И я взглянул на Тишку. Тот, похоже, понял мой взгляд. Кивнул: «Да-да,

болярин. Прости меня, холопа, но уж очень нам слово твое понравилось: «страшилище». Знавали мы с моим князем такого. Тоже сказали тогда: страшилище.»

- Ну, что ж… Для мила дружка – и сережка из ушка.

Кормленщик задумался на миг. Хитро улыбнулся. Топнул ногой и крикнул: «Эй! Кто там есть?»

Тут же дверь в покой приоткрылась, и в проем всунулась голова отрока. Комленщик спросил: «Кто у нас из дворовых недужит?»

- Батюшка-болярин! У Марфутки зубы ломит. Третий день ходит и воет. Головой, что корова твоя перед отелом мотает. Вся рожа перекошенная, перевязанная.

- Зови ее сюда. А сам, - пчелкой, - приготовь лукошко яиц. Да - покрупнее. Жбан медовухи. Заверни в рогожку похудее. И заруби себе на носу: не рожа, а лик! Образ Божий! Оболтус!

- Сей же час исполню, - кивнул отрок и исчез. В горнице наступила тишина. Но скоро в дверь ввалилась толстенная баба с перекошенным и перевязанным наискосок лицом. Бухнулась в ноги кормленщику: «Прости ты меня, Христа ради, батюшка!

Так прихватило! Так прихватило! На стенку лезу. Бревна ноготочками от боли скребу!»

- Потому и позвал, родимая. Нешто я своих холопов в обиду недугу какому дам? А? Иди. Приоденься. Пойдешь с новыми моими холопами к знахарю пришлому.

- Да чем же я, родимый батюшка-болярин, расплачиваться с ним буду?

- А ты не кручинь сердца-то. Сказал же: в обиду хвори не дам. Сейчас велю гостинец знахарю собрать. Ты ж у меня - самая лучшая портомойка! А, поди, третий день послушание не творишь! А?

- Истинная правда, батюшка! Да рада бы! Но сказываю же: на стенку от боли лезу!

- Иди-иди! Приберись!

Когда та вышла, кормленщик предложил: «Коли хотите поглядеть на анчутку этого, переоблачайтесь-ка холопами. Кто пойдет. Но больше трех не идите. Чтобы не заподозрил пришлец чего недоброго.»

Вдруг, в это самое время в горницу ввалился белый, словно снег, недавний отрок. Едва двигая языком сообщил, что Марфутка болезная, едва вышла из горницы, повалилась, изо рта – кровь. Да и дух – вон!

- Что-а-а?! – вскочил кормленщик, обрушив на столешницу пухлые кулаки. И тут в горницу влетел еще один холоп.

Бухнулся в ноги. Заголосил: «Батюшка-болярин! По-а-ажар! Посад горит. Уже третья истба занялась!

Кормленщик побледнел теперь сам. Но вдруг спокойным голосом спросил: «Где горит?»

- Дык, батюшка! Со знахаревой истбушки все зачалось…

- Со знахаревой? – округлил глаза кормленщик. Крикнул: «Коня! И еще -три! Для князей!»

Пока я, Митька, Дубок и кормленщик доскакали до потушенного всем миром пожара, - слава Богу: не лето знойное, - от истбушки пришлого знахаря остались одни угольки. Бабы плакали, промакивая слезы уголками платков. Кто-то из них держали иконы. Мужики с рук стирали гарь снегом. Сами выглядели чернее головешек.

- Знахарь жив? – въехал в расступившуюся толпу кормленщик.

- Среди головешек косточек его не нашли, - ответил кто-то.

- Оглядитесь! Нет ли его среди вас! – потребовал хозяин города.

Все закрутили головами по сторонам и оглядываясь… Раздались голоса: «Нетути…»

- Не видать чего-то…

- Кабы был…

- Нет как нет, батюшка-болярин…

А Митька, наклонившись ко мне, прошептал: «Вот, он нас и выследил!»

Мурашки пробежали у меня по спине. Мы медленно ехали к хоромам кормленщика. Я придержал коня. Подождал, пока Дубок поравняется со мной. Тихо сказал ему: «Надобно Алену здесь оставлять. Дело нешуточное предстоит. Главный наш ворог пожаром этим уже показал, что ведает про нас. Похоже, что он – и есть тот, кто големов лепит. По описанию.»

- Поди, заставь свою Алену! Сам видел, как в коробе оказалась! Всех провела, словно мальцов!

- Погоди. А сейчас она почивает?

- Ну, да. Кормленщик ей отдельный покой отвел в женской половине.

- Тогда есть выход. Выезжаем сей же час. А?

- Да я что? Я ж не супротив! Лишь бы жива осталась. А кормленщик не обидит ее?

- Не-е-ет! Сам же видел, как он помогает! И не в первый раз. Государев холоп.

- Ну-ну…

- Так что?

- Я ж сказал уже!

- Княжич Димитрий, – окликнул я Митьку, - придержи коня.

И подъехав к нему почти вплотную, поведал свою думку. Тот хмыкнул. И вдруг серьезно тихо, только для меня одного, прошептал: «Вот теперь вижу: действительно Алена запала в твою душу. Выходим в ночь.»

- Да полно тебе! – отмахнулся я, но почувствовал, как жаром вспыхнуло лицо. Подумал: «А что ж тогда было с Аллой? Плотская страсть? Колдовство? А может быть и то, и другое? Или это – моя бездонная греховность?! Или и это – тоже к двум первым?!»

…Мы, не оглядываясь, гнали коней к рубежу. Не доезжая до него верст пяти, съехали с дороги, вошли в лес. Снег здесь был еще глубоким. Поэтому пошли медленнее. Митька двигался, словно в родном поместье прогуливался. Изредка его поправлял ратник из молодцов-рукопашников, указывая то на одну, то на другую примету: «Не-е-е, княжич! От той сосны надо бы еще шагов сто пройти… Ага! Вот и обрывчик в овражек с родничком. Он самый! Здесь в тот раз привал делали. Помнишь ли?»

- Тогда и сейчас здесь дух переведем, - подняв руку, объявил Митька, - но недолго. До рассвета мы должны уйти подальше от рубежа. Десятским проверить людишек: все ли на месте.

- Князь, - шепнул подойдя ко мне Тишка, - среди нас один - лишний. Я пересчитал всех, когда из Вязьмы выехали. А сейчас…

- Кто? – шепотом спросил я.

- А во-он-а, ратник. Худенький такой, словно отрок.

- Эт-т-того нам только не хватало! – сплюнул я и, вынув на всякий случай из ножен кинжал, подошел к указанному Тишкой. Лицо ратника было прикрыто бармицей. Я остановился перед ним шагах в двух, спросил: «А ты, молодец, чей же будешь? Что-то я тебя не припомню.»

В это время позади ратника встали двое наших, чтобы вовремя схватить его за руки. Но тот вдруг по-бабьи звонко ответил: «Чей-чей? Не чей, а чья! Ваша!»

Ратник мгновенно расстегнул бармицу, скинул шелом, и я увидел перед собой… Алену. Дубок и Митька, подскочившие на голос стояли с открытыми ртами. Алена же, надув губы и сощурив глаза, продолжала:

«Бросить меня решили! В чужих местах! Хор-роши соратнички!»

- Соратнички? Ишь! Ты это, девка, брось, – набычился отец, - а то точно выпорю! Ишь, расшумелась. Сберечь тебя хотели. На Москву отправить. Тут дело – нешуточное. Нечисть угадала нас! А тебе еще – замуж. Деток рожать. Род казачий продолжать! Вот и говорю: сберечь хотели.

- Ага! Сберечь! Ага! Замуж! Ага! Деток рожать! – не унималась Алена, смахивая слезы обиды с ресниц. Вдруг твердо заявила: «А то не ведаете, что молитва младеницы, отроковицы, девки куда сильнее, чем - бабы или мужика».

«Мудра!» - отметил я про себя. Отвернулся и сделал несколько шагов прочь.

- И то – правда, Дубок, - вздохнул Митька, - потому колдуны всякие и охотятся за младенцами да отроками с отроковицами, да невинными девками, чтобы в жертву нечистому их принести! Кровушку их невинную по капельке сцедить. Сам видел.

- Да ну!? – сдвинул на затылок Дубок свой шелом. Митька только кивнул и опустил голову. А Дубок спросил дочку: «Как же тебе удалось из Вязьмы-то уйти?»

- А когда пожар зачался, в женской половине все повскакивали с постелей, к

окнам припали. Я – с ними. Тут и прознала про знахаря. Прикинула: уходить вы будете. А тут и в окно-то увидела ваши сборы. Ох, и разгневалась же я! Ох! Собралась тихохонько. Снарядилась! Пробралась в конюшню. Кто ж ожидал от меня такого? Ясно: никто. А я – на конька, да – и за вами. Пристроилась незаметно, когда луна в тучи ушла.

- Гнев – тяжкий грех! – сказал Митька.

- Так вы меня простите за него! А? Зато мы опять - все вместе, - потупилась она, но вдруг снизу, наискосок, коротко, незаметно для других взглянула на меня.

- Нет! Так нельзя! Ее надо обратно, – вступил в разговор болярин Иоанн, - в Вязьму отправлять! С кем-нибудь из ратников.

Алена подскочила к нему и снизу вверх, почти вплотную приблизившись, выпалила: «А ты попробуй, болярин! Все одно сбегу от провожатого. И догоню вас. Я еще в Одинцове сказала, что одних не пу-щу!»

- Ты как разговариваешь?! – попытался прикрикнуть болярин Иоанн.

- Я рождена вольной! Потому и говорю вольно! – тоже повысила голос Алена.

- А ведь точно: сбе-э-эжит! – хохотнул кто-то из казаков.

- И опять нас догонит, - вторил другой. Болярин Иоанн покачал головой, обвел всех нас взглядом и безсильно развел руками: «Ну-у-у, как-то не по-христиански: девка – в мужеском снаряжении…»

- А ты, болярин, поди, слышал былины и песни про девок и баб, которые на Куликове ратились! А? Так что ж, они в юбках да сарафанах на поганых шли? – еще горячее выпалила Алена. Болярин Иоанн махнул рукой, развернулся и пошел к своему коню.

- Ну, и девка! Огонь!– хмыкнул Тишка.

- Всё. Привал закончен, - проговорил Митька, - а сейчас на ворога нам не напороться бы. Трое – в передний дозор. Столько же – по правую руку и по левую. Пятеро – назад. Идем молча.

И он взлетел в седло. Все последовали ему. И мы двинулись через лес по глубокому снегу. Я шепотом спросил Митьку: «А что ж, колдун нас теперь видит или нет?»

- А хоть бы видит, - еще тише ответил княжич, - пусть пойдет, прошерстит лес! Тут не одна сотня нужна.

Так мы прошли лес. Вышли к полю. На опушке стояли несколько выбеленных, как бы сросшихся между собой истб. Мы схоронились в лесочке недалеко.

- Наш хутор, - выдохнул Митька, - здесь день проведем. А ночью пойдем опять.

- Хоть коней напоим. Истомились, бедные, - кивнул Дубок. А Митька послал на хутор лазутчика. Но тот вернулся весь белый, словно снег. Мотнул головой: «Там – никого. Все поломано, порушено. Кое-где – кровь. Ни людишек, ни скотинки. Лишь ведро на «журавле» качается, скрипит так жутко, словно по упокойникам.»

- Ведро на «журавле»? – наморщил лоб княжич. Покачал головой: «Боюсь, братия, нам еще долго коней поить не придется.»

- Что так? – удивился Дубок.

- Хозяев хутора забрали панские холопы, - размышлял вслух княжич. Перекрестился: «Кого-то порубили, коли кровь на снегу. Но упокойников либо увезли, либо в колодец сбросили. Это у них принято. Значит, ждут, что мы на хутор зайдем. А если зайдем, то и сами напиться пожелаем, и коней напоим. Не-е-ет. Даже ежели упокойничков они в колодец не сбрасывали, тогда отравили. Ждут нас здесь. Иначе бы хутор спалили. Стало быть, и на ближайшие верст двадцать в одну и в другую сторону на всех хуторах – то же самое творится. Как же он, ирод, так успел! Или на Москве где-то измена притаилась?»

- Но ведь о нашем походе никто не знал! – возмутился я. Принялся перебирать в памяти: «Даже Курбский с Адашевым и попом Сильвестром.»

- Тут ворожбой пахнет! – проговорил мой Тишка. Митька кивнул и продолжил: «Ночи будем ждать здесь. Помолимся. Поле – всё на виду. Значит, дозоры – на пятьдесят шагов в три стороны от нас. Давайте-ка, *Отче наш*… Только шепотом…

Но тут мимо нас, ломая ветки и тонкие деревца, пронесся вепрь, - с хорошую корову! А за ним – целый выводок поросят. А через миг – еще один вепрь. Мы притаились. Митька шепнул: «Матка уводит детенышей, а кабан прикрывает отход… Они бегут… от кого-то…»

Тут же мимо нас проскочило целое стадо оленей…

- Точно, – вздохнул Митька, - но это – не панская охота. Вернее, панская. Только, - на нас.

Он махнул рукой и десяток молодцев окружили его. Он шепотом и жестами что-то растолковал им. А мне сказал: «Уводи людей. Я прикрою. Даст Бог, свидимся.»

- Как это ты? Ты – здесь проводник. Никто лучше мест этих не знает. Останусь я.

Если благословишь, с твоими. Они, коли живы будем, проведут меня.

Болярин Иоанн, слышавший все, закивал:т «Князь Александр прав. Тебе довести нас надо до Тисовья. Дело-то - Государево. И какая польза ему, если ты ляжешь в сече?»

- Давайте я останусь, - вмешался Дубок.

- Останется князь Александр, - проговорил Митька и мельком взглянул на Алену.

Та, застыв на месте, шевеля губами, широко раскрытыми глазами, не мигая, смотрела на меня в упор.

- Да успокойтесь вы, братия! – весело проговорил я. И засмеялся в голос: «Ежели под Казанью смертушка миновала, стало быть, скоро свидимся. Давайте, ступайте с Богом.»

Я похристосовался с Митькой, Дубком, боляринов Иоанном, своим Тишкой. Все они перекрестили меня. Взяли наших коней.

- Идем по кабаньим и оленьим следам, - повелел Митька, и скоро весь наш отряд растаял между стволов деревьев.

- Как вы в таких случаях поступаете? – спросил я Митькиного десятского.

- Лезем на деревья. Благо, дубы да вязы здесь – неохватные. А как станет лыцарь

познатнее да покрепче внизу проходить, надо, стало быть, прыгать на него. Сворачивать шею. Или кинжалом – в горло. Прикрываясь им же, бить ближайших. Так одному с десяток и уложить можно. А то и – поболе. Но здесь, княже, главное спину не подставлять. Мы, когда оказываемся на ворожьих конях, становимся ступеньками, спиной друг ко дружке. Так и прикрываемся. - деловито и спокойно ответил тот.

- Советую тебе, княже, во-о-он тот вяз. Глянь-ка, две больших ветки скрещиваются. Там и схоронись. А я недалече буду, - показал другой.

Скоро все мы, одиннадцать, забралились на свои деревья, оказавшись как бы цепью на расстоянии пяти-шести саженей друг от друга. «А если они шире пойдут?» - подумал я. Но ответить себе не успел. Между деревьев сверкнули доспехи. Нет, это были не крылатые гусары. Обычные конные ратники. Хотя тоже - с пышными усами. Шли они куда более широкой цепью, нежели засели мы. Прямо на меня двигался немолодой, но явно опытный, и непростого рода, конник. Он то и дело оглядывался, вертел головой по сторонам, покрикивал на остальных. «Пшекают. Ляхи, что ли?» - подумал я и вдруг удивился тому, что

понимаю их говор. Не прошли даром пестования болярина Иоанна в пути. Они искали именно нас. И я вдруг подумал, что тот, кому я буду сворачивать шею, - тоже чей-то отец. Да, похоже, они с моим батюшкой, - Царствие ему Небесное, - были примерно одного возраста… Жаль… Жаль его!

Мой «подопечный» остановился прямо подо мной. Склонился, разглядывая снег. Ага! Заметил следы от копыт наших коней. Что-то прокричал своим. Те, в болшинстве своем, подскакали к нему поближе. Ага. Он повелел идти по следам. И только ворожьи ратники развернули своих коней, я свалился на ворога. Шея хрустнула сразу. Но стрелы, болты самострелов, пущенные в меня, попали именно в него, так как я, по совету десятского, крутил уже обмякшим телом моего «подопечного» как хотел.. Я зарубил двоих, попытавшихся налететь. И тут, словно яблоки в сентябре, на головы ворогов просыпались молодцы княжича Димитрия. Мне показалось, что они, стреляя, рубя, отбивая удары тяжелых сабель, все время прикрывают меня. Я сбросил убиенного ворога. И теперь сам рубился, как умел. Но всякий раз очередной поединщик падал не от моей сабли, а от кинжала, ножа, болта,

топора нашего ратника, как бы случайно оказавшегося рядом. Силы были неравны. Вокруг нас из-за тел убиенных ворогов уже не было видно снега. А супротивники все наседали и наседали. Да сколько же их?! Оказывается, шли несколько цепей. Но, слава Богу, все они бросились на нас. Значит, Митька, Дубок, болярин Иоанн и… Алена успеют уйти. В моей руке оказалась вторая, ворожья сабля. Потяжелее моей! Но и от взмахов нашей, русьской, лёгонькой, рука уже немела. Краем глаза, я заметил, что и несколько ратников княжича Димитрия сползли с коней на снег, захлебываясь собственной кровью. Скоро вороги отхлынули, плотным кольцом окружив нас, пятерых, оставшихся в живых. «Не меньше сотни!» - подумал я. Взглянул на десятского. У того вывалившийся глаз болтался на какой-то жилочке у самого рта. Но десятский стоял в полуприсяде, ощетинившись двумя саблями, изредка облизывая пересохшие губы.

Из ворожьего кольца выехал явный болярин. Поверх дорогого наборного доспеха с зерцалом, искрилось бобровым мехом шуба. Голову украшала такая же дорогая шапка с высокой кисточкой, прикрепленной к ней самоцветом. В золотой оправе.

- Не-е-е, панове, – воскликнул он, улыбаясь, - то – не холопы! То – знатные ратники. И много знают! Дорого нам за них заплатить должен пан Голдштинский! Брать живыми! Мы же – славные, благородные лыцари!

- Пан, – крикнул я, - ты назвал себя и своих ратников славными лыцарями. Благородными. Так может быть, поединок решит наш спор. Я – князь, холоп Русьского Государя. Предлагаю помериться силами.

«Лыцарь» захохотал так, что чуть было не свалился с коня: «Гляньте на него, панове! Поединок! Лыцарский! Может быть ты и князь, но – не лыцарь! В лыцари посвящает только король! А не Царь варварский! Поэтому и ты – варвар! С варварами я в поединок не вступаю. Ты не достоин драться со мной. А благородство? Ха-ха! Благородство сейчас оценивается злотыми! Берите их!»

Но вороги, окружившие нас, лишились их еще десятков двух своих ратинков, которые корчились или уже затихли под нашими ногами. «Лыцарь» застыл в нерешительности… И вдруг, охнув, повалился на шею коня. Из спины его торчала стрела. Зазвенели и другие. Не успели вороги опомниться, как в спины их

врубились Митька, Дубок, болярин Иоанн, все наши людишки и даже Алена. Когда же все было кончено, и десятка два оставшихся в живых ворогов стояли связанными на коленях, Митька подскочил ко мне. Обнял: «Жив! Ну, слава Богу!.. Ох! Господи, помилуй!»

Он оттолкнул меня и кинулся к своему десятнику: «Михась! Михась! Друже мой верный!.. Как же так?!»

- Пустое, княжич. Я и одним глазом ворога узрю, дабы уложить»

Но он осел на снег, откинув голову назад и набок. А ко мне на шею бросилась… Алена. Стала целовать в лицо. Приговарилвала: «Любый ты мой! Роднулечка! Единственный! Голубочек сизокрыленький! Живехонек! Я так молилась! Так молилась! Думала уж не свидимся больше! Никуда я - от тебя теперь! Не нужна как жена, сестрой стану!»

Я, застывший с закрытыми глазами, открыл их. Взглянул на Дубка. Тот стоял, опустив голову, и ковырял носком сапога снег.

- Будет. Будет, - погладил я ее по плечу, - надо дело Государево ладить.

Мне было как-то неловко перед остальными соратниками. Но и убирать ее

руки с моих плеч так не хотелось. Так сладко грели они даже сквозь доспех. Свои же руки я, вытянув их вдоль тела, даже поднять не решался. Да что там – поднять. Пальцем не мог шевельнуть.

- Сергей Емелианович! – горячо заговорил я, услышав в трубке его голос. - Добрый вечер! Это – Александр. Я – не очень поздно?

- Христос Воскресе, Александр! Ничуть не поздно. А мы как раз с Леночкой о вас вспоминали. Добрым словом. А почему голос у вас такой взволнованный?

- Понимаете, вас хотят попросить прорецензировать одну статью. Книгу того же автора я прочитал. Полагаю, что статья, в лучшем случае является продолжениием идей, изложенных в книге. Я о них заикался вам. Но, если вы согласитесь, статью вам привезет наша девочка-редакторша. А мне бы хотелось предварительно переговорить о той обстановке, которая сложилась в нашем редакционно-издательском отделе из-за этих опусов.

- Прорецензировать? А какой объем? Я ведь, знаете ли, работой по самую макушку завален. В институте – весь день. И дома… Вот, только что из-за рабочего стола встал.

- Это очень важно. Объем небольшой. Статья – полтора авторских листа. А книжица – страниц сто. В Высшей профсоюзной школе культпросветработников напечатана.

- Ну что ж… Если вы говорите, что очень важно, почитаю. Напишу краткую рецензию.

- Да-да! Оба, с позволения сказать, произведения напрямую связаны с нашим последним разговором. Только они – с противоположной нам стороны.

- Вот как? Занятно… Вы территориально где работаете? Ах, да. Вспомнил: ЦДКЖ находится на площади трех вокзалов. У вас рабочий день в девять начинается? Так, завтра часиков в восемь мы можем встретиться, скажем, на станции «Проспект Маркса». Я поеду в первом вагоне в сторону «Сокольников». Там и лавочки есть. Можно будет присесть и потолковать. Если полчаса для разговора хватит, то и вы, и я успеваем к девяти на работу. Как вам такое предложение?

- Спаси Господи! Это – как раз то, что нужно!

- Тогда договорились. А то Леночка на стол накрыла. Ужинать зовет. А она у меня,

знаете ли, не любит, чтобы еда на столе остывала. Доброй ночи.

- Доброй ночи.

Повесив трубку, я облегченно вздохнул. А утром, встретившись в метро с Сергеем Емелиановичем, все подробно рассказал ему. Он даже головой крутанул. Задумался на минуту. Наконец, сказал: «С ваших слов, они начали атаку. Значит надо ждать перемен в политике страны. Похоже, Александр, большевизм стал отработанным материалом. Он им уже больше не нужен. Теперь они могут предложить России только демократию. Демонократию. Нет! Вы только подумайте! Как же они оперативно работают! Только народ наш стал возвращаться в Церковь, каяться, а они уже подсуетились! Помяните мое слово: через год-другой налетят к нам сектанты-проповедники черной тучей! Эх, даже со стервятниками или воронами их сравнивать не хочется. Жалко оскорбляить птиц – творения Божии. Эх! Нам бы так научиться работать! Ну, что ж. Книжицу привезли? Когда я должен вернуть ее вам?»

- Чем быстрее, тем лучше. Вдруг Людмила Петровна, наша завотделом, главная пропагандистка этих идей, - постучал я пальцем по книжке, - потребует

отдать ее сегодня. Рецензия-то нужна только на статью. А книжка – для ознакомления с ходом их мыслей и дел.

- Хорошо, я по дороге и в обед ее пролистаю. А вечером мы можем здесь же встретиться и вы получите ее обратно.

- Это было бы замечательно.

- Тогда позвоните вот по этому телефону часиков в семнадцать, - Сергей Емелианович написал в блокноте несколько цифр, вырвал листок и протянул мне, - это - у меня в кабинете. Прямой. Минуя секретаря.

- Без одной минуты девять я открыл дверь в кабинет нашего отдела. И тут же наткнулся на ледяной вопрос Людмилы Петровны: «Книга Михаила Яковлевича у вас с собой?»

«Ну, вот! - подумал я, - Сам на себя накаркал»! Попытался сделать удивленные глаза: «Людмила Петровна! Я ее второй раз решил перечитать. Вникнуть. Она у меня - дома.»

- Привезите ее завтра, пожалуйста. Не забудьте. А то отправлю за ней с работы. А время, затраченное на поездку, будете отрабатывать либо в субботу, либо вечерами. Кстати, вы звонили профессору?

- Да. Но он не мог говорить. У него были гости. Дал рабочий телефон. Могу при вас позвонить сейчас, - соврал я.

- Хорошо. Наберите номер. Объясните суть дела. А потом трубку передайте мне.

Так я и сделал. Сергей Емелианович понял меня и подыграл. Зато как защебетала Людмила Петровна, когда я передал ей трубку. А нам помахала ладонью снизу вверх, мол, выйдите из кабинета. И мы с Женей пошли курить. По дороге он, крутанув в сердцах головой, процедил: «Ну, кан-н-на-рей-ка!»

- Пожалуй, буду искать себе другую работу, - тихо сказал я.

- Я – тоже.

Перекуривали мы молча. А когда вошли в кабинет, Людмила Петровна собирала Киру в поездку к профессору: сунула ей в сумку коробку конфет, пачку чая «со слоном» в железной коробке, бутылку коньяку:

- Поздравишь с Пасхой. Скажешь, что это – от коллектива ЦДКЖ. Пригласишь с супругой к нам на концерт Райкина 9-го мая. Если захочет, то запишешь фамилию, имя и отчество и скажешь, что контрмарка на его имя на два лица будет в кассе. Все

запомнила? Повторять не надо? Тогда ступай. Ни пуха, ни пера!

Кира ответила, как принято, и убежала. А к нам в кабинет зашла Галина Евсеевна. Строго обвела нас взглядом. Потом, посмотрела в окно. И глядя туда, распорядилась: «Люда, зайди ко мне. Там тебя ожидает один из экспертов. Захвати статью и книгу Левитского.»

Лицо Людмилы Петровны покрылась красными пятнами. Она вздохнула, словно сейчас должна была медленно войти в ледяную воду. Сжалась. Взяла книгу, рукопись. И, наклонив вперед голову, топая негнущимися ногами, выступила из кабинета. Мы переглянулись.

- Похоже, этот эксперт – из КГБ, - прошептал Женя.

Я кивнул. И мы углубились в редактуру плановых статей. Но через полчаса дверь в кабинет открылась и я увидел… улыбающегося Алешу, бывшего фотокорреспондента «Гудка», а теперь - «Московского железнодорожника».

- Здорово, мужики! Бога ради, – заговорил он, - выручайте! Мы вчера праздновали день рождения Палыча, главного редактора. Все – с похмелья. Я – самый трезвый! Но могу только

фотографировать. Мозги требуют слабого этилового раствора. А в номер надо срочно материал по культуре строк на сто двадцать. У вас нет ничего свеженького? С колес?

Женя помотал головой: «Ты же знаешь, мы – дальняя артиллерия! Работаем по всей сети. Долгосрочно. Но можно узнать. Пошли к методистам.»

И они вдвоем вышли. А мне позвонила мать. И сразу затараторила: «Ты не мог бы отпроситься на пару часов?»

- Мам, ты же знаешь, какие здесь события! Заведующую вызвали к начальству. А без нее…

- У тебя всегда так. Когда надо… Сейчас звонили из бюро по обмену. Документы готовы. Можно приезжать. А завтра приема нет. Тебе ведь и от нас надо выписаться, и туда прописаться! И переехать. Опять мы за тебя все делать должны? Но, уж извини. На этот раз не получится. Везде только с тобой разговаривать будут.

- Хорошо. Попробую сейчас узнать. Перезвоню.

И я выскочил из кабинета. В коридоре наткнулся на Галину Евсеевну. Она с ироничной улыбкой выслушивала Алешу. Женя стоял рядом.

- О, – воскликнула Галина Евсеевна, - Александр у нас – хороший репортер. Езжайте с ним. До конца рабочего дня.

- А куда ехать-то? – я даже сделал шаг назад.

- Да здесь – недалеко, – хлопнул меня по плечу Алеша, - в клуб имени Ленина. На Сортировочной. На электричке за пятнадцать минут долетим. Там выставка открылась. Самодеятельных художников. Сделаем репортажик – и обратно. Ты – домой, а я - в лабораторию. Завтра утром принесешь сто двадцать строк. Получишь «трешку». А «за срочность» главный, глядишь, и «пятерку» распишет. Собирайся! У меня уже вся аппаратура с собой.

И он похлопал по видавшему виды кофру.

- Хорошо, - пожал я плечами, а в кабинете сказал, - мне надо позвонить.

Мать взяла трубку после первого же гудка.

- Все. Договорился. Еду, - сказал я.

Она что-то пыталась сказать, но я повесил трубку. Действительно, через полчаса мы входили в темноватый вестибюль Дома культуры. Нас встретила молодая женщина, представившаяся Татьяной Николаевной, директором, и тут

же повела на второй этаж, где, перед картинами, акварелями, карандашными рисунками, кроме самих самодеятельных художников, как я понял, никого и не было.

- Значит так, - остановил меня за рукав Алеша, - сначала пишем про производственную тематику, потом - про день насущный, - политика, всякая, внутренняя и внешняя, наконец, - про лирику. Понял?

Выставка оказалась просто неинтересной. Все, с позволения сказать, произведения были какими-то безвкусными, обычными, ученическими. Алеша фотографировал самодеятельных художников перед их работами. Я задавал стндартные вопросы. Что ж, репортаж – есть репортаж. К тому же, голова моя была забита мыслями о предстоящем переезде, о том, что сегодня надо встретиться с Сергеем Емелиановичем. Через час мы с Алешей освободились. И он спросил: «По пивку?»

- Не-е-ет, - помотал я головой, - дел полно. Какое метро здесь поблизости?

- А куда тебе надо?

- На Проспект мира.

- Тогда – проще на электричке до Казанского, а там – одна остановка на метро. Да и быстрее получится.

Алеша был прав. И через час я уже был в бюро, еще минут через сорок получал все необходимые документы для выписки-прописки, ордер, какие-то другие бумаги. Подумал: «Вот, Валентина-то обрадуется»! Значит, переезжать надо будет в субботу. Интересно, как отнесутся к этому родители: ведь опять срывается моя поездка на дачу! Я вышел из бюро, и нестерпимо захотел пива. А тут и «пивняк» по дороге попался. Да какой! Там даже чебуреки продавались. Вот так я и пообедал. В скверике сел на лавочку. Достал блокнот. Набросал репортаж. Просто. Легко. Но настроение испортилось: писалось-то как-то без души. Не по-христиански! Стрелки часов показывали половину пятого. Я еще раз перекурил и из телефона-автомата позвонил Сергею Емелиановичу. Он сразу ответил: «Я даже не преполагал, что дело настолько серьезно оборачивается. Вы не могли бы сейчас приехать ко мне в институт?»

Я согласился. И через час входил в небольшой особняк, охраняемый почему-то милицией. Позвонил из бюро пропусков. Встретила меня миловидная девушка в белом халате. Такой же предложила накинуть и мне. И, вручив пропуск, повела по коридорам, которые оказались намного

длиннее, чем я предполагал, глядя на здание института. Кабинет Сергея Емелиановича был большим, с высоким потолком, весь уставлен книжными шкафами. Его хозяин, увидев меня, снял очки, встал из-за стола, подошел, воскликнул: «*Христос Воскресе*!

- *Воистину Воскресе*! – ответил я и тут же почувствовал радость в душе.

- Танюша, – обратился Сергей Емелианович к секретарше, - окажи милость сделай нам по чашечке кофе. Мне – совсем слабенький. Александру…

- Мне – покрепче, - ответил я на его вопросительный взгляд.

Девушка слегка склонила голову и вышла.

- Вы не приехали в гости разговляться! – потер ладони Сергей Емелианович, - Поэтому Светлое Христово Воскресение мы отметим сейчас. Немножко! Тем более, что мой рабочий день за-кон-чил-ся.

Он открыл дверцу одного из стенных шкафов и достал бутылку коньяка. Я даже вздрогнул: именно этот коньяк Людмила Петровна положила в сумку Кире… Сергей Емелианович заметил мое смущение. Улыбнулся: «Нет-нет, Александр. «Презенты» вашего руководства я принимать не стал. Отправил обратно.

Мягко, конечно, но отказался. Не смущайтесь. Неужели вы думаете, что русский профессор не в состоянии сам купить себе бутылку коньяку. Знаете, почему мы так хорошо живем с моей Леночкой? Ведь ни разу в жизни не поссорились! Да потому, что с первого дня знакомства, будучи православными людьми, ни разу не солгали друг другу, людям и Богу. Не взяли ни одной взятки. Друзья, конечно, привозят подарки. Но ведь это – друзья. Дарят безкорыстно! Так вот, мы с Леночкой никогда не стремились ни к чинам, ни к званиям. Все наши профессорство и докторство – милость Божия. А райкинские, простите, хохмы, порой оскорбляющие достоинство русского человека, я просто не люблю. Так что, давайте угостимся еще одной милостью Божией.

Он наполнил рюмки. А в это время вошла и секретарша. На подносе парили две чашечки кофе. На блюдце вызывал слюноотделение порезанный лимон.

- Танюша, вам не предлагаю. У вас есть жених. Без его ведома и благословения не имею права, - обратился к ней Сергей Емелианович.

- Да что вы, профессор. Я и сама не буду. Мне же вас еще проводить надо.

- Спаси Господи. Но сегодня вы можете отдыхать, - кивнул девушке Сергей Емелианович, и она вышла.

- Тоже православная христианка? – спросил я, кивнув секретарше вслед.

- Со мной работают только православные христиане. Ну, - поднял профессор рюмку, - *Христос Воскресе*!

- *Воистину Воскресе*!

Мы чокнулись. Выпили. Закусили лимоном. И профессор указал ладонью на два кресла, стоявшие напротив. Отхлебнув кофе, он спросил: «Что вас больше всего смутило в статье? Или в книге?»

- Статью я не читал. А в книге? Мой друг, тоже старший редактор, восхитился способностью человека использовать экстрасенсорику. Я правильно назвал явление? Мне это тоже пощекотало немножко самолюбие. Простите.

- Ну что ж. Тогда с этого и начнем. Дорогой Александр. Еще старозаветным иудеям, согласно Второзаконию, развитие любых "экстрасенсорных" способностей было строжайше запрещено. Об этом же мы можем прочитать также в разных главах Ветхого и Нового Заветов. Казалось бы, человек – венец творения Бога! Увы! Экстрасенсорика устанавливает тесную

связь падшего «венца» с падшими духами, представителями "астрального" или "тонкого" мира. В Законе Божием мы все читали, что после грехопадения людям было дано более плотное физическое тело, или "кожаные одежды", чтобы оградить человеческую душу от воздействия падших духов. Поэтому духовное очищение, или спасение, на земле возможно только через правую веру, покаяние и соблюдение данного Богом через Спасителя нравственного закона. При развитии какой-либо "экстрасенсорной", парапсихологической способности, - даже через актёрское мастерство, - к этой области души пытается присосаться для "помощи" падший дух. При этом он может выдавать себя за Христа, святого угодника Божия, Духа, Ангела, Высший Разум, Учителя, Музу, "космического пришельца"…

- Кроме Божией Матери? – не выдержав, и наверное неуместно перебил я.

- Да… Но ведь именно сей падший дух под одной их названных личин и даёт эту способность. Он может защитить от одного недруга, но обязательно подставит другому. Пусть даже – не физическому! А, например, страсти пьянства, блуда. А они – пострашнее будут! Мне нередко приходится сталкиваться

с болящими психически людьми. Среди них есть и те, которые считали себя целителями с помощью своей духовной силы. На самом же деле такой целитель, бабка, дедка, - кол-дуны! Самые заурядные прислужники медлких бесов! Сейчас появились другие «целители». Их наставники постарше «мелких» в звании будут. С демоном-бесом "экстрасенс" или "психоэнерготерапевт" соединяет своих клиентов во время сеансов "лечения", "ясновидения", гадания, "снятия порчи", астрологического прогноза и других подобных услуг! А тот, в свою очередь и силу своего предназначения, приносит людским душам гибель: связь с демоном-бесом проявляется в жизни всей семьи тяжкими пороками, душевными заболеваниями, несчастьями, самоубийствами. Скажу более того: рушится, крошится, рассыпается, словно бусинки с порванной нитки, генетический код целого рода! У наших великих святых Божиих угодников не было так называемых "экстрасенсорных способностей»! Они не занимались магией, астрологией или оккультно-психотерапевтической практикой. Природа их прозорливости и чудотворений лежит в углублённой церковной жизни.

- Так ведь и нашим далеким предкам являлись и Ангелы Света, и демоны-бесы. Да и мне. И Елене Васильевне..

- В том-то и дело, дорогой Александр, что наши далекие, благочестивые, великие предки при каждом таком явлении тут же обращались к Богу! И явления-то эти были для укрепления в вере! Хоть в четвертом, хоть в четырнадцатом веках, хоть… Ну, в пятнадцатом и шестнадцатом веках вера стала привычной, как бы это сказать, обыденной, что ли. Вот тогда и напустил враг рода человеческого на наших предков разного рода сектантов. А те брали, берут и будут брать свое начало в каббале. А сие учение – религия поклонения врагу рода человеческого.

- Значит и тамплиеры, и другие ордена – тоже сатанисты. Я читал это в «Рассказах о детях вдовы» Владимира Бегуна. Но там как-то атеистически написано.

- Совершенно верно! Но давайте о масонах поговорим в другой раз. Мы коснулись темы «экстрасенсорики». Грубо говоря, духовных способностей, - учитывая, что духи бывают светлыми и темными, Ангелами и демонами, - человека воздействовать на окружающих людей и мир. Бабки, дедки, ворожеи, чародеи, знахари

были всегда. С ростом так называемого технического прогресса, многие, особенно интеллигенция, перестали верить им. Но души-то человеческие требуют веры. И это очень хорошо учтено врагом рода человеческого и его приспешниками в людском обличии. Для интеллигенции и тех кто считает себя, ну, оч-ч-чень умными, да для не очень опытной молодежи придуманы современные секты.

- Да-да! Вы в метро говорили, что они скоро полезут к нам. Мне это, как журналисту, надо знать. А литературы-то нет никакой!

- Для этого и просил вас приехать. Вы знаете, что я нередко бываю за границей. Вот мои коллеги оттуда и постарались, дали кое-какую инофрмацию. Возможно, скоро вы увидите на улицах Москвы молодых, бритых наголо, с косичкой на затылке, людей в ярко-желтых, розовых, оранжевых, салатовых, голубых балахонах. Они будут бать в барабаны, пританцовывать, полупеть-полубормотать, не хочется повторять их речитатив, но он – призывание нечистой силы. Этимологически! Это – так называемые кришнаиты, члены секты "Сознание Кришны". Другая оккультно-криминальная организация с Востока -

"Школа Шамбалы". Она имеет и другие названия: «Сотиданандана йога-центр", "Школа йоги", "Раджниш-центр", "Штаб Эверест", "Авиценна".

- Опять Шамбала?

- Да-да… При ознакомлении с опусом Левитского, мне почему-то показалось, что автор ориентирован именно на нее. Хотя все секты – руки одного существа. Многие из них порождены международным движением «Нью Эйдж», то есть «Новая эра». Опасна организация "Церковь Сайентологии" или "дианетики" с её дочерними "Фондом Л. Рона Хаббарда", "Хаббард-колледжом", "Наркононом", "Криминоном", "Всемирным институтом сайентологических предприятий", "Ассоциацией за лучшую жизнь и образование", "Прикладной схоластикой" и другими. Это – далеко не все секты, готовые обрушиться на нашу бедную Святую Русь. Но на сегодня пока хватит.

- Откуда вы все это знаете, помните?! – восхитился я.

- Дорогой Александр! Это – моя работа. Вот потому-то и сижу дома за письменным столом вечерами. Перевожу с французского, с английского, с немецкого труды моих зарубежных коллег. К слову, среди них немало православных христиан. Есть даже

выходцы из России. Дети и внуки эмигрантов. Первой. Царской волны. Белогвардейцев я не уважаю. Они, в подавляющем большинстве изменили Присяге на верность Вере, Царю и Отечеству. А это, как говорит один мой знакомый из Аргентины, символ Святой Троицы. Наши мудрые предки говорили, что предавший единожды… Дело все в том, что мои зарубежные коллеги очень обезпокоены психическим здоровьем своих народов. Человек попавший в названные и неназванные секты , - вообще в секты! – жизненно нуждается в помощи психиатра! В реабилитации. И в длительной! К сожалению, такой институт у нас в стране не действует. А надо бы! Вот, пока под патронажем отца игумена пробуем создать такой центр в Лавре. Но в сектах страшно другое. Я повторюсь: у сектантов рушится генетический код. Поясню, как говорится, на пальцах. Большинство, подавляющее большинство, наших соотечественников – люди крещеные в Православное Христианство. То есть, они дали клятву Святой Троице, почти так, как в Армии принимают Присягу. Вот, вы - бывший офицер. И скажите мне: что делают с тем, кто изменяет Присяге?

- Судят. В военное время расстреливают…

- Совершенно верно. А что должен сделать Бог с теми, кто предал Святое Крещение. Конечно, поначалу, Он терпит, ждет покаяния. Но предатель уходит в мир иной нераскаянным. Дети его так или иначе заражены сектантством. Это – пострашнее нароктиков или алкоголизма. Потому, как затронута душа, дух, заложенные Творцом при рождении и утвержденные при Святом Крещении. Что будет с ними? С их детьми? С внуками? Они становятся, прости, Господи, бесоподобными, разрушив заложенный в них Господом генетический код образа Божия. Такие нередко теряют рассудок, как потерял, - вспомним историю - братоубийца Святослав Окаянный. Так что же с ними становится? Сначала – наказание. Потом?.. К тому же, многие, вступившие в секты несут родовое проклятие: их предки, возможно, самые близкие оскорбили Православное Христианство. Но ведь и их, - творения Божии! - надо попытаться спасти! Разумеется при их собственном желании спастись.

- Да-а-а-а! – протянул я.

И в это время зазвонил телефон. Сергей Емелианович поднял трубку.

Зауыбался: «Да-да, родная. Мы здесь с Александром обсудили очень важную проблему… Вынужден был пригласить его в институт… Конечно… По рюмке коньяку и чашке кофе… Не волнуйся, Аленушка! Танечка мне заварила чисто символически: слабый-слабый!.. Конечно. Сейчас подведем итоги разговора, и я сразу – домой. Целую.»

Сергей Емелианович повернулся ко мне: «Простите великодушно. Супруга ждет. Но закончу наш разговор. Рецензию я напишу. Спокойную. Аргументированную. Но нелицеприятную. И если мое мнение учтут, то навряд ли статью этого Левитского в вашем Сборнике напечатают. А теперь давайте собираться.»

И скоро мы вышли на улицу, которую за время нашей беседы умыл весенний ливень. Сергея Емелиановича ждала машина. И он предложил подвезти меня. Я согласился. Но вспомнив, что Елена Васильевна уже волнуется, вышел у ближайшего метро, сославшись на то, что хотел бы собраться мыслями.

…Утром в кабинете я застал задумчивую Людмилу Петровну. Поздоровался. Сообщил о предстоящем переезде и попросил дать мне пару дней

отгула чтобы оформить выписку и прописку, собрать вещи.

- Что ж, - вяло промямлила она, - заслужили. До обеда можете быть свободны. Вам ведь, как я узнала, надо еще в газету материал сдать.

- Да, - улыбнулся я, - он готов. Осталось только напечатать. Можно я воспользуюсь нашей пишущей машинкой?

Получив разрешение, быстро перепечатал свой репортаж и побежал в редакцию, - благо она была через два подъезда от входа в ЦДКЖ. Там в кабинете главного редактора я застал всех сотрудников. Они пили пиво. Предложили и мне. Но я отказался, сославшись на загруженность по работе. Главный редактор Валентин Павлович, седой грузный, - только на двух стульях сидеть, - немолодой человек внимательно прочитал репортаж. Кивнул. Написал на нем «В печать». Отхлебнул пива. И тут Алеша вдруг сказал: «Вот в штат бы к нам Александра. На отдел социальных проблем. Я с ним работал. Оперативник! И пишет хорошо.»

- Ладно, адвокат…

- Да мы с Саней и не говорили об этом! – оправдывался Алеша.

- А сам-то ты, Александр, что думаешь по этому поводу? – взглянул нд меня Валентин Павлович.

- Я.., я… даже не зная. Но репортерская работа мне по душе. Люблю ездить, знакомиться с новыми людьми. Писать о добрых людях, - от неожиданности я даже покрылся испариной.

-`Ладно. Я подумаю. А ты пока, если хочешь, попиши для нас. Во-о-он, с Алешкой побегай. У него всегда что-нибудь новенькое на ум приходит.

Мы обменяпись с Алешей телдфонами. Я перевел дух. Распрощался и вернулся в ЦДКЖ. Женя уже был на месте. Людмила Петровна что-то рассказывала ему. Взглянув не меня, замолчала на миг. Но продолжила: «Вот и безпоюсь я: не взял профессор наших презентов. Значит возможность отрицательной рецензии – велика.»

- Ну, что вы, Людмила Петровна, - возразил Женя, - зачем же так мрачно. Я бы тоже не взял. Он же не читал статью. А раз так, то презент взяткой выглядит. Вот напишет хорошую рецензию, можно будет отблагодарить. Тогда возьмет, как знак благодарности.

- Можно высказать свое мнение? – вмешался я. И почти слово в слово повторил Сергея Емельяновича: «Тут же еще и чувство собственного достоинства играет определенную роль. Неужели профессор сам не в состоянии купит себе дорогого коньяку, коробку конфет?! Возможно, что наш презент даже оскорбил его!»

- Да-да! – кивнул Женя. Лицо Людмилы Петровны покрылось красными пятнами. Она опять задумалась и тихо произнесла: «А может быть, я действительно поспешила?»

- Не переживайте! Всё устроится! – бодро проговорил Женя. И повернулся ко мне: «Как съездил, Саха?»

- Отлично. Получил все документы. Сегодня поеду выписываться от родителей. Потом – прописываться на новом месте. С выпиской-то попроще будет. Отец вчера своему знакомому в наше отделение милиции звонил. Тот обещал помочь, чтобы не тянули. А вот, с пропиской. И, если за неделю успею, то хотел просить тебя, Валеру, еще кого-нибудь помочь с переездом. Особых вещей не будет. Но на «РАФик» наберется.

- Планируйте на выходные, - подала голос Людмила Петровна, - так как не могу в один день сразу двоих вас отпустить.

- Лады! – ответил Женя…

…Сосед отца по гаражам, подполковник милиции действительно взял мой паспорт. Попросил подождать и через полчаса принес его с штампом выписки. Сп росил: «А там, куда ты переезжаешь, какой номер у отделения.»

- Даже не знаю, - пожал я плечами.

- Хорошо. Новый адрес назови.

Я назвал. Подполковник открыл какой-то справочник. Поднял телефонную трубку. Набрал номер. Когда ответили, весело поздоровался, назвав собеседника по имени. Попросил: «Тут наш один паренек переезжает на твою территорию. Окажи содействие: оформи хотя бы завтра за день. А? С меня причитается.»

И положил трубку. Улыбнулся мне: «Лети. В отделении милиции спросишь подполковника Щеглова Анатолия Михайловича. Он поможет. Возможно, что уже сегодня успеешь поставить штамп прописки. Что-то мы с отцом твоим никак в гаражах не пересечемся. Передавай ему привет.»

Через час я шел по Изумрудной улице. И в здешнем отделении милиции долго ждать не пришлось. Подполковник Щеглов позвонил куда-то. Сказал, что сейчас зайдет.

Тоже взял мой паспорт. Меня же попросил подождать. Вышел. Минут через сорок вернулся. Поздравил: «С новосельем.»

И вручил паспорт со штампом новой прописки. «По блату! - усмехнувшись, вспомнил я рассуждения Татианы. Подумал: «Какой же это блат? Какая же кровь? Это – по-русски! По знакомству. Так всегда было: круговая порука. По-ру-ка. Помощь рук тех, кто вокруг. В субботу можно переезжать»!

Я ехал в метро и чувствовал себя усталым, словно разгрузил вагон мешков с картошкой. Но усталость эта была сладкой. А дома отец поздравил меня. Мать же наоборот молчала. Поджимала губы. Видно было, что она едва сдерживает себя, чтобы не сказать что-нибудь дурное. Но в конце ужина все-таки не выдержала: «Ну, теперь твоя душенька довольна? И здесь за тебя почти все отец сделал. Когда же ты сам начнешь?»

- В субботу, - хмыкнул я, - перееду в субботу.

- А дача?

- А когда еще? У меня только два выходных! Видишь, я даже к жене, в Минск, уже больше месяца не могу съездить!

- К же-э-эне! Ну, что ж. Тогда учти: мы помогать с переездом не будем! В пятницу едем на дачу, - снова поджала губы она.

После ужина я тихонько зашел в комнату Алины. Прошептал: «Сестренка! У меня получка только во вторник. Боюсь денег на переезд не хватит. Ты не дашь в долг «десяточку»?»

Алина пожала плечами и достала из сумочки деньги. Я поцеловал сестру в щеку и выскользнул к себе. Пересчитав деньги, решил, что теперь по-любому должно хватить. Надо ведь еще ребят угостить! Так сказать, новоселье справить. Поздно вечером, когда родители улеглись, я вынес телефон на лоджию и позвонил Валентине. Сообщил о переезде. Она обрадовалась: «Значит, мы через воскресенье увидимся? Я так соскучилась!»

- Обязательно! – теперь обрадовался я…

В пятницу я пришел поздно. Родителей и сестры уже не было: уехали. Всю ночь собирал вещи. Два чемодана, пять больших коробок с книгами и бумагами, коробка с необходимой посудой. Мать выставила мне на письменный стол две кастрюли, ковшик, старый аллюминиевый чайник, небольшую сковородку, несколько тарелок, чашки, ложки, вилки, ножи. А рядом лежала записка: «Не вздумай забирать письменный

стол! Или еще что-то из домашнего. Ты же сказал, что вся мебель там есть»…

Утром в субботу я встречал на троллейбусной остановке Женю, Валеру и Алешу из «Московского железнодорожника», - надо же, жил так, что друзья даже адреса не знают! Алеша побежал «ловить» машину.

- Ну он, со своим умением забалтывать мигом обернется! – засмеялся Женя. И мы, оставшиеся вещи, снесли на улицу. А тут и Алеша, - действительно быстро! - приехал на «УАЗике». Шепнул мне: «Двадцатку» просит! Я считаю, что – недорого!»

Я кивнул. И мы начали грузиться. По дороге я попросил остановиться у какого-то большого «Гастронома» на Ярославском шоссе. С утра там народу было мало. Поэтому я быстро отоварился сыром, колбасой, хлебом, коньяком, водкой, консервированными огурцами, помидорами, килькой, луком, лимонами, другой зеленью… Соседки дома не оказалось. Мы быстро разгрузились. Внесли вещи в комнату. Все это время радостное ощущение новой жизни переполняло меня. Я распаковывал коробки, чтобы достать посуду, полотенце. Валера нарезал продукты, Алеша вскрывал консервы, Женя на кухне вспосласкивал тарелки, чашки, - рюмками и

стаканами я еще не обзавелся. И все это было весело. Алеша тараторил: «А что? Главное – свое жилье! А рюмки, там, прочая утварь нарастет, как мясо на костях. Были бы кости, а мясо нарасет. Так ведь говорят. А выпить можно и из горла. Тогда и чашки под коньяк ли, под водку ли – роскошь! А новоселье так даже интереснее справлять! А? Или я что-то не так говорю?!»

Мы уселись за стол. Наполнили чашки. Подняли первый тост. Но тут хлопнула входная дверь и перед нами возникла женищна лет пятидесяти. Под плащом виднелись байковый халат не первой свежести, поверх которого был подвязан такой же передник. На ногах – резиновые боты. Она уперла руки в боки и крикнула: «Это чего вы здесь делаете? Я сейчас милицию вызову!»

- Тише! Успокойтесь! - встал я из-за стола. Подошел к ней: «Могу показать паспорт с пропиской по данному адресу. Я – ваш новый сосед. Зовут меня Александром. Вот, друзья помогли перевезти вещи. И мы решили скромно отпраздновать новоселье. Может быть и вы присоединитесь?»

- Что-а-а?! С вами?! С алкоголиками?!

И она хлопнула дверью в мою комнату, закрыв ее.

- Ну-у-у, ты попал! – крутанул головой Алеша.

- Сейчас, - встал из-за стола Валера, - у меня богатый опыт общения с соседями по коммуналке.

Он вышел. Сначала было тихо. Но потом раздались вопли соседки. Валера вернулся и сел на свое место. Поднял чашку и, улыбнувшись провозгласил: «Продолжим! За новоселье!»

Мы выпили. Закусили. Однако, не успели налить по второй, как в дверь позвонили. Щелкнул замок и перед нами возникли два милиционера.

- Ваши документы, - потребовал старшина.

- Пожалйста, - протянул я паспорт.

Тот полистал его. Обернувшись на напарника, пожал плечами. Хмыкнул: «Прописан по этому адресу.»

Опять повернулся к нам: «Поступило устное заявление, что здесь – пьяный дебош, устроенный забравшимися ворами. И они посягают на пожилую женщину.»

- Товарищ старшина, - заговорил Алеша, - вот мое удостоверение. Я - журналист. Мы помогли переехать другу в новое жилье. Прописку вы видели. Теперь решили скромно отпраздновать новоселье.

Что здесь противозаконного? Мы что, пьяные? Разве бутылка коньяка на четверых – пьяный дебош?

- Кстати, - вмешался я, - можете позвонить подполковнику Щеглову Анатолию Михайловичу. Мы с ним знакомы.

Милиционеры переглянулись. Старшина обернулся на соседку: «Что ж это вы, уважаемая, ложный вызов сделали. Где у вас телефон?»

- В комнате, - буркнула та. Ушла. Но тут же вытянула аппарат. Подала старшине. Тот позвонил. Сказал в трубку: «Все нормально. Ложный вызов.»

- Товарищ старшина, - воскликнул Валера, - вы уж разъясните соседке нашего друга, что телефон в коммунальной квартире должен стоять в месте общего пользования. Александр Леонидович – тоже журналист. Ему телефон бывает необходим для работы.

- Да-да, - кивнул милиционер, - вы уж, уважаемая, выставьте телефон в прихожую там или на кухню. Это – коммунальная квартира. Так что, соблюдайте правила социалистического общежития.

Соседка поджала губы. В сердцах поставила телефонный аппарат на тумбочку в прихожей. Буркнула: «Я и на вас управу найду!»

- Что-что-что? – вытянул шею вперед старшина. Строго проговорил: «А не хотите ли, чтобы я вас сейчас оштрафовал за ложный вызов милиции? Ишь! Смотри у меня, старая! Еще раз ложно вызовешь, на пятнадцать суток определю.»

Он повернулся к нам: «С нововсельем! Только вы – того… Не слишком усугубляйте.»

Он щелкнул себя пальцами сбоку по шее. Приложил руку к козырьку. Буркнул напарнику: «По-о-ошли…»

И мы снова услышали, как хлопнула входная дверь. Ей последовала и та, которая вела в комнату соседки. А мы закрылись и продолжили застолье. По очереди читали стихи. Смеялись. Шутили. Валера рассказывал, как он «приручал» очередных соседей по «коммуналке». Советовал не цацкаться с бабкой. И в сумерках я пошел провожать всех до метро.

Вернувшись, помыл посуду. Составил ее в шкаф, оставшийся от бывшего жильца. Открыл окно. Покурил. И сладко вздохнув, улегся на выпирающий кое-где пружинами диван. Спал, словно младенец, решив во что бы то ни стало утром пойти, наконец, на Божественную Литургию. Но выйдя часов в семь из своей новой комнаты, и зайдя в

ванную, я увидел зеркало над умывальником, густо намазанное чем-то, вроде горчицы. «Ага! Это – чтобы я не смог побриться!» - мелькнула мысль. Тут на меня напал такой смех! Но был он очень недобрым. В голове крутились мысли, выстраивающие планы мести. «Боже мой! И кому? Старой, неумной, может быть, поэтому и несчастной, женщине?! Как же с таким «миром» идти в храм Божий?! Господи! Помилуй! Умири сердце мое»! Я налил в стакан горячей воды и побрился в своей комнате перед маленьким зеркалом. Слава Богу, в сердце понемногу утихли недобрые чувства. И я поехал в церковь Воскресения Словущего на улице Неждановой в надежде на то, что дух отца Валерия, - Царствие ему Небесное, - все еще теплится там. Увы, ни одного знакомого лица я так и не увидел. Укоряя себя в том, что пришел-то к Богу, а не в поисках кого-то или чего-то земного, службу отстоял. Но решил позвонить Василько, чтобы узнать: где же все-таки восстанавливает храм отец диакон Николай. И в следующий раз поехать именно туда. Подумал, что, должно быть, и Василько, и Мария теперь ездят к брату. Помогают. Как же я их давно не видел! А ведь именно им я обязан многим! Но всё своим каким-то,

мелочным мирком занимаюсь. Прости, Господи!

Я шел по Тверскому бульвару. Вспоминал последние годы жизни. Сладко вспоминал! Подумал: как хорошо было бы сейчас вот так с Валентиной и Маришкой возвращаться из храма. Тем более, что теперь у меня есть свое жилье, где я могу молиться, поститься. И которое можно обменять, съезжаясь с Валентиной. Даже жарко стало от таких мыслей. Как же я соскучился!

- Пора двигаться! – прервал наше молчание княжич Димитрий. Обвел нас всех взглядом: «Пойдем против движения этого отряда. Я уверен, что им навстречу двигается другой. А позади их если кто и идет, то еще довольно далеко. Пойдем лесом вдоль опушки. На поле никому не выезжать. Впереди, верстах в десяти, – поместье одного нашего, белоруса. Ночью навестим его. По коням.»

Двигаться мы вынуждены были медленно. Пойди-ка, поскачи по лесу. Поравнявшись со мной, болярин Иоанн крутанул головой: «Ну, и девка эта Алена. Если бы не она.»

- ? – дернул я подбородком снизу вверх.

- Так она же настояла на том, чтобы мы вернулись и, окружив, ударили в спину ворогу. А когда ее стали убеждать, что сие безполезно, она вздыбила коня, мол, не хотите, я одна поеду. И, знаешь ли, развернулась в вашу сторону, поскакала! Ну, что нам оставалось делать?!

Я чуть не задохнулся от радости. Не знал, что и ответить. Поэтому спросил первое, что пришло в голову: «Скажи, брат Иоанн, часто ли так лгать приходится, как вяземскому кормленщику? Ведь какой бы ложь не была, даже во благо Державе, она остается ложью. Грехом!»

- И-и-и! Брат! Это – не ложь. Это – сохранение Государевой и служебной тайны. Хитрость, ежели желаешь. Ну, скажи я кормленщику правду. Кому и какая польза от этого была бы? А? Нам? Ему? Государю? Державе? Делу, на которое мы посланы? Или только, - возможно! – ворогу? Хотя и кормленщик – мой дальний сродник. А как сохранить тайну, чтобы не искушать даже своего, но недопущенного к ней? Чтобы не оскорбить его, - возможно! – верного служаку, но чрезмерно любопытного? На этом все посольские дела строятся.

- На лжи?

- Да полно тебе! Сам же помнишь, поди, как он удивился, увидев вас с Митькой, только недавно проходивших мимо него на Москву.

Я встряхнул головой. Подумал: «Может и не по чину мне судить о том.» Поэтому решил переменить тему беседы. Сказал: «Брат Иоанн, тот пан, коего…»

- Коего Алена из лука положила? Самого распетушенного? – хмыкнув, перебил меня болярин.

- Да, самого главного. Так вот, он назвал одно имя. Сказал, что пан Голдштинский, сдается мне, если не запамятовал, за нас должен дорого заплатить.

- Как ты сказал? Голд-штин-ский? «Голд» на разных языках означает – золото, цвет золота, золотистый цвет, богатство, сокровища, центр мишени при стрельбе из лука… Вот, ежели знакомец княжича жив, у него про этого Голдштинского и узнаем.

Я взглянул на Митьку, а тот вдруг поднял руку, останавливая наше движение. Скользнул с коня. Ему последовали еще двое его молодцов. Крадучись, они опять же проскользили вперед и слегка в глубь леса. Послышалось приглушенное оханье. И скоро Княжич с ратниками притащили мужичонку

в драном полушубке и треухе. В руках у одного из молодцев был грубо слаженный лук, колчан со стрелами, сабля и топор.

- Во-о-от, - улыбнулся княжич Димитрий встряхивая мужичка за ворот полушубка, - из схрона подземного выудили. Но не сопротивлялся. Почему?

- Кто таков? – спросил полонянина болярин Иоанн. Мужичонка помотал головой. Тогда болярин Иоанн спросил не по-нашему. Раз. Другой. Вдруг мужичонка мелко закивал. И что-то затараторил. Болярин внимательно слушал. Потом объявил, обведя всех взглядом: «Оказывается нас ждут не только вороги. Он говорит, что послан свои князем встретить нас и предупредить, что нагнали сюда ратников несчитано. По наши души. Он сам чуть было не попался тому отряду, который мы встретили. Но, говорит, Бог не попустил, чтобы конные наступили на крышу его схрона, хотя трое прошли в локте от нее.

Княжич Димитрий тоже что-то спросил мужичонку. И тоже не по-нашему. Мужичонка опять мелко закивал. Широко перекрестился по-русьски.

- Он – холоп моего знакомца. Нашего соглядатая, к которому мы и идем.

Мужичонка опять что-то затараторил. Болярин Иоанн выслушал. Перевел: «Надо поспешать. Они ходят вдоль леса по сотне-две через каждые шесть часов. Княжич оказался прав: идут обычно навстречу другу другу. Но в поле не выезжают. И с поля не наблюдают. Пойдем рысью по опушке.»

- Здесь недалеко, - кивнул княжич Димитрий. И повелел мужичку: «Веди.»

Мужичонка снова затараторил. Болярин Иоанн опять перевел: «К его князю в терем нельзя. Там – паны, что воеводствуют над отрядами, обходящими двадцать верст в этих местах. Но он обещал отвести в надежное место…

Мы тронулись в путь напрямую, от леса. И скоро пересекли поле, прошли рощицу и вышли к другому полю, на краю которого стоял длинный, ветхий то ли амбар, то ли овин, то ли еще что. Как там у иноземцев?! Внутри оказалось много сена. Мужичок жестом пригласил располагаться. Забормотал. Оказалось, что ворожьи ратники сюда даже не заходят. И он просит коня, чтобы побыстрее сообщить о нас своему князю. Скоро он ускакал. А я спросил княжича: «Ты уверен, что не приведет сюда ворогов? Ведь отсюда нас легче выкурить всем скопом, нежели гонять по лесу.

Княжич кивнул: «Он мое тайное словечко знает. Родовое.»

Начало смеркаться. Но огонь разводить было нельзя. Мы прыгали, «петушились», старясь согреться во влажной промозглости чужой земли. Кони устало жевали сено. Двое дозорных сидели на балках под самой крышей. Темнело долго. Но и в темноте пришлось прождать немало, пока, наконец, до нас донесся глухой топот копыт. Мы замерли. Обнажили сабли. Приготовили самострелы. После тихого оклика Митька облегченно вздохнул. Махнул рукой, показывая, что опасаться нечего. А в постройку вошел плотный, крепкий, с пышными седеющими усами, в панской одежке, как я понял, его знакомец. Они обнялись. Похристосовались. И гость, - или хозяин? – перекрестился и поклонился нам в пояс.

Княжич представил его: «Князь Станислав.»

Мы ответили тем же. А знакомец Митьки заговорил на не совсем правильном русьском языке: «Пришлось упоить и панов, и сторожу их. Чем же вы им не по душе пришлись? Нагнали ратников! Пан Голдштейн, колдун поганый, из Тисовья золото за ваши головы обещал.

- В Тисовье мы и идем, - ответил за всех Митька.

Князь Станислав даже свистнул: «В этот змеюшник? Да там – нечисти, как грязи.»

- Дело Государево, - пояснил болярин Иоанн.

- Ну, что ж… К утру пришлю вам бродяжий одяг. В облачении русьских ратников вам здесь ходить нельзя. А пока вкусите то, что Бог послал.

И двое мужиков внесли несколько мешков и коробов всякой снеди. Бочонок.

- Доброе вино. Хмелит самую малость. Но душу веселит и плоть греет, - пояснил князь Станислав.

- Окажи теперь милость, - обратился к нему болярин Иоанн, - поведай, коли знаешь, кто такой пан Голдштинский?

Князь Станислав крутанул головой. Перекрестился. Наложил крестное знамение на четыре угла нашего схрона. Потом только проговорил: «Говорю же: самим бы ведать. Голдштинский – это по-местному. На самом же деле – Годштейн. Колдун, чернокнижник, оборотень. Так люди говорят. Он-то и обитает в Тисовье. Туда раньше одна змеюка наезжала! Красивая, стерва! Про нее вам Митенька много рассказать может. Но над

нею это пан Голдштинский всегда стоял. Появляется он то в сером балахоне, то в монашеской сутане. А на вид – страшен, что твой бес. Нос длинный. Крючком. Свисает до самого подбородка, который на вершок вперед выставляется. И бо-о-огатый! Сам король у него в должниках ходит. Говорят, из свинца золото умеет делать. Опять же, полагаю, колдовством. Но там, где он появляется, добра не жди. Или младенцы пропадают, или девки непорочные. Или пожары случаются. Или скотина издыхает. А еще сказывают, что в Тисовье этом самом собирается вся нечисть и шабаши свои устраивает. Прости, Господи. Сторожа там вся в черной коже ходит. Поговаривают, что и нелюди есть среди сторожников. Будто бы из глины вылеплены. Но сам я не видел. Вы меня простите. Опасаюсь, как бы паны не проснулись, да меня не хватились.

Он перекрестился сам, перекрестил нас и вышел вон. Скоро топот копыт, - его и холопских коней, - затих.

- Значит так, - вздохнул Митька, - именно его мы и оставили в тот раз, считая безвредным. Предлагаюсь на ваш совет, князья. До Тисовья идем ночами. Путь я знаю. Там, если удастся, добудем ворожье снаряжение. Болярин Иоанн должен

выступить десятником, который полонил нас. Так мы и войдем в замок. А там уж, как Бог даст.

- А ежели не удастся добыть снаряжение? – крутанул головой Дубок.

- Не думаю. Сам же слышал, что ратников ихних здесь, как грязи.

- Тогда надо идти поближе к дороге. Уж по ней-то они тем паче шныряют, - заметил и я.

- А как же прозрачный шар? Ведь ежели этот упырь нас в Вязьме угадал, то уж здесь-то.., - проговорил болярин Иоанн.

- Надо непрестанную молитву творить. По очереди, - подал голос Тишка, - и неужто Господь даст посрамить нашу веру в Него какому-то оборотню?!

- Выходим. Ждать князя Станислова не будем. И ему, и нам – безопаснее! Что скажете? – обвел всех взглядом болярин Иоанн. Мы, кивнув, вскочили верхом. И Митька повел нас через поле. Сам же он громко читал молитвы. За ним – болярин Иоанн. Следом – я. И так – каждый из нашего небольшого отряда. Днем мы отлеживалась в балках и оврагах. Иззяблись, - костров-то разводить нельзя. Но молитва текла непрестанно и все-таки согревала нас. На пятое утро Митька, взяв два десятка,

пошел к дороге. А мы принялись молиться все сразу. К вечеру дозорный скатился в овраг. Выдохнул: «Вороги! Десятка два!»

И точно прямо на нас обрушились местные ратники в полном снаряжении. Мы – за сабли. Но вдруг самый первый из нападавших воскликнул Митькиным голосом: «Вот этого я боле всего опасался. Простите за неудачную шутку.»

Мы опешили. А Митька сбросил шелом. Снял с седла мешок. Протянул его болярину Иоанну: «Твое панское снаряжение. Примерь. Тот несчастный, по-моему таких же размеров был.»

- ?

- Наш, белорус, оказался. Жаль, хоть и иуда…

Болярин Иоанн отошел в кусты и вышел оттуда заправским паном.

- А вот бороды все, кто в ворожьем снаряжении пойдет, придется сбрить! – хмыкнул княжич. И провел ладонью по бороде князя Иоанна: «Но вы не кручиньтесь! До Москвы опять отрастут!»

И все принялись готовиться к последнему переходу. А молитва текла, не прерываясь ни на миг.

Печально знакомый замок краснел вдали, словно из недр заснеженной земли

восставая из тумана кровью невинно убиенных. Сотен. А может быть, и тысяч. Оставив раненных с пятью ратниками и Аленой, мы двинулись к воротам. Впереди, гордо подбоченясь, ехал разодетый петухом болярин Иоанн. Меня, Митьку, Дубка, Тишку еще несколько наших, окруженных конными в ворожьем снаряжении, вели пешими, связав надрезанной у ладоней веревкой. Сзади скрипела двуколка, груженая нашим же оружием. Ворота замка были открыты. Туда-сюда сновали местные холопы, ратинки, купцы. Болярин Иоанн, пробиваясь сквозь них, не жалел плетей. Ругался: «Пся крев! Пшел вон!..»

И добавлял еще что-то не по-нашему. Перед стражниками, вооруженными пищалями, установленными на бердыши, - или как они у них еще называются, - он остановился. Поднятым вверх голым по-бабьему подбородком кивнул в нашу сторону. Смеясь, сказал что-то. Те тоже захохотали. Загомонили. Ответили. Я понял только про «магарыч», который они требовали, щелкая колчужными пальцами себе по горлу. После получения денег за нас. Болярин Иоанн пожал плечами, развел руки в стороны, мол, само собой разумеется! Мы, опустив головы, вошли в замок. Навстречу с

высокого крыльца спустился холоп в черном кожаном снаряжении, с саблей на боку. Болярин Иоанн, опять смеясь и показывая на нас, что-то втолковывал ему. Холоп смотрел пустыми белесыми глазами. А я подумал, что, мол, нелюдь, должно быть, про которых рассказывал князь Станислав.

Со всех концов площади перед замком поглазеть на нас сбегались холопы. Даже ратники, сидевшие у костров без доспехов и сабель, - около сотни, - оставив свои котлы и бердыши с пищалями, составленные в «козлы», подошли, ухмыляясь и явно завидуя болярину Иоанну. Но именно в это время тот подал знак. Два десятка болтов настигли своей цели. А я, Дубок, княжич Димитрий и Тишка, рванув веревки, и потворяя молитву Кресту, похватали с двуколки свое оружие и кинулись к крыльцу, на котором болярин Иоанн уже зарезал холопа в черной коже. Значит – не нелюдь, а холоп, опоенный зельем. И тут же мы увидели урода-старика, спускающегося по белокаменной широкой лестнице в сопровождении четырех холопов, очевидно телохранителей, - тоже в черной коже. Теперь он был в синем балахоне, отделано золотым шитьем. Но самодовольная улыбка предвкушения пыток, исчезла с его рожи,

как только он увидел, падающих под нашими саблями сторожников и нас, бегущих к нему. И откуда прыть взялась. Урод развернулся. Что-то крикнул холопам, проскользнул мимо них и побежал наверх. С телохранителями пришлось повозиться. Но Дубок, орудуя сразу двумя тяжелыми саблями, уложил двоих. С остальными двумя справился Митька. Мы бросились наверх за стариком. Перебегали из одного покоя в другой, но его как будто и след простыл. Наконец, Дубок крикнул: «Сюда! Он – здесь! Господи! Помоги!»

Мы вбежали в небольшой покой! В тот самый, где мне отстригала пальцы Алла. Старик бросил в огонь какие-то свитки. Нажал что-то на камине и стена отодвинулась. Старик бросился в проем. Стена начала задвигаться за ним, но Дубок повалил изваяние голой каменной бабы так, что она остановила ее.

- Ивашка! Свитки! – крикнул Митька и кинулся за стариком в проем.

- Тишка! Смотри за двором! И за околицей! – повелел я и последовал за Митькой. Как не сломал себе шею, прыгая через ступеньки крутой лестницы вниз?! Казалось, ей не будет конца! Но он все-таки был. Я оказался в длинном и широком

подземелье. Чуть не наткнулся на Митьку. Тот стоял в полуприсяде, так же как в лесу совсем недавно его десятник. Озирался по сторонам. Осмотрелся и я. Множество колонн. И за каждой из них нас могла ждать смерть. На стенах – горящие факеты. Пахло… кровью. Но вдруг где-то над нами раздался дребезжащий смех старика-урода. Митька по-мальчишески вытер нос рукавом. И это насмешило меня. А он, отдышавшись, сказал: «Пустое! Наверху – наши. Они не дадут ему уйти. Пошли. Нам нужен шар и глиняные истуканы.»

Мы двинулись спина к спине, ощетинившись четырьмя саблями. Но вдруг наткнулись на несколько рядов бочек. И тут на нас выскочил еще один холоп в черной коже. Но он упал. Митька, словно ножницами, саблями, обезглавил его. Вот бы научиться такому удару! Митька осмотрел один из бочонков.

- Порох! – сказал он. Покачал головой: «Хор-р-рошо они готовились.»

И мы двинулись дальше. В сумеречной глубине подземелья увидели… ряды глиняных истуканов, лежавших на дощатых щитах. Все они были уродами: вместо глаз на маленьких головках – щелки. Зато кулаки – куда больше голов.

- Вот они – големы, - прошептал Митька.

- Так давай, разобьем их! – предложил я.

- Глянь, сколько их! Дня не хватит! Пошли дальше!

И тут на нас выскочил еще один холоп в черной коже. Но тут же осел. Как-то так само собой получилось, что он сам наткнулся на мою саблю, которая вошла в него по самую рукоять. Мне стало противно. И я вытер клинок о кожу его полукомзола.

- Вот он, Алексашка! – показал Митька вперед. На широком, длинном столе, на золотой подставке возлежал прозрачный шар. Рядом были разбросаны какие-то непонятные предметы. Ага! Такой наши зодчие используют, чтобы определить, прямо ли лежит камень к земле, не наклонился ли. Угольник! Лопатка какая-то маленькая, на короткой рукояти. Острая! А вот этим, только большим, словно шагающий человек, измеряют наделы земли. Кинжал. Извилистый, словно змея. О! Пистоля!

- Нам это – ни к чему, – шепнул я, - нужен только шар. Берем, и уходим.

- Нет. Погоди! Глянь-ка! - показал Митька наверх. С конечной стены подземелья на нас смотрела козлиная рожа

черного цвета! Жуть! Я перекрестился. Прошептал: «*Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…*»

Стены были разрисованы всякими звездами, чем-то другим. Непонятным.

- Митька! Глянь, – воскликнул я, показывая на один из рисунков, - это же – святой великомученик Георгий Победоносец!

- Нет, - ответил он, - во-первых, у него нет нимба над головой. А значит – святости. Во-вторых, - нет креста на верхнем конце копья. Это – ихний «лыцарь». Наш враг. Враг Веры Православной! Так вот он, какой?! О-о-о-рден!

Митька опять огляделся. Кивнул в сторону. Там стоял каменный стол. Но столешница его была в виде креста, крылья которого были как бы сломаны в одну сторону. А на концах их виднелись кольца. Такие же какие используют в железах, надевая на руки и ноги колодника.

- Вот сюда они кладут жертву, - выдохнул Митька.

- Какую жертву? – мотнул непонимающе я головой.

- Младенца… Или девицу… Еще должен быть котел, в который сливают кровь жертвы, - продолжал оглядыватся он, -

ага! Вот! Помнишь, я тебе говорил? Ты шар взял?

- А то.

- Княже! Княжич! – услышали мы голос Тишки.

- Что? – громко ответил я.

- Уходить надобно! Наш дозорный крикнул, что в тысячах трех шагов от замка появились конные ратники. Не менее пятисот! А то и – поболе! С ними нам уже не справиться!

- Бери шар и уходи! – жестко произнес Митька.

- Что значит, уходи? А ты?

- Я догоню. Здесь они загубили мою Настасьюшку. Невесту. По капле сточили кровь. Вот здесь… На жертвеннике. А потом и меня пытали. Мне с ней проститься надобно. В послдений раз вижу место мученической кончины ее. За Христа!. Да уходи же!

Митька подошел к столу. Взял пистолю. Повертел ее в руках. Резко развернулся ко мне. Крикнул: «Уходи! Я – старший! Повелеваю!»

Вдруг он опустил голову. Тихо произнес: «Прости, брат! Пойми, ежели они не найдут нас здесь, кинутся в погоню. И мы не выполним тогда повеление Государево. А

так… У меня с ними – свои счеты. Другого пути нет. Здесь – много пороху. Пусть они все войдут в замок. У-хо-ди! Отслужи Государю и Отчине до конца. И за меня – тоже! Прощай.

Мы обнялись. Похристосовались. И я кинулся по лестнице вверх. Болярина Иоанна я догнал на белокаменных ступенях. В руках его был мешок.

- Спас почти все свитки! – весело хохотнул он. И потряс содержимым мешка: «Только вот урод этот выпрыгнул в окно. Ну, думаю, разбился! Поглядел. А его-то внизу и нет. Только ворона улетала в сторону леса. Жаль, ни лука, ни самострела под рукой не оказалось! А где княжич?»

- Уходим. Иначе дело Государево не сладим! Ежели Бог даст, он нас догонит, - сдерживая слезы и опустив голову, ответил я.

Двор замка был усыпан телами ворожьих ратников. Я удивленно взглянул на болярина Иоанна, Дубка. Подскакал Евсейка. Хохотнул: «Местные мужички пособили. Но я их всех повыгнал из замка, а то на колы ведь болезных посажают.»

- Уходим! – махнул плеткой болярин Иоанн, и мы вылетели за ворота. Подхватили раненных, сторожу и Алену.

Пошли по дну длинного оврага. Вдруг болярин Иоанн остановился. Оглянулся. Крутанул головой: «Что ж Митька не догоняет. Не привел бы за собой погоню»

- Не приведет! - опустил я голову. И в это время громыхнуло, словно сотня громов располосовало небо. Даже со дня оврага стало видно облако черного дыма и красной пыли.

- Не будет погони. Княжич Димитрий спас нас от нее. В подземелье много пороху было вдосталь! - не сдержал я слез. И перекрестился: «Помяни, Господи, во Царствии твоем болярина Димитрия, душу свою за други своя положившего.»

Все последовали за мной.

По дороге я рассказал и о големах, и о жертвеннике в виде изломанного креста, и о том, чем связан был княжич Димитрий с этим проклятым подземельем.

- Что ж, - вздохнул Дубок, - не осиное, - гнездо шершней извели! Митька извел, - Царствие ему Небесное! Княжич, князь Димитрий.

- А ведь действительно! Я только сейчас понял! Понял, – вскинулся болярин Иоанн, – что если бы он не взорвал замок вместе с ворогами, нас бы те пять сотен

изловили как зайцев мальчишки ловят в силки!

Все ехали молча. Скорбно. Алена плакала. Однако, ни одного ратника, ни одного дозора, ни одного разъезда ворожьего мы за три дня не встретили. Хотя следы от копыт сотни-двух коней не раз замечал мой Тишка. В воздухе потеплело. К полудню мы даже сбрасывали шубы. Но доспехов все равно не снимали. Еще через два дня заехали в уже знакомый лес. На опушке, где я десятком вступил в сечу, прикрывая отход наших, убиенные были кем-то убраны. Зато из чащи к нам выехал князь Станислав с тремя холопами.

- Как ты узнал, что мы идем? - похристосовавшись, спросил его болярин Иоанн.

- Дозор выставил. Мне еще вчера должили. А где княжич Димитрий? - оглядывал он нас. Все мы опустили головы…

- Да-а-а, - перекрестился князь Станислав, - только Митька мог пойти на такое подвижничество! Царствие ему Небесное. А громыхнуло-то как. Я же вслед за вами соглядадтаев своих послал, чтобы все знать, что с вами произошло. Мало ли, пришлось бы наших собирать, да к вам на

выручку идти. Хотя и это была бы верная смертушка. Так вот, мои людишки сказывали, что так громыхнуло! Весь замок пылью стал. А на месте его – яма. Глу-у-убокая! Саженей в пять-семь. Сказывали, что ворожий отряд в шесть сотен всадников как раз въехал в ворота. Но взрывом смело и тех, кто не успел въехать. Шесть сотен одним махом! Ай да Митька! Зато к суженной своей отправился на встречу. Ее ведь там в подземелье, как он рассказывал, - тогда размазывая слезы по лицу, - в жертву дьяволу принесли. Кровь по капельке сцедили. Потом, - изверги, - на его глазах пили. Она же невинной была. Девицей.

- А скажи-ка мне, на что ж им пороху столько надобно было? В подземелье?

- Кто ж его знает… Может быть и держали прозапас: мол, если русьские войска придут, так и стереть замок с лица земли, чтобы тайны свои навеки сховать. Я вам на дорожку тут снеди всякой заготовил.

Князь Станислав свистнул, и из леса выехал еще всадник, ведущий в поводу двух коней, обвешанных по бокам коробами и мешками.

- Дня на три хватит. Когда вы еще до своих-то доберетесь?! Давайте прощаться. Долгие проводы – лишние слезы.

Помолитесь за меня грешного? Тошнехонько мне здесь среди ворогов.

- А какое твое святое имя, данное при крещении? – спросила Алена.

- Как это какое?! Станислав!

- А разве есть такой святой?

- А то! Краковский епископ, священномученик Станислав был убит во время богослужения прямо в храме королем Болеславом.

- Так, значит, он – не наш, не Православный? Римский? Папский? – крутанул головой я.

- Не-е-ет, братия! Это произошло как раз, когда католики отходили от Апостольской Церкви. И убили-то его как раз за исповедание истинной веры! Мне еще дед рассказывал. Он-то лучше нас с вами знал.

- Век живи – век учись! – вздохнул болярин Иоанн.

Мы простились с князем Станиславом. И пошли обратным путем к рубежу. Было даже удивительно, что идем спокойно. Днем. Без всяких приключений. Молились, конечно. Теперь и я убедился в непобедимой силе молитвы. Думал: «Ну, разве можно одними человеческими силами одолеть такого врага? А ведь старик тот не распознал

нас в шаре своем. Значит Господь, будучи сильнее его, не дал посрамить нашей веры»! Поэтому решил неукоснительно утром и вечером молиться, что бы не произошло.

…Через несколько дней мы въезжали в Вязьму. Кормленщик, которому, должно быть доложили о нашем прибытии, выскочил на крыльцо. Засуетился. Закричал на холопов, чтобы обиходили коней, истопили баню! Нас с поклоном пригласил в палаты. На ходу тараторил: «Ох! Тут такие вести! Такие вести! Уж и не знаю даже, радостные ли? Вы же на Тисовсье ходили? Так нет более Тисовья! Взорвали его! Да так, что тысяча ратников ихних вместе с замком на воздух взлетели!»

- Прямо, так и тысяча! - хмыкнул Дубок.

- Так мои доглядчики донесли! - набычился кормленщик. Но вдруг остановился, округлил глаза, раскрыл рот: «Так э-э-э-то вы? Его? То-о-ого?..»

- Куда нам! – улыбнулся болярин Иоанн. Но тут же посерьезнел: «Молчи и никому - ни слова! Дело-то Государево.»

- А где ж княжич? Молоденький такой? Юркий? Веселый? – оглядел нас кормленщик.

- У княжича свои дела там, - ответил болярин Иоанн.

- А-а-а… Понимаю! - закивал кормленщик и боле о деле на заговаривал.

С дороги мы перекусили. В ожидании бани устроивались по покоям. Болярин Иоанн потребовал покой нам с ним на двоих. А мне сказал: «Ночевать будут с нами твоих двое людишек, и моих двое. В баню пойдем по очереди. Сперва - ты, потом – я. Мешок со свитками и книгами колдовскими, шар прозрачный завали рухлядью в углу. Глаз с них нельзя спускать.

- Ты думаешь, что кормленщик?..

- Ничего я не думаю. Но береженного Бог бережет.

Так мы и сделали. Но в Вязьме, слава Богу, никаких искушений не было. Кормленщик дал нам в сопровождение десяток конных стрельцов, сани со снедью на три дня пути до Можайска. Сам проводил до заставы.

- Ну, вот! Слава Богу, - перекрестился казак Евсейка, - теперь мы - на своей землице! Нич-ч-чего не страшно!

- И-и-и, брат, – усмехнулся Тишка, - видать, ты мало с нечистью всякой сталкивался! Нешто думаешь, что так просто выпустит нас с сокровищами своими?! Не-е-

ет! Она, зараза такая, ждет-пождет, чтобы мы успокоились. Вот тогда и вдарит! Промеж глаз-то!

- Не каркай! – обернулся к нему Дубок.

- А я что? Я – ничего. Я из опыта своего толкую…

Миновали мы и Царево Займище. Прошли и глухие леса перед Можайском. Я тоже стал успокаиваться. Болярин Василий опять встретил нас, как родных. Попарил в баньке, напоил, накормил. Следующий день был воскресным. Вяземских ратников мы решили отпустить восвояси, сменив их Можайскими. Те, почуяв волю, отправились на торг. А мы принялись собираться в дорогу. Когда вяземцы вернулись, я и не заметил. Но уже пристегивал саблю к поясу, а болярин Иоанн в который раз перепроверял содержимое мешков, как к нам в покой влетел Тишка и с порога завопил: «Вяземские ратники подрались за баней! В кровь бьются!»

Мы с болярином Иоанном, Дубком, кормленщиком, Евсейкой кинулись туда. Действительно, драка шла нешуточная. Похоже, пятеро дерущиеся уже ножи в ход пустить собирались. Кровь брызгала в стороны. Болярин Иоанн подскочил к ним: «Вы что это затеяли в чужом дому?!»

- Отзынь, болярин! – сверкнул на него красными глазами один из дерущихся. И взгляд его показался знакомым по красноте глаз: «Мы теперь не холопы тебе! Домой отпущены! Сами и решим свои дела.»

Но тут Дубок подскочил к ним. Отстранил болярина Иоанна. Двоих стукнул лбами. Третьему подставил подножку. А тут и стрельцы болярина Василия подскочили. Скрутили драчунов. Те со злобой смотрели на нас исподлобья. Глаза у всех пятерых брызгали каким-то красным светом. Но вдруг они сникли. А когда подняли головы, взглянули на нас совсем по-другому. Главный драчун испуганно спросил: «Что это с нами было?»

- Ты что?! За дураков нас держишь?! – подошел к нему я.

- Погоди, княже! Дозволь мне слово молвить? – подал голос Тишка. Получив разрешение, спросил драчуна: «Вы на торгу что делали?»

- Гостинцы сродникам покупали, - помотал, словно сбрасывая что-то с себя, головой ратник.

- Что ели-пили? Бражку? Мед?

- Не-е-ет, - заговорил другой, тоже, похоже, не понимающий, что с ними

произошло, - квасу у одного дедка испили Хороший квас! За-а-абористый.

- А что за дедок? – насторожился теперь я.

- Страшный такой. Но ласковый. И квас – хор-р-рош, - ответил еще один из драчунов.

- Страшный? А ну-ка, опиши его, какова рожа?– теперь что-то стал понимать болярин Иоанн.

- Дык… Какая?.. Нос – крючком. Дли-и-инный. С большой волосатой бородавкой на конце. Нос аж до подбородка достает. А тот выступает вперед, хоть в лапту им играй…

- Он!.. А где вы его видели? – выдохнул Тишка.

- Теперь там его нету, - вздохнул болярин Иоанн, - да и разыскивать нам недосуг. Надо на Москву поспешать.

- Ну, – дернул подбородком снизу вверх Тишка, обращаясь к Евсейке, - видал? «На нашей землице»! Вот оно, началось.

Тот только перекрестился. А тут в открытые ворота кормленщиковых хором ввалилась галдящая толпа горожан, вооруженных вилами, топорами, кольем. Они что-то кричали. Показывали на нас. Грозили нам кулаками. Наши стрельцы

ощетинились бердышами. Болярин Василий вышел перед нами. Перекрыл их галдеж зычным окриком: «А ну, молчать! Что за дело привело вас сюда?»

- Эт-т-то – не дело! Вышел перед толпой здоровенный мужик! Твои гости дочку Иринки-вдовицы снасильничали. Девка – до сих пор без памяти лежит! И что ж ей теперь делать? Когда ж у нас в Можайске такое творилось в последний раз? Поди и самые древние старики не вспомнят. За такое изуверство – на березках рвать надо! Как в старину! Не глядя, князь ли, болярин ли, ратник ли! Отдавай нам своих гостей. Добром отдавай! Тебя, болярин Василий, мы чтим. А этих… На березки!

Толпа опять загудела. Затрясла кольем, топорами и вилами в нашу сторону.

- Вы можете показать, кто снасильничал? Не все же они, тридцать человек?! – опять пресек галдеж болярин Василий.

- Ежели в их миру такое позволительно, значит все виновны! – крикнул кто-то из толпы. Болярин Василий крутанул головой. Задумался на миг… Громко заговорил: «Игнатка! Ты ли это говоришь? Тогда ответь: ежели твоего брата поймали на воровстве, так вся твоя родня виновна в

том? Кнутов-то дали только ему. Так, может быть, и тебе сейчас дать, и отцу твоему, и матери? И женке с чадами? И сестрице с мужем? А? И другим братьям и сестрам, кумам и сватьям? Так это – за милую душу! Прямо сейчас. Здесь. А потом я вам гостей своих всех отдам. А?

В толпе послышались смешки. А потом – возгласы: «Привели…»

- Вот она, болезная.

- Как и жить-то ей сейчас?!

Из толпы вышла плачущая баба. Она обнимала за плечо девку, завернувшуюся в шаль по самые глаза.

- Иринка! Пусть дочка покажет нам того, кто надругался над ней. Или – тех! - потребовал болярин Василий.

- Стройся! – крикнул я вяземским ратникам. И они нервно перебирая ногами и суча руками выравнялись в один ряд…

- Десятник! Все ли твои на месте? – спросил болярин Иоанн.

- Все! – оглядев строй, вытянулся тот.

- Покажи, девка! – потребовал болярин Василий. Иринка с дочкой прошли вдоль строя. Девка, прикрывая лицо шалью, останавливалась у каждого, вглядывалась. Наконец, остановилась у предпоследнего, прыщавого, какого-то занюханного, с

белесыми невидимыми ресницами и бровями…

- Он! – выдохнула она и зарыдала, так, что мать вынуждена была поддержать ее обеими руками.

- Не обозналась? – спросил болярин Василий, - ведь за навет пред Богом отвечать придется!

Девка, рыдая помотала головой и снова рукой махнула в сторону прыщавого. Вдовица Иринка увела дочку. Прыщавый стоял бледный. Лицо его покрылось красными пятнами. Болярин Василий подал знак и его холопы скрытили насильника.

- Ты делал это? – спросил его болярин Иоанн.

- Дык… Она ж сама…

- Лжешь! Впервые, увидев тебя? Да с твоими прыщами? Она ж здесь - не последняя невеста была! Даром, что безприданница, - повысил голос болярин Василий, - все равно от женихов отбоя не было! А миром бы и на свадебку собрали б! Лжешь, сучий потрох!

- Ой, прости болярин! - попытался опуститься на колени прыщавый. Но не смог, поддерживаемый ратниками: «Бес попутал! Не помню, как и насильничал. Не я это был! Во мне – что-то! Кваском меня на

торге старик один опоил. Простите, люди, Христа ради!»

- О Христе вспомнил? – воскликнул болярин Василий. Хлопнул плеткой себя по сапогу: «Тебе о нем надо было помнить, когда насильничал. А сотворив сие единожды, обязательно захочешь повторить кощунство свое!»

Он вздохнул… Еще раз хлопнул плеткой по сапогу. Походил взад-вперед, опустив голову. Наконец, повернул к болярину Иоанну. Оглянувшись на толпу, громко сказал: «Властью данной мне Государем, право судить насильника предоставляю болярину Посольского Приказа Иоанну. Он его начальник был до сего времени.»

Толпа недовольно загудела. Болярин Василий поднял руку. Всё стихло.

- А вы что? Хотите самосуд устроить? Так сие будет, – повысил он голос, - не по-русьски! Бог накажет за такое. Есть закон Божий. Есть закон Государев. Они – неразрывны. Преступив один, преступаешь и другой. Суди, болярин Иоанн. Государевым судом суди. А Господь разберется.

Болярин Иоанн обернулся на меня, как бы ища поддержки. Я знал, что за такое должно быть. И кивнул. Болярин Иоанн

вытянулся. Поднял голову. Отчеканил: «Повесить. Сей же час. На торгу. Чтоб другим неповадно было.»

Прыщавый заверещал. А ратинки потащили его, скрученного, за ворота… Болярин Иоанн обернулся к вяземскому десятнику: «Кормленщику расскажешь все, как было.»

А мне тихо проговорил: «Хотел было я повелеть, чтобы доложил он, мол, ратник погиб в стычке с ворогом. Да вспомнил слова твои про ложь. Спаси тя Господи.»

- Самое худое в том, что людишки местные недобро запомнят Государевых холопов, - вздохнул я. Болярин Иоанн подошел к вдовице Иринке. Я слышал, как он сказал ей: «Коли желаешь, можешь с дочкой ко мне в Москуву перебираться. Будешь не холопкой, а просто служанкой. И дочку твою мы там замуж выдадим. А?»

- Спаси тя Господи, болярин за доброе сердце. Но мы уж как-нибудь здесь проживем. Муж мой любимый похоронен в монастырской ограде. Как же я могилку его неухоженной оставлю?! И тятенька с маменькой. И другие сродники. Спаси тя Господи!

И она, обняв дочь, засеменила к воротам кормленщических хором. Мы

простились с боляринов Василием. Похристосовались. Поблагодарили. А он вдруг попросил у нас прощения: «Моя вина, что ирода какого-то, чародея, допустил на торг.»

- Не винись, болярин, - вдруг подала голос Алена, - чем чище душа, тем больше на нее нападок бесовских. Главное – выстоять перед ними.

У меня даже дыхание перехватило от ее мудрости. Ведь мы после гибели Митьки, - княжича Димитрия, Царствие ему Небесное, - и словом не обмолвились.

- Ну, что, – хмыкнув, спросил Тишка Евсейку, когда Можайск остался позади, - на своей землице? Не боишься кваску ворожейного опиться? Да сотворить что-нибудь. Про молитву мы забыли. И в Можайске даже в собор не заглянули. Я о благодарственном молебне даже и не говорю!

От этих слов кровь ударила мне в голову. В ближайшем же селе я предложил болярину Иоанну сделать привал. Сам заказал молебен, панихиду по отцу, мамушке, Митьке, другим нашим соратникам. Ночевали мы на постоялом дворе. Болярин Иоанн похрапывал. А мне не спалось. Или это только так казалось. Во всяком случае, покой наш вдруг осветился и в него вошел…

Митька. В красном плаще, золотых доспехах. Я хотел было вскочить, обнять его. Неужели, спасся?! Но он остановил меня жестом. Улыбаясь, сказал: «Не тревожься. Пришел навестить тебя. Сказать, что дело Государево, а значит и Божие, вы сладили.»

И вдруг за его спиной я увидел князя Станислава. Он был облачен, как и Митька. Только в правой руке держал крест из тонких, словно точеных веточек. Тоже улыбнулся: «Да. Мы ушли. И теперь – в воинстве Христовом. А прошли вы до своей земли благополучно только благодаря молитвам княжича Димитрия. Он незримо охранял вас в дороге, делал невидимыми для ворожьих разъездов, иных людишек.»

- А ты, князь? – спросил я.

- Как только вы уехали, я вернулся в поместье. Но, оказалось, что один мой холоп сиудствовал. Приехала сотня. И меня… посадили на кол. Те трехдневные мучения – ничто с благодатию Божией, которая дается за них! Это – высшая награда за службу Государю. Награда от Бога!

Весь оставшийся воскресный день ушел на разборку вещей, книг, бумаг. Да и то: не всё успел. Завалился спать только после полуночи. И словно через минуту,

затрезвонил будильник. На работе Людмила Петровна, почему-то улыбаясь до ямочек на щенках, спросила: «Ну, как? Обосновался на новом месте?»

«Сменила гнев на милость!» - недобро хмыкнул я про себя. А вслух ответил: «Куда там?! Только половину и разобрал. Спать лег после полуночи. Не выспался.»

- Переезд – это три пожара! – подхватила Кира.

- Смени деятельность: с физической на умственную! – продолжила заведующая отделом.

Но тут дверь в кабинет открылась и дверях показался по-военному подтянутый мужик лет сорока. Из-за его спины выглядывала незнакомая пожилая женщина с короткой стрижкой, в очках, со старомодным портфелем в руках. Рядом с ней стояла Галина Евсеевна. Она указала на гостей: «Вот, товарищи, Кирилл Николаевич - из нашего Управления Комитета Государственной безопасности на железнодорожном транспорте. Агнесса Федоровна – эксперт по вопросам, затронутым предполагаемым автором из Ленинграда, товарищем Левитским в статье и книге, о которых мы так много говорили на прошлой неделе. Агнесса Федоровна

любезно так быстро ознакомилась с рукописью и изданием. И уже может дать свою компетентную оценку.»

Галина Евсевна вопросительно взглянула на кэгэбэшника. Тот согласно кивнул. Взял один стул. Поставил его посередине кабинета. С поклоном предложил присесть эксперту. Сам же сел у двери на другой стул. Сказал: «Присаживайтесь, товарищи на свои рабочие места.»

Что мы и сделали. Лицо Людмилы Петровны покрылось красными пятнами. Агнесса Федоровна открыла свой портфель. Достала книжку Левицкого, статью и еще несколько листов бумаги, исписанных мелким почерком. Заговорила: «Тема обеих работ далеко неоднозначна. Поэтому я и хотела бы услышать мнения всех сотрудников отдела…»

Людмила Петровна перебила: «Простите меня, пожалуйста. Наши девушки-редакторы вообще незнакомы ни со статьей, ни с книгой. Александр Леонидович и Евгений Юрьевич читали только последнюю. Так есть ли смысл разговора в данном составе?»

- Ну, что ж, - внимательно вглядевшись в Людмилу Петровну, даже как бы задумавшись, произнесла Агнесса

Федоровна, - тогда девушки могут быть свободны… Не надолго.

- Нет-нет, - покачал головой Кирилл Николаевич, - я полагаю, что разговор касается всех сотрудников отдела. На будущее! И хочу предостеречь: ни о нашем визите, ни о разговоре никто, кроме присутствующих знать не должен. Начнем с вас, кажется, Евгений Юрьевич. Ваше мнение о книге?

- Ну-у-у… Как бы это сказать покороче, - замялся, было, Женя…

- Скажите, как думаете, - строго посмотрела на него эксперт, - короче ли, длиннее ли. Главное – по делу.

- Я заканчивал исторический. Поэтому принял книжку, как подобие сборника русских народных сказок и преданий. Про всяких лешаков, водяных, русалок, домовых. Конечно, было бы здорово, если бы все люди обладали способностями, к которым призывает автор. Действительно, сколько бы зла, жизненных ошибок, недоразумений мы смогли бы избежать. С другой стороны, я знаю, что в отдаленных деревнях живут бабки и дедки, умеющие колдовать. На родине моей мамы, на Рязанщине есть такие. Но они делают зло людям. Поэтому, мне кажется, к таким работам надо подходить

очень строго, очень избирательно. Ну, к примеру, научиться каждый третий, пусть – десятый этой, как ее, экстрасенсорике! Но разве есть гарантии, что он тоже не захочет творить зло? Я, конечно, не против подобных публикаций. Но повторюсь, к таким публикациям надо подходить очень острожно. Вот, если бы Агнесса Федоровна согласилась со своей стороны отредактировать…

- Вот именно, - перебил Женю Кирилл Николаевич, - над каждым таким «умельцем» не установишь контроль. А пускать подобные вещи на самотек и безконтрольность - антигосударственно. Сколько можно наворочать? Это – мое мнение. Простите за то, что перебил. Вы закончили, Евгений Юрьевич?

- Вобщем-то – да.

- Тогда ваше мнение, уважаемый? – показал кэгэбэшник на меня. Я пожал плечами. При сомкнутых губах пошевелил языком: «Господи, вразуми! Господи! Помоги!»

А вслух сказал: «Я - не историк. Однако, знаю, как Рерихи, современный Сидоров искали Шамбалу. Но это, если позволительно сказать, не ученые. Я верю в указанные способности человека. Но не могу

сделать научных выводов. Для этого, полагаю, руководство ЦДКЖ и обратилась к специалистам для эспертизы. А как редктор я обязан выполнять распоряжения заведующей отделом. И редактировать порученные мне статьи. В данном случае, опираясь на выводы экспертов.

- А почему вы так уверены, что выводы экспертизы будут положительны для публикации? – перебил меня Кирилл Николаевич.

- Я сказал только о выполнении своих служебных обязанностей вообще, - мне захотелось встать и выйти.

- Тогда достаточно, - кивнул кэгэбэшник, а я поймал благодарный взгляд Людмилы Петровны.

- Ну-с, теперь вам слово, - обратилсь к ней эксперт. И Людмила Петровна, краснея, запинаясь, заикаясь, опять начала говорить уже слышанное нами. Агнесса Федоровна, почти не мигая, смотрела на нее. Внимательно слушала. Иногда кривила губы в подобии улыбки. Дождалась, пока Людмила Петровна выговорится. Заключила: «Вопросы, затронутые в книге и в статье, слишком сложны для простого читателя, в данном случае, для рядового культпросветработника. Ими уже много лет

занимается наука. И опускать их до любительского уровня опасно, как для нашего общества развитого социализма, так и для отдельных личностей. Опасно хотя бы тем, что дилетант в своих исследованиям может смешать суеверия, предрассудки с реальными аномальными, парапсихологическими явлениями и другими научными открытиями. Поэтому разработки и ведутся профессиональными учеными. В закрытых лабораториях, деятельность является государственной тайной. Знания являются тай-ной!»

«Ага! Тайные знания! Мы как раз это сейчас проходим с Сергеем Емелиановичем!» - подумал торжествующе я. И тут в разговор вступил Кирилл Николаевич: «Как представитель компетентных органов, выполняя дерективы своего руководства, я прошу немедленно сдать мне все экземпляры рукописи статьи и книги Левитского. В Ленинграде они уже изъяты.»

- А как же быть с другими экспертами? – со слезами на глазах спросила Людмила Петровна.

- А больше никакой экспертизы не потребуется! - пожал плечами Кирилл Николаевич. И протянул руку, чтобы забрать бумаги у Людмилы Петровны: «Нет

статьи. Нет книги. И не было их. Мне, что подписку с вас об этом брать? Или потребовать психиатрической экспертизы для вас? Будьте здоровы.»

И он, собрав рукописи и книги, вышел из кабинета. За ним последовали Агнесса Федоровна и Галина Евсеевна. А среди нас на несколько минут воцарилась тишина. Наконец, Людимила Петровна встала. Вышла из-за стола. Зачем-то приоткрыла дверь. Выглянула в нее. Притворив обратно дверь, обвела нас взглядом. Заплакала. И сквозь слезы проговорила: «Все равно, спасибо вам, мальчики. Вы правильно говорили. Да и ничего другого нельзя было сказать. Я сразу почувствовала, что эта старая комитетчица-грымза, - небось сама поколдовывает! - будет «рубить» и статью, и книгу. Вот, боюсь только, что у Михаила Яковлевича сейчас неприятности начнутся. Как бы предупредить?!»

- Ой! Людмила Петровна, – покачал я головой, - боюсь, что поздно. Кирилл Николаевич со товарищи уже наверняка в Ленинград позвонили. Кому следует. Не зря же он сказал, что нет ни статьи, ни книги. Что экземпляры статьи и книги изъяты. Что не было их! А если вы станете звонить, как бы вам плохо не стало.

- Похоже, ты, Саша, прав. Ну что ж. Стало быть, еще не наступило время для таких научных статей. Для такой работы - над личностью, над ее совершенством. Ты, кстати, позвони своему профессору. Извинись. Скажи, что рецензия уже не нужна. А жаль! Правда?

Мы с Женей, облегченно вздохнув, переглянулись. Я тут же набрал номер телефона Сергея Емелиановича и нарочито официально передал ему то и так, как сказала Людмила Петровна. Он, должно быть, понял: хмыкнул в трубку. Но говорить ничего особенного не стал. И наш отдел принялся за обычную ежедневную работу. А вечером я, уже ни от кого не прячась, забрал телефон в свою комнату и позвонил Валентине. Но она попросила не приезжать, потому что будет оформлять выставку работ студийцев во Дворце молодежи к балу выпускников средних школ.

- Слушай! Попроси Виктора сделать несколько снимков. Пришли их с поездом. И напиши мне: что за выставка, где, как, когда откроется, какие интересные работы. Фамилии и имена авторов, организаторов. Попробую в «Гудок» пристроить.

«Замечательно! – подумал я, - Можно поехать на дачу, помочь родителям».

Позвонил им по телефону. Мать обрадовалась. Договорились: в пятницу я отпрошусь пораньше и приеду к ним.

Выходные пролетели, как пять минут. Спину не разгибал. Но зато все весенние работы были сделаны. Ужинали мы уже в Москве, в квартире у родителей. И ночевать я остался тоже у них. Утром едва поднялся: болели руки, ноги, спина, шея. Мать посмеялась: «Вот что значит - не заниматься постоянно физическим трудом. Растешь, сыночек!»

- У каждого – свое предназначение, - покачал головой отец.

- Все равно надо менять виды деятельности, - наставивала она, - к примеру, с умственной – на физическиую. Вон, Черчиль! Англией правил! А ведь каждый Божий день стену кирпичную клал, а потом разбирал.

- Ну, и какой толк в этом? Какая польза людям? – усмехнулся я.

- А ты чего над матерью надсмехаешься, - вдруг повысила голос она.

- Да он – над Черчилем, а не над тобой! – попытался умирить ее отец. И тоже усмехнулся: «А умственный труд на физический мы два дня дружно меняли. У

тебя самой-то, посмотри, как вены вздулись! Говорил же: не таскай по два ведра земли!»

- Надо же участок поднимать! Удобрять!

На этом мы и закончили разговор. Надо было разъезжаться каждому - на свою работу. А в среду рано утром я встречал поезд «Минск-Москва» с фотографиями и фактурой моего будущего репортажа. На работе написал пару страниц. Тут же отпечатал и к вечеру отвез в «Гудок». Прошел сразу к главному реактору. Увидев меня, он, улыбаясь, вышел из-за стола. Пожал руку: «Что-то давненько не появлялся у нас!»

- Работы много. Помятуя ваши слова, прямо к вам принес фоторепортаж из Минска. И две мои странички текста к нему.

Главный редактор перебрал фотографии. Прочитал мой текст. Тут же написал на нем: «На машинку и в печать».

Спросил: «Ну, как работается в ЦДКЖ?»

- Ой, да слава Богу, - вздохнул я.

- Ну, тогда будь здоров. В пятницу покупай «Гудок». Видишь, как и обещал, даю твою публикацию, что называется, «с колес». И даже фамилию твою оставляю.

…С тремя номерами «Гудка», на четвертой странице которого опять красовались моя Валентина, Степан, его жена, в пятницу вечером я вызжал в Минск. Валентина встретила меня в дверях озабоченная чем-то. Но, видимо взяла себя в руки. Была ласкова и заботлива. Хотя, мне показалось, того, внутреннего жара первых наших встреч у нее поубавилось. И намного. Маришка ушла в школу. Виталик, как сказала жена, – на работу…

- Ну, как твое новое жилье? – спросила она, часа два спустя выйдя из душа.

- Комната пятнадцать метров. Второй этаж. Без балкона, правда. Но сторона – солнечная. Из мебели – письменный стол, - помнишь, такие, у которых столешницы дермантином оббиты, шкаф, просиженный диван, два стула…

- А что? Родители тебе никакой мебели не дали?

- Мама предлагала тетушкин шкаф. Но он – из дерева. Тя-а-а-ажеленный! Для него грузовик нанимать надо было. А мы «УАЗиком» обошлись. Э-ко-но-ми-я! - попытался обнять я ее за талию и усадить на колени.

- Нет-нет-нет, - вывернулась она, - тебе что, мало? К тому же дел – по горло. Надо

вещи собирать. А что ты там про «Гудок» говорил?

И я торжественно достал из сумки газеты. Развернул. Приподнес.

- Ух ты! Теперь нам точно премию дадут!– вырвалось у Валентины. Но она тут же скриила губы: «Но разве можно так: писать репортаж, даже не приезжая на место события?»

- Ты – мои глаза и уши! Потому что, – почти продекламировал я, - мы же – единое целое!

- Вот это – правильно. Поэтому ты сейчас пойдешь в «Гастроном», купиш десятка два коробок из-под спиртного. Они – по десять копеек. В них уложишь книги. Это – близко тебе. Я начну складывать посуду. Ох, переезд – это три пожара! Учти, мне завтра надо быть в ДК. Поэтому вы с Маришей продолжите сборы. Только надо сходить в «Универсам». Там выпросишь большие коробки. Пойдешь с Маришей. Они увидят ребенка и смилостивятся. Их мы заполним всякими тряпочками. Они же – легкие! Мариша тоже пусть свои зимние вещи упаковывает. Но я все напишу вам.

- А как я большие коробки понесу?

- Господи! В первый раз переезжаешь? Сложишь стопкой. Перевяжешь веревкой.

- Погоди. А когда мы перевозить вещи будем?

- Ну-у-у, на следующей неделе. Хотелось бы… А ты бы все-таки взял командировку в Минск…

Маришка, придя из школы, сначала бросилась ко мне. Обняла. Но, взглянув на разложенные, готовые к упаковке вещи, вздохнула: «Ну, вот! Не поиграть! Не погулять! Вещи собирать!»

- Да-да, дорогая! Это же - важнее. Переезжаем, может быть, последний раз в жизни. В новой квартире еще наиграешься!

…Так, в сборах, и прошла суббота. Сколько же всяких вещей, оказывается, накопилось у Валентины! Хозяйственная! Вечером в воскресенье я уже опять ехал на поезде «Минск-Москва». И опять пришел раньше всех на работу. Позавтракал бутербродами. Запил кофе, который всегда был в отделе. И день прошел за редактурой. Только все-таки чувствовалось какая-то отчужденность между мной и Женей.

По дороге домой я купил хлеба, кофе, чай, колбасу, котлеты, яйца, макароны, сыр. Решил приготовить нормальный ужин. Но на кухне меня встретила соседка. Она смотрела на меня, сузив глаза, поджав губы, и уперев руки в бока. А на плите все четыре

комфорки оказались заняты бачком для кипячения белья, трехлитровой кастрюлей, гусятницей, чайником.

- Когда плита освободится, вы мне постучите, пожалуйста в дверь, - попросил я.

- Вот еще! У нас с семнадцатого года холуев нету! – хмыкнула она. И не меняя позы, заявила: «А плита мне сегодня допоздна нужна будет.»

- Но мне тоже нужно приготовить ужин… - сдержался я, чтобы не повысить голос. Но раздражение ужу клокотало внутри: «Мы же говорили, что две комфорки – ваши, две – мои.»

- Твоего ничего здесь нет! Это – коммуналка. И хозяйка здесь – я. Потому как живу уже десять лет. Со дня заселения дома. А ты – и недели еще не прожил.

Ну, что мне было делать? Драться с ней? Ту-п-п-пизм какой-то! Я поужинал всухомятку. А утром на работе рассказал о соседке всему отделу.

- А ты припугни ее Валерой! – хмыкнул Женя. И сделал свирепое лицо: «Помнишь, как она заверщала?

- Нет-нет, – вмешалась Людмила Петровна, - никаких силовых воздействий. Видимо, соседка эта – еще та штучка! Я советую потерпеть. Собрать как можно

больше фактов нарушения правил социалистического общежития и подать заявление в товарищеский суд. А мы обязательно придем на заседания суда. От предприятия.

- Людмила Петровна, – вскинулся Женя, - а не навестить ли нам с вами Сашу сегодня вечерком? Чайку у него в гостях попьем. Можно – чего покрепче!

- А вот про «покрепче» я советую даже не вспоминать до суда. И сегодня я не могу. Надо с дочкой позаниматься. Обещала. Так сказать, плановая проверка уроков и знаний. А вот завтра – можно.

- Лады! – радостно потер ладони Женя. А мне вдруг стало стыдно за всякие мысли о нашей заведующей отделом. В трудную минуту она оказалась настоящим другом и советчиком. После этого мне работалось особенно вдохновенно. И к вечеру я положил на стол Людмилы Петровны отредактированную статью. Поужинал на работе. С горячим чаем. Приехал домой. И сразу заперся в своей комнате. Улегся спать. Но навалившаяся, было, дремота сама собой улетучилась, когда я вспомнил, что не поговорил с начальством о командировке в Минск на ближайшие выходные. Всю ночь я проворочался в каком-то полусне. И утром

встал с головной болью. Попробовал выйти из своей комнаты и почувстовал приступ тошноты от увиденного. Напротив моей двери была открыта дверь в туалет. А там на унитазе восседала соседка со спущенными ниже колен рейтузами, с задранным подолом халата и широко расставленными ногами. Я даже крикнул: «Закрываться надо! Это – коммуналка!»

И захлопнул дверь своей комнаты. В ответ донеслась ругань, крик. Я открыл окно и закурил. Позавтракать решил на работе. Но ведь надо было еще умыться, побриться. Ванная оказалась свободной, но зеркало в ней снова было вымазано чем-то вроде горчицы. А из за своей спины я услышал голос соседки: «Нечего моим зеркалом пользоваться!»

- Я могу купить свое. Только куда же повесить, если ваше зеркало всю стену над умывальником занимает?

- Повесь себе на.., - сругнувшись, засмеялась соседка и ушла в свою комнату. Но настроение мое улучшилось: выйдя на кухню, я увидел, что плита свободна. Поэтому поставил на газ чайник, сковордку. Пожарил колбасы, залил их парой яиц. Вобщем, завтрак получился на славу.

Людмила Петровна встретила меня вопросом: «Какую еще пакость твоя соседушка придумала?»

Я и рассказал.

- Фу! Противно! А ведь она тебя выживает! – мотнула головой Людмила Петровна. И заключила: «Все. Решено. Мы сегодня идем к тебе в гости.»

- А может быть, Валеру позовем? – хохотнул Женя.

- Я же сказала: никаких силовых воздействий.

- Да-а-а, Саха, – покачал головой Женя, - в такой обстановочке не поработаешь! Ни стихов, ни романа не попишешь! И вообще, твоя соседка - просто из какого-то гротескного повествования. Такого сюжета даже Гоголю или Салтыкову-Щедрину не снилось! И Аверченке и Зощенкой! Если бы не ты про соседушку свою рассказывал, я ни за что бы не поверпл, что такие бывают в жизни!

- Ладно, мальчики! Давайте работать, что бы пораньше сегодня уйти, - прихлопнула ладонью по столу Людмила Петровна. И весь отдел углубился в редактуру. А вечером мы втроем входили в мою коммунальную квартиру. Все было тихо. Я пригласил гостей в комнату. Сам же

вышел на кухню поставить чайник. Но Людмила Петровна и Женя вышли ко мне. Оглядели обстановку. И тут появилась соседка. Смерила нас взглядом с ног до головы. Ухмыльнулась: «Одну на двоих привели! Чтоб в ванной не подмывалась. Еще заразу какую принесла!»

- Да как вы смеете?! – вспыхнула Людмила Петровна. - Я – начальница Александра Леонидовича! А это - его друг и коллега.»

- Ага! Начальница! В койке что ли? Я сейчас милицию вызову!

Она схватила телефон и направилась, было, к себе. Но Женя крикнул вслед: «Вызывай-вызывай! Теперь тебе уж точно ложный вызов оформят! И телефон не забудь поставить на место! В прихожую.»

Мы пили чай в моей комнате, но Людмила Петровна еще долго не могла придти в себя. Хмурилась. Молчала. Наконец, проговорила: «Потерпи еще немного… Соберем побольше фактов. И в суд подадим. Пока – в товарищеский по месту жительства. Кстати, поговорил бы ты с соседями по этажу, по дому. Здесь же - один подъезд.»

- Людмила Петровна, - перевел я разговор на другую тему, чтобы как-то

разрядить напряжение, - а я не мог бы на выходные в Минск в командировку съездить? Валентину надо перевезти. У нее столько мебели! Столько вещей!

- Завтра спрошу у Галины Евсеевны. Но по-моему в субботу и воскресенье должны быть какие-то показательные мероприятия по культпросветработе в ДК имени третьего интернационала. То ли семинар какой-то, то ли еще что… Директор на планерке заведующих отделами заикнулся. Сказал, что объявит в четверг. Еще сказал, что все мы должны будем присутствовать.

- А отгулы-то дадут? – спросил Женя.

- Ох, Евгений Юрьевич! Я сама мечтала в эти выходные генеральные уборку и стирку затеять. А про отгулы забудь. У нас - ненормированный рабочий день.

Через час я проводил своих гостей. И… будущих свидетелей. В четверг, после того, как нам объявили о предстоящем семинаре, вечером я позвонил Валентине. Думал, что расстроится, когда узнает, что я не смогу приехать. Но она весело прощебетала в трубку: «Вот ведь, только-только собиралась позвонить тебе! Хочу обрадовать: в субботу при-и-езжаю в Москву, в командировку. Там у вас какой-то семинар. Целую неделю будем вместе! Ты рад?»»

- Кончно, любимая! Каким поездом поедешь? Номер вагона?

- Ты мне завтра позвони. Часиков в шесть. Ну-у-у, в восемнадцать. Нам на работе билеты выдадут. А ночевать-то я в твоей новой квартире смогу?

- Конечно! Только тут соседка такая! Сущая ведьма!

- Ладно. Потом, при встрече расскажешь. Да и сама я увижу. Прове-э-эрю, насколько ты объективен к людям. Ха-ха. Шучу. Целую! Пока!

В трубке раздались короткие гудки. А я принялся наводить в комнате порядок. Утром, на работе, в кабинет вошла Галина Евсеевна и сразу подошла ко мне: «Я специально в телефонограмме указала данные вашей жены, как необходимой участницы семинара. Вы уже знаете? Значит встречать собираетесь? Вот и замечательно. Встретите всю белорусскую делегацию. А?»

- Конечно! Спасибо вам! А когда?

- Их поезд приходит в семь пятнадцать. Ну-у-у, плюс-минус – пять минут… Автобус с номером… Сейчас взгляну… Будет стоять перед самым вокзалом… Так, записывайте номер.

И она протянула мне клочек бумажки. Я записал. А она продолжала: «Отвезете всех

в нашу гостиницу. Проследите, чтобы оформились. А дальше… А дальше у вас и времени-то не останется. Открытие семинара начинается в девять-ноль-ноль… Учтите! Там будут люди из министерства, из ЦК профсоюза. Так что, пожалуйста, не ударьте лицом в грязь! Но вечером – банкет. А после него… Вы сами знаете! Ха-ха! Всё-таки, жена! За-а-а-аконная! Евгений Юрьевич встерчает делегацию Украины. Кирочка! Вот – бумажка! Ваши – молдаване. Люда! А ты, как всегда, – на Ленинградский вокзал! Встречай своих «проблемников.»

И Галина Евсеевна, что-то неожиданно весело мурлыча себе под нос, вышла из кабинета. Людмила Петровна почему-то жалостливо взглянуда на меня. Что-то пробормотала. А я, - счастливый, как теленок, впревые выбежавший по весне в зеленое поле, - мотнул головой: «Значит старик-корень все-таки прав оказался!»

- Какой старик-корень? – растянул звуки Женя, одновременно оглядев всех присутствующих.

- Да… Это - так… Из бабушкиной сказки! – весело, чуть не подпрыгнул я. Молитвенно сложил ладони: «Людмила Петровна! Разрешите нам в обед пива выпить чуть больше, чем положено? А?!»

- Ой, мальчики! Боюсь я за вас! Ну-у-у-у, выпейте, что ли. У вас, мужиков – одно на уме. Что ж делать?! Но, чтобы завтра – как огурчики!

- Малосо-о-ольные! – подхватил Женя и, обняв меня за плечо, увлек из кабинета. А в в коридоре спросил: «Ты что же, к этой своей старой ведьме-соседке везти Валентину собираешься?»

- А что делать?

- Слушай! А, может быть к родителям повезешь? Или, в крайнем случае, - ко мне! Мы с Танюшей вам комнату выделим.

- Нет, Жека! Пора свою семью строить начинать. По-своему. Если любит, поверит мне. Если же – нет, так она, нелюбовь эта, а значит, - ложь, и дальше проявится. Только - более жестоко…

…Утром я поднялся часов в пять. Проверил: все ли нормально в комнате. Кое-где подтер пыль. Намолол кофе. Подсчитал деньги: на холодильник «Морозко» хватало. Благо, его сейчас в любом магазине купит можно! Вот и обрадую жену! Я перекусил парой бутербродов с колбасой. «А не пост ли сейчас?!» - вспыхнула мысль. Но я ее отогнал: же-э-эна приезжает! В шесть я вышел из дома…

Из вагона на меня высыпались все знакомые из Минска. От Александра Адамовича и директора крепко попахивало перегаром. Зато Маргарита, как говорят, была в форме. А тут я увидел еще, - не к ночи будь помянута, - и Софию Соломоновну! В сиреневом, дорогом двубортном костюме. За ней тянулся целый выводок чем-то похожим на нее людей. И, - в том числе, - страшная секретарша, чей волос плавал в чашке с бледно-желтой жидкостью, именовавшимся ею чаем. Похоже, весь вагон занимали одни белорусы-железнодорожники, культпросветработники. Все они как-то странно суетились. Александр Адамович сразу сунул мне в руку бутылку «Беловежской пущи»: «Христом Богом молю: сохрани! На вечер!»

Я, мельком поцеловав жену при всех, отчего она густо покраснела. Громко объявил: «Братьев-белорусов прошу следовать за мной в автобус. Сейчас едем регистрируемся. Затем - открытие семинара. После торжественной части мы отвезем вас в гостиницу. Пообедаем там, в ресторане. Вы устроитесь. Отдохнете. Вечером - неофициальная часть. Прошу нигде не задерживаться. Следуйте за мной.»

…Как же все это было скучно: «торжествнная» часть. Валя даже толкнуа меня в бок, потому что я задремал. Зато обед выдался на славу. И банкет – тоже. Смеясь и дурачась мы вошли в мое новое жилье. А нас встретила соседка. Она опять стояла своем грязном на животе и груди голубом в мелкий цветочек халате. Уперла руки в боки. И наконец, четко и медлено произнесла: «Опять новую привел? Каждую ночь - новая баба! А если - с сифилисом?!»

- Да что это вы говорите?! Это – моя жена! И никого я не приводил! Да, как вы смеете лгать?! – даже опешил я.

- Лга-а-ать?! Да ты каждую ночь новых баб таскаешь! А с субботы на воскресенье двух притащил. Я заснуть не могла от их стонов и воплей! А позавчера с дружком – одну на двоих привели?! Тоже жена?! А? Что?! Неправда?

Я взглянул на Валентину. Она стояла бледная, словно снег. И не могла оторвать взгляда от соседки. Мне захотелдось ударить эту старую клеветницу. Я попытался оправдаться перед женой: «Валюша! Я с вечера пятницы до вечера понедельника на даче с родителями был! Работал там. Позвони! Спроси! А позавчера Женя с

Людмилой Петровной приходили. Мы чай пили! Понимаешь?! Ча-а-ай!»

Но Валентина резко развернулась и ушла в мою комнату. Я же достал паспорт и ткнул им в лицо соседки: «Убедись, старя мымра, что это – моя жена! И да воздаст тебе Господь все, что положено, за твою клевету!»

- Я сейчас милицию вызову! – взвизгнула она и юркнула в свою комнату.

А я ушел в свою. Там, упав ничком на диван, рыдала Валентина. Я попытался успокоить ее: «Ну, что ты, родная?! Не верь этой зловредной старухе! Ведьма!» И я попытался рассказать Валентине обо всем, что произошло со времени моего переезда. Она рыдала и только мотала головой. Наконец, вскинулась: «Конечно, Женя твой будет «отмазывать» тебя из мужской солидарности, а родители… Потому что – родители!.. Я сегодня буду спать одна… Постели мне, хотя бы на полу. На этом диване – невозможно! Пружины в бока ввинчиваются!»

- Хорошо, - вдруг, словно окаменев, ответил я, - постелю тебе на раскладушке.

- Да, - вскинула она снова голову, - а завтра я перееду в гостинницу. Так будет лучше для нас обоих. И если твоя соседка

лжет, я тем более должна хотя бы немного успокоиться.

- Хор-р-рошо! Но почему ты веришь ей, а не мне?! Жена!

- А почему я должна ей не верить? Она – жен-щи-на! И, по-своему, может быть, несчастна! Вот и пытается отвести меня от несчастья…

Я не знал, что сказать Валентине. Мне захотелось пойти и убить соседку. Прости, Господи. Слава Богу, я вспомнил о Нем! И не пошел… Валентина, засыпая на раскладушке, долго еще всхлипывала. А я вообще не мог заснуть в эту ночь. Утром я спокойно приготовил кофе, бутерброды. Валентина молчала. Съела. Выпила. И мы, так же молча, отправились на метро: на нем было ближе. В ДК Валентину сразу же окружили какие-то люди. Я подошел к Жене. Рассказал обо всем случившемся.

- Ну-у-у, старик.., - развел он руками, - я, конечно, попробую поговорить с ней. Пойдем-ка к Людмиле Петровне. Она – баба ушлая!

Но та была полностью занята разговорами с сотрудниками проблемной лаборатории. Отодвинув нас ладонью, шепнула только: «Мальчики! Не сейчас!»

И мы отправились в зрительный зал, где через несколько минут должно было начаться за-се-да-ни-е.

…Валентина уехала. Я стоял на платформе, как дурак. И думал: «Вот так! Получил свое жилье и думал, что все будет, как в раю. А праведно ли получил?! Ведь – по-те-рял! Где? Ну, где не так сделал?! Другие – женам на каждом шагу изменяют! И – ничего! Живут благопоучно! Даже богатеют от этого! Стоп! Мне же отец говорил, что ложь пошла с самого начала. И я покаялся в ней! А она? Так, может быть и в ней была какая-то, - пусть микроскопическая ложь, прости ее, Господи, - и мы теперь оба за нее отдуваемся? А как же Мариша? Она же поверила в семейное счастье»?!

Я не676поехал сразу в метро. Шел под проливным дождем по улице Горького. И горько думал. А соседке, застав ее на кухне, все-таки сказал: «Ну, стерва, если мы с женой разведемся из-за твоей клеветы, ты у меня попляшешь!»

И ушел в свою комнату. Взял чайник, кастрюлю, макароны, соль. Вышел. Комфорки опять все были заняты. Я на глазах у соседки освободил две из них от ее кастрюль. Та раскрыла рот. Хотела что-то

сказать. Но я опередил: «Сейчас вызову милицию и соседей, чтобы были свидетели твоего трамвайного хамства.»

Соседку как ветром сдуло в ее комнату. А я отварил макароны, вскипятил чайник. И ушел к себе ужинать. Вечером, уже погасив свет, открыл окно. Закурил. На глаза навернулись слезы. Уткнуться бы лицом в плечо близкого человека. А такого, похоже, нет. Вот, как узнает мать! Распилит пополам!

Обернувшись, я увидел в углу голову старика-корня. Он грустно, - или мне так показалось, - усмехнулся: «Ну-у-у, не горюй. Кто-то когда-то сказал, мол, и это пройдет. А между тем, всё – из-за того, что ты меня не слушаешь. Где? Где твой Небесный Покровитель? Ангел-Хранитель? Где другие, которым ты верил? Кстати… С женушкой-то пожестче надо быть! Не хочу ябедничать… Но она – тоже не ангел. Достойно простилась с бывшем. Напоследок, должно быть. В его постели! А небесные покровители твои? Что ж они не пришли к тебе на помощь? Что ж вместе с Небесной Покрожительницей женки твоей не подействовали на нее? А тебе и поплакаться некому! Кроме меня, конечно. Не горюй!677Не горюй! Я тут придумал кое-что. Завтра узнаешь, если получится. А ты для успокоения нервов выпил бы граммов

сто. А лучше – сто пятьдесят. Да и ложись спать. Утро вечера мудренее.

И голова исчезла. А я последовал совету: налил себе «Беловежской пущи», которую привезла Валентины, но которую мы так и не открыли. Не успели! И действительно, заснул, едва голова коснулась подушки. А утром на работе, когда в кабинете был один только Женя, мне позвонила… Валентина. Всхлипнув, сказала: «Прости меня, дорогой мой! Любимый! Я – самая последняя дура! Кому поверила! И вела себя по-дурацки! Прости, пожалуйста. Тут мне в поезде ночью соседка по купе на картах погадала. Оказалось, что три дамы нам пакостят. Хотят развести. Ну-у-у, одну я примерно угадываю. Наша Маргарита. Другая, похоже, твоя соседка…

- А третья? – спросил я.

- Даже не знаю… Мне Галя посоветовала к бабке одной сходить. Она - ясновидящая. Живет на самой окраине Минска.

- Что ты такое говоришь?! Разве ж можно? Ты у мамы твоей об этом спроси. Не ходи ни в коем случае!

- А как же мы узнаем про третью ведьму?

- А зачем? Надо просто любить друг друга. Не давать воли отрицательным эмоциям. Отгонять дурные мысли. Ты хотя бы кратенькое молитвенное правило утром и вечером вычитывай! Как тебя мама в детстве учила. Она же мне рассказывала об этом. Да и я тебе тоже говорил. Тогда никакие пакости колдовства к нашей семье не прилипнут. Говоришь, что тебе на картах раскинули. И в карты играть нельзя! Карты – это кощунство! Надрулательство над Страстями Господними! А уж тем более – гадать на них! Ты поняла?

- Угу! Но ты меня простил?

- Конечно! Я люблю тебя!

- Я тоже. Пока…

- Поцелуй Маришку.

Я облегченно вздохнул. Повесил трубку. Поднял глаза на Женю. Тот, тоже вздохнув, улыбнулся: «Ну, вот, видишь? Все обошлось. Саха, я рад за тебя!

В кабинет вошла Людмила Петровна. Внимательно и сочувственно посмотрела на меня. Перевела взгляд на Женю. А тот широко улыбнулся: «Все наладилось. Только что звонила Валентина. Они с Сашей помирились.

- Ну и замечательно! – вздохнула Людмила Петровна. Заговорщически

зашептала: «Но теперь это примирение надо закрепить. Я пошла к Галине Евсеевне выбивать командировку в Минск.»

- Ты что? Рассказал? – зашипел я на Женю.

- Да все давно знают! Поняли, когда Валентина переехала от тебя в гостиницу. Да и белорусы только об этом и судачили. Людмила Петровна сама хотела потолковать с твоей женой. Но я отговорил ее. Вот если бы Валентина сама подошла для такого разговора, тогда – другое дело! А?

Я кивнул. И мы пошли на перекур. А вернувшись в кабинет, я узнал, что меня посылают в Минск на неделю. Поэтому решил вечером навестить родителей. Но, когда добрался, застал только Алину. Она сообщила, что мать с отцом уехали во Владимир за бабушкой. И вернуться планируют только вечером в воскресенье.

- Там столько вещей! Мама звонила, сказала, что однотонный контейнер заказывать пришлось. Рабочих нанимать, - объясняла мне сестра, - а сколько рухляди на уже помойку выкинули!

- Неужели мать у бабушки ночует? – удивился я.

- Не-е-ет, - помотала Алина головой, - у дяди Юры с тетей Мариной. Она же от них звонила. А отец ночует у бабушки.

Мы с сестрой попили чайку, и я отправился к себе домой, собрать вещи, чтобы прямо с работы завтра поехать на Белорусский вокзал. И – в Минск!

Светлое Христово Воскресение мы встретили в Одинцове. Его хозяин узнал нас. Потчевал щедро. Все расспрашивал о походе. Болярин Иоанн отшучивался, переводил разговор на другое. Но, наконец, не выдержал: «Вот приедешь в Москву к Государю, у него и спроси! Не могу я с тобой о службе балаболить. Прости уж.»

…В Москве мы были в Среду Светлой Седмицы. И сразу же отправились в Кремль. Государь принял нас тут же, Христосованием. Каждому вручил по позолченному яйцу. Послал за митрополитом, Курбским, Адашевым, попом Сильвестром. Владыко Макарий пришел не один. С ним явился уже знакомый мне монах Тит. Иоанн Васильевич подробно расспрашивал о подземелье, о големах, разворачивал каждый свиток, листал книги. При этом, взглядывая на отца Тита спрашивал, знаком ли он с тем или иным

написанием. Тот кивал. Крестился. А нас Государь вдруг спросил: «Какие еще приборы, кроме прозрачного шара, вы видели?»

Болярин Иоанн рассказал.

- А что ж не привезли? – крутанул головой Иоанн Васильевич.

- Прости, Государь. Не успели. Едва ноги унесли. И то – только благодаря жертве князя Димитрия, - Царствие ему Небесное! Но я нарисовать их могу.

- Нужды в них нам нет, - заступился отец Тит за нас, - а вот изобразить их на пергаменте, дабы знать, что они собой представляют, полезно. Повели, Государь.

- Завтра принесешь, - кивнул Царь болярину Иоанну.

- Все исполню, - поклонился тот. Государь повернулся теперь к монаху: «А ты, честной отец, познакомишься с рукписями, с книгами. Седмицы, думаю, на это хватит. Потом будешь каждый день приходить, два часа обучать меня этому языку, растолковывать записи.»

Монах согласно поклонился. И спросил опять нас: «Был ли в подземелье каменный крест? Ломанный такой?»

- Был, отче, - кивнул я и начертал его чистом пергаменте.

- Ломанный? – перекрестился Царь

- Если бы лучи были повернуты в другую сторону, то крест назывался бы Гамматическим. Он как бы катится по солнцу. А этот… Антикрест. В подземелье он служил жертвенником, на котором распинали христианских младенцев, невинных дев, отроков, или тех, в ком течет Царская кровь, - разумею кровь святого Пророка, Царя и Псаломопевца Давида. При своих сатанинских мессах обитатели подземелья вскрывали своим жертвам самые кровеносные сосуды и пожирали кровь несчастных.

- Да-да, – закивал я, - княжич Димитрий, - Царствие ему Небесное, - говорил, что его невесту у него на глазах так пытали…

- Эх, Митька, Митька, – вздохнув, перекрестился Иоанн Васильевич, - таких, как он, нужных для Царства, мало, ой, как мало у меня. И стоил он не одну сотню добрых ратников. Терять таких, - лучших! - все равно, что доспехи со своего тела ронять во время сечи, под ударами ворогов. Все равно, что землю родную сиротить! Алешка! Адашев! Запиши: князю Александру даровать село. Под Тверью. Побольше пригляди. Побогаче! Да чтоб - с лесом,

рыбным промыслом. Семье княжича Димитрия, - из тех, кто жив еще, - там же. Тоже село. Ивашке Дубку – я жалую княжеский титул. И зваться теперь ему и всем потомкам – Дубовыми. А вместе с тем – отпиши и ему село. Рядом с Алексашкиным. За казенный счет всем троим поставить в селах хоромы. Пошли добрых казенных плотников. Скотинки маленько отгони, чтоб на первое время была. За такую службу – не жалко! О болярине Иоанне – особая речь. К вечеру, чтобы Указ и Грамоты были написаны. За трапезой, куда приглашаю и вас, братия, подпишу и прилюдно оглашу. Князья могут идти, а ты, болярин Иоанн, останься. Дело у меня к тебе новое. Заодно и про награду твою потолкуем.

Мы, счастливые, поклонились. Гаркнули дружно: «*Христос Воскрес*!»

- *Воистину Воскрес*! – прозвучал ответ присутствующих. И мы отправились восвояси. В переходе нас нагнал князь Курбский. Поздравил. Но усмехнулся: «А ведь мне, твоему начальнику, Государь до последнего дня не говорил, куда тебя отправил. Ну, да ладно. Меньше знаешь, спокойнее спишь. Ты сейчас можешь до Фоминой отдохнуть. Найдешь меня в

расположении тысячи. Нам сейчас – по пути до Белого города.»

- А ты, князь Иоанн, куда собрался? – повернулся я к Дубку.

- Дык… В Митькины, - Царствие ему Небесное, - хоромы ехать как-то неловко.., - задумался он.

- Поехали ко мне! Чай, ты с дочкой да казаками твоими не объедите.

- Спаси Господи за страннноприимство!

- А сельцо свое смотреть когда поедешь? – спросил Курбский.

- Вот, размышляю. Надо мне обратно, за Казань подаваться. Казаков поднимать и к походу готовиться. Чай, - не за горами.

Мы проезжали мимо Благовещенской башни, и я обратил внимание, что рядом с ней стоят несколько телег, с которых стрельцы сгоняли закованных в железа… боляр. Одного за другим, их вталкивали в низкие, но широкие двери. Князь Курбский заметил мой взгляд. Вздохнул. Проговорил: «Многое на Москве изменилось. Твои полоняне выдали немало болярских и княжеских детей. А те, - схваченные, - назвали своих знакомцев. Вот и устроили в Благовещенской башнее темницы. Каждый день привозят сюда подозреваемых в измене. А скольких уже казнили?!»

- Так за дело же! – мотнул головой Дубок.

- Да… Те, кого казнили, на дыбе да под раскаленными прутами признались, что куплены иноземцами. Признались и в разных вредительских делах. Но ведь из лучших, самых родовитых людей - они. Так и землю нашу осиротить без болярства можно! Все равно, что голову снять с плеч! Болярето – голова державы нашей. Со-о-оборная голова. И сейчас, когда эта голова, ой, как нужна! Терять таких людей! Ох-ох-ох…

Я удивился сим словам. Может быть, чего-то недопонимаю. Но тут наши дороги с князем Курбским разошлись. Он со своими вестовыми отправился в расположение тысячи, а я с Дубком, Аленой, казаками и своими холопами – в мои хоромы. Похоже, и Дубок внутри себя размышлял над словами Курбского: дергал подбородком, головой, пожимал плечами. Как будто с кем-то мысленно спорил. А дома нас уже ждали. Матушка оповещенная Тишкой, которого я отправил прямо от заставы домой, спустилась с крыльца с большим пирогом. На подносе, который нес за ней Семен, стояли две чарки, лежали яйца, разрезанные пополам. Но вдруг из-за матушки и дядьки вывернулись опять подросшие Ванюшка и

Васятка и бросились ко мне. Уж и целовал же я их всех, восклицая: *«Христос Воскресе, родные мои!»*

- *Воистину Воскресе,* - отвечали они мне тем же.

- Матушка, - обернувшись, показал я на Дубка и Алену, - вот, прошу любить и жаловать: князь Иоанн Дубов и княжна Елена Иоанновна. Они пока у нас поживут. А потом, коли Бог даст, поедем в наше именьице…

- Именьице?! – округлила глаза матушка, даже слегка откинувшись назад.

- Да, матушка! Государь жаловал нам под Тверью село с полями да лугами, рыбные да охотничьи промыслы. А соседями нашими опять же будут князь Иоанн с дочкой. Да и княгиня, женка князя, коли жива осталась в казанской неволе.

- Помоги, Господи! – покачала головой матушка. Ваня и Вася, прищурившись смотрели на Алену, словно изучали ее. А она вдруг присела, привлекла их к себе и заговорщически с просила: «А из лука стрелять вы умеете? А ножи, топоры метать? В цель?»

Отроки насупились. Но Ванятка гордо вскинул подбородок: «А то! Нас тятенька и

дядьки учили. А они – знатные ратники. А ты умеешь? Баба ведь!»

- Не баба, а казачка! – выпрямилась Алена. Выдернула нож из-за пояса, кивнула в сторону забора: «Отсчитайте третью доску от столба ворот.»

Когда сыновья исполнили и отбежали, Алена метнула.

- Ух ты! – в один голос воскликнули мои сыновья: нож наполовину лезвия вошел как раз в третью доску. А до нее шагов, почитай, десяток уж точно было.

- Ладно-ладно! Пострелята! – сдержал улыбку дядька Степан. Обхватил сыновей за плечи: «Тятеньке и гостям в баньку надобно сходить, переодеться с дороги. И – за стол! Светлая же Седмица»!

Ваня и Вася, вывернулись из-под его рук и бросились выдергивать нож из забора. Но силенок у них не хватило. Алена подошла. Выдернула нож и бросила его в ножны. Малчики мои смотрели на нее зачаровнно! А она обняла их сверху за плечи и что-то тихо втолковывая подвела к нам. Я взглянул на матушку. Та улыбалась. Прятал улыбку в усы и Ивашка Дубок.

Что хотел сказать он, хлеща меня в бане березовым, а потом дубовым веникоми,

даже не ведаю. Но я, при этом, едва сдерживал себя, чтобы не заверещать!

- Лепота да целебность березы вольются в тебя, княже, с силой, долголетием и несрубаемостью дуба! – вдруг проговорил он и хлестанул так, что я не сдержал стона. А он сам улегся на лавку: «А теперь ты похлещи! Да не жалей!»

Ох и охаживал я его вениками. А он вдруг хмыкнул: «Эт-т-то – не то!»

И позвал: «Евсейка!»

Тот тут же влетел в парилку. А Дубок повелел: «Похлещи-ка меня. Да покрепче! Пыль да грязь, да суету дорожную выбей!»

И под ударами, которые, казалось, могли пересечь его пополам, Ивашка весело постанывал, крякал, хмыкал, ухал: «Эт-т-то – хорошо! Эт-т-то – то, что надо! Эт-т-т-то по-нашенски!

В предбаннике нам поднесли крепкого квасу из ледника. И всю усталость, словно рукой, сняло.»

- Пойдем-пойдем отсюда! – вдруг вскинулся Дубок. И стал быстро одеваться во все чистое: «А то Алене пара не достанется! А она лю-у-у-бит баньку с малолетства. Их с Марьюшкой моей, бывало, и не вытащишь оттуда за косы!»

- А что, – спросил я, увидев замутнившиеся скорбью глаза Ивашки, - других чад у тебя нет?

Тот вздохнул: «Не дал Бог! Сильно болела Марьюшка после того, как Алену родила… Бабки сказывали, что порчу на нее навели… А кто, - даже и не ведаю. Подозревать же не привык, пока точно не узнаю… Ну, да что это мы – всё о скорбном?! Пойдем! А то нам еще к Государю на трапезу идти вечерять.»

После обильной пасхальной трапезы у меня начали слипаться глаза. И я попросил матушку: «Ты уж сама отведи покои для князя Иоанна и дочки… А я пойду прилягу на малое время.»

…Разбудил меня Степан: «Пора, князь! Дубок-то тоже прилег, но уже – на ногах. Приоделся. Аленку-то евойную с собой возьмете или дома оставите?»

- Он – отец. Ему и решать, - сладко потянулся я. Но тут же вскинулся, чтобы махом сбросить сонливость: «Неси умыться. Похолоднее. Да одеваться надо.»

- Уже принес, - указал рукой назад, на ушат и большой кувшин, Степан.

Алене отец повелел остаться дома. А мы, сопровождаемые Тишкой и Евсейкой, выехали верхами. И скоро уже сидели за

большим Царским столом, уставленным пасхальными яствами, кувшинами с квасами, медами, заморскими винами. После третьей чары Государь зачитал Указ о даровании мне и Ивашке Дубку, - князю Дубову, - поместьев под Тверью. Да та-а-аких! Раз в десяток больше, чем на Гусе! А Иоанн Васильевич добавил: «И быть князю Иоанну Дубову со братией володетелем всех земель, кои расположились на восток от Казани. Своих казаков сам землицей наделять будешь. Под моим присмотром, конечно. И, конечно же, ежели приведешь тысяч хотя бы пять и мы вместе возьмем Казань.

- Приведу, Государь, – вскинулся Дубок, - и не пять, а все десять приведу!

- Не хвались, едучи на рать, - хмыкнул какой-то пожилой болярин, сидящий напротив. И чуть тише пробурчал, но я все-таки услышал: «Всяких пришлых, беглых да безродных жалует. А нас, родовитых, к ногтю жмет!»

Услышал и Дубок. Усмехнулся. И, как бы отвечая болярину, хмыкнул: «К ногтю-то жмут тех, кто на родной Отчине живет, словно вошь. Или блоха!»

Молодые княжьи сынки, сидевшие рядом и слышавшие слова болярина,

засмеялись. А тот пробурчал: «Не будет благодати в Царстве, где не почитается старость и родовитость.»

- Почему же?! Почему не почитается? – вскинулся теперь болярин Иоанн из Посольского Приказа. Он сидел рядом с Дубком: «Почитается те старость, мудрость, опыт и родовитость, которые применяются во блага этого Царства, а не во вред и урон. Так и в Священном Писании сказано.»

- Это где ж? – сузил глаза болярин, вытянув вперд шею.

- В Псалтире!..

- Я предлагаю выпить за то, - раздался голос Иоанна Васильевича, - чтобы мы уподобились мужам, про которых святой Царь, Пророк и Псалмопевец Давид сложил: *Се достояние Господне сынове, мзда плода чревняго. Яко стрелы в руце сильнаго, тако сынове оттрясенных!* Что же значит это — «люди оттрясенные»? Мой пестун и наставник митрополит Макарий, - помоги ему Господи одолеть недуг, в котором он сейчас находится, - поучал, что Пророк берет подобие от смоквы или от другого плодовитого дерева, которое отрясают. Тогда все гнилые плоды и листья отпадут от него, и остаются на нем плоды свежие. Подобно сему Спаситель говорит, что Небесный

Вертоградарь определяет плодовитую лозу, *да множайший плод принесет,* - именно так говорил и писал святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов, - сим понятием представляется, что дерево от сильного потрясения бури исторгается из своего места, и поскольку, оно не остается бесплодно, следственно, пересаживается и утверждается на другом месте. Что же это значит? Псалмопевец хочет выразить изменение, которому человек подвергается в жизни. Потрясенный бедственными приключениями и скорбями, он очищается от греховных привычек и наклонностей и, как бы исторгнутый из средины обилия и богатства, рукою Промысла поставляется в состояние нищеты и недостатка, а в другом отношении, исторгнутый из почвы греха, силою строгих посещений Божиих, переносится на почву добродетелей и благочестия.

Иоанн Васильевич взглянул на попа Сильвестра, сидевшего рядом. Тот одобрительно закивал.

- Кощунник, – прошипел болярин напротив, - с чарой в руке о святом рассуждает!

- А почему это «кощунник»? – ответил ему тихо болярин Иоанн. И нарочито поднял

чару: «Где Христос отвергает вино? И не с вином ли Он проводил Тайную Вечерю? Кто ж тогда кощунник?»

Болярин сунул нос в свою чару и замолк. А Государь продолжал: «Мы, именно мы, и именно сейчас, должны быть достйными пред Богом, чтобы чада наши стали достойными Божиего Отцовства! Вот за это я хотел бы выпить дара Божиего… квасу!»

Все опешили. Но сменили чары, наполнив их квасом. Это было и неожиданно и даже как-то весело. И следующую чару поднял Государь. Обвел собравшихся взглядом. Остановился на нас с Дубком. Сказал: «Мы поздравили наших лучших ратников, услуживших мне оч-ч-чень любо! Давайте поднимем заздравные чары за них! А тебя, князь Ондрейка, я прошу отпустить князя Алексашку в его новое именьице под Тверь, дабы он наладил там свое хозяйство. И со спокойной душой за престарелую матушку, чад и домочадцев к осени вернулся бы Москву.

Курбский согласно склонил голову. А я еще больше обрадовался. Повернулся к Дубку. Прошептал ему на ухо: «Коли так все сложилось, я могу и за твоим новым

хозяйством присмотреть, быт в нем наладить.»

- Я хотел бы Алену здесь оставить, - опустил глаза в стол Ивашка, - только…

- Не кручинь сердца! Я не трону твою дочь, потому что… Потому что и она мне на сердце запала. Не трону, пока она сама этого не захочет. Но и тут попробую отговорить. До Святого Венчания. Ежели, конечно, благословишь. Как отец. Мы же с тобой теперь – ровня! Ты же – князь! И ты тоже дай мне время придти в себя. Переболеть злодейкой. А там, - как Бог даст.

Я обнял его, хлопая по плечу ладонью. Он улыбнулся: «Я верю тебе, Алексашка. И к тому же, видел сам ее волю. Только бы всё - по-Божески!»

…Три дня нам хватило на сборы в Тверь. Но перед отъездом, вызванные Курбским, мы оба явились пред светлые очи Государя. Тот принял нас по-простому. Сидя на лавке он выговаривал что-то незнакомому болярину в кафтане головы одного из стрелецких полков. Я не прислушивался, но поневле услышал: «Нет-нет, болярин. Так поступать – не по-христиански. Зачем же племянника того иуды в опалу загонять? Он за дядьев своих - не в ответе. Рос сиротой, с матерью и

холопами. И почем ты знаешь, может быть, он в сече подвиг совершит! Приглядывать – приглядывай. Да попристальней! А опалы не надо. Ведь вороги в будущем станут обвинять нас с тобой, что мы, мол, целыми родами предателей казнили. Сейчас каждый в деле проверяется. Сейчас молодцы – на перечет! А сам-то вспомни, как твой отец крамолу против моего, - едва вышедшего из отроческого возраста, - заводил! А? Вспомнил? Да я не помню зла. Может быть, и ты поэтому служишь верой и правдой. Добре служишь.

- Един Бог без греха, Государь, - мотнул головой болярин, - посему отца судить не могу. Помню и до сих пор люблю. А вот грех его осуждаю. Бес тятеньку попутал.

- То-то! Ступай с Богом! – кивнул Иоанн Васильевич.

И взглянул на нас с Дубком. Улыбнулся: «Ратнички мои дорогие. Готовы в путь-дорожку? Грамоты получили? Деньги выдали вам? Дорогу указали? Названия именьиц знаете? Все ли ладно? Ну, и слава Богу. А ты, князь Ивашка, когда за казаками своими пойдешь?

Дубок поклонился: «Взгляну одним глазком, и сразу – обратно, чтобы за Казань

идти. Вот, князь Александр милость оказал: обещал и за моим сельцом присмотреть.»

- Молодец, - кивнул мне Государь, - только сам там шибко не задерживайся. Как реки встанут, выходим на Казань. Плотников я вам повелел достаточно туда поставить. Думаю, они за лето управятся, сладят хоромы. А ты уж, Алексашка, теперь твоих людишек веди за собой, как положено по Указу. Сразу после уборочной и выходите на Москву. Ступайте с Богом.

- А чьи земли-то раньше были, Государь? – вдруг спросил Курбский.

- Монастырские. Да зажировали «святые» отцы, прости, Господи! Позабыли труд монашеский. Не просвещали честной народ в вере. Не милосердствовали в неурожайные лета. Не так, как - у преподобного Иосифа с Волока Ламского! Людишки ихнии пухли от голода! Донесли мне о том. Владыко послал грамоту епископу Тверскому, чтобы тот розыск учинил. Всё подтвердилось. Сами-то монастырские на сливках, сметане, яйцах, осетрах да стерлядке сидели. А холопы последнюю солому, с дубовой корой перемешанную, с крыш поедали. Поди, наши-то служивые, - кивнул он на нас с Дубком, - такого беззакония не попустят?

- Нешто не знаю я, как пупок к хребту прирастает, - хмыкнул князь Ивашка.

- Ну, всё-всё, – улыбнулся на это Государь, - хватит лясы точить. Ондрейка, кликни там в сенях. Еще двое стрелецких полковых голов должны дожидаться. Да сам с ними возвращайся.

Мы выехали, договорившись с матушкой и Аленой, что те прибудут к концу Петрова поста. За ними я должен был послать кого-нибудь из холопов. С нами шли полсотни моих людишек, казаки Дубка. Пройти мы должны были как раз через Волок Ламский, Лотошино, Микулино. А там и до наших земель, не доезжая Твери, – рукой подать. Доехав до Волока Ламского, мы решили остановиться в монастыре на берегу большого озера. На вечерней зорьке оно словно проросло лодками. Монахи вместе с мужиками тягали сети. Кто-то ловил на удочку. Приглядевшись, мы увидели, что рыбы здесь немерено. Вот, монахи причалили к берегу. Разложили рыбу в корзины, некоторые из которых взяли себе довольные мужики. С песнями и шутками они понесли свою долю улова в деревушку, стоявшую на другом от монастыря берегу озера. Я кивнул Дубку: «Мне про эту обитель еще покойный духовник, - Царствие ему

Небесное, - рассказывал. Игуменом был здесь в те времена преподобный Иосиф. Так вот он в голодные годы сам сидел на сухарях и воде, так же держал братию, а людишек из окрестных деревень и сел кормил. По-монастырски, конечно, постным. Но от голода никто не пух. А при набегах ворогов местные хоронились за монастырскими стенами. Обитель же ни разу не была взята неприятелем.

- Да-а-а, видать по молитвам этого преодобного, как говоришь.., да, Иосифа… А вот там, куда мы идем, Государь говорил, все - совсем наоборот.

К монастырю тоже лепились истбы. Но были они добротно, крепко, даже как-то нарядно слажены. Мы въехали в ворота. И тут же молодой монашек развел нас по кельям, пригласил на трапезу. На ней я, - а похоже и все наши, - едва отвалились от столов. Уха была на славу! А хлеб-то! Такой душистый, мягкий, с хрустящей корочкой! Казалось, что им одним насытиться можно. И другого можно было бы не вкушать! Дубок даже икнул несколько раз. Запил квасом. Проговорил: «В такой монастырь и вклад щедрый сделать любо! За людишек сердце радуется!»

- Эх! Было бы так в Царстве нашем, во всем, - ни один ворог бы не устрашил! – подал голос княжеского вида старик, сидевший на другом конце длинного стола. И он рассказал, как монастырские выкупили его покойного отца из литовского полона, когда вороги возвращались восвояси после очередного набега. А теперь он сам каждый год приезжает сюда, чтобы помогать.

- Ты же вроде, как - князь? – удивленно мотнул головой Дубок.

- А что с того? Перед Господом – все равны: Цари и холопы, купцы, князья, боляре и иноки. Вот и приезжаю. Помогаю книги переписывать. Доски для святых образов готовлю. Я это дело люблю. Батюшка мой покойный говаривал, что каждый человек, - творение Божие, - еще по заветам Самого Создателя хлебушек свой в поте лица зарабатывать должен. То есть, - трудиться. Независимо от чина и звания. И полезнее для всех, и для себя там, где разумеет! Да и Господь добрых людишек ставит всегда туда, где им сподручнее. Не надо только бежать от своего места и креста, если вдруг какая неудача случается. И она дается Господом, дабы навык свой укрепил тот человек…

- Трудиться надо там, где Бог поставил. И тем благодатнее труд, когда нелюбимое, неприятное даже дело, с любовью правишь! - вдруг вступил в разговор другой, степенного, важного вида болярин. Погладил окладистую бороду: «Вот я, к примеру… Сердце кровью обливается, а везу сына в Москву, на службу.

И он кивнул вправо от себя, где рядом с ним сидел молодец, такой же степенный и важный, как отец. Старый князь опустил голову, улыбнулся в усы и бороду. Мы с Дубком переглянулись. И он спросил: «А на какую же, болярин, службу хочешь определить сынка?»

- Ну-у-у… На Царскую, конечно. В стрельцы. Или даже в конницу. Там, говорят, княжата да болярские сынки золотишко лопатами гребут…

- Так там служить надобно! Живота своего не жалеть! Частые походы, где опасности всякие подстерегают. Не доедаешь, не досыпаешь, зябнешь, под дождем мокнешь. Снегом засыпает! – вмешался я.

- Брешешь, поди! Как же можно болярских детей да княжат на такое посылать? Для этого холопы есть! – икнул теперь болярин.

- Брешут собаки из будок! – мотнул головой Дубок. И с хитринкой в голосе молвил: «А ты поезжай-поезжай. Устроишь сына. Обязательно устроишь! Ему служба на пользу пойдет. Он у тебя, подоковы разгибает? Смотрю: на рукавах-то кафтана стежки расходятся.»

- А то! – улыбаясь, пробасил теперь болярский сынок.

- Откуда ж ты будешь, болярин? С каких мест? – спросил я.

- С Белого моря! Из варягов мы пришли на вашу Русь. Я – Рюрикович. Помысли, какая родовитость! А? Посему и не люблю жару. По мне лучше морская, северная прохлада. Да и сытнее у нас, нежели в Московии там, или на Новгородчине. Места дикие. Зверья, рыбы немерено. Да и да-а-алеко до нас Царской власти. Сами себе – головы.

Мне стало скучно и противно. И я хлопнул Дубка по плечу: «Пойдем, князь. Завтра с рассветом выезжать.»

Мы помолились. Перекрестились. Пожелали оставшимся за столом Ангела за трапезой. И отправились в свою келью на двоих. Там я повалился на лежанку и мгновенно заснул. И приснилась мне… Алла. Она бегала вокруг меня, взмахивала руками

и кричала: «Ты что же? Думаешь, так просто от меня отделался?! Не-е-ет, Алексашенька! Теперь мы с тобой связаны на вселенском уровне! Я теперь буду во всех твоих потомках! И отмщу! И буду мучать их! Ох, как я буду мучать! Всё, что не выместила на тебе, вымещу на них. Я же говорила тебе, что ты не знаешь, с кем связался. Я – не Наташка твоя! За мной - такие силы поднебесные!»

И вдруг она сникла. Присела. Сжалась в комок. Но опять подняла голову. Глаза ее были полны слез. Она жалостно попросила: «Ну, помолись за меня! Мне так плохо! Так горячо! Во чреве! Там же детеночек наш жил.»

А из-за ее спины выглядывали страшные рожи. И тоже плакали: «Помолись за нее! Бог-то любые молитвы принимает!..»

Я проснулся весь в поту. Встал. За окном было еще темно. Я оделся. Накинул кафтан. Вышел из кельи. На воздух. По двору ходил монах. Что-то бубнил. Увидев меня, остановился. Вгляделся. Покачал головой: «Что? Худо? Ступай же к могилке отца нашего святого преподобного Иосифа. Помолись. Попроси его о помощи. Не спроста тебя Господь к нему привел. Ступай,

родимый, ступай! Во-о-он, туда, за крылечко. За алтарной частью он и почивает.

Я последовал благословению… У холмика, венчанного дубовым крестом, повалился на колени. «Что просить-то?» - обожгла мысль. И вдруг словно услышал голос отца Леонтия, - Царствие ему Небесное: «Проси о вразумлении в молитве.»

И я застонал: «Отче Иосиф! Ты всё, должно быть, видел! Ты знаешь и отца моего земного, и духовника моего. Помоги же мне! Злодейка, которой я не могу даже Царствия Небесного пожелать, просит молитв. Мол, ей так тяжело Вразуми же!»

И вдруг разум мой просветился, словно от тумана. И я, как бы услышал… Только было это в сердце моем. Да-да! Это было внутри меня. Я сам говорил себе: «Нельзя молиться за нее! Она – против Христа. И сама выбрала этот путь. От-рек-лась! Хулила! Надругивалась на Ним. И сейчас на самом дне преисподней. И только Иуда – ниже ее. Она – детоубийца! А коли помолишься, всё бесовское полчище, которое воеводствовало ею и ее «братьями», накинется на тебя. А ты - не монах! В этой сече тебе не выстоять! На нее способны только схимники! Еще – митрополит Макарий. Еще – схимонах Тит. Иерей Божий

Иероним. И еще несколько. Но после их молитв твои грехи, кои совершишь, очень больно ударят по ним. Береги же их! Береги их молитвы. А пока иди, куда повелено. В именьице свое. Да.., чадушко, нельзя до Духова Дня класть земные поклоны. Тебе они прощаются за веру твою крепкую, с которой припал нынче, за молитвы земного отца и духовного. И принимаются, как страсти, переносимые тобою за грехи. За блуд. Кайся! Каждый Божий миг кайся в нем! И еще помни: не святые совершают чудеса, а Господь по их молитвам. Поэтому, когда обращаешься к святым угодникам Божиим, проси их умолить Господа выполнить твои прошения. И всегда добавляй, мол, ежели сие мне полезно для спасения души, и ежели есть на то святая воля Господня. А за потомков своих не кручинь сердца. Они сами должны выбрать свой путь: к Богу или к… Каждый волен это выбирать сам. Но делами своими помоги им. Жизнью своею.»

Голос во мне затих. Но по сердцу разлилась такая сладость, что, казалось, встань я с колен, и потеряю ее. А так терять не хотелось! Лучше было бы умереть! Нет! Мне велено идти. И я пойду.

…Монах все ходил по двору. Увидев меня, подошел. Взглянул в глаза. Улыбнулся: «Ну, родимый? Умирил тебе сердце отец наш Иосиф? Слава тебе, Господи! Помяни игумена Иосифа во Царствии Своем и его святыми молитвами прости, помилуй, спаси и сохрани нас.»

- Так он – святой? – спросил я.

- Богу ведомо. Как я могу сказать о святости того, кого Святая Церковь наша еще не прославила? Но ведаю: немало случаев, когда после молитв ему и заказной панихиды, свершались чудеса. Почитаю его. И молюсь ему келейно. Прославят… Прославят… И полсотни лет не пройдет, как прославят.

- Откуда же тебе сие ведомо?

- Так он сам и сказал мне сие давича. Видел его, как тебя сейчас. Я ведь – ночной сторож. Вот, хожу молюсь всю ночь разным прославленным угодникам Божиим. И… ему. Хоть пока и не прославлен. Вот он и явился давича. Конечно, перекрестился. Прочитал молитву Честному Кресту Господню. Тогда я и поверил в то, что не враг лукавый пришел под его личиной. А так завсегда бывает при мятеже душевном: ежели после молитвы мир в сердце приходит, значит, от Бога - сие. Значит угодниче Божий, к коему ты

обращался, услышан Господом. И выполнил Спаситель его прошение за тебя по твоим же молитвам. Вот как оно творится. Слава Тебе, Господи, за такое созидательство!

Монах истово перекрестился. Я последовал ему. И почувствовал, что… глаза мои слипаются. Монах тоже заметил это. Ласково улыбнулся. Перекрестился. Благословил меня крестным знаменем. Тихо проговорил, почти прошептал: «Не смущайся. Я – иеромонах. Ступай, родимый! Еще выспаться успеешь. Ангела-Хранителя тебе и Покрова Божией Матери.»

- Как величать-то тебя, отче? За здравие кого молиться?

- Спаси Господи… Грешный иеромонах я, именем - Лев. А тебя, сдается мне, Алексашкой кличут? А-лек-сан-дром!

«Надо же! И откуда ему все ведомо? Даже имя святое мое?» - думал я, торопясь в свою келию.

…Дубок храпел, словно песню пел: не прерываясь, на разные лады. Да еще и с присвистом! Я шепотом засмеялся. Бросился на лежанку. И тут же почувствовал, как Тишка трясет меня за плечо: «Княже! Пробуждайся! Светает уже!»

Я вскинулся. Неужели же я проспал несколько часов?! Но вдруг почувствовал,

что выспался, как и сказал монах-сторож. Дубок сидел на лежанке, свесив ноги в ушат. Тряс головой. Евсейка стоял над ним с кувшином воды. Поднявшись, мы умылись. Зашли в собор. Поклонившись, подали монаху наш скромный вклад в обитель. Заказали молебен, панихиду.

Солнце еще не успело показаться над дальним лесом, а дорога уже бежала под копытами наших коней. Через три дня выехали к реке. Встретили рыбаков. Спросили.

- Медведица, матушка наша, кормилица! – поклонившись и перекрестившись, отозвался один из них, указывая на воду. И действительно, корзины мужиков были переполнены рыбой. Я спросил про село, приписанное мне. Тогда рыбак, отвечавший прежде, сдвинул на затылок шапку, прищурился: «А на что тебе, князь?»

- А чтоб ты вопрос задал! - хмыкнул Дубок и спросил про свое сельцо.

- Ступайте вверх по Медведице. В вечеру дойдете, - махнул рукой рыбак. И замялся: «Только голодно там. Рыбный промысел монастырю принадлежит. Охотничьи угодья – тоже. И поля. Холопов на них не пускают…

- А что так? – спросил Дубок.

- То-о-оргуют святые отцы рыбой, да дичью, да лесом.

- Спаси тя Господи, - склонил я голову. И к вечеру мы въезжали в село с покосившимися, наполовинну оголенными по крышам от соломы, истбами. Даже собаки не брехали. Кое-где в земле ковырялись куры. Но и они были, словно крыши истб, ободранные от соломы, с торчащими в разные стороны, с взъерошенными редкими перьями. Посреди села стояла тоже покосившаяся крестом, почерневшая от веремени и прозрачная от щелей церковка. А перед ней на лавочке клевала носом древняя старушка.

- Доброго здоровья тебе, бабушка, - крикнул я.

Та приложила руку к уху: «Ась?»

Я спешился. Подошел к ней. Повторил приветствие. Та поклонилась по-земному: «И тебе не хворать, болярин. Дай-то Бог. Дай-то Бог!»

- А что ж людишек-то, селян-то не видать? – почти прокричал я ей в самое ухо.

- На работах все. На полях, да промыслах, - закивала она.

- А младенцы, отроки?

- Все – тама. К сумеркам вернутся.

В это время из церковки вышел молодой поп. Как-то скорбно взглянул на нас. Поклонился. Мы подошли под благословение. Он округлил глаза. Наложил кресты на протянутые лодочками ладони. И еще более смутился, когда мы приложились к его руке.

- Как величать тебя, отче? – спросил я.

- Грешный иеромонах Никита, - склонил голову тот.

- Грамоте, поди, разумеешь?

- Да.

- Тогда читай, - вынул я из походной сумы Указ и Грамоту Государя и протянул их ему. Поп пробежал глазами свитки. Перкрестился. Чуть слышно прошептал: «Слава Тебе, Господи!»

- Тогда пойдем в храм Божий! Отслужим благодарственный молебен за благогополучное окончание пути, - указал я рукой на церковь.

- Бедно у нас, - опустил глаза поп, но послушно двинулся к церковным дверям. Войдя в храм, он сразу ушел в Святой Алтарь. И скоро появился вновь, облаченный в бедные, из старой, серой холстины, ризы. Мы оглядывали храм. Икон почти не было. А те, что висели на стенах, нарисованы были совсем неумелой рукой.

Перед ними стояли грубо вырезанные деревянные подсвечники…

- Вы уж простите меня Христа ради, - проговорил поп, - но елей закончился еще седмицу назад. Свечей тоже нет. Жжем лучинки.

- Погоди, отче, - мотнул я головой, - мне гворили, что монастырек, коему принадлежит, нет, принадлежало сельцо, - далеко не бедный.

- Не бедный, - повторил отец Никита. И опустил глаза: «В монастыре и оклады - золотые да серебряные. И свечи восковые. А у нас… Вот, сейчас пора начинать Всенощное бдениие. Служу почти всегда один. Разве что бабушка Параша зайдет. Во-о-он, сидит на лавочке. Так она ничего не слышит. А людишки, - селяне, - все еще на монастырских работах.

- Что ж? И так каждый день? – удивился я.

- С рассвета и до заката. И даже – по воскресным дням.

- Это что ж за порядки такие? – крутанул головой Дубок…

- Та-а-акие. Игумен наш, отец Иов, говорит, что народ и молиться-то не умеет. Поэтому пусть молитву свою работой творит.

А по-Божьему молиться за него будет он с братией.

- Погоди, - теперь крутанул головой я, - так, поди, и ты к монастырю сему приписан?

- При-и-писан. Но меня, грешника, выгнали вот сюда. За грехи. За то, что голос за людишек местных подал. Я это тебе, как хозяину теперешнему поведать должен. Не жалуюсь. Не осуждаю. Докладываю.

- Та-а-ак, - хмыкнул я, - а богодельня, школа, лечебница в монастрыре есть? Как, скажем, на Волоке Ламском. Мы его проезжали. Там в богодельне более сотни стариков и старушек обитают.

- Нет ничего этого. По грехам нам и людишкам не дается сие, - опустил голову отец Никита.

- По грехам? – опять крутанул головой Дубок… - А в соседнем селе – так же? Я теперь - ее володетель.

- Да, - не поднимая глаз, кивнул иеромонах, - и церковь там совсем развалилась. Посему и попа нет. Да и кого туда посылать?! Только таких опальных как я.

- Ладно. У нас еще вечер в запасе есть для разговоров. Окажи милость, начинай служить Всенощное бдение. Князь Иоанн, кликни всех наших со двора.

Когда мои холопы и казаки вошли в храм, иеромонах начал службу. Тут я заметил, как лицо его изменилось. Взгляд вспыхнул. Голос окреп. Затвердел. Когда же служба закончилось, я отсыпал ему серебра. А он вдруг спросил: «А ты меня, часом, как хозяин, не выгонишь? Может быть, у тебя другой поп на примете есть?»

- Давай, отче, так договоримся, - мотнул я головой, - ты служи. Мне же еще с игуменом потолковать надо. Как-никак, а два села у него Государь отбирает. Да и самому ему, сдается мне, несладко придется. Донос на него в Москву, самому митрополиту пришел. Сыск Царь присылал сюда. Донос подтвердился. Полагаю, что на Церковный суд игумена твоего вызовут. Пришлют и за тобой. Как за свидетелем. Потому, как ты к холопам - поближе. Говори правду Божию. Вызовут и старосту. Как он, кстати?

- Хво-о-орый! На ладан дышит. Посему и не решает ничего. Всем отец казначей правит. А этот – сродник отца игумена.

- Ла-а-адно. Где сам-то ночуешь?

- У бабушки Параши. Да и много ли мне надобно. Лавка, да тулуп – на нее. А по теплу и на голой доске посплю, и в палисаднике.

Мы вышли из храма и услышали многоголосую заунывную песню, раздававшуюся от краины села.

- Селяне с работ возвращаются, - пояснил иеромонах.

- А ну-ка, братия, по коням. Да встаньте подковкой, выгнутой навстречу селянам, - повелел я своим мужикам и казакам. Те исполнили. И когда толпа мужиков, баб с младенцами на руках, отроков, отроковиц, приблизившись увидела нас и остановилась в нерешительности, я выехал к ним навстречу. Со мной были только Дубок, Тишка и Евсейка.

- Доброго здоровья вам, люди русьские, - снял я шапку, перекрестился и склонил голову перед селянами. Толпа невнятно загудела. А я, развернув свитки зачитал Указ и Грамоту Государевы. К ним добавил: «Теперь я – хозяин села, лесов, полей, рыбных и охотничьих промыслов здешних. Зовут меня князь Александр Васильевич. На днях придут сюда обозы с плотниками и другими работниками. Государь повелел им хоромы для меня поставить в на-а-а-ашем селе. Но об этом мы поговорим завтра. После Божественной Литургии, которую отслужит отец Никита. И так теперь будет начинаться каждый Божий день. В воскресные и в

праздники работать Церковью запрещено. Так что, всех Православных Христиан жду на службу, после которой будет общий сход.

- А как же монастырское послушание? – спросил здоровенный бородатый мужик с красным по жизни, казалось бы, веселым веснушчатым лицом. Но теперь оно было скорбным. И он тоскливо возразил: «Нас же за ослушание всех на конюшю отец игумен пошлет, под плети. Коли не выйдем на работы.»

Я опустил голову. Помешкал. Хмыкнул: «Вот я сказывал вам, как меня кличут. Поведал и о том, что, по Указу Великого Князя Московского и Царя всея Руси Иоанна Васильевича, я – хозяин мест сих, о-то-бран-ных у монастыря. Значит, кто я – для вас, а вы – для меня?! Посему, ежели спрашиваешь о чем, назовись сперва. Перекрестись, поклонись, как я поклонился вам всем. Или и от этого вас отец игумен отучил?»

- Не-е-е, - вдруг заулыбался веснушчатый, - мы ему в ножики каждый раз обязаны кланятся, ежели он мимо проходит. А кличут меня Гришкой. Прозвище – Заяц. Стало быть, мы теперь – твои холопы? И завтра на послушание можем не ходить? А поутру – в церкву?

Что-то сладко царапнуло сердце. «Заяц?». Я улыбнулся. Мотнул головой. Кивнул: «Ну, слава Богу, дошло! Именно так. Люди мои будут стоять в стороже. И коли кто из монастырька вашего приедет, я его встречу. И попрошу игумена оказать милость, коли желает, пожаловать на наш сход. Уразумели?»

Селяне, как один, закивали и закрутили головами, зачесали затылки, тихо рассуждая, что-то обговаривали. Прошли мимо нас, с недоверием поглядывая. А мы отправились с отцом Никитой. В палисаднике истбенки бабушки Параши разложили яства, привезенные с собой, прямо на траве. Закусили. Угостили отца Никиту и старушку. Та даже прослезилась. Всё кланялась. Желала здравия телесного и спасения душевного. Видать, давненько не вкушала такого. Запили трапезу квасом. Хмельное я запретил: мало ли что ночью приключится. Поэтому выставил и сторожу. Здесь же на траве, когда стемнело, все мы улеглись на конские попоны. Благо, ночь обещалась быть теплой.

Ох! Как же весело прошел переезд! Мужиков двадцать, - студийцев, - во главе со Степаном, суетились, стаскивали мебель,

которая не входила в лифт, с восьмого этажа, грузили в фургон, выделенный в Управлении Белорусской железной дороги. А я думал, что хорошо жить в государстве, именуемом Советскими железными дорогами внутри государства с именем СССР! Коробки, тюки, чемоданы и мелкую мебель спускали на лифте. Я первым старался подставить свои плечи под тяжести. Так было хорошо от мысли, что начинается настоящая семейная жизнь. А через час это же повторилось все наоборот на улице Берута, где и находилась новая квартира Валентины. Почему я так подумал? Почему не подумал, что это – наша с ней квартира?! Не зна-а-аю! Потом началось застолье «на чемоданах». И первый тост произнес Степан: «Я поднимаю эту чарку за то, чтобы дом сей был полной чашей. И ты, Александр, наконец, смог обрести в Белоруссии свое жилье…»

Я и не знал, что сказать в ответ. Посмотрел на Валентину. Но она отвела глаза в сторону и о чем-то заворковала с Галей. Утром я проснулся с головной болью и ноющими мыщцами…

- Мне не нравится, что ты столько пьешь, - холодно произнесла Валентина, сидевшая перед маленьким зеркалом,

поставленным на большую коробку из-под телевизора.

- Но разве я был пьянее других? – вскинулся, было, я.

- Мне наплевать на то, что чьи-то жены терпят своих пьяных мужиков! - отчеканила она. И в ее голосе я услышал раздражение: «Я хочу, чтобы ты совсем не пил. И - не курил. Я терпеть не могу табачного перегара. Вот, Виталий не курит.

Кровь ударила мне в голову. Хотелось посоветовать ей опять сойтись с Виталием. Но я встал. Поцеловал ее в шею. Спросил: «Что мне делать? Разбираться с мебелью или с коробками?»

- Надо сначала позавтракать! У меня со вчерашнего дня из-за ухода за гостями маковой росинки во рту не было.

И это было неправдой. Я прекрасно помнил, что Валентина наравне со всеми сидела за импровизированным столом. Пила. Ела. Откуда все это в ней? А, может быть, и прежде было? Только мы оба сочинили нашу любовь. Видели друг в друге то, что хотели видеть? Эх! Как не хватает мне сейчас отца Валерия, - Царствие ему Небесное!

- Давай разбираться в темпе! Потому как, – сказал строго я, - задание по командировке никто не отменял. И я должен

его выполинть, съездив несколько раз в ваш ДК.

- А почему это ты на меня голос повышаешь? – дернулась она. И обернулась от зеркала: «Вот уж никогда бы раньше не подумала бы, что ты способен на такое. Выставлял себя таким обходительным. Стихи посвящал!»

- Да что с тобой такое, любимая? Я понимаю, ты устала. От этого раздражена. Но я всегда свои усталость, раздражение, еще что-то плохое, оставляю за входной дверью, когда вхожу в квартиру!

- Ага! Поэтому от тебя первая жена ушла! Поэтому тебя из армии выгнали.

Я вскочил. И теперь действительно повысил голос: «Во-первых. Не Татьяна ушла от меня, а я - от нее. И она, приехав после диплома, который писала в Перми полгода, пока я жил в Ивановской области, сразу сделала аборт. Об этом сообщил мне мой приятель из местной больницы. Она не знала, что мы дружны. Во-вторых, меня из армии никто не выгонял. Это я нашел способ уйти из нее, так как, исключенный из этой сатанинской партии, не вырос бы выше майора. И посчитал, что не для этого получал высшее инженерное образование и писал дипломную работу по инженерной

психологии. Тогда до такой темы мало кто додумался! В-третьих, позволь поинтересоваться: откуда у тебя такие сведения? От кого?

- Прости-прости-прости, – вдруг вскочила она, - что-то я действительно зарвалась сегодня. Устала. Прости-прости-прости. Сейчас позавтракаем и до обеда будем разбирать вещи. Добре?

Я пожал плечами. А она, разливая кофе, вдруг засмеялась: «Хочу поделиться с тобой радостью! Представляешь, нам с Маришкой дают семейную путевку в Дом отдыха матери ребенка атомщиков. В Дивноморское. Это – за Геленджиком. И безплатно! Все – за счет профсоюза. Отпустишь? Такое раз в жизни выпадает! И мне, да и Маришке надо отдохнуть. Год-то какой был! Умопомрачительный!»

- И надолго? – сдерживая какую-то непонятную досаду, спросил я.

- Двадцать четыре дня, не считая дороги. А с ней – все тридцать. Вот видишь?! И если бы ты жил здесь, в Минске, да еще и работал бы в нашей железнодорожной газете, могли бы дать путевку и на троих! Ну-ну-ну! Только не надо губы дуть! Ты, похоже начинаешь обижаться?!

- Ничуть. А когда выезжать?

- В том-то и дело, что через пять дней. Как раз в первый день каникул. Путевка – горящая! Это – летом-то! Просто, - фантастика какая-то!

- Значит, до Москвы вместе поедем?

- Нет. Я заказала билеты через Киев. Так – быстрее. Ох! Как хочется на море! Ну, ты не обиделся? А вернемся, ты приедешь. Кстати, у тебя когда отпуск?

- С начала августа. Как раз на мой день рожденья смогу приехать к вам с Маришкой.

- Ну, вот и добре! К маме съездим. Можно - в двухдневный дом отдыха железнодорожников. Там - такие леса! А в августе – грибов немеренно! Ты же любишь собирать грибы?!

Впервые за это утро я улыбнулся. И мы принялись разбирать вещи. После обеда я съездил в ДК. Собрал материал по командировочному заданию. Встретился с Александром Адамовичем, который предложил выпить по соточке. Голова у меня так еще и не прошла. Поэтому я согласился. А дома Валентина, втянув в себя воздух, поджала губы: «Что? Александр Адамович пригласил?»

- Да. А что? Ты же не предложила утром голову полечить после вчерашнего. Зато задание по командировке, данное на

пять дней, я выполнил за день. И теперь свободен. Надо будет только командировочные документы отметить перед отъездом.

- Ну-ну… Вот уеду в Дивноморское. И буду там каждый вино пить.

- Ну, ладно, – обнял я ее, - не сердись! Я всего граммов двести выпил-то. И разве пьян?

- Нет. Почти трезвый. Давай спать укладываться…

Пять дней пролетели незаметно. В квартире был наведен идеальный порядок. Валентина собралась в дорогу на курорт. А я – в Москву. И вечером мы разъехались в разных поездах. Но настроение у меня было не самым лучшим. Или предчувствие какое? На работе я рассказал о последних событиях Жене. Тот крутанул головой: «Кончно, с одной стороны, - просто замечательно, что и жена твоя, и приемная дочь отдохнут даром на Черном море. Но с другой? Знаешь, я бы мог понять, если бы вы прожили с Валентиной хотя бы года три. Это - один из критических сроков семейной жизни, когда супругам бывает полезно на время расстаться. Но ведь еще и года не прошло со времени вашего знакомства! Зна-а-акомства! А не создания семьи! Тут- то, если мне не

изменяет память – едва полгода минуло! Я думаю, что моя Танюша себе такого не позволила бы, даже если бы я настаивал на поездке. А с третьей стороны, не взять ли нам по паре отгулов и не махнуть ли на Вожу с пятницы - по понедельник?! А?! Погодка-то шепчет!

- Да-а-а, я подумаю. Надо мозги в порядок привести.

- На Воже у дяди Леши и приведешь! А об отгулах я с Людмилой Петровной договорюсь. Возьмем с собой по небольшой статейке. В дороге, - четыре часа – туда, четыре – обратно, - отредактируем. Зато сеточку поставим, с удочками посидим на зорьке. Вода успокаивает. Поговорим о романе. А?

На следующий день по телефону позвонила Валентина. Заворковала: «Мы отлично доехали! Сразу устроились. Двухместный номер! С балконом на юг. Море – под ногами. Есть и бассейн. Но мы сразу бе-е-егом – на пляж. Маришку из воды не могла выгнать! Я тоже искупалась. А кормят здесь как… Боюсь потолстеть! Ты меня тогда не разлюбишь? Уже не сердишься? Ну, все, пока! Позвоню в выходные.

- Нет-нет, – запротестовал я, - мы с Женей уезжаем по делам. Позвони во вторник.

- По делам? Или по девам? – хмыкнула Валентина.

- По делам! Я же не спрашиваю, познакомилась ли ты там с каким-нибудь папой-атомщиком? Не унижай себя и меня ревностью и недоверием, - сурово проговорил я и повесил трубку.

Подумал: «Хватит пресмыкаться! Слишком много себе она стала позволять! Сама-то – на корорте. А мне ли не знать этих санаторных романов»?! Раздражение захлестнула меня. Даже Людмила Петровна как-то испугано время от времени поднимала глаза. Должно быть, понимая мое состояние, пообещала отпустить нас на Вожу.

…И, действительно, в пятницу, в шесть пятнадцать утра электричка «Москва-Рязань» отъехала от платформы Казанского вокзала. За редактурой статьи нашего пожилого методиста Кузьмина о хоре ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Брянском ДК железнодорожников, время дороги пролетело незаметно.

Дядю Лешу мы застали на заднем дворе. Он, сердито бурча себе что-то под нос, освежевывал овцу, подвесив ее за задние

ноги к брусу между сараем и конюшней. Но, завидев нас, улыбнулся: «С приездом! Сколько лет, сколько зим.»

Опять помрачнел. Указал на овцу: «Трактор проехал с удобрениями. На кочке полмешка из кузова на дорогу высыпалось. Прошел дождичек, Удобрение и растворилось в траве. А эта дура нажралась. И через полчаса уже зеленью блевала. Пришлось, пока не сдохла, зарезать. Требуху-то я сразу вырезал. В кровь отрава не успела попасть. Так что, сегодня баранинки испробуем. Как ты там, Саха, шашлык готовишь? Вечерком сварганим. Под самогоночку! Она у меня как раз приспела.»

- Я бы не стал эту баранину есть, - шепнул мне Женя.

- Надо замочить в уксусе, посыпать кольцами лука. Ну-у-у-у, соль, перец, естетственно. И дать постоять несколько часов, - ответил я дяде Леше. А Жене шепнул: «А может быть, ничего? Говорит, полчаса прошло.»

- Ну, идите свои сидоры разбирайте, а я пока мясо порублю и порежу, - махнул рукой дядя Леша и отвернулся к овце.

Жека одарил дядю Лешу новой рубашкой, коньяком, копченой и вареной колбасой, несколькими банками венгерской

ветчины. Я замариновал баранину. Обедали мы лапшой из диких уток, жаренными на сале линями, залитыми, как всегда двумя десятками яиц, холодцом, прошлогодними солеными помидорами и огурцами. После обеда, расстелив тулупы на травке в палисаднике, улеглись отдохнуть. А проснулись на закате. Дядя Леша, оказывается, уже приготовил сеть, удочки, камеру от КамАЗа. И все повторилось, как в прошлый раз: рыбалка за зорьке, установка сети, костер, шашлык, самогоночка, не пьянящая, а веселящая сердце. Песни, частушки под гармошку. Но это повторение было не в тягость, а в сладость! И казалось, надоесть все это не может ни-ког-да! И опять, в утренних сумерках сняв сеть, наполненную рыбой, мы отправились на сенокос. И опять у меня ничего не получалось, поэтому я ворошил разбрасывал сено по поляне, чтобы оно хорешенько просохло. Вернувшись часов в одиннадцать, позавтракали. Отдохнули. Сбегали искупаться. Так прошли наши отгульные и выходные жаркие дни. А понедельник около полудня дядя Леша довез нас до шоссе…

Я ехал в метро домой. К себе домой. Мечтал принять душ. Поужинать. Почитать что-нибудь. Но ключ в замок входной

двери… не вставлялся. Я пробовал и так, и эдак. Жал на кнопку звонка в течение минуты. И всё – безрезультатно! Приглядевшись, я вдруг заметил, что в двери стоит другой замок. Соседка поменяла! И что же теперь делать? Я вышел из подъезда. Опустился на лавочку, на которой сидела старушка и молодая женщина. Рядом играл мальчонка лет пяти. Обе как-то странно посмотрели на меня. Помолчали. Наконец, старушка спросила: «А ты, сынок не из седьмой ли квартиры? Не ты ли недавно въехал туда?»

- Да, - вздохнув, кивнул я, - вот не могу попасть домой. Соседка, похоже замок в двери поменяла…

- С нее станется, - тоже вздохнула молодая женщина, - она бедного дядю Васю, - ну, того, с кем вы обменялись, - поедом ела.

- Да-да, - закивала старушка, - он, болезный и уехал-то к дочке во Владимир, потому что житья никакого не было! Ее в доме никто не любит.

- Это точно, – подхватила молодая женщина, - нет, наверное, у нас ни одной квартиры, жильцам которой она не напакостила бы. Да такая изворотливая! Так напридумывает! Я сестре, - она у меня в Измайлове живет, - рассказала, так не

поверила же. Смеется: мол, таких сейчас не бывает.

- А сама-то – безстыжая! Прости, Господи! Ей, – покачала головой старушка и перекрестилась, - скоро – шестьдесят, а она полюбовника сороколетнего завела. Татрин какой-то. Раз в неделю приходит к ней днем. Не работает, что ли? А ведь и в церкву сама ходит! И лоб крестит!

- Что ж вы, жильцы-то дома, ее терпите? – хмыкнул я.

- Противно связываться с ней, - ответила молодая женщина, - да и дела, заботы – у каждого. А здесь время нужно. Нет времени-то! Даже, чтобы в товарищеский суд пойти. Там – тоже тягомотина.

Начало смеркаться. Я посмотрел на окна. В кухне моей квартиры зажегся свет. Поднявшись опять на свой этаж, я опять несколько раз нажал кнопку звонка. Но ответа не последовало. И опять я спустился вниз. Мотнул головой: «Странно! Свет на кухне горит, а она дверь не открывает.»

- И не откроет! - кивнула жалостливо молодая женщина. И тоже подняла глаза на кухонные окна: «Сколько раз дяде Васе приходилось у соседей ради Христа ночевать. А летом – прямо здесь. На лавочке.»

- Да-да! Дома – она. За час до тебя прошла. Мы уже с Анюткой и Коленькой здесь сидели! - кивнула старушка на женщину и мальчика. Участливо спросила: «Ночевать-то есть где?»

- Есть…

И с тяжеленной сумкой, набитой рыбой и ощипанными, уже опаленными утками, завернутыми в крапиву, я потащился на электричку. Чуть больше, чем через час я звонил в дверь квартиры родителей. Но и там мне ответило молчание. «На даче, должно быть!» - подумал я. Из телефона–автомата позвонил Жене. Объяснил положение. Тот даже присвистнул: «Ничего себе! Если бы кто-то другой рассказал мне, никогда бы не поверил, что такие стервы бывают в жизни. Давай, бери такси и приезжай. Всё обсудим за рюмкой чая.»

И через полчаса мы с ним сидели за столом. Он разлил по рюмкам коньяк: «С устатку…»

Мы выпили. Закусили. А он продолжил: «Тебе с этой мегерой надо решать что-то определенно! Давай-ка, так. Ты – сейчас, после ужина – в душ и спать. Утро-то вечера - мудренее. А завтра на работе посоветуемся с Галиной Евсеевной и Людмилой Петровной, как поступать. Может

быть Шнейдер своих знакомых юристов подключит. Они у него – у-у-ушлые! Одни евреи!..»

Утром мой рассказ о случившемся превратился в целое совещание. Людмила Петровна сразу предложила подавать в народный суд. Катя из методического отдела ударила кулачком по воздуху и воскликнула: «А что?! Соберемся женским коллективом и нагрянем к Саше. Да поговорим с ней так, что долго икаться будет!

- Вот-вот! Именно! Икаться будет, - покачала головой Галина Евсеевна, - только не ей, а вам, девочки. Если от этой бабы весь дом плачет, неизвестно, чего еще от нее ждать! Александру-то жить там! Здесь, думаю, надо сейчас тебе, Люда, Евгению Юрьевичу, Александру ехать в местное отделение милиции. Писать заявление о безобразиях, учиненных соседкой. Брать наряд и вскрывать квартиру. При свидетелях из жильцов дома. А я пока по поводу товарищеского суда узнаю. Начнем с него. Поехжайте. Считайте, что вы в командировке.

…С дежурным по отделению капитаном разговаривал как раз тот самый старшина, который приезжал по вызову соседки в день моего переезда. Я напомнил

ему о том случае. А капитану подал заявление. Тот прочитал. Хмыкнул. Посмотрел на старшину, заглядывавшему через его плечо в бумагу. Тот тоже хмыкнул: «Да мы эту старую кошелку давно знаем. Но все у нее как-то не подходит под статью. Ну, разве что, - под мелкое хулиганство. И на ее вызовы даже не выезжаем. Она, кстати, через несколько дней после того ложного вызова опять нам звонила. Заявила, что вы устроили в квартире публичный дом. И вдвоем с каким-то бородатым уголовником, простите.., как бы это сказать.., развлекаетесь с одной.., ну-у-у, понятно, с кем. Мы просто не поехали. Но ведь и этот вызов не назовешь мелким хулиганством. А штрафовать пенсионерку как-то рука не поднимается.

- Как это не подходит под мелкое хулиганство?! – вскинулась вдруг Людмила Петровна, вынырнув из-за моей спины. Вынула и развернула свое служебное удостоверение: «Я - заведующая отделом, в котором работает пострадавший! Человек не может попасть в свое законное жилье. Проводит ночь Бог знает где! Без отдыха, на который имеет право по Конституции! А утром и весь день выполняет ответственную работу. Это уже покушение не на личность, а

на государственные интересы. А в упомянутый вами вечер, когда якобы двое – с одной, - я, как руководитель отдела, - заметьте, идее-о-ло-гического фронта, - знакомилась с условиями жизни моего подчиненного. А «уголовником» она назвала нашего старшего редактора, Евгения Юриевича, известного московского поэта, члена молодежной секции Союза писателей СССР. И оскорбление нашего гражданского и человеческого достоинства вы тоже не назовете мелким хулиганством?!»

Оба милиционера заулыбались, и капитан кинул головой: «Успокойтесь гражданочка! Конечно же, мы разберемся.»

Тут старшина зашептал ему что-то на ухо. Дернул головой снизу вверх, как бы показывая на потолок, потом повел глазами в мою сторону. Прикрыл их. Капитан скривил удивленно губы. Наклонил голову. Задумался. Хлопнул старшину по плечу: «Тебе, Костя, и карты - в руки! Бери наряд. Согласно прописки гражданина и его заявления, по закону мы имеем право вскрыть квартиру. Только сами сперва его ключом попробуйте открыть дверь. И, к слову, двух понятых из соседей не забудь пригласить. Все запротоколируй. Пора кончать с безобразиями этой с-с-с…

старушки. А ее все-таки оштрафуй. Хотя бы на три рубля. Пригрози «десяткой», если такое повторится. Квитанцию выписать не забудь! При свидетелях!»

Через несколько минут трое милиционеров, за которыми стояли Людмила Петровна, я, Женя, знакомая уже мне старушка и полный пожилой мужик в полинявшей майке-тельняшке из соседних квартиры, тщетно нажимали на кнопку звонка.

- Да ломайте вы ее! А потом и новую дверь поставить заставьте! Дома – она! Сам видел! – воскликнул понятой в тельняшке.

Старшина снял фуражку. Вытер пот со лба и громко проговорил: «Гражданка из седьмой квартиры! Немедленно откройте дверь. Мы знаем, что вы - дома. Иначе согласно закона, мы вынуждены будем взломать дверь. И за установку новой двери платить придется вам…»

И та вдруг отворилась. Перед нами возникла соседка, вытирающая сухие глаза кончиком грязного передника:

- Что вы так звоните, кричите, стучите. Я ведь глухая. Старая. Совсем бабку напугали.

- Гражданка, - спокойно заговорил старшина, - поступило заявлением от вашего

соседа, прописанного в этой квартире на законных основаниях, о том, что вы поменяли замок входной двери не уведомав его, находящегося в это время в служебной поездке. На каком основании вы это сделали?

- А-а-а! Ключ у меня в замке сломался. Пришлось менять. А он будет шляться по московским щлюхам, а его искать буду. Вот-вот, и одна из них здесь. Они вот, аккурат, с этим, - указала она на Людмилу Петровну, а потом - на Женю, - давича с нею всю ночь развлекались. Так стонали! Визжали. Я и глаз сомкнуть не могла!

- Да как вам не стыдно! – вспыхнула Людмила Петровна.

- Мне-э-э?! Это тебе должно быть стыдно! – прохрипела соседка. И лобно спросила: «На каком вокзале они тебя подцепили?»

- Так, гражданка! Не советую клеветать! Личности этих граждан нам известны. Они заслуженные люди. И к тому, о чем вы говорите не имеют никакого отношения. А то ведь смотрите, подадут на вас в суд за клевету и оскорбление достоинства. Выдайте ключ от нового замка соседу при нас.

- Ой-ой-ой-ой! Гра-абят пенсионерку! Если заслуженный, так мог бы деньги за замок мне вернуть! – запричитала соседка. Но вынула из кармана халата связку ключей и один из них, отцепив, протянула мне: «Деньги-то отдай! Хоть половину! За-а-аслуженный!»

- Отдам-отдам, - вздохнул я.

Но Женя тут же достал бумажник и протянул соседке рубль. А мне кивнул: «Мы, Саха, с тобой потом рассчитаемся. А так… Отдаю половину стоимости замка при свидетелях.»

- А теперь гражданочка, - обратился старшина к соседке, - вам придется уплатить штраф в размере трех рублей.

- Эт-т-то за что же? – та даже откинулась всем телом назад.

- За мелкое хулиганство, - старшна обернулся к милиционеру, стоявшему позади нас. Тот, оказывается, уже написал протокол и заполнил квитанцию: «Серега, давай. А вы, граждане понятые, распишитесь.»

- А можно нам получить копию протокола? – подала голос Людмила Петровна. Старшина удивленно вскинул вопросительный взгляд на нее. А она пояснила: «Если моему сотруднику придется подавать в суд на свою соседку, этот

протокол может стать важным доказательством ее хулиганских действий».

- Копию вы всегда сможете получить в нашем отделении. А если хотите сейчас, то пройдемте с нами туда. Только зачем вам до времени обременять себя лишними бумагами?

- А они не потеряются?

- Что вы?! Это – уже официальный документ!

Мы все вышли. Знакомая старушка-понятая мелко крестилась, кивала, трогала милиционеров за рукава: «Спасибо вам, сынки! Хоть приструнили эту хулиганку. Может быть, Бог даст, притихнет на время.»

- А вы бабушка, если что, вызывайте нас. Не стесняйтесь.

Прощаясь с нами, он приложил руку козырьку: «А вам я советую при следующем хулиганстве подать на нее в товарищеский суд. Если он не поможет, - в народный. И как у вас терпения хватает? Я бы, ей Богу не сдержался! Но… это – противозаконно! Всего вам доброго.»

Они отправились в одну сторону, а мы – в другую, на электричку. До конца рабочего дня оставалось еще пять часов. В электричке Людмила Петровна сразу углубилась в какую-то чуть ли не

самиздатовскую брошюру, - и похоже, опять ВПШКовскую. А мы, сев напротив ее, тихо переговаривались.

- А вот, смотри, Жека, сколько было ссор, выяснений отношений с Людмилой! А на деле, как она не по-женски сегодня в «бой» бросилась?! А? Я так благодарен ей!

- Не спеши! Во-первых, я полагаю,– ответил он, - все-таки сыграл свою роль чисто русский менталитет: борьба за правду, справедливость, борьба со злом в его открытом виде. Во-вторых, она защищала еще и честь мундира. В-третьих, ей действительно нужен отдохнувший, выспавшийся старший редактор в твоем лице. А вот в-четвертых, наконец, как бы не было это затишьем перед бурей?!

- Сейчас-то перед какой?

- Прислали новые статьи. Наши «любимые» авторы. Из ВПШК…

- Мальчики? Что вы там шепчетесь? – оторвала глаза от брошюры Людмила Петровна.

- Саша вас нахваливает, как отважного бойца за справедливость. А я говорю, что это – чисто русский менталитет, - ответил Женя.

- Почему чисто русский? Мне кажется, что у каждого народа стремление к справедливости, равенству, братству – в

крови. А если этот народ еще сплочен одной идеей…

- Ага! Это смотря какой! У немецкого народа первой половины нашего века тоже была сплоченность на идее. Только какой? На идее фашизма! А кто его придумал? Идею избранности? Идею превосходства над другими? И почему она была внедрена в сознание такого великого народа, как немецкий?

- Почему же внедрена? – округлила глаза Людмила Петровна.

- Вот, я тоже хотел бы знать: «почему и кем»?

- Ну-у-у, если ты такой русофил, то должен знать о том, что намного раньше идея избранности возникла у другого народа. Именно у Русского. Давай-ка вспомним такие понятия, как «Святая Русь», «Москва – Третий Рим и четвертому не бывать», вспомним этого вешателя Столыпина с его «галстуками» и словами: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна Великая Россия». Заметьте: Ве-э-эликая! А что великого в лаптях? В матершине? В той ру-у-уской бабке из-под Калуги, которую мы сегодня видели и слышали?! Кем эти идеи «ве-э-эличия» над другими народами внедрены в сознание русского народа? И

почему? Женя! Я задаю твой же вопрос! Только теперь – тебе! Ответь! Хотя бы самому себе!

Женя раскрыл рот и не знал, что сказать. А я вдруг, неожиданно для самого себя, пожал плечами и произнес: «В мире искони существует Добро. И оно – первично. Да? Потому, как желаемо всем сущим на Земле. Потому, как оно – есть Творец! И Он попустил зло только для того, чтобы человек и всё, сущее на земле, поняли, что такое есть Добро. Чтобы он, человек, сремился к этому Добру. А Русский народ рассматривал свою избранность не как привелегию, а как служение Богу и другим народам. Как почетную обязанность спасения других народов. Разве есть какие-то тайны в Православии? Есть Таинства. Но они - не от людей, а от Бога. Поэтому Русский Православный народ, по слову Христову, провозгласил себя слугой по-сту-па-вым для других. Он никогда не был против кого-то. Он всегда был – за Христа. И только защищал Его от тех, кто нападал. Нападал не на Русский народ! На Христа!..

- О-о-о! Александр! А ты – философ! – засмеялась Людмила Петровна.

- Философия переводится с греческого, как «любовь к мудрости». А мудрость бывает только от Бога…

- Прости, Саша! Но откуда ты знаешь, что твой Бог – Истинный? Может есть какой-то иной творец, создавший и небо, и землю? И ему кто-то помешал? И выдал себя за него? Ты не думал об этом? И это разграничение зла и добра. Давай определимся в понятиях. Что есть добро? Я думаю, что добро – всегда нечто умное! То есть, оно – ничто иное, как зна-ни-е! А зло? Оно – антипод знанию! Почему же тогда твой Бог сказал…

…- Следующая станция – Москва-Ярославская. Конечная, - раздался механический голос в динамике. Мы стали суетливо собираться. Я искал пачку сигарет, завалившуюся вглубь многочисленных карманов, изобилие которых я так любил всегда. Людмила Петровна засовывала брощюру в свою, и без того переполненнцую бумагами, дамскую сумочку. И только Женя со скучающим видом наблюдал за нами. А выходя из вагона, Людмила Петровна хохотнула: «Мы так повеселились сегодня! Что в милиции, что у Саши на кваритре, что в вагоне, вычисляя истины, менталитеты, избранности, первичности. Правда, здорово?

Необычно? Интересно? А теперь, пойдемте, у нас еще четыре часа работы. Кстати, а как вы отредактировали на статьи, которые брали на Вожу?»

И вдруг я почувствовал, что она многое… не договаривает. Что она – совсем не та, за которую себя выдает. И даже – не та, которой была всего полгода назад. Что же призошло? Кто же она сейчас?! Я увидел Людмилу Петровну совсем другой, нежели раньше. И если раньше она пыталась что-то понять, уразуметь из прочитанного, то теперь она просто мягко цитировала, вставляя в эти цитаты всего лишь междометия, дабы выдать их за свои мысли.

«А могу ли я так осуждать? Рассуждать? Благословлен ли я на это? Нет! Даже не священником! Свыше? Ох! Как бы теперь самому не вляпаться в такое же. Для этого надо быть слишком праведным. Не правденее Бога, конечно! Но праведнее, чем я, грешный!» - засверкала мысль. И вдруг от нее стало так сладко! Так спокойно! Так радостно, словно я, исповедавшись, стою перед Святым Алтарем, готовый ко Святому Причастию! Конечно, по-настоящему готовым я никогда не смогу быть! Но ведь есть милость Божия!

Мы переходили от Ярославского вокзала в сторону ЦДКЖ. Людмила Петровна вдруг стала той же, что в милиции или у меня на квартире. Или - на сегодняшнем утреннем «совещании». Вновь улыбчивые ямочки появились на ее щеках. И в кабинете она сама поставил чайник. Заварила покрепче. Сделала бутерброды. И после такого обеда мы снова сели за работу. А Людмила Петровна, выйдя ненадолго, вернулась и объявила, что Галина Евсеевна одобрила наши действия.

- Ур-ра! – рявкнул Женя. И я, и девочки-редакторши подхватили его возглас, немного растянув. Я приехал домой спокойным и уверенным. Соседка стояла на кухне. Не отрываясь смотрела, как я открываю ключом замок в двери своей комнаты. Когда же мы встретили взглядами, она всхлипнула: «Справился со старой бабкой! Милицию притащил! Соседей - в свидетели! Где совесть-то?!»

Я даже опешил! Такой наглости уж никак не мог предположить! И ответил: «Это у тебя где совесть? А? Как ты налгала на меня жене?»

- Ну, показалось мне… Ну, и что?

У меня не было слов. Даже ужинать не стал: расхотелось. Но чтобы как-то

развеяться, позвонил Сергею Емелиановичу. Он взял трубку после первого звонка. Ответив на приветствие, бурно заговорил: «Александр! Как у вас завтра вечером со временем? В Москву приехал мой давний знакомец, профессор археологии, русский американец. Он такие открытия сделал! Будет завтра у меня в гостях. Расскажет! Соберутся и другие. Даже отец Илларион обещал приехать. Приезжайте! Думаю, вам будет интересно в свете наших недавних бесед.»

- В котором часу, Сергей Емелианович? - вдруг «загорелся» от него я.

- Часиков в шесть… Все приглашенные даже с работы отпрашиваются!

- Спаси Господи! Приложу все усилия. Как самочувствие Елены Васильевны? Ваше?

- За все – слава Богу! Не время нынче болеть! Поклон вам от Леночки.

- Божией помощи вам и ей! Спаси вас Господи.

- С Богом!..

И в трубке раздались короткие гудки. Я вдруг подумал, что было бы хорошо взять с собой Женю. Но осекся. А поймет ли он, будучи далеким от глубокой веры?! Нет, - решил я, - не поймет. Вдруг в искушение

введу. Но зато спал я, как младенец. А на работе весь день поглядывал на часы. В семнадцать-ноль-ноль положил на стол Людмиле Петровне отредактированную рукопись и поросил: «Можно мне пораньше сегодня уйти?»

- Что-то опять с соседкой? – оторвала взгляд от статьи она.

- Нет. Просто назначили мне одну важную встречу. На восемнадцать-ноль-ноль.

- Хорошо. Только два дня подрял на полчаса позже уходить будешь. Мы итак разбегались по личным делам в рабочее время. Я вот сегодня до восьми сидеть собираюсь.

- Людмила Петровна, – вмешался Женя, - Александр вполне заслужил три отгула! Какую Сашину статью про наш недавний семинар в ДК имени третьего интернационала в «Гудке» опубликовали! А ведь написал он ее в свободное, кстати, от работы время. Вам разве Галина Евсеевна не говорила?

- Не-е-ет, - округлила глаза заведующая отделом, - а что? Статья уже опубликована?

- Да, в сегодняшнем номере, - кивнул я, - а три дня назад – в «Московском железнодорожнике». Конечно, меньше по

объему, чем в «Гудке», и в новой редакции. Но к этому журналистская этика обязывает.

- Но ты же за нее еще и деньги получишь! - повернулась она ко мне. - И вообще, почему не даешь просмотреть твою рукопись, прежде чем нести ее в редакцию? А вдруг там какие-нибудь методические неточности окажутся? Если такое произойдет, нам не то, что отгулы предоставят, еще и по шапке дадут! Не ошибается-то только тот, кто ничего не делает. Но бить-то будут в основном ме-э-эня! Не жалко? Я за тебя во-о-он как в милиции заступалась. Так что, давай, на будущее договоримся…

- Само собой, - перебил ее Женя, - Саха получит гонорар. Как за любую другую статью. Но в данном случае он пропагандирует работу ЦДКЖ на всю страну. А за это, я полагаю, - да и Галина Евсеевна со мной согласится, - надо поощрять!

- Тебе бы, Евгений Юрьевич, в адвокаты идти! – крутанула головой Людмила Петровна. А мне кивнула: «Ладно, посмотрим.»

- В адвокаты? У меня это – наследственное! От папы! – хохотнул Женя. И тут же покачал головой: «Но два адвоката

на одну семью – перебор! Саха, может быть перекурим?»

- Нет, Жека. Прости. Бежать надо. Боюсь, что итак не успею, - сделал я прощальный взмах рукой и вылетел из кабинета.

…Раздвинутый гостей на двенадцать стол у Сергея Емелиановича и Елены Васильевны был накрыт для чая. Правда рядом с чашками на блюдцах ютились рюмочки. «Должно быть для рома», - подумал я. Оглядел собравшихся. Увидев отца Иллариона, метнулся к нему за благословением. Тот, улыбаясь, осенил меня крестным знамением. Спросил: «Ну, как ты?»

- Ой, батюшка! Столько всего было за это время. Давайте, приеду! Исповедаюсь. И все расскажу!

- Александр! – позвал меня Сергей Емелианович… Рядом с ним стоял молодцеватый, худощавый старик в каком-то светлом пиджаке, похожим на военный френч, таких же брюках. Если бы я не знал, что он – профессор археологии, то бы принял его за отставного полковника или действующего генерала. Седые, коротко постриженные усы, такая же бородка, и голубые глаза… цвета живого неба…

говорили сами за себя об их носителе. Я подошел. Склонил голову. Представился. Сергей Емелианович сказал: «Вот, Харитон, это - мой молодой друг. Бывший офицер, как - и отец Илларион. Теперь – журналист. Толковый. Впитывает то, что мы с тобой должны людям оставить, как губка! Прошу любить и жаловать.

- Очень рад, - слегка склонил голову новый знакомый, - Харитон Александрович.

И я, вспомнив, что он - из Америки, удивился чистоте русского языка, произношению без всякого акцента. Потом Сергей Емелианович знакомил меня с другими гостями. Вдруг покачал головой: «Как жаль, что Танюша не смогла приехать. Сынишка заболел, а муж – в командировке.»

Он обвел взглядом собравшихся, видимо, подсчитывая их. Провозгласил: «Братия и сестры! Семеро одного не ждут. Порошу присесть за стол. Кто зевает, тот воду хлебает! Ха-ха! Леночка! Принеси, пожалуйста, из холодильника подарок Харитоши.

На столе оказались две бутылки… виски. Сергей Емелианович показал на них ладонью: «Вот, наш общий друг настаивает, чтобы мы выпили по… семьдесят граммов.

За его приезд на Родину. Я думаю, это не помешает нашему общению.»

- Виски в Америке не закусывают, потому что пьют, - мало того, что разбавленные газировкой! – еще и со льдом! - засмеялся Харитон Александрович. И добавил: «Но мы не будем пить суррогат! А закусить можно лимончиком, как коньяк. Хотя любые виски похожи на плохую русскую самогонку. Но, если очень надо, мы перекрестим и выпьем, как многие русские делают это в изгнании. Давайте, помолимся! Как же я ждал этого момента: по-мо-лить-ся на Русской земле! С русскими, близкими по духу людьми! Спаси вас Господи! Сержик! Ты - хозяин. Читай молитву перед трапезой.

И Сергей Емелианович запел *Отче наш*. Ему тихо вторили и другие гости. Потом выпили по стопочке, за приезд Харитона Александровича. Дружно пропели ему *Многая лета*. Рюмки тут же убрала со стола стройная молодая женщина, назвавшаяся при знакомстве Ольгой. А Елена Васильевна принялась разливать чай. На столе разноцветились разные сорта варенья, конфеты, три торта. Гости приступили к их дегустации. Но уже минут через пять Сергей Емелианович взял слово: «Дорогие мои! Мы собрались. Чтобы

Харитон Александрович рассказал о своих изысканиях, которые, уверен, интересны каждому русскому православному христианину. Поэтому у вас я прошу внимания, а моего старинного друга - поведать нам, наконец, о своих открытиях. Почему я так говорю? Каюсь. Грешен. Но Харитон Александрович уже кое-что вкратце рассказал мне.

Ночью меня растолкал Тишка: «Княже! Наши дозорные сказывают, верховой в сторону монастыря поскакал.»

- Ну, и что, - раздался недалекий голос Дубка, спавшего где-то рядом, - пусть скачет. Глядишь, игумен сам пожалует. Нам - меньше забот. Только пусть дозорные зорче приглядывают. Как бы нас врасплох не застали бывшие хозяева. Евсейка-то где?

- Где и положено, - ответил Тишка, - в дозоре. Как раз - со стороны монастыря.

- Добро, - ответил Дубок, и тут же захрапел пуще прежнего.

То ли устал я с дороги, то ли воздух такой духмяный был в этих местах. Словно травяной настой! Но открыл я глаза, когда солнце стояло высоко, а издали доносился гул людских голосов. Я сел на попоне. Потряс головой. Огляделся. Рядом по-

прежнему храпел Дубок. Десятка два-три мужиков и казаков, тоже спали со внешней стороны забора на попонах, как убитые. А в палисадник вошел хмурый отец Никита.

- Ну, что, братия?! Отец игумен ратных иноков прислал. Те ходят по истбам. Плетьми выгоняют народ на работы. Воеводствует отец казначей…

Дубок резко вскинулся: «Что-а-а?!»

Видно было, что его сон, как рукой сняло. Он заливисто свистнул. Гаркнул: «Казаки! Подъем! Тут измена Государю творится!»

- А что ж наши дозорные? – спросил я отца Никиту.

- Ратные иноки лесом да огородами пришли. Обошли, стало быть, ваши сторожи. Ми-но-ва-ли! А вот мне, - опустил глаза тот, вздохнув, проговорил, - не миновать мне, видно, подклети, желез, да гнилого хлеба с тухлой водой…

- А ты не каркай! – опять гаркнул, - видно от недосыпа, - Дубок. И крикнул своим: «Коней с реки ведите! Мне и князю – облачение! Снаряжение!»

Мы натянули кольчуги. Перепоясались. Нацепили сабли. Дубок даже вскочил на неоседланного коня. Гаркнул: «Ка-а-азаки! За мной!»

- Тишка, – позвал я, и когда тот вывернулся откуда-то из-за моей спины, тихо повелел, - скачи огородами к нашим дозорам. Скажи, чтобы ухо держали востро и встали поближе к селу.

Я пришпорил коня и поскакал вслед за Дубком… Но вскоре остановился, потому что не мог от смеха даже коленями двинуть. Дубок с казаками плетками, - или, как они говорят, нагайками, - гоняли иноков-ратников, доставая их даже под кустами, плетнями, в зарослях крапивы. А селяне, - мужики, бабы, отроки, отроковицы, даже младенцы, - еще недавно сами битые, вольно стояли окружив побоище и… хохотали.

- А ну, прекратить! – теперь гаркнул я во весь голос, насколько хватило сил. Все замерли. Дубок смотрел на меня удивленно. Я подъехал к нему. Прошептал: «Пойми же, брат! Мы здесь – представители Го-су-да-ря! Всё должно быть по за-ко-ну!»

- Брат.., брат… Скоро тестем назовешь, - проворчал Дубок, отъезжая от меня.

А я громко крикнул: «Кто здесь старший от монастырской братии? Именем Великого Князя и Царя всея Руси Иоанна Васильевича!»

- Ну-у-у-у, я, - из-под поваленного плетня вылез грузный, но высокий монах.

Он стряхнул пыль и куриные черно-зелено-белые «калачики» с подрясника. Вскинул вверх рыжую бороду: «Отец казаначей я. Отец Иоаникий. Послан за нашими холопами. Бунт здесь приключился, болярин. На работу не выходят. Похоже на ересь! Ведь работа – для монастыря, а значится – для Бога!»

- Бунта здесь никакого нет, – едва сумел скрыть я улыбку в усы и бородку, – зато Указом Государя владельцем сего села со всеми холопами, рыбными, охотничьими, лесными промыслами пожизненно для всего рода моего являюсь я, князь Александр Васильевич. И это я, как новый володетель, повелел не выходить селянам на работы сегодня. Потому, как назначил сход. Так и передай своему игумену. А ежели желает потолковать со мной о сем деле да посмотреть Указ и Грамоту Государевы, пусть приезжает в полдень к церкви. Да, чуть не запамятовал! Передай, что и соседнее село Государь отписал князю Иоанну Дубову. И у него имеются Указ и Грамота. А уж с ним в мире не жить – себе дороже выйдет.

Я плеткой указал казначею на Дубка И когда первый из-под лобья взглянул над него, второй пригрозил ему кулаком. Казначей втянул голову в плечи и стал

мелко и часто креститься. Потом злобно взглянул на отца Никиту и елейно попросил его: «Ба-а-атюшка Никитушка! Мы сейчас в обитель возвращаемся. Пожаловал бы и ты с нами…»

- Нет, – пришпорив коня, встал я между ними, - церковь – моя! Значит и поп, данный монастырем, - мой. Желаю сейчас молебен служить!

- Как пожелаешь, болярин! Как пожелаешь! – мелко крестясь и кланяясь, попятился от меня отец казначей. Остальные ратные иноки, все побитые, и выпоротые, засеменили за ним. Усевшись в подводы, они укатили. А из все еще смеющейся толпы вышли Заяц и незнакомый мне старик. Оба встали на колени. Ткнулись лбами в землю. За ними повторили все, как один, селяне. Старик проговорил: «Спаси тя Господи, князь! А на сход все придем! С бабами и детишками. Пусть и они поучатся уму да разуму.»

Я спешился. Поклонился им в пояс. Улыбнулся: «Уж и не знаю, учили ли вас монастрские тому, что до Святой Троицы земные поклоны класть не принято. Но спаси и вас, Господи, на добром слове. Ничего не бойтесь. Над нами – Царь, а над ним – Господь. А я - верный холоп Царский.

Ступйте с Богом, до полудня займитесь своим хозяйством.

- Не-е-е, княже, – вдруг замотал головой старик, - ты сам же сказал, что молебен заказать желаешь. Дозволь же и нам на службе помолиться! В кои веки – раз!

Селяне дружно загудели, закивали головами, стали креститься. Я взглянул на отца Никиту. Тот улыбался.

- Ну, что ж, отче! Иди, облачайся для службы. Для Божественной Литургии! Только не по монастырскому уставу, - улыбнулся и я ему, - а то к полудню не поспеем. А?

Иеромонах поклонился мне и ушел в храм. Я последовал за ним. А за мной - Дубок со своими казаками и моими мужиками. Потянулись и селяне. Места, конечно всем не хватило. Многие стояли на улице. Вслушивались в слова ектений. Истово крестились. Бабы вытирали глаза кончиками платков. Но слезы эти были ралостными! А когда отец Никита провозгласил «С миром изыдем», никто даже не пошевелился. Да и мне не хотелось уходить из этой, продуваемой сквозь щели, церкви- страдалицы. И ведь из-за кого? Прости, Господи! Вот и осудил священство.

А на улице нас уже ждала богатая колымага, запряженная двойкой упитанных лошадок. В ней восседал такой же, как казначей, поп в дорогом подряснике, с большим перстем на пухлом мизинце. Верхушка его посоха была изукрашена черненным серебром. Прищурив глаза и склонив ухо к казначею, что-то нашептывающему, он, не отрываясь, смотрел на меня. Вокруг колымаги застыли конные в подрясниках, на которые были натянуты кольчуги. В руках – обнаженные сабли. Но я решил попробовать решить все по-доброму. Подошел. Поклонился. Перекрестился. Сложил ладони лодочкой. Попросил: «Благослови…»

Игумен помолчал. Кашлянул. Проговорил сквозь зубы: «И на что ж я тебя благословлять должен? На разбой? Или на избиение иноков? На кого холопов, псов своих спустил? На кого они руки подняли? На ангельские чины!»

- Нет! Отец игумен! Не псы - мои люди! А холопы Царевы, как и я. А если и псы, то опять же – Государевы! Дабы выгрызть с родной Отчины всю мерзость запустения, крамолу, иудство, ереси всякие! И выполнялем мы волю Государеву. А вот почему твои «ангельские чины» на людишек

руки подняли? На творения Божии? Как не дают им седьмой день Богу посвятить?

- Ангелы и архангелы-то Божии – тоже с мечами да копьями на иконах малюются! Тоже секут грешников лютых! А Бог заповедовал в поте лица хлеб зарабатывать! Гляжу я, - скривил губы игумен, - много ты знаешь. Нахватался в стольном граде. Да только мелко плаваешь!

Я понял, что разговора у нас не получится. Поэтому отвернулся и шагнул к селянам. Те окружили меня, Дубка, Тишку и Евсейку. Я вынул Указ и Грамоту и зачитал их. Селяне радостно загомонили. А я продолжал: «Гляжу я на все это запустение и сердце кровью обливается. Государь наш Иоанн Васильевич Царство Русьское возводит, чтобы стало оно иконой Царства Небесного. А тут, у вас… И-и-и-эх! Слыхал я, что староста на ладан дышит.

Селяне дружно закивали головами. Тогда я продолжил: «Значит новый нужен. Работа предстоит бо-а-а-альшая! А вот ежели я предложу вам в старосты Гришку Зайца? Приглянулся он мне почему-то. А?»

Единым, одобрительным выдохом отозвался сход. А я продолжил: «Только уж бывшего старосту в нужде не оставляйте. Помогайте семье-то его. Сюда из Москвы

идет обоз с плотниками, другими работными людьми. Благословлены они хоромы мне и князю Иоанну Дубову возодить. Но какие могут быть хоромы, когда Дом Божий, - церковь ваша, то есть теперь – наша, - в запустении. Посему, чтобы и дальше наша жизнь на поправку пошла, предлагаю возвести новую обетную Церковь.

И опять одобрительно выдохнул сход. Но тут раздался голос игумен: «А вот, ежели, как страший по духовному чину на всю округу не дам я на возведение церкви благословения? А ежели отлучу вас всех от Святого Причастия? А?

Вдруг раздался звонкий мальчишеский голос: «По дороге обоз катит! В ём песни играют. А вокруг – ратников. Насколько глаз хватает. Лес пик!»

- Вот и кончается твое княжение! – расхохотался игумен. Даже слезы принялся вытерать: «Сейчас и Указ поглядим, и Грамотку твою. Не разбойные ли они? И какому ты псу-государю служишь! А? Ведомо ли, чтобы Великий Князь у монастырей земли, села да деревеньки отбирал?»

- Что-а-а-а?! Кого ты псом назвал?! Да я ж тебя, крыса монастырская, за Государя, - выдернул саблю из ножен Дубок.

Но я положил ему руку на плечо. Тихо молвил: «Погоди малое время. Дождемся обоз и ратников.»

Я оглядел собравшихся. Сход замер. А игумен, ухмыляясь казначею, похлопывал пальцами по серебру посоха.

- А ежели это не наш обоз? Ратников-то, вроде как, никто присылать не должен был! - крутанул головой Дубок.

- Бог милостив, - усмехнулся я, хотя и сам подумал о том же. Облако пыли приближалось. И действительно над ним, сверкая на солнце, колебались острия сотни, - не меньше! – пик. Наконец из него выехали три всадника. Один был явно княжичем или болярским сынком, по ратной службе. Другой, - в скуфейке, - поп или монах. В третьем я узнал… дьяка Кирюшку из Посольского приказа. Да-да, это был несомненно он! Я облегченно вздохнул. Хлопнул по плечу Дубка: «На-а-аши!»

Я вскочил на коня. Бросился навстречу всадникам. Крикнул: «Дьяк! Кирюшка!»

Тот вскинулся. Привстал на стременах. Но вдруг помрачнел. Однако, поравнявшись со мной, похристосовался. И опустив глаза, сказал: «Вот, по твоей вине, перевели меня из Посольского Приказа в Разбойничий. За

твою зазнобу. Мол, не усмотрел вражину. По твоей, по твоей вине!»

- Прости ты меня Христа ради! – тоже опустил я глаза.

- Бог простит. Бог простит. А я – туда же. Обоз твоих плотников, иных работных людишек сопровождаем. Знакомься, княжич Кузьма. Над сотней митрополичьих ратников главенствует. А это – отец Савва. От митрополита. От самого владыки Макария! Мы ведь тоже – по делу. Игумен, сказывают, здесь безобразит. За ним и идем. Велено с братией привести на Москву. На Церковный суд.

Мы подъехали к сходу. И тут игумен заверещал: «Вот, люди добрые, служивые! Кресты вижу на ваших шеломах. Значит наши ратнички, церковные. Разбойники понаехали. Иноков избили. На бунт холопов монастырских подбивают!»

- А ты кто будешь? - просил его отец Савва.

- Как это кто? Игумен я обительки местной, - поклонился тот.

- Ты-то нам и нужен. Веди в монастырь.

- Это как так? За какой нуждой? – округлил глаза игумен.

- Грамоте разумеешь? Тогда на, читай! – подал свиток ему отец Савва. Игумен

развернул грамотку, зашевелил губами. И по мере прочтения бледнел. А лицо покрывалось красными пятнами. Дочитав же, он глубоко вздохнул, словно ему не хватало воздуха, запричитал: «Оговорили, ироды! Наветовали! Оклеветали!»

- Вот и раберемся. Сыск учиним и разберемся. Разберемся ! А почто это ты, – хмыкнул дьяк Кирюшка, - словно редиска, красно-белым стал? Коли нет за тобой вины, коли оклеветали, нечего, стало быть, и бояться. Нечего бояться.

- Веди в монастырь, - повторил отец Савва. И сотня ратников, окружив колымагу и монахов, у которых тут же отобрали сабли, сулицы, ножи, отправились дальше по сельской улице. А Дубок крикнул вслед: «Эй, игумен! Не забудь повиниться в том, что Государя псом называл!»

- А что такое редиска? – спросил я Дубка.

- А-а-а, - махнул он рукой, - ма-а-аленькая такая репка. Половина красная, половина – белая. Я редиску у китайских купцов купил как-то. Попробовал. Горчит. Но те ее хрумкают! За милую душу! Ну, что? Пора и мне свое сельцо поглядеть…

- Погоди. Давай с моим разберемся, а потом и в твое отправимся вместе. Ты ж все

одно скоро за Казань пойдешь. А я тут до уборочной пробуду.

Дубок согласно пожал плечами. А я обратился к селянам: «Смилосердствуйте, приютите работных людей из Москвы!»

И дело пошло. Скоро все прибывшие были распределены по истбам. И обедали в семьях, угощая доброй снедью хозяев. А я вызвал Гришку Зайца. Сразу спросил: «Из чего бы церковь-то построить? Не знаешь ли, где взять сухого леса?»

- Есть сухой лес, - наклонил голову набок тот, - в монастыре. Сам год назад и валил его, и возил в обитель.

- Много ли?

- Немерено!

- На что ж им столько?

- Для торговли.

- Тогда вот что. Определи, у кого истбы совсем обветшали…

- Зачем? – вскинул брови Заяц.

- После церкви им будем новые ставить.

- А лес?

Я ничего не ответил. А сам подумал: «Куда ж я матушку с сыновьями, Аленой, да всем двором встречу? Эх! Не погорячился ли я? Теперь делать нечего. Обратно не повернешь, коли пообещал».

…В сумерках мы вечеряли в палисаднике. Вдруг послышался конский топ. Это, оказалось, прискакали дьяк Кирюшка, отец Савва и пятеро ратников.

- За мной, - грустно проговорил отец Никита и встал. Но дьяк Кирюшка махнул ему рукой, и сам уселся с нами рядом. Ему последовали и остальные прибывшие. Отец Савва спросил иеромонаха: «За что тебя так невзлюбил игумен?»

- Не хочу судить. Ты бы, батюшка, спросил только по делу.

- Хотели мы тебя к другим сидельцам привезти, - сказал дьяк, - но как услышали от игумена хулу! Та-а-акую хулу на тебя! То решили здесь показания снять. Пойдем в истбу. Пойдем-пойдем.

Он передвинул со спины на бок суму, в которой всегда возил пергамент, перья, чернильницу и жестом потребовал выполнить повеление. А Дубок спросил одного из сопровождавших ратников, запивающего молоком кусок жареной свинины: «Ну, как там? В монастыре-то?»

- А что там?! – хмыкнул тот. Прожевал мясо. Запил изрядным глотком молока. Сказал: «По мне бы, прости Господи, этих обительщиков хоть сейчас надо в волчьи ямы или в подклети Кремлевские сажать!

Во-о-оры! Богатств – немерено! Спят, жрут, что твои боляре-кормленщики! Снеди в ледниках, рухляди, другого добра, золота, серебра, мехов – всю Москву накормить, одеть, обогатить можно. Куда столько им? В могилу-то не унесут!

- Зато погляди, в каких развалюхах холопы живут, - подхватил его другой ратник.

- Ага, - закивал третий, - а я слыхал, как княжич Кузьма говорил, что ни в митрополию, ни Государю уже два года не платят налогов! Отписываются, мол, монастырек нищий. Да еще и на холопов кивают: мол, поглядите, их прокормить не можем. Да и сами, мол, на хлебе и воде сидим. Только видал я эту «воду»! В подвале! Штук сорок десятиведерных бочек с вином да с медами!

- Да-да, – отдышался от молока первый, - а ведь присылал митрополит сюда сыск. Предупреждал! Я сам тогда грамоту епископу Тверскому возил. Да, видать, не вняли здешние монастырские увещеванию!

- А теперь где вся братия? – спросил я.

- Заперли по кельям. На хлеб и воду. Сторожу выставили. А вот, игумена и сродника его – в подклети поместили, - ответил второй ратник.

- Что ж, - развел руками Тишка, - бесто, он на монахов посильнее, чем на нас, мирян, нападает! Разум мутит! Глаза застилает. Прости Господи! Не попусти Господи!

Уже в полной темноте дьяк Кирюшка, отец Савва и иеромонах Никита вышли из истбы. Двое первых улыбались. У третьего слезы стояли на глазах.

- Не кручинь сердце, брат! А эти, - кивнул он в сторону обители. И обнял иеромонаха Никиту за плечо отец Савва, - а эти пусть уж лучше на земле плотью ответят за безчинства свои, чем безсмертные душеньки их потом на Страшном Суде отвечать будут. Душеньки-то жальче, нежели плоть! Им-то вечно отвечать! А плоть – итак недолговечна! Да и чего там?! Разведут братию сию по монастырькам, по дальним. На черные работы. А как уведем их, так и принимайся за дело. Я замолвлю словечко. Глядишь, и тебя игуменом поставят.

- Недостоин я такого сана, - опустил глаза в землю иеромонах.

- А это уж, брат, – не тебе решать. Принимай, как монашеское послушание.

- Отец Савва, – вскочил я и подошел к нему, - сказывали мне, что в монастырьке немерено леса сухого, добротного. А тут сход

порешил храм обыденный поставить. Новый! Так нельзя ли нам тот лес использовать?

- Почему же нельзя? Лес-то - монастырский. Для духовных, для Божиих дел. Берите, да возводите. Кстати, там – половина леса тебе по праву принадлежит. Слыхал я, ты обновить истбы холопам вызвался. Это, брат, милостынька!. Добродетель. Посему и бери весь. А зимой новый заготовь. К тому времени, полагаю, обитель новой, не лихоимной братией наполнится.

Я поклонился попу в пояс. Он ответил тем же. Ратники зажгли факелы, и наши гости-сыскари ускакали.

- Ну, как? – спросил Дубок отца Никиту.

- Как-как, - печально ответил он, - помолились. Я перед святыми образами рассказал всю правду, которую ведал. А ведь жалко душеньки лихоимцев.

- А им не жалко было Бога, когда они Его именем обирали холопов своих? – вдруг проговорил Тишка.

- Обирала плоть лихоимная, а душеньки-то Божии, поди, страдали! – вздохнул иеромонах. Я послал Тишку за Зайцем.

- Не поздновато ли? Пора бы и, – крутанул головой Дубок, - на боковую! Завтра в мое сельцо поедем.

- Погоди, брат! Ради Христа! Давай завтра храм возведем! За един денек! А послезавтра – к тебе! Всем отрядом! А? Такое ведь дело! Хра-а-ам! Обы-ы-ыден-ный! С церкви вся жизнь человеческая начинается! И могу ли я от холопов своих в стороне быть? Не жить их жизнью? Ради Христа!

- Будь по-твоему! – положил мне руку на плечо Дубок. Из темноты появился Гришка Заяц.

- Кликал, княже? – поклонился он.

- Присядь… Завтра до света пройдись по селу. Подними всех. Распредели, кто землю копать будет, кто за лесом в монастырь поедет, кто за камнем. Есть он здесь?

- А то! Немерено! А зачем?

- Храм завтра возводить будем. Должны за день успеть. Все миром! Обыденный! Чтобы Господь помог новую жизнь наладить! Ради Него. Ради потомков наших!

- Ух ты! – даже откинулся назад всем телом Заяц. Мечтательно прикрыл глаза: «Вот это –дело, так дело! Только лес-то можно ли брать?»

- Сказал же: ехать за лесом. Всё. Ступай. Затемно поднимай всех!

- Всё исполню! – даже подпрыгнул на месте Заяц и скрылся в темноте. А мы опять улеглись на попоны. Утром даже поднимать никого не пришлось. Все вскочили веселые, бодрые, словно три дня спали! Я вылил на себя ведро колодезной воды, принесенное Тишкой. Обжегся! Но тут же растерся холстиной. Вскочил на коня. А впереди, в утренних сумерках уже маячила фигура Дубка. Оказалось, что все людишки собрались перед церковью! Даже младенцы постарше прибежали. Здесь же стояли запряженные в телеги клячи, ребра которых, казалось, вот-вот разорвут кожу на боках. За ворот рубахи я притянул к себе поближе Зайца. Шепнул: «Из монастырских запасов выделишь каждому овса! Пусть откормят скотинку-то!»

- А можно ли? – округлил глаза то. Покрутил головой по сторонам: «А не грех ли? Игумен сказывал, что щепку из монастыря вынести – грех!»

- Игумена твоего в Разбойный Приказ поведут. Здесь остается отец Никита. За игумена. Пока. До решения Церковного Суда…

Я привстал на стременах. Громко заговорил: «Ну, что, хололпчики мои любимые! Домочадцы мои! Поставим за день новую церковь? А? По обету?! Авось, Бог смилостивится над нами.

Перед толпой вышел уже знакомый старик. Поклонился в пояс. Обернушись на обносельчан сказал: «Спаси тя Господи, княже. Не чаяли мы такого. Чтобы заместо хором для себя володетель наш церковь решил поставить.»

- А как же без нее, без родимой? Без нее в окоеме и курятника доброго не поставишь! – перекрестился я.

- Вот я и толкую, княже. Коли уж позволил московский поп, что от самого митрополита прибыл за кровососом нашим, лес брать, повели и нам своим мужицким хилым умишком распределить: сколько леса – на храм Божий, сколько – на твои хоромы?

- Это где ж ты их ладить желаешь? – со смешком крутанул я головой.

- А во-о-он, - там! На пригорке. Чтобы по утру шел ты со всеми чадами и домочадцами в храм Божий. А мы, завидев тебя, и сами бы поспешали на службу церковную.

- Еще раз повторюсь. Покойный отец мой, убиенный под Казанью, - Царствие ему

Небесное, - так учил: домочадцы – это не только жена, дети. Это все холопы твои! Поэтому молю вас, Христа ради, будьте ими!

Слезы навернулись у меня на глаза. Я перекрестился. Крикнул: «Солнце встает! За дело! С Богом!»

Ох! И весело же было видеть, как работают селяне. С радостью! Тоже весело. Бабы пели, мешая ногами глину. Отроки и отроковицы таскали привезенные откуда-то камни. Мужики-селяне и приезжие плотники носили подвозимые бревна, пилили, строгали, колотили. И тоже подпевали бабам. К полудню подклети, выложенные камнем, были готовы. Благо, день выдался знойным. Глина сохла на глазах. А тут и старушки пришли. На коромысле каждой висело по две большой корзины с кринками, наполненными молоком. Но плотинкам им пришлось подавать уже наверх. Венцов десять были уложены.

Я с какой-то позабытой молодой горячностью тоже подставлял плечи под бревна. Нес их в будущему храму Божиему и радостно думал, что Господь разрешил все: будут хоромы, куда к осени въедут мои дорогие матушка, Ванечка, Васечка, Алена, остальные домочадцы, которые сейчас на Москве обитают. Тут раздался голос одного

из плотников, рукодельничавшего на самой верхотуре: «Цельный обоз к нам идет!»

Все приостановились в работе. А Заяц, приложивший ладонь ко лбу, чтобы лучше разглядеть, заулыбался: «Ми-и-ишуткинские! Соседи! Твои, князь Иоанн, людишки!»

Телег двадцать подъехали к нашей стройке. С первой слез степенный, но худющий, пожилой мужик. Поклонился и перкрестился на четыре стороны. Громко молвил: «Дошел до нас слух, что помещику село наше отдали, и что он - здесь, своими болярским руками храм Божий возводит. Вот и порешили мы приехать, хоть одним глазком взглянуть на него. Да и пособить! Как же иначе? Где - отец, там - и чадцы…»

Дубок вытер рукой пот со лба. Вышел, голый по пояс. Поклонился прибывшим. Провозгласил: «Я, князь Иоанн Дубов, ныне – володетель села вашего. Коли поставим сегодня церкву, завтра утром приеду. Не могу не помочь соседу, князю Александру, с которым мы вместе не один пуд соли съели, не один раз смертушке в глаза смотрели, не одного ворога порубили.»

Он кивнул на меня. Приехавшие дружно загомонили. Закивали. Зачмокали. И опять, поклонившись в пояс Дубку,

заговорил старик: «Прости нас грешных, княже! Но дозволь пособить? Что ж, мы – не православные христиане, что ли. Ведь в этой церкви каждый Божий день молиться станут за создетелей храма сего. То бишь за нас с вами! А уж как хочется в райских-то обителях поселиться!»

Все засмеялись. А старик первым стянул через голову рубаху. Вытащил откуда-то из телеги топор. Крикнул возчику: «Ондрейка! Давай с робятами – за лесом. Да – пчелкой: туда и обратно!»

И опять закипела работа. Я шепнул Дубку: «Ты только холопам не сказывай, что сам – из беглых. Народ наш – хорош! Но без строгости тоже на шею сесть может, коли спуск где дать!»

Тот кивнул… На вечерней зорьке мы подняли крест на маковку! Закрепили. Тут подошел ко мне отец Никита и, опустив глаза в землю, проговорил: «Для освящения-то епископа приглашать надобно. По канонам.»

- А ты, отслужи благодарственный молебен в старой церкви.., - не нашелся поначалу я. Но опять же помог Тишка. Он хитро подмигнул мне и медленно проговорил: «А как же святой преподбный отец наш Сергий Радонежский? Он в лесной глухомани храм воздвиг. И служил там. Без

епископов. А другие попы наши? Рязанские и Володимирские? Ведь при Батыевом нашествии служили они в лесах и болотах? Бог-то, как говаривал отец Леонтий, - Царствие ему Небесное. - в сердце быть должен, а не в обрядах!

- Да, – поддержал я, - старая и новая церкви стоят рядом. Будем служить в новой. А когда приедет епископ, освятит ее, старую и снесем.

Отец Никита перекрестился. Мотнул головой. Пробурчал: «Да-да… Антиминс-то есть!»

И ушел в старый храм. Вернулся в облачении и с глиняным кадилом. Служба на улице, перед новой церковью, закончилась в глубоких сумерках. И опять так сладко спалось! И опять мы с Дубком, казаками и моими мужиками поднялись в одно время, на рассвете. Помолились. Тронулись в путь. Когда же приехали в село, солнце уже встало. Но на околице нас встретили его жители с хлебом-солью. И здесь, словно стены старого храма, сквозили нищета и разруха. Дубок заходил в каждую истбу. Все высматривал. Расспрашивал. Покряхтывал. Крутил головой, видя запустение. Две ночи переночевали мы в истбе старосты. Съездили на рыбные и охотничьи промыслы.

Осмотрели сады. Они как раз были между селом и монастырем. Перед отъездом перекрестились на сгнивший, развалившийся храм. Дубок буркнул: «Вот, ты у себя церкву возвел… А мне как?»

- Возведу! Без тебя возведу! Сам же говорил, что не один пуд соли съели! Нешто я тебя подведу?! Нешто перед холопами опозорю?! Доброго, сухого леса в монастре – еще не на один храм хватит! Не на один десяток истб!– хлопнул я его по плечу.

- Вот это – по-Божески! Ты у меня в селе сначала людишек обиходь. Поставь им истбы. А там уж, коли леса останется, то и за хоромы мои берись…

- И на хоромы твои останется! – засмеялся я.

Возвращались мы молча. Наконец, он вздохнул: «Ох! Княже! Даже и не ведаю, как уезжать-то отсюда? Людишки мне поверили, а я…»

Он покрутил головой, словно спорил с самим собой.

- Не кручинь сердца! Все сделаю по-Божьему! Не сомневайся! Приедешь на Москву, отправишь моих, Алену. Я с тобой Фролку пошлю. Он дорогу сюда уразумел. Лучше им все-таки пораньше приехать. Полезно будет для моих сыновей поглядеть,

каким потом хоромы возводятся, хлебушек добывается. Пока соберутся. Лоскутки да лапотки. Побрякушки да подушки. Сам же ведаешь: ба-а-абы! Пока доберутся: ведь не так, как мы, налегке. Дай-то Бог, на Петра и Павла прибудут, - отозвался я.

На обратном пути заехали в монастырь. Московские ратники несли сторожу. На дворе царила суета. Похоже, здесь собирали в дорогу. Игумен и казначей уже сидели в колымаге. Они оба были закованы в железа.

- Во-о-от, - дернул в их сторону бородой снизу вверх, дьяк Кирюшка. Пропел: «Воры! Как есть воры! Во-о-оры! Надо бы их ножками идти на Москву заставить! Но отец Савва повелел оказать почтение. Не к ним. Нет! Не к ним! К сану священному. До церковного суда. До суда. Ты, князь Алексашка, оставайся здесь с отцом Никитой за старших. Не дайте мужичкам добро разворовать. Ой, не дайте! А то ведь, налетят мухами! На-а-алетят! На-а-арод-то наш – золотой! Золотой, говорю! Но дерьмом собачьим становится, ежели порядок не блюсти.

- Ежели не пасти их, овец словесных, - услышал я голос сзади и, обернувшись увидел отца Савву. Тот улыбался. Прикрыв

глаза, выдохнул: «Слава Богу! Завершили дело Государево.»

- Ну, что, отец игумен, – хохотнул Дубок, обращаясь к колымажным сидельцам, - как насчет псов-то?

- На служителей Божиих руку подняли! На обитель Божию! – прохрипел тот. Отвернулся. Но почти прокричал: «Падет кара Господня на вас!»

- На служителей? На обитель? – вдруг вздыбился Дубок. Ударил тяжелым кулаком по колымаге: «Да какой ты служитель? Кому? Чреву своему, да плоти похотливой! Почему ж на обитель, что на Волоке Ламском, никто руки не поднимает? А? На другие монастыри? На ту же Свято-Троице-Сергиеву Лавру? А? Потому что живут иноки там, - подвизаются! Подвиг творят монашеский, - не для себя, а для людишек. В богодельнях недужных да немощных обихаживают. В приютах нищих да убогих кормят. Деток холопских грамоту разуметь обучают. Государю денег на укрепление Царства Русьского, на зищиту его от ворога дают! А ты? Где ж у тебя все это? Про-о-ости, Господи!»

- Слушай, князь Иоанн, – перебил его я, чтобы как-то успокоить, - а не поехать ли тебе с обозом этим. Всё – спокойнее. Мало ли

какие искушения в дороге встретиться могут.

- А что?! Голому одеться – только подпоясаться! Айда в село! Я своих гикну. К подходу обоза в самый раз собраться успеем, - заулыбался князь Дубов.

Мы хлестанули коней и скоро были в селе. Дубок собрал казаков. Молвил им свое слово. И они засуетились. Действительно, обоз едва показался в конце села, а казаки уже изнывали от ожидания. Шутка ли, домой, к женкам и деткам шли! На прощанье Дубок похристосовался со мной. Но вдруг спросил: «А может быть, тебе оставить кого из моих? Одного хотя бы. Чтобы быт казачий блюл. Хотя бы Евсейку. А? Заместо управляющего?

- Ох! И хитрован же ты! – беззлобно засмеялся я. Хлопнул его по плечу: «Доверять-доверяешь, а присмотр за мной оставляешь!»

- Ну-у-у… Что ты гневаешься?! У казаков есть какие-то свои обычаи. Ты с ними еще не знаком. Вот я и хотел бы оставить кого-нибудь из своих в помощь тебе. И совсем не для присмотра за тобой! Прости, коли обидел!– вдруг смутился Дубок.

- Не за что мне тебя прощать, брат. А коли в чем пред Богом виноват, так Он и простит.

Скоро пыль, поднятая обозом улеглась по обочинам дороги. А я все смотрел ему вслед. Вспомнились матушка, сыновья, домочадцы и… Алена. Рядом, приложив ладонь ко лбу и вглядываясь вдаль, стоял погрустневший Евсейка. К нам подошли мой Тишка и Гришка Заяц. Ожидая повеления, уставились на меня.

- Ладно, - выдохнул я, - пора за дело приниматься. Ты, Евсейка, отправляйся в село Дубка. Выполняй его повеления, какие он оставил. До завтра подсчитай, сколько и какого леса надобно для церкви, княжьих хором и для мужицких истб. Либо сам заскочи, скажи о том, либо пришли кого порасторопней. Приглядывай за посевами. Снаряди мужиков на сенокос. Ты, Зайц, тоже распорядись насчет сена.

И дальше я обговорил все работы и нужды. Работа кипела с утра до вечера. Часть плотников возводили мои хоромы, других я снарядил ставить новые истбы, - в первую голову - вдовицам и тем, у кого хозяин недужил. Селяне, завидев такое, клали души в работе сторицей. Не разгибали спин от рассвета до заката. Несколько раз

заезжал я в Мишутково, село Дубка. Но и там работа кипела. И в поле, и на стройке. Но все шло весело! С песнями, шутками. Так, словно и усталости не чувствовалось. Хотя первое время спина, плечи, руки, ноги, побаливали. С непривычки. Вспомнилось, как в отрочестве после сенокоса, или других сельских работ, на которые отец непременно брал меня лет с семи, мать успокаивала. Говорила, мол, болят рученьки-ноженьки от работы, значит ра-а-астут! За два дня до поста по повелению Государя, - дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни, - пригнали стадо коров. Я разделил его пополам и голов полсотни отправил в село Дубка. Трапезничал я вместе с плотниками и мужиками. Повелел возить яства и в поле, на рыбные промыслы к труждающимся там. Воскресные дни, Вознесение, начинались со службы в храме Божием. И всякий раз Евсейка на телегах привозил почти все свое село. На обыденный храм силенок у него не хватало. Но церковь и княжьи хоромы воздвигать у себя помаленьку начал. Больше половины московских плотников и иных работных людишек я ему отдал. А на Святую Троицу к нам пожаловал епископ Тверской. Освятил Престол. И храм нарек во имя праздника. После Божественной Литургии

прямо на улице накрыли столы. А владыка все оглядавался на наш храм. Крестился. Улыбался. И даже, благословляя нас, чары три меду выпил.

На Петров пост, который в этом году длился четыре с небольшим седмицы, пришлось еще труднее. Надо было вставать затемно, чтобы успеть выбрать сети, поставленные на закате. Но слава Богу, рыбы всякий раз ловилось, как сказал бы Заяц, немерено! Отроки нередко к столу приносили и раков. Их мы, по благословению отца Никиты, вкушали даже в среду и пятницу. А сам батюшка тоже изменился. Стал улыбаться. Вдумчиво выслушивал меня. Каждый раз перекрестившись и пошевелив губами, давал советы по хозяйству. И служил вдохновенно.

Скоро хоромы мои в полный рост сверкали на солнце новизной досок, бревен, щепы на крыше. Но я не въезжал в них. К Петру и Павлу ждал своих. Зато многие селяне переехали в новые истбы. И всякий раз вместе с отцом Никитой приглашали меня на новоселье. Кланялись, встречая. Называли «отцом родным». Да! Селяне даже ликами изменились. В глазах светилась радость. От этого и у меня на душе светлело. Иеромонах освещал жилье. И нас

приглашали за стол. Но мы не засиживались. Прямо от застолья мне нередко приходилось скакать в поля, леса, на рыбные промыслы или в Мишутково. И опять я с радостью замечал, что не ошибся в Гришке Зайце. Он, - всегда улыбчивый, добродушный, - умел быть и требовательным. Сам же никогда не сидел сложа руки. А на сенокосе за ним никто угнаться не мог. Только старший сын, - еще отрок, - поспевал за отцом. Правда, когда я вышел на сенокос, он не обгонял меня. Я спросил его, мол, почему?

- Да разве ж можно, вперед князя, - перед мужиками-то?! – хмыкнул он. Поэтому, дабы не смущать старосту, я больше на сенокосе не появлялся.

Перед Петром и Павлом мои почему-то не приехали. С печалью на сердце я пошел на праздничную службу. И молился за своих до слез. А когда запели *Верую..*, кто-то тронул меня за рукава справа и слева. Я обернулся. По бокам от меня стояли… Ваня и Вася. А позади нас - матушка, Степан, Алена и другие мои холопы, оставленные на Москве. Я сдержал радость. Кивнув сыновьям, приложил указательный палец к губам. И опять слезы, - теперь от радости! - выступили у меня на глазах.

За праздничным столом, тоже накрытым для всех в палисаднике церкви, после молитвы, матушка всплакнула. Прошептала: «Вот и батюшка твой, супруг мой Васенька, - Царствие ему Небесное, - любил так же собирать всех холопов на праздники. Помнишь?»

Я кивнул. Встал. Поднял чару. Сказал: «Давайте, воздадим хвалу Господу за то, что дал сей праздник, даровал разговеться плодами рук наших! Дозвольте представить вам матушку мою, сыновей, верного дядьку моего Степана, дочку соседа нашего, княжну Елену. Я в поход уйду. Со мной пойдут мужики с каждого двора, в котором есть кого за себя оставить. Править вами будет моя матушка. Прошу любить и жаловать. Слава Тебе, Господи!

- Слава Тебе Господи! – подхватил отец Никита.

- Слава Тебе! - донеслось из-за всех столов…

Харитон Александрович откашлялся. Улыбнулся. Обвел взглядом сидящих за столом. Спросил: «Можно я сидя буду говорить?»

- Харитоша, – ответила за Елена Васильевна, - Бога ради! Мы же - не на собрании. У нас - застольная беседа.

- Хорошо, - кивнул гость из Америки, - в последнее время я много занимался изучением Христианских символов. Перечитал труды нашего замечательного соотечественника сына графа Серге́й Семёновича Ува́рова – Алексея Сергеевича…

Все удивленно вскинули взоры.

- О! Вы не знаете таких? Что ж! Это понятно. Тогда кратко расскажу об этих замечательных людях. И вы поймете, почему большевики замалчивали их имена и деяния. Сергий Семенович родился в 1786 году. И уже в двадцатипятилетнем возврасте стал почетным членом Петербургской Академии наук. Одновременно – попечителем Петербургского учебного округа. Его перу принадлежат многочисленные труды по древнегреческой литературе и археологии. В 1818 году Сергий Семенович становится президентом Петербургской Академии наук. А через пятнадцать лет назначается министром народного просвещения. Здесь не могу не отметить его политические взгляды. Вступив на упомянутый пост, граф Уваров писал в своём циркуляре, разосланном

попечителям учебных округов: *«Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего Монарха, совершалось в соединённом духе Православия, Самодержавия и народности».* Да-да! Именно ему принадлежит триада «Православие, Самодержавие, Народность» ставшая не только крылатым выражением русской монархической доктрины, но, по сути, чаемым каждым Православным Христианином образа жизни в этом земном мире. Исходя из этого он стремился усилить правительственный контроль над университетами и гимназиями, уже тогда повсеместно зараженными антиправославными силами, о которых я еще буду сегодня говорить. Теперь понятно, почему при совесткой власти его имя умалчивалось? Вместе с тем при графе Уварове было положено начало реальному образованию в России и восстановлена практика командирования учёных за границу. При нем была основана Пулковская обсерватория, предпринят целый ряд научных экскурсий, преобразована старая Академия, увеличено количество академиков, средства Академии.. Шестнадцатилетнее управление

министерством народного просвещения графом Уваровым занимает видное место в истории в России: при нем был основан университет в Киеве и еще целый ряд учебных заведений. В своём подмосковном имении Уваровка, - сейчас это – Можайский район, - Сергий Семенович создал частный ботанический сад. В его честь знаменитый ботаник, профессор Александр Андреевич Бунге назвал один из видов растений семейства Вербеновые — уваровией. В честь Сергия Семеновича назван также минерал уваровит.По молодости лет граф состоял членом литературного общества «Арзамас». Но в последствии он вышел оттуда. Я полагаю, что с возрастом, утвердившись в вере Православной, Сергей Семенович понял губительность Карамзинщины… Поэтому в своем подмосковном имении, в селе Поречье, стал проводить литературные вечера. Они так и назывались: «знаменитые литературные вечера села Поречье». Отошел ко Господу Сергий Семенович в сентябре 1855 года. А в 1857 году его сын Алексей Сергиевич учредил в честь отца Уваровские премии при Академии наук.

- Простите, Харитон Александрович, я что-то не поняла по поводу «губительности

Карамзинщины»! Великий историк!, - подала голос Ольга.

- Милейшая Ольга Мечиславна, – ответил ей Сергей Емелианович, - Карамзин написал свою многотомную «Историю…» по заказу темных сил. Масонов. Такой грязью облить великих Государей наших Иоанна Васильевича Грозного, Петра Первого Алексиевича, Павла Петровича, выдавая все это за объективность, может только враг России. Но мы собрались сегодня для разговора на другую тему.

- Да-да. Так вот, у Сергия Семеновича был сын Алексей, который вплотную занялся археологией. Много ездил… И написал свой замечательный труд об истории развития формы креста… Об этом мы сегодня и поговорим. Простите меня за длинное предисловие. Но мы должны знать достойных наших предков. Так вот. Сейчас по всему миру возрождается фашизм. И поверьте, в России он тоже возникнет. Соответственно раздаются голоса и антифашистов. И правильно раздаются! Я сам в составе союзнических войск воевал против гитлеровцев. Был ранен. Награжден. Освобождал западную часть Германии. И этим, полагаю, доказал свою позицию. Тем не менее, хочу остановиться на том, что

побежденный гитлеризм, как и нынешнее возрождение фашизма, направлены против Православного Христианства, против Креста! И направляются они теми же силами, которые распинали нашего Спасителя. Которые потом, уже на Руси топтали святые иконы, крест, Священное Писание. Которые в начале этого века в поверженной ими Российской Империи закрывали, взрывали храмы Божии или превращали их в отхожие места, вешали, распинали, расстреливали, топили и так далее священнослужителей и рядовых мирян, оставшихся верными Христу, жгли святые образа… Но есть и более хитрый метод восстановить простых людей против Православия. Использовать его символы, как символы вселенского зла. Например, у гитлеровцеы везде фигурировали кресты. Хотя христианами в подавляющем большинстве своем они не были. Более того, они по сути были сатанистами. Да-да! Именно сатанистом, масоном, каббалистом был и сам фюрер. Но по настоянию тибетских мудрецов и высшего мирового совета масонства использовал крест. Как обычный, четырехконечный, так и гамматический. Свастику. Это тоже – крест. И какой! Только подмененный. С

незаметным искажением. Как преломлена буква «Г»? Вправо. Да? А крылья креста на гитлеровской свастике? Вле-е-ево. То есть, - наоборот! У врага рода человеческого, у обезьяны Бога, – всё так! Первая свастика – крест, как бы катящийся по солнцу, дающему жизь. Вторая – против. А что против жизни? Только смерть! Святитель Филарет Московский, используя первую книгу Царств, главу семь, стих двенадцатый, восклицает: «Боже воинств небесных и земных, Твоею помощью победивший врагов Пророк не без Твоего мановения поставил памятник победы и нарек его *"камнем помощи"*. Вот памятник, без сомнения, благословенный и священный, потому что им благословляется и святится имя Господа Помощника». «Благослови, - просит святитель Господа, - памятник не только мужества и побед Христолюбивых Русских воинов, но и Твоей помощи, которою они победоносны и непобедимы». Что же сделали гитлеровские идеологи, присвоив себе крест? В одном случае под крестом они уничтожали целые народы! Детей, женщин, стариков! Вызывая тем самым ненависть у потомков уничтоженных… к кресту. В другом, предполагая возможное поражение, они стремились заставить победителей, Русских

воителей – Алешу-Освободителя в Болгарии и других, - топтать крест? Согласно 73-му правилу Пятого-Шестого Вселенского Собора, все, кто изображает крест там, где он может быть попираем ногами, предаются проклятию и отлучаются от Церкви. *"Поелику животворящий Крест явил нам спасение: то подобает нам всякое тщание употребляти, да будет воздаваема подобающая честь тому, чрез что мы спасены от древнего грехопадения. Посему и мыслию, и словом, и чувством поклонения ему принося, повелеваем: изображение креста, начертываемое некоторыми на земле, совсем изглаждати, дабы знамение победы нашей не было оскорбляемо попиранием ходящих. И так отныне начертывающих на земле изображение креста повелеваем отлучати",* - вычитал из блокнота, лежащего здесь же, на столе Харитон Александрвич. Нам всем полезно для души знать и помнить, что Вселенская Церковь Христова употребляет гамматическую форму креста вот уже две тысячи лет. И о том, что по поучению святого преподобного Феодора Студита "крест всякой формы, - есть истинный Крест"! Из книги графа Уварова Алексея Сергиевича «Христианская символика», из

"Руководства по литургике, или науке о Православном Богослужении, для Духовных Семинарий", написанного архимандритом Гавриилом и изданного в 1886 году в Твери, из трудов других специалистов по истории и археологии можно узнать, что среди разных форм креста "также была в употреблении форма креста гамматического, состоящего из греческой буквы «гаммы», - как сообщает архимандрит Гавриил. В частности, граф Уваров отсылает своих читателей даже в IV век! Там гамматический крест изображен на потире и других священных сосудах. Авторы альбома "Византийская миниатюра" являют нам Святое Евангелие императрицы Феодоры IX века. Оно украшенно золотым орнаментом из гамматических крестов. На сводах монастыря Хосиос Лукас основанного в XI веке, и на апсиде собора Святой Софии Киевской в XI-м веке, и на стенах храма святого великомученика и победоносца Георгия в Курбиново в XII веке, и на западной стене Стамбульского Кахрие джами начала XIV века, и даже на архиерейских облачениях Византийского периода, да и на многих фрескиах на Балканах мы видим гамматические кресты тоже. Есть такая древняя, очень древняя книга - "Матенадаран". В ней изображен

четвероконечный крест в окружении двенадцати, - предполагаю, по числу святых апостолов, - гамматических крестов. А рядом сказано, что: "иллюстрации Эчмиадзинского Евангелия отражают преобразовательную связь двух Заветов, утверждая важнейшие догматы христианства". В догматике я не силен. Посему ни соглашаться, ни опровергать «двенадцать» догматов не берусь. Скажу про другое. Давайте вспомним, как выглядел ветхозаветный жертвенник? А ведь он и является преобразованием новозаветного - Креста Христова! Так вот, он имел с четырех концов установленные роги, которые помазывались жертвенной агнчей кровью. А та, в свою очередь, ни что иное, как прообраз крови Христа, грядущего пролить ее на Кресте. Заметим и существенную разницу двух Заветов. О ней толково сказал святой Апостол в своем послании к Евреям: *"всякий ветхозаветный священник ежегодно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же,* - читаем, Христос, - *принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых"*. Один Византийский император, желая

точнее выразить свою антихристианскую политику, говорил прямо: я веду борьбу против Креста! И ныне слуги антихристовы - крестоненавистники и крестоборцы опять замахиваются на святой Крест.

- Господи, помилуй, - не выдержала Елена Васильевна, - какая духовная диверсия! И не только сами замахиваются! Возрождая фашизм, они возрождают в душах ветеранов Великой Отечественной войны ненависть к гамматическому Кресту!

- Да-да! Воистину, дьявольская, прости Господи, изощренность! - кивнул Харитон Александрович. Сделал глоток чаю: «Я сам не раз разговаривал с однополчанами. Они и слышать не хотят. И вглядываться, в какую сторону повернуты крылья креста в одном случае, и в другом. Очевидно, такое положение – и здесь, в матушке-России. Более того, сегодня антихристианские силы пытаются внедрить в сознание людей и в государственное законодательство постулат о том, что изображение гамматического креста “оскверняет” идеи гуманизма, общечеловеческих ценностей и тому подобное! Кое-где уже, в отдельных штатах, например, даже дают срок за начертание данных изображений. Но, с другой стороны, как они собираются признавать

фашистскими символами сотни изображений гамматического креста у христиан? Например, крестов в отлитых и гравированных на церковной утвари домонгольского периода, мозаических под куполом собора Святой Софии Киевской; иконописных – на облачениях Византийских Святителей, рельефного орнамента вокруг дверей Нижегородского Кафедрального собора, вышитых на фелони Московского храма Николы, что в Пыжах и так далее? Святой Крест живет, пронзает пространство и время своей святостью! Уже первые христиане в Римских катакомбах изображали гамматический крест, который у многих индо-европейских народов соответствовал понятию “вечности” или “счастья” и именовался “свастикой”. Святая мученица Государыня Александра Феодоровна имела обыкновение ставить гамматические кресты на своих вещах, как знак благополучия. Об этом есть много свидетельств. Я лично видел эти фотографии. В том числе и Царского автомобиля, на капоте которого, в вертикальном положении был установлен гамматический крест.

Я оглядел собравшихся. Если бы они были детьми, то сидели бы, наверняка, с открытыми ртами.

- Харитоша, – спросила Елена Васильевна, - а чем же все-таки на духовном уровне отличается гамматический крест от других?

- Мистически эта форма креста отражает всю тайну Промышления Божия, а догматически она выражает – всю полноту Церковного вероучения. Это мне объяснил владыко Аверкий. Вспомним, что еще патриарх Иаков удостоился мистического видения "лествицы, стоящей на земле и достающей до неба". Две ее части пересекаясь. Тем самым прообразовывали Крест. И этими частями земное соединяется ныне с Небесным! Человек - с Богом! И по ступеням лествицы, как сказано в книге Бытия, *ангелы Божии восходят и нисходят*, знаменуя крестообразно непрестанность Божьего спасительного попечения и промыслительного охранения человека. Наш мир, как известно, лежит во зле. И только Крест Господень дает чистое понятие о победном вездеприсутствии Божием и ведет человека прямо на Небо. А Крестное средоточие - место встречи и примирения тварей и Творца. Богочеловек Иисус

Христос, поясняя мистическое значение креста, устами святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова обетовал, что *отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.* И те, кто с благоговением взирают на знамение креста будут мысленно “восходить”, размышляя о Его Спасителевой Божественной природе, и “нисходить”, дабы узреть Его воплощение и сошествие во ад. Таким образом гамматический крест или свастика является графическим изображением всей мистической тайны Промышления Божия! Всей полноты вероучения нашей святой Православной Церкви Христовой.

- Ну, и как же нам прочитать сей символ? – спросил уже знакомый мне ассисент Сергия Емелиановича.

- Попробую объяснить. Следуйте мысленно по вертикальная части *гамматы.* Она символизирует, как мне объяснял один богослов, во-первых, Предвечное Рождение Сына от Отца, то есть догмат Единородства, во-вторых, Его Сошествие с Неба на землю, то есть Боговоплощение, в-третьих, спасение человечества Крестом, а это уже - догмат Искупления, в-четвертых, сошествие Спасителя в ад, то есть – победу над адом, и

в-пятых, благовествование славы Креста в аду, то есть догмат страждущей Церкви.

- Погодите-погодите, – покрутил головой ассистент, - простите за то, что перебиваю. Но, насколько я помню, догамтов всего семь!

- Молодой человек. Вы что-то путаете. Вероятно, вы имели в виду семь Таинств. А догаматы, - основные! – можно пересчитать по членам Символа Веры… Я озвучиваю не свои досужие размышления. Догматы – это богооткровенные истины о Боге и Домостроительстве нашего спасения, принятые Церковью как непререкаемые и обязательные. Источником их является Священное Писание и Священное Предание. Господь открывал необходимые для веры и спасения истины через пророков и апостолов постепенно на протяжении многих веков. Они даны в священных библейских текстах законоположительного, учительного, исторического и пророческого содержания. И, повторюсь, краткое их содержание – в Символе Веры! Если позволите, я продолжу?

- Харитоша, не гневайся на него. Он только-только пришел к вере, - положила свою узенькую ладошку на ладонь гостя Елена Васильевна.

- Простите! Привык по гордыньке к тому, что в университетах Штатов мои

лекции проходят в полной тишине. Простите. Вернемся же к горизонтальной части гамматы. Следуя по ней, мы видим Освобождение Господом Иисусом Христом святых от власти ада. Это – догмат Изведения. Во-вторых, Воскрешение Его из мертвых, то есть догмат Воскресения и Преображения. В-третьих, Водительство Им тех, кто почитает Крест. А это уже – догмат воинствующей Церкви на земле. В-четвертых, Восшествие Спасителя на Небо, то есть Вознесение Господне. Наконец, Сын – в Доме Отца Своего, в Царствии Небесном. И это – догмат Торжествующей Церкви.

Все, сидящие за столом зааплодировали. Харитон Александрович, слегка склонил голову: «Это я прочитал в найденных мною недавно записях древних христиан. Второй век! А владыко Аверкий пояснил мне все.»

- А кто это? – спросил ассистент Сергея Емелиановича.

- О-о-о! Владыко Аверкий, - в миру по фамилии Таушев, – боговдохновенный архипастырь. И он постоянно напоминает нам, американским православным христианам, что не подобает верить ничьим басням о крестах, как о «враждебной» символике, чтобы не упразднить Креста Христова, как призывал святой Апостол

Павел в своем первом послании Коринфиянам, ибо слово о кресте для погибающих - юродство, - по-славянски, безумие, - а для спасаемых, верующих, сила Божия! Кстати, именно владыко привел к вере немало всяких американских англикан, католиков, протестантов.

- Вы говорили про масонство Гитлера.., - громко сказал я и не успел задать вопрос, как Харитон Александрович отозвался.

- Да… Сей бесноватый, полностью порабощенный мировым колдовством, но считающий себя повелителем этого колдовства, состоял в масонской ложе «Туле»… Туле, - Thule Gesellschaft, - созданой в Мюнхене после Первой мировой войны. Она копировало орден, провозгласивший своими официальными целями изучение и популяризацию древнегерманской литературы и культуры. В действительности общество проповедовало крайний национализм, расовый мистицизм, оккультизм. Некоторые ученые приписывают Туле антисемитизм. Но, простите, можно ли о нем говорить, если любая масонская ложа берет начало из каббалы, учения именно евреев. Прошу не путать! Ветхозаветные иудеи отстоят от каббалы в своих верованиях так же далеко,

как Юпитер - от Земли! Так вот, общество являлось филиалом Тевтонского рыцарского ордена, чьи отделения были разбросаны по всей Германии, а штаб-квартира находилась в Берлине. А в нем – каждой твари – по паре… Ха-ха! Но в основе они соединяли идеи и розенкрейцеров, и тамплиеров, и иллюминатов, и даже обитателей шамбалы! Пытались соединить! Свое название общество получило от легендарной земли Туле, о которой сообщал греческий географ Пифей. Туле толковали по-разному: как один из Шотландских островов, Норвегию, - да и в целом, - Скандинавию или Исландию. Земля Туле считалась прародиной древней германской расы. Основателем общества был Рудольф фон Зеботтендорф, привлекший к деятельности общества двести пятьдесят человек в Мюнхене и еще 1500 человек - по всей Баварии. Среди них были журналисты, писатели, поэты, преподаватели университетов, армейские офицеры. В списке членов общества были, например, Дитрих Эккарт, Рудольф Гесс, Альфред Розенберг. К слову, все они - не без ложки еврейской крови в их жилах! Идеология общества базировалась на концепции германского расового превосходства, внешнем антисемитизме и пангерманской мечте о

новом могущественном германском рейхе. Как и многие другие подобные общества в Баварии и в Германии в целом, общество Туле широко использовало мистические символы, например, свастику, и сложные тщательно разработанные магические ритуалы… Или – каббалистическое кол-довст-во! Девиз общества: "Помни, что ты немец. Держи свою кровь в чистоте!"

Харитон Александрович рассмеялся и продекламировал: «Gedenke, dass Du ein Deutscher bist. Halte dein Blut rein! В период существования Баварской советской республики члены общества просачивались в армейские подразделения, проводили в них агитационную работу и оттуда пополняли запасы оружия и снаряжения. Ну-у-у, совсем, как у нас в четырнадцатом году. Один и тот же почерк! Члены общества Туле вели переговоры с основателем Немецкой рабочей партии Антоном Дрекслером, работавшим в мюнхенском железнодорожном депо, о том, чтобы наладить связь с рабочим классом и распространять в их среде свои идеи. Многие члены общества вступили в НРП, а позднее - в Национал-социалистическую рабочую партию Германии. Приняли нацизм за образ жизни.

- А Гитлер? – переспросил я.

- Ох, Александр, Александр! – ласково покачал головой Сергий Емелианович, - Мы собрались попить чаю. Это – во-первых. Харитон Александрович говорил более часа. Устал. Это – во-вторых. В-третьих, он – ар-хе-о-лог, а не политолог. И уж тем паче – не психолог. Хотя и чутьем в этих областях Бог его не обидел! Наконец, вам следует опасаться мешанины в голове. Разберитесь поначалу с тем, о чем поведал нам сегодня мой друг. Разложите все по полочкам у себя в сознании. Ведь это напрямую касается вашей заведующей отделом. А значит, - и вас! Говорю для всех. Как специалист! Эти знания могут использовать темные силы. И безплотные, и во плоти человеческой. Посему, как говаривали предки, давайте, охолонимся.

Действительно, я вдруг почувствовал, что мой мозг не способен более воспринимать никакую информацию! Эту бы переварить! Но с другой стороны: зачем мне это все нужно знать? Где я могу в наше время эти знания использовать?!

- А рассказал я вам это для того, чтобы, - простите за грех, - похвастать своими находками. Ну, еще и для того, чтобы вы, как православные христиане знали, откуда ждать нападения в государственных

масштабах. А для кого-то и - в личных тоже! - вдруг заключил Харитон Александрович…

…Возвращаясь поздно вечером домой, я вдруг нестерпимо захотел вычеркнуть из памяти все услышанное, как ненужные разговоры. Тоска по покою, тишине, домашнему семейному уюту, казалось, вот-вот разорвет сердце. Вспомнил и желание позвонить Василько, Николаю, Марии. Надо бы и к отцу Иллариону съездить. Исповедоваться. Рассказать про трех женщин, нагаданных в поезде Валентине. Ну-у-у, то, что привороты и отвороты существуют, мне доказывать не надо. Но ведь, еще отец Валерий, - Царствие ему Небесное, - говаривал, что всякие колдуны безсильны против православных христиан, регулярно исповедующихся, приобщающихся Святых Таин, строго следящих за своими греховными помыслами! И старающихся не грешить! А я?! А Валентина с ее скепсисом и в тоже время с безоглядным доверием всяким гадалкам, бабкам?! Вот она – суета суетствий! И всяческая суета!..

В конце июня, позвонив в очередной раз, Валентина вдруг заявила: «Ты знаешь! Здесь так хорошо! Маришка загорела! Поправилась! Оздоровилась. Я – тоже. Даже

уезжать не хочется. И вот, что я решила: останемся-ка мы здесь еще деньков на десять… Я тут познакомилась с одной местной женщиной. Художница. Свой дом. И вообще – небедная. Здесь все так живут. Приглашает пожить у нее. Чем-то на тебя похожа по характеру. Такая же безолаберная. Но с очень тонким вкусом! Думаю, что если я ей сошью что-нибудь экстравагантное, она с нас поменьше за ночлег возьмет. Как ты на это смотришь? Жаль, что ты не можешь приехать к нам.

- А я думал, что вы с Маришей будете возвращаться через Москву, - вырвался из меня грустный вздох.

- Ага! К твоей соседке?! Боже упаси! Еще наговорит какой-нибудь гадости при Маришке. К тому же, я планировала до твоего отпуска пожить у мамы. Там в саду и огороде – самая работа!

- Это в июле-то?

- Именно в июле! Там же – не дача, где можно поработать, а можно и не поработать. Там – лето зиму кормит! Одного варенья сколько наварить надо! Смордина, крыжовник, вишня, малина. Клубнику, похоже, я уже не застану. Ну, ладно! Значит, мы договорились. Целую! Пока.

И в трубке раздались короткие гудки. Что ж, придется ездить на дачу. Родителям-то тоже надо помогать. В ближайшую же пятницу, вечером я сошел с электрички на станции Фрязино. И пошел знакомой дорогой. В конце города, где к нему примыкали начинающиеся дачи, стоял большой продуктовый магазин. Здесь же ютились палатка хозяйственных товаров, пивная. Я зашел, чтобы выпить пива и встретился с …отцом. Он уже ополовинил кружку. А перед ним красовался трехлитровый китайский термос. Увидев меня, отец обрадовался. Тут же взял еще две кружки, вяленую рыбку. Но, вглянув внимательнее, спросил: «Что-то случилось?»

- Нет, ничего особенного. Просто как-то тягомотно на душе. Дома поговорим… Вот решил помочь. И теперь до августа буду приезжать на выходные. Валентина с дочерью задерживаются на курорте. А потом уезжают к матери в Могилев.

- А ты не хочешь туда съездить?

- Нет.

- А что так?

- Пап, ты лучше расскажи, как вы здесь?

- Как всегда. Вот, после рабочего дня надо расслабиться. И на завтра запасец есть, - погладил он термос, - бочковое!

Свежатинка! А на вечер я бутылочку вина прикупил.

После пивной мы прошлись с ним по дороге. Мать, увидев меня, тоже обрадовалась. А отец, мотнув головой, хмыкнул: «Вот, видишь?! Сын-то сам, без просьб и напоминаний приехал. И говорит, что до отпуска все выходные будет с нами, здесь. Да мы же горы вдвоем с ним свернем.»

- Очень хорошо, – заулыбалась мать, - сейчас ужинать будем. Все уже готово. Самоварчик поспевает. На шишечках! Заварим мятку, смородиновый, земляничный лист. А что ты такой невеселый? В женой поссорился?

- Нет, - помотал я головой, - просто она решила еще дней десять на море отдохнуть. А потом до моего отпуска поедет матери своей помогать. В Могилев.

- Вот как? - мать поджала губы. И, опустив голову, проговорила: «Это надо же?! И полгода не прожили, а она уже по курортам разъезжает. Мужа одного оставляет. И еще, наверное, верности супружеской требует! Да и сама неизвестно, чем на курорте занимается. «Со-о-очи – на три ночи»… Я бы так никогда не позволила себе! А что дальше будет? Когда приживетесь. Чувствовала я! Знала. Нич-ч-

чего у вас не получится. Правильно, говорят, что первая жена – от Бога, вторая – от черта!

- Надежда, – повысил голос отец, - хватит! Сын приехал не для того, чтобы нервы себе здесь трепать.

Из домика вышла Алина. Тоже заулыбалась обрадованная. И мы сели за стол. Поужинали, как всегда, разносольно. А, когда уже стало смеркаться, отец, разложил между своих любимых флоксов два шезлонга, столик. Поставил на него бутылку вина и большую тарелку с клубникой. Мать с Алиной ушли в дом смотреть портативный телевизор. А мы сидели, вытянув ноги. Потягивали вино. Курили. Я спрашивал о предстоящих хозяйственных делах. А отец неспешно рассказывал. Ах! Как хорошо! И этот запах флоксов. Я его тоже очень люблю! Да и комаров он отгоняет!

Так прошел июль. Мы с отцом перекрыли крышу. Заменили все столбы у забора, выдвинувшись участком метра на два в лес. Отец поначалу не хотел. Но мать настояла: «Вон, погляди! Все соседи уже расширили за счет леса свои участки. Одни мы – че-э-эстные! А соседям твоя честность не понравится! Ой, не понравится. Ведь если комиссия какая нагрянет, ты своей честностью всех под монастырь подведешь

Подумай! А то ведь тогда зимой и запалить нас за честность твою могут.»

Что ж?! Она была права. Больше половины дачников были фрязинцами. Называли свои домишки «фазендами». И приходили сюда после рабочего дня отдохнуть, в охотку покапаться в земле, иногда переночевать, а по выходным - и выпить с друзьями, знакомыми, родственниками. Часто «перебирали». Тогда начинались выяснения отношений. Утром они поднимались, охая, ахая, разглядывая в зеркала синяки и ссадины. Но громко каялись, прощали друг друга и вместе опохмелялись. Люди все они были неплохие. Но за неподчинение меньшиства москвичей большинству и местным, дачным, неписанным законам могли подстроить какую-нибудь пакость. А после нее ходили мимо, ласково здоровались, поглядывали, подмигивали друг дружке и хихикали в кулачки: мол, будет знать теперь наших. Тогда, глядя на голую, - без креста, - грудь какого-нибудь соседа-фрязинца, работяги, я поневоле всякий раз вспоминал слова Феодора Михайловича Достоевского о том, что «русский человек без Православия – дрянь»!

…Наконец-то наступил август! Четвертое число, день моего рождения, выпадало на понедельник. Поэтому второго, в субботу я собирал вещи, бегал покупать подарки Валентине и Маришке. В воскресенье выспался. И утром по свежему после грозы Минску ехал к Валентине.

Она открыла дверь заспанная, но такая желанная! Однако, после мгновенного поцелуя отстранилась: «Маришка же - дома. А она привыкла на море рано вставать, чтобы бежать купаться. Неудобно. Давай, сам сейчас прими душ. Позавтракай. Отдохни. Посидим, отпразднуем. Я сначала думала в кафе сходить. Но там все – дорого. Я драников нажарю, отбивных, как ты любишь…»

- Как ты загорела! Хорошо отдохнули? А как мама? - восхищенно оглядывал я жену.

- Всё – нормально. Давай же, – в душ!

После завтрака я улегся и как-то сразу заснул. А проснулся, когда стрелки показывали четверть второго. Вышел на кухню. Там уже был накрыт стол. Валентина приподнесла мне рубашку. А Маришка, вышитый носовой платок. Похвасталась: «Сама рукодельничала.»

Мы пообедали. Валентина, к моему удивлению, выпила три стопки «Зубровки».

Заметно захмелела. Махнула рукой. Улыбнулась: «Ты уж прости. Я тебе в завтрак снотворного подсыпала. Чтобы ты получше отдохнул.»

Я даже не знал, что ответить на это. Ложка чуть не ваыпала у меня из рук. А Валентина поначалу посерьезнев, вдруг усмехнулась. Лицо ее сморщилось. И она стала она похожа на маленькую обезьянку. «Да, как ты смеешь?! – укорил я себя, - Ты же такой мыслью оскорбляешь ее! Свою жену! Докатился! А ведь и себя этим оскорбляешь. И всю семью! В том числе и Маришку»! А Валентина, подперев кулачком щеку, заговорила: «Ну, вот… Пришел твой день рождения… Только грустно как-то!»

- Почему же? Мы – вместе! – попытался обнять я ее.

Она отстранилась. Повернулась к притихшей Маришке. Сказала: «Ты наелась, дочка? Тогда пойди во двор. Поиграй. Нам с дядей Сашей надо поговорить.»

- Тайны? Военные? – сощурилась та, заговорщически переводя взгляд с меня на Валентину.

- Военные.., - опять усмехнулась жена, но в глазах ее я заметил что-то недоброе. Маришка же радостно выскочила из-за

стола, и через минуту за ней захлопнулась входная дверь.

- Что-то случилось? – спросил я Валентину.

- Что-то.., - в третий раз недобро усмехнулась она, налила полную стопку мне, себе – половину, - давай, выпьем за твою маму! В этот день она тебя родила…

И опрокинула в себя «Зверобой». Закусила кусочком селедки. И опять заговорила: «Я м*н*ого думала, Саша. И поняла, что ошиблась, выйдя за тебя замуж.»

- Что-о-о?! – я даже привстал со стула.

- Не перебивай, пожалуйста. Да! Я ошиблась! Потому как не разглядела того, что ты – не тот, за кого себя выдаешь. Прошу же! Не перебивай! Я решила подать на развод.

- Да что же такое говоришь?! – кровь ударила мне в голову, и я мгновенно протрезвел: «Ты не много думала, - ты много выпила сейчас!»

- А вот про много «выпивки»! Чья бы корова мычала! И выпила я для того, чтобы сразу тебе все сказать. То, что на сердце лежит. Но жалко тебя! Еще с Нового года жалко! Однако, надо. На развод я подам завтра. А ты сейчас же уедешь в Москву. Поезда скоро пойдут один за другим. И очень

прошу тебя, если хоть немного еще любишь, завтра же вышли мне письменное согласие на развод. С печатью твоего ЦДКЖ. Я все узнала: так тоже разведут.

- Ты понимаешь, что ты говоришь?! Нам же – не восемнадцать лет! И у меня, и у тебя это – второй брак!..

- Да… Очень жаль. Но я все уже решила. Отпраздновали мы твой день рождения и расставание. Стол я, как положено, накрыла. За расставание. Навсегда.

- А Маришка?! Ты о ней подумала? Да и почему ты так решила? Кто тебе что наговорил?

- Никто. Я – сама не слепая! Приведу только один аргумент: ты ни с кем не можешь ужиться. Ни с первой женой. Ни с родителями. Ни с соседкой. Заведующая отделом у тебя – стерва. А друзья твои, даже здесь, в Минске, – злопыхатели и человеконенавистники, нацисты, придумавшие какие-то сказки про врагов человечества и Бога. И при этом обсасывающие их за праздничными столами. Фу! Противно! Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты! Так вот, если бы я осталась с тобой, меня постигла бы участь и первой жены, и родителей твоих, и, и, и… А мы все равно бы расстались! Но к тому времени у

нас мог бы родиться ребенок. И что? Тебе безотцовщины в Ивановской области не хватает?

- В Ивановской области?! - вскинулся я, сам теперь недобро взглянув на нее. Подумал, что об этом ей могли сказать только мать или Алина. Потупился. Опять вскинул взгляд. И увидел у жены в глазах… слезы. Протянул ей руку. Но она ударила по ней. Мне вдруг отчего стало нестерпимо жалко ее. А Валентина, отведя глаза от моего взгляда, продожила: «Уезжай! Прошу тебя! Забери свои московские продукты. Подарки. Если хочешь, я верну тебе деньги, портраченные на проезд от Москвы и обратно. Но только уезжай. Сейчас!»

- Но почему? Почему? Ведь еще вчера ты была другой!

- Я терпела. Пыталась разобраться…

Я остановил ее жестом. Подумал, что она в доме отдыха встретила какого-то мужика. На окаменевших ногах прошел в спальню. Скомкав свои вещички, сунул их в спортивную сумку. Вышел в прихожую. И хотя мне хотелось орать, выть, биться головой о стенку, я, обернувшись, тихо сказал Валентине: «Храни тебя Господь. И Маришку – тоже…»

- Ты забыл, - протянула она мне рубашку и платок, подаренные только сегодня. Я внимательно вгляделся в жену. Бывшую. Но не увидел ее! Ту, прежнюю, встреченную год назад в Москве! «Её подменили! – вспыхнула в мозгу мысль, - Или заколдовали»?! Я ничего не стал говорить. Вышел за дверь. Тихо прикрыл ее за собой. В горле стоял горький комок. Вспомнились строчки из стихотворения Гкмилева:

И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: «Я не люблю вас», —
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше…

Выйдя из подъезда, я увидел Маришку, качавшуюся с подружками на качелях в дальнем конце двора. И постарался пройти так, чтобы она не заметила меня. Ну, как ей всё объяснить?! От этого стало еще горше!

На улице я поймал такси. Доехал до вокзала. Ближайший поезд до Москвы отходил через три часа. И в кассе для железнодорожников стоял лишь один потный толстяк, тогда как в другие, обычные, длинные очереди извивались. Словно… змеи. Да-да! Те, которых мы с Сергеем и Михасем видели в общежитии.

«Что это я?! С ума, что ли, схожу? Не могут же три стопки «Зубровки» лишить разума?! - сквозонула мысль. Позвонить Михасю? А зачем? Да и как все рассказать? Нормальный человек такому не поверит. Потому что по-нормальному такого не может быть»!

Я вышел из здания вокзала. Мимо стелы «Победы» прошел между двух башен, открывающих въезд в город. Дошел до большого, ближайшего гастронома. Там взял бутылку «Беловежской пущи», какую-то булку, кружок кровяной ливерной колбасы.

…Еще ничего не понимая, я вдруг услышал над собой знакомый, но подзабытый голос: «Ну, так же нельзя, товарищи! Вот – мое удостоверение личности офицера. Это – мой сослуживец! Возвращаемся из отпуска. В Пружаны. Ну-у-у, перебрал он немного! Но я-то - трезвый! Вы же сами знаете, что у офицеров есть закон: один, в случае выпивки, всегда трезвым остается. Довезу я его. Не безпокойтесь…

Я поднял голову. И сначала не понял, где нахожусь. Какой-то зал ожидания. А передо мной стояли три милиционера и… Лешка Светлов! Мой однокурсник по

военному училищу, с которым мы не то что в одном взводе, в одном отделении учились!

- Не подведите, товарищ капитан, - козырнул милиционер.

Лешка сел рядом. Обнял за плечо: «Сашка?! Ты?! Какими судьбами? Тут про тебя такие легенды и сплетни ходили. И приказ был. По всем ракетным войскам! О твоем исключении из партии. Только наши никто не поверили. На отца твоего, видать, бочку накатили через тебя. И вот, смотрю: ты или не ты? Сел напротив. Ничего и никого не видишь. Из горла выдул полбутылки «… пущи». Откусил колбасы. И… вырубился! А тут и менты подвалили… Случилось у тебя что?

- Случилось.., - начал вспоминать я и, даже не осознавая, ткнулся лицом в лешкино плечо: слезы душили. Я проговорил, наверное, полчаса. Потом вскинулся: вспомнил про отправление моего поезда. А Лешка попросил: «Может быть, ко мне, в Пружаны? У меня еше – неделя отпуска. Жена – у своих родителей. Порыбачим! На охоту сходим!»

- Нет, Леха, в Москву поеду. Вот, - достал я из сумки блокнот, раскрыл его, записал номера домашнего и рабочего телефонов, -

будешь в первопрестольной, звони. У меня – свое жилье. Приму, как положено.

- Ну, если так, то давай-ка, я тебя посажу на твой поезд… Мой-то еще – через час. А твой…

Он развернул билет, поданный мной. Схватил меня за рукав: «Бежим! Он вот-вот отправляться должен!»

…Я вскочил в уже отходящий состав. Полбутылки «Беловежской пущи» оказались в сумке. На глазах у соседей по купе выпил всё! Залез на верхнюю полку. И тут же меня кто-то стал трясти за плечо: «Уважаемый! Через тридцать минут – Москва. Пора постельное белье сдавать.»

А мне хотелось пива… Но, снова вспомнив все произошедшее, я взял себя в руки. Выйдя на Белорусском вокзале, сразу позвонил Жене. Тот как раз собирался выезжать на работу. Но, услышав неопохмеленные новости, приказал: «Немедленно приезжай в ЦДКЖ! В здание не заходи. Жди в скверике, на лавочке у забора со стройкой. Я выезжаю… Таня! Завтрак заверни с собой. Там с Сахой – та-а-акое!..»

Мы сидели с Женей на лавочке, оба опустив головы. Вдруг он вскинулся: «Да, наплевать! Она давала тебе творчеством заниматься? А уехал бы ты туда, кем бы

стал? Му-у-ужем Ва-а-алентины Ивановны. И только! Да и то неизвестно, надолго ли! А здесь: ты – это ты! И неизвестно: ей или тебе повезло. Вот не понимаю только, Саха. Почему тебе бабы – сволочи такие достаются?!

- Ох… Жека-Жека… А может быть, это я – сволочь последняя?

- Не-е-е-т! Ша-а-алишь! Был бы ты сволочью, разве были бы мы друзьями?.. Вобщем так! Сиди здесь. Жди меня! А-а-а! – усмехнулся он. Показал он рукой вдаль: «Во-о-он, и Людмила Петровна к подъезду подтянулась. И Галина Евсеевна. Жди! Я через час-полтора буду.

Появился он раньше.

- Жека! Так пива хочется, - простонал я.

- Терпи, казак, атаманом будешь! – хмыкнул он. Приказал: «Пошли. Меня отпустили до завтра.»

- Ты что? Всё про меня рассказал?

- А ты бы и сам это сделал, когда захотел бы поставить печать в отделе кадров на согласие на развод. Прости за тавтологию: «на-на-на»… Кстати, сейчас Валера подкатит. Ему от Павелецкой – самое большее полчаса. Он – как раз после смены! Куда бы ты хотел поехать? Знаешь?! Я предлагаю сесть на на первую попавшуюся

электричку, выйти на первой попавшейся станции по-о-одальше, снова сесть на первый попавшийся автобус и выйти где-нибудь в лесу, на первой попавшейся остановке. А? Конечно! Мы сейчас зайдем в гастроном! Валерка потом войдет в долю! И отпразднуем твой день рожденья без баб и суеты! На природе!

- Какая доля?! – вскинулся я. Облизал пересохшие губы: «День рождения – мой! Значит я проставляюсь. Пошли в магазин. Но сначала… пожалуйста, зайдем в буфет! Хоть – стакан пива!

Женя засмеялся: «Да я сам тебе это пиво куплю! Только бы не видеть твою кислую физиономию! Взбодрись! Едем на пикник по случаю твоего дня рождения! А на нем могут присутствовать только самые близкие люди!

…Когда мы выши из буфета и, зайдя за водкой, коньяком, продуктами в ближайший гастроном, перешли на другую сторону к Ярославскому вокзалу, сразу «под часами» увидели Валеру.

- Где вы ходите?! - пробурчал он. Но обнял меня, шепнул: «Не трави себе душу! Все бабы – такие! Поверь моему опыту! Смотрят фильм про несчастную судьбу какого-нибудь великого композитора, поэта или художника и думают, мол, вот я бы с

него пылинки сдувала бы. Не то, что, мол, эта мымра, жена его. А попадись такой в жизни, - травят! Именно травят. Со свету сживают! Может быть, первое время и нравится. Но потом обязательно сживают. Уж я–то знаю. Из нас - одному Женьке повезло с женой! Нет пророка в своем отечестве.»

…Мы сделали так, как предложил Женя. И, выйдя на остановке посреди леса, даже несколько подберезовиков нашли. Но наткнулись на… колючую проволоку, с табличкой: «Стой! Запретная зона! Стреляют без предупреждения»! И я, хохоча, предложил устроиться именно под проволокой, на бережку маленького ручейка, протекающего вдоль заграждения. Так и сделали. Развели костерок. Разогрели консервы. Порезали овощи, фрукты.

Солнце уже садилось, когда я, с трудом осознавая происходящее, вместе с Женей и Валерой вышел на станции Лосиноостровская. Но быстро протрезвел. На автобусе мы проехали три остановки до «Бабушкинской». Зашли там в «пивняк». Но уже через час, загруженные продуктами и бутылками были у меня в комнате на Изумрудной улице. В квартире стояла мертвая тишина. Даже домашние тапки

соседки аккрутано построились под вешалкой.

- Ушла куда-то! – кивнул я на ее дверь и тут же прошел на кухню, чтобы сварить и пожарить чего-нибудь.., уж и не помню! Часа через два мы посадили Женю в такси, а Валера, хмельно помотав головой, пробурчал: «Тебя одному сейчас оставлять нельзя. К тому же, у нас еще водка, и пиво остались. В одно же горло добивать их не будешь?!»

С ним мы еще долго сидели. Пели песни. Читали стихи. Даже не слышали, пришла ли соседка. Постелил я Валере на раскладушке. А утром, едва выйдя из комнаты, наткнулся на соседку. Та опять, загораживая мне проход в туалет и стоя, – руки в боки, - «проелеела»: «Что? Теперь баб тебе мало? Мужиков стал водить?! И милицию всю купил! Вызываю, а они и не приезжают!»

Мой поднявшийся кулак перехватил Валера, неожиданно появившийся из комнаты.

- Слушай, мымра, – процедил он, - Саша теперь на тебя в суд подаст. А мы все свидетелями пойдем. Ты его, старая с-с-с.., старая, одним словом, с женой развела. А такое не прощается. Перегнула ты палку!

Ой! Перегнула! Я добьюсь, что ты у меня за сто первый километр поедешь! Готовься!

- Помогите! Убивают! Насилуют! – вдруг заверещала соседка так громко и звонко, что у меня уши заложило.

- Саш, пойдем отсюда! - крутанул головой Валера, - съездим на пруды куда-нибудь. Искупаемся. Пи-ывка попьем. А потом поедем ко мне. И в заявлении обязательно напиши, что соседка пыталась отравить тебя, что не дает возможности пользоваться местами общественного пользования. Слу-у-ушай, а может быть, мы будем в суде ходатайствовать о проверке ее на психические отклонения? А? Представь! И положат ее в Кащенко! По-ожиз-нен-но! У меня, кстати, знакомый врач-психиатр есть. Я попрошу, он на суд придет.

Валера покрутил пальцем у виска, а соседка мигом улетела в свою комнату. Я проснулся, опять не понимая, где нахожусь. Оказалось, что – у Валеры. И он, тряся меня за плечо, протягивал телефонный аппарат: «Позвони своей бывшей. Скажи, мол, отправишь письменное согласие на развод только после ее официальнольного, заверенного по закону заявления о том, что разводится она с тобой, поверив словам соседки: мол, ты постоянно изменяешь жене,

каждую ночь водишь разных баб. Каждую ночь – разных. Времени еще - семь утра. Валентина твоя – дома.

Так я и сделал. А Валентина, услышав мое требование, хмыкнула: «Ты оттягиваешь время. Все равно ведь разведут! Да-а-а! Хочу тебя обрадовать! Я сделала аборт. От тебя.»

- Вот как?! – у меня перехватило дыхание. На лбу выступила испарина: «Какая же ты…»

Я сам, первым повесил трубку. А Валера, войдя в комнату и поставив на стол чайник, тарелку с бутербродами, сковородку с омлетом, сказал: «Свои отгулы я использовал. Тебе советую написать заявление. Или устно договоришься. Вобщем, тебе надо на работу выходить. Оставь отпуск за собой. Три недели. Одну от отпуска мы с тобой уже пропьянствовали.»

Пропадая целыми днями то в лесах, то в полях, то на рыбных промыслах, я все-таки успевал и с матушкой, и с сыновьями видеться. В основном, правда, за трапезами. А Ваня с Васей каждый раз наперебой рассказывали, чему еще их научила Алена. И вот, однажды в обед я застал их невеселыми.

Они ковырялись ложкам в мисках и что-то по очереди бурчали друг другу.

- Что это вы, словно кислого чего отведали? – спросил я после молитвы.

- А что?! Она, - кивнул Вася на Алену, - всю нашу рыбу выудила…

- Как так? - спрятал я улыбку в усы и бороду.

Взглянул на Алену. Та тоже склонилась над миской, улыбаясь.

- А вот так! – горячо заговорил Ваня. И с обидой посмотрел на Алену: «Пошли мы сегодня на зорьке рыбалить. Ты уже ускакал к этому времени. Так вот, Алена…»

- Не Алена, а княжна Алена! – перебил я сына.

- Ну, да… Так вот, княжна Алена всю рыбу выудила! Мы с Васяткой сидим: ни одной поклевки, а она таскает и таскает. И окуньков, и ершей, и плотвичку, и уклейку, и еще кого-никого!»

- Одну - за другой, - поддержал брата Вася.

- Мы сказали ей о том. Она тогда посадила нас на свое место, а сама села на наше. И опять – то же самое: кукан ейный – уже по земле волочится, ежели поднять его на вытянутой руке вверх. А у меня – две

дохлых уклейки. А у Васятки – и того нет. Ве-э-эзучая!

- Так что ж гневаться на то? – вмешалась матушка. Погладила их обоих по головкам: «Радоваться за княжну надобно! Ей Бог послал добрый улов. А вы, видимо, Господа чем-то порогневили. Повспоминайте-ка. А? Кто Полкана в мой, бабий сарафан, который за мыльней сушился, нарядил? Да и завязал так, что бедный пес не мог из него свободиться! А?»

- Ой! Да ладно, бабушка! – поначалу потупился Вася. Потом махнул рукой: «Ну, пошалили маленько. Ну, прикажи дядьке Степану дать нам розог. А коли надо, то мы с Ванюшкой опять вымоем твой сарафан. Или безручки какие, что ли? А ты, вот, тятенька, женился бы на Алене. На княжне Алене! То-то нам всем весело бы зажилось! Она ж – хо-о-зяйственная! Умелая в любом деле! На саблях как добре рубиться! Ножи, топоры метает! А уж скачет верхом-то как! Любо-дорого. И рубахи нарядные нам с Ванюшкой на Пасху сшила! Та-а-акие! Надевать жалко! Разве что, - в храм Божий по праздникам. Ушицу-то эту сама сварила! Из разных рыбок. По очереди! Вкуснотища! Чревоугодие какое-то! А что, скажешь, что нет?

- И вправду, – вскинулся Ваня, - женился бы ты на Алене!

Я чуть ложку и кусок хлеба из рук не выронил. Посмотрел на Алену. Та как-то вся сжалась. Покраснев, что твой маков цвет, опустила к миске голову. А матушка поджала губы. Мотнула головой. Строго молвила: «А вот это уже – не ваше отроческое дело! Старшие сами разберутся! Ишь! Сваты нашлись!»

На том разговор и кончился. Но через дня два-три Алена попросила свозить в ее дареное им с отцом сельцо. Мы и выехали на рассвете. Скакали с ней рядом. А позади трусили Евсейка и Тишка. Когда въехали в березовую рощу, Алена, вдруг опять покраснев, тихо спросила: «А что это ты, князь, словно как боишься со мной наедине остаться? Холопов сегодня призвал. Да всегда со мной только на людях общаешься.»

- А как же иначе? Холопов призвал. Вдруг - беда какая! Зверь ли дикий. Человек ли лихой, - опустил я голову. И почувствовал, что тоже краснею: «Отец мне так твой повелел. Беречь, стало быть, тебя.»

Она хмыкнула в ответ и сильно стукнула каблуками сапожек в бока коня. Тот понес ее вперед. Мы, трое, едва догнали! Скоро въехали в село. Там сбавили ход. И

услышали, как какая-то баба голосит в третьей с краю истбе. Алена остановила коня. Спешилась. И быстро прошла в истбу. Я – за ней. А там холопка склонилась над зыбкой и горько, во весь голос, рыдала. Алена отстранила ее от зыбки. Прижала голову к себе. Погладила по волосам. Проговорила: «Ну, что ты, моя хорошая? Недужит живулечка? Сейчас мы его посмотрим.»

Через миг она выскочила из истбы. Но так же быстро вернулась с пучком каких-то трав. Повелела холопке: «Быстро давай горячую воду. Заварить надобно!»

Та засуетилась. Полезла в печь. Вытащила оттуда чугунок с кипящей водой. Сказала: «Для щей поставила…»

Алена бросила в чугунок траву. Накрыла крышкой. Постояла, прикрыв глаза и загибая пальцы. Я понял: считала. Потом спросила у бабы: «Лед есть?»

- А то! В леднике…

- Неси.

Остудив настой, Алена протерла им младенчика. Отлила в плошку. Повелела: «Сейчас живулечка заснет. А как проснется, напои взваром. Помолись хорошенько о здравии телесном и спасении душевном.»

…Выйдя из истбы, мы отправились посмотреть, как возводятся княжьи хоромы, храм, новое жилье для холопов. И я еще раз удивился тому, как по-мужски Алена давала наказы плотникам, каменщикам, пильщикам. И все время называла их «хорошими своими». Мне бы такое и в голову не пришло! Я любовался ею. Но осаждал себя, вспоминая прощание с Ивашкой.

…Через седмицу мы снова отправились в сельцо Дубка. И едва миновали крайнюю истбу, как нам в ноги бросилась баба, у которой давича хворал младенчик. Обливаясь слезами, она заголосила: «Матушка-болярыня! Спаси тя Господи! Деточка мой, твоими молитовками и травками на ноженьки встал. Как и отблагодарить тебя, не ведаю. Всю жизнь за здравие твое, батюшки твоего, матушки, мужа, деток молиться буду. И детям, и внукам накажу. Матушка ты наша! Боля-а-арыня! Кормилица! Целительница!»

- Какая я тебе болярыня?! – спешившись, поднимала бабу с колен Алена. И как-то жалостно, словно виноватясь или ища поддержки, взглянула на меня.

- Болярыня-болярыня, – улыбнувшись, кивнул я, - все – верно! Как дед мой

наставлял, все холопы – чада родные. Потому и зовутся домочадцами.

- Матушка-болярыня! Повели! На гумно твое каждый Божий день буду ходить работать!

- Иди, голубушка, - перебил я бабу, - ступай в истбу-то, к живулечке своему. А коли придет нужда, княжна тебя сама кликнет.

И та, пошла, постоянно оглядываясь на нас. Крестясь и шевеля губами. А мы снова проехали по хозяйству Дубка.

…- Вот, не могу я так, как ты, князь, с ними разговаривать, - помотала головой Алена, когда мы уже под вечер возвращались в мое село, - не мо-о-огу! Не по душе мне! Сама ж только недавно была такой же холопокой. Беглой! По отцу, по матушке. А теперь, вишь, бо-а-а-алярыня! Они же мне все, - словно родные!

- Это хорошо, Аленушка! Сдается мне, – сладко вздохнул я, - все-таки, в роду вашем был кто-то княжеских, если не Великокняжеских, кровей. Сказывали мне в одном монастырке, что по крови душа протекает. А это, знаешь ли, передается по наследству, как, скажем, характер, или греховность. Хорошее наследник либо приумножает, как раб, получивший пять

талантов, либо закапывает. А плохое-то – тоже: либо искупается подвигами всякими, либо приумножается еще более тяжкими грехами. Подлая кровь и под золотым кафтаном подлой будет. И вот, обладатель оного начнет глумиться над данными ему по ошибке людишками. Или - за ихнии грехи. Или - во вразумление. И, чем дальше, тем – больше. Потому, как кровь - подлая. Читай: грешная! Смертными грехами недужная. Ведь, ежели пращуры не захотели стать рабами Божиими, - на деле, а не на словах! – их потомки становятся рабами человеческими. А добрая кровь, хоть в лохмотьях, хоть в парче, такой и останется. И обладатель оной всегда таким является, потому как благородство свое почитает только слу-же-ни-ем Богу и людям.

Толкуя на ходу, я все время глядел на дорогу перед собой. А когда закончил, повернулся к Алене. Та, не отрываясь, смотрела на меня и слушала, раскрыв рот. Вдруг прошептала: «Какой же ты мудрый у меня, Алексашенька! Не по годам!»

Сердце мое запело. Но я, чтобы охолонить Алену, строго молвил: «Ишь ты! Сразу - и у тебя!»

- А что?! – вспыхнула она лицом. Но тут же опустили голову. Почти шепотом

молвила: «Я тебя теперь никому не отдам! Знаю, что и сама запала тебе на сердце. Чую! И не отдам ни болярыне какой, ни даже – царевне или ца-а-арице! Конечно, до Святого Венчания постараюсь вытерпеть! А то ведь… Как на духу признаюмь: горю вся! Прости за то, что сердце открываю. Но у нас, казаков, принято говорить все, что на нем лежит.

- А ты хоть знаешь про меня что? – крутанул я головой, пытаясь сбросить сладкое наваждение.

- А то – нет! – хмыкнула Алена. Гордо вскинула голову: «И про кикимору ту всё-о-о-о ведаю. Ворожейкой она была. Околдовала тебя. Опоила ли. Знаешь, чем бабы опаивают, чтобы приворожить полюбившегося мужика? Или… Как она, – понадобившегося. А-а-а? Потому и вины за тобой никакой не вижу. И… жалею! Вот… Только скажи. Ради Христа: правильно ли я почуяла? Ну-у-у, про то, что я в сердце тебе запала?»

Я почувствовал, что краснею. И кивнул, низко, словно отрок, опустив голову. Алена же, вдруг, громко засмеявшись, откинув голову назад, ударила пятками в бока коня. Тот понес ее вперед. Естественно, я – за ней, а за мной - и Тишка с Евсейкой, ускорили ход.

…Успенский пост подходил к концу. Я начинал собираться на Москву. Рассчитывал, сколько да какого снаряжения, оружия для мужиков прикупить надобно. Что-то и своими силами - наковать да сладить. А после Успения Пресвятой Богородицы мой обоз и две сотни ратников, включая Дубковских, вышли из села. Я сдерживал себя, чтобы не оборачиваться. Но чувствовал, что матушка, сыновья, Алена, дядька Степан, другие холопы стоят за самой околицей. И будут еще долго стоять. Даже тогда, когда наш обоз исчезнет из глаз, поднявшись на холм и спустившись с другой, невидимой для них стороны. Евсейка ворчал: «За коим мы на Москву-то идем? Пошли бы сразу на Нижний! По Волге-то. А так – семь верст киселя хлебать.»

- А ну-ка, - прикрикнул я на него, - не заводи таких разговоров! У меня Государево повеление – быть на Москве! Значит и будем. А коли вольности своей казачьей снова захотел, так, - скатертью дорога. Только в моем селе после этого чтобы и духу твоего не было. Думаю, что и Дубок так же рассудит.

Евсейка замолчал. И после этого почти всю дорогу только односложно отвечал на вопросы. Зато Тишка, балагуря, шуткуя, смеясь и запевая в пути, стоил даже не двоих!

Да что там двоих?! Десятка! До Москвы мы добрались без приключений к концу сентября. Курбский, встретив, расцеловал. Полюбовался. Рассмеялся: «Ну-у-у! Заматерел ты, Алексашка. Загорел-то как на вольном воздухе. Поднял ли хозяйство? А князя Дубова? Тут гонец от него пришел. С грамотой. Так вот, князь Ивашка любопытствует: как там дочка его? Все ли ладно?

- Скоро увидимся, я и расскажу. Честь-честью! Казаков-то он ведет?

- Пишет, что собрал всех, кто может оружие держать.

- Когда выходим-то на Казань?

- Так ты ничего не знаешь? Выходим в ноябре. Вровень с нами идут касимовская и астраханская конницы. Первую ведет твой знакомец Шах-Али, вторую – царевич Едигер. Новыми пушками будем разносить казанские стены. Да розмыслы приготовили подарочек поганым, - весело ответил князь Курбский.

- Алексашка! – услышал я сзади. Обернулся. Передо мной стоял двоюродный брат Георгий. Он возмужал! Но и разукрасился! Дорогой темно-желтый кафтан, покрытый парчой, красная шапка с собольей опушкой, зеленые, сафьяновые

сапоги с круто загнутыми вверх носками, посеребренные шпоры на них, небольшая, похожая на игрушечную, сабелька в золоченых, усыпанных самоцветами ножнах, - все это говорило о том, что брат пришелся «ко двору» Курбского. Мы похристосовались. И он сразу предложил: «Ежели князь Ондрей повелит, пойдем со мной нынче в ночь на строжу? А? Потолкуем. Все новости тебе поведаю!»

Курбский звонко засмеялся и снисходительно мотнул головой: «Алексашка, поди, отдохнул! Отоспался! В баньке отпарился! Теперь и послужить за троих сможет!»

- А то! – согласно пожал я плечами.

Поздно ночью, проверив посты, мы с Георгием присели на лавочке у входа в сторожевую истбу.

- Ну, рассказывай, - выдохнул я.

- И-и-и, брат! Пока ты по полям да лесам скакал, тут такое мы навортили! Мне-то все время с князем Курбским быть приходится. И на приемах посольств всяких, и на заседаниях Избранной рады, которую, слава Богу, наконец узаконили. В феврале, на Соборе. Посему и облачение мое должно быть соответственным: всякий же день – при Дворе Великого Князя и Царя!

- На Соборе? – переспросил я.

- Ты и этого не ведаешь! Ну, брат! Такие-то вещи каждый дворянин знать должен. Зимой два дня народ собирался на Совет всея Земли на Красной Площади. Конечно, - только выборные: естественно, Освященный Собор нашей Церкви во главе с митрополитом, болярская дума, ну, и земские людишки с городов, волостей, - почитай, со всей Землицы Русьской!

- Это как же? Выборные? Земля-то наша – во-о-он, как велика!

- Это значит, как в Уложении написано: «лучшие люди», «добрые и смышленые люди», которым «Государевы и земския дела за обычай», «с которыми можно бы было говорить», «которые б умели разсказать обиды и насильства и раззорения и чем Московскому государству полниться» и «устроить бы Московское государство, чтоб все пришли в достоинство».

- Такие-то, как правило, и мошну худую имеют. Поди ж и неведомы никому. Только боляре в собольих шубах и шапках видны на миру.

- Не-е-ет, брат! Добро, оно – неброско. Но сердце его чует! Посему богатство при выборности не учитывается! Главное заключено в том, что в проходивших по

сословиям выборах могут участвовать лишь те, кто платит налоги в казну, а также люди служивые! Ну-у-у, как мы с тобой.

- Ишь, ты! Что ж, и от черного люда тоже выборные были?

- А то! Государь сказал, что так мы сможем знать, как в самых медвежьих уголках Царства нашего обитают людишки! Какие нужды и непорядки творятся там. Так вот, слушай дальше. Города вместе со своими уездами составляют избирательные округа. По завершении выборов все записывается в местное Уложение собрания, который заверяется всеми участвовавшими в выборах, скрепляющих подписями подтверждение годности избранников к Государеву и земскому делу. А те, в свою очередь, с отпиской воеводы и выборным списком за руками идут в Москву, в Разрядный Приказ, где дьяки удостоверяются в правильности проведения выборов.

Избранники на Соборе передают наказы земляков, а по возвращении из стольного града должны отчитаться. Но коли не сумели добиться выполнения наказов, в Разрядном Приказе выдаются им береженые грамоты, в защиту от всякого дурна со стороны недовольных избирателей. Государь так и

приказал записать в Уложении: «велено их, выборных людей, в городах воеводам от городских людей ото всякова дурна оберегати для того, что у твоего Государева у соборного Уложения по челобитью земских людей не против всех статей твой Государев Указ ученен».

– Ну, ладно! Гляжу, поднаторел ты в делах державных. Да… и - придворных. О чем на Соборе-то толковали? К чему пришли? – спросил я, хотя вдруг почуял, что это мало занимает меня.

- И-и-и! Брат! Даже Петруша все это знает! Государь-то наш такое слово перед Собором молвил! Аж слезы на глаза навернулись у большинства верных ему. А толстопузые кормленщики да володетели, - боляре! – враз сникли! Уразумели: кончилась их власть! Ну-у-у, так как ты теперь - володетель земель и холопов, тоже должен радоваться. Людишки твои теперь к земле на веки вечные приписаны. Не к тебе! Не-е-ет! К землице твоей! Так – по-Божески! Не то, что раньше, когда болярин в отчинке своей – и царь и бог, и воинский начальник. Разбойничков да беглых опять же - к ного-о-о-оточку! Сроки давности заменены на вечную ответственность за лихие делишки ихнии! Городским и сельским обществам

будут теперь выдавать губные грамоты, разрешающие, - нет, даже обязывающие! - преследовать и наказывать лихих людей. И благословлены на сие выборные губные целовальники! Из среды черносошных крестьян, посадских людишек. Для этого в рубежах волости создаются губы. Их возглавят выборные старосты-головы от нашего брата, дворян данной волости. Конечно, одному даже шибко головастому не потянуть такой воз! Посему в помощь ему даются опять же избранные губные целовальники, сотские, пятидесятские, десятские – наподобии городовых стрельцов, - чины мелких округов. Вот она - отмена кормлений. А есть у Государя, Курбского, Адашева, отца Сильвестра еще и следующая задумка: ввести Указ о замене наместников и волостителей выборными общественными волостями, на коих возложить земское, местное управление и гражданское судопроизводство. Ох-хо-хо! Помоги, Господи!

- А не начнут ли твои выборные воровать и разбойничать, как иные боляре в своих вотчинах? – почему-то криво усмехнулся я.

- Не-е-ету! Не смогут. Это же не их собственность, а Государева! В Уложение

все-о-о предусмотрено! За нерадение выборные станут отвечать имуществом и даже жизнью. Они же все – на виду у людишек, которые их выбрали. И не отличаются ничем от последних! Только – служением!

…Так мы проговорили почти всю ночь. А утром я явился к Курбскому, готовый продолжить службу. И с радостью, словно томимый жаждой, припавший к ковшу с водой, приступил к ней. В своем дворе я почти не появлялся. Учения конницы сменялись сторожами, поездками с указами, грамотами, повелениями. И - обратно. В Москву с севера, юга и запада державы стягивались войска, полки, дружины. Их размещали, обихаживали, проверяли ратную готовность. И во всем этом мы, Государевы конники, были связующим звеном с Иоанном Васильевичем и его двором: болярами, воеводами, набольшими князьями. И хотя порой некогда было голову преклонить, восторг предстоящего похода переполнял сердце и, казалось, вливал в плоть новые и новые силы. Даже второго брата, - Петрушу, - случилось встретить только через неделю после приезда. Но и он обрадовал меня своим видом: подтянутостью, серьезностью,

раздумчивостью и даже не по возрасту какой-то степенностью.

…На Покров Москву засыпало первым снегом. К вечеру он растаял. Но на следующую же ночь его навалило по колено! Стало быть, говаривали старики, зима добрая будет! А князь Курбский, потирая ладони, сказал нам, собравшимся на очередные учения: «Вот славно-то! Реки и болота через пару седмиц должны встать. Стало быть, пойдем напрямки! Время, братия, самое удобное для похода! Еще по весне казак Урачко со товарищи сообщил нам, что Сафа-Гирей убился в своих хоромах, - ха-ха! - ударившись головой об умывальный теремец. Казанцы попытались получить нового «царя» из Крыма! Вот бы мы тогда в «клещах» оказались! Но тот же Урачко перехватил в Поле казанских послов. Сейчас в Казани ханствует двухлетний сын Сафа-Гирея - Утемыш-Гирей, именем которого правит его мать, ханша Сююн-Бике. Ох! Хор-роша, говорят, бабенка! Прости, Господи!.. Еще летом в казанские земли ходили воеводы Борис Иоаннович и Лев Андреевич Салтыковы. Поглядели. Послушали. Побили кое-кого из мелкоты. Э-э-эх! Тогда бы нам выйти! Самая смута была в Казани. Но лучшие рати с весны стояли в

городах от Поля и по берегу, охраняя южные рубежи. Но нет худа без добра! Теперь и морозец поможет. А нам к нему не привыкать! Ну, орёлики? Готовы к взятию Казани?..

- Ур-р-ра! – дружно гаркнули мы.

…После молебна о победе Русьского оружия, который служился во всех московских храмах одновременно, наши полки вышли через трое ворот Белого города. Впереди всех ехал верхом, сверкая позолоченным доспехом, Государь Иоанн Васильевич. Следом шли мы, его конная тысяча. За нами – везли пушки. Тяжелые, осадные - поставлены на лыжи. По восемь-десять володимирских тяжеловозов были впряжены в них. Более легкие орудия, тоже на лыжах, притороченных к колесам, тянули тройки и пары. А совсем небольшие лежали по несколько штук на санях. И этот обоз растянулся версты на три. За пушкарями шли конные стрельцы. Следом – пешие. Замыкала шествие обычная конница, ополчение, среди которого шли и мои мужики, обоз со снедью, медами, иной, нужной в походе, поклажей. Бабы, отроки, отроковицы, плотно стояли вдоль улиц, облипили деревья, крыши истб, сараев, амбаров. Многие промакивали слезы,

выступившие на глаза. Матери, женки, дети, провожая близких, шли у стремени конных, прижимаясь, держали под руки пеших, провожая их до самых окраинных посадов. Над Москвой стоял нескончаемый колокольный звон.

Когда же мы вышли из Москвы, я заметил, что добрая половина свернула на юг. Удивленно взглянул на Мстиславку. Тот дернул вбок головой: «Должно быть, другой дорогой пойдут. На Рязань. Но для пушек-то лучше»

Действительно, пушки по-прежнему двигались за нами. Я вдруг развоспоминался… Вот так же, совсем недавно мы с Митькой шли на Нижний. Эх, Митька- Митька! Княжич, князь Димитрий! Царствие тебе Небесное, добрый друже мой! И неоднократный спасатель! Вечная тебе память. На первом же привале, по окончании Всенощного бдени, - на которое хочешь-не хочешь, а иди вслед за Государем, - я заказал молебен о здравии своих ближних и за упокой тех, кого потерял за это короткое время моей службы. Опять проплывали мимо Купавна, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Усад, Покров. Наконец, вдалеке показался Володимир. А там, как оказалось нас уже ждали полки, небольшие княжеские

дружины из Шуи, Костромы, Ярославля, Ростова и Юрьева, других северо-восточных городов, посадов. Пошел я, само-собой и на службу в Успенском Соборе, которую служили приехавший из Москвы митрополит Макарий и Крутицкий владыка Савва. Первый благословил и Государя, и все войско на земское дело. Со слезами на глазах с амвона он убеждал всех боляр, воевод, князей и прочих ратников, чтобы они, возложив надежду на Бога и Его святых угодников, с усердием послужили Государю за святые церкви и православное христианство, забыли всякую гордость, всякую рознь и местничество, а связуясь взаимною любовию, мужественно постояли против врагов Отечества. И опять я вспоминал Митьку. Княжича Димитрия. Вот он-то постоял! И опять я заказал молебны и панихиды. В этот же день из Володимира в Нижний кратчайшей дорогой с осадными пушками отправились воеводы Василий Михайлович Юрьев и Федор Михайлович Нагой. А мы, возглавляемые Иоанном Васильевичем, вышли только на следующее утро. В дороге нас застал мокрый, колючий снег, лепивший под порывами ветра к лицу, доспехам, коням. Словно кто-то нарочно старался помешать нам двигаться. Однако

уже на третий день мы достигли Нижнего Новогорода. И здесь нас встретили те, с кем уже довелось беседовать, когда мы с княжичем Димитрием заезжали. Торжественная Божественная Литургия, которую служил местный владыко завершилась провозглашением *Многая лета* Царю Иоанну Васильевичу, славным воеводам, болярам и князьям, всему воинству Русьскому. В после нее и дневного отдыха, нижегородцы устроили для Государя настоящий пир. Мне пришлось стоять за спиной Курбского. Но не как холопу. Так же за спинами отцов стояли местные болярские и княжеские сынки. Рядом со мной стояли другие сотские, десятские. Опять звучали здравицы. Двое местных молодцев по знаку кормленщика с трудом внесли большое золотокованное блюдо, на котором блестела горка золотых монет. Кормленщик поклонился: «Дозволь, Великий Князь, Государь и Царь всея Руси, опора, надега и защита всего мира Православного, приподнести тебе скромный вклад нижегородцев в казну, дабы ратники наши не бедствовали, не голодали, не холодали при взятии Казани. Соборно порешили мы: сами пойдем с тобой на Казань. И приведем полк Нижегородский в семь тысяч пеших и

тысячу конных ратников. Приими, Государь, и эту скромную лепту нашу.»

Иоанн Васильевич поднялся из-за стола. Перекрестился и поклонился на три стороны. Слезы блеснули в его глазах: «Нет дороже для меня подношения, чем ваша любовь, самоотверженность, готовность положить души своя за други своя, а животы – за Веру Православную и Державу нашу, сколько уж столетий со всех сторон терзаемую ворогами. Спаси Вас, Господи!»

И он, выйдя из-за стола, поклонился собравшимся в пояс. Затем вернулся на свое место. Поднял чару. Провозгласил: «За вас, мои дорогие нижегородцы, честные отцы и братия!»

После того, как собравшиеся осушили свои чары, кормленщик кивнул в сторону кому-то и перед царем вышел слепой старик с гуслями в руках. Тронул струны. Да так, что зазвучали они перезвончатыми церковными колоколами. А старик запел:

Есть чем Царю мне похвастаться,
Я повынес царение из Царяграда,
Царскую порфиру на себя надел,
Царский костыль себе в руки взял,
Я повыведу измену с белокаменной
Москвы…

Пел старик и про Казань, где стонут в рабстве наши соотечественники, призывая при этом Божие Благословение на воинство Русское, возглавляемое Царем Иоанном Васильевичем, и про западные пределы, истязаемые латинянами. И все слушали его, затаив дыхание, словно он провозглашал самое заветное, самое потаенное в сердцах наших.

…А утром, после молебна мы вышли и двинулись по льду Волги на юг. И опять мокрый, хлесткий ветер бросал нам в лицо целые сугробы. И опять я вспоминал Митьку, с которым мы попадали в такие же переделки. Государь все время шел впереди. Ему подводили сменных коней. Он пересаживался, но, весело оглянувшись, звал: «Орёлики мои! Что приуныли?! Это - нечисть всякая воздух мутит! А ну-ка, где наша молитва? Ежели с нами Бог, кто - на ны?!»

И грянуло над Волгой *Царю Небесный!*

Володимирские тяжеловозы скребли по льду свою поклажу – пушки. «Вот ведь! – подумал я, - Тварь безсловесная! А служит получше каждого из нас! И не надо ей ни теплой попоны, ни отборного овса. Довольствуется тем, что Бог послал! Но служит! Значит, чует волю Божию!»

И действительно, на одном из ночных привалов я заметил, как молодой жеребец-тяжеловоз за милую душу лакомится салатовыми побегами елок и сосенок.

- Княже! И ты вкуси! Такая вкуснятина! – услышал я чавкающий голос сбоку. Обернулся. Рядом стоял Тишка, подобно жеребцу, поедающий хвою. Да так, что она сыпалась у него изо рта! Я последовал за ним. Действительно! Казалось, что именно этого я и хотел поесть! А метель, - мокрая метель, - не унималась! В пути к нам прибивались какие-то отряды. И даже… татарские. Один мелкий князек или ханышка подскакал к Курбскому. Загомонил: «Кинязь! Кинязь! Повели урусьскому попу крестить нас в веру христианскую! Мочи нет!»

- Что, – хмыкнул тот, - прямо здесь? В мороз? В метель?

- Айда, кинязь! Всем родом своим желаю, однако, крещение во Христа принять! Не могу дальше идолам служить. Да ладно бы идолам?! Аллаху какому-то! Не желаю! И род мой не желает! Желаю урусьскому Царю служить! С ним мир идет! Добро идет. Ко мне пра-прадед во сне пришел, однако. Говорил, мол, иди к урусьскому Царю! И нас спасешь! Шибко

больно, говорил, ему там. Никаких там дев нет! Никакого щербета! Огонь, однако, один!

- Ла-а-адно, - опять хмыкнул Курбский, - вставай в строй. Завтра поутру и окрестим!

- Ай! Благодарствую! Да продлит Аллах годы твоей жизни…

Все, кто слышал это, захохотали. А князь Курбский кликнул: «Отец, Иероним!»

И тут я увидел… своего батюшку! Со своей улицы! Того самого, к которому ходил! Он ехал на облезлой, смирной лошадке. Я подскакал к нему под благословение. Он ласково улыбнулся. Но тут же строго спросил: «Что? Хлебанул блуда?»

- Каюсь, батюшка! – склонил я голову.

А Курбский уже повелевал, кивая на татар: «Отец Иероним, окажи милость! Поутру, после краткой Божественной Литургии, окрести чад сих.»

Поп кивнул. Отъехал, более не сказав мне ни слова. Да и какими словами мой грех измериться может?! Только покаянием. И еще раз – покаянием! И делами, противоположным греху! Но… Не в монахи же идти! А Алена?! Слава Богу, в эту ночь я был в Царской стороже. Поэтому все думки были только о ней. Татары приняли крещение в проруби. И мы снова двинулись в путь. Что-то мне подсказывало: надо

остановиться! Поведать о чем-то Государю. Или хотя бы Курбскому. Ах, да! Я подскакал к поледнему. Выдохнул: «Убиенный княжич Димитрий, - Царствие ему Небесное, - сказывал, что где-то здесь в Волгу впадает река Свияга. И есть гора, на которой хорошо бы крепостицу нам поставить. Ежели, - не дай Бог! - поход не удастся. Сами ведаем, что припасы уже на исходе. А обозов с пополнением их и не видать.

- Что несешь-то?! – сердито откинулся в седле Курбский. А ехавший впереди всадник вдруг обернулся. И оказался Государем. Склонил голову набок. Переспросил: «Крепостицу? А где?»

- На горе! – горячился я.

- Покажешь?

- Так, метель же! Не видать ни зги!

- Возьми сотню. И найди мне эту гору. Стало быть, до Казани верст двадцать-тридцать осталось. Ступай, Алексашка! На-а-айди мне эту гору!

Я гикнул своих. Те – еще кого-то. Всадников семьдесят ринулись за мной в безпросветную метель. Скакавший рядом Тишка, ворчал: «Вот, чует мое сердце, не обошлось здесь без нечисти! Сейчас водить начнет! Туда-сюда-обратно!»

- Не каркай, – оборвал я его, - помолись лучше! Ты же у нас – зна-а-атный молитвенник!

Все, скакавшие рядом, засмеялись. Но Тишка запел: «*Да воскреснет Бог и расточатся вра-а-ази Е-е-е-его…*»

Мы подхватили. И тут же сквозь снежную круговерть я увидел крутой берег, уходящий ввысь.

- Вот же она! – вздыбил я коня. И мы стали подниматься, скользя, скатываясь. Но взобрались на лысую, обдуваемую всеми ветрами гору. И встали на вершине. В полной тишине и прозрачном воздухе. А под нами крутилось темное месиво из песка и снега.

- Она? – спросил я Тишку.

- Она, княже. Я заприметил…

- Давай! Пчелкой – за Государем! Найдешь обратно-то дорогу?

- А то!

И Тишка исчез, словно вниз рухнул.

- Эх! Костерок бы запалить! Чтобы снизу видно было. Да чем? – буркнул кто-то из наших.

- Как это чем? – хохотнул Мстиславка. И выдернул из под ног целый куст травы. Засмеялся: «А бурьян на что? Су-у-ухонький! Не гляди, что метель!»

Мы кинулись рвать сухие стебли, кое-где видневшиеся ниже горной лысины… Запалили. Подбрасывали, чтобы не потух. И скоро снизу донесся крик: «Здесь ли ты, Алексашка?»

- Здесь, Государь! - что было мочи, гаркнул я. Иоанн Васильевич, в сопровождении Курбского, Адашева и еще полусотни всадников, вынырнул снизу. Огляделся. Крутанул головой: «Ай, да Митька! Ведь говорил же мне про гору эту. Да я запамятовал. Спаси тя Господи, Алексашка! Напомнил! Ондрейка! Курбский! Повели-ка вешки здесь поставить. А крепостицу мы всё одно сладим на горке сей. Возьмем ли Казань, не возьмем ли. Всё. Пошли…

К утру распогодилось. Но не к добру. Снег, покрывавший лед под ногами, посерел. Даже лыжи под пушками уже не скользили. Тяжеловозы выбивались из сил. Кто-то из боляр подскакал к Государю. Громко и веско молвил: «Надобно на берег уходить. Тепло идет. Как бы нам не утопить пушки…»

- Знатное место! Только из чего, – хохотнул, поеживаясь, князь Курбский, - из чего, сказываю, крепостицу-то ладить? Лесу нет поблизовсти. Да и как? Кру-у-угом –

казанцы. Даже ежели возьмем Казань. Тут еще долго ратиться придется.

- Дозволь слово молвить, Государь? – почесал за ухом князь или болярин, приставший к нам в самом Нижнем Новогороде.

- Ну? Говори, князь Ушатый, – кивнул Иоанн Васильевич.

- Дело-то – ве-е-еселое! У меня в отчинке, коей ты одарил меня, под Угличем лес – хороший. Строевой. Так вот, ежели пожелаешь и дашь для помочи моим холопам сотни три работных людишек, за зиму, как из похода вернемся, я у себя крепостицу сложу. Раскатаю по бревнышку и сюда по воде доставлю. А здесь мы ее, крепостицу-то, сызнова собрем.

- По бревнышку?! - крутанул головой Государь.

- Угу… Только вот, хорошо бы и зодчего головастого приставить. Я хоть и ставил хоромы. Но здесь особый подход, полагаю, нужен. И сторожа. Все же – под носом у казанцев. Даже ежели возьмем ихний стольный град.

- Да-да, - подал голос я, - князь Димитрий тоже о том толковал. С местными… И тоже предлагал крепостицу в разобранном виде перевозить.

- Ну, вот что, - кивнул головой Иоанн Васильевич, - разворачивайся-ка ты, княже, восвояси. А с тобой пойдет… Где у нас дьяк Ивашка Выродков? Алешка, отыщи его. И посылай с князем Ушатым. Сейчас же пусть и зачинают. Чтобы к весне были готовы основной набор стен, башен, жилых истб, двух храмов Божиих.

…Снег переходил в дождь. Кони, едва справлялись. Увязали в раскившем месиве по колено. А тут еще – и безчисленные овраги и балки. Так мы шли, - каких-то двадцать верст, - больше, чем седмицу. Конечно же, это было на руку казанцам. Они успели собраться с силами, призвать союзников, укрепить стены, башни, нарыть волчьих ям и возвести другие препятствия вокруг города. Но Казань мы прочно обложили. С радостью повстречал я и Шаха-Али, и его Ахмеда. Видел и другого татарского церевича Едигера. Только этот показался каким-то сколзким. Разговривая даже с Государем, никогда не смотрел в глаза. А Ивашка Дубок привел девять тысяч казаков. Еще столько же пришли с Поля под предводительством Урачки. Казалось, такая силища не может не одолеть казанцев. Только тут начались искушения. Не приходили обозы со снедью, зельем для

пушек, пищалей. А тот порох, который был при обозе подмокал: шел непрерывный дождь. Малые реки вскрылись. Да и на Волге лед потрескивал ночами. Не от морозов. От тепла! Казалось, вот-вот ледоход начнется. Ратные людишки наши начали недужить. Кони падали. Пушки, из коих мы обстреливали Казань, скользили. И давали после выстрелов такие откаты, что немало пушкарей покалечилось. Казанцы попытались сделать несколько вылазок. Но против них Государь бросал нас, свою конную тысячу. И мы успешно загоняли ворогов обратно за стены. Однако, и насмотрелись всяких мерзостей. На стены выбегали старики и старухи в каких странных меховых ярких облачениях, увешанных костями, разноцветными лентами, с бубнами и трещотками в руках. Они кривлялись, выкрикивали что-то хульное нам. А потом дружно стали срывать с себя облачения и показывать срамные места. После всего этого дождь усиливался. Сверкали молнии. Гремел гром. Это – в феврале-то!

- Шайтана своего призывают, однако, на наши головы, - махнул плеткой Ахмед, выехавший со мной как-то под стены города.

- Колдуют, - когда мы вернулись в свой стан, покачал головой отец Иероним, - и по грехам нашим нет удачи…

…Седмицы через две Государь повелел отступать восвояси. Теперь пошли мы напрямик. К Мурому. Но этот путь был еще тяжелее: распутица разгулялась вовсю! Да и с небес продолжало лить, словно из ведра. Однако, Государь все время был в войске. Шутил. Подбадривал. Это поддерживало дух ратников. Но несколько пушек мы все-таки потеряли, переходя по льду Суры…

Москва встретила нас хмуро. Оттепель сменилась морозами. Но не светлыми, ясноокими, а колючими, вьюжными. Да и мы все, начиная Государем, Курбским, и заканчивая моим Тишкой, ходили хмурыми. Не елось, не пилось! На Масленицу не гулялось! Так и вошли в Великий пост. Дубок распустил своих казаков по домам, а сам подался в сельцо. Я нес службу в тысяче. В хоромах моих было почти безлюдно: все ж в село подались. И вот, однажды ночью, накануне Торжества Православия, я долго не мог заснуть. А когда забылся, увидел… Аллу. Она оказалась в какой-то прозрачной накидке, под которой… ничего не было. Извивалась. Льнула ко мне горячей

плотью. Сжигала меня ею. Я прошептал: «Хочу тебя!»

- Так что ж ничего не делаешь для этого?! Бери! Владей! – беззвучно прозвучал ответ.

И она как бы раскрылась вся. И словно от печки пахнуло в меня жаром… Только живым! Но тут я заставил себя проснуться. Закричал: «Тишка! Неси воды!..»

В утром пошел пораньше к отцу Иерониму. Тот, выслушав, покачал головой: «Эка, тебя сила бесовская в оборот взяла. Не могу допустить до Святого Причастия. Пусть к вечеру кто-нибудь из холопов ко мне забежит. Дам тебе молитву от осквернения. Нет… Лучше сам зайди. Холопы-то, поди, у тебя грамоте разумеют.»

- А то…

- Вот, я и толкую: сам зайди. Нечего им про такие нападения на князя ихнего ведать. А молитву ту каждый вечер коленоприклоненно читать будешь, дабы причаститься Святых Таин на святителя Григория Паламу. Уразумел?! Помоги тебе, Господи! Молись! Молись! Моли Господа, Матерь Его Пречистую, всех святых угодников Божиих, чтобы оградили тебя от бесовских нападений! Сильно ты их задел,

коли враг в лице твоей блудосоделицы является!»

Что ж?! Великий пост – желанный гость! Но когда через седмицу я рассказал, что сел на хлеб и воду, отец Иероним чуть было не разгневался. Постучал сцухоньким кулачком мне по макушке. Покачал головой. Пожурил: «Да разве ж можно так? Тебе?! Служивому?! Такой пост – инокам положен! И то: далеко не всем… А тебе – не-е-ет, не благословляю! Тебе, чадо, силы не только духовные нужны! Как же рубиться-то будешь с ворогами?»

- А как ратился схимонах Александр Пересвет на Куликове? Против Челубея? – вскинулся, было, я.

- И-и-и, милай! Там особое благословение было! Вспомни-ка, что вытворяли колдуны да колдуньи казанские на стенах? А? Срамота! Вот против этой бесовской срамоты ратиться, - нужно иноком быть. Да благословение такого молитвенника, как преподобный Сергий игумен Радонежский, получить! Дабы духовную сечу выиграть. А плотская сеча? Плотская сеча – дело второе! Челубей-то тоже иноком был! Да-а-а! Только с другой стороны. Служил он не Богу, во Святей Троице славимому, а врагу рода человеческого. И был посвящен в дикой

стране, в горах и пустынях Тибета, - есть такая держава, - колдунами в служку сатанинского. Щутка ли?! Коня одной рукой поднимал над головой! Этакую силу либо Бог дает, либо ворог! Да только нужна ли она нам, смертным, уповающим на силу Божию?! А вот ради гордыньки и враг рода человеческого может наделить служку своего. Ты ж сам, насколько я ведаю, хаживал на запад, в Речь Посполитую. И видел таких же служек. Только они теперь в ордена объединились, в одном из коих и соблудница твоя, прости Господи, бывшая состояла. Так что, не против захватчика Земли Русьской бился Персвет, - упокой, Господи душу его и даруй Царствие Небесное, - в против сил адских! И Господь не дал посрамить Веру нашу Православную: Челубейка-то, хоть и колдун, но рухнул с коника, а Алексашенька-Пересветушка даже убиенный в седле остался. И в ряды ратников наших ве-е-ерхом вернулся. А стало быть, по тем законам ратным, вышел победителем из поединка! Уразумел?

Я склонился перед священником. Но все-таки переспросил: «А что ж за Тибетия такая, колдовская?»

- И-и-и, милай! Слыхал, что через пещеры Тибета – прямая дорога в

преисподнюю? А колдуны тамошние от веку были. Только когда распинатели Господа нашего Иисуса Христа бежали. Поди, помнишь из Священнго Писания, что Христос-Спаситель, входя в Иерусалим, говаривал, мол, камня на камне от града сего не останется. Так и случилось. Но черных-то людишек побили, а са-а-амые главные, колдуны ихнии, каббалистами называемые, удрали. Но куда бежать-то? На север? Не-е-е-ет! Там римляне, которые в Вере Истинной приходить по-маленьку стали. Опять же, - наши благочестивые предки, которых еще святой Апостол Андрей Первозванный вразумил. На запад? А там – хрен редки не слаще. На юг? А там – ефиопы! У-у-у! Они хоть и черны кожей, что твоя головешка, потому как пошли от грешника Хама, проклятого отцом, а тоже – не лыком шиты! Христиане! Поди, покаялись крепко, коли Господь их к нашей вере допустил! Вот и двинулись нечестивцы на восток. А там – Вавилон, издавна зараженный колдовством, Непалия всякая, наконец, Тибет. Вот там-то и объединил нечистый все колдовские злоумышления! Со всей вселенной! Потому оттуда и иго монголо-татарское пошло!

- Татаро-монгольское, - попытался поправить я.

- Не-е-ет, – замотал головой отец Иероним, - монголо-татарское! Нешто пошли бы волжские булгары на нас? Как им святой благоверный Великий Князь Андрей Боголюбский врезал? А? Век бы помнили. А их самих кто захватил? А? То-то! Мо-о-онголо-тататры! А монголы, – они пришли с Тибета! Уразумел?

Я кивнул. И отправился в свои хоромы, где, помолившись, крепко и покойно заснул.

На работе меня встретили жалостливыми взглядами. Женя, как я понял, уже рассказал о моей беде. Галина Евсеевна в ответ на мою просьбы отозвать меня из отпуска одобрительно кивнула: «Я и сама думала об этом. За работой вы быстрее забудетесь. А может быть, вас куда-нибудь в командировку отправить? В длительную?

- Только не Белоруссию, - мотнул я головой.

- Естетственно, кураторство Белорусской железной дороги я передам кому-нибудь другому. Так что скажете насчет командировки?

- Можно я подумаю. Мне же еще к родителям съездить надо. Их «обрадовать»…

- Что ж, ни пуха, ни пера. С какого дня выйдете?

- Можно с понедельника? Я еще на дачу хотел съездить. Помочь. Но и долго там находиться тоже не смогу.

На сем и порешили. Родители встретили меня с удивлением. Мать спросила: «Ты что такой зеленый, как крокодил Гена?»

- Давайте, сядем за стол? И все расскажу, – попросил я.

Когда я замолчал, отец присвистнул. Крутанул головой: «Вроде бы у вас все складывалось. Как же так?»

А мать, опустила глаза. Поджала губы. Жестко сказала: «Я так и знала, что ничего у вас не получится. Перевез ты ее от бывшего муженька. А потом, как знать, может быть нашла кого себе на курорте. И не говорила ли я, что тебе, что ни один уважающий себя поэт ли, писатель ли, художник ли только добивается славы и известности, когда живет один. Валентина, конечно, хозяйственная женщина. Но – не для тебя. Вот для нее творчество – самое главное. Посмотрела-посмотрела, что за тобой, как за малым дитем уход нужен, пока ты статейки да стишки пишешь.»

- А может быть, это ты, мама, ей что-нибудь наговорила? Когда она приезжала на Новый год? Ведь именно с тех пор наши отношения стали изменяться, - вглядывался

я в ее лицо. Но она отвела взгляд. Дернула головой: «Вот еще! Нужно мне! Да и она – взрослая женщина. Не без глаз ведь! Ладно, дело прошлое. Зато – наука тебе! Второй раз обжегся. Может быть, хватит? Ладно. Отец, налейка Саше с дорожки. А ты сынок ступай после обеда на второй этаж Отдохни. Эх-хе-хе! Никому ты, кроме отца с матерью, не нужен.»

Отдыхать я не пошел, а сразу приступил к работе. Даже набросился на нее. Пилил и колол дрова. Качал ручным насосом воду из скважины: для душа, для полива, для ужина. Мать решила квас поставить. И для этого я еще пятнадцатилитровую бутыль наполнил. Ходил с отцом в лес за бревнами. Выкопал новую компостную яму. Так что к концу второго дня моего пребывания на даче я уже не чувствовал ни рук, ни ног. И спал хорошо. Крепко. От усталости, должно быть. Да и возвращаясь в Москву, задремал в электричке.

Приснилась мне Валентина. Она стояла с большим, похожим на тесак, медицинским скальпелем в окровавленной руке, и лицо ее опять сморщившееся, напомнило мне обезьнью рожицу. Верхняя губа поднялась, а нижняя опустилась, оскалив большие желтые зубы. Но это была не улыбка, а

гримаса какой-то жестокой злобы. «А может быть, это – и не Валентина вовсе?» - подумал я. И вдруг тишину разорвал жалобный плач младенца. «Это же наш с ней убиенный ею ребенок!» - вспыхнула во мне горькая до слез мысль. Я вскинулся. И увидел, что все еще еду в электричке. А по диагонали, через два сиденья от меня совсем молоденькие мужчина и женщина склонились над своим ребенком. Он-то и плакал. Отец накрыл пеленкой жену и та, очевидно, дала младенцу грудь. Тот сразу замолчал. Но тяжесть утраты чего-то очень дорогого так и не исчезла у меня из сердца. Я отправился в тамбур. Закурил.

Выйдя на работу, я постарался с головой уйти в редактуру. Даже домой брал рукописи. Молился до полуночи. И по утрам. В ближайшие выходные поехал в Сергиев Посад, к отцу Иллариону. Тот слушал мой рассказ, низко опустив голову. Шевелил губами. Наконец, подытожил: «Горько все это. И слава Богу за то, что вы не успели обвенчаться. Слава Богу за то, что ты не уехал жить в Минск. А представь, что сталось бы с тобой, если бы переехал, а Валентина подала бы на развод? А? И опять слава Богу за то, что ты стал чаще и дольше молиться. Видишь, Господь жалеет тебя. И

даже через боль привлекает опять к себе, словно блудного сына. Благодари Его. Каждый день благодари. Не прекращай молитвы. Только не переусердствуй. Здесь ведь тоже по силам надо брать правило. А что до твоей бывшей жены, так тут – какая-то явная болезненность. Душевная! Твою Валентину можно только пожалеть. Вот тебе показано, как один грех тянет к себе другие, более тяжкие. Ай-ай-ай! Как же ей теперь за аборт отвечать придется?! Бедная она, бедная. Но, вот кажется мне почему-то, что, во-первых, кто-то ей помог, в кавычках, наговорив на тебя. Во-вторых, не обошлось здесь без ворожбы. А в-третьих, она через несколько лет очень пожалеет об этом своем шаге. Пожалей и ты её! Старайся плохо о ней не думать. И молись. Ведь тоненькая ниточка, связывающая вас в мире духовном не-раз-рыв-на! А коли так, то, как мужчина, как православный мужчина, вини во всем себя! Тем паче, - есть за что.

- А если она захочет вернуться?

- Да-да… И ты жаждешь этого. Ждешь? А?

- Да, - опустил я голову, - дома вскакиваю при первом же телефонном звонке и бегу к аппарату. И на работе – то же самое! Но ты, отче, сказал про тоненькую

ниточку. И если она неразрывна, то, может быть…

- Нет, брат, не думаю, что Валентина в ближайшее время захочет вернуться. Женщины.., они народ – тако-о-ой! Жене твоей несостоявшейся обжечься надо. Сравнить либо тебя с кем-то, либо ощущение твоих любви, заботы, внимания и отсутствием оных. А ниточка? Ниточка связывает тебя не только с ней, но даже с ее бывшим мужем. Как связывают такие ниточки тебя с каждой женщиной, с которой ты был близок. Даже с теми, с кем пробыл одну всего ночь. И с их мужчинами, - прошлыми, современными, будущими, – тоже связывают тебя такие ниточки. Вот и является на мытарстве блуда эдакое многорукое, многоногое, многоловое чудище, страдающее мучительной неразрывностью всех этих многочисленных ниточек. Цепляются за них и дети, и внуки блудников и блудниц. И тоже страдают теми же грехами. Это и есть проявление генетики. С духовной точки зрения. Если, конечно родитель или родительница не искупят грех блуда. А еще хуже - прелюбодеяния! Для чего я тебе говорю все это? Чтобы ты осознал свою греховность. Исповедался. Покаялся. И помнил! И подумал о детях, внуках своих.

- Так значит я тоже цепляюсь за ниточки кого-то из предков?

- Да! Только не ищи. Осуждать родителей, и дальше, – в глубину веков, – грех Хама! От него ведут род, например, эфиопы. И хотя пришли они ко Христу. Но… Увы! Впали в ересь монофизитства. И до сих пор в ней, бедные, пребывают. Стало быть, несут епитимью. А у нас, у русских, тоже есть обычай: про покойников – принято говорить либо хорошо, либо – молчать.

- Монофизитство? – переспросил я.

- Вот что, мой дорогой. Не о ереси тебе сейчас думать надо, а о покаянии, Святой Исповеди, Святом Причастии. Ты ведь с ночевкой приехал? Я так и думал. А потом и о ересях потолкуем. А? Давай-ка теперь встанем на молитву.

Ночевал я опять в той же гостинице, даже в келье за номером «тринадцать». Но в этот раз заснуть не мог долго. Да и сон ли это был? Какая-то тягучая, потная, изнуряющая дрема. Время от времени она сгущалась, как бы поглощая меня. И тогда перед глазами мелькали мгновенно меняющиеся картинки. Цветные! То лицо Валентины, вспыхнув, тут же гасло, то голова старика-корня с протянутой ко мне рукой. То дача родителей, промывалась сквозь серый туман, то еще

кто-то, что-то… Но смысл большинства «картинок» уловить было невозможно. И от этого становилось еще муторнее. За дверью по полу коридора изредка кто-то шаркал тапками, шлепал босыми ногами… Но даже эти звуки врезались в мозг, не давая ни заснуть, ни сосредоточиться на «картинках». Поднялся я задолго до колокольного звона, призывающего монахов и паломников на церковную службу. Зато все утреннее правило вычитал. Точнее, - пробормотал: голова разламывалась то ли от недосыпа, то ли я начинал заболевать. И я вышел на воздух. А там наткнулся на отца Иллариона.

- О! Уже сам поднялся, - преподал он благословение, - но весь какой-то зеленый? И-и-и, брат! Вижу не желает враг твоего Приобщения! Мучил, поди, всю ночь? А ведь это – твой старик-корень…

- А почему же ты, отче, раньше не говорил мне?

- А ты разве поверил бы? Ну-у-у, может быть и поверил бы. Но сомневался бы все равно. И винил бы его, меня, еще кого. Только не себя самого! Согласись! Вот, после молитвы и подумал я, что этот, приставленный к тебе бес, все с Валентиной и замутил. Втерся в доверие. Хотя прекрасно знал, чем это кончится. Да и сам постарался

довести до печальной развязки вашей женитьбы.

- Да-а-а! – протянул я, припоминая до мельчайших подробностей «душеспасительные» беседы со стариком-корнем.

- Стоп-стоп-стоп, – покачал головой отец Илларион, - вот тут и я промашку допустил. Тебе сейчас исповедоваться, причащаться, а мы с тобой о чем говорим? Ну-ка! Выбрасывай все это из головы и сердца!

…После Причастия Святых таин мне стало полегче. И мы с отцом Илларионом прошли поначалу на обед. Потом – в его келию. И, помолившись, он сказал: «Ты, вот, спрашивал про монофизитов. Если хочешь, расскажу.»

Я кивнул. А он продолжил: «Монофизитов еще называют единоестественниками. Их лжеучение есть ничто иное, как христологическая ересь, основанная константинопольским архимандритом Евтихием или Евтихом, поддержанная александрийским патриархом Диоскором. Однако, ересь сия была осужденна Церковью на Халкидонском, - Четвертом Вселенском, - Соборе 451 года. Сущность монофизитства состоит в утверждении, что Христос, хотя рожден из

двух **природ, или естеств, но** ***не в двух*** **пребывает, так как в акте воплощения неизреченным образом из двух стало одно, и человеческая природа, воспринятая Богом-Словом, стала только принадлежностью Его божества, утратила всякую собственную действительность и лишь мысленно может различаться от божественной. Монофизитство стало противоположной крайностью другому, незадолго перед тем осужденному, воззрению - несторианству, которое стремилось к полнейшему обособлению или разграничению двух самостоятельных природ в Христе, допуская между ними только внешнее или относительное соединение или обитание одного естества в другом. А этим, как ты понимаешь, нарушалось личное или ипостасное единство Богочеловека. Отстаивая истину этого единства против Нестория, главный защитник православия в этом споре, святитель Кирилл Александрийский, допустил в своей полемике неосторожное выражение: "единая природа Бога-Слова, воплощенная", что было разъяснено в православном смысле самим Кириллом. Однако, после его смерти извратители нашей веры перетолковывали в смысле** ***исключительного*** **единства**

Божественной природы, несовместимого, - по воплощению, - с сохранением действительной человечности. Когда такой взгляд, укоренившийся в Египте, стал проповедоваться и в Константинополе малоученым, но популярным среди монахов и при дворе архимандритом Евтихием, местный патриарший собор осудил это учение как ересь и низложил его упорного поборника, о чем патриарх святитель Флавиан сообщил римскому папе, Льву Великому, а Евтихий, после безуспешной жалобы в Рим, нашел себе опору в императоре Феодосии II и в преемнике Кирилла на александрийском патриаршестве - Диоскоре. Созванный императором в Ефесе собор епископов, - его принято называть разбойническим, - осудил Флавиана и оправдал Евтихия. Папский легат, диакон Иларий, заявил формальный протест и бежал в Рим, где папа немедленно объявил Диоскора отлученным от церкви, а все сделанное в Ефесе недействительным. Диоскор, вернувшись в Александрию, анафематствовал, в свою очередь, папу Льва. Смерть императора Феодосия дала делу новый оборот. Императрица Пульхерия и соправитель ее Маркиан выступили решительно против монофизитства и

александрийских притязаний. Сторонник Диоскора Анатолий, поставленный им в патриархи на место Флавиана, поспешил изменить своему покровителю и вслед за императором обратился к папе Льву с просьбой о восстановлении церковного порядка. Созванный в Халкидоне Вселенский Собор осудил монофизитство, низложил Диоскора, принял догматическое послание папы как выражение православной истины и в согласии с ним составил определение, по которому Христос исповедуется как совершенный Бог и совершенный человек, единосущный Отцу по божеству и единосущный нам по человечеству, пребывающий и по воплощении *в двух природах* неслиянно и нераздельно, так что различие двух природ не устраняется через их соединение, а сохраняется особенность каждой природы при их совпадении в едином Лице и единой ипостаси. Решения Халкидонского собора не были приняты в Египте и Армении, а также отчасти в Сирии и Палестине. Монофизитство доселе отстаивает свою догматическую и церковную самостоятельность в этих странах. В настоящее время общее число монофизитов определяют около пяти миллионов человек,

в том числе иаковитов, то есть сирийских монофизитов – шестисот тысяч, армяно-грегориан и коптов - около трех тысяч каждых, эфиопов - более двух миллионоа. Вот, вкратце и все. Но была еще одна ересь – монофилиты. Эти отвергали человеческую волю в Иисусе Христе, чем приуменьшали значение Его крестных страданий. Так что, брат, враг хитер и коварен! Аки лев! Представь теперь, сколько столетий идет непрмиримая битва за души людские. За душу Православия. За душу Святой Руси! Так что ж говорить про отдельную, человеческую?! Твою душу! Но Бог-то поругаем не бывает!»

…Я возвращался в Москву несколько утешенным. Но, как сказал на прощанье отец Илларион, мне предстоит еще переболеть разрывом с Валентиной. В понедельник я вышел на работу. Собрался углубиться в редактуру. Но в приоткрывшуюся дверь просунулась голова Алеши, фотокорреспондента из «Московского железнодорожника».

- Санек! – позвал он и кивнул, приглашая выйти к нему. Я удивился, но последовал его приглашению. Алеша взял меня под руку и отвел в дальний конец

коридора. Подальше от посторонних ушей и глаз.

- Слушай, – зашептал он заговорщически, - кажется, наш Палыч дозрел. В пятницу тебя вспоминал. Велел передать, чтобы ты к вечеру зашел в редакцию Учти! Похоже, будет серьезный разговор о твоем трудоустройстве к нам. А ты сам-то не передумал на живую работу переходить? Пока корреспондентом. А там видно будет.

Я стоял ошеломленный. Сглотнул слюну. Это была новость, которую я давно ждал. Там работы – невпроворот. Может быть она и поможет мне в непрерывных командировках поскорее забыть Валентину. Только как сказать об этом Людмиле Петровне, Жене, наконец, Галине Евсеевне? Не сочтут ли они меня предателем?

После работы я дождался, пока Женя уйдет в метро и поднялся на второй этаж соседнего с ЦДКЖ подъезда. Дверь в редакцию была закрыта на замок. Я нажал кнопку звонка. И мне открыл Алеша. Кивком головы позвал меня за собой. В кабинете главного редактора Валентина Павловича был накрыт стол. Просто. По-холостяцки. На старой верстке газеты лежали грубо нарезанные колбаса, сыр,

селедка, хлеб, зеленый лук, несколько редисок. И стояли две бутылки водки, одна из которых была выпита на две трети. За столом сидели пятеро мужиков, уже знакомых мне. Владимир Иванович Делюкин – спецкор, Валера Фимин, курирующий, по-моему, Курское направление. Старичок Арсеньев, забегающий изредка со своими рисунками и кроссовордами. Они были уже слегка навеселе.

- Саша! Присаживайся. Алешка, плесни ему, - кивнул мне Валентин Павлович, - мы тут Валеру в отпуск отправляем. Вот, он и решил угостить. Я не отказался. И разговор, начатый, видимо до моего прихода, возобновился. Потом Валентин Павлович задавал мне какие-то малозначимые, казалось, вопросы. Но, Алеша, да и все остальные, улыбались моим ответам. Кивали. Тут от входной двери раздался звонок. Валентин Павлович остановил разговор жестом. Повернулся к Алеше: «Сходи, глянь-ка в глазок. Только осторожно.»

Тот ушел, но скоро вернулся. И не один. Из-за его спины, улыбаясь, выглядывал рослый, плечистый молодец со взбитым вверх и набок чубом пшеничного цвета

волос, румянцем в поллица и огромными, не по-мужски голубыми глазами.

- Прятного аппетита всей честной компании! Я, похоже, опоздал?! – отчеканил он.

- Нет, Микола, – ответил Владимир Иванович, - мы только начали. Вот, кстати, познакомься. Наш будущий новый сотрудник. Александр.

Я пожал руку пришедшему.

- А это, - указал теперь мне тот же Делюкин на него, - наш бывший сотрудник, Коля Черногорец. Кубанский казак! Но не забывает родные пенаты! Правда, сменил железнодорожный транспорт на водный.

- В газете «Водный транспорт» отделом инофрмации руководит, - пояснил Алеша.

- Вас забудешь! – хмыкнул Николай и достал из модного «дипломата» бутылку водки и шмат сала, завернутый в холстину.

- О-о-о! Даже упаковка кубанская! – потер ладони Делюкин.

- Вчера из родной станицы прислали. Самолетом!

Владимир Иванович взвесил на руке сало. Плотоядно понюхал. Приказал: «Тогда разливай!»

А в конце нашего застолья Валентин Павлович опрокинул последнюю стопку в

свое грузное тело и, кивнув мне, сказал: «Я завтра сам потолкую с твоим руководством. Чтобы тебя к нам - переводом. Поэнергичней оформляй «обходной». И выходи. Пока – корреспондентом. Войдешь в курс дела. Притрешься. Коллектив у нас спаенный…»

- И споенный! – хмыкнул Валера Фимин, но опустил глаза, поймав строгий взгляд главного редактора.

…В голове у меня слегка пошумливало. Может быть, еще и от этого я был на седьмом небе от счастья. Добирался последней электричкой. И к дому подошел только около часу ночи. Ключ легко повернулся в замке. Но дверь оказалась закрытой еще и на цепочку. И сколько я не звонил в дверь, никаких ответов соседки не последовало. Это сразу протрезвило меня. Я понял, что идти в подпитии в отделение милиции не следует. А ночевать тогда где? На лавочке перед подъездом? Но там было уже прохладно. «Что ж, - хмыкнула мысль, - быстрее протрезвею совсем! Как в вытрезвителе»!

Так я и просидел, подремывая, под кустами сирени. А утром, только рассвело, меня растолкал тот самый сосед в тельняшке, который был понятым, когда соседка сменила замок.

- Ты что это? Живой? – спросил он. Сдвинул на затылок кепку: «Я выхожу из подъезда, чтобы в свой автобусный парк отправляться, на смену. А ты тут сидишь, нахохлившись, словно воробей! Что? Опять эта старая карга замок сменила?»

- Не-е-ет, - мотнул я головой, сбрасывая дрему, - теперь – дверь на цепочку закрыла. И на звонки не отвечала.

- Вот, что я тебе скажу, паря. Просто! По шоферски! Дать бы ей в морду! Но тебе ж нельзя! Наверное, не приучен?! Интеллигенция! Тогда подавай в товарищеский суд! Там председатель – ветеран войны! Бывший разведчик! Он правду-матку завсегда в глаза режет! А мы, жильцы, все в свидетели пойдем! Я с другими-то соседями потолкую! Она ж у нас у всех в печенках сидит! У-у-у!

- Спасибо, - кивнул я, понимая, что соседку уже ничем не исправить. Когда же появился в кабинете, Людмила Петровна даже ахнула: «Что это вы – такой зеленый! А глаза – красные, словно с жуткого похмелья.»

- Опять соседка ночевать не пустила. Я вчера около часа ночи пришел домой. К друзьям заходил. Приехал. А дверь – на

цепочке. Вот и пришлось перед подъездом на лавочке ночевать! А какой там сон?

- Не-е-ет, Александр, - покачала она головой, - тебе определенно надо подавать на нее в суд. И пусть эта уличная ночевка будет последней каплей, переполнившей терпение. А мы пойдем свидетелями. Правда, Женя?

Тот, жалостливо глядя на меня, кивнул. А курилке, когда мы вышли туда, тихо спросил: «Ты что, поддал вчера крепко?»

- А что? Перегар? В «Московском железнодорожнике» засиделся. Там вся редакция собралась. Берут меня, Жека, туда на работу!

- Да ну?! Вот уж, Галина Евсеевна с Людмилой обрадуются! В кавычках, конечно! А я-то - лопух: даже перестал искать новое место. Ты только близко до обеда не подходи к руководству!

-А что? Спрашиваю же: перегар?

- Есть немного! Но у баб-то нюх - более чувствительный, чем у нас, мужиков.

Когда мы с Женей вернулись в кабинет, там сидела и Галина Евсеевна. Глядя на меня покачала головой: «Что-то Александр, все шишки на вас валятся! Рассказала мне Людмила Петровна о вашей ночевке. Но нет худа без добра. Пойдемьте ко мне в кабинет. И ты, Люда – тоже.»

В кабинете Галина Евсеевна, жестом пригласив нас присесть, сам тоже опустилась в кресло. Поглядела на меня молча с минуту. Потом заговорила: «Звонил мне сейчас главный редактор «Московского железнодорожника». Просил отпустить вас к нему на работу. Переводом. А как же тогда наш инофрмационно-издательский отдел?»

Я перевел глаза на Людмилу Петровна. Та чуть даже не привстала со стула. А Галина Евсеевна продолжила: «Жалко мне такими кадрами, как ты, Саша, разбрасываться. Но, думаю, Люда, ты со мной по-женски согласишься. Он такую беду перенес только что! Да и, как знать, сколько еще нести будет в сердце! Поэтому, опять же повторюсь, чисто по-человечески, решила я отпустить тебя, Саша. Чтобы исключить даже случайные встречи с бывшей женой на сети дорог. А в редакции командировки – почаще! Поближе. Конвейер! Да и к репортерской работе, как я понимаю, у тебя сердце лежит. А? Сам-то что скажешь?»

- Да я.., - от неожиданности я не знал, что ответить.

Людмила Петровна закивала головой. Взглянула на меня. Улыбнулась: «Да-да! Так будет лучше. Но на суд мы с Евгением Юрьевичем все равно придем.»

- А сейчас, Александр, поезжай-ка домой. Отдохни. Приведи себя в порядок. И сходи, подай заявление в суд. Завтра приедешь, подпишешь, где надо, «обходной лист». За день, думаю, успеешь. И послезавтра выйдешь на работу в «Московский железнодорожник». Не затягивай! Не дожидайся, пока наш директор с «бархатного сезона» в Крыму вернулся. А то ведь, если дождешься, он тебя месяц отрабатывать заставит! Да, и еще… В качестве напутствия. Я знаю, что в редакции все во главе с главным любят «за воротник заложить». Смотри, не привыкай ты к этому.

…Дома цепочки на двери не было. Не оказалось и соседки. Я принял контрастный душ. Перекусил. Выпил крепкого кофе. И решил не отдыхать, а сразу отправиться в милицию, а из нее – в суд. Так и сделал. В отделении меня узнали. Дежурил тот же капитан, к которому я обращался в прошлый раз, когда соседка поменяла замок. На мой рассказ он участливо крутанул головой. И объяснил, где я могу подать завление в товарищеский суд микрорайона. Там, по соседству с домоуправлением и опорным пунктом милиции, в отдельном помещении я застал двух молодцеватых, подтянутых старичков, пиджаки которых

разноцветились многочисленными наградными колодками. Они что-то писали, изредка обмениваясь между собой словами. Я спросил председателя суда. Голову в мою сторону поднял седой, но густоволосый, поджарый старик, через все лицо которого наискосок пролегал глубокий шрам. Он пригласил присесть. Представился: «Я – председатель. Зовут меня Василий Николаевич. С чем пожаловали, молодой человек?»

Я коротко рассказал.

- Слышь, Акимыч, мы с тобой кровь проливали. Женки наши да других красноармейцев в большинстве своем на заводах по шестнадцать часов вкалывали. Раненных обихаживали. Эвакуированных, как родных, принимали. А тут… Даже как-то неправдоподобно. А? – обращаясь к лысыватому, тоже седому, но упитанному, еще крепкому своему товарищу по суду, крутанул председатель головой.

- У меня свидетели есть. Жильцы дома. Соседи. Мои сотрудники. Заведующая отделом и мой коллега заезжали ко мне в гости. И все это видели и слышали сами. В отделении милиции есть протокол первого случая, когда соседка поменяла замок без

моего ведома. На звонки и на стук в дверь не отвечала! - перебил я старика.

- Это – хорошо. Я сделаю в отделение запрос. А вот свидетели? Придут ли они на заседание суда? Сейчас, знаете ли, молодой человек, не то что во время Великой Отечественной. Многие стали жить по принципу «моя хата с краю»!

- С работы у меня придут точно. И тот сосед, водитель автобуса, который меня, спящего, сегодня утром на лавочке у подъезда растолкал пообещал потолковать с другими. Да и милиционеров вы опросить можете, - убеждал я.

- Что ж… Добре. Давайте заявление, - протянул руку председатель. Он пробежал его глазами. Вздохнул. Крутанул головой. Обратился к другому ветерану: «Акимыч! Думаю, заседание товарищеского суда назначить на следующую неделю… Глянь-ка, какой у нас там день свободен? Ага. Среда. Добре. Пиши повестку этой Как ее…»

Я назвал имя, отчество, фамилию соседки. Тот, которого звали Акимычем, медленно, четким убористым почерком записал их на лоскутке повестки. Вскинул глаза на председателя. Тот кивнул: «Сделай милость, отнеси ей сегодня вечерком сам! Только отдавай под расписку! А вы, молодой

человек, возвращайтесь домой. Отдыхайте. И на следующей неделе, в среду, в девятнадцать ноль-ноль, будьте здесь со свидетелями. Лучше минут на пять-десять – пораньше. В соседней комнату у нас – зал заседаний. Вот туда и приходите. Только поначалу сюда зайдите, зарегестрироваться. Всего доброго.»

И он опять опустил голову в свои бумаги. Тот, которого звали Акимычем, последовал ему. А я отправился домой. Но опять соседку не застал. Поэтому решил, наконец-то восполнить безсонную ночь. Улегся на диван, не раздеваясь. И проснулся, когда уже начались сумерки, от причитаний соседки за дверью: «Ой-ой-ой! Меня старую бабку, которая тридцать лет проработала на них, - судить! За что ж это? Ой-ой-ой!»

В ответ я услышал что-то пробубнивший мужской голос. Входная дверь хлопнула. На минуту наступила тишина. Но тут же, как я понял, - по телефону, соседка еще пуще запричитала: «Вот так, сынок! Растила тебя без отца. Недосыпала. Недоедала. Вкалывала, как лошадь. А теперь и меня же хотят судить! И из-за кого? Из-за какого-то пьяницы и развратника, который бандитски подселилися. Еще неизвестно, жив ли старый сосед! А то, может быть нынешний и зарезал

его. А документы на себя оформил. Что? Почему ерунду? Эт-т-то ты почему так с матерью разговариваешь. Ой-ой-ой! Приезжай на суд! Обязательно приезжай. В среду. В семь вечера. И эту свою, сам знаешь, кого, прихвати. Я ж вам только добра в вашей семейной жизни желала! Ну… Ругалась иногда! Для порядку. Приезжай! А не приедешь, прокляну! И тебя! И бабу твою! И выблядков ваших!»

Все затихло. Я, как ни в чем не бывало, вышел на кухню. Две конфорки были свободны. Я поставил чайник, сковородку. Пожарил себе яичницу на сале. Дождался, пока все приготовится. Ужинать, конечно, ушел в свою комнату. А после ужина все-таки сподобился позвонить Василько. И услышал в трубке его голос.

- И-и-и! Александр, - бодро и весело ответил он на приветствие, - сколько лет, сколько зим! Чем обрадуешь? Как поживаешь?

- Слава Богу за все! - хмыкнул невесело я. Но почувствовав что-то новое, но не самое хорошее, в интонации Василько: «Сколько раз собирался позвонить, и всё руки не доходили. В храм ездил, но там никого из знакомых прихожан не встретил…

- Еще бы! Мы теперь к отцу Николаю, к брату, в храм ездим.

- К отцу Николаю?

- Да! Его уж как месяц рукоположили в иерея. На-а-астоятель он теперь! Разрушенный храм восстанавливает. А мы, духовные чада отца Валерия, - Царствие ему Небесное, - по мере сил помогаем. Думаем к Покрову Божией Матери приглашать архиерея для освящения престола. И будем служить!

- А работаешь там же?

- Да-а-а! Тебя часто в отделе вспоминают! Знаешь, что, завтра – заговение на Успенский пост. Приезжай! У нас дома много народа соберется. В храме-то пока нельзя. Там даже дома причта нет. Вагончик стоит. Но его строители под бытовку используют. Вот мы и решили дома у нас заговеться. Супругу-то перевез?

- Нет. Она - в Минске, - не стал распространяться я, потому что не хотелось портить настроение ним Василько, ни себе.

- Ну, что ж! Приезжай один. Мы с Иришкой, отец Николай с матушкой Софией, Мария с своим женихом Алексеем, да и другие наши прихожане будут только рады видеть тебя. Прости! Давай прощаться! Нам Олежку кормить надо.

- Олежку?

- Да, забыл сказать! Можешь поздравить: у меня сын родился! В честь отца, - Царствие ему Небесное, - и назвали…

- О-о-о! Поздравляю. От всей души! Ну-у-у, не буду задерживать! До завтра!

- Да, часикам к шести подтягивайся.

На этом разговор и закончился. Но прежней духовной близости с Василько я не почувствовал. Подумал: «Сам виноват! Сколько времени носу не показывал. Пока нужны они были, так братьями называл, жил у них, пользовался всеми благами, каждый день звонил! А только более или менее встал на ноги, так и поминай, как звали. Прости, Господи. Надо завтра же повиниться»! И я тут же почувствовал зависть, закипавшую в душе: вот, мол, у Василько и Николая, - отца Николая, - жены, дети, у Марии – жених. И, похоже, жизнь семейная будет тоже безоблачной. А у меня? Может быть, мать права, что мне семья не нужна?! Что надо с головой окунуться в творчество?! Но зависть! За-а-авист! Надо срочно раскрывать блокнот и записывать самый мельчайший грех только что совершенный. Исповедовать и каяться можно и отцу Николаю. Благо, он служит не так далеко, как иеромонах Илларион…» Так,

лежа на диване, не постелив постель, не раздевшись, я и заснул.

А половину следующего дня пробегал по разным кабинетам ЦДКЖ, где мне ставили подписи в «обходном листе», метко названным «бегунком». В этот же день я получил на руки и Трудовую книжку. И в половине шестого подъезжал к знакомому дому Василько, отца Николая и Марии. Сердце екнуло в груди. Но тут же кольнула предательская мысль: «Еще посмотрим, как встретят тебя здесь после столького времени твоего отсутствия. И физического, и духовного»!

Но мои опасения не оправдались. Все встречающие кинулись обнимать и христосоваться со мной. Василько представил жену. Отец Николай, преподав благословение, представил матушку. Мария – жениха. Тоже Олега. Он, Ирина и матушка София, улыбаясь подобно мужьям приветствовали меня сестринским целованием. Отец Николай возмужал. Раздался вширь. Стал еще более молчаливым и сосредоточенным. И чем-то вдлруг напомнил отца Валерия, - Царствие ему Небесное! И пока подходили другие гости, узнававшие меня и радостно приветствовашие, отец Николай

расспрашивал, как живу, да чем. Я поначалу отвечал односложно. Потом, когда, похоже, все собрались, сказал: «Отче! Весь мой сказ будет на исповеди. Если благословишь.»

- И-и-и, брат, – улыбнувшись, ответил он, - я не менее восьми лет после рукоположения не могу давать духовных советов. Это – по учению святых отцов!

- Меня, по благословению отца Валерия, окормляет иеромонах Илларион из Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Но туда не наездишься. К тому же я завтра выхожу первый день на новую работу. Надо присмотреться. Притереться. Вникнуть во все дела, за которые буду отвечать. На это много времени много уйдет. А грешу - ежеминутно. Вот, вчера, хотя бы, услышал, что Василько женился, родил сына, что и у тебя уже матушка, что у Марии – хороший жених, и… позавидовал. Каюсь…

- Ну, что ж, - кивнул он, - приезжай в субботу на нашу молодежную стройку. Там и потолкуем.

- Дорогие мои! Прошу всех – за стол! – вспыхнула на гостей цветом живого неба в глазах матушка София. И тут я только заметил, что она – в положении. И опять горечь-не горечь, зависть–не зависть, кольнуло сердце. Застолье прошло в

традициях отца Валерия, - Царствие ему Небесное. И никакой холодности или натянутости в отношении ко мне я не почувствовал. Может быть, именно поэтому, вспоминая минувшее время общения с Василько, его братом и сестрой, я доехал до своего жилья в добром настроении. А там, как только вошел в квартиру, заметил, что соседка сразу юркнула в свою комнату и, пока я не улегся, не выходила. Сон окутал меня сразу. Но и он был добрым, глубоким, без сновидений. А утром ровно в девять я уже было в редакции. Встретили меня две незнакомых женщины. Вопросительно посмотрели. Я представился. Одна из них, - моложавая, стройная лет сорока, с высоким пучком каштановых волос на голове и в дорогих очках, - улыбнулась. Кивнула: «Значит это про вас мне говорил Валентин Павлович. А я – его заместитель. Зовут меня Зоя Васильевна. Очень приятно познакомиться. Но, как сказал наш главный, вы будете в его личном подчинении.

Она повернулась ко второй, веснусчатой женщине, - с ярко-рыжей короткой стришкой, и пышными формами тела под обтягивающим костюмом, претендующим на строгость, - и представила ее: «Эльвира Максимовна. Заведующая

производственным отделом. Мы собрались пить чай. Не хотите присоединиться?»

- Нет. Благодарю, - слегка склонил я голову, - дождусь Валентина Павловича. К тому же я плотно позавтракал дома.

- Ха! – подала голос Эльвира Максимовна. И переглянулась с Зоей Васильевной: «Долго ждать придется. Он раньше десяти не появляется.»

В это время входная дверь в редакцию открылась и через порог переступил Владимир Иванович. Взглянул на женщин. Весело проговорил: «Наши птички, как всегда, - самые ранние! Доброе утро!»

Потом он повернулся ко мне, дернул вверх седеющей шкиперской бородкой:

- Пойдемте, Александр! Валентиин Павлович поручил мне быть вашим наставником. Это, - я разумею, движение наставничества, - сейчас модно в стране. Все кого-то в чем-то наставляют. Ха-ха! Но мы будем наставляться в журналистике, если это понадобится, в чем я сильно сомневаюсь. Читывал… Читывал ваши коррепонденции. Грамотно. Емко. Веско. Но сидеть в кабинете мы все равно будем друг против друга. Пойдемте, покажу ваш рабочий стол.

И он увел меня от женщин. А когда прикрыл дверь, кивнул в их сторону: «Не

обращай внимания! Одна, - блатная, - жена генерала, летчика, Героя Совесткого Союза, который на пятнадцать лет старше ее. Другая – из Свердловска. Та-а-акая же. Мужика ее оттуда в Министерство путей сообщения перевели. Вот и обязали Палыча взять в промышленный отдел. За-аведующая! Над самой собой! Пустышка! Хоть и закончила журфак. Правда, опять же – в Свердловске. Ты завтракал? А то мне тут жена приготовила.

И он достал из пузатого портфеля большой килограммовый батон, разрезанный вдоль на три части, между которыми торчали колбаса, сыр, зелень.

- Мы в столовую не ходим, - подмигнул он мне. И выложил этот «бутерброд» на стол: «Каждый день куда-нибудь ехать надо. То – в одно депо, то в другое. То в какую-нибудь дистанцию: пути, энергоснабжения. Еще ли куда. Там, в рабочих столовых и обедаем. Слушай, ты же – моложе меня. Сгоняй за бутылочкой! Надо рабочий день начинать. А то ни одно слово в голову не лезет.

Я удивленно уставился на него. А он успокаивающе двинул в мою сторону открытой вертикально ладонью: «Сгоняй-сгоняй! Надо к приходу Палыча очерк

написать. Да и ему граммов сто налить. А я пока батон порежу.»

Он достал протянул мне «трешку».

- Хотя нет. Возьми две.

Он порылся в пиджаке достал еще два рубля. Оттуда же выскреб мелочь. Хмыкнул: «Совсем забыл! Сегодня же – гонорарный день! Гу-у-уляем. Как ты уже, наверное знаешь, газеты наша выходит три раза в неделю. Гонорары выплачивают раз в квартал. Так что, я сегодня – бо-о-огатый! Да и ты, по-моему тоже что-то получить должен? А?»

- Так, может быть, я и «пропишусь сегодня»?

- Погоди! Это уж, как Палыч решит. А пока сгоняй в гастроном напротив стройки. И купи две бутылочки во-о-одочки!

Я послушно кинул на плечо спортивную сумку и выскочил из редакции. А когда вернулся обратно, увидел, что дверь в фотолабораторию открыта. Оттуда выглянул Алеша. Заулыбался: «Первый раз – в первый класс?! С выходом тебя, Санек! Я – сейчас. Иди, Делюкин там исстрадался!»

Владимир Иванович действительно сидел за столом, уставившись скисшими глазами в окно. Но, увидев меня, вскинулся. Достал откуда-то три граненых стакан.

Наполнил их до половины. Взял один. Чекнулся с другими, еще стоявшими на столе. Крякнул: «Ну, с началом рабчего дня!»

И опрокинул в себя водку. Вошел Алеша. Хмыкнул. А Делюкин, прожевывая откусанное от толстого куска своего «бутерброда» пробубнил: «Что стоите, как в гостях? Давайте! А то, не дай Бог, Зойка сейчас войдет. Закусывайте.»

Мы исполнили. Владимир Иванович убрал бутылки, стаканы, остатки «бутерброда». Достал несколько листов писчей бумаги, свой блокнот. Надел очки. Внимательно осмотрел перо ручки «Золотая рыбка». Поднял глаза на нас: «Ну, что уставились? За работу!»

И он склонился над бумагой. Алеша на цыпочках вышел из кабинета. Я – за ним. Мы вошли в его фотолабораторию: комнатку – три на два, с ванной для обработки фотопленок, снимков, узкими столами с увеличителями и другой техникой… Алеша прикрыл за нами дверь. Предложил закурить. И пояснил: «Владимир Иванович не может писать, пока не примет сто граммов. Зато пишет как! Золотое перо Москвы! А самое главное – быстро!»

Я слышал, как несколько раз хлопала входная дверь в редакцию. Но Алеша каждый раз останавливал мои порывы выйти: «Успеем. А если кто спросит, я скажу, что знакомил тебя с особенностями нашей работы.»

И он действительно стал показывать мне снимки, сделанные им в последнее время. Сказал, что мне сейчас дадут «фактуру», а я к снимкам должен буду сделать подписи.

- Фактуру? – переспросил я.

- Ну, да, - кивнул Алеша и показал на снимок, - вот это – машинист, передовик производства, общественник. Более конкретные данные – и есть фактура. Но не будем же мы в газете перечислять то, что нам сказали в отделе кадров. Подпись к фотографии должна быть как бы мини-очерком. Короче: «фактуру» надо «причесать», то есть написать художественно. Усек?

- Но это же – по промышленному отделу? – удивился я.

- Да, - вздохнул Алеша, - но нашей Эльвирочке – лень заниматься мелочевкой. Зойка ее прикрывает. А Палыч специально глаза на это закрывает, чтобы бабы наши, если что, в бутылку не полезли. Поэтому

дежурный корреспондент и делает подписи к снимкам.

- А я сегодня – дежурный?

- Мы с тобой – вместе. Тебе надо как бы стажеровку пройти. Но задания бери только у Палыча! Он вчера на планерке несколько раз подчеркнул, что ты - его личный порученец! Но учти: и Зойка, и Эльвира тебя под себя подмять попробуют. Есть у нас еще Катя, заведующая отделом информации. Она – классная баба! Доверять ей можно. Но близко не подпускай! У нее в подчинении – Люся. Эта – не рыба, не мясо. Она вся - в мыслях о муже, о детях, о стирке, уборке, варке обедов, жарки ужинов.

- Что ж в этом плохого? – удивился я.

- Для семьи ничего плохого нет. А вот для журналистики это – недопустимо. Я вообще считаю, что не женское это дело. Журналист, даже когда спит, обязан работать над корреспонденциями. Люся каждый день «отбывает номер». Приходит позже. Уходит раньше. А Кате куда спешить? Дочка – взрослая, - она ее в восемнадцать лет родила. Мужа нет Есть, конечно, у нее кто-то. Ха-ха… Но, как я понимаю, это все не серьезно. Остается ей - гореть на ра-бо-те!

- А еще мужики?

- Ну-у-у, во первых, Олег Келин. Ответственный секретарь. Он макетирует газету. Ну, размещает материалы, фотографии так, чтобы красиво было. Мужик неплохой. Спокойный. Неконфликтный. Сговорчивый. Но… не в компании он. Как бы сам по себе. Только по большим праздникам участвует в редакционных застольях. Фимина ты знаешь. Есть еще один. Он сейчас - в отпуске. Борис. Секретарь нашей первичной партийной организации. О-о-ответственный товарищ! Метит на место Палыча. Так что, с ним ухо держи востро. Этот вообще старается в редакции, а не то что за праздничными столами, не появляться. А Палыч и не препятствует. Опять же – из тактических соображений. Ну и на линии, - в Брянске, Смоленске, Туле, Рязани, Кашире, Курске, Орле, - есть свои собственные корреспонденты. Они – из местных. Все мужики – нормальные. Со временем познакомишься. Прокатишься. По этим городам и весям.

- А зачем же кататься, если есть там свои собкоры? Нет! Ты не подумай: я совсем даже не против командировок. Просто хочу суть дела понять.

- Ездить приходится нам всегда, чтобы потратить бюджетные средства. Но особенно тогда, когда надо разобрать жалобу, написать фельетон. А как собкоры смогут сделать это, если получают зарплату от Брянского, Смоленского и так далее начальства?! Не будем же мы их подставлять. А еще хорошо поездить для того, чтобы развеяться. Знаешь, как на линии принимают? У-у-у! В первые командировки поедем вместе. Познакомлю с нужными людьми. Я еще со времен работы в «Гудке» многих знаю.

В дверь фотолаборатории постучали. И тут же раздался голос Валентина Павловича: «Алексей! Ты здесь? С Александром? Зайдите ко мне оба.»

Мы тут же подчинились. Главный редактор растекся по своему креслу всей грузностью. Прикрыл глаза. Пухлой рукой протянул мне десяток снимков с приколотыми к нам листами, как я понял, фактуры: «Вот, твое первое задание. Сделай подписи. Алеша объяснит, как. И не тяни! Это – в номер. Срочно.»

Когда мы с Алешей зашли в кабинет, Владимир Иванович вычитывал свой очерк, написанный мелким, убористым, но понятным почерком. Хмыкал. Крутил головой. Что-то исправлял. Встал и, не глядя

на нас, стремительно вышел. А мы уселись рядышком и часа два выполняли задание. Только меня замучила мысль: «Как же так?! Не зная людей, изображенных на снимках, я должен писать о них чуть ли не хвалебные оды?! Честно ли это»?

Алеша, как будто угадав, медленно проговорил: «Конечно, какие они по душе, мы не знаем. Но и не об их душевных качествах пишем. Они – лучшие производственники. Выполняют порученную им работу «на ять». Об этом мы и сообщаем читателям.»

Когда мы вошли в кабинет главного редактора, Делюкин был еще там. И уже заметно захмелевший. Валентин Павлович прочитал написанное нами. Довольно хмыкнул: «Да-а-а, Володя, похоже нам растет достойная смена. Твой очерк, несомненно, как всегда, станет лучшим за квартал. Но учти, похоже, годиков через пять семь Саша тебя перегонит.»

- Дожить надо! – ободряюще улыбнулся мне Владимир Иванович. И добавил: «Мне дожить.»

- Ладно, тебе, – махнул пухлой ладошкой главный редактор, - еще поживем!

Он крикнул: «Олег.»

В кабинет вошел молодой усатый мужик в очках, и с умными, темными глазами.

- Познакомься. Это – наш новый корреспондент. Александр. Пока будет при мне. Возьми снимки с подписями. Отдай на машинку. И – в номер, – кивнув, на меня, сказал Валентин Павлович. А когда ответсек вышел, нам махнул рукой, указывая на дверь: «Вы это – того. Как всегда!»

Я подумал, что могу идти, но Алеша прикрыл дверь в кабинет. За ней оказался холодильник. При открытой двери он был невидим. А на нем стояли початая бутылка водки, стопки и тарелка с колбасой, хлебом, солеными огурцами. Алеша разлил. Приподнял свою стопку в сторону главного и Делюкина. Оба кивнули нам. А Валентин Павлович ухмыльнулся: «С почином!»

На святителя Григория я приобщился Святых Таин. И Великий Пост потек как-то незаметно, спокойно, серо, без искушений. Да и природа так же шла к весне. Но солнце словно забыло о земле. Дни не отличались своей хмуростью один от другого.

А где-то перед неделей Марии Египетской утром на разводе князь Курбский, весело потирая ладони, объявил: «Наконец-то, братия, Бог дал возможность

избавиться нам от злодея и разбойника Кудеяра. Нынче донесли, что опять пришел он из-под Воронежа и разгулялся в пойме реки Пахры. Ишь, ирод, к самой первопрестольной подошел! Надобно добыть его живым или мертвым. Таково повеление Государя. Кудеяр-то – личный ворог Иоанна Васильевича!»

- А известно ли место его стана? – спросил Мстиславка.

- И-и-известно, потому как, – радостно кивнул Курбский, - удалось нам в шайку к нему соглядатаев провести. Вот они-то и сообщили. На большой дороге в сторону Лопасни лежит село Подол. Там он и обосновался. Выходить надобно сей же час. Кудеяр до паводка собирается возвращаться под Воронеж. До Подола – переход-полтора, - ежели идти налегке. В селе, в третьей с краю истбе найдете Игнатку. Он и покажет дорогу к стану разбойничьему.

- Вся тысяча? – спросил я, вдруг вспомнив, как именно Кудеяр несколько раз спасал мне жизнь, и подумал: «Вот незадача! А ежели я окажусь с ним с глазу на глаз? Так-то отплачу за помощь? За спасение? Поединком? Саблей? Пулей? Болтом»? Я посмотрел на Георгия. Наши взгляды встретились. Мой двоюродный брат понял, о

чем я думаю. Усмехнулся. Но как-то не по-доброму. Мои думки перебил голос нашего начальника.

- Нет, пойдут пять сотен. Разбойнички-то, знамо дело, - в большинстве своем мужчики. Тонкостям ратного дела не обучены. И у Кудеяра – не более трех сотен. Сотниками, по повелению Государя, пойдут Алексашка, - кивнул Курбский на меня, - Глебка, Мстиславка, Тимошка Косой, Ондрюшка. Последний и будет головой всего дела. Дано вам для огненной поддержки еще и две сотни стрельцов. А теперь сотники останутся. Остальным – собираться.

Когда мы впятером остались, Курбский повелел Георгию принести пергамент. Склонился над ним, приглашая и нас быть внимательными и, рисуя угольком, заговорил: «Встал Кудеяр вот здесь, в густом сосновом бору, на холме. Вам надобно выгнать его оттуда. Один склон холма – пологий. Его Кудеяр укрепил, строжит добротно. Другой склон – крутой. Его Кудеяр каждый Божий день поливает водой. В морозы он неприступен. Скользко! Но сейчас - оттепель. И она - наш союзник. Вы должны напасть на разбойников по крутому скату. А под пологим - поставим стрельцов. Выбив Кудеяра из стана, гоните его с подельниками

под огонь их пищалей. Дело-то – пустяковое!»

- Зачем же тогда нас посылают? – спросил я. И опять взглянул на Георгия. Но в глазах его увидел только охотничий азарт. Однако сказал: «Есть конные стрельцы.»

Курбский с удивлением и даже с каким-то возмущением вскинул на меня глаза: «Ты – ду-у-урак, Алексашка! Я сам вызвался! Сам выпросил у Государя это дело! Дабы вас всех выставить перед ним героями! Верными холопами! Лишний раз показать вашу верность и преданность! Лишний раз дать повод Государю отблагодарить вас! Эх, ты! А тебя еще и сотником назначили!»

Курбский опустил глаза. Помотал головой. Через миг вскинулся: «Хватит балаболить. По коням.»

Я в третий раз взглянул на Георгия. Теперь в его глазах темнели несмешка, смешанная чуть ли не с призрением. Я не узнал брата.

Сразу, как только мы выехали из Москвы к нам присоединились «тройки» со стрельцами. И во главе одной из сотен я увидел… Петра, другого моего двоюродного брата. Лицо его было мрачнее серого, в темных пятнах снеговых туч, неба. Я подскакал к нему. Увидев меня, Петр хмуро

кивнул. А поравнявшись со мной, спросил: «Чем за добро отвечать будем?»

- А что, – вдруг вскинулся я, - ты предлагаешь не выполнять Царское повеление? Или разбойник тебе дороже Государя? Или Иоанн Васильевич тебе сделал меньше добра, нежели Кудеяр?

Но тут я вдруг вспомнил взгляд, которым проводил меня Георгий. Неужели и я так сейчас смотрю на Петра? Господи! Помилуй! Огради! Не пошли мне искушения свыше моих сил!

- Прости, брат! И сам о том же думаю! – опустил я голову.

- Бог простит. Ну, почему? Почему именно нам выпало брать Кудеяра?! – в сердцах крутанул головой Петр.

- Такова воля Божия. Может быть, для того, чтобы мы смогли себе самим доказать, насколько готовы выполнить долг перед Церковью, Царем и Отчиной.

- Повезло Георгию, - вздохнул Петр, словно и не услушав меня, - ему не придется иудствовать…

К нам подскакал Мстиславка. Спросил: «А не тот ли это молодец, который тогда по дороге то ли на Касимов, то ли на Переславль-Рязанский оборотней порубил?»

- Тот, - кивнул я, - эх, Мстиславка-Мстиславка! Знал бы ты, что молодец сей не первый раз пришел тогда на помощь. Меня, да вот, брата Петра и другого, Георгия, который при князе Курбском в порученцах ходит, тоже спас однажды от разбойника-кормленщика, когда тот, ограбив по дороге на Московскую службу, захотел нас в железа заковать да холопами своими сделать.

- Во, дела, - крутанул головой Мстиславка, - как же быть-то теперь? Хор-р-роши мы будем благодарщики. И не выполнить повеления нельзя! Делать-то чего?

- А ты у моего Тишки спроси! - горько хмыкнул я. И вдруг, словно обжегся: «Делать чего? Молиться! Господь все и управит. Он Един тайное ведает! И что кому полезно! Сами, поди, ведаете: где двое или трое собрались во имя Господне, там и Он - с ними.»

Мстиславка кивнул и поскакал к своей сотне. Я похлопал по плечу Петрушу, мол, крепись. И тоже пустил коня вскачь.

Старший отряда князь Ондрей торопил нас: дорога заметно расхлябалась. Тяжелый мокрый снег лип к копытам коней и к полозьям саней.

- Успеть бы до ухода этого татя! Давайте, братия! Поспешайте! - сокрушался князь Ондрей.

К вечеру ударил мороз. Идти стало еще труднее. Корка льда, покрывшего тающий снежную кашицу, ломалась хрустела под копытами.

- Тут и коней загубить можно, - подскакав к князю Ондрею, сказал я.

- А у нас есть выбор? – хмуро крутанул тот головой. Обернувшись на конных, прикрикнул: «По-о-оспешай!»

Ночью мы подошли к Подолу. Но входить в село не стали: как знать, может быть и у Кудеяра здесь были свои соглядатаи. Остановились в березовой рощице. Костры не разводили. Князь Ондрей ускакал в село, к соглядатаю Государеву Игнатке. Но нам долго ждать не пришлось. Скоро мы увидели троих всадников. Князь Ондрей созвал сотников. Радостно проговорил: «Успели! Но тати уже собираются уходить. Значит, князья, поступаем так, как велел Курбский. Стрельцов отведет на их место Игнатка. А нашим проводником будет Филька.»

И он кивнул на молодого парня. Тот шмыгнул носом и провел под ним рукой, - от рукавицы до локтя. У меня на душе стало

еще муторнее, чем было всю дорогу сюда. Мы шли долго. Потом от нас отделились несколько всадников и скрылись в темноте. Но вскоре снова выехали нам навстречу. Самый могучий из них поклонился князю Ондрею: «Все исполнено.»

Тот перекрестился: «Слава Богу!»

Обернулся к нам: «Сторожа снята.»

И вдруг вздрогнул. Опять перекрестился. Откуда-то издалека и… сверху разлился по ночи то ли собачий, то ли волчий вой. А я вспомнил огромных псов, которых видел в стане Кудеяра, куда тот, освободив от кормленщика, привез нас с Петрушей, Георгием и нашими холопами. Филька шмыгнул носом. Опять провел под ним рукой. Тихо молвил: «Болярин! Надо поспешать! У разбойников та-а-акие псы! Должно быть, учуяли мертвечину. Снятую сторожу…»

Князь Ондрей выхватил саблю. Взмахнул ею. Тихо, но твердо повелел: «С Богом! Штурм!»

И всадил шпоры в бока коня. Мы последовали за ним. Наст со снегом хрустел под копытами наших коней. Они, выбиваясь из сил, скользя и спотыкаясь, карабкались по крутому склону холма. Мы дошли почти до верхушки, как были осыпаны стрелами.

Не удалось, стало быть взять врасплох Кудеяра. Однако, сила солому ломит. Большинство конников пробились в стан и теперь рубили всех кто попадал под руку. В том числе - и собак, яростнее людей бросавшихся на нас. Скоро разбойники кинулись вниз по пологому склону, как и замышлял князь Курбский. Но десятка три разбойников, успевших вскочить верхом продолжали драться. Один из них, болтом самотрела выбив из седла князя Ондрея, кинулся ко мне. И я узнал его! Это был сам Ку-де-яр! Моя рука с саблей опустилась. А он, вглядевшись, усмехнулся: «Вижу: служишь Государю! Так, что ж не рубишь?! Почто не выполняешь Царское повеление?! Да я б тебя за это…»

И что было силы рубанул своей саблей. Я едва успел отбить удар. А он яростно стал наносить другие. Я же только отбивался. Наконец, ему, видимо, надоело это пустое занятие. Скрипнув зубами, он прохрипел: «Ду-у-урак ты! Не холоп Царский, а баба!»

И он, далеко отбив мою руку с саблей, ударил поручем мне в лоб. В глазах у меня потемнело. Я стал оседать в седле, а потом и вовсе сполз с коня. Но сквозь туман перед глазами и сквозь гул в ушах услышал залп из пищалей. Тут же прогромыхал второй.

Потом лицу стало холодно. Потом – горячо. Я открыл глаза. Мстиславка растирал мне лицо снегом. Выдохнул горячо: «Слава Богу, жив…»

- Что Кудеяр? – прошелестел я озябшими губами.

- У-у-ушел. Сам ушел. А с ним – десятка полтора. Князя Ондрея убили. Из самострела. Полон взяли душ полсотни. Остальных положили, - говорил он. Помог мне подняться и подвел к моему коню: «Эка тебя приложили. Хорошо, что не саблей. Погоди. А чем же тебя так?

- Поручем. И знаешь ли кто?

- ?

- Он…

- Ку-де-яр?

Я кивнул. Мстиславка крутанул головой: «Опять, вроде как, спас!»

Я взобрался на коня. И вместе с Мстиславкой спустился по пологому склону холма. Там десятками одной веревкой связывали полонян. Глебка объезжая вокруг них, крутил ус.

- Ты не видел брата моего двоюродного, Петруху? Стрелецкого сотника?– спросил я его.

- В санях лежит. Конем его зашибли те, кои с Кудеяром ушли. Во-о-от, стрельцы!

Ратнички, называется! Аники-воины! Теперь сидят да воют. Два залпа по пешим сделали, а напрозапас ничего не оставили! Не успели перезарядить, как десятка два разбойников верхами, словно снег на голову, на них с холма слетели. Кого порубили, кого просто конями сшибли. И ушли!

- Это не они виноваты, - вдруг во мгле раздался чей-то голос, - это князь Ондрейка не предусмотрел, - Царствие ему Небесное! Надо было хотя бы полусотню конную оставить со стрелцами. Ведь знал, поди, что разбойники не пешком по земелюшке нашей гуляют!

- А что?! – ухмыхльнулся Глеб. Опять покрутил ус: «Так и доложим Курбскому. Мертвые срама не имут!»

К нам подскакал княжич Тимошка Косой. Вскинул бороденку: «Я после Ондрейки - за старшего. Сбираемся. Нечего лясы точить!»

- А почему это ты? Второй сотней, – хмыкнул Мстиславка, - у нас воеводил Алексашка. И я, и Глеб его знаем. Не раз в сечах бывали вместе. А ты – в тысяче без году неделя.

- А потому, - сузил глаза Тимошка, - потому, как князь Курбский назвал Ондрейку последним, а меня – перед ним.

Значит отсчет с конца вел, а не с начала! К тому же я все-о-о заприметил! Например, видел, как Алексашка ни разу не ударил саблей разбойника, который ему промеж глаз долбанул поручем. Тут надо бы сыск учинить, почему это он не зарубил разбойника?! А?! Уж я-то знаю, как Алексашка саблей владеет! Не измена ли Государю зреет тут?! Да и братец евойный Петрушка почему-то не оставил хотя бы десяток стрельцов с зарядом напрозапас. И он, к слову, тоже оказался непорубленным, как другие многие, а только конем сбитым.

- Ты это полегче! – надвинулся на него Мстиславка.

- Чего полегче? Еще скажи спасибо, что не ставлю твоего Алексашку в одной веревке с колодниками! – гордо вскинулся Тимошка.

- Оставь его, - взял я под руку Мстиславку, - пусть наветует. Государь и князь Курбский разберутся.

Сам же подумал: «А ведь прав этот Тимошка! Но как объяснить и ему, и Мстиславке, почему рука не поднялась, почему не рубился? Да и другим тоже? Как объяснить?! Да и что объяснять?! Ведь сам Кудеяр назвал меня бабой! А может быть, и Петруха тоже..? Во, дела, как сказал бы Мстиславка»…

- По коням! – крикнул зычно Тимошка. И мы двинулись в обратный путь на Москву. Правда теперь шли в два раза медленнее. Связанные разбойники семенили за санями, выбиваясь из сил. И только на второй день мы вошли в первопрестольную. Курбский выслушав Тимошку, который при нас же повторил все, что сказал под Подолом, помрачнел. Обвел всех взглядом. Остановив его на мне, спросил: «Что поведаешь нам, соколик?»

- Князь, - вмешался вдруг Мстиславка, - дозволь слово молвить? Лжет Тимошка! Я сам бился рядом с Алексашкой. Добре рубился он! Да только с кем? С самим Кудеяром! Надо ли только учитывать, что не одной ратной силой владеет разбойник! Нет ли тут колдовства?! А Тимошка? Он шагах в двадцати был от нас. Мужиков безоружных, не успевших взять сабли и сулицы, рубил. Как же мог он увидеть в темноте? Костры-то разбойничьи были затоптаны. Как, говорю, мог он увидеть поединок Алексашки с Кудеяром? Навет это, князь. И в дело я с Тимошкой вдвоем не пойду.

- Ишь ты, – дернул бородой Курбский, - повелю, и пойдешь! Как миленький пойдешь! Но поведай-ка мне: почём ты

знаешь, что Алексашка с самим Кудеяром рубился?

Мстиславка поначалу опустил глаза. Замялся. Но вскинулся и громко сказал: «Когда Алексашка упал с коня, я кинулся со своими молодцами на его поединщика. И тут кто-то из разбойников крикнул, мол, спасай, ребята, Кудеяра! Все конные тати окружили Алексашкиного поединщика, и тот в их кольце кинулся по склону, где стрельцы уже сделали по выстрелу-другому, а пищали перезарядить не успели. Полагаю, что это все надо учесть. Во-первых, при подобных наскоках, зная, что у ворогов есть кони, обязательно оставлять со стрельцами небольшой верховой отряд. Во-вторых, стрельцов делить не на два строя, а на три и более. Один из них оставлять с неиспользованным огневым запасом до самого завершения сечи. Пусть даже и не понадобится. Целее будет. Зато – и спокойнее, когда знаешь, что из-за спины всегда может выйти братия и пальнуть еще разок!

- А в-третьих? – внимательно вглядываясь в него, наклонив набок голову, спросил Курбский.

- В-третьих?.. Я… Я еще не удумал, - даже откинулся назад Мстиславка.

- В-третьих, быть тебе добрым воеводой! Отцом своих ратников и братом соратников-князей! - улыбнулся Курбский, но повернувшись ко мне, строго повелел. - А тебе, Алексашка, сей же час - ступать домой и носа из него не показывать, пока суть да дело. В расположении тысячи тоже не появляйся. Сам вызову!

- А в храм Божий можно? Он рядом с хоромами, – опустив голову, тихо спросил я.

- Сходи-сходи, - кивнул Курбский, - может быть, какой грех вспомнишь.

Он вышел, даже не взглянув на Тимошку. А Георгий, проходя мимо меня и встретившись со мной взглядом, покачал головой. И опять что-то недоброе сверкнуло у него в глазах. Мстиславка обнял меня за плечо: «Ну, вот, брат, все и обошлось!»

Потом оглянулся на Тимошку. Смерил его взглядом с ног до головы. Процедил сквозь зубы: «А тебе, Косой, я бы посоветовал уходить из тысячи. Завтра я все братии поведаю. Не приживаются у нас такие, как ты. Нет на таких надеги!»

Тот вскинулся. Он совсем не косил глазами. Должно быть кто-то из предков страдал сим недугом. Мы с Мстиславкой и Глебом вышли вон. По дороге первый шепнул: «Надо бы тебе брата, Петрушу,

навестить. Ой, как надо! Прямо сей же час. Потолкуйте о случившемся.»

- Но Курбский повелел.., - начал было я.

- А ты заскочи по дороге! Братец, мол, недужит! Не могу, мол, по-христиански не навестить. А лучше забери его, болезного, в свои хоромы. Не в стрелецком же расположении ему в здравие приходить!

Я взглянул на Глеба. Тот, видимо все понимая, - или Мстиславка с ним уже потолковал, - кивнул. И я отправился в Воробьеву слободу. Петруша лежал на лавке, накрывшись тулупом, и постанывал. Я тут же повелел заложить санки. Сказал старшему сторожи десятнику, как найти нас в Белом городе, и увез брата к себе. Там Тишка вместе с Петрушиным холопом Михейкой принялись выхаживать болящего. Тот скоро забылся крепким сном. А я отправился в свои покои, где долго молился. Просил прощения за свои грехи. Всё доказывал Господу, что не враг Государю Кудеяр! Просил и себе вразумления, и Царю, и Курбскому. Мучило меня сомнение, мол, правильно ли я поступил? А ежели бы я зарубил Кудеяра? Или пленил его? Не было бы это еще более страшным грехом? Но Господь не давал ответа.

Утром, зайдя к Петруше, я застал его неспящим и… молящимся. Увидев меня, брат перекрестился. Грустно улыбнулся. Сказал: «Я должен покаяться перед тобой. Помолись!»

Я встал на колени. Прочитал *Отче наш*… Громко попросил у Господа вразумления мне и Петруше. Тогда брат заговорил: «Я знал, что не подниму руку на Кудеяра. А он как раз скакал на меня. Замахиваясь саблей на стрельца, открыл свой правый бок. Я бы мог поразить его именно туда. И тогда я схватил под уздцы коня. Нет, ни для того, чтобы остановить. Для того, чтобы не брал Кудеяр на себя лишнего греха. За что бы он отомстил этому безвинному, незнакомому вчерашнему мужику? А? Тут конь и подмял меня. Грех ли в том, что я не рубанул, не проткнул его саблей? Ведь перед Государем я виноват. Государево повеление – от Бога!

- А теперь послушай мою исповедь, - склонился я над Петрушей и все тоже рассказал про свою встречу с Кудеяром. Брат истово перекрестился. Слезы стояли у него на глазах.

- Что ж? Мы теперь – изменники? Иуды?

- Даже и не знаю. Не знаю, как объяснить, но сердце подсказывает мне, что нет здесь ни крамолы, ни измены.

- Правда? – улыбнулся Петруша.

- Хочется верить в это. Хочется еще и исповедоваться! Потолковать с мудрым духовником.

- ?

- Знаю я одного Здесь он. На моей улице.

- А он…

- Он – настоящий священник. Тайну исповеди блюдет! Я знаю.

- Дай-то Бог! Дай-то Бог! Но может быть, мы, рассуждая так, просто ищем себе оправдания? Ведь, помнится меня еще в отрочестве учили, мол, ежели совесть мучает, значит грех есть. А с другой стороны, говорят, что после доброго поступка, враг нападает, сея в сердце всякие сомнения. О, Господи! Помоги! Вразуми!

- Погоди, Петруша. Я призову отца Иеронима. Он скажет. Кстати, мне кажется, что будет сыск по нашему с тобой делу.

- Ну, и?

- Буду говорить так, как сказал Мстиславка. А ты говори, что саблей достать не смог, поэтому схватился за узду, - кинулся спасать стрельца. И ведь это – правда! Ты же не смо-о-ог достать Кудеяра саблей! А?

- Да-а-а!

- То-то.

- Но неужели Господь не может вразумить Государя?

- Значит такое вразумление не полезно ему Что это мы с тобой разбогословствовались?! Давай сейчас потрапезничаем, а потом я все-таки пошлу за отцом Иеронимом.

И я кликнул Тишку, который, - опять на пару с Михейкой, - принес лапшички с сушеными грибами, сладкой пареной репы, травяного взвара. Все это явно пошло мне и Петруше на пользу. А после трапезы я послал Тишку за отцом Иеронимом. Тот скоро явился. Выглядел он озабоченным. Но крестным знамением смахнул с лица хмурость. Преподал нам обоим благословение. Предложил перед беседой помолиться, чтобы Господь вложил в сердца наши разумение. Мы прошли в молельную. Петр покряхтывал: кости еще, должно быть побаливали. Но и он положил три земных поклона. Тогда я и рассказал всю историю про Кудеяра, начиная с первой встречи с ним. Петр после своего рассказа повторил вопрос: «Вот и не ведаю, батюшка, что ж мы с братом Алексашей теперь – изменники? Иуды?»

Отец Иероним надолго задумался. Теребил бороду. Шевелил губами. Наконец, перекрестился. Бодро вскинулся и заговорил: «Взял вас лукавый в оборот. Но я так своим скудным грешним умишком размышляю. Сердце Царево, конечно, в руце Божией. Но и он – человек. А значит, тоже грешен. Только – как человек! Но не как Царь! И тут для чего-то, - а в первую голову, для пользы, - посланы такие искушения! Господь-то, Он ведь как действует? Не Сам приходит и помогает. А – через людей. Бедный наш Иоанн Васильевич, - многая ему лета, - во младенчестве был си-и-ильно притесняем от боляр, которые на власть зарились да меж собой грызлись. Много был напуган, напичкан всякими сказками, придумками, суевериями. А это все, как понимаете, - в детской душеньке так укореняется, что трудно потом в зрелом возрасте выкорчевать. Сказывал мне владыко святый о том, что внушили Государю во младенчестве, мол, есть у тебя старшой братец, от которого тебе смертушка лютая будет. А откуда внушители знают пути Господни? Грех-то какой: за Бога решать судьбу человека! Это, стало быть, первое. И владыченька наш пытался разубедить Иоанна Васильевича. Ку-у-уда там! С

измальства, повторюсь, засел этот суеверный страх в душеньке Государя. А тут и приближенные выследили Кудеярушку. Убедили Иоанна Васильевича послать вас, изловить, дабы потом казнить. Или на крайний случай убить в сече. Уверен я, что Иоанн Васильевич и сам мучается сейчас от этого опять же внушенного ему повеления. О вот в чем не уверен я, так в том, что Кудеяр – сын Царицы Соломонии, - Царствие ей Небесное, - а стало быть, и – старший брат Иоанна Васильевича. Молчит Господь. Не отвечает на мои молитвы. Стало быть, не полезно мне знать это. Но ежели сие – так, то дерзаю думать, мол, решил Господь через вас сотворить Свой промысел. Вы спасли обоих! Кудеяра - от неправедного суда и лютой казни, а Государя - от греха неправедных суда и смертоубийства. Да и кого?! Бра-а-ата! От Каинова греха спасли вы Государя. Не вы, нет, не вы! Госпо-о-одь! Через вас спас! Это – второе! Эх-хе-хе! Когда ж русьские люди перестанут друг друга убивать, мучать, поедом есть? Во-о-он, сколько ворогов на святую землицу нашу зарится! На них бы все силы духовные и плотские бросить, объединившись под скипетром и державой Царскими. А мы друг на друга смотрим, прости Господи, осуждаем, хулим,

преследуем, клевещем, раним, убиваем. И при этом еще дерзаем молиться: мол, спаси Господи и помилуй всех православных христиан! Грех-то какой! Слово-то вначале было! И после этого еще и православными христианами хотим называться! Прости, Господи!

- А как же присяга?

- А ты вспомни слова из нее! Так что, не берите в ум сомнения всякие. Это враг всеивает в души ваши плевелы свои. Гоните их! Слышите? Гоните. Молитвой и постом! По-Божески вы поступили. Но каяться в смертоубийстве рядовых разбойничков надобно. Хоть и тати, а – творения Божии! Несчастные! Куда они сейчас без покаяния, без напутствия?! А? Но епитимийку я на вас наложу. Какой день у нас завтра? Ага… Будет Литургия Преждеосвященных Даров. Поговейте сегодня. А завтра приходите на Святую Исповедь. Заодно, дам прочитать тебе молитовку из чина Святого Крещения. А она – Присяга Богу! А? Вспомни, как говорится? *Верую Ему как Царю и Богу,* – и затем читается Символ Веры. Уразумел? Ну, засиделся я у вас. Простите меня Христа ради. Давайте-ка, благословлю вас.

И он ушел. Петруша сидел, уставившись в одну точку, и чему-то улыбался. Потом мы

с ним вместе весь день говели. Читали Каноны, Правило ко Святому Причастию. А утром приобщились Святых Таин. Про епитимию отец Иероним, должно быть, забыл. И так спокойно, радостно стало на душе. Во всяком случае, у меня. Хотя, взглянув на Петра, я понял, что и его переполняют те же чувства. Мы вернулись в мои хоромы и застали там брата Георгия. Он, не сняв полушубка, ходил по гриднице взад и вперед. Хлопал сложенной вдвое плеткой по ноге. Завидев нас, усмехнулся: «Ну, что, Аники-воины? Стыдно за вас! Семь сотен, обученных ратному делу молодцев, не смогли одолеет триста мужиков! А?»

- А ты бы сам попробовал! – вспыхнул Петр.

- Жаль, что не попробовал! Я бы уж не упустил татя! Но во сто крат стыдно мне, что мои братья, каждый столкнувшись с Кудеяркой, не смогли полонить его! Или, на худой конец, зарубить! А Государь-то как разгневался! Вам теперь лучше ему на глаза не показываться. С сотенных вас точно снимут. И – поделом! Это я вам как брат говорю! Честно. От души!

- А что ж ты тогда у Курбского.., - начал было я.

Но Георгий строго поправил: «У князя Курбского!»

- Да-да, - продолжил я, - что же ты тогда у князя Курбского не отпросишься в ратники тысячи?

- Я служу там, куда Бог поставил. И служу верою и правдою! И дерзновение на то в сердце имею! Даже на то, что толкую вам сейчас! Пошлют в ратнки, пойду. Пошлют Кудеярку, или еще какого злодея полонить, - полоню! Или зарублю! Ишь! Спас он нас! Ежели он и спас когда, а теперь и завсегда ворог Государю, стало быть – и мой ворог!

- Не хвались, едучи на рать… - крутанул головой Петр. Вздохнул: «А вот теперь, коли ты брат, скажи-ка нам: помнишь ли, что именно Кудеярка спас нам и волюшку и жизни? А вот Алексаше – несколько раз помог избежать смертушки лютой! А?

- Повторюсь! Он – ворог Государя! А стало быть, - и мой ворогг! – сильно хлопнул себя по ноге плеткой Георгий.

- А ты разве не помнишь, что говорил нам Кудеяр тогда, в своем стане? Что не ворог он! Что хоть сейчас готов помогать своему брату Иоанну Васильевичу! Что оклеветали его боляре, кои со младенчества запугивали Государя нашего! А?

- А почему я ему верить должен? Может быть, самозванец он? А? Да и к тому же, вам лучше вспомнить Священное Писание, где сказано, что сердце Царево в руце Божией! Не может ошибаться Государь Иоанн Васильевич! Потому как Сам Господь диктует ему и слова, кои надобно молвить, и деяния, кои надо сотворить!

- Так ведь, ежели не Кудеяр тогда, могло бы статься, что все мы втроем гибли бы в колодках у болярина бронницкого! И ты после этого полонил бы Кудеяра? Или зарубил бы? Великого Князя?

Глаза Георгия расширились, округлились. Он, словно рыба, хватанул воздух ртом, пытаясь найти слова… Наконец, выдавил из себя: «Так вот в чем здесь дело… Уж не нарочно ли вы выпустили злодея?! Дали ему уйти?! Уж не крамола ли, не измена ли посеяла в ваших сердцах свои плевелы? Ну-у-у, де-е-ела! Да отцы наши в гробах перевернутся, ежели это так!»

- Ты в своем ли уме, брат? – сделал я шаг к нему, желая положить руку на плечо.

Но тот отшатнулся от меня, словно от чумного, замахал руками: «Не подходи ко мне. Даже в страшном сне не мог представить такого! Чтобы мои братья…»

Он помолчал, собираясь внутренне. Наконец, окаменевшим голосом произнес: «Ладно, как брат, я доносить на вас не буду. Пока… Хотя следовало бы! Ох, и прав оказался князь Ондрей, посылая меня сюда. А велено вам через две седмицы убраться из Москвы в свои отчинки. И сказал это князь Курбский только из жалости к вам. А ну, как на глаза Государю попадетесь. А он – скор на руку. И на дыбу, и на плаху послать может. А князь Ондрей пожалел вас. По-жа-лел! Пообещался сказать Государю, коли тот спросит, что отпустил вас на отдых, после похода хозяйством заняться. Добрая, христианская душа! А вы – мелкие, слабенькие душеики! Я даже не знаю: сам пожалел бы вас или нет. Но пока не смогу убедиться, что вы верны Государю и Державе нашей, вы мне – не братья! Дам дармовой совет: пореже носы ваши из хором за эти две недели высовывайте. А ну, как Государю, ха-ха, на глаза попадетесь!

Он резко развернулся на высоких каблуках новеньких зеленых сафьяновых сапожек с лихо вздернутыми мысками и вышел вон. Петруша вздохнул: «Вот тебе и искушение вражье после Святого Причастия! Что делать-то будем?»

- Что-что? Исполнять повеление! Но Георгий-то каков!..

- Гу-у-усак! Чистый гусак!

- Гордец… Но ты, брат, не унывай! И не осуждай! Господь все устраяет! И таких гордецов на ум-разум наставляет. Только, дай Бог брату нашему, рабу Божиему Георгию воздаяния не по делам его, а по велицей милости Господней. А знаешь, Петруша, к мамкам да нянькам в Переславль-Рязанский тебе ехать, должно быть, несподручно. Опять же, матушку свою расстроишь. Поехали-ка ко мне, под Тверь! Сколько мои у вас в Переславле Рязанском гостили?! Погости и ты теперь. На охоту сходим. А какие у меня рыбные промыслы! Холопы речку нашу Медведицу кормилицей величают! Есть озера, пруды. А? На Пасху, получается, и поспеваем.

- Даже и не знаю. Пожалуй, поеду. Дома – пересуды, охи, ахи, вздохи, слезы, сопли, жалость! Сметанка, сливки, каша манная по утрам. Тьфу! Словно я –младенец. Опять же, - думки одинокие. Сомнения пойдут одолевать после всего случившегося. И поделиться не с кем. Не дай Бог, Георгий объявится! А рядом с тобой – всё на душе полегче.

Вроде как, брата я успокоил. А у самого в душе все кипело. Злился и на себя, и на Кудеяра, и на Георгия. Да и на Курбского! Казалось, он – человек высокой духовности! Книжки всякие, свитки читает. С мудрыми иноками, игуменами, архимандритами дружбу водит. Неужели же он не видит, что с Георгием творится?! Да и нас с Петром не понял, как сделал это отец Иероним. А может быть, как раз наоборот: понял? Поэтому и удаляет от греха подальше. Эх, отнялась через Георгия благодать Святого Причастия! Прав отец Иероним. Ой, как прав! Видимо, не только Господь через людей нас вразумляет и спасает, но и лукавый через них же действует. Особенно, - через ближних! Ну, вот: о-су-дил! Прости, Господи!

…Через неделю мы были готовы выехать. Но я медлил: велено – через две, значит – через две! Оба мы с братом маялись, сидя взаперти. Одно утешало: скоро, коли Бог даст, увижу матушку, сыновей, Дубка! Алену… Да-а-а… Вот, кто уж поймет и поддержит, так это Ивашка Дубок! Я вдруг почувствовал, что улыбаюсь. Впервые за последние несколько дней.

Но и через неделю ничего, как я тайно в душе не ждал, не изменилось. Тогда, как было велено, рано утром, затемно мы

отправились в путь. Получилось, что шли мы в самую распутицу! Реки еще не вскрылись, но лед на них набух, потемнел. Да и дорога представляла из себя сплошное месиво снега, воды, земли. Лошади едва тащили сани. Немногочисленные холопы, - мои и Петра, - почти не прерываясь помогали им. Нередко и нам приходилось слезать с коней и подталкивать нехитрую поклажу. Сапоги промокали. И даже жир, которым мы смазывали их после просушки, оберегал от влаги очень малое время. Костры разжигались с трудом и долго. Поэтому и ночлеги были тяжелы, а сон – короток. Я не смог не роптать: надо же было определить срок выезда из Москвы именно в самый разгар распутицы!

- Все это похоже на бегство! – сетовал Петр.

- Как сказал бы отец Иероним, - Божия епитимия! – засмеялся я, чтобы как-то подбодрить брата. Петр действительно заулыбался. Но тут же обратил внимание, что за весь путь нам не встретилось ни одного обоза! Разве что, - отдельные конные. Гонцы, должно быть…

- Зато и разбойников нечего опасаться! – хмыкнул мой Тишка, неизменно ехавший позади, - они, поди, даже предположить не

могут, что кто-то в такую распутицу в путь отправится.

В Волок Ламский мы прибыли только через седмицу. Монастырский вратарь, пропуская нас, покачал головой: «Кто ж вас, родимые в такую непогоду гонит? Служба, поди, Государева?»

- Служба, отче, служба, - кивнул я. В монастрском дворе нас кинулись обихаживать сразу несколько иноков. Проводили в баньку. И хотя жар был почти нестерпим, мы не сразу согрелись. В трапезной нас накормили вареной полбой, которая после полуголодного пути показалась вкуснее разносолов с Царского стола. А инок-трапезник, жалея, приговаривал: «Вкушайте, касатики, вкушайте! В ей – самая сила богатырская и целебность от ста недугов! А за счет чего? Ведаете? За счет того, что оболочка с зернышек при обмолоте не срывается.»

К вечеру занедушил Тишка. Громкий, хрусткий, непрекращающийся кашель, похожий на собачий лай, казалось, разорвет ему грудь. Лицо покраснело. Он обливался потом. А от лба, казалось, можно было свечки запаливать. Петр жалостливо смотрел на Тишку, но не знал, чем помочь. Однако, в полночь пришел высокий, худой

лысый иеромонах. Никто его не звал. А он пояснил: «В сеседней келье старичок безпокоится. Пришел к нам в лечебницу. Говорит, мол, как бы не помер раб Божий: кашель на смертный похож. Я – лекарь здешний, грешный иеромонах Иппатий. Давайте, взгляну на недужного.»

Осмотрев Тишку, батюшка покачал головой: «Горит все у него внутри. В нам, в лечебницу его надо. Под особый надзор. Как, болярин, благословишь ли?»

- Конечно-конечно! – закивал я.

- А надолго это? – спросил Петр.

- И-и-и, милый, - грустно ответил иеромонах, - сие одному Богу ведомо. Будем лечить. Молиться. Ежели Бог даст исцеление, то не менее двух седмиц нельзя вставать рабу Божиему. Так бывало, сколько помню иных болящих.

- Сколько надо, отче, - твердо сказал я, - столько и лечи. Лишь бы выздоровел. Он – мой лучший холоп. Даже не холоп, а друже верный. А я в долгу не останусь.

- Спаси вас Господи, - поклонился иеромонах. И через какое-то малое время двое иноков унесли Тишку на носилках из келии.

- Что ж, мы здесь на две недели застрянем? – покачал головой Петр.

- Тишку одного здесь не брошу! – дернул я бородкой. И пояснил: «Да ты и сам посуди. Пойдем дальше по такой же дороге-размазне, занедужим и мы, и холопы наши. Вот и будет нам с тобой и охота, и рыбалка на Медведице-реке. Ежели еще живыми доберемся. А седмицы через две, глядишь, и снег сойдет, и дороги подсохнут.»

Петр задумался и согласно кивнул. Помолившись, мы улеглись спать. А утром, после ранеей Божественной Литургии, я отправился к наместнику, рассказал про захворавшего Тишку и попросил определить нас с Петром и наших холопов на послушание в обители. Невысокий, худенький, словно отрок, но с длинной седой бородой игумен вскинул на меня глаза, плеснул цветом живого неба, заулыбался: «Ну, с мужиками – дело ясное. Они - на все руки от скуки. А вот ты, болярин, да братушка твой? Что умеете делать?»

И тут меня бросило в жар. Действительно, ничего я, кроме ратного дела да начальствования над холопами, не знаю. Ничего не умею! А вот Петр…

- Вспомнил, отче, Петруша сызмальства на клиросе пел. Да так, словно соловушка твой! А я… Я, кроме ратного дела, ничего толком не умею!

- И то – добре! - опустил глаза долу игумен. Несколько мгновений пошевелил губами, продолжил: «Братушка твой пусть попоет в нашем хоре. А ты… Ратные-то люди, особливо боляре, редко у нас надолго задерживаются. Вот, приими послушание: приведи в порядок оружейную нашу. Да ратных иноков попестуй. Они, поди, совсем дело свое подзабыли. Набегов-то давненько не было. А тут старчики наши говорят, что с литвой сеча скоро великая будет. А?»

- Благослови, отче, - протянул я в поклоне ладони, сложенные лодочкой.

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, - перекрестил меня отец игумен. И крикнул в открытую дверь: «Брат Афанасий! Проводи болярина в оружейную. Да собери наших ратничков под его пестование.»

…Дни полетели ласточками. И если всё мирное хозяйство монастырское было образцовым, то в оружейной, как говорят, и конь не валялся. Заржавели тупые мечи, боевые топоры, сулицы, пики. Луки, стрелы рассохлись. А сторожевые и ратные иноки ходили, словно сонные мухи. Да и было их всего полтора десятка. Долгие монастырские службы оставляли на послушание всего несколько часов: от них частично освобождались только трудники, сторожа. Но

и за десять дней мне удалось навести мало-мальский порядок в оружейной. И ратные иноки оказались способными малыми. Скоро они у меня попадали в «яблочко», среляя из лука, метая сулицы, ножи, топоры. Петруша уходил из келии рано, а возвращался поздно. Но всегда – светящийся, словно начищенный самовар. И все время, когда не спал, что-то напевал себе под нос. Навестив Тишку в лечебнице, я нашел его уже улыбающимся, радующимся мне. А отец Иппатий довольно закивал на него: «Просто какое-то чудо Божие! Впервые за пятнадцать лет на моих глазах болящий так быстро поправляется Милостию Божией. И, должно быть, вашими молитвами.»

- Спаси Господи, отче. Это, скорее, – ваши молитвы, отца игумена, братии и небесная помощь святого преподобного отца Иосифа, - поклонился и перекрестился я.

- Чадо, - покачал головой иеромонах, - молитвами можно только призвать милость Божию. Ведь без нее самый духоносный святой не может ничего сделать!

…Пасху мы встретили в монастыре. И хотя я скучал по ближним, Светлое Воскресение Христово внесло в душу, как всегда, радость, - такую всякий год разную, новую, и с каждый разом все более

ощутимую, емкую, всеохватывающую. Словно святые Ангелы, угодники Божии, да и сам Господь с Его Пречистой Матерью спустились на землю. И праздновали Пасху с нами в числе братии монастыря: сначала в соборе, а потом и в трапезной.

…Через две седмицы снег действительно сошел. Дороги даже слегка подсохли. Отец игумен милостиво согласился обменять три телеги на наши сани. И мы, распрощавшись с ним и братией, отправились дальше, в мою отчинку под Тверь. Петр постоянно что-то напевал под нос. И нередко даже не слышал, когда я спрашивал его о чем-нибудь. Наконец, я не выдержал и почти в самое ухо громко спросил: «А не кажется ли тебе, брат, что ты выбрал себе не тот жизненный путь? Может быть тебе лучше стать священником? Или вообще принять Ангельский сан? И петь на клиросе?»

Петр испуганно посмотрел на меня, словно видел впервые за последние две недели. Потряс головой. И мечтательно опустив глаза, проговорил: «Ах! Алексаша! Как же ты не поинмаешь?! Когда поешь на клиросе, кажется, что возносишься на Небеса, слышишь пение святых Ангелов, и сам подпеваешь им. А знаешь ли каково там,

на Небесах, где нет этих проклятущих бесов? Я-а-а не могу представить себе, если даже так сладко петь на клиросе. Но о чем это ты? Ах, да! Нет, конечно, я рожден для ратного дела. Послужу! Поратуюсь! А потом, ежели Бог даст, на старости лет, может быть, и уйду в монастырь. Так же принято у нас?! У русьских? А пока молод, да полон сил, следует заслужить перед Церковью, Государем и Отчиной добротное хозяйство, жениться, нарожать кучу чад. А потом, когда они вырастут, передать им бразды правления всем движимым и недвижимым, разделив поровну, и вместе с женой-старушкой уйти в монастыри. Она – в женский. Я - в мужской. Но так, чтобы их разделяла только высокая стена. Знаешь, как у святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев? Их даже положили в один гроб, потому как почили они в один день и в один час. А до кончины в монастырях нам с женой - замаливать свои грехи, молиться о здравии живых, упокоении усопших. И в молитве отойти ко Господу. Ах, Алексаша, что может быть лучше?!

Мне хотелось расхохотаться над его мальчишеством и в то же время расплакаться от умиления. Таким я Петрушу

еще не видел. Хотя часто ли я его видел раньше? Во младенчестве? Не помню. В отрочестве? Только наездами. А в Москве? Ну-у-у, раз в три-четыре седмицы. Мы проехали еще несколько дней. Теперь дорога легко стелилась под копытами коней и колесами телег. Ближние и дальние леса светились нежной, прозрачной, словно размытой родниковой водой, только-только проклюнувшейся листвой. Казалось, что всё приключившееся с нами, связанное с Кудеяром, и последствия оного были всего лишь дурным сном.

А вот и – Медведица. Нам оставался один переход. Слава Тебе, Господи! Я - почти дома.

Казалось, после волнений первого рабочего дня в редакции газеты, - как же? я ж теперь – настоящий журналист, кор-рес-пон-дент! – и выпитого, спаться будет хорошо. Но не тут-то было! Вспомнилась Валентина. И так обидно стало. До слез… И так хотелось, чтобы она позвонила, сказала, что погорячилась, что у нас все по-прежнему. Но, увы! Слезы текли сами по себе. Подушка была уже влажная. А сон не шел.

«А слезы-то – пьяные!» - мелькнула мысль. «Ищи причину в себе!» - словами и

отца Валерия, и иеромонаха Иллариона вторила ей другая. «Тебе хочется, чтобы тебя любили! А сам-то способен ли любить?!» - клеймила третья. Так, время от времени открывая глаза, видя темное небо за окном напротив, я промаялся до предрассветных сумерек. Подумал: «Может быть. не пойти на работу сегодня? Позвонить? Сослаться больным»?

В семь утра я позвонил по телефону Алеше. Спросил совета.

- Санек! Ты не дури! Палыч может все простить,– послышалось из трубки, - но только не вранье. А его он сразу учует. Лучше уж сказать правду: так, мол, и так, мучаюсь с похмелья. А еще лучше: приезжай на работу. Я сгоняю в магазин. Подлечишься. И – вперед на винные склады, где ордена дают. Ха-ха! Давай-давай! Приезжай! Я пораньше выеду, чтобы тебя подлечить. А у меня жена из Парижа такого сыра привезла! «Ка-мам-бер»! В баночке! Ты таким еще не закусывал. К такому сыру только красное сухое или коньяк нужен. А последний – самое лучшее средство от похмелья! Давай-давай! Я даже завтракать дома не буду. С собой возьму. Ну? Что решил?

- Сейчас приму душ и еду, - твердо решил я.

- Ну, вот и ладушки, как говорит моя дочка, - засмеялся в ответ Алексей.

…Когда через час я вошел в редакцию, дверь в его лабораторию оказалась открытой. И оттуда доносилось мурлыканье нашего фотокорреспондента. Алеша, сдвинув в сторону стопку снимков, какие-то бумаги, старые листы верстки, пакетики с реактивами, разворачивал многочисленные сверки из фольги. Бардово-белым красовалась нарезанная сырокопченая колбаса, розовело сало, острыми стрелами в меня целился зеленый лук, пряно пахнуло маринованными огурчиками… Не очень приятным запахом отличалась раскрытая маленькая консервная банка, в которой цветом слоновой кости слезоточило что-то еще, дополнительно завернутое в пергамент. Украшали столик и явно домашние пирожки. Но над всем этим царила бутылка армянского коньяка.

Увидев меня, Алеша заулыбался: «Головка бо-бо? Сейчас мы эт-т-то поправим! В магазин я забегать не стал. У жены экспроприировал коньячок. Ей шеф презентовал за удачную последнюю поездку.»

- В Париж? – вспомнил я.

- Угу. Она же у меня в «Интуристе» работает. Переводчицей. Но не обычной: «Посмотрите направо… Посмотрите налево… Можете не смотреть, - все равно уже проехали…» Ха-ха! Она обслуживает группы из двух-трех человек. Представляешь какие важные буржуинские персоны. Мил-ли-о-не-ры! Вообще она – полиглот! Не гляди, что из простой семьи!

- Так она, должно быть, и с КГБ связана?

- А то… Но я как-то заговорил с ней об этом. И что ты думаешь? Она посмотрела на меня, как Ленин на буржуазию или Анна Каренина – на паровоз. После этого я даже не заикаюсь на эту тему. А так, моя Анютка – самая простоя баба. Чистюля. Хозяйственная! Умная. И, как не странно, красивая. И за что она меня полюбила?! Вот только по командировкам мотается. Приходится кое-что из хозяйства на себя брать. По мелочи. Стирка там, еще что.

- Стирка? – удивился я.

- Угу… А что?! Мелочь. Стираю-то не я. Стирает-то машина. А я в это время пользуюсь случаем: книжки читаю. Другого-то времени нет. Мама моя, - мы ведь с родителями живем, - остальное хозяйство на себе тянет. Вот и вчера, видишь, пирожков

настряпала. Внучкой, дочкой моей, занимается. Стро-о-ого держит. Я ей говорю, мол, меня, пацана так держала. И это правильно. А тут – девчушка! К ней другой подход нужен. А она мне в ответ: мол, не учи мать жить. Стро-о-огая! Но это – только с виду. И – по делу.

Алеша развернул пергамент, скрывающий содержимое баночки. Лаборатория наполнилась оч-ч-чень оригинальным запахом. А он, плотоядно закатив глаза прошептал: «Камамбер»! Грязными, неделю не стиранными носочками пахнет! Правда? А знаешь, сколько такая баночка стоит у проклятых буржуинов? Ого-го! Пятьдесят долларов! Это Анютке последние клиенты презентовали. Целю сумку всякой всячины вручили. Вот я и экспроприировал. Загнивает капиталистический запад, но с каким вкусом! Сейчас попробуем. Таким сыром только коньячок или красное вино года выделки эдак тысяча шестьсот-дремучего запивать, ой, закусывать надо!»

Алеша разлил коньяк. И горячая, но ласковая, душистая жидкость пробежала по всем моим жилкам. И сыр, которым мы закусили, таял во рту. Алеша посмотрел на часы. Спохватился: «Эх! Сейчас Зойка

должна придти. Она ведь всегда - в девять-ноль-ноль, как штык! А мы с тобой кофе пить будем. Вот ведь, буржуины проклятые! Придумали разовые пакетики кофе. Растворимый!»

И Алеша, убрав в стол коньяк, достал из кармана два ярких квадратика из фольги. Вышел в приемную. Вернулся с электрочайником.

- Мать честная! Чуть все не выкипело! Еще пару минут и сгорел бы наш «самовар», - покачал он головой. В стаканы высыпал содержимое пакетиков и залил кипятком. По лаборатории, - да что там, по всей редакции! – густо запахло кофе. А тут и дверь входная хлопнула. Это действительно была заместитель главного редактора.

- Что это вы так рано? – увидев нас, удивленно крутанула она головой.

- Нам солнца не надо! Нам партия светит! Нам хлеба не надо! Работу давай! – продекламировал Алеша.

- А кофе-то как пахнет, - улыбнувшись в ответ, втянула в себя воздух Зоя Васильевна.

- Угощайтесь! – жеманно протянул ей пакетик Алеша.

- Ой! Спасибо! Я его на три раза растяну! Импортный! Умеют же… А крепкий кофе к тому же портит цвет лица и

зубов! – схватила гостинец она и заспешила в свой кабинет.

- Ну? Как головка? – спросил меня Алеша.

- Встала на место, - облегченно вздохнул я.

- То-то! Коньяк, ежели он – настоящий, лучше любого напитка с похмелья помогает! - хлопнул он меня по плечу. Взглянул на часы: «Сейчас мужики повалят. Ты им про коньяк ничего не говори. Пусть это будет нашей с тобой экстренной реанимацией. Ежели что! А им все равно, что глотать, - лишь бы с ног валило!»

Я пожал плечами. И тут же дверь в редакцию открылась, и в нее вошел Делюкин. Радостный. Но со слегка припухшими веками. Потряс нам руки. Дернув снизу вверх шкиперской бородкой в сторону кабинета Зои Васильевны, шепотом спросил: «Уже пришла? Что ж… Жаль… Такова се-ля-ва! Все равно, мужики, давайте-ка мухами - в гастроном. У меня - срочный материал. Палычу вчера из Союза журналистов звонили. Домой! Попросили сделать в ближайший номер. Он мне тут же перезвонил. В половине первого ночи!»

Мы с Алешей переглянулись, и он определил: «Случай неординарный. Дело –

не личное, а редакционное. Стало быть, общественное. А для него – ничего не жалко. Даже – должно! Поэтому… Я сейчас.»

Шмыгнув в лабораторию, Алеша тут же выскочил из нее со стаканом, наполненным коньяком наполовину. Протянул Делюкину:

- Вот, Владимир Иванович, тебе - твой допинг.

- «Если надо, значит надо, значит будут цвести сады, - запел Делюкин, - пусть метели бушуют рядом, надо будет, растопим льды…»

Он опрокинул коньяк в себя. Резко выдохнул. Крутанул головой.

- Капиталистический напиток! Но, хор-р-рош! Даже закусывать не хочется!.. Чтобы вкус не испортить. Я имею в виду свой бутерброд. Ха-ха!.. Ладно… Я сажусь за социальный заказ. А вы все равно в гастроном-то сгоняйте. Денег дать? – зашептал он. И вдруг тихим баритоном запел: «Ананасы в шампанском… Ананасы в шампанском… И Делюкин – в армянском коньяке…»

Алеша вздохнул и кивнул мне головой в сторону, - мол, придется идти в гастроном. А я подумал, что долго так не выдержу. Мне ведь еще «прописываться» надо! Вспомнил пожелания Галины Евсеевны. И о том, что

завтра… - товарищеский суд. Поэтому решил сегодня больше не выпивать. А после похода в гастроном сходить в ЦДКЖ, напомнить Людмиле Петровне и Жене о том, что они обещали присутствовать на товарищеском суде. Так я и сделал. На суд захотели пойти даже девчонки-методисты. Но Галина Евсеевна сторго-настрого запретила: «Оставим выступление всего нашего коллектива на народный суд, если товарищеский окажется безполезным. Завтра у тебя, Люда, и у Жени - выходные. Отдохните. Соберитесь с мыслями. И не ударьте в грязь лицом.»

Когда я вернулся в редакцию, Делюкин, похоже, «отстрелявшись», уже сидел в кабинете главного. Валентин Павлович читал его материал. Удовлетворенно цокал языком. Крутил головой. Наконец, крикнул Олега. Когда тот появился, протянул ему рукопись: «Все отложить. Это – на машинку. Срочно! И пошли кого-нибудь сегодня же в типографию. Надо втиснуть в завтрашний номер. Заказ Союза журналистов.»

- Куда? Там все взаимосвязано, - всплеснул рукам Олег.

- Убери что-нибудь со второй или с третьей полосы! – не принимая никаких возражений, махнул рукой Валентин

Павлович. Повернулся ко мне: «Так, Саша… Надо ехать в Дом культуры имени третьего интернационала. Там - какой-то скандал. Разберитесь с Алешей. Он хоть и нужен мне здесь и сейчас, но тебя подстраховать тоже не мешало бы. Поэтому ничего не предлагаю.»

«Слава Богу!» – подумал я. И через час мы входили в уже знакомое мне «пришибленное» здание, где вел занятия литературной студии Валера. На этот раз вахтер сообщиал нам, что все сотрудники ДК собрались в кабинете директора, где проходит художественный совет. Мы с Алешей направились туда. На ходу он меня инструктировал: «Ты сразу с плеча не руби. Директор, Антон Сергеевич, – мой хороший знакомый. Не одну бутылку водки вместе выпили. Сначала все послушаем. Потом наедине с ним, за закрытыми дверями, и обсудим. Надо прислушиваться к тем, о ком пишешь.»

- А если это – тема для фельетона? – хмыкнул я.

- Тем более! Ведь если ты выпишешь «героя» его же словами, жизненнее получится!

- Согласен, - пожал я плечами.

В небольшом кабинете ютились человек двадцать. Увидев нас из-за главного стола

поднялся лысый с редким пушком за слишком большими ушами, низенький, какой-то хлипкий человечек. Заулыбался. Направился к нам. Поворачиваясь то вправо, то влево к собравшимся, провозгласил: «А вот, и товарищи журналисты приехали. Ну, с Алексеем, - я позволяю себе так назвать его из-за возраста, - мы знакомы! А вас, молодой человек, как величают?»

Я представился. Он потряс мою ладонь. И, обернувшись к собравшимся, приказал: «Принесите стулья для товарищей журналистов! Не стоять же им. Им записывать надо.»

Тут же молодой, темноволосый, лощеный, смуглый, не по-мужски даже какой-то смазливый человек выскочил из кабинета и вернулся с двумя стульями. Мы с Алешей уселись. И оба раскрыли блокноты.

- Так вот, дорогие товарищи, – начал директор ДК, - в нашем коллективе, который столько лет жил, как одна семья, произошел конфликт. Прискорбно! Сейчас, когда в стране наступила эпоха развитого социализма, когда советские железные дороги выходят на передовой уровень грузо- и пассажиропотока, когда длинносоставные и тяжеловесные поезда покрывают все

мировые рекорды по доставке грузов, среди нас, работников идеологического фронта, тех, кто должен средствами культпросветработы вдохновлять железнодорожников на новые трудовые подвиги, началась склока. Руководитель фольклорного ансамбля «Прялочка», - совсем еще молодой, даже, я не побоюсь этого слова, неопытный руководитель! - Елена Ивановна не пожелала прислушаться к мнению моего заместителя. Он - тоже молод. Возможно, не имеет большого опыта руководства в культпросветработе. Но он - заместитель директора! Я попросил бы встать со своих мест и Елену Ивановну, и Марка Эрастовича.

Тот самый, который бегал за стульями для нас с Алешей, поднялся. Обвел собравшихся грустными, взывающими к сочувствию, маслинообразными глазами и опустил их долу. В другом конце кабинета поднялась маленькая, хрупкая, похожая на мальчика-подростка, девушка с короткой стрижкой соломенного цвета, без всякого макияжа. Но его, казалось и не нужно было на губах, щеках, вокруг больших глаз… цвета живого неба. Правда, теперь эти глаза приобрели грозовой темно-синий оттенок. А веснушчатое лицо покрылось багровыми

пятнами. Она, вздернув курносый носик, смотрела прямо перед собой.

- Ну-с, Елена Ивановна, расскажите нашему трудовому коллективу, почему вы отказываетесь прислушиваться к мнению, - пока - не к приказу! - заместителя диретора нашего ДК по художественной части? Почему позволяете себе в грубой форме отвечать ему? Оскорблять его человеческое и профессиональное достоинство? – спросил Антон Сергеевич, скосив глаза в лист бумаги, лежащий на его столе.

- Я бы хотела попросить сначала Марка Эрастовича повторить то, что он сказал мне, - ответила Елена Ивановна, по-прежнему прямо глядя в лицо директора ДК.

- Ну, что ж, - подал голос Марк Эрастович, как-то не по-мужски повертев головой, - учитывая то, что просит жен-щи-на, я смирюсь и повторюсь, если позволите… Вы все знаете, что кроме основной работы в должности заместителя директора нашего Дома культуры, я взвалил на свои плечи руководство народным театром. И сейчас, когда Коммунистичская партия и правительство направляет нашу деятельность на воспитание интернационализма, на знакомство трудящихся с достижениями мировой

драматургии, я решил в корне перенаправить деятельность нашей художественной самодеятельности на рельсы современного искусства. И поэтому я усомнился в целесообразности так называемых экспедиций в Курскую, Смоленскую, Рязанскую области, где Елена Ивановна записывает причитания грязных, спившихся старух времен царя-гороха, от которых, простите, потными лаптями и вековой немытостью, - если не сказать грубее, - пахнет! Да-да. Именно так я и сказал. Если Елена Ивановна посчитала это за оскорбление, прошу ее простить меня за неудачно подобранные образы. Я, конечно, не против таких шедевров народного творчества, как, например, «Возле острова на стрежень». Но те завывания, которые предлагает Елена Ивановна в своих программах нашим железнодорожникам, не пользуются спросом! Они непонятны трудящимся! Они непонятны даже профессионалам. В доказательство я могу пригласить из «Гнесинки» профессора Иосифа Львовича Раушенберга. Пусть он проэкспертирует репертуар Елены Ивановны. И это будет объективно! Но я не хочу оставлять женщину с двумя детьми без куска хлеба! Поэтому предложил

осовременить те, с позволения сказать, произведения народного творчества, которые пропагандирует Елена Ивановна. Ведь путей для этого рационализаторства - множество! Здесь можно использовать и джаз, и кантри. Такого в этой стране никто еще не пробовал! И что же я услышал в ответ? Вот теперь, пусть Елена Ивановна повторит то, что сказала мне, чем отблагодарила меня за добрые, дружеские, - заметьте, не начальственные! – советы!

Елена Ивановна стояла, опустив голову. Но когда подняла ее, я увидел слезы на глазах. Мотнув своей короткой стрижкой, она твердо сказала: «Я и сейчас заявляю, что действия и слова, и творчество Марка Эрастовича направлены на уничтожение русской национальной культуры. Что именно последние пьесы, поставленные заместителем директора Дома культуры разварщают наших людей, надсмехаются над бытом русских семей, над всем семейным и общественным укладом. Да и оскорбление бабок, называние их грязными и спившимися, - остальное я даже потворить не рискую, - чтобы не осквернить себя, - есть ничто иное, как оскорбление великого русского народа, моих предков! Да и предков, как я полагаю большинства из

сидящих здесь. В этой стране… Ха! «Эта» страна, Марк Эрастович, безплатно лечила, учила и теперь кормит и поит вас! Именно эти «грязные, спившиеся старухи» вытащили сельское хозяйство, пока их мужья защищали Родину в годы Великой Отчественной войны. Именно они сейчас кормят всех нас и хлебом, и молоком, и овощами, и даже мясом! А дети и внуки их, насмотревшись ваших интернациональных пьесок, фильмов, наслушавшись джазов и кантри, заразившись вирусами эманси- и прочих «паций» и «измов» разъехались из деревень! Но ведь они, как дерево вырванное корнями из родной почвы, болеет, а если не умрет, станет уродом на любой другой! Не этого ли добиваются ваши иностранные драматурги?! Теперь вы хотите изничтожить и песенную народную культуру?

Я посмотрел на Алешу. Тот сидел и, не дыша, смотрел на Елену Ивановну округлившимися глазами. То же состояние я заметил и у других собравшихся.

- При Сталине вас бы расстреляли! – хмыкнул Марк Эрастович.

- Это вас бы расстреляли за растление человечских душ силами зарубежной антикультуры! – словно пистолет, вскинула

указательный палец в сторону заместителя директора Елена Ивановна.

- Да-да, – усмехнулся Марк Эрастович, - нам не привыкать к гонениям, погромам, газовым печам, крематориям…

- Но почему-то в каждой стране, где появляются такие, как вы…

- Антисемитка! Зоологическая! – буркнул Марк Эрастович и опустился на свой стул. Антон Сергеевич хлопнул ладонью по столешнице. Достал большой клетчатый носовой платок. Вытер им покрасневшие лицо и лысину. Устало проговорил: «Хватит! Ваш, с позволения сказать, диалог, перешел все допустимые границы. И не стыдно перед товарищами журналистами? Ну-ка… Ой! Что мне с вами делать?! Вынужден перенести конфликт на пленум райпрофсожа. Примирения не получается. Все свободны. А товарищей журналистов прошу остаться в моем кабинете.

Когда же все вышли, он открыл стенной шкаф. Обернувшись, спросил: «Алексей, водку, коньяк?»

- Коньяку, Антон Сергеевич. Мы с него сегодня день начали. Не хочется мешать.

Директор ДК поставил на стол бутылку, три стопки. Нажал кнопку селектора.

Приказал: «Галя! Принеси нам из буфета бутербродиков и лимончик.»

На несколько секунд наступила тишина. Наконец, Антон Сергеевич тихо проговорил: «Вот уж, чего не ожидал, так не ожидал. Конфликт на национальной почве!»

- Да что вы говорите?! Какая национальная почва? Все это можно свести на спор в искусствоведческом русле. Традиция против авангарда! Но, согласитесь, Елена Ивановна права? – подал голос я.

Антон Сергеевич вскинул на меня глаза, в которых читалось: «Молодой да ранний»! Опустил их. Переспросил: «Вы так считаете?»

- Да, - пожал я плечами. Тогда он вопросительно посмотрел на Алешу. Тот тоже пожал плечами: «Сергеич! Спусти это все на тормозах. Возьми коллектив этой Лены под свой личный контроль. Пусть твой Марк работает сам по себе, а Лена – сама по себе. Не подпускай их близко друг к другу! Время покажет, кто прав. А то Санек у нас – та-а-акой писака! Редакционное задание-то надо выполнить! Что-то, да и написать! Зря что ли приезжали? Бюджетные деньги тратили. А тут мы скажем, что ничего не произошло. Конфликт замяли. А Лена твоя –

ни-че-го! Ог-г-гонь-девка! Только Санька к ней не подпускай! Если не послушаешь, их брак станет гремучей смесью для всей сети совестких железных дорог! Он ведь у нас – нежена-а-атый! Но еще раз скажу тебе, прости, молодой – старшему: не подпускай Марка к Елене!

- Да я и сам так считаю, - вдруг неожиданно выпалил Антон Сергеевич, - не люблю я их! А кто их, простите, любит? Но вот, навязали сверху на мою старую голову этого Марка! Только – между нами!

Вошла секретарша. Принесла бутерброды, лимон. Мы выпили. Потом еще. И еще. Я ехал домой в оплаченном такси и думал о том, что какой же я – пьяница! Прости, Господи! Ведь не хотел же сегодня! Не хотел вы-ы-ыпивать! Завтра – суд. Помоги, Господи!

…Утром мы с Алешей опять выпили по сто граммов коньяку. И на этом я решил «завязать». Пришел Владимир Иванович. Плюхнулся на стул. Сладко потянулся: «Редкий случай! С утра – и никакой срочной работы. Саша, сгоняй. А?»

- Хорошо. Только мне сегодня нельзя. Суд с соседкой, - кивнул я.

- А тебе сегодня никто и не даст! – скривил губы Владимир Иванович.

…И когда он принял свои сто граммов, закусил бутербродом, я позвал Алешу и при нем рассказал о вчерашней поездке. Алеша слушал, опустив глаза в пол. И когда я закончил, сказал: «Мне вчера вечером Антон Сергеевич домой звонил. Очень просил не поднимать шума. Ему год до пенсии остался. А представь, чем все это может кончиться, если мы что-нибудь опубликуем? К тому же, он – неплохой мужик. Не надо бы вредить старику. Поверь мне.»

- А зачем шум поднимать? – хитро прищурился Делюкин. И перебирая чистые листы бумаги, не глядя на нас, сказал: «Несомненно, Лену эту надо защитить. Я сам – со Смоленщины. И очень люблю народные песни. Ста-а-аринные! А этот авангард… Тьфу! Копаются в собственных пупках! .»

- Как защитить-то, не поднимая шума? – недоумевал я.

- Очень просто. Помнишь слова Ленина о том, что газета - не только организатор, но и пропагандист. А-ги-та-тор! Или – наоборот. Не помню. Вот и давай, встреться с этой Леной-народницей. Ха-ха! Побывай на репетиции. Да и напиши о том, какой замечательный ансамбль она создала. Опубликуем у нас бо-о-ольшой очерк! На полосу! С Алешкиными снимками. Я

договорюсь с Палычем, чтобы пошел «с колес». А потом напиши для «Гудка». Во-первых, этим ты поможешь Антошке, - я по возрасту могу его так назвать. Это Палыч придумал на каком-то выездном совещании. Мы тогда здорово поддали. Как раз рядовых железнодорожников посылали в подшефный колхоз картошку убирать. Вот Палыч и подшучивал над ним; «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку». А тот - ничего. Не обижался. Даже смеялся вместе с нами. Так и повелось. Во-вторых, после твоих панегириков и и энкомиев никакие марки, исааки, абрамы и протчая, и протчая тявкнуть не посмеют на Лену и ее ансамбль. Потому, как не попрут против печатного органа партийной, комсомольской и профсоюной организаций Управления Московской железной дороги. Про «Гудок» я уже и не говорю.

- Ну, «панегирик», - это ясно, - благодарно крутанул я головой, - а вот «энко…»… Как там дальше его?

- Эх, молодежь! Чему вас только сейчас в школах учат. Вот, я закончил сельскую десятилетку и еще до поступления в у-ни-вер-си-тет знал, что «энкомий» происходит от греческого enkómion — восхваление, хвалебная речь. И известно словечко это из

речей Сократа, жившего около триста восьмидесятого года до новой эры. Великий, скажу я вам, был древнегреческий публицист. Писал политические памфлеты, которым придавал форму речей.

- Ух, ты! Сколько вы знаете! – восхитился я.

- А что?! – достал Делюкин из-под стола початую бутылку. Налил себе еще полстакана, выпил, закусилТы не смотри, что я вырос в деревне. Знаешь из какого рода происхожу? Де-лю-кин! Де Люкин! Предок мой пришел в Россию в составе армии Наполеона. А приставка «де» говорит о том, что был он дворянского, просвещенного происхождения. Ранили его тяжело в лесу под Смоленском. И пра-пра-прабабка моя подобрала болезного басурманского офицерика. Пожалела. Выходила. Вылечила. А он в нее влюбился. И женился. Хотел увезти во Францию. Но пра-пра-пра-бабка – ни в какую! Так и остался мсье де Люкин в Смоленской деревушке. Перешел их католичества в Православие. Нарожал кучу детей. А они - своих. Так и до меня дело дошло. Только вот, отец мой и все братья его, - семь человек! - погибли на фронтах Великой Отечественной. Один из них даже Героя Советского Союза получил посмертно.

- Серьезно, что ли? – засмеялся недоверчиво я.

- А то! Я специально ездил по архивам. Узнавал. А ты время-то не тяни. Звони в ДК имени третьего интернационала. Узнавай расписание занятий своего народного ансамбля. И сразу поезжайте с Алешкой. Палыч-то сегодня с Зойкой – на «активе». Будут только к вечеру. Да и Зойка, наверное, сразу домой улетит, не заходя в редакцию. Давай-давай! Звони!

Так я и сделал. Но оказалось, что ближайшее занятие детской «малышковой» группы студии будет только завтра, в пятнадцать часов. Поэтому я попросил у Олега фотографии, чтобы сделать к ним подписи. Тот довольно хмыкнул: «Приятно видеть, что новый сотрудник сам ищет себе работу.»

Вечером я зашел за Женей и Людмилой Петровной, и мы отправились на Ярославский вокзал, с которого через двадцать минут прибыли на платформу Лосино-Островская. В небольшом зальце, где должен был состояться товарищеский суд, яблоку негде было упасть. Казалось, все жильцы дома, забросив хозяйственные дела, собрались, наконец, расквитаться с ненавистной и им моей соседкой. Она же,

как-то распластавшись на стуле, широко расставив ноги, вытянув вперед голову и упершись руками в колени, обводила людей ненавидящим взглядом. За ее спиной сидел мужик моих лет и женщина. Они смотрели в пол. Изредка шепотом что-то замечали друг другу. У женщины все лицо покрылось пятнами. «Должно быть, сын с женой», - подумал я.

Наконец, вышли знакомые мне ветераны. Пожилая женщина тоже с орденскими колодками на строгом костюме и со стопкой бумаги в руках попросила всех встать. Председатель суда расплылся в улыбке. Крутанул головой. Громко проговорил: «Поздравляю! Такого количества народа на наших заседаниях еще никогда не было! Спасибо за активность. Начнем, пожалуй. Слушается дело…»

И он зачитал мое заявление. Спросил, есть ли у меня дополнения к нему. Я отрицательно покрутил головой.

- А что? Разве этого мало? Да я бы,– вдруг подал голос сосед-шофер, - да я б на месте истца с балкона ее выкинул за такие фокусы!

- Прошу соблюдать тишину! – постучал карандашом по графину с водой председатель. Обвел взглядом зал шофер.:

«Кто хочет выступить свидетелем по этому делу?»

- А что выступать-то? Всем она остобрыдла! В доме нет никого, кому бы она не нахамила или не напакостила! – опято сказал

- Да-да, - кивнула тоже знакомая старушка, - детишкам малым всякий раз вслед проклятия посылает. А ведь это…

- Так дело не пойдет. Давайте по порядку. Нам нужно записать все в протокол.

- Хорошо, - вышел вперед шофер и, рубя ладонью воздух, рассказал, как застал меня, спящим на лавочке.

Выступили еще несколько человек. И я не верил своим ушам: казалось, что сделать пакость для соседки – как вдохнуть чистого воздуха после душного, пыльного подвала. А когда рассказали, как она издевалась над моим предшественником-соседом, у меня волосы дыбом встали! Я взглянул на ее сына с женой. Они сидели, низко опустив головы. А соседка вдруг заплакала. Запричитала: «Устроили судилище над бедной, больной старухой. Все – на одну! И за что? Кому я чего плохого сделала? Живу одна! В чужие дела нос не сую! Врете вы все!»

«Да здорова ли она рассудком? - подумалось мне вдруг, - А может быть,

бесноватая? И не отдает себе отчет в пакостях? Не помнит их»?!

- Старухой себя называешь? Больной себя назыаешь?!– вдруг раздался голос с заднего ряда, - а сорокалетнего мужика принимаешь каждую неделю!

- Это слесарь приходил! – размазала слезы по лицу соседка.

- Ага, – ответили ей, - каждую среду приходит. У тебя что, сантехника по распрядку дня ломается?

Все собравшиеся засмеялись. А председатель, постучав карандашом по графину, смущенно проговорил: «Ну-у-у, это - личное дело. Хоть и безнравственное. В таком-то возрасте Но с другой стороны, мужик-то один и тот же ходит. Не меняет же она мужиков-то.»

И тут встала Людмила Петровна. Представилась. Предъявидла суду свое служебное удостоверение, мою характеристику и ходатайство руководства ЦДКЖ, - я даже не знал, что там в этих бумагах написано. Смущаясь, заговорила: «Я – заведующая отделом, в котором работает истец. С тех, как он переехал и проживает по нынешнему адресу, все наши сотрудники стали замечать, что Александр Леонидович приходит на работу невыспавшимся, часто

просто небритым. Тогда по поручению профсоюзной организации я в сопровождении другого нашего старшего редактора, присутствующего тоже здесь, пришла ознакомиться с его жилищными условиями. И наткнулась на хамство и оскорбления ответчицы.»

- Да что я тебе плохого сказала-то? Что плохого? Кошка ты драная! – сузила глаза соседка. Все в зале засмеялись. А председатель постучал карандашом по графину: «Ответчица! Попрошу не оскорблять свидетеля. А вы продолжайте.»

Людмила Петровна болезненно сглотнула слюну и опять заговорила: «Нужны ли свидетельства хамства и оскорблений в мой адрес, какие все слышали сейчас? У истца серьезная умственная работа. А отдыхнуть в своем законном жилье, чтобы подготовиться к новому рабочему дню, не дает ответчица. Посему от имени всего трудового коллектива Центрального Дома культуры железнодорожников я прошу найти возможность оградить нашего сотрудника от противозаконных действий ответчицы.»

Потом выступил и Женя. И почти слово в слово повторил сказанное Людмилой Петровной.

- Что на все это может сказать суду ответчица? – повернулся к соседке председатель. Та встала. Обвела всех взглядом свысока. И вдруг взвизгнула: «Да по-а-а-ашли вы все на-а-а..!»

Она повернулась к нам спиной. Задрав сзади подол платья, наклонилась. Спустила до коленй рейтузы. Покрутила задом. Сын ее отчаянно крикнул: «Мама!..»

А его жена, закрыв лицо ладонями, выбежала из зала. Соседка же выпрямилась. Оправила подол. И села на свое место, с победным видом оглядывая собравшихся. Я уже не сомневался, что она – болящая, если не сказать, что одержимая!

- Ну что ж, - невозмутимо проговорил председатель, - все ясно. Суд удаляется на совещание.

А мы с Женей и Людмилой Петровной вышли на воздух. Нестерпимо хотелось курить. Все увиденное и случившееся стало до тошнотворности противно. «Обменялся!» - горько подумал я.

- Ну-у-у, баба.., - покрутил головой Женя.

- Она, по-моему, просто – шизофреничка! Везет тебе, Саша, в последнее время, - хмыкнула Людмила Петровна.

- Мне всю жизнь везет, - в тон ответил я.

… Через десять минут председатель зачитал решение суда: «…Если в пятидневнй срок от истца не поступит отказ от заявления, товарищеский суд постановил передать дело в народный суд Бабшкинского района города Москвы с ходатайством выселить ответчицу за сто первый километр.

Зал одобрительно загудел: «Так ей и надо хулиганке.»

- Совсем распоясалось…

- А если б не новый сосед, еще неизвестно, до чего докатилась бы…

И люди стали расходиться. На улице ко мне вдруг подошли сын соседки и его жена. Они низко опустили головы. Сын заговорил: «Вы уж простите мою мать… Нам с женой так стыдно за нее. Но ведь уже не перевоспитаешь! Детство у нее было тяжелое. Отца, серкретаря Кировского райкома партии, что в Калужской области, в тридцать седьмом репрессировали. А потом ее и саму, совсем девчонку, фашист изнасиловал»

- Даже если я прощу, как жить дальше с ней в одной квартире? Что она еще отчибучит? – крутанул головой я.

- Вот за этим я и подошел. Поймите, какой бы она не была, все-таки - мать мне. Я обязуюсь в самое ближайшее время найти

варианты размена. Ирина, вот, - кивнул он на жену, - в районном бюро работает. Вот мы и подошли к вам, чтобы узнать ваши требования к обмену.

Я раскрыл, было, рот, но Женя опередил меня: «Вобщем так, мужик, идя навстречу тебе, я скажу за Сашу. Варианта два. Первый. Комната большей площади в коммуналке, но в пределах Садового кольца. За его пределами – однокомнатная отдельная квартира. И безо всякой доплаты. Но - в пятидневный срок. Иначе дело пойдет в народный суд. Крутитесь за свою мать. Звонить с женой можете нам на работу.

Женя вынул из кармана блокнот. Записал номер телефона. Листок протянул сыну соседки. А я подумал: «Видимо, «хорошо» этот секретарь райкома пораскулачивал в Калужской области, поэкспроприировал, если свои же шлепнули. Вот она, Божия епитимия! На третьем поколении сказывается»… Я проводил Женю и Людмилу Петровну на электричку. Вернулся домой. Соседка еще не возвращалась. Не увидел я ее и утром. «Должно быть, к сыну ночевать поехала. Бедный мужик! Невозможно представить, что она ему сегодня ночью устроила», - подумал я, выходя из дома.

На работе от коньяка я наотрез отказался: «Лёш, нам же сегодня в ДК третьего интернационала ехать. Ну, ладно, Елена Николаевна запах учует. А вдруг этот хмырь от драматургии встретится. Милицию вызовет. Нам это надо?»

- Ты, пожалуй прав. Но ничего, вернемся в редакцию, все поправим. А? - вскинул Алеша подобродок вверх.

…Дежурным по редакции был Владимир Иванович, и я помог ему сделать подписи под фотографиями. Вычитал лист верстки. Сходил в ЦДКЖ, где похоже с самого утра обсуждался мой вчерашний суд. Девочки, - и редакторши, и методисты, - смотрели на меня, как на героя. Галина Евсеевна поздравила с победой. А я выставил на стол в информационно-издательском отделе большой торт. И мы все еще час пили чай.

В три часа дня я и Алеша вошли в ДК имени третьего интернационала. И в небольшой репетиционной комнате застали Елену Ивановну, окурженную пяти-семилетними детьми. Она что весело им объясняла, но, увидев нас, помрачнела. Сухо поздоровалась.

- Вы не волнуйтесь, - сказал я, - мы вам помочь хотим. Оградить от нападок Марка Эрастовича. И приехали, чтобы собрать

материал о работе вашего ансамбля. Пофотографировать. Поверьте, это – лучший способ! Кто станет выступать против коллектива о котором написано в газете?!

Елена Ивановна внимательно, но все еще недоверчиво вглядывалась в нас. Наконец, улыбнулась: «Спасибо. Тогда присядьте. Посмотрите, как репетирует младшая группа. А старшие занимаются в субботу и воскресенье.»

Мы с Алешей присели в уголке. И зачарованно смотрели, слушали, как малыши безо всякого аккомпонемента чистенько, звонко пели, каке сеяли, пропалывали, убирали горох. А при этом повторяли свои слова движениями. А Елена Ивновна всем этим руководила. Вот ведь как с детства через песни приучали детей к труду. Алеша не выдержал. Встал. Взвел затвор фотоаппарата. Но передумал. И в котороткий перерыв попросил Елену Ивановну: «А нельзя ли сейчас детишек нарядить в их сценические костюмы. Ну, пожалуйста. Я поинмаю, что срываю вам репетицию… Но так хочется сделать снимки. Ведь я их вижу даже отдельными, с короткими подписями на четвертой полосе газеты, которая посвящена культуре.»

Елена Ивановна почему-то покраснела. И… отправила детей переодеваться. А мне стала пояснять, откуда какая песня берет начало.

- Про горох играли песни… Или про тот же лен… Да-да, на Руси говорили не «петь», а именно «играть» песню. Потому как песенное творчество всегда было частью всей жизни, всего быта, труда, отдыха, даже военных действий Русского народа. Так вот, про горох играли еще при язычестве. Представляете, сколько столетий живет эта песня?! Сколько поколений воспитано на ней?! Именно воспитано! Весело воспитано! Вот представьте: ребенок с детства знает песню, знает движения, например, при той же обработке гороха. И потом, когда он вырастает, при настоящих работах у него инстинктивно возникает эта детская веселость! Вы представьте: от тяжелого физического труда под палящим солнцем человек получает радость, веселье! И еще, почему живут до сих пор эти песни. Они, например, не мешали становлению Православия на Руси. А Церковь только приветствовала их.»

Дети вбежали радостные, возбужденные, в ярких нарядах. Елена Ивановна расставила их. И они запели. Заходили по кругу, сея и

обрабатывая воображаемый горох. Алеша, раскрасневшись от азарта, фотографировал.

- А костюмы сами шьете? – едва успевая записывать за Еленой Ивановной, спросил я.

- Для детей - сами… То есть, их родные. Но шьем по образцам старинных сарафанов, рубах, или срачиц, штанов или, как называли в старину, портов.

- А образцы где взяли? В музее?

- В музее образцы не дадут. Надо же обследовать каждый шовчик, каждую петельку. Мы со старшими ребятами периодически, в основном летом, ездим в фольклорные экспедиции, по деревням Рязанщины, Смоленщины, Курской области, Белгородской. Вы знаете, какие там люди живут?! Чистые душами, как родниковая вода! А глаза у них – цвета живого неба! Конечно, в глухих деревушках остались одни бабушки. Дедушки-то в большинстве своем на полях Великой Отечественной полегли. А бабушки эти, - мечтательно улыбаясь Елена Ивановна затуманилась взором. Но тут же продолжила: «Бабушки эти не только песнями своих бабушек одаривают, но старинными костюмами из сундуков. Вы, например, знаете, что в Курском кокошнике у простой крестьянки было не менее четырех

килограммов золота! И столько же речного жемчуга!»

- Вот так! А нам внушали, что народ нищ и безграмотен! – хмыкнул я.

- Что вы! Я в одной смоленской деревушке, у одной бабульки, на книжной полке, рядом с Библией и житиями святых, увидела томики стихов Пушкина, Некрасова, Гоголя, Кольцова изданные в девятнадцатом веке! А у другой, - вы не поверите! – какую-то повестушку на французском языке!

- Почему же не поверю? – улыбнулся я. И вспомнил вчерашний рассказ Делюкина: «Со мной работает такой удивительный человек, предок которого…

И я пересказал историю Владимира Ивановича. Елена Ивановна з»вонко рассмеялась. Задумалась. Слегка крутанула головой: «Удивительно! Как всё иноземное, если искренне влюбляется во что-то или в кого-то на Руси, само становится русским! И вносит, надо признать, свежесть своей самобытности. Но опять же преломляясь в русскость! Вот, приходите в субботу на репетицию старшей группы. Я специально попрошу наших девушек надеть старинные наряды.»

Алеша, уже отфотографировавшись, стоял рядом с нами и нетерпеливо показывал

мне глазами на часы. Я сделал вид, что не заметил его знаков. Продолжал спрашивать. Старательно записывал в блокнот. Оказалось, что в ансамбль ходят дети, начиная с пятилетнего возраста. А самому старшему – уже восемнадцать.

- Этой осенью в армию будем провожать! У нас проводы, как в стародавние времена! Идем до военкомата. И там устраиваем настоящий спектакль. И слез у провожающих – меньше. И генетическая память срабатывает. На будущ
ее! – гордо сказала Елена Ивановна.

- И вы все это одна «тянете»?

- Нет, конечно. У нас есть и концертмейстер, и балетмейстер, и баянист…

Я задал еще несколько вопросов. Однако, скоро понял, что и Елена Ивановна торопится. Ее малыши заскучали. Поэтому стал прощаться, твердо решив приехать в субботу на репетицию старшей группы. Но на мое предложение Алеша покачал головой:

- Не могу, Санек! У меня в субботу – большая стирка! Анютка опять улетает за рубеж. Но ты не расстраивайся! Если тебе так загорелось, я дам старенький «Никон». Покажу, расскажу, даже запишу: какая диафрагма, какой выдержке соответствует. Ты же в помещении снимать будешь?

Отлично! Зарядим пленочку на четыреста единиц. Вспышечкой снабдим! Уверен, у тебя получится! А если что и не так выйдет, мы скомбинируем, вытянем на должный уровень. А сейчас пойдем пивка выпьем. В горле пересохло. Тут один мировой пивняк есть.

- За парком? – спросил я.

- А ты был там?

- Был однажды, - кивнул я, вспомнив, как после занятия в литературной студии мы с Володей Шкапским, Женей, Валерой и Ярославом «лакировали» в этом пивняке коньяк.

- Вспоминаю! Ты тогда еще о литературной студии написал. Да?

Я кивнул. Пива мне не хотелось, но я все-таки согласился выпить кружечку, надеясь задержаться в пивняке и не возвращаться в редакцию, где в кабинете главного на холодильнике уже наверняка стоит «дежурная». Так и получилось. Но дома я все равно оказался только около восьми вечера. И, едва вошел в квартиру, услышал телефонный звонок.

- Где тебя носит? Часов с пяти, – ворчал в трубке голос Жени, - тебя разыскиваю! В редакции сказали, что ты – на задании. Можешь плясать! Звонил сын твоей соседки.

Есть один вариант. Комната двадцать два метра на улице Алексея Толстого. Можем завтра ехать смотреть. Я – с тобой! Мало ли что!

- Так быстро?! – недоверчиво хмыкнул я.

- Могут, когда захотят! Петушок-то жаренвый бо-о-ольно клюется! Ну, что?

- На Алексея Толстого? – переспросил я и, вспомнив Святослава, перекрестился: Царствие ему Небесное. Вспомнил еще кое-кого. Но подумал, что волноваться нечего. Она уже закончила МГИМО и укатила по заграницам. Вышла замуж за дипломата или атташе. Возможно, родила ребенка… от любовника. Прости, Господи!

- Да-да! На Алексея Толстого. Рядом с Пионерскими прудами, бывшими Патриаршими! Помнишь, мы с тобой там мечтали, что ты будешь жить рядом? А Виленыч сдал нас в милицию. Вспомнил? – тараторил Женя.

- Да, Жека! Все помню! Спасибо тебе. Конечно, поедем смотреть! Конечно, вместе! Завтра увидимся. Я зайду к вам в отдел.

- Ишь, «к ва-а-ам»! Ладно. От Танюши тебе – привет. Спрашивает, почему в гости не заглядываешь?

- От меня ей тоже – поклон. Скажи, что при первой же возможности навещу.

- Лады. Тогда, спокойной ночи. До завтра.

- Пока…

И я повесил трубку. По всему телу у меня прошла дрожь. Нет, не озноб. А дрожь ожидания чего-то нового, за-ме-ча-тель-но-го. Новая работа! Новое жилье! В центре Москвы! Чего еще желать?!

- Ме-э-эдведица! – вздохнул я, любуясь рекой.

- Где? – недоуменно спросил Петр и огляделся.

- Река так именуется! – засмеялся я. И даже поежился в предвкушении: «Один переход нам до моего села остался. Во-о-он, видишь, река поворачивает. Вдоль нее и пойдем. За поворотом – еще верст десять-пятнадцать.

- А если срезать? Вода-то вроде как в берега вошла после разлива. Во-о-он, мужички рыбалят. Узнаем у них, где брод. А бор-то какой на том берегу. За полем. Лепотно-то как! Поле. И стога! – деловито и одновременно восторженно говорил брат.

Внизу, под крутым берегом, на реке мужики действительно ставили сети.

Перегораживали реку вдоль вешек, торчавших из воды. И я подумал, что можно действительно сократить половину пути, если переправиться сейчас на другой берег и пройти полем да бором, густеющим вдалеке. Пустил коня с холма к самой кромке воды. Рыбаки, завидев меня, поснимали шапки. Поклонились.

- Братцы, - крикнул я им, - есть ли здесь брод. Я вижу, талая вода сошла уже. Хочу дорогу сократить, чтобы в село свое побыстрее добраться.

- Брод-то есть, - усдышал я позади и обернулся. Ко мне от костерка, который я поначалу не заметил, подхромал старик, видимо, из-за немощи не способный управляться с сетями и теперь поставленный остальными рыбаками на приготовление снеди. Он тоже, подходя, снял шапку. Поклонился, опираясь на суковатую толстую палку.

- Есть брод, болярин. Во-о-он, как раз слева от вешек. Здесь отмель всякий год намывает за зиму. А к осени размывает. Только не ходи на тот берег, болярин. Мы сами не суемся. Место на том берегу – гнилое, гиблое. Нечисть обитает. Мне прадед рассказывал, а сам он – от своего прадеда слышал. А тот - от своего. Бор, что на

крутом берегу, на холме, стало быть, стоит – обиталище демонов. Там до Святого Крещения земли нашей язычники требы свои правили. Да и язычники-то были какие-то не наши. А как святой Великий Князь и Осударь Володимир-Красно-Солнышко крестил Русь, так и к ним, стало быть, к язычникам тем, нечестивцам, пошел поп один. Вот, сказывают, язычники его в бору этом и замучили. Находились смельчаки, Фомы-неверы, что старших не слухали. Уходили в бор тот. Да никто из них не возвращался обратно. И никто их боле не видывал. А вот, к женкам своим упокойнички по ночам приходили. Пужали. Но при этом просили молиться за ихний упокой покрепче. А к утру волками оборачивались. Выли, возвращаясь в бор свой гнилой. Мы на тот берег – ни ногой!

- А откуда ж стога на поле? – недоумевал я.

- Сказывают, не стога это! А демоны! Притворились, стало быть, стогами. Сторожу несут. Сколько живу здесь, все стоят стога сии. Была б солома, давно бы сгнила. А они и летом, и зимой, - словно только-только скошены и уложены Не ходил бы ты, болярин! Ой, не ходил бы!

Ко мне спустились Петр, Тишка и еще несколько мужиков. Но они тоже слышали предостережение старика. Тишка перекрестился и крутанул головой. А Петруша засмеялся: «Да полно тебе, дедушка, сказками стращать нас! Чай, не басурмане мы какие! С крестами на груди ходим. А нечисть, она креста пуще всего сама страшится! Пойдем с молитвой. С Крестным знамением! Дорожку перед собой перекрестим.»

- Ой, княже, – подал голос Тишка, - ежели пойдем, не только время потерять можем, но и животы свои! И душеньки! Или запамятовал про старика-урода и колдуна того? И как я отговаривал тебя от бесед я с ним?

- И-и-и, Тишка! Где это было? Неужто сюда эта нечисть от Касимова доберется? Или с Белой Руси?.. Там, поди, рубежи проходят. А здесь – самая сердцевина державы! - вдруг взыграло во мне что-то.

- Так, сам же сказывал, что ересь жидовская, колдовская из Новогорода пошла. А тут как раз половина пути от Москвы до него.

- Действительно, полно тебе, Тишка, – засмеялся Петруша, - взрослый мужик, а бабушкиным сказкам веришь! По всей Руси

вера наша святая Православная царит! А язычеством даже под Казанью в русьских поселениях не пахнет. Так ведь, Алексаша?

- Так, - кивнул я, и твердо повелел, - идем на тот берег и «срезаем» верст десять!

Тишка опустил голову. Зашевелил губами, но покорно направил своего коня вслед за моим в воду. Брод был мелкий. Вода едва достигала до двух третих тележных колес. Так что, конные даже сапог не намочили. Мужики оставили свои сети. Жалостливо смотрели на нас. Крестились. Шевелили губами. Мы же, выбравшись на берег, не успели проехать и сотню шагов, как небо, - прежде – без единого облачка, - потемнело, словно в пасмурных сумерках. Сверкнула молния. Громыхнуло. А дождя не было. Зато поднялся ветер, ударивший нам в лицо стеной колючего песка, который, словно водоворот, закружил. Потянул только – не вверх, как обычный смерч, а вниз, к земле. В двух шагах не стало видно ничего. Я попытался позвать Тишку, но крик мой забило в горле песком. И откуда он взялся, когда издали поле казалось изумрудным от свежей травы. Кто-то наткнулся на меня. Это был Петруша. В глазах его застыл ужас.

- Молись! - прокричал я ему на ухо. И сам, прикрыв уста рукой, с трудом

заговорил: «*Отче наш, Иже еси на небесех…*»

Песковорот притих. Но стоило мне дочитать молитву до конца, как он набросился на меня с еще большей ожесточенностью. Тогда я, не переставая стал твердить: «*Боже, милостив буди мне грешному… Господи, прости, помилуй, спаси и сохрани мя, грешного…*»

А про себя подумал, что надо было бы послушать старика. Да и не повернуть ли обратно?! Только пути-то не видать! Куда идти? В какой стороне Медведица?! Не видно ни зги! А за едва притихшей круговертью мелькали какие-то высокие и толстые тени. Они кружились. Ухали. Хохотали. Выли. «Стога!» - обжегся я мыслью. А тени уже подступали вплотную. От них исходил влажный, вонючий, с запахом тухлых яиц, холод. Казалось, если они сомкнутся, то раздавят меня, коня, всех, кто ехал со мной. Я закричал во весь голос: «Го-о-осподи! По-о-милуй!»

И… очнулся на опушке того самого бора, через который мы собирались «срезать» путь. По-прежнему светило солнце. Было тепло. Даже жарко. И Петруша, и наши холопы лежали рядом. Невдалеке паслись наши кони. Здесь же стояли телеги с

пожитками. Петруша поднял голову. Огляделся. Протер глаза. Потряс головой: «Что это приключилось с нами?»

- Что-что?! – подал голос Тишка. Огляделся. Покачал головой: «Говорил же, не надо «срезать» путь по нечистому месту. И старик нас остерегал! Княже! Давай, вернемся?! А?»

Я вскочил на ноги. Вгляделся в округу. Мы стояли как раз посередине склона холма, поросшего трехобхватными соснами, елями. Казалось, с высоты я должен был увидеть и Медведицу, и берег по которому мы ехали до перехода ее вброд. Но не тут-то было! Да, над нами пекло солнце. Ниже и вдаль простиралось какое-то грязно-желтое марево, скрывавшее от глаз окоем. Похоже, там, внизу, на поле, продолжала буйствовать буря. Вспомнив недавнее мое состояние в ней, я помотал головой: «В какую сторону ехать-то? Или хотите в песчаную грозу вернуться? Где Медведица?»

- Да-а-а, - протянул Петр, - похоже, завела нас нечистая. И путь у нас один: на холм, в бор.

Холопы тоже стояли в недоумении. Крутили головами. И, похоже, были согласны с братом. Да и со мной.

- И-и-и-эх, – пнул в сердцах сосновую шишку Тишка, - двум смертям не бывать. А Бог не выдаст, и свинья не съест!

Мы вскочили в седла, а возницы – на телеги. И, перекрестившись, двинулись в лесную чащу. Сосны росли все гуще и гуще. Телеги уже едва пробирались между ними. Я всматривался вдаль между стволами. Вдруг крик Петра привлек мое внимание. Я обернулся на него. Он, побледневший, как холстина, выбеленная на весеннем солнце, показывал плеткой вверх, на толстую сосну. Там на полуторасаженной высоте на стволе и ветках, образовавших крест, был… распят скелет! Мы все невольно перекрестились.

- Боюсь, что песчаная буря была еще предвестницей иных, грядущих бед! - громко прошептал Тишка.

- А во-о-н еще один… Господи, помилуй! – теперь показал в сторону плеткой Михейка. И мы увидели другой скелет. Только этот был распят вниз головой. Теперь увидел и я: чем дальше, тем больше белело скелетов прибитых к стволам деревьев. Встречались и полусгнившие, далеко разносившие смрад, тела. А на некоторых, растущих вверх, сухих ветках сосен были нанизаны человеческие черепа. Кони храпели и шарахались от них. Мы двинулись дальше. Подъем на холм

закончился. Но скоро телеги уже не смогли продвигаться между деревьями. Я повелел выпрячь лошадок, и всё, что возможно из поклажи, навьючить на них.

- Что ж, - спросил Тишка, - добро бросать будем?

- А что ты предлагаешь? – уныло ответил я.

Тот опустил голову. Потом вдруг вскинулся. Огляделся. Тихо проговорил: «Сдается мне, княже, кто-то все время следит за нами. Сердцем чую.»

Теперь я не рискнул перечить Тишке. Поэтому достал самострел. Положил в ложе болт. То же сделал и Петруша. Холопы последовали нам: достали луки, наложили на них стрелы. А лес все сгущался. Скоро мы вынуждены были спешиться. Тишина стояла мертвая. Птицы почему-то тоже молчали. И это настораживало. Начало смеркаться. И еще через какое-то время где-то совсем недалеко раздался… волчий вой. Кони наши рванулисьи и, ломая ветки и кустарник кинулись в разные стороны. Холопы бросились, было, за ними.

- Не расходиться! Держаться рядом друг с другом, - повелел я, хотя у самого мурашки по коже да-а-авно бегали. В таких переделках мне еще не удавалось бывать. Вспомнился

Ахмед. А потом и Кудеяр. Вот, когда их помощь нужна была бы. Тишка шепотом читал молитву. Мы шли дальше. Петр чуть не плакал: «Это я во всем виноват! Это я предложил «срезать» путь…»

- Помолчи. Лучше прислушивайся, - шепотом ответил я. И тут вдруг земля… ушла из-под ног. Мы все полетели куда-то вниз. Это была «волчья яма»! Сажени две в глубину, не меньше! А в ширину и длину - все десять! Только как же мы все сразу смогли свалиться в нее? Тот же вопрос задал мне Тишка. И сам же разъяснил: «Словно кто-то крышку с ямы выдернул из-под наших ног. Не иначе, как ворожба! Колдовство!

А над нами вдруг раздался хриплый смех. Мы подняли головы… И мои губы сами проговорили: «Чур меня! Господи, помилуй!»

Было от чего! На нас смотрели волчьи морды. При том, что остальная плоть была человеческой. Эти уроды или оборотни смеялись. Один из них проговорил глухим, каким-то утробным голосом:

- Давненько столько живого мясца не видывал!

Остальные ответили ему радостным смехом.

- Молоденькие…

- А пахнут-то как!

- Све-э-эжатинка!

- Пусть теперь своего Распятого на помощь зовут…

- А из прошлых мало, кто звал…

- А если и звал, все одно на вертело попал…

Но еще один, с седой, словно усыпанной инеем, шерстью, хрипло оборвал их: «Чего оскалился?! Эти скоты должны сначала поработать на нас. Сами что ли дрова заготавливать будете? Делов-то сколь накопилось! Но поначалу во-о-н тех молодых, которые по виду - из болярчиков, поднимите наверх. Их надо с попиком тем посадить в клеть. Пока новую сладим. Их, - ха-ха, - мы пока на размножение возьмем!

Он явно указывал на нас Петром. Мы с братом переглянулись. И тут нам спустили веревку.

- А ну-ка, поднимайтесь! Коли хотите жить! А то ведь набросам в яму угольев и испечем вас всех на завтрак! - заутробил тот, что скалился.

Я обвел взглядом холопов. Те смотрели на меня умоляющими глазами. Что ж, звери – они есть звери. Стало быть, пришла моя пора положить душу свою за други своя.

Ежели Господь попустит… Первым выдернули Петра. Потом - меня. И когда мы оказались наверху, на нас тут же набросились несколько полуволков-полулюдей. Связали. Поволокли глубже в лес. И скоро я увидел стан. Добротно слаженные шалаши, должно быть, служили жилищем для уродов. Но посредине стана стояли деревянные клетки. В некоторых из них сидели непраздные, - все как одна, - бабы. В иных – молодые крепкие, но связанные мужики. У костров играли дети. Если так можно сказать. У этих тоже при человеческих тельцах были головы волчат. Нас связанными втолкнули в клеть, где сидел пожилой священник в драном подряснике. Он не был связан. Поэтому я склонился перед ним: «Благослови, отче.»

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, - наложил он на меня широкий крест. Соегка сам поклонился: «Я – грешный иерей Павел. А вы?»

Мы назвались.

- Помоги, спаси и сохрани вас, Господи! – перекрестился священник.

- Э-э-э-э! А ну прекрати осквернять наше место! – раздался звонкий женский голос.

Я обернулся на него. Передо мной, хотя и тоже с волчьей головой, стояла баба! В руках

у нее был бердыш, а к поясу приторочена моя, - моя! - сабля. Священник вздохнул: «Язычники и есть язычники! Вы потише. У них внутри стана бабы сторожу несут. Так эти – злобнее мужиков.»

- Они же – звери… Полузвери… Или оборотни, - недуменно проговорил Петр.

- Нет, чадо. Это племя такое. Я здесь уже полгода маюсь. Вот в ночь летнего солнцестояния, они меня в жертву и принесут. Такой у них обычай. Православного попа распинать на летнее и зимнее солнцестояние. Ночью. Они вообще - ночные обитатели.

- А что за племя такое?

- Киноцефалы называется. С ними еще древние ромеи воевали. А жили песьеголовые в стране Мармарике.

Я опять обернулся на нашу сторожницу. Та, осклабившись, пристально смотрела на меня. Ее взгляд перехватил священник. Покачал головой: «Да, болярин! Видать приглянулся ты ей. Не сегодня-завтра снасильничает. И если понесет, тебя тут же распнут.»

- А почему именно меня? – откинулся я назад.

- И-и-и, чадо, у них так принято. Между собой они блуда не творят. Чтобы рождались

такие же, с песьими головами и человечьей плотью, им надо сблудить именно с человеком! Во-он, в клетках - бабы. Их снасильничали песьеголовые мужики. Вот они и понесли. А как родят, да выкормят, их съедят. Кости сожгут, а черепа на ветки нанижут. Обычай такой.

- Значит, - крутанул я головой, - мужиков они распинают, а баб едят?

- Ну да, - кивнул отец Павел, - впрочем, иногда и мужиков на вертел насаживают.

- А как же до сих пор о них ничего неизвестно ни кормленщикам, ни Государю? – спросил Петруша.

- Есть у них тут колдуны и колдуньи. У наших язычников такие волхвами прозывались. Вы ж, поди, попали в песчаную бурю?

- А то! Отродясь такой не видывал!

- То-то и оно!

- Незримы они для нас, людей, пока сами того не захотят.

- Так, нечто Господь слабее их? – возмутился Петруша.

- Не кощунствуй, чадо! Не может того быть! Неведомо нам, почему Господь попускает сие. Стало быть, есть Промысел Его на то, чтобы не истребить их. Пока!

- А как же они у нас-то появились? Да еще на севере Руси? – спросил я.

- Неисповедимы пути Господни. Ему одному ведомо сие. Пришли, должно быть. Да-а-авно. Как ромеи перешли из язычества в христианство, так и бежали песьеголовые, куда глаза глядят. Шли ночами. Сказывал же: ночные обитатели.

- А как же они такими стали? Наполовину - люди, наполовину – волки? - спросил Петруша.

- И-и-и, милай! А откуда русалки берутся? Люди-лошади, называемые кентаврами, и прочая нечисть? Все они – дети греха! Против естества, установленного Богом. Про Садом и Гоморру, поди, читывал? На проповедях слышал? Так вот, в нашей беде – еще хуже! Блуд со скотом безсловесным! Потому они и страшатся меж собой блудить. Страшаться, что псы в чистом, естетственном виде рождаться станут. Грех сей скотоложеством прозывается. Прости, Господи!

- Погоди, - задетый за живое, крутанул я головой, - а как же полуволчица эта снасильничать меня сбирается? Я, поди, - не слабого десятка…

- И-и-и, милай, – даже дернулся отец Павел, - сколько я всего здесь, прости,

Господи, насмотрелся за полгода из этого клетки! Во-о-он, глянь, посреди стана - возвышение. Четыре кола с человечьими черепами на остриях по углам поставлены. Кладут молодца породовитее на возвышение. Привязывают руки и ноги к колам. И дочь греха делает с ним все, что ей надо. А остальные, - все племя, - пляшут вокруг, воют, визжат. То же самое и с бабой сын греха делает. Так-то вот! А ты: «не слабого десятка»! Прости, Господи!

- А как же ты, отче, к ним попал?

- По гордыне своей! По гордыне! Услышал, что, мол, язычники здесь обитают. Вот и решил сподобиться святым угодникам Божиим Стефану Пермскому, Трифону Печнежскому, Мисаилу Рязанскому. Другим просветителям дикарей и язычников. Рав-но-апо-столь-ным захотел стать! Лютый грешник! Да разве ж я знал про песьеголовых? Прости, Господи! Но Бог наш милостив. Посылает мне мученический венец.

- А что? Разве никак нельзя отсюда бежать? – зашептал жарко Петр.

- Нет. За полгода трое пробовали на моих глазах. Всех их видит колдун. Они и шага из стана не успели сделать, как пойманы были. Пытаемы страшно! И распяты вниз головой.

А сторожит нас сейчас – внучка колдуна! На моих глазах двоих снасильничала. Но не понесла. Их тоже – вниз головой, предварительно отрезав все, что выступает из плоти.

- Мы перекрестились.

И опять сторожиха наша прикрикнула на нас. А отец Павел вдруг улыбнулся: «Не нравится ей Крестное знамение. А ведь, может быть, и задевает оно в ней какие-то внутренние струнки. Душа-то все одно даже у них есть. Духа нет. А душа есть!»

Мы с Петром брезгливо переглянулись. А священник вдруг громко так заговорил: «В годы правления императора Деция Траяна, человек, носивший имя Репрев, - что в переводе с ромейского означает «отверженный, осуждённый, дурной», - был захвачен в плен римлянами во время боя в Мармарике. Позже он служил в римской когорте таких же Мармаридов. Это был человек огромного роста и ужасающего поведения. И была у него пёсья голова, как и у всех представители его племени. Ещё до Святого Крещения Репрев исповедовал веру во Христа и обличал тех, кто преследовал христиан. За это он однажды был избит неким Вакхом и принял побои со смирением. Вскоре после этого были присланы двести

воинов, чтобы привести его, - известного силача, - к императору Децию. Репрев подчинился без сопротивления. В пути произошли чудеса: жезл в руке святого расцвел, словно жезл Аарона, по молитве его умножились хлебы, которых недоставало у путников, подобно умножению хлебов Спасителем в пустыне. Воины, сопровождавшие Репрева, были поражены чудесами, уверовали во Христа и вместе с Репревом были крещены антиохийским епископом — мучеником Вавилой. После крещения Репрев получил имя «Христофор» и стал проповедовать христианскую веру, используя дарованную ангелом возможность говорить на дотоле незнакомом ему языке ликян. А ведь так случилось и со святыми апостолами! Когда Христофор был приведён к императору, тот ужаснулся его песьей наружности. Он решил заставить его отречься от Бога не насилием, а хитростью. Деций призвал двух женщин-блудниц — Каллиникию и Акилину, и приказал им склонить святого отречься от Христа и принести жертвы римским богам. Но женщины, вернувшись к императору, объявили себя христианками, за что были подвергнуты жестоким истязаниям и скончались мученицами. Деций приговорил

к казни также посланных за святым Христофором воинов, которые уверовали во Христа. Император приказал бросить мученика в раскалённый медный ящик. Однако святой Христофор не испытывал страданий и остался невредим. После многих жестоких истязаний мученику наконец отсекли голову мечом. Его тело обратно в Александрию отвёз Петр Атталийский.»

Отец Павел рассказывал, и нет-нет, да поглядывал краешком глаза на полуволчицу-полубабу. Я тоже незаметно взглянул. Она подошла совсем блико к нашей клетке и, опершись на бердыш, внимательно слушала. А в глазах ее, - или это мне показалось? – стояли слезы. Вдруг она спросила: «Значит не все люди презирали нас прежде? И правду ли ты сказал про нашего сородича о том, что он полюбил Распятого? И даже жизнь за него отдал?»

- Скажу я тебе, бабонька, и другое: имя «Христофор» означает «несущий Христа»! Несущий его в своем сердце. Так-то вот.

- Брешешь ты всё! – притопнула ногой полуволчица-полубаба.

- Брешут псы! А у нас, у Православных христиан, ложь за смертный грех почитается! – повысил я голос.

- Ты псов не трогай, – вдруг прикрикнула она на меня и кивнула на ближний костер, - а то получишь сейчас головешкой в бок…

- А я в другом житии Христофора читал, - вдруг тоже громко сказал Петруша, - будто был он очень красивым и статным молодцем. Будто вожделела его богатая язычница. Да и другие девки и бабы засматривались на Христофора. Но он, желая посвятить свою жизнь Богу, умолил Господа сделать его уродом. Тогда была дана ему песья голова.

- Ну, так что ж? Это житие, тоже знакомое мне, составлено на Кипре. Стало быть, мог жить и другой Христофор. Ведь почитаем же мы святых безсребренников и безмездных врачей Косьму и Дамиана. А мне, вот, один эллинский инок сказывал, что их три пары было. В Асии, в Риме и в Аравии.

- Значит, - вдруг задумчиво проговорила наша сторожиха, - если ваш Бог может дать песью или волчью голову, то Он может и наоборот сделать?

- Он все может! Потому как Всесилен! Всемогущ! Всемилостив! – перекрестился отец Павел.

Полуволчица-полубаба, опять задумавшись не обратила на это внимания.

Но тут к ней подошел скрюченный, весь высохший старик-волк, обвешанный бусами из костей, коровьих, бараньих, козиих рогов и маленьких, - уж, не младенческих ли?! – черепов. Шерсть на морде была разукрашена в разные цвета. На грубые кожаные одежды, обычные для полулюдей-полуволков, были нашиты полоски из прозрачной, - уж, не человеческой ли?! – кожи. Наша сторожиха поклонилась ему. А он зашептал ей что-то на ухо, поглядывая и показывая посохом, увенчанным черепом побольше, чем в бусах, на меня.

- Это и есть волхв-колдун, - грустно вздохнул отец Павел, - и похоже, сейчас, Алексаша, решается твоя участь…

Я, не отрываясь, смотрел на колдуна и его внучку. Вдруг она потупилась, дотронулась ладонью до низа своего живота и что-то прошептала в ответ деду. Тот откинул голову назад. Внимательно вгляделся в нее. Отвернулся. Развернулся. И побрел прочь, опустив голову. А полуволчица-полубаба ткнула мне древком бердыша в бок. Хмыкнула: «Живи пока, боля-а-арин…»

…В стане начали сборы. Полумужики-полуволки с рыканьем и воем покружили вокруг костра и исчезли в ночной темноте.

Мы втроем полулежа устроились в разных углах тесной клетки. Но тут я заметил Тишку, Михейку, других наших с Петром холопов. Они под присмотром толстой полуволчицы-полубабы, лихо махавшей по их спинам плеткой сперва сносили толстые колья, потом сколачивали их, связывли гибкими корнями, ивняком. И наконец, к утру сладили новую клетку.

- Для вас готовят, - кивнул на нее отец Павел, - но посадят туда только завтра вечером. Скоро рассвет. А днем они отсыпаются. Зве-е-е-рье!

- Это мы-то - зверье?! – раздался звонкий голос нашей сторожихи. Она даже скрипнула зубами: «Да вы, людишки – самое страшное зверье! Мы были вольными волками! А вы, людишки сделали наш род таким: не то, не сё! Даже блуд, как вы это называете, испоганили! Мы резали живность, чтобы с голоду не сдохнуть! А вы, людишки, охотитесь забавы ради! И как еще не обожрались?! Как не подавились?!»

Она хотела что-то дальше прокричать, но к ней подошла другая, тоже молодая, полуволчица-полубаба и зашептала что-то на ухо, кивая на Петрушу. Наша сторожиха осклабилась. Закивала. Оправила ей кожаное одеяние на пышной груди. Я

посмотрел на Петра, который мирно похрапывал в своем углу клетки.

Весь день полуволчата-полудети приносили нам поесть. Была непрожаренная баранина, соленые свиные уши, какая-то трава, сырая рыба. Но я понял, что делается это по чьему-то повелению из их же племени. Однако, голод – не тетка! И мы с Петром уплетали за обе щеки. Отец Павел поел только немного травы. Похоже, он смирился со своей участью. И теперь готовился к летнему солнцестоянию. Постился. Весь день нас сторожила пышногрудая подружка первой нашей сторожихи. И при это не отрывала плотоядного взгляда от Петруши. А тот, очевидно, поняв в чем здесь дело, забился в свой угол клетки. Часто накладывал на себя Крестное знамение. Шевелил при этом губами. Наконец, когда жара навалилась на бор, полуволчица-полубаба легла на живот прямо в траву. Положила морду на вытянутые вперед руки, выставила зад вверх и засопела. Тогда к нам подошла наша первая сторожиха и тихо спросила: «А скажи-ка мне, поп, смогли бы люди принять меня? Не забили бы кольем? Смог ли бы твой Бог дать мне людское обличие?»

- Мне ли, грешнику за Бога решать? Плоть твоя, бабья, - людская, повадки и старсти твои – тоже. Если исповедуешься, покаешься, - дастся тебе по вере твоей…

- Ты мне голову не морочь! Ты мне сразу скажи: даст или не даст? - вскинулась вдруг она.

- А ты с Богом-то не торгуйся, – вдруг твердо ответил отец Павел, - а моли Его! И дастся тебе то, во что ты веруешь?

- Это как? – вдруг осеклась она.

- А так, чадушко мое, разлюбезное…

- Чем же я тебе разлюбезное? – вдруг хмыкнула она. И оскалилась: «Ты же знаешь! Распинают у нас бабы!»

- И Христос молился за своих распинателей: да не вменится им в грех сие, ибо не ведают, что творят.

- Что?! Вправду, что ли?

- Вправду-вправду! – встрял я.

- А ты вообще молчи, болярчик! Поди, меня с моей мордой не взял бы себе в женки?

- Хочешь, честно?

- Хочу!

- Есть у меня зазноба. Не ведаю даже, когда, но хотел бы с ней быть.

- А мне как же?! Так весь век с волчьей мордой и ходить?

- Тише-тише, – замахал руками отец Павел, - не буди товарку-то! Дастся тебе по вере твоей! Только верь!

- А ежели не дастся? – притопнула ногой полуволчица-полубаба.

- Не ве-э-эришь! – вздохнул отец Павел.

- Так помоги же мне в моем неверии! – чуть не прокричала она и зарыдала. Утерла морду руками и удивленно уставилась на лодони: они были темны от выляневшей шерсти.

- Ты что же, глупенькая, не видишь? – удивившись сам, прошептал отец Павел.

- Да вижу я! Ви-и-и-жу! – вскочила с колен полуволчица-полубаба и, зарыдав, убежала куда-то.

- А скажи-ка мне, отче, - вдруг спокойно проговорил Петр, - когда отсюда бежали? В какое время дня? Ночи?

- Дык… Само собой! Под утро! – помотал головой священник, еще не придя в себя от предыдущего откровения.

- Ну и ду-ра-ки! Бежать надо в полдень! Зверье-то спит всё! Погляди! – Петр кивнул на новую сторожиху. Она же, развернувшись и улегшись на спину, ноги и руки согнула в коленях и локтях, развела, прижала к себе, и так, согнутыми, вместе с животом и грудью выставила вверх. Ну, ни дать, ни взять, - мой

дворовый пес Палкан – на весеннем солнышке: на спине полежать, да блох погонять – высшая услада!

- Погоди зверьем их называть, - устало вздохнул священник, - лучше пожалей. Несчастные! Болящие душами! Твари-то - Божии. Не виноваты же, что предки их соско-то-лож-ни-ча-ли! И эта давича правду сказала про охоту! Про нас, людей, на этой проклятущей охоте!

- Ты бы, отче, всех под одну гребенку не чесал! – встрял я. Досадливо дернул головой: «Жа-а-алко тебе! А не жалко иных. Которых они распяли?! Сожрали?»

- И-и-и, милай! И волос без повеления Божия не упадет с главы твоей. Стало быть, заслужили. А для кого-то такая смерть - милость. Мукой своей часть грехов сей раб Божий или раба искупили. Как и мне предстоит на днях.

- Ладно, - хмыкнул я, - погоди по себе, - да и по нам, - отходную петь! А Петруша, похоже, правильно сказал: бежать надо в по-о-олдень! Все волки спят в это время. Или, хотя бы, дремлют!

В новую клетку нас с Петром почему-то не пересадили. Прошел еще день. И еще ночь. Ее опять простояла на часах внучка колдуна. Теперь она вдруг попросила рассказать про

Христа. Про Веру Православную: «Разобраться хочу. Дед говорит одно. Ты, поп, другое. Вот, к примеру, люди обвиняют нас в том, что мы, мол, не только скот режем, но и человечинкой не брезгуем. А вы, христиане, разве на своих тризнах в церквах не кровью и мясом младенческими балуетесь. Или как это у вас называется? Мы, так просто едим. Насыщаемся. А вы со всякими колодовскими заговорами это делаете. А?»

- Кто ж тебе такое сказал? – крутанул головой отец Павел.

- Дед. Он летал зимой на высший всеплеменной поднебесный совет чародеев. А потом рассказывал всем нам, что один волхв из племени тех, кто вашего Бога распял поведал. И даже показал. Вот волхв, так волхв! Он вашего Бога, когда тот крест на гору нес, даже пнул ногой! И этим заслужил безсмертие!

- От кого заслужил-то? – усмехнувшись, крутанул головой отец Павел.

- От наших богов. От самого главного.

- А как зовут его, вашего главного?

- Имя его произносить могут только посвященные. А вам тем более знать нельзя!

- Ну, расскажи, какой он?

- О-о-о! Это – огромный волк с рогами!

- По-о-онятно, - вздохнул поп, - сатана в волчьем обличии.

- Ты-ы-ы знаешь?! Тогда ты подлежишь немедленной казни. Не вздумай еще кому-нибудь сказать! Но непонятно мне: как это можно Бога распять? Он же должен быть сильнее всех.

- Он дал себя распять, чтобы все люди спаслись. Чтобы души жили вечно!

И отец Павел начал рассказывать о том, что каждый православный с пеленок знает. Полуволчица-полубаба внимательно слушала, опершись на бердыш и опустив глаза в землю. Так и простояла до рассвета. А тут вдруг подошел и старый колдун. Что-то прошептал ей на ухо. Она, не поднимая глаз, кивнул. И когда он ушел. Сказала только: «Готовьтесь…»

И отошла от нашей клетки на несколько шагов. В полдень небо затянуло тучами. Заморосил дождь. Поэтому полуволки-полумужики расползлись досыпать по шалашам. Полуволчицы-полубабы туда же затащили своих детенышей. Над станом стоял могучий храп. Наша сторожиха, сменившая внучку колдуна, накрывшись шкурой и опершись на бердыш тоже дремала. Дождь усилился. И в это время появилась внучка колдуна. Что-то шепнула

сторожихе. Та отдала ей бердыш и поплелась в дальний шалаш. Внучка же колдуна внимательно вгляделась в нас. Стерла с мокрой морды еще клок шерсти. Поглядела на него. Тихо спросила: «А если я захочу креститься в вашу веру? Так это у вас называется?»

- Так, - кивнул отец Павел, - пройдешь оглашение. И покрестят.

- Нет. Я хочу, чтобы ты крестил меня.

Вдруг она ножом перерезала ивняк и гибкие корни, которыми был приторочен лаз в клетку. И тихо повелела: «Пошли…»

- А как же наши холопы? – мотнул я головой.

- Мы за ними вернемся! – вдруг сказала полуволчица-полубаба. Она решительно и быстро пошла одной ей знакомой дорогой. Бежать после того, как в клетке затекли все конечности было трудновато. А отец Павел вообще задыхался: не молод уже! Но наша проводница торопила. Бежали мы долго. Но, наконец, впереди блеснула река. Медведица! Скатившись по мокрому песку с крутого берега, мы увидели лодку. И тут же позади, но совсем рядом раздался волчий вой.

- Погоня! – крикнула полуволчица-полубаба.

Мы прыгнули в лодку, а она оттолкнув ее от берега забралась и сама.

- Откуда лодка-то? – спросил я. И с силой налег на весла: «Сколько хаживал по тому берегу, сколько езживал, ни разу не видел ее здесь.»

- Они у нас в дальних камышах спрятаны. Я после сторожи перегнала сюда одну. А у других днища прорубила, - ответила внучка колдуна.

- А что ж дед твой нас не увидел? Во что он там смотрит? – спросил слегка отдышавшийся отец Павел.

- В кипящий котел. Но я деда настоем дремотных трав напоила… Бери правее по течению!

Мы были уже саженей на двадцать от того места, где прыгнули в лодку. Берег в нашу сторону переходил в густые заросли ивняка. Поэтому преследователи на могли бежать за нами. Но вот, они выскочили на берег. Натянули луки. И десятки стрел полетели в нас. Но только несколько достали, воткнувшись в корм и борт лодки. А одна… в спину нашей спасательницы. Она ойкнула и опустилась на днище. Мы перекрестились.

- Ну-ну, бабонька, - наклонился к ней отец Павел, - сей же час окрещу тебя. И ты

поправишься… Крещается раба Божия Акилина…

- А почему Акилина? – спросил Петр.

- Акилина была блудницей. Ее и еще одну послал языческий Царь, чтобы они соблазнили Христофора Кипрского. Но Акилина с товаркой сами уверовали во Христа и приняли мученическую смерть.

Полуволчица-полубаба осклабилась. А священник начал читать моитвы. Потом кивнул Петру: «Будешь восприемником! Читай Символ веры!»

-…Во имя Отца! Аминь! И Сына! Аминь! И Святаго Духа! Аминь! – разнеслось над рекой, и отец Павел полил трижды из пригоршни речной водой на голову внучки колдуна.

Она приоткрыла глаза. Слабо осклабилась. Прошептала: «Ну и слава вашему Богу! Нет, теперь – моему Богу!»

Волчья голова ее откинулась назад и набок. Взгляд остекленел. Отец Павел накрыл широкой ладонью глаза. А когда отнял руку, вслед за ней с морды стала слезать шерсть. Он перекрестился и стал отирать щеки, лоб, шею… Под его рукой волчья морда преобразовывалсь в женское лицо! И такое красивое! Молодое! Нежное! Я даже весла опустил.

- Вот оно! Чудо Божие! Милость Его! И наше укрепление веры! Помяни Господи во Царствии Твоем рабу Твою, невинно убиенную Акилину, положившую душу за други своя! – перекрестился отец Павел и стал читать отходную.

Проплыв еще некоторое время по течению, мы причалили к берегу. Вынесли из лодки Акилину. Переглянулись. Не говоря ни слова, я пошел к ближайшим кустам. Топором, которым, должно быть, Акилина дырявила днища лодок и потом принесла с собой, вырубил две жерди и много ивовых веток. Мы сладили носилки. Уложив на них тело Акилины, подняли и побрели по мокрому еще от паводка и дождя лугу к дороге, которая в этом месте, как я помнил, проходила верстах в трех от реки. Дождь то затихал, то снова усиливался. Должно быть, поэтому нам навстречу никто не попадался. Никто и не обгонял. Так мы прошли верст пять. Наконец, отец Павел нарушил молчание: «Князь Александр! А ведь только благодаря тебе мы сумели бежать.»

- Что это ты, отче? То Бога благодаришь, то мне какие-то заслуги приписываешь? – хмыкнул я.

- Да, конечно, Господь смилостивился. Но – через тебя! Посуди сам. Сидел я в

клетке без малого полгода. Что ж, думаешь, не пробовал вразумить этих несчастных? Да только они даже заикнуться не давали. И Акилинушка, - Царствие ей Небесное, - в приструнении самой лютой была. Хотя и чувствовал я, что лютость ее от сомнений всяких волчьих. Должно быть, - прости, Господи, за дерзновение, - кровь святого мученика Христофора течет в ней. Хоть единой капелькой, но течет. Вернее, текла… А тут - ты. Приглянулся ей. Вот тогда я и заговорил. Как бы с вами. Но так, чтобы и она слышала. И упало зернышко слова Божиего к ней в сердечко. А проросло-то как скоро! А?!

- Слава Богу! А что так скоро, так и святой Апостол Павел в миг перестал быть Савлом, - ответил я.

- Слава Богу! – словно эхо, отозвался Петр. И мы снова побрели в полном молчании. Скоро, - я узнал по дальнему лесу, - начались мои земли. А тут и сзади раздалось конское ржание и скрип колес. Я обернулся и увидел Зайца, восседавшего на телеге. Он пристально вглядывался в меня. А узнав, соскочил с телеги, заулыбался, поклонился. Но, заметив убиенную Акилину, перекрестился, недоуменно спросил:

«Откуда, княже? И почему пешком? А где холопы?»

- Все расскажу потом. Вот, подсоби! Притомились. Верст семь уже с эдакой скорбной ношей шествуем.

Охая, ахая, что-то шепотом причитая, Заяц водрузил на телегу носилки. Помог забраться и отцу Павлу. Мы же с Петром запрыгнули сами.

- Сам-то сейчас по такой непогоде откуда путь держишь? – спросил я, когда Заяц слегка хлестанул вожжами лошадку.

- С лесных угодий. С озер. Уток нынче много налетело. Вот, я и подумал: подловить их, крылья подрезать, да – на твой птичий двор. Матушка-болярыня благословила. Они с нашими, домашними случатся и, глядишь, одомашнятся. Опять же – прибыток. Вот и ездил разведать гнездовья.

- А почему на телеге. Верхом-то сподручнее!

- Да я в озере илу пару мешков набрал. Сказывал тут один пришлый инок, что он – не хуже навозу! Даже лучше. И я решил попробовать.

- Какой пришлый? – насторожился я.

- К отцу Никите заходил.

- Добро, - кивнул я.

- В терем? – спросил Заяц.

- Нет. Сначала – в монастырь. Надо упокойницу в ледник положить. Отпеть по-людски. Похоронить в оградке монастыря. Спасла она нас троих. Душу свою за нас положила. Но об этом - потом. Как там отец Никита?

- И-и-и, – заулыбался Заяц, - у него уже трое иноков подвизаются. Двое пришли сами. Одного он постриг. Трудников - душ двадцать. С разных мест. Работа кипит. Хозяйство процветает. Да и нашим людишкам он ни в чем не отказывает. А что присудили бывшему игумену? Не слыхал, княже?

- Про игумена врать не буду, - не ведаю. А братию, вроде как, по дальним монастырькам разослали.

- Тут всякие байки про Казанский поход бытуют. Толкуют, что ушли мы оттуда несолоно хлебавши. Или брешут?

- Нет, не брешут. Погода подвела. Весна была ранняя да талая…

- А еще тамошние колдуны постарались. Дожди и грозы вызвали, - вдруг подал голос Петр.

- Ко-о-олдуны? С нами Крестная сила! - крутанул головой Заяц и перекрестился. Мы последовали ему. В монастыре отец Никита тоже не сразу узнал меня. Преподал

благословение. Долго, прищурившись, вглядывался. А узнав, кинулся христосоваться. Усадил за стол. Велел принести яств, меду. Я вкратце рассказал про наше приключение. И добавил: «Хочу собраться с князем Иоанном Дубовым, тобой, вот, с братом. Да обговорить, как нам осиное гнездо это извести. Или посылать в Тверь за войском? Или сами, своими силами справимся?»

Отец Никита задумался. Покрутил ус. Пригладил бородку. Сказал раздумчиво: «Своими силами? Да что мы можем, немощные да слабые?! Здесь только Божией силой можно что-то сделать. А для этого сугубые молитвы нужны. Слыхал я что-то неясное про этих песьеголовых. Но, признаться, не очень верил. А тут, оказывается, бе-е-еда! Акилинушку вашу отпоем, как положено. Похороним в монастырской оградке. Вот ведь, какой молодец ты, отец Павел. Успел окрестить умирающую. Ишь, милость-то Божия в чем проявилась! Человечий облик обрела полуволчица! Спаси тя, Господи, отче! А теперь куда ты стопы свои направить желаешь?»

- Ох-хо-хо! Нет у меня прихода. Пойду по городам да весям. Требы служить буду.

- А попадья твоя где обитает?

- Померла она. Потому и пошел я язычников просвещать. Но наткнулся на нечисть.

- Так, в монахи тогда по обычаю постригаться тебе надобно было!

- Сам знаю… Вот, думаю, за то, что не постригся сразу, и наложил Господь на меня епитимию.

- Тогда предлагаю тебе остаться у нас. Примешь Ангельский сан. Припишем к нашему монастырю. Будешь окормлять холопов князя Иоанна Дубова. Он зна-а-атную церковь у себя на селе возвел. Даже не он, а дочка его, Аленушка. Добрая душа, скажу я вам, братия. К ней даже старые холопы и хопки, как к матушке родной, кровной относятся.

Сердце мое защемило. Но я постарался не подать виду. А отец Никита продолжил: «А уж как молится она! Я однажды увидел со стороны. Ангел, а не девица! За тебя, о здравии твоем, княже, на каждой Божественной Литургии записки подает.»

- Спаси Господи, - опустил я низко голову, почувствовав, что краснею.

Потрапезничав и оставив отца Павла в монастыре, мы с Петром отправились в мой терем. Вечерние сумерки готовились перейти

в предассветные. Но все мои домочадцы повскакивали на ноги. Вот, радости-то было! Матушка присела сбоку от меня и не отрывала свои руки от моего локтя. Сыновья в одних рубашонках оттирали друг друга от меня с другой стороны. Бабы стояли вдоль стен гридницы, подперев мизинцами щеки и радостно поплакивали. Степан и Фока не знали, как и угодить. Тем более, что, насытившись с дороги в монастыре, от всякой снеди я отказался. Наконец, матушка всплеснула руками и вскинулась: «Да что ж это мы все?! Ну-ка, - баньку истопить! Да чистое платье приготовить. Смотреть же страшно, словно в полоне каком-то побывали.»

Она вдруг осеклась. Задумалась. Отослала дворовых, моих сыновей, оставив только Степана. Строго спросила: «А где холопы, которые на Москве с тобой были? Как это ты с Петрушей добрались? На чем? Что случилось?»

- Были мы, тетушка, действительно, в полоне, - начал было Петр.

Но я перебил его: «Утро вечера мудренее. Завтра я хочу пригласить князя Иоанна и отца Никиту. Сразу после Божественной Литургии. Сядем рядком да поговорим ладком. А поговорить, ой, есть о

чем. И думать придется, ой, как крепко! Сей же час мы с Петром пойдем в баньку. А ты, матушка с отроками, дядькой Степаном, Фокой и другими ступайте на службу. Помолитесь, чтобы Господь разум просветлил, потому как в беседе нашей и решении понадобится ваша мудрость, опыт, смекалка. Дело нешуточное. А нам с Петрушей надобно отдохнуть.

…Хор-р-рошо мы попарились! В предбаннике выпили крепкого меду. А в покоях - еще и по чаре ромейского. И я заснул, едва голова коснулась подушки. Но во сне вдруг увидел, как новокрещенная Акилина в сверкающей длинной рубахе поднимается по широкой, белоснежной, безконечной лестнице вверх, к свету, на который и смотреть-то невозможно. Тут она оглянулась, помахала мне рукой и, повернувшись, продолжила путь. Нет! Это был полет. Чем выше Акилина поднималось, тем явственнее виделось, что она не касается уже подошвами ступеней. Так радостно стало на душе! Словно получил гостинец, о котором давно мечтал!

В субботу в десять утра я уже подъезжал к ДК имени третьего интернационала. Внутри его собралась молодежь. Одни

смеялись, другие шушукались, в третьей группе подросток громко рассказывал что-то при этом размахивал руками. А я разглядывал доску объявлений. Наконец, ребята на миг притихли и тут же почти хором воскликнули: «Елена Ивановна! Здравствуйте!»

Я обернулся и увидел, как молодежь окружила своего руководителя. И вместе с ней стала подниматься по лестнице в уже знакомый мне репетиционный класс. Я последовал за ними. Только теперь Елена Ивановна, обернувшись, заметила меня.

- Ой, простите! Меня здесь сразу берут в оборот! Ничего и никого вокруг не вижу, - улыбнулась она, протягивая свою узкую, маленькую, как у подростка, ладошку.

- Здравствуйте, - склонил я голову.

Елена Ивановна тут же представила меня своим ребятам и попросила их переодеться, как для концерта. Те радостно зашумели и поспешили куда-то, где очевидно хранились костюмы. Но скоро нарядные, статные появились снова. Девушки плыли словно лебедушки, гордо и почти неподвижно неся свои головки, украшенные дорогими кокошниками, совсем непохожими на те, стилизованные, что любому приходилось видеть на концертах какой-

нибудь «Березки» или хора имени Пятницкого.

- Видите, костюм, оказывается, тоже воспитывает - говорила Елена Ивановна. Словно песню пела: «Ну разве сможет женщина в таком головном уборе делать резкие угловатые движения, прыгать, дрыгать руками и ногами? Нет! Женщина выступала павой. Чувствовала ответственность за свой внешний вид. А он всегда был именно женственным! Женщина на Руси была, говоря современным языком, дисциплинированной. А по старинке: послушливой. Но это – праздничные костюмы. Однако, голова женщины всегда была покрыта в знак послушания Богу и мужу. А вот – кика, женский головной убор, - любовно погладила она ярко-красную, показавшуюся мне странной, рогатую шапку. А это – настоящий кокошник. С четырьмя килограммами золота и речного жемчуга! Смотрите, даже потускневший метал выглядит благородно!»

- А почему эта кика – рогатая? – спросил я.

- Давайте для начала я расскажу о девичьих головных уборах? Древний обычай разделял головные уборы на девичьи и женские. Девичьи — «венцы», «коруны»,

повязки, «почёлки» охватывали голову обручем, не покрывая целиком, оставляя возможность потенциальному жениху оценить цвет, присмотреться к блеску волос встреченной им незнакомки. «Девушки ходят с открытой головой, носят только укрепленную надо лбом повязку. Волосы девушек ниспадают до плеч или с гордым изяществом заплетены в косу» — так описывал столичных жительниц, увиденных им в Московии XVII столетия, один иностранный посол. Только девушкам позволялось завивать волосы, - особенно их концы, - и украшать их. Помните: коса — девичья краса? Чаще всего мягко заплетенную косу девушки венчал косник (или накосник): прочно сплетенный золотой шнурок, который крепился к треугольному основанию, приходившемуся на начало косы, у самой головы. На равном расстоянии друг от друга к шнурку пришивались бусины, жемчуг, ленточки, иногда — кружево. Все это оптически увеличивало толщину косы. Треугольное основание косника обычно делалось из прочного, но гнущегося материала типа бересты и обтягивалось дорогой тканью: шелком или бархатом. У каждой девушки косник был свой, вышитый и «зело изукрашенный» в соответствии со

вкусами его хозяйки. Для удобства косник часто соединяли с налобной повязкой, которая звалась «чёлкой», - от древнерусского слова чело — лоб. «Челка» придерживала распущенные волосы во время праздничных веселий, например, святочных и масленичных игр. С любовью и тщательностью вышитые девичьи «челки» и «накосники» хранились в семейных сундуках десятилетиями. Внучки с любопытством разбирали «богатства» своих бабушек, иной раз надевали, но чаще — использовали как образец, когда мастерили свои собственные. Обычай носить с детства на лбу плотную повязку навсегда отучал девушку от лишней мимики — вскидывания бровей, привычки морщить лоб, которые могли испортить его гладкость. Вот оно – лучшее средство от морщин! Даже дома, не на людях, девушки стягивали чело широкой льняной лентой. Она и предохраняла глаза от струящегося в жару пота, и могла с успехом выполнить роль компрессной маски, если пропитывалась растительным, - чаще всего льняным или конопляным, - маслом, сывороткой из-под простокваши, отварами полевой ромашки, мяты, лопуха, крапивы. Иногда к парадным «челкам» у висков крепились цепочки или ленточки,

завершавшиеся полукруглыми полыми «колтами»-подвесками…

Я старательно записывал рассказ Елены Ивановны в блокнот. Но вдруг она взглянула на часы. Всплеснула руками: «Ой! Простите меня. Давайте, теперь мы начнем репетицию. Ребята заждались.»

И тут они запели, - ой, нет, заиграли! – песню. Да так что во мне проснулась тяга тоже встать рядом с этими молодыми людьми и девушками! Встать и запеть! Нет, опять не так: за-иг-рать! Что-то позабытое проснулось в сердце. Ведь я где-то и когда-то это уже слышал. Помнил. Но оно как бы заснуло во мне. Не забылось. Забылось только: «где» и «когда». И вот, теперь начало просыпаться! Неожиданно я почувствовал, что шепотом подпеваю. А Елена Ивановна останавливала ребят, девушек. Делала замечания. Сама пела, показывая, как надо это делать. Я записывал в блокнот свои мысли. Время от времени вставал и фотографировал. И не заметил, как пролетели три часа.

В репетиционный класс вошла молодая, склонная к полноте, женщина. Противоположность Елене Ивановне. А последняя представила первую мне: «Это – наш хореограф. Тоже Елена, только

Михайловна. Она сейчас займется с малышами. Останетесь?»

- Да, конечно! А вы уже закончили свой рабочий день?

- Ой, нет! Мне еще журналы заполнять. А я так не люблю этой бумажной отчетной волокиты!

И она ушла. Я сделал несколько снимков. Записал фамилии детей. И нашел Елену Ивановну в соседнем классе, где она что-то писала в журналах, похожих на классные. Я попросил ее показать планы, альбомы, одним словом все то, что просматривал в коллективах художественной самодеятельности, будучи в командировках от ЦДКЖ. И там нашел много интересной информации. А тут как раз Елена Ивановна захлопнула последний журнал, Выдохнула: «Всё-о-о!»

- Можно, я вас провожу? А вы продолжите рассказ про женские головные уборы, - спросил я.

- Я очень далеко живу! В Косино! Надо ехать на метро до Ждановской. А потом еще - и на автобусе. Да и неужели «Московский железнодорожник» интересуют такие тонкости?

- Нет, конечно. Но какие-то детали могут пригодиться. А потом, чтобы надежно

защитить вас, я хотел сделать материал и для «Гудка». И, если Бог даст…

- Ну, что ж, тогда пойдемте. Только вы идите первым. А я догоню.

Я спустился и в фойе нос к носу столкнулся с Марком Эрастовичем. Тот расплылся в сладкой улыбке: «О! Вы опять к нам?»

- Да, у меня – редакционное задание, - протянул я в ответ руку.

- По поводу?

- По тому же, что и в прошлый раз.

- Может быть, тогда зайдем ко мне в кабинет? Я вам столько могу рассказать про этих фольклористов!

- Хорошо. Только давайте, в другой раз. Я позвоню вам. Мне просто надо срочно ехать в редакцию, - соврал я.

- А что, вы тоже работаете по выходным? – усмехнулся он.

- Бывает. Рабочий день не нормирован.

- Ну, как угодно, - скривил он губы, а я вспомнил, что так же делал Герман на Воже. Я пулей выскочил из Дома культуры. Подумал: «Елена Ивановна была права, отослав меня вперед. Что бы мог наплести этот Марк Эрастович, увидев нас вместе?! Но и с ним тоже надо, действительно, встретиться, чтобы узнать, чем дышит, на

что способен». И я медленно направился к троллейбусной остановке. Там меня и догнала Елена Ивановна. Я рассказал о моей встрече с заместителем директора.

- Он органически не выносит русские песни. Не те, что два прихлопа, три притопа, а настоящие, певучие, многоголосые, гармонически очень сложные! Мне иногда кажется, что, когда мы поем, у Марка Эрастовича внутренняя аллергия начинается.

- Значит он – зоологический русофоб! – засмеялся я.

- Вот-вот, - кивнула Елена Ивановна.

- Если вы не возражаете и не передумали проводить меня, то мы зайдем в магазин у метро «Текстильщики». Мне же еще обед готовить на завтра. Мужа, дочек кормить.

- Хорошо. Только вы уж тогда продожите свой рассказ о женских головных уборах.

Елена Ивановна улыбнулась и заговорила: «Ритуал смены головного убора — с девичьего на женский, или как говорили в народе, «окручивание», — был центральным моментом свадебных торжеств — и в семье «простеца», и в с зажиточном доме. От этого ритуала, кстати говоря, пошло и выражение «окрутить

девку» — то есть заставить ее выйти за себя замуж. В слове, обозначающем ритуал, заложено описание действия с девичьими волосами: вместо одной косы, - символа девичества, - их заплетали в две. Те, в свою очередь, укладывали в круг, «окручивали» вокруг головы, чтобы покрыть сверху легким тонким платком, концы которого обвязывались вокруг шеи — «выи». Потому и этот головной убор мужатицы именовался повоем. Иногда повой покрывал небольшую шапочку или, наоборот, высокий кокошник и накидывался поверх него.»

Тем временем мы до ехали до «Текстильщиков и зашли в магазин «Продукты». Елена Ивановна между словами своего рассказа обращалась к продавцам, кассирам: «Три двадцать пять, пожалуйста в молочный отдел…» Или: «Двести граммов любительской… А кефир у вас сегодняшний?»

И продолжала уже для меня: «Этнографы считают, что в основе ритуала окручивания лежало древнее поверье о магической силе женских волос. Не случайно же они, - именно женские, а не юных девушек, - всегда присутствовали в составе «чародейных» смесей, готовившихся знахарками и ведуньями. Нередко колдуньи

советовали тем «мужатицам», которым изменяли мужья, вкладывать комочек своих волос в подушку изменникам. Это, по слухам, начисто отбивало у их супругов охоту ходить «налево». На древнерусских иконах вьющиеся волосы у женщин — обычный символ блудниц. Строки древнего заговора от сглаза гласили: «Спаси меня от колдуна, от девки кудреволосой и от бабы простоволосой». Православные иконописцы, следовавшие канонам, были твердо убеждены, что у целомудренной женщины не может быть прически, схожей с интимным, «срамным» местом. Волосы на голове и теле «мужатицы» позволялось видеть только ее «мужу и повелителю». Срывание головного убора с замужней женщины каралось штрафом, равным штрафу за обесчещение.»

- Погодите, - не выдержал я, - но, насколько мне известно, за обесчещивание, как и за износилование у древних славян предполагалась смертная казнь! Вплоть до раъятия на двух березках. И - независимо от чина и сословия.

- Не знаю-не знаю… Я говорю то, что вычитала. Везде и повсюду замужняя женщина должна была появляться только с покрытой головой. Чесание, переплетание волос и окручивание сопровождались в

свадебном обряде с ритуальным плачем, — прощанием с девичеством и его символом, — косой-«красотой». Девушка выплетала из косы ленту, - «красоту», - и отдавала ее подругам. Те рвали ее на части и носили кусочки как оберег-пожелание счастливо найти своего суженого. Невеста же надевала на голову фату и отправлялась в церковь. После венчания ее голову должен был покрывать уже другой, соответствующий новому положению убор. В разных землях России он имел разные названия. Одно из наиболее известных — «кокошник». Слово это произошло от древнерусского слова «кокошь», то есть курица. Петух, в отличие от нее, именовался «кокотом». Название этого убора появилось, по всей видимости, потому, что сам он напоминал гребешок. Кокошники носили только замужние женщины. Надеть девичий венец с открытой головой они после свадьбы уже не могли. Мастерицы-«кокошницы» знали хитрые приемы выделки легких и носких женских головных уборов. Кокошниками их звали лишь в нескольких губерниях России — Владимирской, Ярославской, Нижегородской, Костромской. В других русских землях у схожих с кокошниками головных уборов и названия были другие:

«каблучок», «наклон», «злотоглав», «рогачка», «сорока» или, например, «кокуй». Одна из давних поговорок иронично замечала по поводу замужества: «Вот тебе кокуй — с ним и ликуй!». Мол, не топропись со свадебкой-то! Замуж-то — не напасть, кабы за мужем не пропасть... Ой, а сыру мне во-о-он тот кусочек взвесьте, пожалуйста.»

Это она уже говорила продавцу в гастрономическом отделе. И тут же, полуобернувшись ко мне, продолжала: «Самым же распространенным наименованием головного убора замужней женщины была кика или кичка. «В некоторых захолустьях еще и в настоящее время можно видеть у крестьянок и горожанок головной убор, похожий на перевернутый кузовок. Иногда он с рогами, сделан из лубка или проклеенного холста, обтянут позументом или тканью яркого цвета, украшен разными вышивками и бисером. У богатых баб я видел даже кики, украшенные дорогими каменьями», — так описывал кику знаток русского быта, этнограф и историк Савваитов. Возникнув в одной местности, бытуя в другой, тот или иной вид женского головного убора сохранял в названии имя своей родины: например, «кика новгородская» или «торопецкий

каблучок». Кики делались мастерицами, как правило, подолгу; купленные в подарок от мужей — женам, они во всех домах хранились с особым тщанием. Мягкая тулья кики шилась точно по голове ее хозяйки; на тулью крепился жесткий верх разнообразных форм и объемов. В некоторых местах для кик использовали ту же бересту, в иных — проклеенный в несколько слоев холста и бумаги «картон». Все это «сооружение» крылось большим куском плотной материи, которая сшивалась сзади. Впереди на лбу кика украшалась сложноплетеным кружевом, узорным галуном, перламутровыми плашками из речных ракушек, золотым шитьем и бусинами речного жемчуга - «поднизью» или «очельем».. Я такую вам сегодня показывала. Если в украшении использовалась вышивка — то чаще всего это был растительный орнамент или стилизованные птицы. Пристрастие русских крестьянок и купчих к жемчугу было отмечено многими иностранными путешественниками. Причиной этого была его дешевизна, доступность не только для зажиточных слоев зажиточных слоев, но и для умелых девушек из простонародья. Поскольку кика носилась не один день и

надевалась не только на свадьбу, но и на другие большие праздники, - например, на Пасху, Рождество, - в ее декоре использовались такие детали, которые призваны было скрыть следы времени на женском лице. Такую роль выполняла и упомянутое выше жемчужное «очелье», которое низко, до бровей спускалось на лоб, и тонкие поблескивающие «ряски» или «рясны» — привески по бокам в виде бахромы или виноградных гроздьев из перламутровых бусин. Они успешно отвлекали взгляд от немолодых щек и скрывали морщины у мочек ушей.»

Я подумал, что все эти женские хитрости мне совсем неинтересны. Но послушно слушал, отмечая только необходимое. Елена Ивановна продолжала: «Сзади швы кики прикрывались кусочком дорогого меха, как правило, собольего. В зимнем варианте кика вообще вся крылась меховыми шкурками, которые на редкость ладно сочетались с кованым серебряным кружевом, - пластинками, - нашивавшимся поверх шкурок, а также тонким серебристо-шелковым повоем, покрывавшим голову под кикой. Когда ткань повоя была достаточно тонкая, концы его могли быть завязаны большим бантом под подбородком. Типы кик

и кокуев были очень разнообразны. Традиционные особенности их украшений обычно более зависели не от индивидуального вкуса, а от места проживания их обладательниц. Обычай требовал соблюдения всех правил — и в выборе тканей, и в цветовой гамме, и в декорировании. Знаменитая княгиня Дашкова, - по-моему она даже Академией наук заведовала, - писала: «Что касается уборов и одежды простого народа, то они настолько традиционны, что в каждой деревне по их форме и крою, можно отличить пришлых людей от коренных обитателей. Шапочки тверских женщин настолько отличны от московских, как одежда индейцев от европейского платья»! Мастерицами по выделки кик бывали, как правило, несуетные монашки. Работая в своих кельях, они вышивали не только церковную утварь, но и вещи на продажу — платки, повои и другие части женских головных уборов. Иные женские «шапки» могли стоить от двух до семи тысяч рублей, — целое состояние для небогатой крестьянской семьи. «В таком наряде внучка с прабабушкой, очень сходные между собой, щеголяли по двести лет, щеголяют и теперь, и сделать какую-либо перемену в костюме

считают ужасным преступлением», — насмешливо подметил автор одного из путеводителей по Москве, изданного в конце прошлого века. «Нынешний день у них всегда повторение прошлого», — вторил ему его современник-француз, побывавший в российской провинции. Он писал: «Ничто не изменяется! Их женщины, с румянами на лице (ибо у них слово «красный» означает «красоту») надевают в праздничные дни покрывала с галунами и повойники с бисером, доставшиеся им по наследству от матушек и украшавшие еще их прабабушек.» Сразу отмечу: богато изукрашенные кики носились только по праздникам. В обычные дни головные уборы замужних женщин напоминали праздничные только по форме. Они делались из простых и легких материалов и были прежде всего удобны.

- Простите, а можно мне во-о-он ту веточку винограда? – отвлекшись опять, спросила она продавца у овощного киоска. А для меня, расплатившись, продолжила: «Поскольку в разных сословиях того времени отношение к красоте и ее понимание было различным, не удивительно и то, что многие горожане не без насмешек воспринимали стойкую приверженность русских крестьянок к традиционным

головным уборам. Не только иностранцы, но и, например, известный русский филолог и собиратель русского фольклора, автор знаменитого «Словаря» Владимир Иванович Даль записал о кике: «Это некрасивый, но богатый головной убор, выходящий из обычая». Между тем, в деревне и в маленьких провинциальных городах не только в его время, но и много позже любовь к девичьим венцам и женским кикам держалась, несмотря ни на какие капризы переменчивой столичной моды. Девичьи и женские головные уборы были функциональны, соответствовали особенностям климата. А главное, в каждом доме они хранили память о тех, кто их когда-то носил, а потом описывал в семейных бумагах с любовью и знанием каждой мелочи: «венчик золотный, ошивка цепковая, кичка низанная, ошивка атласная, а яхонт выпал...». Я вас утомила?»

- Нет, что вы! Наоборот, очень интересно. Простите, а вы в Бога веруете? – мотнув головой, вдруг сказал я.

- В Бо-о-ога? - округлила глаза Елена Ивановна. Но тут же опустила их: «Ну-у-у… Я – крещеная. А почему вы спрашиваете?»

- Я сам верую. Но меня смутили ваши ссылки на язычество.

- А-а-а, - заулыбалась она, - вы знаете, язычество мне – ближе. Оно - веселое… Более широкое, что ли, для ума и фантазии. А в Христианстве? Не знаю… Мне особенно даже почитать некогда. На мне – муж и две дочки. Старшей – восемь, младшей – пять. У Андрюши, - у мужа, - тоже проблемы на работе. Написал он диссертацию. Его научный руководитель, Арон Моисеевич, предложил даже книжку издать! Но так, чтобы его фамилия стояла первой, а Андрюшина – второй. Ну-у-у, муж и наговорил там что-то. Потом написал заявление об уходе из института. Сейчас никуда устроиться по специальности не может. Зато, все хозяйство – на нем: стирка, глажка, готовка, уборка, уроки старшей дочери. А я? Вот, заброшу продукты домой и – в ДК Косинской фабрики. Там ведь я тоже кружок веду.

Мне стало как-то не по себе. Потерял интерес, что ли? И не из-за ее замужества! Валентину бы забыть! Но я твердо решил защищтить Елену Ивановну. Поэтому сказал: «Знаете что? Я сейчас посажу вас в метро. А сам тоже поеду домой. Мне написать надо все, что подчерпнул от вас сегодня. Это ведь дело – такое. Не напишешь сейчас, не напишешь никогда. Если у меня

какие-нибудь вопросы к вам возникнут, я позвоню по телефону. И не безпокойтесь: когда напишу, обязательно покажу вам. Или прочитаю по телефону. Чтобы каких-нибудь специфических ляпов не случилось. Договорились?»

Елена Ивановна улыбнулась в ответ: «Спасибо вам…»

И, развернувшись, поспешила в метро. А я купил бутылку пива. Сел в электричку, которая шла в сторону Курского вокзала, - благо, проезд безплатный. В вагоне открыл пиво и залпом выпил. Вернувшись домой, я сразу же засел за письменный стол. Набросал очерк. Но тут раздался телефонный звонок. Это был Алеша: «Санек! Мне только что звонил Антон Сергеевич. А ему позвонил какой-то очень высокий чиновник из ЦК нашего профсоюза. Оказывается, этот хмырь… Ну-у-у, заместитель-театрал уже стуканул на тебя. Мол, ты не пожелал побеседовать с ним. Мол, принял сторону Елены Ивановны, а его пытаешь опорочить. Ну, и так далее. Вот, Антон Сергеевич и просит тебя съездить на репетицию своего народного театра. Поиграй в объективность! Жалко же старика! Кстати, не удивлюсь, если уже и Палычу позвонили и сказали: «Ай-ай-ай»!

- А когда репетиция?

- Завтра в полдень.

- Хорошо. Съезжу.

- Вот, и умница. И постарайся даже виду не показывать, что ты – на стороне Елены Ивановны.

Мне вдруг стало противно от этой игры! Блат! Везде – блат! Как там говаривала Татиана? Кровь? И снова зазвонил телефон. На этот раз в трубке я услышал голос Жени: «Саха! Ты смотреть новое жилье собираешь? Я мог бы сегодня с тобой съездить. А?»

- Давай, - вздохнул я, с жалостью посмотрев на рукопись.

…Через час мы встретились с Женей на площади Маяковского. И пошли вниз по Садовому кольцу, в сторону Красной Пресни. Вспомнился Святослав, - Царствие ему Небесное. Широкий подъезд за двойными, резными, под три метра в высоту, дверями, - хоть в футбол играй, - лепкой и росписью под потолком свидетельствовал о времени постройки дома: где-то конца XIX-го – начала XX веков. Доходный! Вокруг открытой шахты лифта извивалась мраморная лестница с литыми под причудливые растения перилами. Женя восхищенно разглядывал все это.

- Да-а-а, тут третий этаж, похоже, на высоте пятого в современных домах, - восхищенно крутанул он головой. На входной двери были установлены три звонка. Женя посмотрел в блокнот и позвонил в один из них. Звякнул замок. И в приоткрытую дверь выглянула пожилая, но ярко молодящаяся женщина. Узнав о цели нашего визита, заворковала: «Вот, и - хорошо! Вот, и - замечательно! Сейчас все покажу. Проходите, пожалуйста.»

Широкая и длинная прихожая, - хоть на велосипеде катайся, - по периметру была заставлена шкафами, сундуками, чемоданами. Женщина, открывшая нам дверь, представилась: «Зовут меня Зинаидой Степановной. Я – соседка ваших обменщиков. Они поручили мне показать комнату. Мы всегда были добрыми соседями! Надеюсь такими станем и с вами. Только с кем из вас двоих?»

- Со мной, - слегка склонил голову я и, указав на Женю, добавил, - а это – мой лучший друг и коллега.

Мы вошли в комнату двадцати квадратных местров. Закатное солнце, казалось, наполнило всю ее своим светом. Огромные окна, широкие, - в метр! - подоконники, паркет, лепнина на потолке

сразу очаровали меня. Женя тоже застыл в восхищении.

- Ну, – спросила Зинаида Степановна, - как вам?

Я взглянул на Женю и спросил будущую соседку: «А что ж, хозяева здесь не живут?»

- У них мама – древняя старушка! На ладан дышит. Они и переехали к ней. Ухаживают. Если вы согласны, я сообщу им сегодня же. Надо бы поскорее обмен оформить. А ну, как старушка помрет. А там – двухкомнатная квартира. Правда, - в Капотне. Вы, наверняка, знаете об экологическом неблагополучии этого района.

- Да-да, - кивнул я и определился, - передайте, что обменяться могу хоть завтра! Пусть позвонят мне. Или – Жене.

Когда мы с ним вышли на улицу, он чуть не задохнулся от вострога: «Саха! Как я рад за тебя! Лучше не найдешь! Да и сеседка, по-моему, - добропорядочная женщина. Пойдем, отметим это дело в ЦДЛе! По пивку! Я свою Танюшу предупредил о том, что мы в случае удачного варианта можем задержаться. Она сказала, что будет держать фигу за нас!»

- А как мы туда пройдем?

- Бог даст такой праздник отметить! – хмыкнул он. И действительно, только мы подошли к массивным резным дверям, Женя окликнул кого-то. Представил меня. И незнакомый мне по фамилии поэт, член Союза писателей СССР провел нас, кивнув вахтершам: «Это – со мной.»

…- Ну, Жека! Сегодня с меня причитается! – не находил слов радости я. Встав в очередь к буфетной стойке в рисованном зале, определил: «Сегодня пьем коньяк! Пивом как-то стыдно такое событие отмечать! Тем более, что роскошное жилье я получаю с твоей легкой руки!»

- Да-а-авай! – засмеялся он в ответ.

- А этого, ну-у-у, который провел нас, надо бы тоже пригласить?!

- Не думай об этом! Он уже давно в ореховом зале сидит. Ла-у-у-уреат!

- Вот уж, стыдно, но никогда не слышал его стихов! И фамилию тоже не знаю.

- Здесь - таких, как огурцов в бочке с рассолом! Ха-ха…

- Хор-роший образ!

- Не продам! Я уже использовал его!

Мы взяли триста граммов коньяку, тарталеток, лимон, кофе. И уселись в уголок. Потом еще добавили. Потом Женя пошел к буфетной стойке. Одним словом, вышли и

Дома литераторов и только на такси добрались каждый до своего жилья. А утром я встал часов в десять. Охнул. И, приняв контрастный душ, выпив только кофе, кинулся к платформе Лосино-Островская, - так было быстрее. Однако, без двух минут двенадцать входил в ДК имени третьего интернационала. Там вахтер сразу проводил меня в малый зал, где на сцене уже собрались все самодеятельные артисты. Марк Эрастович завидев меня, и как ни в чем не бывало, затряс мою ладонь. Но все-таки покачал головой: «А я, признаться, думал, что вы что-то затеяли против меня. Простите. Присядьте пока. Я расставлю всех на свои места… Может, пока – чашечку кофе? Сейчас Марианочка сделает… Мариана!..»

- Нет-нет, спасибо, - замахал я рукой, - я утром пил…

- А я, знаете ли, за репетицию выпиваю чашек пять-семь. Ну мы с вами еще коньячку тяпнем сегодня… Так! Все встали на свои места. Начинаем… Со второго акта! И-и-и… - это уже относилось к самодеятельным артистам.

А я, грешным делом, подумал, что коньячку мне сейчас не помешало бы. После вчерашнего… Подсев ко мне, Марк

Эрастович горячо зашептал на ухо: «Мы сейчас ставим пьесу Анри Шнеерсо. Это - великий современный французский драматург. Преставляете… Шестеро мужчин и одна женщина оказываются выброшенными с потерпевшего крушение корабля на скалистом островке в Средиземном море?! Один герой – быший эсесовец, другой – вор-рецидивист, третий – еврейский раввин, четвертый – совесткий эмигрант, из бывших, пятый - простой французский торговец овощами, обы-ы-ыватель, наконец, шестой - чекист, бежавший во время Второй Мировой войны из фашистского плена, но оставшийся во Франции. В душе же он - верен человеконенавистническим идеям Сталина, шестой – художник. А женщина – парижская проститутка! Представляете, какая психологическая коллизия здесь разворачивается?! Какое художественное противоречие, столкновение, борьба действующих сил? Вы же наверняка знаете, что этот термин введён в эстетику Гегелем и употребляется синонимично термину «конфликт», но подразумевает исторический масштаб, глобальность, универсальность изображаемых противоречий или определяет противоречие скорее как момент внутренней

структуры, как способ, чем как предмет художественного отображения.»

Я не представлял. И не знал. Как не представлял и не знал того, что в Средиземном море есть необитаемые острова. Тем более, скалистые. Но, вспомнив просьбу Алеши, закивал головой. А со цены услышал только крики, вопли, визги, истерики, взаимные поношения героями друг друга. Потом «героиня» пыталась соблазнить по очереди всех шестерых, и на это согласился только «бывший чекист». Но опять – с руганью и истерикой. «Странно, - подумал я, - но в подобных ситуациях люди наоборот пытаются и морально, и физически поддержать друг друга. Жалеют. Ведь только сообща, сплотившись, можно преодолеть «коллизии». Как-то не по-людски живут «герои» этого «великого» драматурга».

Одним словом, когда закончилась репетиция, у меня разболелась голова. И ощущение в душе было такое, словно я на поле наступил в «коровью лепешку». Поэтому представил, как могут чувствовать себя зрители, побывавшие на таком спектакле. У-у-ух! Врагу не пожелаешь! Зато Марк Эрастович, ведя меня под руку в свой кабинет, захлебывался восторгом! Говорил-говорил-говорил: «Это же гениально! Вы

представляете?! А в конце этот самый обыватель, торговец овощами убивает всех! А сам бросается с высокой скалы в море.»

Этого я тоже представить не мог! Но, облизнув пересохшие губы, кивнул. В кабинете заместителя директора я безсильно опустился в кресло. А Марк Эрастович попросил вошедшую мужеподобную некрасивую, какую-то дебелую девицу в слишком короткой юбке: «Марианочка! Сделай нам по чашечке кофе!»

А мне указал на нее: «Вот ведь! Есть ведь еще самородки в этом народе! В этой стране! Марианочка – очень талантлива как режиссер! У нее - большое будущее! Она сейчас помогает мне, как помощник режиссера на общественных началах. Всё на лету ловит! Как губка впитывает! Поверьте! Вы про нее еще услышите.»

Девица осклабилась. Хмыкнула баском и вышла. Но скоро вернулась в подносом, на которой парили две чашки и лежало блюдце с бутербродами. А Марк Эрастович достал из стола початую бутылку коньяку. Попытался разлить его по стопкам. Но я покрутил головой: «Спасибо. Я пить не буду. Вчера хорошо посидел в ЦДЛе. А сегодня – еще за пишущую машинку.»

- Понимаю, - слегка скривил губы Марк Эрастович, - ну-у-у, тогда я тоже ограничусь кофе. А если хотите, мы с вами как-нибудь сходим в Дом Актера. Вот, и Марианочку пригласим с какой-нибудь подружкой.

- Созвонимся, - кивнул я, - а нельзя ли мне взглянуть на отчеты, планы, журналы вашего коллектива художественной самодеятельности?

- Да-да, конечно, - задвигал он ящиками письменного стола. Полчаса я листал документацию. И не заметил в репертуаре ни одной русской пьесы. Да и имена авторов были мне незнакомы. Подумалось: «А может быть, это я – такой неграмотный, необразованный?! Хотя в театр всегда любил ходить. И даже в армии, приезжая раз месяц в Москву на выходные, к родителям, не упускал вечера, чтобы не купить «лишний билетик» на какой-нибудь спектакль». А Марк Эрастович жарко говорил: «Целый пласт! Огромный пласт западной культуры, драматургии так и не вскопан до сих, после открытия «железного занавеса», в этой стране. Это же – варварство! Сталинизм в самом его зверином обличии. Вот, мы, молодое поколение режиссеров-постановщиков, - а нас немало! –

взяли на себя эту черную, грязную работу! Зато – авангард! Значит – первые! Старики нас, конечно, не поймут! Станут осуждать! Что ж делать?! Так всегда было с первопроходцами. К тому же, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Вы, конечно, согласны со мной?!»

- Я хотел задать вам главный вопрос: в чем суть конфликта с Еленой Ивановной? С вашей позиции?

- Я вас умоляю! - замахал руками мой собеседник. Сделал глоток кофе: «Какой конфликт?! Просто я как рукводитель усомнился в целесообразности существования ее коллектива народного творчества. Какого, позвольте спросить, народного? Ка-а-акого народа? Русского? Так его давно нет. Всё смешалось в… русском народе. Сколько инородной крови? И азиатской, - еще со времен татаро-монголского ига, в составе которого был не один десяток различных национальностей! - и западной, - прибалтийской, немецкой, польской, и южной, той же еврейской. А каком самобытном фольклоре может идти речь?! Нет его! А потом настоящее искусство не имеет национальности! Оно – интернационально! Наднародно! И нам сейчас, - я подразумеваю

культпросветработников, - надо нести в массы международное искусство! Вот я и усомнился в целесообразности. И что же услышал в ответ? Истерику в духе шовинизма и самого разнузданного зоологического антисемитизма. А если проанализировать, то самые лучшие произведения в любом виде искусства дали миру именно евреи. А кто дал миру величайших пророков, Моисея, Давида, Соломона, Христа, Ностердамуса, Маркса и других революционеров, Альберта Эйнштейна? А? Еврейский народ! Вы согласны? И это при том, что еврейский народ из века в век гонят, громят, сжигают. Добавлю: ответная истерика со стороны многоуважаемой Елены Ивановны есть ничто иное, как нарушение трудовой дисциплины, неподчинение руководителю! Хотя я не ставил вопроса об упразднении фольклорного ансамбля. Повторюсь: я всего лишь усомнился в его целесообразности.

Ох! Как же мне хотелось дать ему по роже за его оскорбление моего народа, русской культуры, искусства, истории. Но я опустил глаза. Сдержался. Струсил? Нет.Тут же оправдался про себя: главная моя задача – оградить Елену Ивановну от нападок этого молодого мракобеса. Поэтому я старательно

записал его слова в блокнот, пожалев при этом, что нет у меня диктофона. И через полчаса старался отдышаться на улице. Вспомнились и Минский, и Гомельский заместители директоров. Тоже – руководители театральных коллективов. Тоже – любители интернационального авангарда. Впрочем, совсем не интернационального. Марк Эрастович четко приписал лучшие достижения мировой культуры своему народу. Вот где, оказывается, махровый шовинизм! Своей волей лишать другой народ, у которого сидишь на шее, самобытности, а свой считать чуть ли не благодетелем в чужом дому!

«Вот она – линия моего фронта!» - подумалось вдруг. Я присел на лавочку под вековой липой. Раскрыл блокнот. И через некоторое время, подняв от него глаза, увидел, как из дверей ДК вышел Марк Эрастович. Сбоку к нему «приклеилась» «Марианочка». А я вдруг вспомнил, как Валера говорил об извращенчестве еще одного «великого», Шарля Бодлера, который мог жить только с физически уродливыми женщинами. Тогда я вернулся в ДК и прошел в репетиционную комнату Елены Ивановны. Там занятия со взрослыми подходили к

концу. Но я старательно записывал в блокнот каждую мелочь. А потом, когда мы остались с Еленой Ивановной одни, засыпал ее вопросами. Попросил показать фотографии из фольклорных экспедиций. Несколько штук отобрал. Обещал вернуть. И только поздно вечером вернулся домой.

На следующий день я в присутствии Владимира Ивановича и Алеши рассказал Валентину Павловичу о работе в субботу и воскресенье. О Марке Эрастовиче и его разглагольствованиях.

- Фру-у-укт! – крутанул головой Владимир Иванович.

- Молодец, – кивнул мне Валентин Павлович, - так тебе положены отгулы за работу в выходные дни.

- Зачем?! – отмахнулся я. Но тут же пожалел об этом и признался: «Вообще-то они пришлись бы мне кстати. Надо оформить документы на обмен жилья, переехать, прописаться.»

- Наверное, нужна машина? – спросил главный редактор.

- Не помешала бы. Только небольшая.

Валентин Павлович тут же поднял трубку и заказал на редакцию «УАЗик»… А через три дня я въехал в свою новую комнату на улице Алексея Толстого. Познакомился с

мужем Зинаиды Степановны Павлом Петровичем. Оказалось, что он до выхода на пенсию работал кинооператором на телевидении. Но теперь они оба большую часть года проводили на даче под Обнинском. Другая соседка – высохшая, сгорбленная старушка не очень опрятного и приглядного вида прошла мимо меня. Что-то пробурчала себе под нос. Квартира представляла собой, кроме жилых, еще целый набор подсобных помещений. Комнатка рядом с кухней, - как мне пояснили, - до революции предназначалась для прислуги, - и две кладовки принадлежали Зинаиде Степановне и Павлу Петровичу. Соседка-старуха ограничивалась стареньким шкафом у своей двери. Мне же предложили занять антресоли над шестиметровым коридором между прихожей и кухней. Что ж, особо хранить было нечего. Еще не обжился. Поэтому я, учитывая возраст соседей, не возражал.

Всю оставшуюся неделю я вечерами, после работы, наводил порядок в своей комнате. А в субботу пригласил на новоселье Палыча, Алешу, Владимира Ивановича, Женю, Валеру, Людмилу Петровну, Галину Евсеевну. Последние две вежливо отказались, сославшись на домашние заботы.

Мужики же пришли все. С подарками! Настольная лампа, журнальный столик, набор рюмок и фужеров, комплект постельного белья пришлись очень кстати. Пригласил я и соседей. Зинаида Степановна выпила рюмочку коньяка. Павел Петрович тяжело повздыхал, но от выпивки отказался, постучав себя пальцем по левой стороне груди. А его супруга пояснила: «Полгода назад у нас инфаркт случился.»

Скоро они, поблагодарив за угощение, поднялись и ушли. Остальные же просидели до позднего вечера. На следующий день, еще утром, приехали мои родители и сестра. Все внимательно и скурпулезно изучили. Проверили. Познакомились с соседями. Мать тут же рассказала Зинаиде Степановне, как мы в пятидесятых годах жили на улице Станиславского. Потом принялась готовить обед. Алина стала мыть высокие, - больше двух метров! - окна. А мы с отцом отправились вниз, за бабушкиным владимирским холодильником, который родители привезли с собой на багажнике машины.

За столом, во время обеда, я пожалел: «Вот, вы приехали на машине, так папе и за новоселье выпить нельзя…»

- Вам бы только выпить, - недобро хмыкнула мать, - вчера, что ли, не напился? Мне же Зинаида Степановна рассказала, как ты с коллегами попраздновал до половины двенадцатого ночи. Ну, ладно. В следующую субботу приедем своим ходом и отметим. Соседи, я гляжу, у тебя - хорошие. Вот, шторы поменять на окнах надо. Да обстановочку тебе здесь обновить. Ну-у-у, это – дело не одного и не пяти дней. Даже если тебя в командировку пошлют, оставишь ключ от квартиры и комнаты. А еще тебе пора учиться жить поэкономнее. Не мальчик уже! Начинай копить денежки на какие-то большие, серьезные вещи. И шкаф тебе надо поприличнее, и полки книжные или стеллаж, и диван-кровать, и обеденный стол. Да и сколько всего другого!

Я удивленно вскинул на нее глаза. Она не заметила этого. Продолжала вслух строить планы, давать житейские советы. Отец только усмехался и жалостливо поглядывал на меня. А около пяти часов вечера я проводил их до машины. И, уже не вставая из-за стола, к полуночи напечатал чистовой вариант очерка про фольклорный ансамбль «Прялочка». Открыл окно. Закурил. Начиналась новая жизнь. В сво-о-оём жилье!

Сквозь сон я услышал голос Дубка. Он с грохотом влетел по лестнице. Распахнул дверь в мой покой. Подхватил меня на руки. Забасил: «Вставай-ка, лежебока! Сейчас в колокола ударят. Я, вот, с рассветом к тебе выехал. На ночь глядя не стал. Вчера верховой прискакал. Сказал, что ты вернулся. Но с какими-то приключениями. Пешим. Без обоза. Но толком объяснить не смог ни-че-го-шень-ки! Вот я и решил нынче Божественную Литургию в твоем храме вместе с тобой отстоять. Давай-давай, поднимайся!

Что я и сделал. Конечно, мне не терпелось рассказать ему все. Но, коли решил, всем поведать после Божественной Литургии, то так и следует: первая думка – всегда от Бога! А в храме я увидел Алену. Но она искоса глянула на меня. И отвернулась, надув губки. С чего это?

…Давненько я так вдохновенно не молился. Должно быть, через отца Никиту шла такая Божия благодать. А уж служил он со слезами на глазах. И, казалось, светился весь. Отец Павел сослуживал. Ваня с Васей прислуживали. И все делали так сосредоточенно. Степенно. Я не узнавал моих проказников! А в глазах холопов, которые

тоже усердно накладывали на себя Крестное знамение, клали поклоны, я заметил восхищение, когда они нет-нет, да взглядывали на меня. Должно быть, по всему поэтому, по какой-то давно позабытой сомолитвенности всех прихожан, и служба пролетела, словно миг.

После Божественной Литургии в небольшом теремке, стоявшим в церковной ограде и служившим для причта, собрались все, кого я хотел видеть. Даже Алена пришла. Но опустив очи долу, она села в уголке. Ее тоже трудно было узнать: так похорошела! Расцвела!

Я встряхнул головой, сбрасывая с себя это наваждение. И, когда все уселись за трапезу и немного насытились, начал свой рассказ. Петр иногда поправлял меня. Вставлял нужное слово, ежели я забывал что-то. Матушка часто крестилась. Шевелила губами. Наконец, не выдержала: «Вот уж никогда бы не подумала, что рядом эдакая нечисть, прости Господи, обитает. А ведь слыхала я, старая грешница, что девки из соседних сел, да детки малые пропадают время от времени. Как же вывести ее? Нечисть сию?

- Запалить бор с четырех сторон, – хохотнув, пробасил Дубок, - а как начнут

выскакивать эти песьеголовые, так бить их! Кто - чем. С луков ли, с самострелов ли, сулицами, топорами…

- Бор-то в чем виноват? Дерева ли, любая былиночка ли - тоже ведь творение Божие, - покачал головой отец Никита. И тихо договорил: «Надобно собрать бы всех из окрестных сел и деревень, отслужить общий молебен, да пойти туда Крестным ходом. Бог поругаем не бывает! Не посрамит Он нашу веру Православную! Верую! Не посрамит!»

Я согласно кивнул. Обернулся к старосте: «Готовь мужиков. Пошли их верховыми ко всем соседям.»

Тот поклонился и вышел из трапезной. А я повернулося к Дубку: «Князь Иоанн, сколько ты можешь выставить людишек?»

- Да, все пойдут. Дело-то – святое! – развел тот руками. Тут за окнами раздался конский топ. И скоро в трапезную вошел инок с большим сверком в руках. Перекрестился на образа и на три стороны. Положил на лавку сверток. Развернул его. И мы увидели икону в поларшина высотой. А на ней был изображен святой с собачьей головой. Отец Никита встал из-за стола. Подошел к иноку. Опустился перед святым образом на колени. Перекрестился. И приложился к иконе. Затем встал.

Повернулся к нам. Пояснил: «Святой мученик Христофор. Он и поможет, коли будут на то милость и повеление Божии. Ему и молебен отслужим. Но в первую голову, конечно, - Господу!»

Мы все последовали отцу Никите. А когда уселись опять за стол, он продолжил: «Ведомо мне, что языческое капище на бору том было. Вот и попустил Господь по грехам нашим нечисти там поселиться. Да еще и лукавые духи им помогают. Посему, хочу предложить тебе, княже Александр частично бор вырубить и поставить храм Божий на месте капища. Обетный! По опыту святых отцов наших говорю сие. Вспомните того же преподобного Сергия игумена Радонежского, или Арсения Коневского. А святитель Стефан Пермский?..»

- А что ж за святой такой, батюшка, этот Арсений Коневский? – подала голос моя матушка. И подперла кулачком щечку: «Двух-то я знаю. И слышала, и читывала жития их. А вот этот?»

- Это – наш, северный преподобный! А не слышала ты еще, матушка о нем и потому, что причислен он к лику святых только года два назад, - улыбнулся отец Никита.

- Так сделай милость! Расскажи, коли знаешь, - попросил дядька Степан.

- Родился святой преподобный Арсений в Новогороде Великом лет двести назад. Умельцем был по медной части. Но еще отроком ушел в монастырь. Потом отправился на Святую Гору Афон, что в земле Эллинской стоит. А вернувшись через три года, принес икону Божией Матери. Новогородской архиепископ Иоанн благословил Арсения на обустройство новой обители. На небольшой парусной лодке преподобный спустился вниз по Волхову и вышел в Ладожское озеро, сам же один управляя утлым суденышком. Гонимый ветрами и течениями, прошёл вдоль восточного берега озера, от одного острова к другому, и так, по монастырскому преданию, он достиг Валаама. Провёл святой Арсений там некоторое время. Но, поскольку Валаамские острова уже были населены монашеской братией, пришлось ему покинуть Валаам, дабы найти себе уединенное место для поста и молитвы. Однако, разыгравшаяся буря не давала преподобному уйти дальше и трижды его лодку волнами прибивало к одному и тому же острову. Видя в этом проявление Божьей Воли святой Арсений решил остаться именно здесь. На острове преподобный встретил благочистивого рыбаря именем Филипп, от

которого узнал, что остров этот называется Коневец. А из боязни темных духов, с незапамятных времён населявших остров, людишки никогда не селились там. Лишь на лето побережные финны и карелы пригоняли на остров скот на вольный выпас. Осенью скот свой они забирали. По древней традиции одного коня отводили к огромному камню, находящемуся в глубине острова, и там приносили в жертву духам, которые, как гласит поверье, обитались в нём. Камень этот потому имеет название Коня-камня, а сам остров по нему назван Коневцом. Многие годы бесы наводили страх на всех, кто осмеливался быть в этом месте. Преподобный Арсений всю ночь молился об очищении острова от нечисти и наутро совершил молебен перед иконой Богородицы у Конь-камня. По преданию, при окроплении валуна святой водой из-под него выбрались бесы и, обернувшись стаей черных воронов, улетели на Выборгский берег, в залив, получивший посему название Сортанлахта, то есть, - прости, Господи, - «Чертова бухта». Навсегда исчезли с острова и змеи. По благословению преподобного на Конь-камне впоследствии воздвигли деревянную часовню. Сам-то я – родом из тех мест. И слышал сие предание еще от моего деда. А

тот, видать, - от своего. Но вы так и не сказали мне, согласны ли исполнить мое предложение?

- А что ж, – подал голос дядька Степан, - я по жизненному опыту велаю: Сила Божия в Кресте Его! С чем же тут не согласиться?!

Матушка моя тоже кивнула. А Ивашка Дубок, крутанув головой, покрутил ус и хмыкнул: «А ну, как, мы – на нечисть с Крестом, а они на нас – с бердышами, да другим оружьем?»

- Фома ты невера! – покачала головой моя матушка. И перекрестилась: «Сказано же: по вере вашей будет вам!»

- Да, тятенька, – подала голосок Алена, - и я так же верую. А мы, поди, еще и к вере истинной кого-нибудь из песьеголовых приведем. Ведь был же такой святой?! Во-о-он, что на иконе изукрашен. Глядишь, увидит святой образ какая-нибудь девица ихняя и тоже обратиться к истинной вере. Как та, убиенная спасительница отца Павла, князей Александра и Петра!

- Добрая ты душенька! - ласково взглянув на на нее, прошептала моя матушка.

- А лес-то просушенный и выдержанный на храм Божий найдется ли? - спросил я.

- А то! – улыбнулся отец Никитаю И ласково посмотрел на Дубка: «Тут князь Иоанн от милосердия своего для монастырька нашего давича заготовил, спаси его Господи! Хва-а-атит! Не то, что на храм! На пустыньку! Отца Павла поставим настоятелем. А?»

- Я и сам хотел просить о том. В Ангельском сане хочу довести задумку свою до зевершения дней земных.

- За чем же дело тогда?! – порывисто поднялся я. Окинул собравшихся взглядом: «Нам торопиться надобно. Там же в яме – Тишка мой и другие холопы! Благослови, отче готовиться. И ты – тоже, отец Павел.»

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, - широко перекрестил собравшихся отец Никита. Подумал. Добавил: «Дня три уйдет на подготовку. А я пока в Тверь съезжу. Возьму благословение владыки на благое дело сие.»

На улице я подошел к Алене. Склонил голову: «Ну, здравствуй, княжна.»

- Здравствуй, коли не шутишь, - отвернулась она, и я увидел слезы на ее глазах.

- Чем прогневил я тебя?

- Сначала прогневил. Думала, мол, что ж приехал, а носу не кажешь. А потом, когда

узнала про злоключения твои, братца твоего да попа Павла, на себя гневаться стала. Прости уж ты меня Христа ради.

И она на мгновенье прильнула ко мне. Но, обернувшись, отпрянула. Раскраснелась: «А уж как ждала я тебя! Как молилась! Да, видать, грешна сильно. Коли с тобой такое приключилось.»

- Ну уж нет… Может быть, как раз твоя молитва и спасла меня. Надоумила ту полуволчицу-полубабу. Услышал Господь тебя и обернул ее к вере.

- Ты так разумеешь? Правда? – заулыбалась Алена.

- Правда-правда, - улыбнулся я тоже и опять почувствовал, что боюсь оскорбить ее даже своим прикосновением: все же - девка еще, что ж распалять обоих.

Три дня пролетели незаметно. Лес на постройку храма был свезен к краю села. Отец Никита вернулся с благословением епископа Тверского. К концу второго дня вокруг села вырос стан. Соседи-князья прибывали верхами и в телегах, спровождаемые домочадцами, священниками, холопами, холопками, их детьми. Располагались на берегу Медведицы, - благо, ночи стояли настолько теплые, что даже комаров почти не было. Князей мы

приглашали в хоромы. Но те предпочитали оставаться со своими. Один, пришедший верст за тридцать, пожилой, даже сказал: «Перед таким делом не то, что на пуховиках надо нежиться, а пост наложить на себя и домочадцев стро-о-огий! Вот изгоним нечисть из уделов наших, тогда и погуляем! Тогда и от ромейского, и от крепкого медку можно не отказываться!»

«А ведь он прав! – подумалось мне. - Что ж я сам до этого не додумался?! Ни отец Никита, ни отец Павел?»

…И вот, перед рассветом четвертого дня над селом взлетела многоголосая молитва. Одних священников было душ пятнадцать! Они кропили людишек, уходящую вдаль дорогу, весь наш путь святой водой. И Крестный ход двинулся к бору. Загодя я повелел отогнать туда все, имеющиеся у моих холопов и монастыря, лодки. Хотел, было, все-таки взять саблю, самострел, вооружить десятка три холопов. Заикнулся об этом отцу Никите. Но тот так зыркнул на меня, что я сразу передумал. А он, смягчив взгляд, проговорил: «Всё в руце Божией. Он и разрешит. Неужели же ты считаешь, что Господь слабее твоего оружия?»

Впереди Крестного хода мы несли икону святого мученика Христофора. Нас с Петрушей сменили Дубок с дядькой Степаном, их – два князя-соседи. Этих – чьи-то холопы. И так продолжалось весь путь. А в Небеса летело:

- Спаси, Го-оспо-о-оди, люди Твоя
И благослови достоя-а-ание Твое…

А потом - 90-й Псалом, 26-й, 126-й, Молитвы Господу, Кресту Господню, Матери Божией, Тропарь святому мученику Христофору:

Одеждами от кровей украшаяся,
Господеви предстоиши, Царю сил,
Христофоре приснопамятне,
Отонудуже со Безплотными и мученики поеши
Трисвятым и страшным сладкопением.
Темже молитвами твоими спасай стадо твое.

… Задолго до приближения нашего к переправе, со сторны бора раздался душераздирающий волчий вой. Мы все переглянулись. Священники запели громче. Оборачивались на нас. Подбадривающе улыбались. Мы подхватили их пение. И заглушили голоса нечисти. Когда же спустились к кромке воды, на которой покачивались лодки, как большинство из

наших на миг онемели. Я, Петруша и Дубок подняли высоко над головами святой образ мученика Христофора ликом к противоположному берегу. Песьеголовые выскакивали на него, кидались реку и больше не показывались. Иные из них бросались грудью или животом на свои сабли, мечи, пики, сулицы. Кровь извергалась из оскаленных пастей и самоубицы оседали на песок. Увидел я и волхвов, и колдуний. Эти просто бились в падучей, пуская пену, которая тоже сменялась фонтанами крови. Но, к нашему изумлению, среди песьеголовых оказались и другие. Эти становились на колени, кланялись, пытались наложить на себя Крестное Знамение, что, признаться, у них совсем не получалось. Немало среди таковых было и полуволчат-полудетей. Тогда мы вошли в лодки и переплыли Медведицу. Некоторые священники, переправившись, сразу стали крестить оставшихся в живых. И по мере окунания их *во имя Отца! Аминь! И Сына! Аминь! И Святаго Духа! Аминь!* Шерсть сползала клоками с морд, и те на глазах превращались в лица. Да, очень некрасивые, пока зверообразные. Но это были ли-и-ица! С человеческими глазами! А Крестный Ход двинулся в глубь бора.

Священники кропили вокруг себя и нас святой водой. И казалось, воздух очищался от смрада.

В стане мы увидели много убиенных девиц, молодых женщин, отроков, мужчин. Все они были проткнуты саблями, пиками, сулицами. Я заволновался. Кинулся к яме, в которой оказался, как только нас поймали песьеголовые. Слава Богу, видимо впопыхах, они забыли про полонян. В других ямах тоже сидели мужики. И тоже – оставшиеся в живых. Мы помогли им выбраться наружу. Страшно и горько было смотреть, как здоровенные мужики, парни рыдали. И не стыдились своих слез. Тишка прижался ко мне и не хотел отпускать. Только к вечеру мы обошли Крестным Ходом весь бор. Священники по очереди читали Святое Евангелие, Псалтирь, служили молебны. И никто не собирался восвояси. Собрали убиенных, сняли с деревьев останки, черепа, скелеты. Сложили их в самую большую яму. Отец Павел отслужил над ними панихиду. Забросав яму землей, холопы тут же сладили большой крест и поставили его над этой братской могилой. И только тогда, уже в густых сумерках, мы развели костры. Большинство из наших безсильно повалились на землю и заснули.

Священники же продолжали служить. А утром, с рассветом, все поднялись. Общая молитва была недолгой. А тут и Заяц, отправленный мной с вечера в село, прибыл и привез бревна, доски, топоры, пилы, секиры. И работа закипела. Для начала на небольшой площади пилили корчевали деревья и кусты. Потом на крутом берегу Медведицы медленно стал подниматься храм Божий. Я, Петруша, Дубок, другие князья, пришедшие к нам на Крестный Ход подставляли спины, плечи под бревна. Весело махали топорами, секирами. Толстыми кольями подцепляли, приподнимали за ветвистые корни пни, предназначенные для корчевания. Тут же их сжигали. Песьеголовые, принявшие Святое Крещение, помогали, как только могли. Но в большинстве своем это были бабы, дети. Однако и те, как оказалось, обладая недюженной, звериной силой, легко носили бревна, доски, камни. И к закату солнца новая церковь была освящена малым чином! И все снова встали на молитву.

…Только на третий день мы вернулись в село. При этом, и я, и Дубок, и другие князья-соседи оставили по десятку своих холопов для благоустройства будущей пустыньки. Отец Никита забрал всех

крещеных песьеголовых к себе в монастырь. А я устроил для князей-соседей, с которыми наконец-то близко перезнакомился, веселую трапезу. И выбрались они восвояси только через два дня. Отдохнув и придя в себя, я решил вплотную заняться хозяйством. Сенокос, рыбные промыслы, заготовка дичи, кабанятины, медвежатины, оленины на зиму, уборочная, засолка овощей и грибов промелькнули, словно один день. Правда, нередко я наведывался и на возведение Пустыньки на Бору. Именно так ее и прозвали в народе. Один из приделов храма был сооружен во имя святого мученика Христофора, для которого моя матушка заказала в Твери написать икону. Бывал я и в монастыре, у отца Никиты. Бывшие песьеголовые совсем избавились от шерсти на лицах. А молились они как! Любо-дорого было смотреть! Лето закончилось. Дожди залили землю. А перед Покровом выпал первый снег.

Как-то вечером, вернувшись с Всенощного бдения, я стоял на крыльце и вглядывался вдаль. Вдруг поймал себя на том, что смотрю в сторону Мишуткина, села Дубка. Как же давно мы не виделись с Аленой. И тут рядом услышал голос матушки: «Вот скажи мне на милость! Что

ты сидишь дома, словно сыч в дупле?! Съездил бы! Невестил бы князь-Иоанна. Пригласил бы на Покров в гости к нам. А то ведь и Рождественский пост – не за горами. Придет – и не заметишь! А в пост-то какое гостевание? Сейчас, во-о-на, по всем деревням свадьбы играют! Да что по деревням?! И по городам – тоже!

Я с благодарностью обернулся к матушке. Обнял ее за худенькое, сухонькое плечико. Поцеловал в макушку. Кивнул: «Завтра утром и отправлюсь.»

- Ну и слава Богу! – по-молодому повела она бровями.

…Утро выдалось погожим. Впервые за последние две или даже три седмицы. Поэтому я легко доскакал до Мишуткина. Дубок вышел на крыльцо, встречая меня и забасил: «Ну-у-у! Совсем забыл нас! Разве ж так – по-христиански? Ай-ай-ай! Ла-а-а-адно! Понимаю! Сам с рассвета до темна – на хозяйстве. Проходи в терем-то! Алена в богодельне при церкви замешкалась. Там у нее – и сироты со всей округи, и немощные старики да старухи, которые уже даже за младенцами присмотреть не могут. Проходи! Сейчас с тобой потрапезничаем. Крепкого медку выпьем. У меня его в этом году – бочками!

Но только мы сели за стол, как в гридницу влетела веселая, зарумянившаяся Алена. Крикнула: «Тятенька…»

И осеклась, завидев меня. Покраснела еще гуще. Опустила глаза. Тихо молвила: «А я уж, князюшко, думала, что совсем забыл ты нас!»

- Садись, дочка. И не гневайся. Часто ль видела меня летом? Так же - князь Александр! А то, что в трудах и заботах, так даже радовать должно: знать, добрый хозяин! А?

- А с чем же теперь пожаловал, князюшко Алексаша?

- С чем? А с очень важным, – крутанул я головой, - с неотложным делом. Вот, хочу у отца твоего, княжна, спросить дозволения присылать к тебе сватов.

- Сва-а-а-атов?! – чуть не задохнулась она, и краска на щеках мгновенно сменилась белоснежностью.

- Да. По всей державе нашей - время свадеб, - все это я говорил неожиданно для самого себя.

- Свадьбы-то сразу после уборочной начинают играть, - теперь крутанул голволой Дубок, - а тут пост скоро…

- Тятенька, – опять вспыхнула лицом Алена, - до поста-то еще - ше-э-эсть седмиц!

- Вот и я – про тоже!

- Надобно ли так гнать лошадей? – покрутил ус Дубок.

- Куда ж гнать-то? Не один пуд соли съеден вместе. А сколько на ворогов втроем ходили? – не унимался я.

- Не-е-ет. Здесь надо подумать. С отцом Никитой потолковать, - тем же тоном ответил Дубок.

- Вот и скажи мне, князь Иоанн: можно ль сватов присылать? А к отцу Никите завтра и съездим.

- А сама-то ты, Алена, согласна ли? Я ведь прежде, чем на твоей матушке жениться, прежде чем к родителям идти, ее спросил, - повернулся к дочери Дубок и в упор, не мигая, взглянул на нее.

- А что матушка моя ответила тебе? – хитро прищурилась Алена.

- Сказала, что согласна, - грустно улыбнулся Ивашка, - сказала, что и год назад была готова со мной - под венец…

- Вот, и я то же говорю! – твердо, как бы рубанув ладошкой воздух, ответила и даже привстала с лавки Алена.

- Экая ты – торопливая! Однако, сперва – помолвка. Потом только - Святое Венчание. И то, - когда отец Никита благословит, - раздумчиво ответил Дубок. Я

вдруг подумал, что он так испытывает дочку. Однако он продолжил: «К тому же Святое Венчание-то – по второму чину! Князь Александр – вдовец. Сама же ведаешь. Второе Венчание!»

- Ну и ладно, - опустила голову Алена и надула губки, - если я, по твоему, тятенька, тороплю коней, то ты сети тянешь переполненные рыбой…

- Ты как это с отцом разговариваешь?! – вспыхнул Дубок. Потом повернулся ко мне и указал на дочь рукой: «Вот, такую ты себе женку выбираешь! Дерзкая! Гневливая. Непослушница! Чуть что – не по ее, так и за саблю взяться может…»

Я внимательно вгляделся в его глаза и вдруг увидел в них смешливые искорки! Тогда и я решился посмешиться. Пожал плечами. Приподнялся с лавки: «Вижу: нет твоего согласия на то, чтобы я сватов присылал.»

Дубок вскинулся вдруг. Замахал рукой: «Что ты?! Что ты придумал?! Я ж просто испытывал и тебя, и дочку. Конечно! Засылай сватов-то! Хоть завтра!»

И он налил мне полную чару крепкого меда. Мы выпили. Потрапезничали. Алена щебетала за столом, словно пищужка какая малая, красивая, да голосистая. И глаза у нее

светились счастливым живым небом. А вечером, после Всенощного бдения я дождался, когда отец Никита выйдет из Святого Алтаря и подошел к нему. Благословился. Молвил: «Дело одно я задумал, отче. Хочу жениться на княжне Алене Дубовой. Но, видишь ли, второй брак у меня. Первая-то жена погибла. К тому же еретичкой оказалась. Тайной.»

- Ведомо мне сие, - кивнул отец Никита и остался стоять с потупленным взором. Зашевелил губами. Наконец, сказал: «Прежде, чем дать благословение на Святое Венчание, надобно мне потолковать с князь-Иоанном и матушкой твоей. А сыновья как посмотрят на мачеху?»

- Да они сами просили жениться меня на Алене, - улыбнулся я.

- Что ж. Завтра после Божественной Литургии потолкую с матушкой. А после трапезы съезжу в Мишуткино.

И опять, благословив меня, почему-то ушел обратно в Святой Алтарь. А я, вернувшись в хоромы, сказал матушке о своем намерении. Та всплеснула руками и вдруг заулыбалась: «Слава Богу! Слава Богу! Добрая девка княжна наша! Здоровая! Работящая! И душенька у нее - яхонтовая, в золото оправленная! А сыновья твои как ее

жалуют. Даже - поболе, чем родную. А ей Царствия-то Небесного не пожелаешь, прости, Господи. Завтра же схожу к отцу Никите. Глядишь, до поста и свадебку сладить успеем. Слава Богу! Слава Богу!

Мелко крестясь, она ушла в молельную. А я почти всю ночь не спал от радости, переполнившей душу. И утром не мог найти себе места. Корил себя: «Взрослый мужик! А веду, словно отрок»! Но от этих укоров только радостнее становилось на душе! И поэтому решил я верхом съездить в Пустынь на Бору, - благо переправа теперь работала исправно. Взял с собой Ваню и Васю, которые мужали не по дням, а по часам. Они уже легко сами вскакивали в седла. И статно сидели в них, как взрослые конные ратники. По дороге даже показали мне некоторые боевые приемы! Почти до самой земли свисая на скаку, рубили лозу своими отроческими сабельками. Я радовался, глядя на них. А Ваня вдруг сказал: «Тятенька! А ведь всему этому нас княжна Алена научила. Право слово, женился бы ты на ней! Глядишь, братиком или сестренкой нас с Васяткой Бог бы одарил. Всё веселее было бы! А она только о тебе и говорила, пока ты на походе был!

Сама молилась о твоем здравии и нас заставляла.

- Как же так? Княжна же у себя в именьице хозяйством занималась! - удивился я.

- И-и-и, - крутанул по-взрослому головой Ваня, - за-а-анималась! А вечерами к нам приезжала. Или на целую седмицу нас к себе забирала. Ну-у-у, мы у нее и хозяйствовать учились тоже. Даже в ночное ходили.

И он пришпорил своего конька. Вася устремился за ним. Я едва успевал за сыновьями. И так, скача взапуски, они добрались до переправы. А там по наведенному мосту шли обозы. Отца Павла я застал на хозяйственном дворе. Он в латанном подряснике, густо измазанном глиной, обкладывал камнем стены только что вырытого ледника. Увидев нас, заулыбался. Вылез наверх. Вытер руки о подрясник. Благословил. Поклонился сам: «Спаси тя Господи, князь. Такими грибочками одарил! Такими мочеными яблочками! Хрусткими! Сочными! М-м-м! Прямо гортаннобесие какое-то напало! Прости, Господи!»

- Во славу Божию! – улыбнулся я в ответ. Огляделся: «Вижу, дело идет?!»

- И-и-и! Слава Богу! Милостию Его не идет, - ле-э-этит! Тверской владыко зачастил к нам. Ходит, радуется, нахваливает. А ведь чрезмерная похвала вредна человеку, особенно монашествующему. Страшусь я ее!

- Нахваливать-то-нахваливает! А помогает хоть?

- А то! Новые сосуды священные давича привез. Золоты-ы-ые! Икону святых великомученика благоверного Великого Князя Михаила Тверского и супруги его благоверной Великой княгини преподобной Анны Кашинской пожаловал.

- А пригнал ли мой староста коровок и козочек? Привез ли муку, рожь?

- А то! И за это – спаси тя Господи! Теперь по скоромным дням молочко, сметанку вкушаем. Нас ведь в пустыньке уже – пять душ иноческих! Из тех, кто на Крестный Ход приходил. Да и трудников надо кормить. Их, во-о-он, каждый Божий день сколько подходит. А твой староста – добрый мужик! Хозяйственный! Помоги ему Господи!

- Слава Богу! – кивнул я. А помолчав немного, выдохнул: «Помолись отче! Надумал я жениться.»

- На княжне Алене?

- Откуда ты знаешь?

- А кто ж не знает? Помолюсь! С братией помолюсь, чтобы воля Господня исполнилась! Сорокоустно помолимся! А ты молись, брат, нашим святым благоверным князю Петру и княгине Февронии. По-о-омогут! Можно еще обратиться к святой преподобной Афанасии. Она, родимая, не желала и первого брака, думая посвятить себя единственно Богу. Но по воле родителей вступила и во второй. Жила послушливо Господу и мужу. А по старости удалилась в пустыню. И там вела такую жизнь, что через год после кончины уже открылись ее святые мощи. Но помни только, что святые угодники лишь умоляют Бога исполнить просимое нами. А исполняет оное Сам Господь. Или - не исполняет. На все Его святая воля!

- Погоди! За Сорокоуст вклад надо сделать. А я денег с собой не взял…

- И-и-и, милай! Какой тебе еще вклад? Итак, почитай, на твоем да Дубовском прокорме обитаем! Даже и не думай о вкладе. Не ломай голову!

- Здесь - отдельный разговор! Особый! Скажи-ка мне еще, отче, лихие людишки не безпокоят? А то я тут подумал выделить тебе мужичков для сторожи. Береженого-то Бог бережет.

- Покуда не было такого. Да и осень - сейчас! Бездорожье! Куда ж лихим-то людишкам приходить? А потом, Господь хранит покуда, нас, грешных. Потрапезничаете? Тут брат Лавр такую ушицу милостию Божией сварил! Прости, Господи, за чревоугодие и гортаннобесие!

- Спаси тя Господи. Не откажусь от благословенной снеди! – и я обернулся к сыновьям. Позвал: «Ваня, Вася! Похлебаем ушицы?»

Те счастливо закивали. И мы пошли в трапезную. Мои отроки даже ложки облизали, миски досуха вытерли мякишем аржаного хлеба. Отец Павел предложил добавки. Но Ваня и Вася вдруг поняли, что насытились. Переглянулись. Довольно погладили себя по животам. Отдышались. И, засмеявшись, поблагодарили иеромонаха.

- Во славу Божию! Во славу Божию! – улыбнулся в ответ и погладил их по головам тот. А к вечеру мы с сыновьями были дома. Матушку я застал в ее светелке за шитьем. Она сидела какая-то непривычно притихшая, с покрасневшими от слез глазами. Я забезпокоился: «Что-то не то отец Никита сказал тебе?»

- За все слава Богу! – вздохнула она. Выиерла опять, должно быть, подступившие

слезы: «Потолковали мы с ним. Даст он благословение на ваше с княжной Аленой Святое Венчание. Был он и у князя Иоанна. С ним толковал. Вернулся. И на Всенощном бдении поведал мне, что даст благословение. Да еще просил сказать тебе по-матерински, чтобы с детками вы не задерживались.»

- Это уж как Бог даст. А почему слезы-то на глазах?

- Слезы? - опять вздохнула матушка. И опустила голову: «Как же? Перед свадьбой хоть сыночка, хоть дочки всегда плачется.»

Я сел рядом на лавку. Приобнял матушку за плечо. Шепнул: «Радоваться надо, матушка!»

- Да-да! Слезы-то мои – тоже от радости…

…Сразу после Покрова отец Никита в один день и помолвил, и повенчал нас Аленой. Брат Петруша был дружкой. Несмотря на тяжелый свадебный наряд, невеста моя стояла вся какая-то воздушная, светящаяся, боящаяся вздохнуть. А когда хор, а за ним и все прихожане, грохнули *Многая лета,* на глазах Алены выступили слезы.

- Что с тобой? – шептом спросил я.

- Я не могу вместить того счастья, той благодати, которую даровал сейчас Господь..,

- ответила она. Но договорить не успела, потому что батюшка благословил поцеловаться. На свадьбу съехались все соседи-князья, которых я уже знал по Крестному Ходу в бор. Три дня шло веселье.

А на четвертый, еще затемно, меня разбудил взволнованный голос Тишки, раздавшийся из-за двери нашей с Аленой опочивальни: «Беда, княже! Пустынька горит! Разбойники напали! Прискакал верховой трудник-отрок. Сам – со стрелой в плече.»

Через миг я был уже на ногах. Затуманенные от ласк глаза Алены сверкнули в свете затепленной свечи.

- Я – с тобой!

- Нет. Вдруг ты уже – непраздная! – мотнул я головой. Она на миг задумалась. И откинулась на подушки. А я выскочил из покоя. Крикнул: «Тишка! Где прискакавший отрок?»

- В людской! – холоп уже нес мне доспех, шелом, саблю, самострел…

- Сам облачусь, - повелел я, - собирай мужиков. С оружием. В снаряжении. Открывай оружейную. Посылай кого-нибудь к отцу Никите! Дозорных выставь. Да поскорее! Князья-гости все разъехались?

- Только сбираются. Но поднялись уже.

- Скажи им.

И я кинулся в людскую. Но путь мне преградила матушка.

- Куда ж – в темноту? Под луки и самострелы? – уперла она руки в бока.

- Пока все сберемся и доскачем, рассветет, - мотнул я головой, даже не зная, как обойти ее.

- Ага, - кивнула она, - а если разбойники сейчас на наше село идут? Если вы встретитсь, летящие, сломя голову, им в пути, уже готовых к сече, опъяненным святой кровушкой? Тогда может статься: всех вас положат! Тьфу-тьфу-тьфу. Не дай Бог!

- Но там же – отец Павел! Иноки! Трудники! Я сам троих наших холопов седмицу назад туда отправил. А у них здесь – чада, женки!

- Так, - определила матушка, - я слышала: ты отправил холопа за отцом Никитой. Тогда дождемся его. А ты давай сюда свои железки и сходи-ка лучше к раненому гонцу. Выспроси все подробно.

Я вздохнул. Попытался успокоиться. И выполнил повеление матери. Но только вошел в людскую, как следом за мной туда же влетела Алена. Отрок лежал на животе и стонал. А из его спины торчала сломанная

стрела. Я присел прямо перед его лицом на корточки. Спросил: «Говорить можешь?»

- Могу, - простонал отрок.

- Расскажи, как все было.

Но тут меня отодвинула Алена. Я в недоумении поднял на нее глаза. Она же покачала головой и тихо молвила: «Ему же больно. Надо сначала стрелу вынуть. Дай, я умею.»

И повелела в сторону: «Теплой воды. И заварите вот эти травы.»

И она протянула кому-то из холопок мешочек, который, оказывается, держала в руке. Потом повернулась ко мне и ласково пояснила: «Я слышала все, что тебе говорил Тишка. Поэтому поспешила одеться, чтобы помочь раненному.»

Алена повелела мужикам покрепче держать отрока. И вдавила глубже в его плоть стрелу. Та острием прорвала кожу на груди. И тогда Алена резко выдернула стрелу. Отрок дернулся, закричал от боли. Но тут же облегченно опустился на спину.

- Поверните его на бок, - повелела Алена, - надо промыть рану. Приложить травы. И перевязать. А ты, милый потерпи. Потерпи. Сейчас травки снимут боль.

- Он не потеряет сознание? – спросил я.

- Нет, - ответила жена и продолжила свое дело. Наконец, Алена понялась. Отрок с благодарными слезами смотрел на нее. Теперь я опять опустился перед ним и повторил сказанное мною раньше. Отрок прикрыл глаза. Прерывая слова хрипами, заговорил: «Дня два назад в пустыньку пришел старик. Нищий. Страшный такой. Его все почему-то сторониться сразу стали. А отец Павел принял. Велел накормить. Обогреть. Выдать что-нибудь из одежки.»

- Страшный? - переспросил я, потому что екнуло мое сердце.

- Да-да. Что твой бес, прости Господи! Нос крючком. С большой синей бродавкой на конце. И до подбородка свисает. А тот, что твоя лопата вперед выдвинулся. Патлы – серые, грязные. На следующий день старик этот обошел все уголки пустыньки. Всё и всех выспрашивал обо всем. Особенно про князей, боляр, чьим иждивением обитает пустынька. Улыбался. Кланялся. Благодарил Бога. Желал всем здравия. Но как-то противно желал. Словно медом перекармливал. А услышал про песьеголовых, зацокал языком. Что-то пробормотал. Я хоть и рядом на трапезе сидел, не понял. Вроде, как не по-нашему. По послушанию я с вечера должен задать сенца,

зерна, сварить и налить пойла и воды скотинке монастырской. Овечкам там, козочкам, буренкам, лошадкам. Да что-то в сон поклонило. Но все равно пошел на скотный двор. Принялся за дело. Я люблю скотинку. Чешу ее обычно по загривкам Глажу. Ласковые слова говорю. И тут - тоже. Однако, что-то замешкался. А тут огни замелькали. Факелы, стало быть. Крики раздались. И я увидел, как незнакомые ратники режут наших трудников и монахов. А старик этот повелевает им. Потом разбойники всем скопом в храм кинулись. Вот тогда я и изловчился. Прыгнул на Пятнашку, - лошадку такую, в пятнах всю, - и ходу. Меня только их дозорные, что на берегу схоронились, - когда остальные пустыньку разоряли, - заметили. Стрелять стали. Пятнашка поплыла. Да скоро так! Оно и понятно: вода даже для скотинки холодновата нынче. Но одна стрела все-таки догнала меня. Спаси тя Господи, матушка-болярыня…

Он попытался улыбнулся Алене. А та погладила его по всклокоченной мокрой от пота голове и утешила: «В рубашке ты родился! Еще бы чуть левее и вниз попала бы стрела – и в сердце. А правее – в хребет. А так… За три-четыре седмицы встанешь на

ноги. Я тебя к себе в Мишуткино, в богодельню отправлю. Там у меня один дьяк есть. Добрый лекарь!»

- Не-е-е, - попытался мотнуть головой отрок, но сморщился от боли, - мне домой надобно. Отец недужит. А у меня там – семеро братьев и сестер. Я – старший. Хоть на что по хозяйству, а сгожусь.

В людскую вбежал Тишка уже в ратном снаряжении. Выдохнул: «Дозорный прискакал. Разбойники переправились через Медведицу и сейчас пошли на Мишуткино. Но особо не спешат. Не гонят коней.

- Что-а-а? – раздался из моей спины бас Дубка.»

Оказывается, он проспался после хмельного, которого хватил лишку на свадьбе дочери. И теперь все это время, явно превозмогая похмелье, молчал и слушал. А теперь выпалил: «Ну, зятек! Пора! Мы их у оврага, что к околице примыкает, подождем. Туда и сбросим.»

- Бог вас да благословит и будет в помощь! - услышали мы от дверей в людскую. В них со скорбным видом стоял отец Никита. Я поспешил на двор. Там, на ходу облачаясь в ратное снаряжение, увидел князей-гостей, ихних и своих холопов, тоже полностью готовых в сечу. На дворе

рассветало. Вдруг Дубок, скакавший рядом, болезненно мотнул головой. Пробасил: «А не сдается ли тебе, сынок, что не станут они по свету на Мишуткино нападать? Дождутся темноты. Как есть дождутся. А сейчас где-нибудь в низинке выкапают ямы. Разведут костры. Накроют из мокрой корой, чтобы дымы издали не были видны, да залягут почивать. Вот только где они это могут сделать?»

- А ты на их месте где привал сделал бы? – спросил я.

- Я бы? Ага-а-а! Знаю, где. Только давай поначалу до села моего доедем.

В Мишуткино Дубок послал по дворам старосту. И скоро все его холопы собрались во дворе новой церкви. Тревожно смотрели на своего хмурившегося и кусающего ус князя. А Дубок негромко, но четко поведал о случившемся в Пустыньке на Бору. И повелел громко не галдеть, облачиться в ратное снаряжение и, отправив женек с малыми детками и старухами в лес между моим и его селами, собраться на околице у оврага.

Мужики так и сделали. Я посчитал нашу рать: было более пяти сотен. А тут и Тишка с другими охотниками подоспел. И

скинул с седла связанного, с заткнутым грязной тряпицей ртом, ворожьего ратника.

- Ай, да молодец! – не выдержал я и вгляделся в полонянина. Не-е-ет! Не разбойником оказался он, а именно ратником. И это было видно по вооружению, доспеху, снаряжению. Только все это было… нерусьским. Дубок, оглядев полонянина, даже присвистнул: «Ли-и-итва!»

А Тишка хохотнул: «Он, дурень, за нуждой в лес пошел. Ну, справил! Смраду-то напустил, прости Господи. А тут лисички увидел. И пошел собирать их в мешок. Так до нашего дозора и дошел. Не оставлять же его там. А вообще стоят они верстах в пяти отсюда. В балке. Костры развели. Но дым по земле пустили. Монастырских коров, овечек, козочек жарят. Ироды!»

И он замахнулся на полонянина, которого теперь подняли и поставили перед нами на колени. Тот съежился, испугано отшатнулся, снизу вверх обвел нас взглядом.

- Сколько их? – спросил я.

- Сотен пять, - почесав затылок, ответил Тишка, - а может и поболе. Я считал по кострам. Если учесть, что у каждого отдыхают по три-четыре ворога.

- Сколько твоих ратников? – хлопнул по плечу полоняна Дубок, наклонившись к

его лицу и растягивая слова. Литвин замотал головой. Пожал плечами, - мол, не понимает вопроса. Тогда я, молча, подошел к своему коню. Снял с седла аркан. И один конец перекинул через через ближайшую ко мне ветку трехобхватного дуба. А на другом конце свернул петлю. Обернулся на полонянина. Кивнул на веревку: «Ну?»

- Все-все скажу, что спросите, - вдруг на слегка ломаном русьском языке залопотал тот, - ратников, - тысячу пик и сабель, - привел князь Стачинский. Он служит королю. А над ним стоит граф или кто-то еще, - я титул не запомнил, - пан Голдштинский.

- Как ты назвал последнего? – изумленно перебил я и взглянул на Дубка и Тишку.

- Пан Голдштинский.., - подтвердил полонянин. Дубок понимающе кивнул. Но переспросил: «Тысяча пик и сабель?»

- Да-да! Князь Стачинский смеялся еще: мол, пусть эти варвары-русьские, если заметят, подумают, что нас в два раза меньше. И приказал разместиться у каждого костра по десятку ратников. Хол-лод-но! Но мы люди подневольные…, - - затараторил полонянин.

- Ну, ежели брешешь.., - крутанул головой Дубок, - сам тебе петлю на шею надену!

- Не брешу! Иезус Мария! Ты-ы-ся-ча!

- Ну-у-у, ирод, пустыньку вы сожгли? А дальше куда шли?

- Пан Голдштинский сказал, что монастырь ваш был ему подарком от всех нас. А нам велел идти за головами двух ваших князей и одной девки. Они здесь свои поместья имеют. И сказал, что заплатит тому, кто приведет на веревке хотя бы одного из названных, за каждого - ты-ы-ысячу злотых. А за мертвых – по сотне.

- Уж не за нами пришел этот выродок? – крутанул головой Дубок.

- Похоже,- вздохнул я. А полонянина спросил: «И чем же так эти «два князя и девка» насолили вашему Голдштинскому?»

- Насолили? – не понял тот.

- Ну-у-у, напакостили. Навредили!

- Не знаю. Я – рядовой ратник. Но пана Голдштинского не можно не послушать! Его даже сам король слушает. Пан Голдштинский – великий ученый, звездочет, алхимик, предсказатель!

- Колдун, что ли? – хмыкнул Тишка. Но встретив мой взгляд, потупился.

- Да-да, - вдруг мелко закивал полонянин, - ве-э-эликий чародей!

- А не ведаешь ли ты, как этот Голдштинский узнал, где поместья русьских князей? – опять спросил я.

- Ведам… Ведам… Нас ведет один русьский князь. Только не знаю, как звать его. У вас у всех мудреные имена и прозвища…

- Иуда! – прошептал я, даже не предполагая, кто бы мог быть проводником ворогов. Дубок посмотрел на меня, как бы вопрошая: мол, что делать дальше будем? Я задумался. А он рубанул словом: «Что тут думать?! Они сейчас спят? Спят! Почитай их - в три раза меньше. Сторожу мои молодцы снимут. Застанем врасплох. Десяток у костра? Ха! Да это же нам на руку. Та-а-акая суета суетствий начнется! Идти надо, пока не проснулись…

Я обернулся на Петрушу, на других князей, чье гулянье на моей свадьбе должно скоро обернуться сечей. Но те смотрели на меня, уже явно в душах согласившись с Дубком. А тот уже повелел вести полонянина вслед нам, только шагах в пятистах. А потом ждать завершения сечи. Повернувшись же опять к нам, хохотнул: «И-и-и-эх! Веселое

дело предстоит! Только чур, этого иуду, ру-у-усьского князя, брать живым.»

Саблей на снегу он нарисовал, какова местность вокруг низины. Распределил, кто и куда подходит. Пояснил: «Вылетаем на них кольцом. Делаем по два-три выстрела из луков. И берем в вендерь, сужая его к центру. Уразумели?»

Все закивали.

- Давайте, помолимся? – вдруг предложил Петруша. И над притихшими лесом, дорогой и оврагом зашелестело *Царю Небесный*. Затем мы двинулись к стану ворогов.

И тут я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Обернулся. И увидел… голову старика-корня. Она как бы виновато вздохнула. Но я, вспомнив слова отца Иллариона, хмыкнул: «Ты и здесь меня достал?..»

Голова-корень виновато опустилась: «Что ж делать, коли работа такая? Я всегда с тобой. Даже тогда, когда ты меня не видишь.»

- Слушай! А не пойти ли тебе… Ведь ты все знал наперед! Ты разладил мою семейную жизнь! Ты толкал меня на грехи! Ты мне врал все это время!

- Во как! А ты, имеющий свободную волю совершать грех или не совершать, вроде как - и ни причем. Мла-а-аденчик в коротких штанишках! Я тебя что, силой что ли грешить заставлял?! И верить себе заставлял? И где же твой опыт психолога? Инженера, - ха-ха! – человеческих душ?! Врач! Исцели себя сам! Не-е-е-ет, дорогой ты мой! Вместе нам с тобой гореть в геене огненной! Каждый са-а-ам отвечает за свои грехи! Са-а-ам! За сво-о-о-ои! А у тебя их! Волос на голове меньше, чем грехов-то! – жарко вскинулась голова.

- Значит все твои разговоры об исправлении, покаянии…

Голова-корень зашлась хрустким смехом. Охала. Ахала. Моталась из стороны в сторону. Наконец, проскрипела: «Ну-у-у, ты – со-о-овсем больной на головку! Ши-ы-ы-ыза! На что мне это? На что мне себе хоть малое время во всем отказывать? Когда незвестно еще, простит ли твой Распятый? Ха-ха! А ну, как не простит грехи-то! А ты и здесь наотказываешь себе в удовольствиях, и там муки примешь безконечные. А так, хоть ты, да подобные тебе «у-у-умники» часть моих угольков себе уготовят! Ха-ха! Ты все еще во спасение какое-то веришь! Ха-ха! А вот, ответь мне теперь, почему это Распятый

такую женитьбу тебе с Валькой твоей допустил? А? Так-то Он твои верность и службу оценивает? Так-то благодарит тебя? И если ты думешь, что я тебя и сейчас оставлю, глу-у-убоко ошибаешься! Не-е-ет! Оставлю я тебя перед твоим му-у-у-учительным планированием на самое донышко ада! Как фанера над Парижем! Ха-ха! Страшный-то Суд – не скоро! А ты сдохнешь и – в самый тартар! Ну, а я, - уж прости, - еще повеселюсь здесь, на земле. С твоими родившимися детками и с будущими. Да с теми, кто за твой упокой молиться будет! Повеселюсь! И тебе советую сделать – то же! Да-а-авай-ка разгуляемся всласть! Как один из твоих пра-прадедов! По-ку-у-упечски! Хочешь ли посмотреть! Щас будет! Как тогда, в «синематографе»! А?

Рука-корень мелкнула перед моими глазами, и я действительно увидел каку-то оргию, во главе которой куролесил пьяный, бородатый мужик. Вокруг него мельтешили голые женские тела, о чью-то голову ломалась гитара, в стену летели хрустальные бокалы и початые бутылки. Потом все резко изменилось. Я увидел молодого с набриллиантининными головой и усиками хлыща. Этот в полутьме вскрыл сейф. Достал из него какую-то бумагу. Вчитался,

поднеся к ней свечу. Свернул. Положил в карман сюртука. Дернул усиками. Усмехнулся. А вместо нее положил другую. Потом, уже в другой обстановке, появился еще один. Этот, - благообразного вида, - ходил взад и вперед по комнате. Изредка, отодвинув шторку, вглядывался в окно. Вошла женщина. Опустив глаза, тихо сказала: «Алексий! Ведь отца нашего хоронят! Сходил бы, простился бы!»

- Молчи! Сам не пойду, и тебя не пущу! Он всё наследовал этому бу-у-у-хгалтеру Ваське! А нам с Иваном, которые только на него и батрачили, ни гроша не завещал! Как жить-то теперь? Шурку теперь в Италию учиться на художника не отправишь. Александру нужно новый мундир, все снаряжение справить! На что-о-о-о? А Николай? Другие чада? По совести-то три магазина, лабазы, узкоколейку к ним должно было на три равные части разделить! А он? Тя-а-а-атенька – обхватил глолву ладонями благообразный.

- Проживем, Алексиюшка! Проживем, братик, с Божией помощью! – опустила глаза женщина. Покачала головой: «А с отцом-то кровным надобно проститься! Во-о-он, несут уже! Музыку-то слышишь ли похоронную? Помяни, Господи…

Женщина выглянула в окно. Перекрестилась. Опять покачала головой: «А катафалк-то бо-а-агатый! И крест-то какой узорчатый! А попов с кадилами сколько! Глянь, Алексиюшка! Ванюша-то, брат наш, рядом с Василием идет. Не держит обиды на отца. А цветов, венков-то сколько!

- Ага! – мотнул головой тот, кого она называла Алексием. И отошел в дальний от окна угол комнаты: «Только на что ему теперь все это?! По мне, дык, завернуть в рогожку и зарыть без всяких памятников!»

Снова сменилась картинка. Теперь я увидел того, кого звали Алексием где-то в степи, в балке, у затухающего костерка. Рядом сидели три девушки. Они явно зябли. А с неба лил дождь, смешанный со снегом. Алексий встал. Жалостливо взглянул на них Вздохнул: «Пойдем, девоньки. Затемно до ближайшего села успеем, коли Бог даст…»

Потом он оглядел их дрожащие фигурки. Снял с себя пальто. Накинул его на старшую. Снял и пиджак. Отдал его средней. Сказал: «Идите след в след. Так меньше ветром обдувать будет. Будь проклята эта революция!»

Потом я увидел его еще раз. Теперь Алексия какие-то мужики заворачивали в рогожу. Положили в могилу. Забросали

землей. Старшая девушка сказала: «Ну, вот, Натальюшка, Ольгушка, и остались мы в чужих людях, где-то под Саратовом. Теперь о Павловском Посаде, о гимназии, белых передничках да бантиках и тихой жизни только вспоминать будем. Батрачить придется, чтобы с голоду не помереть.»

- Ой, Гриппушка, - всхлипнула самая младшая и зарыдала в голос, - из-за нас дедушка--то Богу душу отдал. И пальто и сюртук свой нам отдал. А сам?! «Испа-а-анка» проклятущая!

К девушкам подошли три бабы и каждую, обняв за плечики, увели в разные стороны. А я вдруг вспомнил, что бабушку, маму матери звали Натальей Алексеевной. Сестру ее, - крестную мою, - Ольгой. А их старшую – Агриппиной.

Но тут передо мной возникла еще одна картина. На этот раз по доскам, проложенным через хлипкую, чавкающую грязь, под мелким дождем какой-то мужик, одетый в мешковину, толкал наполненную камнями тачку. Шептал: «Прости меня, Господи, за то, что обокрал братьев своих, подделав завещание отца! Прости, Господи! Помилуй! Сохрани! Спаси!»

Несколько раз подскользнувшись, он, наконец, завалился в коричневую жижу. К

нему подбежал солдат с черной тужурке и со зведочкой на фуражке. Осыпал бранью. Пнул ногой в бок. Мужик перевернулся на спину. Помутневшие глаза его казались незрячими. Но в нем я узнал того, набриллантиненного, у сейфа. Да-да! Стало быть, это и был дед Василий, подделавший завещание! Теперь солдат вынул из кобура револьвер и выстрелил лежащему в голову. Повернувшись, что-то крикнул в сторону. Тут же к нему подбежали несколько людей в мешковине, подняли покойника и унесли куда-то.

- Во-о-от они, грешки-то твоих предочков! За них и отдуваешься! А те мои соратнички, которые были к ним приставлены, теперь мне помогают! А ведь самая хорошая смерть была у первого, который гулеванил, как хотел!

Я обернулся и увидел снова голову старика-корня. За ним стояли еще более противные типы. Глаза бы мои не глядели на их рожи! Жутко! Невыеносимо! И как я не еще не умер от этого ужаса?! А старик-корень продолжал: «Выбирай теперь. Ведь придется и за их непотребства еще отвечать! А? Но ведь не даром же говорят, мол, семь бед – один ответ! Так не лучше ль хоть при жизни земной пожить всласть? Подумай-

подумай! И запомни: я с тебя глаз н спускаю! Ни днем, ни ночью! Ты у меня весь – здесь!»

И прямо перед моими глазами возникла рука-корень, со сжатой в кулак ладонью.

- А третий? Иоанн? – спросил я, ёжась от непонятного озноба.

- Тре-е-етий? – захихикала голова-корень. Но вдруг откуда-то сбоку раздался резкий, словно выстрел, голос: «Брысь!»

Я повернулся и увидел прапощика царской армии в подштопанной, кое-где подпаленной шинели времен Первой Мировой войны. Он поторил голове-корню: «Сказано же: брысь отсюда, нечисть подколодная! Да и колода для тебя – слишком роскошные хоромы! Рыло твое только для болота вонючего и пригодно!»

Голова-корень исчезла. А прапорщик повернулся ко мне. Улыбнулся: «Здравствуй, Алексаша! Рад увидеться с тобой. Знаешь ли, мы все смотрим на тебя. Радуемся твоим добродетелям. Плачем о грехах.»

- Кто «вы»? – помотал я головой, не понимая ничего.

- Я – средний двоюродный братец и Агриппинушки, и Ольгушки, и Наташеньки, и Шурочки. Зовут меня Иоанном. Умер я от ранения в голову., - перекрестился

незнакомец. Скорбно вздохнул: «Может быть и жил бы, если бы не этот иуда Брусилов, отозвавший нашу конную артиллерию обратно в тыл, когда мы, по блестящему плану, разработанному генералом фон Дитерихсом и его штабом, пройдя через Карпаты, были в трех переходах от Вены. А там и до Берллина было - рукой подать. Но всемирный сатанинский совет, - как здесь, на земле, называют, «ма-а-асонство», не позволил Брусилову. Бог ему Судия. Был у нас еще братец. Как ты, Александр. Самый старший. Штабс-капитан. Про него боялись вспомниать и Наталюшка, и мама твоя теперь. Ка-а-к же, Царский гвардейский офицер! За такое родство в двадцатых… Сам знаешь!

- И в тридцать седьмом, - закивал я.

- В тридцать седьмом? На-амного раньше, – горько усмехнулся двоюродный дед Иоанн, - потому как там уже была агониия. Сами зверства состоялись именно в двадцатых! Впрочем, о них ты еще узнаешь. Штабс-капитан Александр погиб геройски! Пытаясь спасти святого нашего великомученика и искупителя Государя. И Его Августейщую семью. Впрочем, ты с ним еще встретишься, ежели будешь достоин сего. Но не для того мне дозволено нынче

навестить тебя. Видишь ли, внучок, то, что толковала тебе эта коряга, как всегда у ему подобных принято, - правда с ложкой лжи. Ложь – в начале его «синематографа». Никогда в нашем роду не было «гулевания», которое он показал тебе. Такое гулевание показывают сейчас про Григория Ефимовича Распутина. Ве-е-ликий был старец! Я об этом только после смерти узнал. Впрочем, разговор о другом. Отец Алексия, Василия и Иоанна построил с другими купцами Павловского Посада храм. Со-о-обор! Во имя святого великомученика Димитрия Солунского. Сейчас от него осталась одна колокольня. Но храм, возведенный на земле, стоит и в Горнем Иерусалиме. И за это тоже и мстила нечисть всему нашему роду. И теперь – тебе. Молись!

- А за Василия, Иоанна, Алексия? Можно молиться? – согреваясь теплом исходящим от прапорщика Иоанна Чеснокова, спросил я.

- И-и-и, брат… Попробуй. Только прислушайся к сердцу. Хватит ли сил духовных? Ведь те бесы, которые были приставлены к ним при жизни, теперь тебе люто мстить будут. Это – их основная задача. Выдюжешь ли? Сам, должно быть, знаешь о

родовом благословении и родовом проклятии.

- Да-да… Но ты, дедушка, как погиб?

- Я-то? После ранения дали мне отпуск. Поехал на побывку в Павловский Посад. Ведь знал же: голодно в тылу. Тем паче, обокрал нас с завещанием дядька Василий. По дороге, где-то в Малороссии, я купил две фляги постного масла. Пока дотащил до эшелона, боль вступила в голову. Я – в госпиталь. Он тут же на станции стоял. Святой Великомученицей Государыней Александрой Феодоровной созданный. На ее личные сбережения. Там мне врач, - он тоже мученический венец потом принял, - и сказал, что тяжести носить нельзя. А лучше, мол, прямо сейчас - на больничную койку. Что ж делать-то? Что выбрать? Подумал я. Помолился. И поехал дальше в Павловский Посад. Приехал. Вошел в дом. Поставил фляги с маслом на пол. И… упал замертво. Кровоизлияние в мозг. Слава Богу. Зато теперь тебе, своему потомку могу помогать.

- И маме?

- Надежде? Трудно ей помогать. И сестре твоей ,– тоже, потупился дед Иоанн.

- Почему?

- …Ты же – с Богом! А они? Всё. Время моего свидания с тобой истекло. Прости!

Прощай! Помни то, о чем я толковал тебе. С Богом!

И он исчез. А я весь наполнился неописуемой радостью. И постепенно заснул. Сладко. Как в детстве.

Утром я положил рукопись очерка о Елене Ивановне на стол главного редктора. Тот, прочитав, позвал Делюкина. И когда он вошел в кабинет, потряс семью машинописными страницами в воздухе: «Вот, Володя, полюбуйся! Думаю, что пальму первенства за лучший материал в этом квартале придется присудить Саше. Почитаешь?»

Владимир Иванович, очевидно уже принявший свои ежедневные сто граммов, дернул вверх шкиперской бородкой, хмыкнул: «С превеликим удовольствием!»

И через минут десять, бросив рукопись обратно на стол, встал. Подошел ко мне. Крепко сжав за плечи обеими руками, поцеловал: «Молодца, Александр Леонидович! Молодца! Отдаю пальму первенства с радостью и глубоким удовлетворением!»

Валентин Павлович засмеялся. Шепотом проговорил: «А вы знаете, почему в эпоху развитого социализма резко понизился процент рождаемости в нашей

стране? А-а-а! Да потому что все ложатся спать с чувствовм глу-у-у-бокого удовлетворения, как любил говорить наш «дорогой и любимый Леонид Ильич Брежнев!»

- Валентин Павлович, – подал голос я, - сколько уже работаю?! А ведь еще не «прописался»! Когда можно будет?

- О-о-о, - закатил глаза Делюкин, - эт-т-т-то – хоть сегодня!

- Не сегодня, - громко положил ладонь Валентин Павлович на столешницу, - Сегодня Саша будет готовиться в командировку. В Рязань. Там осмотрщик вагонов сгорел. Надо прозвониться. Узнать подробности. Договориться с гостиницей. Обговорить все встречи. Ты, Володя, ему поможешь в этом.

- Как сгорел? – в один голос воскликнули мы с Делюкиным.

- Не знаю. Не-е-е зна-а-а-ю! Поедет Саша и разберется.

- А не рано ли с его опытом? – крутанул бородкой Владимир Иванович.

- Не рано, - опять громко погладил столешницу главный редктор, - пора вырастать ему из пустышек! Всё. Идите!

- Что-то он слишком раздражен сегодня, - пожал плечами Делюкин, когда мы

вышли из кабинета Палыча. При этом пожал плечами: «Хотя понятно: люди у нас на дороге не каждый день сгорают. А я-то думаю, что это он с такой рани – уже в редакции?! Видимо, его с утра в Управлении дороги «накрутили». И ведь не признается! Жир-трест-мясокомбинат-колбаса-жирная-сосиска! Дай Бог ему здоровья. Ни-ког-да! Никогда «разгоны» в Управлении не сваливает на других! Всё в себе пережигает! Так же нельзя! От этого и инсульты, и инфаркты бывают! Ладно. Пойдем, по сто граммов вмажем, чтобы успокоиться самим да делом заняться.

…Делюкин позвонил на Рязанское отделение дороги и услышал, что на станции Рязань-товарная тепловоз врезался в цистерну с бензином. Та от искры, - железо о железо! - вспыхнула. Взорвалась. От нее зажглись еще несколько цистерн. Тоже взорвались. Поэтому сгорел и осмотрщик вагонов Евдокимов. Все это Владимир Иванович пересказал мне. Но при этом добавил, значительно подняв указательный палец вверх: «Учти, Саша, что-то здесь – не так! Честь мундира берегут. Всё не говорят. Это же – подсудное дело! Ну, как, к примеру, мог тепловоз врезаться в состав из цистерн? Там же везде на стрелках стоят столбики

ограничения. Значит, кто-то этот самый столбик проехал! Кто-то нарушил технику безопасности? Погоди! Я в нашу железнодорожную прокуратуру позвоню…

И опять он долго кого-то расспрашивал. Записывал. Наконец, повесив трубку, сказал: «За-ме-ча-тель-но! Туда уже выехал следовательЧернышев Игорь Федорович. Мужик – что надо. Я с ним работал! Этого не купишь и не запугаешь! Но ты и сам смотри. Если что, звони. Номер в гостинице тебе забронирован. Лети в Управу, получай командировочные. А я пока редакционное задание тебе оформлю. Маршрутный лист. Но в руки их никому не отдавай! Как паспорт! Понял? Да-а-а, и еще: нашему спецкору даже не вздумай звонить! И не встречайся! Не надо мужика подставлять! Он же в этом отделении деньги получает. Премии. И еще: захочешь выпить, запрись вечером в номере, выпей и после этого никому дверь не открывай. Понял? Утром, ежели что, скажешь, что устал, спал крепко, не слышал стука в дверь. Понял? Еще могут тебе бабу подсунуть. И на этом поймать. Чтобы потом, шантажируя аморальностью, заставить написать то, что нужно всяким чистоплюем. Понял? Эт-т-то у нас запросто. Не поддавайся!»

Я, запоминая, только кивал в ответ. И на следующий день ехать мне пришлось на шестичасовой электричке. Почти всю дорогу я продремал. И снился мне молодой офицер с погонами Царской армии. И четырьмя звездочками на них. Он брел по березовой аллее. Покусывал травинку. Потом сел под дерево. Достал блокнот и что-то записал в нем. Прочитал. Улыбнулся. Осторожно снял с аксельбанта паучка. Полюбовался на него. И повесил за паутинку на ближайшую веточку. А мне стало хорошо, словно кто-то сделал подарок, о котором я давно мечтал. Мы с офицером о чем-то говорили. Но только я не запомнил, о чем. Все равно, было хорошо. Словно встретился с близким человеком, которого давно не видел.

…В Рязани меня встречали. Как только я вышел на платформу, тут же услышал по громкогорящей связи, что меня ожидают в кассовом зале у «окошка» дежурного по вокзалу. Там я увидел немолодого, - лет под сорок пять, - рыжеволосого, веснушчатого, метра два ростом и столько же в плечах, железнодорожника с командирскими нашивками на рукавах. Он уныло смотрел перед собой и вниз. Я подошел. Назвался.

- Переславцев Дмитрий Андреевич, - представился и он, - старший инженер

службы движения поездов Рязанского отделения дороги. А на ваши документы позволите взглянуть?

Я предъявил служебное удостоверение. Командировочное. Развернул и показал из своих рук редакционное задание, маршрутный лист. Мой встречающий кивнул. А когда мы уселись в черную «Волгу», он завздыхал: «Вот, беда-то… Конечно, теперь во всем службу движения обвинят. А тут еще неизвестно! Может быть Евдокимов пьян был.. У них, у осмотрщиков вагонов, это – ежедневно. За здорово живешь! Хотя тоже понять можно. В любую погоду – на улице по двенадцать часов. В гостиницу?»

- Я знаю, что номер для меня забронирован. Поэтому - всегда успею. Давайте поедем в отделение. Или лучше туда, где – следователь Чернышев.

- Он – на месте происшествия. С нашими прокурорскими. Вася, - обратился Переславцев к водителю, - поехали на Рязань-товарную.

Через полчаса я уже выходил из «Волги» и сразу угадал, куда идти. Искореженные, скрученные в немыслимые спирали, куски железа были разбросаны метров за сто по обуглившемуся песку, от изугнутых рельс, остовов цистерн, которые

тоже не устояли под огнем и взрывами. И теперь представляли груду металла. А там ходили, что-то измеряли, записывали в блокноты люди в милицейской, прокурорской и железнодорожной форме. Спорили друг с другом, похоже, доказывая каждый – свое. Я направился туда. И они одновременно обернулись ко мне. Я представился. Первым отозвался мой, как мне показалось сразу, ровесник: «Следователь Московской транспортной прокуратуры Чернышев. Мне о вас уже Валентин Павлович говорил по телефону. Значит, будем вместе этот клубок раскручивать.»

- Что здесь раскручивать? – возмутился железнодорожник с генеральским звездами поверх золотых нашивок на рукавах.

Потом он смутился. Протянул мне ладонь: «Начальник службы грузовых перевозок Шмыгов Аркадий Евгеньевич.»

Железнодорожники были все начальниками. Один – службы движения, другой – вагонник, третий – путеец. Последними представились начальник станции Рязань-товарная и главный прокурор Рязанского отделения, начальник местного управления внутренних дел на железнодрожном транспорте. Были еще

несколько милиционеров. Но те, проводя свои измерения, даже не подняли голов.

- Вот, - обвел рукой округу Чернышев, - море огня было! В диаметре не менее двухсот метров!

- Да, - вздохнул начальник станции, - и высотой – метров пятьдесят. А когда цистерны пошли рваться, так колесные пары выше стобов взлетали.

- И в центре этого ада – человек, который… Ага! Погодите-ка! А это что?

И Чернышов достал из-под искореженной оси вагонной пары… железный «башмак», который обычно ставится, чтобы вагон не смог тронутся с места. Поглядел на него. Положил обратно. Сфотографировал. И тут же записал что-то в бланк, который лежал на раскрытой папке. Я заглянул и увидел, что это – протокол осмотра места происшествия.

- От него-то что-то осталось? От Евдокимова? – спросил я.

- Головешка. Величиной с детскую куклу. Продолжим осмотр.

Я даже представить не мог себе весь ужас разыгравшей здесь беды. А Чернышев уже осматривал слегка закопченный и помятый, но способный двигаться, тепловоз. Подумал. Спросил как бы самого себя:

«Интересно. Тепловоз-то успели до взрыва отвести.»

- Машинист на нем трудится самый лучший! Ге-е-ерой, – ответил ему начальник службы грузовых перевозок, - ударник коммунистического труда. Член партийного бюро.

Чернышев еще раз стал измерять что-то рулеткой. Потом усмехнулся. Записал несколько слов в протокол. И твердо сказал: «Возможно, что ваш машинист – ударник. Но почему тогда он поставил свой тепловоз на стрелке, за столбиком, ограничивающим безопасность? И не мог не видеть, что к нему приближается состав цистерн. Как не мог предположить такое другой машинист, сзади толкающий состав из восемнадцати цистерн, наполненных бензином. Здесь же поворот. Он физически не мог увидеть вставший на пути тепловоз вашего «уд-дарника». И… стукнул головную цистерну о него. В результате пробил ее. Искра… И… Погибший Евдокимов, очевидно, спрыгнул с подножки, добежал, бросил под колесо этой загоревшейся цистерны «башмак». А тут - взрыв. И человек оказался в самом центре огня. Пока у меня вырисовывается только такая рабочая версия.

- А может быть он был пьян?.. Евдокимов? - хмыкнул кто-то из железнодорожников.

- Сейчас проводится медицинская экспертиза. Вечером мне предоставят результаты, - не поворачивая головы в сторону сказавшего это, ответил следователь.

- А кто ее проводит? - насупившись спросил начальник службу движения.

- Я привлек экспертов. Независимых. И имею все права не называть их вам до конца следствия, - едва заметно усмехнувшись и выразительно взглянув на меня, ответил Чернышев, - а если быть точным: до суда. Я возбуждаю уголовное дело.

- Хотелось бы встретиться с семьей покойного Евдокимова, - сказал я.

- Сейчас я дам команду.., - начал, было, начальник службы движения.

Но Чернышев перебил его: «Я тоже хотел бы поговорить со вдовой. У меня – своя машина. Поэтому мы вдвоем с товарищем корреспондентом поедем на ней. Если он не против. Вы сами-то навестили семью? Выразили соболезнования?»

- Еще не успели. Но мы планируем оказать материальную помощь, если Евдокимов не виноват.

…Против поездки в машине следователя я не был, потому как вспомнил слова Делюкина об отмывании «чести мундира». И тут, словно в подтверждение моих мыслей, заговорил начальник вагонного хозяйства, маленький, лысеющий, но еще курчавый, в смоль, «генеральчик»: «Я вас умоляю, мужики! Итак вся Рязань гудит, как улей! Давайте все спишем на Евдокимова. Ему от этого – ни холодно, ни жарко будет. И нам – меньше мороки! Хлопот! А мы сейчас отправимся в загородный охотничий домик. Там можно пообедать. Стерлядка – цимус! Потом отдохнете. А? Ведь действительно, Евдокимову сейчас ничего не нужно. Ни жарко, ни холодно!

- Жарко ему уже было! – хлестко взглянул на говорившего Чернышев. И отвернулся от «генеральчика»: «Простите, у меня - жесткий график работы.»

Он обернулся на меня: «Вы со мной? К вдове Евдокимова?»

- Да, - кивнул я.

И мы зашагали по спеченному, как камень, песку. На ходу я хмыкнул: «А ведь меня предупредили, что будет вариант «отмывания» погон. За счет смерти человека.»

- А то, - опустив глаза вниз, отозвался Чернышев, - мне Валентин Павлович сказал, что вы - человек порядочный, принципиальный. Бывший офицер.

- Спасибо. Мне про вас сказали то же самое. Только без офицерства.

- Простите… У меня - офицерское звание. Ладно. Давайте договоримся, чтобы нас не обвинили в кумовстве, здесь в Рязани, общаться по минимуму. В Москве еще успеем наговориться по этому делу.

- Согласен, - опять кивнул я.

- Ну, вот и славно.

Машина Московской прокуратуры подвезла нас на окраину Рязани. Мы поднялись на четвертый этаж обшарпанной «хрущебы». И Чернышев позвонил. Дверь открыла девушка с красными от слез глазами, в черных закрытом платье и платке. Выслушала наше представление. Кивнула. И жестом пригласила за собой. В большой, - метров пятнадцать, - комнате двухкомнатной квартиры, за столом сидели человек десять разного возраста. У одной молодой, тоже заплаканной, женщины на коленках устроился малыш годика полтора. Тут же ходил из угла в угол парень лет двадцати. Во главе стола сидела немолодая женщина. Видимо, черные платье и платок

бросали тень на лицо, которое выглядело тоже далеко не светлым. Чернышев представился сам. Представил меня. Попросил прощения за то, что в такие скорбные, - скорбные?! – минуты тревожит семью. Объяснил, что в ближайшее время должен возвращаться в Москву, чтобы там довести следствие до конца. Спросил разрешения задать несколько вопросов. Пожилая женщина, как я понял, вдова, кивнула.

- Скажите, пожалуйста, ваш муж выпивал? – спросил Чернышев.

- Вот, видишь, мама, – вдруг жарко вмешался парень, - я же говорил, что они теперь захотят отца во всем обвинить! Мол, по пьянке и сгорел. Этот Витек, поди сам нахлебался пива. Сколько раз он при мне заступал в ночь. Так всегда с собой пару бутылок приносил. Что, я слепой, что ли?

- Помолчи, когда старшие разговаривают! - остановила его жестом вдова. И показала рукой: «Лучше достань заключение врачей после больницы.»

Она повернула к нам скорбное лицо. И холодно протянула стопку бумаг, поданных сыном: «Взгляните. Ваня мой, ну.., муж погибший, не пил вообще. Два месяца, как из больницы выписался с прободной язвой. Мог

ли он выпивать? При такой-то болезни?! Он вообще на манной да овсяной кашах сидел!»

И она на мгновение прикрыла глаза ладонью…

- А кто это? Витек? – кивнул Чернышев парню.

- Кто-о-о? Машинист тот самый, который и поставил свой тепловоз на пути состава цистерн, проехав столбик безопасности. А у самого что было в вагонах, знаете? Спросите-ка у начальства! Тут бы так прогремело! Всей Рязани бы не стало! – хмуро ответил тот.

- А откуда вы знаете все это? - сдержанно спросил Чернышев, но в глазах его я заметил какой-то огонек.

- О-о-откуда?! Да у нас вся семья на «железке» вкалывает! И я – на той же станиции «Рязань-товарная» – тоже пашу. Только разные с отцом смены в этот месяц выпали.

- Почему же тогда местное начальство заступается за этого машиниста? - крутанул головой Чернышев.

- Да он им сто лет ни на что не нужен! За себя они заступаются! Чтобы дело не раздули!

- А что было в вагонах состава этого Витька?

- Это вы у начальства узнавайте. Я подписку давал. Военный состав был.

- А отец ваш знал о грузе в этом составе?

- А то! Мы такие составы в первую очередь обрабатываем. Ну-у-у, осматриваем, неисправности в ходовой части, устраняем их и пропускаем. Только цистрены – главнее оказались. Там же – не обычный бензин был! Ави-аци-он-нный!

- Так, - подошел к парню пожилой мужик и положил ему широкую ладонь на плечо, - не распускай язык-то. Сам же говоришь, что подписку давал.

…Чернышев задал еще несколько вопросов. А я попросил вдову: «Не дадите ли вы мне какую-нибудь фотографию Ивана Федоровича. Думаю, что он не только не виноват.»

Но тут я почувствоал, что Чернышев крепко сжал мой локоть…

- Да какую ж? - засуетилась вдова. Опять полезла в бумаги: «Он не любил фотографироваться. Ниночка, я не знаю, где искать! Посмотри там, в документах.

И женщина опять заплакала. А девушка, открывшая нам дверь, принесла из другой комнаты небольшую коробку из-под обуви. Порылась в ней. Достала две

фотографии то ли на паспорт, то ли еще на какой документ. Протянула мне: «Вот. Другой и не найду, наверное. Папа не любил фотографироваться.»

- Отрежьте одну. Если хотите, я вышлю ее обратно.

- Чего уж там. Одна-то все равно у нас останется. Увеличим. И – на могилку.

- Примите наши искренние соболезнования - слегка склонил голову Чернышев. И опять скорбно вздохнул: «Я надеюсь, что смогу разобраться в этом деле объективно.»

- Вы уж только нас на весь город не позорьте! – всхлипнула девушка.

- Ты, что? Дура, что ли? – вскипел парень. Даже наклонился к сестре: «Отец Рязань всю спас! А ты - «не позорьте»?»

…Спускаясь по подъездной лестнице, я спросил Чернышева: «Ты веришь им?»

- Я верю людям с детства. В личной жизни. А в работе я верю только фактам. Вот и тут – то же. На месте происшествия мы были с тобой, как бы на работе. А здесь, знаешь, я как бы дома, в личной жизни оказался. Ты видел их глаза?

- Да, - кинул я, - цвета живого неба…

- Это ты здорово сказал. Стихи, что ли пишешь? Ну, всё, хватит

сентиментальничать! Ты в какой гостинице остановился?

- В «Оке».

- Слава Богу, я – в другой. Но подвезу. А завтра заеду за тобой.

«Слава Богу»? – подумал я.

Вчером, прогуливаясь в одиночестве по вечерней Рязани, я любовался торговыми рядами, так похожими на владимирские. Во Владимире, у дедушки с бабушкой, прошло мое детство! Вспоминались какие-то случаи. А еще фруктовое мороженное за семь копеек. И то, как дед-полковник удивлялся моему вкусу. Ворчал: мол, что шоколадное за двадцать две копейки нельзя купить что ли? Сла-а-адко вспоминалось. Но фрагментами, не связанными между собой. И тут я и вспомнил, что мне хвалили местное пиво. Зашел в какой-то, еще не успевший закрыться, гастроном. Купил пару бутылок. И вернулся в гостиницу. Номер у меня был одноместный. Я принял душ. Закрылся на ключ. И включил телевизор, под который, потягивая пивко, заснул. И приснился мне все тот же офицер с Царскими погонами. Почему-то спросил меня: «Знаешь ли, за что и для чего мы жили, любили, рожали детей, пахали землю, возводили города, храмы, монастыри, воевали, погибали?»

Я даже задохнулся от неожиданности вопроса. А он, улыбнувшись и покусывая откуда-то взявшуюся травинку, сказал: «За что? За други своя! За Веру, Царя и Отечество. Эти понятия, голубчик ты мой, Алексашенька, здесь, на земле символизируют Святую Троицу. А для чего? Уж точно: не для ордена! Так для чего же? Жила бы Родина!»

И вдруг исчез. Но я чувствовал, что слова его были чуть ли не главными в жизни. В существовании всей вселенной! А что? Узнать бы, чем награждался за свою двадцатилетнюю работу на станции старший осмотрщик вагонов Иван Евдокимов? Наверняка же: почти ничем. И решил назвать очерк: «Не для ордена…». А закончить его словами: «…жила бы Родина»!

…Я ехал с Чернышевым в черной «Волге» с надписью «Московская транспортная прокуратура» по шоссе в сторону Москвы. Миновали Рыбное. И я спросил, знает ли он про битву на Воже?

- А то! Представляешь, – хмыкнул Чернышев, - у меня часто возникает ощущение, что я ее даже видел краем глаза, что ли. Или, прости Господи, - наверное, звучит, как в психушке, - участвовал в ней. У нас, Александр, - сейчас своя битва на Воже.

Мужик-то этот, Евдокимов, со-о-о-овсем не виноват. Даже героем оказался. И все факты у меня – налицо. Понимаешь, все-е-е! Но как мне главному доказать? Доказать-то я докажу. А что он скажет на это? Представляешь, сколько железнодорожных «генералов» снимать будут?!

- Слушай, – воскликнул я, - давай, сделаем так. Мы с тобой в Рязани, как говорил, не кумовствовали. Я напишу по твоим доказательствам очерк. А ведь и твой главный не попрет против газеты? А?

Чернышев долго, пристально смотрел на меня. Хмыкнул. Крутанул головой. Махнул рукой: «А, давай! Бог не выдаст, свинья не съест! Смелый ты мужик. Когда напишешь, встретимся. Обговорим. И вообще! Мы уже в Московской области!

Я взглянул в окно. Действительно, мы переехали по мосту через Вожу.

- Николаич, – обратившись к шоферу, улыбнулся впервые за всю командировку Чернышев, - тормозни-ка у какого-нибудь «сельпо». Мы с Александром маханем по сто граммов за удачную командировку! Приустал я в ней. Все душа как-то с мозгами враздрыг шла! Вроде, как на своей земле. Все вокруг – свои, русские! А врагами оказываются для таких людей, как

Евдокимов! Врагами своего же народа! Чтобы получить за это звания, дачи, машины.

Он повернулся ко мне: «Слушай, давай, когда мы - не на расследовании, не при людях, - на «ты».

- Игорь! Мы с тобой уже давно на «ты»! – засмеялся я.

- Да? Странно. И не заметил даже.

...Съехав с шоссе на какую-то проселочную дорогу, мы сидели на берегу небольшого ручейка. На костерке, насадив на веточки, жарили местную колбасу, которую бы в обычное время, дома, даже бездомным собакам не дали бы! «Как в детстве!» - вдруг подумалось мне. Оглянулся. А вокруг кружили листья. Желтые! Красные! Словно вся природа зацветала в последний раз в этом году! Мы пили водку из железных стопочек, которые оказались, - случайно! ха-ха! – в «бардачке» у водителя. И так душевно разговаривали!

- Знаешь, я с детства ненавидел несправедливость! Почему, например, сосед по парте, жирный такой, сын заведующего каким-то складом, может есть каждый день буретброды с ветчиной, а Маша, дочка инвалида, пожарника, ставшего таковым, спасая именно семью этого Изечки, когда у

них дом вспыхнул, как грошовая свечка, слезы глотала. Я ей свои бутерброды с вареньем, яблоки, сливы, блины в Масляную отдавал. Потом стал интересоваться историей. И вдруг понял, что раньше-то законы были справедливее! Возьми хоть Русскую правду! Хоть Судебник Ивана Грозного!

- Благоверного Великого Князя и Царя Иоанна Васильевича Грозного! – вдруг неожиданно для себя поправил я. Игорь взглянул на меня удивленно. Даже галстук снял, ворот рубахи расстегнул. И тут я увидел у него на шее серебряную цепочку. Чем кончалась она? Что висело на ней?! Мы говорили и дальше. О чем? О жизни. Об истории. О расследовании.

…Оставший путь я дремал, отвалившись на бархат заднего сиденья прокурорской машины. Похрапывал и Игорь. А приехав в Москву, до позднего вечера дома я просидел за пишущей машинкой. И утром положил на стол Валентина Павловича готовый очерк под заголовком «Не для ордена…».

Главный посмотрел на меня. Потом – в рукопись. Прочитал. Спросил: «Ты это того… Как себя чувствуешь?»

- Отлично!

- А понимаешь ли, на кого мы руку этим материалом поднимаем? Их же, этих «генералов» всех поснимают!

- Валентин Павлович, – пожал я плечами, - позвоните в нашу транспортную прокуратуру. Там - такого же мнения. Возбуждено уголовное дело. И – нешуточное. Я не стал писать, что бензин во взорвавшихся цистернах предназначался для военной истребительной авиации, базирующейся в Черном, под Рязанью, для десантных самолетов. Не написал я и том, что было в другом составе, который, возможно, поставили именно так, что цистерны не могли не наткнуться на него были. Узнайте в Управлении Дороги. Евдокимов по данным экспертизы был абсолютно трезв. Зато в организме другого машиниста, который поставил опасно свой тепловоз, обнаружены следы алкоголя. Слава Богу, что еще охрана, - солдаты, - успели разбежаться! И неизвестно, преступная ли здесь халатность или что похуже! А? Тогда это уже – не уголовное дело. А в Московской транспортной прокуратуре мне сказали, что если дойдет до КГБ, то всем достанется за то, что вовремя они «не усекли»!

- Вот это – ты молодца! – подал голос Делюкин. Он до сих пор, хмельно расплывшись по креслу, с восторгом в глазах слушал меня: «Ведь ты, Саша, поди, не знаешь, покуда, что одно из золотых правил журналистики называется «Правилом айсберга»! То есть! Запоминай. Только одна десятая часть фактуры, собранной тобой, - особенно если это - критический, острый материал, - должна быть опубликована. Девять же десятых должны таиться, - слышишь ли? именно таиться! – в твоем рабочем блокноте! Как под водой! И-и-и - врезать вторично, если же какая-нибудь сволочь обвинит тебя в клевете! Но сработают эти девять десятых только в том случае, если ты – сам честен! А иначе, Бог не даст! Что, Палыч, я разве не прав?

- Прав, Володя, прав, – забухтел Валентин Павлович, - о-о-ох, как прав! Подставлю еще раз свою шею!

- Палыч, – засмеялся Делюкин, - она ж у тебя не-про-би-ва-а-а-е-ма-я! Как оборона Москвы в сорок первом! Но смена-то нам какая растет! А? Я так думаю, что скоро первую премию не мне, а Саше надо будет выписывать. И я соглашусь с этим. Если он, конечно, хотя бы стакан нальет. А вот, скажи-ка мне, Саша, не жалко тебе женщин-

жен, сыновей, дочек, внуков и внучек этих железнодорожных «генералов», которых после твоего очерка и расследования прокуратуры на улицу вышвырнут? С их-то должностей, из их-то персо-о-ональных машин и дачек-клячек? Я не завидую! Не-е-ет! Просто не люблю халявщиков! Ну, так что? Саша! Не жалко тебе их?

- Жа-а-алко? – голос мой задрожал. Я даже привстал: «Не-е-ет! Пусть они поживут так, как дети этого несчастного Евдокимова! Пусть поживут в его обшарпанной, двухкомнатной квартире на четверых взрослых и, - заметь! – разнополых. Сыну – лет двадцать! Дочери – около восемнадцати! Не жалко! Может быть, начнут кого-то видеть ниже своих погон. Не жалко за то хотя бы, что решили оклеветать человека, отдавшего душу за други своя! Это – по-русски? Сказать плохо о таком покойнике? О герое! И следователь прокуратуры так его называет! Ведь они решили свалить на него вину! Чтобы самим потом жировать! Нет, Владимир Иванович, не жалко! Во время войны таких расстреливают!

- И опять, ты – молодца! – как будто даже внезапно протрезвел Владимир Иванович. И поднял вверх большой палец: «Кто они, по сути? Вра-а-аги! Тайные враги!

Враги Отчизны нашей! Потому как, за шкуру свою больше, чем за душу свою, за душу Русской Земли трясутся! И убивают ее! Душу земли нашей! Даже татар, поляков, наполеоновских захватчиков, фашистов нашим людям жалко было. Только по-о-обежденных! А пока не победили, били их и в хвост, и в гриву! Так что, Саша, бей! Бей словом! А оно пострашнее автоматной очереди бывает! Или гранотомета! А?! Палыч! Какой у нас сотрудник новый-то?! В на-а-ас! На-а-ашей закваски! Кстати, когда мы его прописывать-то будем? Парень сам рвется на винные склады, где ордена дают! Ха-ха!

- Да хоть завтра! – буркнул Палыч, все еще находясь где в своих мыслях.

- Ло-о-овлю на слове! – всплеснул руками Владимир Иванович. И повернулся ко мне, дернул вверх своей шкиперской бородкой: «Значит, запоминай! А лучше запиши! Бутылочки три водочки для начала хватит. Можешь для куражу коньячку взять. Колбаски, там, сырку, зелени. Огу-у-урчики я принесу! У меня супруга та-а-а-ких насолила в этом году! Я их тоннами готов грызть. Палыч! Ты, вроде как, уже и за грибами съездил? Ох! Саша! Какие грузди у Палыча! А ведь он, змей, никому своих

заповедных грибных мест не раскрывает. А нет, чтобы всю редакцию на грибы вывезти?! Алешке я вечером позвоню. Скажу, чтобы принес чего-нибудь из деликатесов буржуинских! У него супруга как раз опять вернулась из-за бугра! Надо! Ох, как надо экспроприировать у проклятого запада самое вкусное! А он пусть тем временем загнивает! За-а-агнива-а-а-ет! Но какой арома-а-ат, скажу я вам!

Захмелевшего Делюкина, что называется, «понесло». Валентин Павлович задумчиво выбивал пухлыми пальцами что-то вроде турецкого марша по столешнице. А я решил отправиться по магазинам, чтобы завтра быть, как говорится, во всеоружии. Нагруженный продуками, я вернулся домой поздно. Зинаида Степановна сообщила, что несколько раз до меня пыталась дозвониться мать. Я только пожал в ответ плечами: «Что ж делать? Срочная командировка.»

И я, разложив продукты в холодильник, едва смог от усталости раздеться. Только голова коснулась подушки, заснул. И… проспал на работу. А когда явился, в кабинете Валентина Павловчиа сидели Делюкин, Алеша и следователь Чернышев. Увидев меня,

последний подлнялся. Крепко пожал руку. Кивнув на рукопись моего очерка, сказал:

- Мне понравилось. Только некоторые недочеты, касающиеся Законодательства, я исправил. И еще: отдельные выводы, утверждения, предположения до окончания следствия я бы все-таки поставил вопросами автора очерка к руководству и дороги, и отделения, и прокуратуры. И этот ход, - во-опросами! – очень помог бы следствию. Кстати, я завтра опять отправляюсь в Рязань. Возникли нюансы. Очень важные. Может быть, со мной?

- Нет-нет-нет, - перебил его Валентин Павлович, - ты, товарищ следователь, хочешь оставить мне редакцию без одного из самых боевых штыков. У меня-то их – раз, два и обчелся!

- Палыч, – дернул бородкой Делюкин, - есть замечательный выход! Игорь Федорович съездит в Рязань. Мы к его приезду опубликуем очерк. А потом Саша, так сказать, по горячим следам, возьмет у него интервью. И это будет только свидетельством того, что мы, - ха-ха! – как говорится, держим руку на пульсе событий.

- А что? Здорово! Третий материал можно сделать, когда следствие будет закончено, - согласился Чернушев.

Валентин Павлович утверждающе прихлопнул ладонью по столешнице. А Делюкин предложил Игорю: «Может быть, останешься. Саша ведь у нас – молодой сотрудник. Из-за срочных материалов уже больше месяца не «прописывается». Вот мы и решили сегодня его «прописать.»

- Нет-нет, – покачал головой тот, - мне к командировке готовиться надо. Вот закончу следствие, тогда и посидим за столом.

И, распрощавшись, Чернышев ушел. А я, взяв рукопись, отправился за свой письменный стол, по его советам доводить очерк «до ума».

Когда ворожья сторожа была снята, а кони литвы, пасшиеся в полуверсте, растреножены и разогнаны, мы окружили низинку, поросшую мелким кустарником. Литвины, в большинстве своем, спали, тесно окружив костры и привалившись друг ко другу спинами. Полонян не соврал. Около каждого костра, греясь дымом, лежало не меньше десятка. В самом центре стана возвышались три сработанных на скорую руку, но все-таки добротных шалаша.

- А ведь точно, словно волки, – прошептал Петруша, - днем спят, а ночью грабят, режут, лютуют…

- Хуже, чем волки! Помнишь ли, как Акилина, - Царствие ей Небесное! - нас, людей, упрекала? Эти же охотятся не на зверье, а на себе подобных. От голода? От холода? От нищеты? Ради чего тогда?. Одержимость какая-то! Бесноватость! Тс-с-с! – тоже шепотом ответил я.

Мы подошли совсем близко. Кое-кто из ворогов сонно заворочался. Должно быть, не спал, а просто подремывал. Я поглядывал поверх голов спящих, на взгорок. Именно оттуда должен был обрушиться на стан Дубок. Но он молчал. Зато я увидел, что между кустов и высокой травы к крайним кострам ворогов скатились десятка три казаков. Они вырезали литвинов одного за другим. Те не успевали даже пикнуть. Так, перебираясь от костра к костру, казаки, обезвередили уже сотни полторы ворогов. Но тут я заметил, что из одного шалаша вышел ярко разодетый пан. Он протер глаза. И в этот момент где-то далеко заржал конь. Пан вскинулся. Огляделся. Заметил неладное. И что закричал своим ратникам. В это же время раздался свист Дубка.

Мы обрушились сверху на ворогов. Окружили и понеслись в два круга, навстречу одни другому, осыпая их стрелами. Те и очухаться не успели, как их осталось около двух сотен. Да и оставшиеся метались, словно очумелые. Еще бы: от нашего вендеря головы не могли не закружиться! Тогда мы взяли их в пики и сабли. Я видел, как Дубок спешился и теперь яростно рубился с начальником отряда. Остальные же связывали сдавшихся на нашу милость. Я бросился к шалашам в надежде поймать, наконец, этого Голдштинского. Но нигде не нашел его. Зато увидел связанных Тимошку Косого и Мстиславку. Они лежали в разных углах одного из шалашей.

- Алексашка, – заулыбался Косой… - Спасатель ты наш! Спаси тя Господи! Режь же скорее путы!

У Мстиславки на глазах стояли слезы. Он тихо произнес: «Погоди резать! Косой – иуда. Обманом заманил меня. А литву сюда привел. По твою и Дубкову души.»

- Во, здорово! – вспыхнул Косой. Руками подергал путы: «С больной головы на здоровую валишь! Это ты – иуда! Это ты продался литве, а меня заманил!»

Ко мне подбежали Дубок, Тишка, Евсейка, другие. Они удивленно смотрели на

Косого и Мстиславку. Когда же я объяснил им случившееся, Дубок хмыкнул: «А правду узнать нам нетрудно будет. А ну, братцы, приведите-ка кто-нибудь первого полонянина. Он-то поведает нам, кто – иуда. Деваться ему уже некуда.»

- А где начальник отряда? Да и Голдштинского что-то не вижу, - огляделся я, когда Евсейка, вскочив на коня, ускакал.

- Первого я зарубил. Уж больно яростно он отбивался. А так хотелось повесить! Прямо на месте сожженной им пустыньки, – ответил хмуро Дубок, - а вот колдуна ихнего я так и не видел. Неужто сбежал?

- Он еще рано утром отъехал с десятком ратников, - подал голос Мстиславка, - а куда, не ведаю.

- Неужто прознал про нас? – крутанул я головой. И забезпокоился о своих домашних: «В шаре своем что-ли увидел?»

- Ты ж сам говорил, что в шаре можно увидеть только тогда когда есть какая-нибудь вещица искомого. Откуда ж она у него? - тихо молвил Петруша.

- Он что-то в пустыньке искал, перед тем, как поджечь ее. Ругался. А потом радовался. Стало быть, нашел, - пояснил Мстиславка.

В это время Евсейка и Тишка привезли нашего первого полоняна. Подвели к нам. Я спросил: «Кто из этих русьских князей привел сюда?»

- А жить останусь? – дрожа всем телом, спросил литвин.

- Останешься-останешься, - кивнул я.

- Вот он, - показал тот на Тимошку.

- А этот? – кивнул на Мстиславку Дубок.

- Этого в путах держали. Пан Голдштинский никуда его от себя не отпускал.

- Ах ты, иуда! – подошел я к Тимошке.

Дубок отстранил меня: «Погоди, зятек! Взяли мы их на моей земле. Я и буду решать его судьбу.»

- Холоп вчерашний! Из грязи – да в князи?! Как ты смеешь?! Я – родовитый болярин! – завизжал, краснея, Косой. Попятившись от нас, он и мне злобно прокричал: «А иуда – ты, Алексашка, да братец твой, стрелец! Зря я вас тогда не заковал в железа да Курбскому не сдал! Кудеярку-то отпустили! Иуды! Царя ослушались! Пре-е-едали!»

Кровь ударила мне в голову. Сдерживаясь, я положил руку на плечо

Дубку: «Отдай мне его. Сейчас. Здесь. Он оскорбил меня и брата.»

- Что, прямо здесь повесишь? А может быть, по-татарски, конями разорвем? Или до лесочка довезем? А там – на две согнутые березки? А? – хмыкнул тесть.

- Нет. Я хочу, чтобы Господь Сам рассудил. На нашем с ним поединке. Ежели он – подлец, мы же не станем ему уподобляться.

- Ты что это, зятюшко, надумал такое? А жена молодая? А вдруг?!

- На все - воля Божия… Развяжите его. И дайте саблю, - крикнул я холопам и снял полушубок. Когда исполнили мое повеление, я увидел красный отблеск в глазах Тимошки. Подумал: «Слава Богу! Злится»! Вслушался в свое сердце. Оно было спокойным, как озерная гладь в летнее погожее утро. Тимошка сразу стал наскакивать на меня, пытаясь зарубить. Хрипел: «Да я - тебя!.. За Царя!.. За измену ему!.. За Державу!»

- Чудно как-то «за Царя» и «за Державу» с иноземцами, с ворогами столковался, дабы своих извести - ответил я, отбивая удары.

- «Сво-а-аих»?! Да мне хоть с нечистым об руку таких иуд, как вы с братцем, с Земли

Русьской вывести! - осыпал он меня десятком молнеиносных ударов.

- Опять чудно рассуждаешь, - отбивал я и их, - как это с ворогами Спасителя нашего, - с колдуном! - Святую Русь спасать?! Знаешь ли ты о заговорах, который этот твой подельник Голдштинский против Государя готовил? А?

- Тогда, может быть, и готовил! Но мне наплевать! А использовать всех этих панов на пользу Царю и Державе не считаю зазорным! Потому как дерзновение такое имею в себе! Тебе и твоим прихвостням этого не уразуметь! - тяжело выдыхал он.

- Не-е-ет, Тимошка! Без Бога, без верности Ему, в союзе с иноверцами, да против своих же, - ни Царя, ни Державы, на народа нашего не будет на Руси! Ни Святой Руси! А иуда – это ты! Ладно меня! Соратника своего Мстиславку предал!

- Да я и мать родную за Царя и Державу продам.

- Ну, ты и гад, Тимошка! Ежели мать готов продать, то потом еще возомнишь, что Царь – не тот! И в Державе – не твоя правда! Тогда и за что-нибудь или за кого-нибудь и Царя, и Державу продашь?

Он все больше суетился. Изрыгал ругательства. Поэтому все чаще ошибался.

Наконец, сам… наткнулся на мою саблю. Осел. Выпучил глаза. Выпустил из оскаленного рта струйку крови. И повалился.

- Собаке и смерть собачья, - раздалось из толпы наших.

- Отпеть-то все равно надо бы.

- Да. Душа-то – христианка.

- Ага! Предал он Христа, приведя сюда этих ворогов.

- Иуда, - переговаривались наши холопы и казаки.

- Хватит балаболить! – повысил голос хмурый Дубок. Огляделся: «Евсейка! Скачи в село. Возвращайся с лопатами. Пусть литва своих хоронит. Здесь остаются две сотни. Остальные с нами - в пустыньку. Поглядим, что эти звери там наворочали.

Я подошел к Мстиславке. Разрезал ножом веревки. И мы крепко, молча, обнялись. Я повелел подвести ему коня. А он поднял чью-то литовскую саблю, кинул ее ножны. Пристегнул к поясу. И отправился с нами на переправу.

…От увиденного в пустыньке перехватило дыхание. Мужики-трудники все были порублены и постреляны. Отец Павел и другие иноки - раздеты по пояс и рапяты на грубо сколоченных крестах. Перед

смертью их пытали. Пальцы на руках и ногах, лица были обожжены, даже кое-где обуглены. А на груди у каждого мы увидели по двенадцать следов от кинжалов вокруг сердца и тринадцатый – в него. Вместо храма, келий и других построек чернели головешки.

Дубок скрипнул зубами: «Всех повешу!..»

- Пусть сначала пустыньку заново отстроят, - вздохнул я.

- Добро… Давайте-ка, братцы, сладим носилки. Хотя бы для святых отцов.

Мы принялись за дело. И скоро уже переправляли тела мучеников через Медведицу. На отпевание в монастырь пришли оба села. Приехали и князья-соседи. Полоненных литовских ратников заковали в колодки и отправили восстанавливать пустыньку. Но дозорных на ночь я, как и Дубок, продолжал выставлять за околицу. И все ломал голову: куда ж подевался Голдштинский? Не мог же он убраться восвояси, несолоно хлебавши.

Как-то вечером, за трапезой, Мстиславка вдруг сказал: «Надо мне на Москву скакать. Всё Курбскому поведать. А то как бы меня в бега не объявили!»

- Погоди, - кивнул я, - передохни седмицу. Во-о-он, все еще – зеленый какой-то. А как же тебя Тимошке полонить удалось?

- Что греха таить. Опоил он меня. Пригласил к себе: мол, потолковать об одном деле надобно. У него еще поп какой-то сидел. Тот при беседе молчал. Только зыркал как-то не по-доброму. А я после первой же чары меда потерлся весь. Словно на водную глубину опустился. Или в густом тумане, - только в темном каком-то, - оказался. Очнулся уже в телеге. Связанным. В лесу. Этот Голдштинский, почему-то облаченный в лохмотья, ехал верхом рядом с Тимошкой. И я так понял, что со времени опаивания прошло не меньше седмицы. Потом нас встретил литовский отряд и мы отправились сюда. Голдштинский иногда заставлял меня какой взвар выпить. Силой вливал. А потом, - опять я видел, словно в тумане, - клал мне ладонь свою вонючую на голову. Причитал что-то не по-нашему.

Меня обожгла мысль о том, что Мстиславка и был той самой «вещью» через которую колдун видел и меня, и Дубка, и Алену, и все наше обитание. Но говорить вслух не стал. А Мстиславка действительно выглядел хворым. Поэтому я отвез его к отцу

Никите. А тот, поговорив с моим соратником, определил: «Отчитывать его надобно. Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие!»

Тогда я поведал батюшке о том, что говаривал Тимошка во время поединка. Отец Никита опять покачал головой: «Бесноватым оказался твой поединщик. Видать, тоже околдовали. Эх, полонить бы этого Голдштинского, да сжечь в баньке, прости Господи! А вот что за поп, которого видел князь Мстислав у болярина Тимофея? Прости, Господи, даже Царствия Небесного не пожелаешь последнему. Так вот, полагаю, попа того с недобрым взглядом хорошо бы было сыскать на Москве. Похоже, он – подельник Голдштинского. В нем – и крамола, потому как - русьский он. Вернее, прозывается русьским.»

…Седмицу продержал отец Никита Мстиславку в подклете на сухарях и воде. Ежедневно вместе с братией отчитывал. Более никого к нему не допускал. Сам посерел, осунулся. Но когда я снова увидел Мстиславку, тот был веселым и румяным, спокойным и добродушным, как прежде. Трапезничал, правда, осторожно. Пояснил: «После сухарей и воды боязно на жирное налегать.»

- Ничего, - засмеялся Петруша, - скоро - Рождественский пост. Во время его и поправишься окончательно.

Утром прибежал староста Заяц. Торопливо заговорил, округлив глаза: «В переходе, без малого, от села наши заметили большой отряд ратников. С обозом. Идут в нашу сторону.»

- Снаряжение литовское? – заволновался я.

- Не-е-ет, наше, русьское.

- А сколько?

- Не менее пятисот. Наши издали с холма увидели. Подкрасться близко не осмелились. Дозоры усилены. Но идут неторопко.

- Коня. Снаряжение. Полсотни холопов пусть сбираются со мной. Пойдем навстречу. А ты послылай гонца к Дубку. Наших баб и детей отведешь в лес к схронам. А мужики пусть оружие под рукой держат, - отдавал я распоряжения, а сам размышлял: «Не менее пятисот всадников. Идут со стороны Литвы. Может быть переодетые вороги? И опять по мою душу? Ведь Голдштинский сбежал. Так не он ли отряд ведет»? Неспокойно мне было. Это состояние передалось Мстиславке и Петруше, собравшимся со мной. Но когда, взобравшись на холм, я увидел во главе

обоза верхового русьского болярина в высокой шапке, от сердца немного отлегло. Подскакал Тишка. Выдохнул: «Наши! Мне удалось бли-и-изенько подкрасться. Говорят по-русьски. А главный у них болярин Михаил. Я его под Казанью видел. Ста-а-атный! Одним из полков командовал. Бли-и-изко к Государю стоял.

«Кто ж это может быть»? – недумевал я. И поскакал навстречу отряду. Но скоро мы были остановлены полусотней дозорных. Я представился старшему. Сказал, что они идут по моей земле, а посему, хотелось бы знать: кто и за какой нуждой.

- Болярин Михаил Иоаннович Воротынский возвращается с ливонского порубежья по повелению Государя, - ответил старший дозорный, по всей видимости княженок или болярский сын. Дородушно улыбнулся: «Холопов своих оставьте с нами, а сами, князья, можете ехать, представиться.»

Я вспомнил, как много слышал о Воротынском. Даже от отца. Знатный воевода, хотя старше меня всего годов на пятнадцать. Вспомнил, что видел его под Казанью на военных советах у Иоанна Васильевича. Там он был воеводой полка Правой руки. Поэтому подскакав к голове

обоза, мы, все трое, спешились. Поклонились в пояс. Болярин Иоанн кивнул. А когда я представился, он заулыбался: «Уж не князь-ли-Василия сынок? Царствие ему Небесное! Только вотчинка-то у вас, вроде, как на юге была. То ли под Муромом, то ли…

- По Касимовым, - подсказал я. И объяснил: «Ту вотчинку крымчаки при набеге сожгли. А здесь я пожалован Государем за службу.»

- Сам-то в стрельцах?

- В конной тысяче. Вот, двоюродный брат Петр из Переславля-Рязанского – в стрельцах. Сотник. А это – князь Мстислав. Мой соратник по тысяче. Случаем здесь оказался.

- И-и-и, молодцы! А сейчас? На отдыхе или.., - он хмыкнул, - в опале?

Я вздохнул. А он засмеляся. Махнул рукой: «Бы-ы-ыва-ает. Эт-т-то дело такое. Сегодня - ты, а завтра – я! Не кручинь сердца.»

Он жестом повелел мне сесть в седло. Серьезно добавил: «Есть у меня грамота Государя, в которой он повелевает всем помещикам, кормленщикам, дворянским да болярским сынкам оказывать мне всякую помощь. А? Накормишь моих ратничков, людишек?»

- За милую душу, болярин! – почему-то обрадовался я. И послал Тишку к старосте, чтобы тот готовился встретить обоз как положено, да чтобы матушка с Аленой накрывали бы стол в хоромах.

…Ратников разместили по дворам моих холопов а болярина Михаила с сотниками я пригласил к себе. Там уже протопилась баня. А после нее мы сели за богато накрытый стол. Болярин Михаил, будучи плотным, высоким, - косая сажень в плечах, - ел много, быстро. Но успевал и потолковать. Сотники же в основном отмалчивались. А я решил поведать Воротынскому историю с литовским набегом, потому как подумал Мстиславку отправить с ним на Москву. Выслушав меня, болярин Михайло крутанул головой. Задумался на миг. Перекрестился. Раздумчиво заговорил: «А ведь я встретил твоего колдуна по дороге. Десяток ратников, кои его сопровождали, мы тут же в колодки забили и оставили в одном порубежном остроге. А его я решил на Москву доставить. Вот ведь, чуяло мое сердце! Но держал его не как полонянина, а как гостя. Хотя и мои людишки глаз с него не спускали. Ох, сколько ж он наговорил мне небылиц. Как свое колдовское умение расписывал. Но я только на ус мотал. Читал в сердце молитву

Кресту. Думал, в Разбойном Приказе от него много дознаются. Думал… Так нет же, сбежал! Пес лишайный! Усыпил сторожу! И не зельем каким-то. Полагаю, заговорами. Так и спали ратнички мои по ро-о-овнехонькой линии! Я их даже наказывать не стал. По приезду в Москву на полгода по монастырям на черные работы отправлю: пусть научатся молиться против нечистой силы. Жаль! Жаль, что сразу его не повесил! А ведь мелькнула такая думка! Надо было!»

- Прости, болярин! Ты – старше меня по возрасту. Но позволь сперечить тебе? Ты не смог бы его повесить.

- Эт-то еще почему? – вскинулся Воротынский.

- Потому что он – вечен! Я сам слышал его похвальбу. И кощунствовал он, что вечную жизнь ему даровал сам Христос.

- Ты хочешь сказать, что он – вечный жид? Агасфер?

- Вечный жид? - теперь вскинулся я.

- Да-да! Когда Господа нашего Иисуса Христа вели на Голгофу, он хотел, было, изнемогая по своему человеческому естеству, прислониться к стене одного из домов, чтобы передохнуть. Но хозяин дома не позволил ему этого. «Иди, иди! Нечего отдыхать», - закричал он. Спаситель разжал спекшиеся

губы, молвил: «Хорошо. Но и ты тоже будешь идти всю жизнь. Ты будешь скитаться вечно, и никогда не будет тебе ни покоя, ни смерти». Хозяина дома звали Агасфером. Но известен он больше под прозвищем «Вечный жид». И теперь он вечно скитается по разным царствам да королевствам, княжествам да другим землям, названия которых нам и неведомы, Ходит под разными именами. И поносит, поносит, поносит Православное Христианство! И всяческие пакости творит ему. Убить его на самом деле нельзя. Но его существование напоминает нам о том, кем и как был гоним Господь наш Иисус Христос. И слыхал я, что он первым будет судим на Страшном Суде Господнем не-ли-це-при-ят-ном!

Хотел, было, и я рассказать про свой поход на Белую Русь, но передумал. Никто ж не велел и не разрешал мне разглашать сие. Поэтому, вспомииая, поведал только о проделаках колдуна под Касимовым.

- А ты точно уверен, что это был он? – удивившись спросил болярин Михаил.

- Брат, князь Петр - свидетель. Князь Мстислав. Холопы мои. А до этого, приведя крымчаков, он сжег нашу отчинку. И,

полонив меня, сказал, что безсмертен! И что безсмертие ему даровал Христос.

Петруша закивал. Мстислав – тоже.

- По какой же нужде он так за тобой охотится? – задумчиво покрутил ус болярин.

- Даже не ведаю! – пожал я плечами. Но предположил: «Мстит за бывшего тестя-еретика?»

- И-и-и, брат, - усмехнулся болярин Михаил, - для таких, как я теперь понимаю, жизнь какого-то мелкого князька, - тьфу! Здесь нечто другое. Я ж род свой веду из литвоских князей. Более сотни лет назад перешли они на службу Великим Московским Государям. Так что обо всяких колдунах, объединившихся в так называемые ордена еще от деда слышал.

- В ордена? – сделал удивленное лицо я.

- Да. Были времена, когда католики не отсекали себя от Святой Апостольской Православной Церкви. Тогда, пламенея душами ревностью по Богу, лучшие князья в Галлии, Германии, иных державах решили объединиться и освободить Гроб Господень от полонения его агарянами. Да-да, тогда Святая Земля была захвачена, как называли их, сарацинами. Собрались, стало быть, под знаменем Креста лучшие князья и пошли, как они говаривали, Крестовым походом.

Многие из них приняли монашество. Объединились в ордена. Лучшие, как это всегда бывало, душу свою за други своя клали. А те, в ком какая червоточинка уже сидела, избегали мученических венцов. Тут-то и подловил их враг рода человеческого. Подловил на богатства тленные, на самомнение высокое, на пышность обрядов. Хочешь-не хочешь, а на каждом кровь была. А это – тоже лазейка в душу для врага. Ежели, конечно, не покаяться крепко. Не понести епитимью. Опять же - деньги. Поиздержались князья в долгом многолетнем пути. А враг – тут как тут. Через потомков распинателей Господа нашего Иисуса Христа стал давать князьям в долг. И не просто в долг. Взял к примеру такой освободитель Гроба Господня тысячу, а отдать должен был… две!

- Грех-то какой! – не выдержала матушка. Разрубила кулачком воздух: «Это ж грабеж! Дал денег, так и не требуй их вернуть! Так нас Священное Писание учит!»

- И-и-и, для этих лихоимцев – не грех, а добродетель. Враг-то по Богу все наоборот делает. И выставляет наоборот все наши дела. Вот вам и доказательство того, что служили потомки распинателей Спасителя не Богу, а… наоборот. Как и сейчас служат. А

грех-то он заразителен! Вот наши князья-крестоносцы и заразились. Стали по сути служителями лукавого. Ордена же, выстроившие себе целые крепости, стали мерзостью запустения. Бивали мы их! Святой Благоверный Великий Князь Александр Ярославич Невский разбил и Тевтонский, и Ливонский ордена. Поди, помните? Так они по-другому решили напасть на Православную Державу нашу. Ересью жидовствующих. Ее выжгли. И сейчас Государь, - дай Бог ему здравия, - дожигает! Но враг-то не отступился! Потому мы и нарекаемся воинами Христовыми. Однако, разумею я, что этот самый.., - как его? – ах, да, Голдштинский и вершит свои грязные дела здесь, дабы воровать у нашей Церкви овец словесных Христовых. А тем самым извести и Государя, и Веру нашу Святую. Да и саму Державу сделать «имперской провинцией».

- Да-да, болярин, - закивал отец Никита, тоже сидевший за столом, - и вот тут я вспомнил, что с князем Тимофеем, который привел колдуна с тысячью ратников сюда, еще на Москве видели какого-то попа, прости Господи, в нашем Православном обличии. В присутствии сего оборотня и князя Мстислава опоили. Я так

думаю: для того, чтобы, ежели что, на него всю вину скинуть. Ты, болярин, – близок к Государю. Учинить бы сыск!

- Добре, - кивнул Воротынский и, обратившись к одному из сотников, повелел, - Иоаннушко, завяжи где-нибудь узелок, напомни, когда вернемся…

…На дворе взыгралась метель. Поэтому болярин Михаил с ратниками прогостили у нас еще два дня и две ночи. Мстилавка обрадовался, когда ему предложили отправиться вместе с их обозом. А Воротынский обещал замолвить слово за него перед Государем. Мне же, прощаясь, весело сказал: «Ты не горюй от опалы-то! Не кручинь сердца. Понадобишься, вспомнят! Призовут! Поверь моему опыту.»

Вечером ко мне пришел Заяц. Смущаясь, глядя в пол, покашливая в кулак, тихо проговорил: «Я… Это… Того-этого… Доложить как бы… В хозяйстве – нелады. С этими гостями запасец-то наш седмиц на шесть поиздержался. Если учитывать все стада наши да холопов, нехватка получается. Что – снеди, что прокорма для скотинки. Чем покрывать-то? А ну, как - неурожай? На будущий год. Или опять же потрава какая.»

- А ты не каркай! – ответил я, одновременно радуясь его радению о

хозяйстве. И раздражаясь на его жадность: «Молись покрепче! Семью на колени поставь. А потом. Для кого пожалел? Для своих же! Где твое странноприимство? Или забыл эту добродетель? Это же наши ратники были! Защитники! Может и урожай-то наш нынешний только благодаря им выращен! Не было бы их, точно потрава могла бы быть! Только ворогами сотворенная! Захватчиками с запада! Или вообще весь бы урожай иродам каким-нибудь отдать бы пришлось. Вместе с животом! Да мы благодарить наших ратников с западного порубежья должны! В ножки кланяться! И тем уж паче – не жалеть ни снеди, ни прокорма для их лошадок! А болярин Михаил?! За последние годы не было ни одной сечи, где бы он не воеводствовал. И везде побеждал! Опять же обеспечивал наше мирное обитание! Неужели не уразумел? Эх! Придется мне тебя в следующий поход с собой взять, чтобы посмотрел ты, какой он труд-то ратный! Чтобы вкусил его! Там пот – погорше! Кро-о-овавый! Ладно! Не горюй! Не буду брать тебя в поход. Ты здесь – на своем месте. А что нехватка вышла, так с твоим радением это дело бы-ы-ыстро наживное! Сейчас зимой охоту надо наладить. Зайчатинки,

оленятинки, кабанятинки опять же заготовить! Эх! На медведя бы сходить! Выгнать из берлоги. И завалить! Забить ледники по самую крышу. Опять же косынок побольше на Медведице поставить можно. Уток много ли диких прижилось на птичьем дворе?

- Почти все! И такие яйца нести стали. Кру-у-упные. Некоторые уточки уже белеть начали. Одомашниваются. Округлились. Зажирели. Любо-дорого!

Я улыбнулся и похлопал его по плечу. В добром настроении пошел в молельную. Странно, но Алены там не было. Только матушка перебирала четки. Рядом на коленочках стояли сыновья и Петруша. Я коротко помолился сам. И пошел в наши с Аленой покои, где и застал ее, сидевшую в одной рубашке, заплетавую косу и, как я увидел по глазам, где-то высоко витавшую. Я подсел. Обнял за плечо. Она «спустилась на землю». Прижалась ко мне. Прошептала: «Как хорошо с тобой. Как хорошо, что ты дома. И еще… Как хорошо, что я… – непраздная!»

Я подхватил ее на руки. Закружил по покоям. Она засмеялась. А когда мы снова опустились на ложе, заявила: «Пусть матушка девушек дворовых для мытья

полов у нас больше не присылает. Я сама буду. Это – очень полезно и для меня, и для дочки.»

- А почему не для сына? – удивился я.

- А потому что два сына у тебя уже есть. А мне помощница нужна. А тебе – утешение на старости лет. Ваня-то с Васей, поди, в службу ускачут! А тут – девулечка-красотулечка! Да и ты, разве против дочки?

- Ну что ты, любимая!

- Вот и замечательно. Я думаю, на себя взять еще мытье полов на переходе.

- А не много?

- Посмотрю сама. По здоровью. Надо матушку и тятеньку обрадовать. А еще - отца Никиту. Да не забыть бы спросить у него, какие молитвы и мне, и тебе, и другим домочадцам читать надобно, чтобы выносить живулечку. А?

- Давай, завтра?

- Только ты не уходи от меня в другие покои. Все равно спать вместе, рядышком будем. А? Мне с тобой так спокойно! Так радостно! А значит, - и дочурочке нашей спокойно и радостно! Хоть и храпишь ты иной раз. Но храпишь так по-родному.

Я засмеялся и опять обнял ее в ответ. И снова дни полетели в делах и заботах. Отец Никита благословил Алену на молочное в

Рождественский пост. Но между тем не забывала и о хозяйстве! Я даже ворчал на нее иногда: мол, не много ли берет на себя?! А она только смеялась в ответ: мол, у казачек так принято! Здоровее чадушко будет. И трудолюбивее! Я опять заготавливал лес: сухого-то, выдержанного на восстановление пустыньки не хватило! Скакал по охотничьим угодьям, на рыбные промысли. Привозил ей свежей стрелядки. Мо-о-олочной еще! Малька не больше локтя. Так в житейских заботах прошел пост. На Рождество мы с Аленой, матушкой, Дубком, Васей и Ваней после праздничной Божественной Литургии ездили по обоим селам, оделяли гостинцами наших холопов. А отцу Никите я приподнес в подарок да-а-авно заказанную в Твери большую икону святого мученика Никиты с житийными клеймами. Ох! И радовался же батюшка! Дубок бывал у нас чуть ли не каждый день. Все вглядывался в дочку. Гостинцы привозил. Часто с сыновьями моими занимался. Святки прошли весело. Как всегда, - в сельской местности на Руси.

А на Крещение Господне Алена вдруг заявила: «Я тоже хочу на Иордань! Хочу окунуться! Живулечка наша только здоровее от этого станет.»

Я, было, воспротивился. Но, подумав, ответил: «Как отец Никита благословит.»

А тот, зайдя к нам, вдруг на просьбу жены спросил: «А есть ли у тебя страх за здоровье свое или живулечки? Хотя бы такой.., ну-у-у, тоньше волоска?»

- Не то, что страха нет! Ну-у-ужда! Как в зной степной хочется воды напиться, так, - нестерпимо! – в Иордань окунуться! - воскликнула жарко Алена.

Отец Никита внимательно вгляделся в ее глаза. Потом посмотрел на меня. Едва заметно улыбнулся. Молвил: «Тогда благословляю. Но ежели вдруг хоть росиночка страха появится, не лезь в Иордань-то!»

Алена радостно закивала. Победно посмотрела на меня. А я только пожал плечами, а в душе гордился своей женой. Накануне Крещения Алена даже от молока отказалась. Вечером поела сочива. И мы отправились на службу. Всю ее она простояла задумчивая, но чему-то улыбающаяся уголками губ. И вся была такая томная, что внутри меня всё вспыхнуло. Я отшел от нее и опустился перед иконой святого Благоверного Великого Князя Александра Невского на колени. Жар в крови приугас. Мы причастились святых

Христовых Таин. И скоро все село дружно высыпалось из храма на берег Медведицы, где еще утром во льду был вырублен крест.

Первым, после молебна и освящения воды, прямо в облачении в реку по струганым мосткам зашел отец Никита. Медленно с невольными вздохами и с восклицаниями «*Во имя Отца! Аминь! И Сына! Аминь! И Святаго Духа! Аминь!*» он трижды окунулся с головой в воду. Следом за ним должен был идти я. И пошел. Ступни не почувствовали ледяного холода. Но после первого же окунания, я выскочил наружу чуть ли не наполовину! А уж третий возглас просто пробормотал, - казалось, не хватит воздуху! Но выйдя из Иордани, вдруг захотел обратно! Ни мороза, ни даже холода я не чувствовал. Тишка тут же набросил мне на плечи шубу а под ноги поставил валенки. Другой холоп подал чару горячего крепкого меда.

Мужики один за другим спускались по лестнице. И мне вдруг стало стыдно: а вдруг я вел себя в Иоардане как-то не так?! Но тут полезли в воду бабы. И первой была моя матушка, потом – Алена. Даже они спокойно, с радостью и восторженным визгом окунались с головой. Выходила же Алена из воды плавно, нарочито медленно. И

противясь шубе, которую пытались тут же накинуть на нее, долго отжимала свои волосы. Я залюбовался женой. И заметил, что другие тоже любуются ею. Зато Ваня с Васей с разбегу, визжа, словно в бой, попрыгали в Иордань. И тоже с неохотой вышли из воды.

…Незаметно подошел и Великий пост. Но и он промчался радостно. Душевно радостно. В селе уже начинали готовиться к посевной. И когда подошло Светлое Христово Воскресение, Заяц доложил, что можно сеять «хоть завтра»! Пасха была поздней. Но я все равно повелел отложить все работы на понедельник Фоминой седмицы. И первым вышел в поле. За мной шел Петруша. И восторженно вздыхал: «Ах! Алексаша! Какая же радость бросать в землю семя, зная, что оно даст свой плод во много раз больше себя! И ты – соучастник всего этого великого таинства!»

Начались весеннее-летние будни села. Иной день я даже не успевал с Аленой повидаться. А она округлилась. Живот, что называется, на нос вылез. Но все равно, была такая же веселая, задорная. И казалось, от забот своих, - полы так и не прекращала ежедневно мыть почти во всем тереме, - получала удовольствие, как от сладкой

пареной репы, моченых яблок, ядреного, крепкого кваса или слегка недозревшей кисловатой Володимирской вишни! Уж их-то, как я давно знал, она особенно любила. А в середине июля Алена, как и обещала, подарила мне дочку! Ма-а-аленькую такую! Горластую, как и мама! Родила легко и быстро! Окрестили мы дочку во имя святой равноапостольной благоверной Великой Княгини Ольги. И матушка моя, и Дубок места не находили себе от счастья. Не спускали с рук внучку. Но на предложение матушки назначить Ольгушке кормилицу, Алена наотрез отказалась: «Я что, сама немощная какая? У меня что, сисек нет?»

На том и закончился разговор о кормилице. Алена, каждый раз давая дочке грудь, напевала ей что-то тихое и ласковое. От этого, как сказала она, и дочка спокойно спала. Даже улыбаться в месяц начала. Или это показалось жене?

А Ваня с Васей тоже постоянно тетешкались с сестрицей. Под присмотром старших, конечно. Только однажды попытались накормить ее свежей малиной! За что и были пороты по повелению бабушки. Но на застольях Дубок иногда ворчал на меня: «Не мог внука родить! Мне казак нужен!»

На что отец Никита однажды попенял ему, кивнув на меня: «Не грешеи он, князь Иоанн! Его сыновья – твои внуки! Вот и принимай Ванечку и Васечку, как своих! Казаков! Те ж – тоже русьские. Казаки же – это состояние духа!»

- Да он так и делает, - вступился я. И Дубок благодарно посмотрел на меня. Но Ольгушка вдруг месяца через два отказалась от Алениной груди. Как же мы все намаялись поначалу. Но что удивительно! Когда матушка, найдя кормящую пышногрудую холопку, призвала ее, и та поднесла дочку к своей груди, Ольгушка с жадностью принялась сосать. Матушка победно обвела нас, всех собравшихся сродников, взглядом, мол, а что я говорила?! И, высоко вздернув подбородок, молча вышла из покоев. А отец Никита, присутствующий при сем, только вздохнул: «Старших-то слушать надо! Ибо, сказано*: чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли.»*

А после Покрова, Алена, снова прижавшись ко мне как-то поздно вечером, прошептала о том, что снова понесла…

- А теперь кого ты задумала? – обнимая ее с радостью, спросил я.

- Сына, - выдохнула она. И прошедший год повторился один к одному. Но не успел я увидеть сына. Однажды, в самом начале апреля, вернувшись с полей, я застал дома… Мстиславку. Он, глядя на ярко обозначившийся уже живот Алены, опустил глаза. Вздохнул. Произнес: «Государь тебя призывает, Алексашка. И брата твоего Петрушу. Это я уж попутно сообщаю. Поход на Казань будет. Подготовка к нему идет полным ходом. Нам с тобой предстоит спуститься по Оке и Волге в составе судовой рати с запасом продовольствия и с нарядом для всего войска.»

- Неужто, нам, коннице, повелят пушки сопровождать? Да еще по воде?! – сдвинул брови я.

- Да, - вздохнул опять Мстиславка, - берегом, до Свияжска. Помнишь ли холм, перед которым мы в снежную бурю попали? Так вот, там теперь та-а-акая крепостица стоит! Любо-дорого! Собрали ее полностью под Нижним. Потом раскатали по бревнышку. Сплавили по Волге до Свияги. И там, на холме, возвели вновь. Храм во имя Пресвятой Троицы Государь сам ставил! Нарекли, как уже сказывал, Свияжском. Там будут стоять три полка. А мы, сопроводив их, отойдем на переправы через Волгу между

Васильсурском и устьем Камы. Возможно, Иоанн Васильевич примет другое решение. Курбский повелел передать, что ты прощен. Можешь явиться пред светлые очи Царевы. Должен явиться. И привести с собой, согласно указу, отряд. Седмица тебе на сборы.

Я поневоле вспомнил предсказания болярина Воротынского о том, что всякая опала заканчивается, когда нужен добрый ратник. Но взглянув на Алену, увидел в глазах ее слезы. А через семь дней она преподнесла мне, уже сидевшему в седле во главе отряда мужиков, стремянную чару и моченое яблочко. Я наклонился, чтобы поцеловать ее и услышал шепот: «Не была бы непраздная, поскакала бы с тобой! Куда ж тебе без меня?! Впрочем, бей врагов Христовых ради жизни наших детей! Нещадно бей! Прости нас, Господи. И возвращайся»

Ко мне подошла матушка, сыновья. Я легко приподнял и ее, и их с земли. Поцеловал. Вася вдруг истошно крикнул: «Тятенька! Зерцало не забывай надевать! Грудь береги!»

С чего это он? Я мотнул головой, отгоняя дурные думки. Дал коню шпоры. И, не оборачиваясь боле, двинулся в путь. А он

прошел на редкость быстро, безо всяких приключений. И скоро мы были в Москве. Хоромы мои оказались в целости и сохранности. Даже не отсырели. Тишка натопил печи, баньку. Я попарился и лег пораньше, чтобы еще затемно быть у Курбского. Однако, что-то щемило сердце. Что-о-о? Я выпил крепкого меду. И мгновенно заснул. Но во сне увидел… старика-урода, уже остобрыдлавшего мне встречами с ним и называвшегося теперь Голдштинским. На этот раз, он сидел в каком-то подземелье, похожим на то, где погиб княжич Димитрий. И, бормоча что-то под нос, точил наконечник то ли стрелы, то ли болта. Посмотрел на меня. Вскочил. И закружил по подземелью, выбрасывая вперед и вверх то руки, то ноги, хохоча и дергаясь, словно в падучей. Я заставил себя проснуться. На дворе было еще темно. Я прошелся по терему. Гулко, пустынно скрипели половицы. Я зашел в молельную. Опустился на колени. И в молитве не заметил, как рассвело. Когда же вышел, оказалось, что меня дожидается вестовой от Курбского. Я быстро собрался и выехал. Но не в расположение тысячи, а в Кремль. Там, в Царском дворце было многолюдно, а потому и шумно. В палате, куда нас,

сотников, тысячных, болярских сынков, князей и воевод созвали, на троне восседал Государь. Вокруг него толпились Курбский, Адашев, поп Сильвестр, Воротынский, Василий Серебряный, Алексий Плещеев, Иоанн Мстиславский, Данило Юрьев, Александр Горбатый-Шуйский, Иоанн Чоботов, Феодор Головин, другие, которых я мало знал. Рядом с Государем восседал владыко Макарий. За спинкой его трона стоял назнакомый мне игумен. Но пока суть да дело, палата шумела, что твой улей. Я узнавал старых сратников. Узнавали и меня. Христосовались. Спрашивали, почему, мол, так долго отсутствовал, на что я отшучивался. Наконец, Иоанн Васильевич встал. Все смолкли. А он, благословившись у митрополита, перекрестился на образа. Поклонился на три стороны и заговорил: «Собрал я вас всечестные отцы и братие, чтобы сообщить решение, принятое Избранной Радой. Дважды ходили мы на Казань, дабы прекратить набеги поганых на земли наши, оградить холопов, женок, чад от полонов и продажи в рабство. И оба раза оказались неудачными. Молитвами владыки теперь у нас есть достойная рать, способная, ежели Богу сие угодно, наказать казанцев за все их многовековые безчинства на Русьской

Земле. Посему, собираем войско. Как? Что скажете, боляре, князья, холопы мои верные?»

Возгласы восторженного одобрения, казалось, разрушат стены палаты. А Курбский, поднял вверх руку и дождавшись тишины, поклонился Царю в пояс. Полуобернулся к нам и громко, как бы от всех воскликнул: «Мы все должны и готовы за Православную Веру и за святые церкви, и за тебя, Государь, кровь свою пролить и головы свои сложить! Ежели повелишь!»

Иоанн Васильевич улыбнулся: «Спаси вас Господи, братие! Тогда, давайте помолимся?»

Он повернулся к большим ростовым иконам, освящавшим собою Красный угол палаты. Перекрестился. Положил три земных поклона. И под своды палаты взлетело общее *Царю Небесный*. Потом Государь громко возгласил: «*О Премилостивый Создатель наш, услышь молитву и моление грешного раба Своего и не помяни грехов моих, совершенных пред Тобою в юности моей и в зрелые годы. К Тебе прибегаю, Творцу и Господу моему. Увидь, Владыка, стенания и слезы раба Твоего и прости грехи мои, и прими покаяние мое, как и Давида, Иезекеиля, и Манасии, и*

разбойника, и ниневитян. Помилуй меня по великой милости Твоей и дай мне, Господи, победу над ворогами нашими, дабы не говорили язычники: “Где есть Бог их?”, и уразумели бы, что ты один Бог наш и Господь Иисус Христос, во славу Богу и Отцу и Святому Духу. Аминь. И кроме Тебя иного не знаем и Твоею милостию побеждаем ворогов наших.»

Когда он возносил молитву, мои губы сами собой потворяли его слова. То же, мельком оглядевшись, я заметил у других. А когда Иоанн Васильевич ненадолго замолк, вдруг подумал: «Вот это и именуется едиными усты и единым сердцем». У меня слезы подступили к глазам... А Государь продолжал: «*О Владычице Пречистая Богородица, Мати возлюбленного моего Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, подвигнись на молитву к рожденному Тобой Небесному Царю вместе с Небесными силами и с пророками, и с апостолами, и с мучениками, и со святителями, и с преподобными, и с нашими помощниками и заступниками — русскими святителями и новыми чудотворцами: с великими святителями Петром и Алексеем, и Ионою, и Леонтием, и с угодником твоим великим чудотворцем преподобным Сергием, и с*

Никоном, и с Кириллом, и с Димитрием, и со всеми русьскими чудотворцами, и со всеми святыми! И умоли, Владычице, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы послал нам победу и помощь в сече с ворогами нашими и победу над ними, дабы уразумели все вороги наши, что мы не нашими храбростью и силами побеждаем ворогов своих, но с помощью всесильного Бога — Отца и Сына и Святого Духа и Твоими к Господу молитвами и заступничеством: ведь храбрость и победа христиан в том и состоит, чтобы уповать на всесильного Бога и на Тебя, Владычице, твердую Помощницу христианскому роду.»

Когда же он опять повернулся к нам, все явственно увидели его повлажневшие глаза. Теперь митрополит Макарий повернулся вполоборота к нам, вполоборота к Государю. Старческим, но твердым голосом заговорил: «О пресветлый и великий Царь! О пречестная и благоразумная глава! О предобрый пастырь! Полагай душу свою за словесных овец, которых даровал тебе Всемилостивый Бог. Имеешь ты, о благочестивый Царь, горячее устремление к Богу и готов пострадать за благочестие, да пошлет тебе и всему твоему христолюбивому воинству Всемогущий Бог по молитвам Пречистой Своей Матери и

великих чудотворцев помощь и победу над супостатами.»

Некоторое время в большой палате стояло молчание. Наконец, Государь сел на свое место и повелел: «Первыми на этой седмице с судовой ратью из трех стрелецких полков и с нарядом выходят бояре Александр Горбатый-Шуйский, Петр Шуйский, и Даниила Юрьев. Остальные - в началое июня. Когда? Это мы еще решим. Я веду свою конную тысячу и полк Левой руки через Коломну, Владимир, Муром. Полк Правой руки, Большой и Передовой отделяются от меня в Коломне. Идут через Рязань, Кадом, Темников. Встречаемся в Борончеевом Городище и следуем на Свияжск. Сотники и тысяцкие могут идти, готовиться в поход. Посему, попрощайтесь с домочадцами. И выходите в стан на берег Москва-реки. Здесь сейчас остаться набольшим воеводам и Избранной Раде. С Богом!»

Выходя из Кремля, я весело сказал Мстиславке: «Ну, вот, а ты говорил пушки берегом сопровождать будем. Идем рядом, почитай, с Государем! Счастье-то какое!»

Он согласно кивнул.

Вся Москва провожала Русьскую рать. Одни женки плакали. Другие молились. Дети

гордо смотрели на отцов. Над стольным градом плыл торжественный колокольный звон.

…В Коломне мне пришлось стоять в стороже Путевого Государева дворца. И среди ночи я увидел, как ратинки, сопровождаемые Курбским, Воротынским, другими набольшими воеводами, под руки ввели, даже, пожалуй, внесли кого-то со двора. Им навстречу из своих покоев стремительно вышел Иоанн Васильевич. Оказалось, что из Тулы прибыл гонец. Сквозь повязку на голове сочилась кровь. Да и кольчуга была, похоже, слегка порублена.

- Что? – приблизил к нему, едва стоявшему на ногах, свое лицо Государь.

- Тридцать тысяч крымчаков привед Девлет-Герей под Тулу. Осадил. Берет приступом. Рушит пушками стены.

- Что болярин Григорий Темкин? – спросил Государь.

- Держится. Но просил передать, что молит о помощи. У турок – большие пушки! Я едва пробился. Весь город окружен.

- В лекарню! – кивнул на раненного гонца Иоанн Васильевич. Посмотрел вокруг. Показал на гонца. Позвал: «Алешка! Адашев! Дворянское звание ему и деревню с холопами!»

Когда гонца унесли, Государь, задумавшись, произнес: «Хотят помешать нам идти на Казань. Тулу-то возьмут, ежели на помощь не придем. А потом – на Москву пойдут?»

- Государь, - подал голос болярин Воротынский, - я те места хорошо знаю. Свиданькался там с сарацинами. Сам же засечную черту возводил. Дай мне тысяч десять, сотню твоей конницы. Пушчонок полегче. Чтоб ввинтится в турок можно было. И благослови остановить поганых. А?

- Сдюжешь? – положил ему руку на плечо Иоанн Васильевич.

- Не впервой, - хмыкнул болярин Михаил.

- Тогда бери двенадцать тысяч. И сотню.., - он огляделся, как бы ища кого-то, увидел меня. Подошел. Вгляделся: «Да, вот хоть - Алексашкину! Мы его сейчас со сторожи сменим. Но выходите с князем Петром Шентяевым прямо сейчас! Разобьешь крымчаков, догоняй через Муром и Кадом!»

Утро началось с планерки. Валентин Павлович назвал мой очерк «Не для ордена…» лучшим. Погладил ладонью столешницу:

- Ну и шуму же мы наделали. Поставили под вопрос не только компетентность руководителей Рязанского отделения, но и их человеческую порядочность и честность. На днях их на Коллегию Министерства вызывают. А такое бывает только при награждении орденами или при снятии с командных должностей. Причем при громком, на всю страну снятии! Только не загордись, Саша! А чтобы этого не случилось, расписываю тебе жалобу на плохую кормешку в локомотивном депо «Раменское». Свяжись санитарной службой, попроси какого-нибудь врача направить с тобой. И выезжать советую на первой электричке. Чтобы, сам понимаешь, врасплох застать. Они же круглые сутки работают. А пересменок у них с шести до семи утра. Ехать тебе минут сорок. Вот и считай.

- А как я из дома в четыре утра доберусь до Казанского вокзала? – пожал я недоуменно плечами.

- Зачем в четыре? Поезжай, как только городской транспорт начнет работать. Троллейбусы, кстати, уже в четыре выходят на линию. Тебе очень удобно на «Букашке» доехать до площади Лермонтова, а оттуда, - вместо утренней зарядки, - трусцой до

вокзала. Кстати, - обвел он всех взглядом, - сегодня в редакции сухой закон: в пятнадцать часов к нам нагрянут из Допрофосожа. Марина Апполинарьевна из отдела культуры придет. Опять же, она по телефону очень хвалила Сашин очерк об ансамбле «Прялочка». Только добавила при этом, что о фольклоре в этом году можно и не писать больше. Так что, Саша, готовь такой же материал для «Гудка». А эта газетка уже – тяжелая артиллерия. Володе Делюкину лучше найти себе какое-нибудь срочное редакционное задание и часов в четырнадцать уехать из редакции. А вот ты, Алеша, что-то сдаешь позиции. Все последние портреты – близнецы-братья. Даже ракурс, позы твоих «героев» одинаковы.

- Так, Сашу же «прописывали»! До сих пор в себя придти не могу! Не помню, как до дома добрался, - оправдывался Алексей.

Меня Палыч тоже отпустил с работы пораньше. И на следующее утро я встретился на Казанском вокзале «под часами» с пожилой, седеющей, строго одетой, - словно старая учительница, - женщиной. Она назвалась Риммой Алексеевной, санитарным врачом. И в электричке, по моей просьбе, объяснила процесс проверки столовых,

буфетов, ресторанов. Я старательно записывал за ней все о содержании бракеражных журналов, медицинских книжек, иной документации, которую нужно обязательно проверять. Отмечая каждое слово движением указательного пальца сверху вниз, Римма Алексеевна действительно была похожа на учительницу. Я едва сдерживал улыбку, когда она монотонно выговаривала: «Все блюда и кулинарные изделия, изготовляемые в предприятиях общественного питания, подлежат обязательному бракеражу по мере их готовности. Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии. Бракераж блюд и готовых кулинарных изделий производит комиссия в составе директора предприятия, заведующего производством, повара-бригадира. Оценка качества продукции заносится в бракеражный журнал до начала ее реализации. При нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана снять изделия с продажи и направить их на доработку или переработку, а при необходимости - на исследование в пищевую лабораторию. Каждое предприятие общественного питания обязано иметь бракеражный журнал. Бракеражный журнал

должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан. Хранится бракеражный журнал у заведующего производством.»

И так далее, в том же духе, про другие многочисленные документы. Я подумал, что у поваров, при заполнении ими всех журналов, времени не хватит приготовить еду для людей. А Римма Алексеевна, словно прочитав мои мысли, уже, как бы от себя лично вдруг мягко сказала: «Вы поймите, насколько ответственна работа наших столовых, особенно, - на призводстве! И, соответственно, - деятельность санитарной службы! Для наглядности представьте, что у машиниста пассажирского поезда и его помощника вдруг в пути началась диарея из-за некачественно приготовленной в локомотивном депо пищи!»

- Что? – не понял поначалу я. Римма Алексеевна вздохнула, словно я не смог ответить заданный урок: «Расстройство желудка в следствие пищевого отравления.»

Поначалу, представленное мною, могло вызвать только смех. Но потом перед глазами встала другая, далеко невеселая картина. «Действительно, - подумал я, - даже не ведя локомотив, мало приятного от самого слабого отравления. Все мысли – только об одном! Какое уж тут управление поездом»!

Мы вышли из электрички в мелкий, колючий холодный дождь со снегом. Римма Алексеевна уверенно, словно ходила здесь каждый день, пошла по платформе, а спустившись с нее, - по грязной тропинке вдоль рельсов. У входа в депо нас ждал немолодой уже старший лейтенант милиции. Рима Алексеевна поздоровалась с ним, как со старым знакомым. А, обернувшись ко мне, представила его: «Оперуполномоченный ОБХСС Управления внутренних дел на железнодорожном транспорте Игорь Сергеевич Огарков. Он тоже войдет в состав комиссии. Я с ним уже ходила на проверки. Ответственный, грамотный работник.»

«Потому до сих пор - еще всего лишь старший лейтенант?» - хмыкнул я про себя. Но тоже представился. Мы прошли по длинным помещениям депо. Мимо электоровозов, тепловозов, дрезин, внутри которых и на крышах работали люди.

- Ночная смена? – спросил я. Игорь Сергеевич кивнул: «Скоро заканчивается.»

Тогда я подошел к одному, выглянувшему из «ямы» под тепловозом.

- Здравствуйте. Я – из газеты «Московский железнодорожник». Вы ночь работали?

Тот кивнул. Внимательно вгляделся в меня. А я продолжил: «Обедали в столовой?»

Рабочий покрутил головой. Процедил: «Что, я - враг своему желудку? Мне жена с собой дает перекус. А вот смена кончится, я дома борщом наверстаю упущенное.»

- А что, плохо готовят в столовой?

Рабочий крутанул головой. Посмотрел по сторонам. Опустил взгляд и буркнул: «А вы сами попробуйте. Они как раз к пересменке готовятся. Обе бригады там.»

И он опять залез поглубже в «яму». А Римма Алексеевна выразительно двинула головой вниз: мол, вот, так! Мы прошли еще немного и встали перед грязной, железной дверью, над которой красовался указатель «Столовая». Из-за двери слышны были металлический звон посуды, крики, какая-то ругань, смех. Игорь Сергеевич постучал кулаком. За дверью на миг все стихло. Потом раздался грубый женский голос: «Чего ломишься? Через полчаса откроем! С голодухи что ли помираешь?! Совсем зажрались. Полчаса потерпеть не могут. Проглоты!»

И за словами последовал дружный многоголосый смех. Игорь Сергеевич постучал еще сильнее и дольше. Лязгнул засов и дверь открылась. Перед нами стояла

довольно молодая, но очень толстая женщина, с заплывшими глазами и лоснящейся на лице кожей. Увидев милиционера и нас, охнула и сделала шаг назад.

- А мы не кушать к вам, а с проверочкой. - объявил Игорь Сергеевич. И шагнул за дверь: «Доктора вы, я полагаю, уже знаете. Меня тоже не в превый раз видите. А с нами еще - и журналист из «Московского железнодорожника». Жалобу на вас в газету прислали. Не предупреждал ли я вас, что доиграетесь. Доворуетесь. Не штрафовали ли мы вас всех?! А ведь в газете как пропишут, так с работы и попрут. Как ми-и-иленьких! По статье. Без права работать в сфере общественного питания.»

Вдоль стен выстроились работницы столовой. Нет, конечно, не все были толстыми. Но не здоровая, сытая полнота отметила каждую. Старший лейтенант обошел все помещения и остановился у другой двери.

- Служебный выход, - кивнул он на нее. И тут же, взглянув на ряд сумок, «с горокой» набитых сверками, спросил женщин: «Смена закончилась? Детишком на молочишко приготовили выносить?»

- Ой, Сергеич! Знаешь ведь, какая у нас заплата! - запричитала старушка. Самая худенька из всех: «А в сумках – объедки. Их все одно уже нельзя ни на стол, ни в буфет. Срок употребления истек!»

- А это мы сейчас проверим, - кивнула Римма Алексеевна, - принесите документацию. Пройдемте в кабинет заведующей. И сумки свои прихватите. Там на стол из них все и выложите»

- Нам еду для рабочих надо начинать готовить, - буркнула та, которая открыла дверь.

- Ничего! Подождут рабочие. Здоровее будут, - ответил ей Игорь Сергеевич. Я пошел за всеми и чуть не подскользнулся на жирном, в разводах, кафельном полу.

- Полы-то не мыты, - заметив это, произнесла Римма Алексеевна.

- Как не помыты?! – возмущенно воскликнула еще одна работница. Лицо ее и шея покрылись красными пятнами: «Помыты! Только до белезны-то не отмоешь. Здесь ацетон или бензин нужен! А это – не разрешено!»

Римма Алексеевна достала из портфеля коробочку, а из нее извлекла штатив, в котором стояли пробирки, заткнутые ватой. А из них торчали пластмассовые палочки.

- Прошу членов комиссии обратить внимание. Я беру мазок с пола после того, как он, по утверждению заведующей пункта общественного питания, был вымыт.

И она провела балочкой с ваткой по полу. Потом огляделась. Покачала головой: «А почему баки для приготовления пищи стоят на полу? И один - в другом? Вы же со своих месяц нестиранных халатов и фартуков туда всю грязь трясете! Товарищи члены комиссии, обратите внимание: я беру мазки с баков и с разделочного стола. Теперь – с досок.»

Проделав все это, санитарный врач прошла в кабинет. Там она и старший лейтенант просмотрели документацию. Сверили ее с содержимым сумок. И оказалось, что домой ночная смена собиралсь нести самые свежие продукты. В том числе, копченую колбасу, тушенку, сгущенное молоко, сардельки.

- Это же – из буфета для локомотивных бригад! – воскликнула врач. Покачала головой: «А ну-ка, пройдемте туда.»

В буфете Римма Алексеевна даже побледнела. Воскликнула в сердцах: «Да как же можно в дорожные наборы машинистам и их помощникам вареную курицу заворачивать?! Это же –

запрограммированное отравление! И почему колбаса тоже вареная? А копченую домой несете?»

- Они ж все равно наборы свои отказываются брать! - оправдвалась заведующая. Пробурчала: «А вареную колбасу мы зажариваем. Это предохраняет."

- Я бы от таких синюшных кур тоже отказался, - перебил ее Игорь Сергеевич. Брезгливо, кончиками пальцев перевернул то, что назвали курицей: «Ну-у-у, вы сегодня превзошли самих себя.»

- Товарищи члены комиссии, - снова заговорила Римма Алексеевна, - с вашего согласия, я беру на анализы куски колбасы и курицы из дорожных наборов для локомотивных бригад.

Потом она снова проверяла документацию. Оказалось, что у трех работниц медицинские книжки просрочены. И в разнообразных журналах было немало недописок или приписок, которые Римма Алексеевна заметила сразу. И назвала. Я все старательно записывал. В девять утра мы вышли из столовой.

- Может быть, зайдем к начальнику депо? В партком? В профком? – спросил Игорь Сергеевич.

- А что толку? Ведь мы с вами, – отозвалась Римма Алексеевна, - в прошлый раз, полгода назад, уже заходили. Ничего не изменилось! Даже хуже стало! Если бы не надо было кормить рабочих, я бы сейчас столовую и буфет закрыла! Нет! Буду писать постановление.

- А когда мне можно зайти к вам, чтобы ознакомиться с результатами анализов и с постановлением? – спросил я.

- Завтра утром.

В электричке Римма Алексеевна надиктовывала мне спецефические термины, поясняла смысл проведенных ею действий. А я спросил: «Почему старший лейтенант не составил акт о воровстве?»

Римма Алексеевна пожала плечами: «Жалеет, наверное. У столовских действительно мизерные зарплаты. И руководство на таких несунов смотрит сквозь пальцы.»

- Такое ощущение, что на воровство людей специально толкают те, кто определяет штатное расписание и оклады. Вредительство какое-то, - не выдержал я, проговорив свои мысли вслух. Римма Алексеевна долго и пристально смотрела мне в глаза. Потом тихо произнесла: «Здесь все зависит от человека. Можно что-то простить

ему, если он добросовестно выполняет свои обязанности. Но мы-то столкнулись и с нарушениями, и с недобросовестностью, и с воровством.»

Я промолчал. Но подумал: «А ведь действительно, эти столовские – враги своего народа! Пусть неосознавшие это! Пусть их на это толкают. Значит, и вышестоящие началаьники, законодатели, толкающие простых работяг на преступление – тоже враги! Только – сознательные! Потому что нельзя не знать результатов принятых ими законов, правил, смет. А не запланировано ли такое еще в семнадцатом году? Или раньше? Кем? Да стариком-корнем и ижен с ним. Значит, они служат именно ему! И не боятся ведь воровать. На вышестоящих смотрят, как те за государственный счет строят себе дачи, покупают машины, пользуются другими благами. Им можно, а простым – нельзя? Но Бог-то?! Бо-о-ог! Верили бы в Него, задумались бы на заповедью *Не укради*! Таким образом, все беды нашего народа начались с отказа им от Бога! Вот чего медленно, но верно добивались Ленин и иже с ним. Не-е-ет! Пожалуй, даже пораньше! Не с Каина ли начиная? Нет, не с него! С денницы, ставшего сатаной. Но люди-то вольны:

украсть или нет! Навредить ли ближнему? Или нет? И поддаются лукавому, потому что в Боге усомнились! И сегодня за ширмой развитого социализма идет поголовное растление народа, начиная с самого низа, до Кремлевских кабинетов! Или наоборот? Рыба-то гниет с головы»!

- Вы только словечко это, «вредительство» в статье своей не употребляйте. А то сталинизмом попахивает! – перебила мои мысли Римма Алексеевна. Я не стал противоречить ее определению «сталинизма». И молчал всю оставшуюся дорогу. Скоро мы расстались на Казанском вокзале. Я пошел в редакцию. Там все были уже в сборе. И как всегда – в кабинете у Валентина Павловича. Когда я вошел, они подняли на меня глаза с немым вопросом. Я рассказал. Делюкин даже крякнул. Потер ладони: «Ох, какой вкусный фельетон может получиться.»

Я кивнул. И пошел в свой кабинет. Взял бумагу и написал: «Теряем! Ох! Теряем мы потенциальных чемпионов мира по фигурному катанию! А они есть! В самой глубинке! В самых толщах народных масс! Вот и недавно, пришлоось убедиться, что по полу кухни столовой локомотивного депо «Раменское» можно проехать только на

коньках. А ее работницы порхают и без оных. И не падают. А выпусти их на лед чемпионата мира по фигурному катанию?!»…

До обеда я закончил писать художественную канву фельетона. Осталось вставить фактологию. До Делюкина мне, конечно, - далеко! Он бы часа за полтора настрочил! После обеда меня начало клонить в сон. Шутка ли, поднялся в три утра!

Тут в кабинет вошел Делюкин. Внимательно вгляделся в меня. Спросил: «Засыпаешь?»

Я кивнул. Он хмыкнул: «Отпросись у Палыча. Он отпустит. Но я тебе другое хотел сказать. Точнее, напомнить. Фельетон – скандальный! Тут и головы некоторых начальников полететь могут. И прокуратура - подключиться. Посему, напоминаю тебе «Правило айсберга»! Если вызовут пред «светлые очи» начальника Дороги, у тебя должны быть такие факты в блокноте, которые били бы наповал! И в которых «раменские кулинары» не смогли бы найти себе оправдания. И которые только усугубляли бы их вину. А тебя выставляли еще и благодетелем, чисто по-человечески пожалевшим их. Возьмут они и заартачатся!

А? Ты и выложишь тогда более яркие обвинительные факты.

- Спасибо, Владимир Иванович, - кивнул я.

- Спасибо в стакан не нальешь, - хитро прищурился он.

- С меня причитается. Только, давай не сегодня.

И я пошел отпрашиваться. Пока добрался до дома. Пока приготовил ужин. Пока поел. На улице стемнело. И я улегся спать. А утром, забежав в санитарную службу, взял у Риммы Алексеевны результаты ее анализов. Она же прокомментировала: «Прокуратура плачет по этим поварам!»

Через три дня мой фельетон был опубликован. Вся редакция радовалась. Поздравляла. Только в глазах Эльвиры я заметил недобрую зависть. Палыч велел по такому случаю накрыть небольшой стол. Но только мы сели за него раздался телефонный звонок. И когда главный снял трубку, лицо его изменилось.

- Да… Да… Понял.., - как-то по-военному отчеканил он. Обведел нас взглядом, объявил: «Завтра мы с тобой, Саша, идем к начальнику Дороги. И будем отстаивать свою правоту. Руководство,

партком и профком «Раменского» молнии метают. Надеюсь, в твоем блокноте остались еще негативные факты, которые не вошли в фельетон?»

Я кивнул и с благодарностью посмотрел на Делюкина. Выпили мы в этот вечер совсем немного. А на следующий день в девять-ноль-ноль уже сидели в приемной начальника Московской железной дороги Ивана Леонтьевича Паперного. Напротив нас с недобрыми усмешками на губах расположились начальник локомотивного депо «Раменское», секретарь парткома и полная, напомнившая мне заведующую столовой, председатель профкома. Палыч сидел, прикрыв глаза и, казалось, спокойно подремывал. Наконец, из селектора донесся голос: «Пусть журналисты и раменские зайдут.»

В глубине большого кабинета за огромным столом сидел под стать им могучий мужик в серой генеральской форме. Седые, густые волосы, торчащие вверх, суровые голубые глаза контрастировали с кирпичной краснотой лица. Кивком головы он пригласил всех присесть. И опять жалобщики из Раменского сели напротив нас с Валентином Павловичем.

- Ну-у-у, - протянул Иван Леонтьевич, обведя всех взглядом, - давайте послушаем начальника локомотивного депо «Раменское».

Встал лысеющий, плотный, широкий, но низкорослый, словно комод, мужик, с бледным лицом исссеченным сеткой тонких красных прожилок. Гордо вскинул голову, по-военному вытянул руки по швам. Громко, словно с трибуны заговорил, изредка поворачиваясь всем тело в разные стороны: «Сейчас, когда в эпоху развитого социализма советские железные дороги…»

- Мы здесь не на политинформации. Ты по делу говори, - перебил его Иван Леонтьевич.

- Вот я и говорю.ю что, - сразу как-то сник начальник депо, - все, написаное в этом, с позволения сказать, фельетоне, - гнусная ложь!

Я, было, вскинулся, но Валентин Павлович придержал меня за руку. Он опять сидел с полуприкрытыми веками и, казалось, подремывал. А начальник депо продолжал: «Давайте оперировать цифрами. Конечно, есть в нашей работе определенные недостатки, но мы с ними боремся всеми доступными методами. В прошлом году в нашей столовой питалось… В этом… Как

видите… Но если учесть недавнее сокращение кадров, старое, износившееся оборудование… Недоработки отдела рабочего снабжения нашего отделения дороги…»

Я пропускал мимо ушей цифры, факты. Думал: «Вот, почему столько у нас безобразий. Начальник депо, прекрасно знающий про антисанитарные условия в столовой, откровенно лжет, прикрываясь высокими, если так их можно назвать, словами из газетно-журнальных передовиц, какими-то надуманными цифрами, которые к санитарии не имеют никакого отношения! Чего ж тогда требовать от простых рабочих?! Их-то не обманешь. Но именно это, - говорить одно, а думать другое, - восптывает их детей, внуков, молодых подчиненных та-а-акими же»!

- У заведующей столовой отец, между прочим, - Почетный железнодорожник. Да, он не водил тяжеловесные и длинностоставные поезда, а скромно трудился в отделе рабочего снабжения. Но за красивые глаза не будут удостаивать столь высокого звания.

То же самое врал и секретарь парткома, худенький, вертлявый, курчавый в мелкого беса, - прости, Господи, - черноволосый и

остроносый человечек. Его жесты напоминали игру какого старого, не самого талантливого актера в роди Ленина. А председатель профкома чуть ли истерику со слезами не закатила. Начальник Дороги слушал, опустив глаза в столешинцу. Когда же председатель профкома проплакалась, он поднял голову, взглянул в нашу сторону: «А как теперь ответят наши товарищи журналисты?»

Валентин Павлович приоткрыл глаза. Тяжело поднялся. Кивнул: «Я верю моему корреспонденту. Уверен, Иван Леонтьевич, вы читали его последний очерк «Не для ордена…»…

Начальник Дороги кивнул: «Честно, грамотно, принципиально. Мне уже звонили из прокуратуры. Благодарили.»

- Вот-вот. Поэтому то, что сейчас скажет мой корреспондент, выражает и мое мнение, и мою точку зрения.

Встал я. Почувстовал, как забегали мурашки по спине. Но взяв себя в руки, раскрыл блокнот. В течение пятнадцати минут я перечислял те нарушения и недостатки, которые даже не упомянул в фельетоне. А под конец, я заключил: «К тому же, Иван Леонтьевич, я работал в составе комиссии. Можете опросить и ее членов. Все,

что написано в фельетоне, занесено в протокол.»

- Да ты у меня на дороге скоро революцию сделаешь: все старое начальство поснимаешь своими фельетонами и очерками, - вдруг улыбнулся Паперный. И, кивнув, добавил: «Спасибо, товарищи журналисты, за добросовестную работу. Мы найдем возможности поощрить ваш творческий коллектив. Можете быть свободны.»

Валентин Павлович поднялся, и мы вышли из кабинета. Но даже сквозь прикрытые за собой две двери я услышал громовой голос Паперного: «Вы что это здесь спектакль устроили?! Мальчишку из меня делаете! Да я вас… Вы у меня партийные билеты на стол выложите! А тебе я и метлу дворника не доверю! Начальник депо, где людей травят! Или у папаши твоей завстоловой хорошо кормились?»

…Дальше пошли непереводимые на литературный язык обороты. И мы с Валентином Павловичем вернулись в редакцию. Он был доволен, хотя особо виду не показывал. А в его кабинете опять собрались все. Они ждали. И, как я понял по вопросительным взглядам, до самого нашего прихода молчали. Валентин Павлович вошел

первым. Бросил: «Всем – привет! Чего уселись?»

Обвел собравшихся взглядом. С трудом втерся в свое кресло. Еще раз оглядел всех. Провозгласил: «Мы – на коне. И, похоже, нам угрожает хор-р-рошая премия лично от начальника Дороги. Благодаря труду нашего Александра.»

Он кивнул на меня. Потом опять обвел всех взглядом. Спросил: «Зоя, у тебя есть что-то по работе срочное?»

Та помотала головой.

- Тогда женщины на сегодня могут быть свободны. А мужчин прошу остаться. Будет совещание.

Когда женщины дружно хлопнули входной дверью, а за ними ушел и Олег, Алеша спросил: «Сбегать?»

- Не надо. Мы с Сашей по дороге сюда зашли в гастроном.

И я достал из спортивной сумки две бутылки водки, колбасу, сыр, банку маринованных огурцов, селедку. Делюкин тут же расстелил на столе листы верстки с моим фельетоном. Пригладил их: «Тра-а-адиция»

Всё крупно порезали на эту «скатерку». Поставили стопки. Делюкин, поправив галстук на белоснежной накрахмаленной

рубашке, - обычном его виде, - хохотнул: «Люблю по-холостяцки!»

- Это наполовину – твоя заслуга, - склонил я голову перед Владимиром Ивановичем.

- Вот –вот! А благодарность твоя всё на «завтра», да на «не сейчас» отодвигается, - заворчал он.

- Володя-Володя, - замахал на него рукой Валентин Павлович, - между прочим, все, что на столе, Саша купил. Наотрез отказался от моего участия в оплате. Так что он отблагодарил и тебя, и всех нас. Но как держался-то как в кабинете Паперного! А?

- Гвардейство не пропьешь! – отозвался Алеша. И пояснил: «Саша-то у нас гвардейским лейтенантом из армии ушел.»

- А что у тебя там за история вышла? – спросил Делюкин.

- Давайте, выпьем, - наполнил стопки Валентин Павлович. Потом Делюкин, сделал себе мини-бутерброд по сравнению и в подобие своего, ежедневного: на отломанный добрый кусок хлеба положил сыр, колбасу, дольку огурца. Похрустев ими повторил вопрос про армию. Добавил при этом: «Ты видишь, как тебя приняли в нашем коллективе. Посему, расскажи. Будь добр.»

Я взглянул на Валентина Павловича. Тот сосредоточенно опустив глаза, жевал свой бутерброд. И я вдруг подумал, что он-то да-а-авно знает мою историю. Но как же он мог выстоять меня перед кэгэбешниками? Слезы благодарности подступили к горлу. Но я взял себя в руки и рассказал. В кабинете несколько секунд стояла мертвая тишина. Потом Делюкин крутанул головой: «Да-а-а, взяли тебя там в оборот! Но через тебя, как я понимаю, твоему отцу отомстили! Видать, ты по принципиальности и бойцовским качествам правдоискательства – в него! А в журналистике эти два качества – самые главные! Вот, я, например, никогда не буду писать о под-донке хорошо. И Палыч это знает. Потому и не дает мне таких заданий. А если приходит приказ сверху восхвалить какого-нибудь пида… гога, он посылает Зойку, Эльку, или Бориску. Кстати, этот наш верный пламенный ленинец и партайгеноссе завтра из отпуска должен выйти.»

- Не выйдет, - буркнул Валентин Павлович, - потому как звонил мне вчера. Сказал, что простудился в своей Жмеринке. Взял больничный.

- А расплатился чем? За болничный? Хорошим копченым окороком и четвертью первача? – хохотнул Алеша.

- Ты что, Алексей?! В Жмеринке свинину не едят! Им ку-роч-ку подавай! Гусочку! Рыбку в тесте, - засмеялся Делюкин.

- Мы для чего здесь собрались? – вдруг перебил его Валентин Павлович. И прихлопнул ладонью по столешнице: «Володя, твоя очередь разливать. Не тя-а-ани!»

…После второй Алеша, вдруг хохотнув, кивнул Владимиру Ивановичу: «А ведь ты слукавил, Делюкин! Вспомни, как в прошлом году, когда Элька была в отпуске, Зойка заболела, а Бориска на какие-то партийные курсы укатил, ты написал про этого, как его…»

- Про Успенского? Да-а-а, - вскинул бородку Владимир Иванович, - та-а-а- акой подлец! Ко-ло-рит-ный! Но заставили панегирик спеть. Из самого министерства!..

Алеша не унимался: «Ага! Потом редакцию письмами засыпали. Простые работяги! Со всей дороги! Какой, мол, продажный журналюга про такого под-донка такие елейные слова пишет. Да его, мол, сволочь, судить надо! Он, мол, не то, что до чужих жен, используя служебное положение домогается, но и до детей! Правда, после твоего очерка, его почему-то к уголовной

ответственности привлекли. Посадили. Даже газета не помогла!

- Эх, молодежь! – налил себе одному и опрокинул стопку Владимир Иванович. - Сколько не учи вас, а все как-то без толку! Преподаю тебе, Саша, - второй урок Делюкина. Второе золотое правило журналистики: сумей, хваля, поругать, и, ругая, похвалить! Добавь в медоточивые строки о «герое» ложечку, - да что там, ложечку, - спичечную головку дегтя! Пусть люди плюются, читая твои восхваления! Кто, к примеру, про всей дороге знал, что он – бабник и педофил? Прямо сказать об этом нельзя. Это - дела компетентных органов и народного суда. Но написать так, чтобы все поняли, можно! И опять же: вос-хва-а-ля-я! У-у-учись, пока я жив. А ты, Алексей, не зубоскаль, а лучше найди завтра в нашем архиве этот очерк про Успенского. Саше, думаю, он скоро пригодится, как учебное пособие. Я создал на дороге общественное мнение об этом поддонке. Даже компетентные органы им заинтересовались! А уж простые работяги! Мотай на ус, Саша!

Алеша, сидя на стуле, сломался пополам от смеха: «Ага! Как сейчас помню, что про тебя Владимир Иванович тоже в

одном письме спрашивали, уж, не педофил ли ты? Не прикрываешь ли своего?»

- Алексей, – строго покачал головой Валентин Павлович, - что-то ты сегодня не в меру разребячился.

- Разжеребячился он.., - сделал обиженное лицо Делюкин, но тут же заулыбался, обращаясь к главному, - ладно, Палыч! Пусть ребята, пока молоды, повеселятся. Много ли у нас радости-то было? У детей войны?

- Давайте же, помянем. Скоро годовщина битвы под Москвой. Там и мой отец погиб - наполнил стопки Валентин Павлович. И погрустнел глазами: «Как сейчас, помню после похоронки окаменевшее лицо матери. Слезы-то только часа через три пришли. А тут как раз и воздушная тревога началась. Мы тогда у Белорусского вокзала жили. Сестричка еще жива была. Царствие им…

И вдруг я увидел, как Валентин Павлович… перекрестился. Мы выпили, не чокаясь. Но тут же главный горько добавил: «А теперь, вот, западных немцев, - детей прошлых фашистов! – принимаем по обмену опытом! И твоя, Алексей, женка с ними «вась-васькается»… Впрочем, чего это я о грустном?

- Странно, - задумался я, - Ус-пенский… Такая русская фамилия. Даже Православная…

- Эх! Молодежь! Всему вас учить надо, - наполнил стопки Делюкин… Но в это время раздался звонок от входной двери.

- Эт-того нам только не хватало! – насторожился главный. - Алеша! Посмотри!

Тревога оказалась ложной. Вслед за Алешей в кабинет вошел статный еще, но лысыватый пожилой, где-то одних лет, - а может быть и постарше, - с Палычем улыбающийся человек. Лицо его, казалось, было грубо вырублено топором из дерева.

- Всем - доброго здоровья! – воскликнул он и принялся целоваться с собравшимися. Представили ему и меня. А про него Делюкин сказал: «Иван Васильевич Рыжиков. Поэт. Друг редакции. Хо-р-роший русский мужик. Тоже - со Смоленщины.»

А гость, обведя всех заговорщическим взглядом, вдруг сокрушился: «Думал, порадую вас. Купил коньячку. А тут – разлюли-малина! Я ведь только – из творческой командировки с Дальнего Востока. Навыступался всласть! А как люди слушают?! Настоящие! Русские! Стосковались по доброму поэтическому слову! Три месяца там был. Получил

премийку. И решил к вам заехать. А вы по какому поводу собрались?»

Валентин Павлович, улыбаясь, рассказал.

- И правильно, Александр, – вдруг резко повернулся ко мне Иван Васильевич, - бить этих гадов надо. Я их даже с фашистами сравнить не могу. Те были откровенными врагами! Шли воевать нас. А эти, нынешние хапуги, уничтожают своих же любыми методами. Вот, хотя бы столовские ваши «поварешки»! Кого они обворовывают, кого кормят испорченными продуктами, чтобы своих сла-а-аденько накормить. Да таких же, как они. И в случае чего, первыми станут предателями, потому, как привыкли желудку своему служить! А не людям! Не стране! Не народу, который их родил! Я их так и называю: «же-луд-ки». Правильно, Александр! Похвально! Бить их! Как фашистов! Как предателей-власовцев! Только словом!

- А вы воевали? – спросил я.

- Да уж! Пришлось. Но что оставалось делать? Напрасно до сих пор говорят, что начало Второй мировой было для нас полной неожиданностью. Даже мы, тогдашние школьники, знали, кто готовит нападение на нашу страну. 17 июня 1941 года, как сейчас

помню, я сдал последний выпускной экзамен. Конечно, в те времена выпускные вечера были гораздо скромнее, чем сегодня. Да о чем говорить, если тогда мы ходили в школу в лаптях, которые, кстати, плели своими детскими руками. 22 июня 1941 года я пришел в смоленский райвоенкомат. Пришел не один, - все двадцать три мальчишки-одноклассника нашей школы, подали тогда заявления об отправке на фронт. Но первые повестки «с вещами» в те дни вручали отцам и старшим братьям. Батюшка мой, пятидесятичетырехлетний Василий Павлович от природы не был наделен богатырским телосложением, но по молодости мог отстоять церковную службу на коленях, при этом крестясь двухпудовой гирей в правой руке. А еще он обладал «волчьим зрением»: за километр при луне мог разглядеть человека, метко стрелял, поэтому, как в Первую мировую войну, так и во Вторую, определено ему было быть снайпером. На всю жизнь я запомнил его наказ перед отправкой на фронт: «Ну, Иван, давай с тобой крепко обнимемся на прощанье: чую, больше нам не свидеться. Война будет очень тяжелой. Немца я знаю по Первой мировой: это очень сильный и коварный противник. Мать провожать не

зови: не хочу ее слез.». 4 июля 1941 года он ушел, а меня призвали ровно через неделю. Потом мне маменька написала, что погиб отец в первые месяцы войны. Ну-у-у, а сам я воевал, как большинство здесь знает, на Северо-Западном фронте, на Курской дуге, на Днепре, в Молдавии, Румынии, Польше, Болгарии. Да что ж это мы? Давайте-ка – за встречу!

Выпили мы. А Делюкин вдруг вспомнил наш прерванный разговор и повторил мои слова. Иван Васильевич погрустнел. Но вдруг снова в его глазах сверкнули озорные искорки.

- Ладно, - сказал он, - поясню я вам , кто такие эти… Успенские…. Ха-ха… Если они – Успенские, то мы с вами - какие-нибудь Цукерманы. Отец мой рассказывал, что еще где-то в начале двадцатых годов приехали в наше село чекисты во главе с комиссаром уездного ЧК Абрамсоном Янкелем Исхаковичем. Собрали они сход. Комиссар и объявил, что сегодня вытравит из душ мужицких опиум и мракобесие. На глазах у всех приказал он заложить взрывчатку в церковь нашу, во имя святителя Николая Чудотворца. Мужики дара речи лишились. Староста вышел вперед и попытался помешать чекистам. Абрамсон

лично застрелил его. Наставил пулемет на селян. Те всикнулись, было, но тут же очередь скосила десяток. Сила солому ломит. Церковь взорвали. А когда отец поехал в Уезд, увидел Абрамсона. Только фамилия его была теперь… Никольский. Вот такие русские, - ха-ха! – православные фамилии у некоторых, с которыми нам вести непримиримую войну, как с оккупантами! А таковыми они являются, если посягают словом или делом на нашу Веру, быт, весь уклад русский. Если развращают жен и детей наших через газеты, журналы, радио и телевидение. Если объявляют русские деревни, которые когда-то хлебом весь мир кормили, безперспективными. Если хотят против установления Божиего повернуть вспять наши реки. И вы, русские журанилсты – на передовой линии этого фронта. Как и мы, писатели, поэты, художники. Ведь без своей, кровной, веками отточенной литературы, живописи, музыки, религии Россия умрет. Умрет без национального искусства! А за ней погибнет и весь мир! Нельзя допустить подмены всего этого на протухшую западную эрзац-культуру!

Мы выпили еще. Потом Алексей попросил Ивана Ваисльевича прочитать

новые стихи. Тот откашлялся. Задумался. И спокойно, каким-то разговорно-душевным тоном проговорил:

Мой первый враг!
До гроба не забуду
Тот крючковатый палец у курка,
Белесых глаз осеннюю остуду
И застоялый запах чеснока.
Но что всего сильнее поразило
И в память сразу врезалось навек:
Заклятый враг,
Насильник и громила, –
Он с виду был
Совсем, как человек!

Вот и мой ответ ответ на ваш вопрос.

- Спасибо, - восхитился я и подумал, что у Жени стихи – слабее. Или я слишком много выпил сегодня?

А Иван Васильевич продолжил:

Где ж вы, нивы мои и луга?
Где ж ты, речка Теплуха?
Только хмель да сухая куга,
И кукушка-горюха.
Где ж ты, милое сердцу окно,
Сказка отчего дома,
Где, как сказано было давно,
И солома едома?
В старой бане проснусь на заре,
Поброжу наудачу,

И на стылом глухом пустыре
Потихоньку поплачу…

Я обрадовался, подумав, что он – свой, православный. И тут же огорчился, укорив себя в том, что давно опять не был в церкви, не исповедался, не покаялся, не причастился Святых Христовых Таин. А Иван Васильевич, как бы в подтверждение моих мыслей о нем, прочитал:

Нет, Бог меня зачем-то бережет.
Зачем, не знаю, только ясно вижу.
Он то отвалит от своих щедрот,
То разведет чего-нибудь пожиже.
Мол, охолонь, подумай, воздержись,
Ты ж можешь и весомей, и полезней,
А я пока твою земную жизнь
Поберегу от гадов и болезней.

Мы дружно зааплодировали. Иван Васильевич подарил каждому из нас по новой своей книги стихов. Себе же взял номера «Московского железнодорожника» с двумя моими очерками и фельетоном. Пообещал ознакомиться. Высказать свое мнение. Странно, но весь хмель, кураж какой-то, тут же улетучились из головы. И я поневоле подумал, что последние дни у меня насыщены, богаты духовно…

«Ага! Духовно! – кольнула мысль, - Скажи еще что-нибудь про твое

Православие». Я отогнал ее. Расходились мы из редакции поздно. Поэтому, вернувшись домой, я даже не стал ужинать, а сразу завалился спать. Я заслужил это! Провел один из первых своих боёв. Боёв - пером! И вышел победителем. Теперь закон будет заниматься отравительницами и воровками из Раменского. Прости их, Господи! Не ведают, что творят! Во сне мне снилось, что я пишу стихи. Жаль только, - не запомнилось ни слова. Тем не менее утром я встал в прекрасном настоpении.

Двенадцать тысяч конных шли изгоном. О-дву-конь. Земля гудела под таким количеством копыт. Возницы гнали легкие повозки с небольшими пушками, ядрами, запасами пороха. Семь десятков верст мы преодолели всего лишь через день и ночь. Даже не верилось. Но перед рассветом, когда мы остановились на короткий привал, дозорные доложили, что уже в окоеме видели крымские разъезды.

- Далеко от своего стана они заходить не будут. Боятся! - хмыкнул в бороду болярин Михайло. Обернулся ко мне: «Алексаша! А не пойти ли тебе с твоей сотней пощекотать этих выскочек? А?»

У меня тут же что-то защемило в сердце, как перед охотой на секача или медведя. Болтом от самострела я выскочил из шатра и, кликнув своих, взлетел в седло. На яростном скаку вспомнилось, как крымчаки, приведенные тем же, как я знал сейчас, Голдштинским, - или вечным жидом?! - резали отрока и хотели, было, то же сделать с девкой. Если бы не Ахмед… Значит не все татары такие! Должно быть, и не все жиды? Надо бы вырезать… ненависть в себе! Именно, в себе самом! Кто ж меня учил этому? Почему ж не помню, чтобы помолиться за того доброго наставника? А! Не время. И тут прямо передо мной возник крымчак в дорогой феске. Откуда он взялся? А позади его виднелось не менее полусотни всадников…

- За Святую веру нашу и за Государя! - крикнул я и рубанул крымчака… Удивительно, но жара в крови я не обнаружил. Сделал этот удар спокойно, холодно, даже с какой-то жалостью к порубленному. А тот, развалившись надвое, соскользнул с седла в разные стороны. И дальше – я рубил. Рубил! Рубил! Краем глаза заметил, что и другие мои соратники делают это спокойно, деловито, словно дрова на зиму

заготавливают. Скоро от крымского разъезда не осталось даже полонян…

…Наша лава, впереди которой скакал болярин Михаил Воротныский, - ох! и рубился же он! любо-дорого! - безостановочно и всеохватывающе заливала и поглощала ворожий стан, окруживший Тулу. Крымчаки, поначалу попытавшиеся взяться за оружие, теперь бежали, не ведая, куда забиться, схорониться. А тут и главные ворота города распахнулись и оттуда на осаждавших кинулись оставшиеся в живых ратники. Да что там ратники?! Бабы, старики, старухи, отроки били крымчаков чем попало. Вплоть до скалок, которым раскатывают тесто для блинов!..

И вот встретились два воеводы. Наш, Михаил Воротынский и тульский, Григорий Темкин с перевязанной головой и обожженной щекой. Не слезая с седел они обнялись. Похристосовались. И болярин Темкин громко сказал: «Что ж за предчувствие такое! Вот был я почему-то уверен, что именно ты, Михайло, придешь на помощь!»

- А кому ж еще? – засмяелся болярин Воротынский. И, словно вспоминая, даже глаза прикрыл: «Сколько мы с тобой засечную черту здесь городили? Сколько

набегов крымских отбивали?! Сколько меду выпили?! Ха-ха! Сам Бог велел мне идти. Через Государево повеление, конечно! Но его устами Сам Господь глаголет! Сердце Царево в руце Божией! Давай-ка, веди в собор! Благодарственный молебен отслужим! Поди, Девлетка уже боле не сунется.

- А то! Глянь на поле-то! Больше половины порубили евойных янычар! С кем теперь соваться-то? Надо Государю гонца послать с доброй вестью. Где он может быть теперь?

- Идет по Муромской дорожке на Кадом. Туда и посылай!

…Жители Тулы встречали нас, словно родных После благодарственного молебна разобрали ратинков по хоромам и истбам. Все смогли в баньках попариться, потрапезничать всласть. Переночевали. А на рассвете, провожаемые всей Тулой, с пополненной туляками ратью, отправились в сторону Мурома. И дальше. На Ка-а-азань. Весело! Любо-дорого!

- И как ты, Михайло Иоаннович, впереди рати ходишь? Ты ж - воевода! Сечью пра-а-авить должен. А ну, как случайно убьют? Не дай Бог, конечно, - спросил я болярина Воротынского на одном из привалов.

- Ка-а-ак? – переспросил он. Но тут же заулыбался в усы: «Я – заговоренный! И от стрелы, и от меча, и от чародея какого. Ведь не смог же ведомый тебе Голдштинский облапошить меня. Я его сразу учуял. Почему и толковал с ним цельную ночь. Всё хотелось побольше колдовских приемчиков его выведать! А то, что сбежал он, сплоховал я, конечно. Но, - упаси Господи, - не обучен я всяким всяким чародействам! И не желаю! Бабушка моя, - Царствие ей Небесное, - заговорила меня. Так мне матушка сказывала. А отец, после того, как из опалы вернулся, только и наказал: мол, служи на совесть Вере, Царю и Отечеству, и ничто тебя не возьмет: ни сабля, ни пика, ни сулица, ни стрела. Ни пу-у-уля. На твоей службе весь род наш может спастись! Я-то служил. Но были и другие. Не мне их судить и прости их, Господи! А ежели, по попущению Божиему, и возьмет тебя оружье какое, то сразу, - как на тройке! – в обители Его взлетишь! И род наш спасешь! Честь-то какая!..

Нагнали мы Большой и Правой руки полки только под Борончеевым Городищем. Но там уже соединились все силы Русьские. И потому мы сразу отправились к Государю. Он выслушал. Перекрестился. Пригласил за

свой стол. А наутро мы отправились уже в Свияжск. По дороге пришлось мне со своей сотней выйти в дозор. Верст пятьдесят скакал я. Вдруг Тишка, - а он всегда был рядом, - подскакав шепнул: «Княже! Сердце чует: рядом кто-то есть. Смотрит-смотрит. Даже надоело. Хоть бы стрелу пустил, что ли.»

- Может быть, не ворог? – хмыкнул я.

- Да нет… Дозволь споймать?

- Да-а-авай! Только осторожно!

И я пустил коня тихим шагом. А скоро Тишка и еще десятка три моих холопов выехали ко мне навстречу. За ними семенили около сотни каких-то людишек. Шли сами. Не связанные! Я, подняв руку, остановил дозор. Всмотрелся в недоумении. А Тишка ответил на него: «Черемисы! Ми-и-ирные они. Когда мы их настигли, встали на колени.»

Я спешился. Однако, прикрываясь щитом, двинулся навстречу разъезду. Ко мне из толпы черемисов вышел старник и на ломанном, каком-то сюсюкающем, русьском языке проговорил: «Мы, однако, в урусьскую веру хотим идти… Под руку урусьского Царя.»

- А что так? – крутанул головой я.

- Однако, годов за пять до того, как урусьский Царь поставил на горе осторог, когда место то еще было пусто, часто мы слыхали звон, похожий на звон с урусьских домов Бога. В страхе мы посылали легких молодцев посмотреть, цто такое происходит, и они слышали голоса ладно поющих, как будто не на земле. Но никого не видали, кроме одного вашего старого волхва, который ходил со крестом, благословлял на все стороны. И доходил всякий раз до тех рубежей, в которых осторог уруский встал. И пахло вокруг. М-м-м! Ни один мед так не пахнет! Посланные нами покушались ловить старика-уруса, но он становился невидим. Пускали, неразумные, в него стрелы — стрелы не ранили его, а летали вверх, падали на землю и ломались. Мы сказывали о том нашим кинязьям, а они царицам и вельможам в Казани. Но те только гневались. Били посланцев наших. На горшок с крысами сажали. У-у-у, однако муцительная смерть. Я сам видел! И они при том крицали, не от боли. Однако, крицали, мол, прости нас Бог урусьский! Поцему прости, я так и не уразумел. Но уразумел, цто Богу уруському поклоняться надобно! Посылали из Казани бо-а-а-альшие отряды ратников на гору ту, где сейцас осторог ваш

стоит. Но тоже, однако с урусьским волхвом ницего сделать не могли. Вот, и решили мы, цто он - сильнее наших богов. А знацит и урусьский Бог урусьский – сильнее. Ему хотим поклоняться. И под рукой урусьского Царя быть.

- Алексаша, – подал голос кто-то из моей сотни, - я слыхал, что в Свияжске храм во имя преподобного Сергия Радонежского возведен. Не его ли, игумена Земли Русьской, видели их молодцы? Не он ли и привел этих людишек к вере истинной?

- А много ли вас? – спросил я старика.

- Ой, много, однако! Половину тьмы соберем. Без женок и цад.

- Пять тысяч, - даже присвистнул Тишка.

- Добро, - кивнул я, - тебя отведут к нашим воеводам.

И послал с черемисами десяток из своего дозора. А сам поскакал дальше. Уже, возвращаясь домой, я пригнулся, чтобы подправить подпругу. Но в это время в приподнявшийся щит… ударила стрела. Сотня мигом кинулась по кустам, но никого мои соратники в них не обнаружили. А Тишка, подскакав ко мне, недоуменно округлил глаза: «Даже трава нигде не примята…»

Я выдернул стрелу из щита, и наконечник показался мне знакомым. Только откуда? Где я его видел? Нет, он был не казанским. Не мордовским. Не черемисским. Не чувашским.

- А-а-а! – мотнул я головой и направил коня к в сторону движения своей рати. А через седмицу мы были уже в Свияжске. Высокий берег при слиянии Свияги и Волги расцвел шатрами и палатками Русьского воинства. Перед походными алтарями служились благодарственные молебны. Ратники, исповедовавшись и причастившись Святых Христовых Таин, трапезничали с медами и даже с ромейским, которые повелел выдать им Государь. А ночью, когда от костров было светло, словно днем, мне опять приснился «пан Голдштинский». И опять он в монашеском, - но не русьском! – облачении точил на камне наконечник стрелы. И тут я вспомнил его. Именно такой же увенчивал стрелу, которая накануне попала в мой щит. И если бы я не нагнулся, - случайно! Ха-ха! – проткнула бы меня…

Здесь в Свияжске хозяйничал дьяк Иоанн Выродков. Высокий, худой, с глазами цвета живого неба, но всегда прищуренными, казалось, глядящими куда-то вдаль или ввысь, всегда задумчивый и

сосредоточнный, он подчинялся только Государю. А последний души в нем не чаял. Именно Выродков разработал переправу, которая длилась всего два дня и две ночи. Я любовался, как ладно, спокойно, красиво и в тоже время грозно на лодках и плотах за такой короткий срок Волгу преодолели сто пятьдесят тысяч наших ратников с пушками, запасом зелья к ним, ядрами, конями, снаряжением, другой поклажей и рухлядью.

Я и не заметил даже, что на деревьях пожелтела листва, а под ногами трава. Бог ты мой! На дворе-то – середина августа! Вспомнились Алена, сыновья, матушка. Степан, другие домочадцы. Жена должна была уже разродиться. Кого теперь Бог послал нам? Мальчика или девочку? Хоть бы вестового прислали!

Туманным утром я сопровождал болярина Воротынского на военный совет. И конечно же, слушал, что мы должны обложить Казань. Да так, чтобы и мышь мимо наших полков не проскочила. Наступление же на саму крепость болярин Воротынский предложил вести с юга и востока.

- А что так? – вскинулся вдруг Курбский. За Воротынского ответил

Выродков: «Во-первых, с этих сторон и стены тоньше, и башни ниже. Они не предполагают такой наш ход. Потому, как мы, по их мыслям, подставляем спину двигующемуся на помощь Казани со стороны Арска хану Япанчишке.

- Ладно, - кивнул Государь, - согласен. Вот, ты, болярин Михайло, и будешь воеводствовать со стороны Арска. На Арском поле, напротив Царских и Арских ворото встанет Большой и Передовой полки. Моя ставка в окружении Царского полка будет левее, за рекой Булак. Ивашка, Выродков, туры ладишь?

- А то, - кивнул дьяк, - как велено. Но я вот что еще удумал. Большую туру! Шестисаженную! С пушками наверху. И он развернул перед всеми собравшимися телячью кожу, на которой по бревнышку было изображено неслыханное доселе сооружение. Да так искусно, что ее можно было разглядывать и сверху, и сбоку!

- Ай, да Ивашка! Быть тебе в болярах! А что с подкопами удумал? - хлопнул Выродкова по плечу Государь… -

Дьяк развернул другую телячью кожу. И все воеводы склонились над ней. Из-за их спин я не смог увидеть ничего. Но зато

слышал единодушные одобрительные возгласы.

- Зелья-то хватит? – спросил Иоанн Васильевич. Выродков кивнул: «Я все рассчитал. Даже с избытком.»

- На такое дело не жалко! – улыбнулся Государь.

- Хорошо бы засадный полк сладить, - почесал затылок болярин Воротынский –и пусть Япанча ударит мне в спину. Я буду готов развернуть несколько рядов стрельцов. А ему вилами в бок – засадный полк. А? Государь?

- Это уже второе дело, - отмахнулся за Царя Курбский. И совет продолжился. А через два дня мы полностью окружили Казань. Но легче нам не стало. Рано утром в Царские и Арские ворота выскочили несолько тысяч конных и пеших. Я и глазом не успел моргнуть, как понял, что моя сотня, пяток стрелецких полков, конница Воротынского, пушки, приданные нам для прикрытия огнем осады, оказались в окружении казанцев. Горячо пришлось! Но вдруг ворожья вылазка дрогнула. И я увидел, как с юга во главе с Дубком в ряды казанцев врубаются казаки, а с севера спешит мне на помощь сам Воротынский. Обычно грузный, тяжелый, даже какой-то

медлительный, теперь он побойчее любого молодого царсткого конника рубил направо и налево. Да еще и повеления успевал отдавать своим сотникам… Вылазка ворогов захлебнулась. Мы загнали казанцев обратно в ворота города. Но болярин Михайло Иоаннович оказался насколько раз ранен. Зато мы с Дубком смогли хорошенько потолковать. Оказывается, казаков пришло не меньше десяти тысяч. Дубок тоже волновался за Алену. Сетовал: «Ведь велел же старосте тут же, как разродится, гонца прислать!»

- А может быть, он где-то по стану нашему плутает. Найти не может? - пытался успокоить его я, хотя впору было меня самого успокаивать. Мы помолились вместе за сродников, домочадцев, Государя, все воинство наше. Но более видеться каждый день не пришлось. Дубок воеводствовал над казаками, а я постоянно сопровождал болярина Воротынского в его поездках, хлопотах. Нередко подбирались мы с ним под самые крепостные стены, откуда нас осыпали стрелами. Но Бог миловал. Михайло Иоаннович при резких движениях морщился. А потом, в стане, ругался на лекарей, когда те делали ему перевязки: «Бе-е-езручки! Чему вас только учат?! Не можете

сделать так, чтобы раны сразу затянулись. Мне ка-а-аждый Божий день дело делать надо. А ваши повязки мешают только!»

…Казалось, теперь вороги и носа не высунут из-за крепостных стен. А между тем, день и ночь работали посошные. Строили туры, возводили защитные тыны, закопи, дабы можно было вести прицельный огонь даже по отдельным казанцам, появлявшимся на стенах. И все эти хитроумные удобные укрепления, придуманные Выродковым, тянулись от реки Казанки к Булаку и вдоль неоглядного Арского поля.

Но вот, однажды утром мы увидели, что на стены опять высыпали уродливые старики и старухи в разноцветных, несуразных одеждах, обвешанных костями, в шапках с рогами. Опять они что-то кричали, повизгивали, дергались, словно в падучей. Мы даже стрелять по ним не стали. Посмеялись. А ночью неожиданно поднялась буря с дождем. Когда же она под утро стихла, мы увидели, что наши обозы практически изведены. Телеги, прикрытые лишь рогожами, запасы снеди, снаряжения, оружия, всякие пожитки и рухлядь, а главное, - зелье, - порох были у-ни-что-жены. Государь созвал совет, куда болярин Михайло Иоаннович прихватил, как всегда и

меня. Слово взял Курбский: «Попали мы, честные отцы и братие, впросак. Как и два года назад. И не вижу я иного выхода, как отойти от Казани, пополнить запасы, остаться зимовать и в течение зимы продолжить осаду, дабы заморить казанцев.»

Кое-кто из боляр и князей согласно закивал. А Воротынский, крякнул и неодобрительно крутанул головой. На это и обратил внимание Государь. Выслушав еще некоторых из воевод, противоречивших друг другу, он поднял руку. Все замолчали.

- Нельзя нам отходить, - опустив голову, твердо заключил Царь, - потому как во-первых, пока будем прохаживаться туда-обратно, к Казани смогут подойти союзные крымчаки и ударить в спину оставшимся здесь. Опрокинуть, извести наши силы. Во-вторых, наш отход и новое объединение Казани, Астрахани и Крыма означают начало новых набегов на Землю Русьскую! Новых полонян, тысячами продаваемых по сию пору в рабство! Перед ними, перед их сродниками не имеем мы право отходить отсюда и прекращать осаду. Перед ними и перед всем христианским миром! Потому, как Москва должна стать Третьим Римом! А четвертому не бывать! Ненаказанное зло чувствует себя добродетелью. Не дадим этого

казанцам! В-третьих, позабыли вы, что ли, православные: если с нами Бог, то кто на ны?! Посему, повелеваю: ускорить и усилить осаду Казани всеми оставшимися силами и средствами. Второе. Все ратные силы, холопов, способных держать оружие, тем паче болярских и княжеских сынков от Свияжска и выше по Волге, - со всей округи! – призвать сюда! Болярин Феодор! Ты идешь за запасами снаряжения, снеди, зелья, сиречь, пороха. Оттуда же приводишь новых ратников. На всё про всё тебе – седмица! Не более. Третье…

Но тут Государю на дали договорить. Вбежавший в шатер рында бухнулся в ноги. Пролепетал: «Государь… Там от митропоплита Макария святые отцы прибыли. Толкуют, что безотлагательное дело…»

- Зови, - кивнул Иоанн Васильевич. И в шатер торжественно восшествовали несколько архимандритов, игуменов, монахов, среди которых я узнал и того, коего видел в Кремле, рядом с владыкой. Он и заговорил, прежде перекрестившись на четыре стороны и поклонившись Государю: «Посылает тебе, Государь всея Руси Иоанн Васильевич, наш владыка, митрополит Макарий свое благословение, девятичастную

просфору и образ Божией Матери, Небесной помощью Которой одержишь ты победу на агарянами.»

Монах сделал шаг назад, а двое других из прибывших, распахнули холстину, прикрывавшую Лик Пречистой, который они держали на руках. Иоанн Васильевич, опустился на колени. Перекрестился трижды. И приложился к иконе. Когда же все присутствующие на совете повторили за ним, Государь весело объявил: «А вот это благословение – третье! Третье из того, что я хотел сказать вам, братие! Но оно – самое главное! Давай, отец Гурий, пройдем вокруг Казани Крестным ходом! А? Благословишь ли?»

- Бог благословит, - перекрестился тот.

- А возьмем Казань, будешь здесь епископствовать! – радостно повторил за ним Иоанн Васильевич.

- Как Бог даст и владыко благословит, - склонился перед Царем игумен Гурий. И скоро над раскинувшимся вокруг Казани Русьским станом летело *Царю Небесный.., Отче наша.., Богородице Дево, радуйся*… Небо над нами светлело. А над Казань нависла черная, грозовая туча. И из-за стен доносился вой, визг, плач. Мы снова стали готовиться к взятию крепости. Большими

корзинами из подкопов вытягивалась земля. Бочки наполнялись сухим порохом, который безпрерывно подвозился из Свияжска. А их закатывал под стены. Но через день, ночью меня опять разбудили. Передали повеление болярина Воротынского незамедлительно явиться. Что я и сделал. И среди других наменьших воевод, князей да боляр застал в его шатре… Дубка. Мы обнялись похристосовались. Михайло Иоаннович удивленно взглянул на нас. Дубок пояснил: «Это же - зятюшко мой!»

Воротынский довольно крякнул. Крутанул головой. Улыбнулся в усы: «Вы друг друга стоите!»

Но тут же помрачнел: «Худо дело, господа! Не смертельно, конечно. Из Арска Япанчишка привел орду в тридцать с лишком тысяч. Через переход будет здесь. А от основных сил наших после бури помощи ждать не приходится. Что предложите?»

- А где они сейчас? Разумею: как идут? Лесом? – покрутил ус Дубок.

- Идут лесом, - кивнул Воротынский, - пытаются таиться. Сейчас они – где-то здесь.

И болярин Михайло ткнул кинжалом в телячью кожу, на которой, уменьшенная в десятки раз, была изображена казанская земля с ее лесами, реками, озерами,

городами, острогами, полями. Дубок склонился над ней. Вглядывался. Теребил ус. Склонил голову на правый бок. Потом - на левый. Проговорил задумчиво: «Полагаю, к утру они подойдут к полю, верст за пять-семь отсюда. Так? Было бы ладно, ежели бы я с казачками моими напал на них еще в лесу. На передовой отряд. И вытащил бы их в поле. А здесь, всеми нашими силами возьмем их в вендерек.»

- Уж больно велик твой вендерь получается, - недоверчиво хмыкнул кто-то из наменьших воевод.

- Я и сам еще с такими силами и на такие силы не пробовал его закручивать. У них впереди конница идет? Вот ее и возмем в вендерь. Пешие-то тоже вслед кинутся на нас. Но тут, вдоль их пути мы уложим в траву стрельцов. Ряда четыре. Полка три. Конница проскочит. Пешие выйдут из леса. Стрельцы встанут и па-а-альнут по последним. Татары ой, как боятся огненного боя! Для них сие - в диковинку! А когда побегут, так там и пяти сотен хватит, чтобы порубить беглецов. А?

Болярин Михайло Иоаннович с радостным удовольствием слушал Дубка. Кивнул: «Быть посему. Выдвигаемся сей же

час. Воеводы! Поднимайте ратничков. С Богом!»

Он распределил места и действия каждого. И скоро мы были уже в засаде. Передовые дозорные Япончи стали показываться из большого леса уже на рассвете. Их не трогали. Но когда показался передовой отряд, казаки дружно кинулись на него. Осыпанные стрелами, откатились. Еще раз кинулись. И еще раз откатились. Наконец, татары решили прекратить надоедливость казаков. И передовой отряд выскочил из леса. Однако, заметив подходящую русьскую конницу, Японча, очевидно подумал, что это – основные силы и вывел всех своих ратников в поле. Закружился огромный вендерь! И все получилось именно так, как предлоджил Дубок. А в составе двух-трех тысяч всадников пошел преследовать убегавших неудавшихся помощников казанцам. Но немало их все-таки достигли своего острога, где и спрятались.

Когда Государь же узнал о случившемся, расцеловал в уста болярина Михайлу и Дубка. Но потом вдруг строго повелел: «Взять острог приступом. Истребить всех из туменов Япончишки! До

последнего ратника. Нельзя, чтобы у нас за спиной был ворог!»

По повелению Государя сорокапятитысячный отряд под воеводством князя Ондрея Горбатого-Шуйского прочесал все ближайшие земли за нашей спиной вплоть до впадения Камы в Волгу. Дубок с казаками ходил в этот поход. А вернувшись рассказал, как побили наши немало татарских разрозненных отрядов, шедших на помощь Казани, сторожевых застав, малых острожков. Пока Дубок ходил по окрестностям, я в составе отряда болярина Михайлы Иоанновича Воротынского участвовал во взятии острога Арск, в котором укрылись оставшиеся ратники Япанчи. Но и мы, и ратники князя Ондрея привели в свой стан под Казанью безчисленные обозы со снедью, взятой в селениях, которые попадались на пути. Подумал я, было, поначалу, что недоброе это дело. Но вспомнив, сколько бед русьским деревням, селам, городам вот уже несколько веков приносят тататры, решил, что изъятие снеди у них – слишком милостивая плата за их набеги! Прости, Господи! А вот отец Гурий оказался очень строгим. Он благословил после каждого такого похода всех, - до единого! – ратинков исповедоваться

и каяться. Даже епитимии накладывал. Хотя, казалось бы: война! По-о-оход! Но и посмеялись мы всласть, рассуждая о том, что казанцы проморгали отсутствие основных наших сил под их стенами и не сделали ни одной вылазки!

Тем не менее, какая-то туга щемила душу мою. Все ратные дела творились как-то походя. Обыденно. Убийства? Обыденно? Я скакал верхом, рубил, стрелял, словно рыбу удил на Медведице.

Перед началом основного штурма Дубок наведался ко мне, - благо его казаки встали неподалеку. Здесь же сидели десятники моей сотни, ставшие мне братьями: Роман, Глебка, Бориска, иные. Мы тихо переговаривались. Вспоминали походы… И вдруг Дубок поднял руку, призывая всех замолчать. Что мы и сделали. И тут дыхание само затаилось. То ли с небес, то ли из-под земли слышался церковный красный звон колоколов, обычно разливавшийся на Москве по великим праздникам. И пока он шел, мы стояли на коленях. Молились. И каждый – о своем. И – о своих ближних. И - друг за друга. И - за здравие Государя. И - за общее наше дело!

И вот, наступил рассвет главного взятия Казани. Аж дух захватило! Я

огляделся. Вокруг города выросли небольшие крепостицы, другие укрепления. Готовые двинуться, светились на солнце свежесрубленные гуляй-города и туры. А перед Арскими воротами, которые предстояло брать и мне возвышалась шестисаженная башня, внутри которой, чтобы подкатить ее к стенам крепости, были готовы приняться за работу десятка два Володимирских тяжеловоза. Три широких закрытых, но мгновенно открываемых площадки вмещали в себя несколько десяков стрельцов. На каждой – стояли пушки, бившие и перед собой, и – навесом. Снова над станом поплыло *Царю Небесный…* И продолжением молитвы громыхнули все русьские орудия. Я улыбнулся, вспомнив, что Дубок в такие минуты потирал ладони и предрекал «ве-е-е-селое дело»! Как-то он там? Как Алена? Матушка? Сыновья? Спаси и сохрани их, Господи.

- Ну, что Алексаша? Ты – со мной? – сквозь гром выстрелов услышал я над самым ухом бас Воротынского. Михайла Иоаннович в полном снаряжении направлялся к огромной башне. Я чуть не задохнулся от обиды: мол, он еще и спрашивает! А Воротынский, заскочив внутрь, по-молодому стал взбираться по

крутым лестницам. Выше… Выше… Выше. Ну-у-у, я, конечно, поспешил не отстать!

У Царких ворот громыхнуло. Воротынский мельком взглянул туда. И хотя дым еще не рассеялся, он усмехнулся: «Отняли у казанцев воду. Шутка-ли, одиннадцать бочек пороха! Молодца Выродков! Самородок! Ему, - ха-ха! – все одно по силам: что крепостицу новую возвести, что стены казанские порушить!»

И тут к нам наверх поднялся князь Курбский. Огляделся с высоты. Усмехнулся: «Лепотно здесь у вас! Как будто ласточкой летишь над Казанью. Ну, вот что! Государь не велел наступать. Будет еще один взрыв. На этот раз – под Арскими воротами. Но и тогда не велено идти на приступ. А то я тебя, Воротынский зна-а-аю! Итак! До особого повеления Государева, наобум, на приступ не идти. А до этого времени повели-ка стрельцам заваливать ров землей и хворостом. Не давайте казанцам вылезать из-за стен. Да обстреливайте. Навесным огнем поработайте.»

Воротынский прикусил ус. Кивнул. А когда Курбский спустился башни, хмыкнул горько: «Чего тянем? Давно бы взяли город! Иоанн Васильевич, как в отрочестве слушает всех подряд. И единого плана осады не имеет.

Не люблю я Курбского. Двойной он какой-то! Мутный, как навозная лужа! Прости, Господи!»

…Наконец, из пушек в упор до основания был сбит весь участок стены у Арских ворот, а казанцы на предложение Государя сдаться ответили гордым отказом.

Ночью мне опять приснился пан Голдштинский. Он точил на оселке тот же наконечник стрелы. И после каждого движения по камню, вскидывал свои миндалевидные, с вековечной тоской в зрачках, глаза на меня. Ухмылялся. Я проснулся. Сплюнул. И тут же, вызванный к болярину Вортынскому, забыл сновидение.

Рано утром, затемно все были подняты. Десятники, сотники, тысячники расставляли людей в боевой порядок. А когда завершили, над Казанью, словно сотни громов грянуло два страшных взрывов. И десятки тысяч моих сораников ринулись на приступ. Мы с Вортынским и еще несколькими десятками охотников уже были на штурмовой башне. Стрельцы, находившиеся на ее площадках, вели прицельный огонь. Били по ворогу и легкие пушки. А из-за наших спин громыхали тяжелые. Татары, словно горох сыпались с оставшихся стен. Осадная башня вплотную подошла к Арским воротам. Еще

миг и Воротынский первым ринулся на ворога. Я прыгнул следом за ним на Арскую башню. За нами – охотники. Мы оказались в кольце казанцев. Воротынский похохатывал: «Ай, весело! Ай, любо-дорого…»

Пустив болт из самострела в какого-то, судя по доспехам, татарского князя, он рубился двумя саблями. Я тоже отбросил щит. Подхватил боевой топорик убитого ворога, применил и его в дело. Но мешало зерцало. Его кольца-крепления к кольчуге, видимо, оборвало с одной стороны, когда я втискивался между зубцами Арской башни. Я оборвал зерцало и плашмя запустил в сторону. Но получилось это так, что оно вонзилось в лицо подскочившего ко мне казанца. А с нашей осадной башни уже потоком прыгали к нам на помощь стрельцы, ратники других полков. Воротынский рубился с присказками, посвистом, шутками. Во время короткой передышки между наскоками казанцев, он крикнул в сторону: «Хоругвь – мне! Или хотя бы крест!»

Сие тут же было исполнено. Княжонок, который, как и я, был при болярине Михаиле, подал ему, должно быть заготовленное заранее, высокое древко увенчанное тремя перекладинами

восьмиконечного Православного Креста. Болярин Воротынский принялся устанавливать его на башне. Но тут я заметил, что лежавший прежде недалеко казанец, казавшийся убитым, приподнялся сам, поднял лук и выстрелил в спину болярину Михаилу Иоанновичу. Мне не оставалось ничего делать, как прыгнуть между татарином и Воротынским. При этом показалось, что стрела, словно надсмехаясь надо мной, замедлила свой полет. Как бы спрашивала: ну и что теперь ты сделаешь против меня? Я увидел и, казалось, даже не почувствовал, как стрела, предназначенная для Воротынского, устанавливающего на Арской башне Крест, разрывая кольца кольчуги входит в мою грудь Больно стало немного позднее.

…Открыл глаза я в шатре. Ко мне склонились Воротынский, Тишка, Дубок. Еще кто-то. Я хотел, было, подняться, но боль пронзила меня от груди до ног. Почему вспомнился прощальный крик сына: «Грудь береги!» Вот так! Не сберег… Зерцало оторвалось. И ведь он тоже что-то крикнул про зерцало. Дубок по-отцовски гладил меня по голове: «Ну, вот, и пришел в себя! Значит выкарабкаешься…»

- Что Казань? – спросил я пересохшими губами.

- Взяли! Взяли Казань! – громко прошептал Воротоныский.

А Дубок вдруг вскинулся: «А радость-то у нас какая! Гонец из-под Твери пришел. Насилу добрался. Все ж войсками перекрыто. Поздравлю тебя, Алексаша! Сынка Бог вам с Аленой подарил. Так что, ты сейчас помирать не можешь! Просто права не имеешь! Отец Никита благословил мальчонку твоим именем назвать! Вроде, как и не по Святцам…

- Стало быть, предвидел отец Никита, что не вернусь я с этого похода.

- Да полно тебе, княже, отходную петь по себе! – раздался удаляющийся куда-то голос Тишки. Да и сам я как будто полетел как будто вверх… Чудное пение раздалось вокруг Но властный и безконечно добрый, как свет солнца, голос вдруг повелел: «Пусть простится…»

Я оказался в своем тверском селе. Ваня с Васей под присмотром Степана сражались на деревянных саблях. Я снизился к ним. Погладил по головкам. Они вдруг приостановились. Вася сказал: «Вот бы тятенька обрадовался, когда бы увидел, как мы на саблях навыкли рубиться!»

- Да-а-а… Как-то он там? – вздохнул Ваня.

- Как-как?! Бьет поганых за Веру Царя и Отечество! – отзвался брат.

- Помоги ему Господи! – вздохнул прослезившийся подслеповатыми глазами Степан.

Потом я увидел матушку. Она стояла на коленях в молельной. Я подошел к ней. Но и она даже не почувствовала мое пристуствие. Шевелила губами. И вдруг я услышал: «Алексашенька! Сыночек мой единственный! Только вернись! Вернись живым! Пусть увечным. Не верю я сну о твоей погибели! Го-о-о-осподи!»

И она уткнулась лицом в пол. А я оказался в покоях Алены. Прижавшись к ней, сидела дочка Ольгушка, с младенчества – лопотунья, а теперь – почему-то притихшая. Алена тоже со слезами на глазах кормила грудью младенчика-сыночка. Алексашеньку! Я погладил их всех по головкам. Алена вскинулась! Вскрикнула! Тут же осеклась. Посмотрела на сына. На дочку. И залилась слезами… А я? Я, перекрестив жену, детей, матушку, все свое село, опять полетел к свету… Там передо мной уходила вверх белоснежная, сверкающая, широкая, пологая лествица. На

ней первым стоял отец в золотых доспехах. Такие же он, радуясь, протягивал и мне. И дальше я увидел мамушку, князя Панкрата, батюшку Лентия, отца Павла, Акилину, многих и многих, которые оказались мне близки и дороги. Я понял, что вернулся до-о-о-омой… Туда, где со временем встречусь и с остальными ближними своими. Но сначала мне надо было в золоченых доспехах, которые как бы сами наделись на меня, подняться по лествице, где меня ждал Самый Близкий…

Я сидел на диване и… плакал. Думал: неужели нельзя не погибать?

- Нельзя! – прозвучало надо мной. Я поднял глаза и увидел князя Алексашку. Он стоял в сверкающих золотых доспехах и улыбался. Потом перекрестился на иконы. Молвил: «Нет выше подвига, чем положить душу свою за други своя! Вот это более всего ненавидят в нас всякие Голдштинские. И боятся этого более всего! Потому как живет этим вся Святая Русь. Третий Рим! Не по богатству своему или по убранству! Нет. По Духу! А на Святой Руси, на святом ее Духе и вселенная держится!

Конец третьей книги.